Серия третья * * *

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ДЖЕК ЛОНДОН

МАРТИН ИДЕН

●

РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

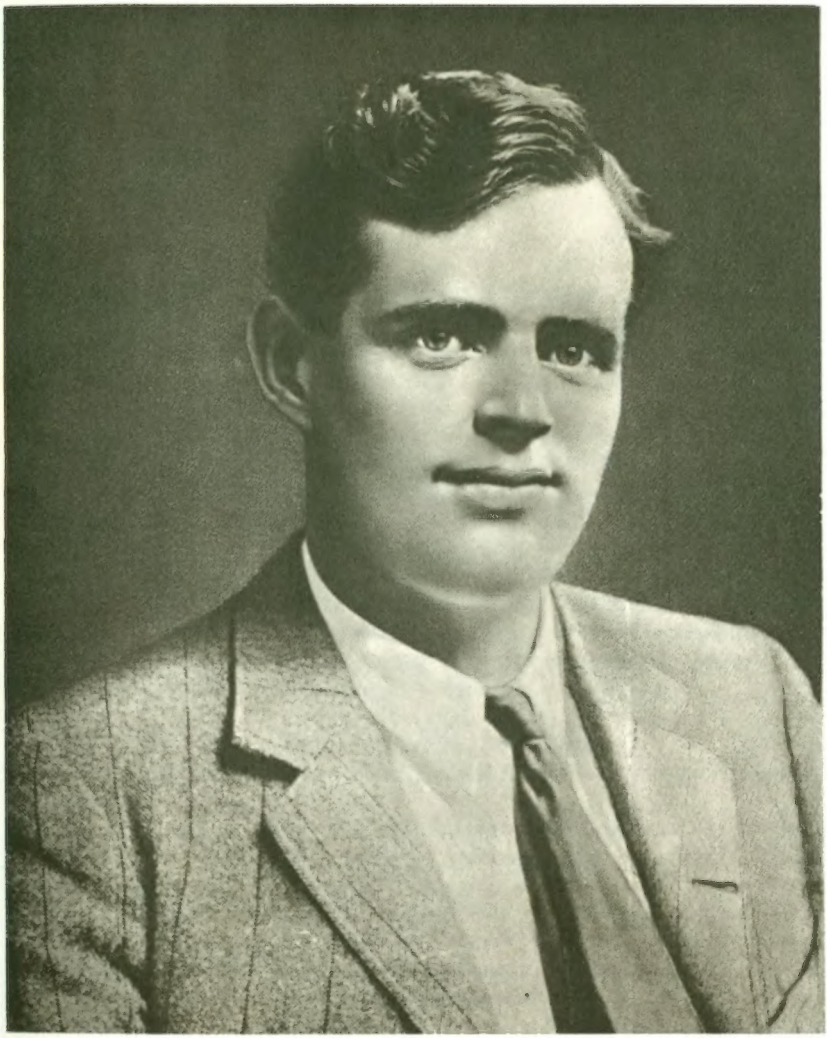
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1972

Вступительная статья и составление
Р. Самарина

И (Амер.)
Л 76

Иллюстрации
П. Пинкисевича

7-3-4
Подп. изд.



«ВАШ ВО ИМЯ РЕВОЛЮЦИИ ДЖЕК ЛОНДОН»

Трудно назвать имя другого зарубежного писателя, который был бы у нас столь же популярен, как Джек Лондон. Широкая его известность в самых разнообразных читательских кругах, сложившаяся еще полвека назад — когда появились его первые сборники на русском языке,— с тех пор делалась все более признанной, все более прочной, как бы переходила из поколения в поколение. Мы все помним свидетельство Н. К. Крупской о том, что рассказы Лондона с удовольствием слушал В. И. Ленин во время болезни; А. В. Луначарский в своей талантливой книге «История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах» назвал Лондона «большим писателем Америки». Подрастают новые и новые миллионы советских читателей, и их ждет на пороге юности верный старый и вечно молодой товарищ — кудрявый Джек с его белозубой улыбкой и прямым взглядом внимательных глаз.

Конечно, Лондон хорошо известен и читателям других стран земного шара. Но смело можно утверждать, что нигде — в том числе и у него на родине — он не пользуется такой прочной и завидной славой, как у нас.

Чем же можно объяснить эту прочную привязанность советских людей к Лондону? Вероятно, тем, что Джек Лондон — всем лучшим в своем творчестве связан с народом. Из недр его вышел он сам — моряк, рабочий, разносчик газет, бродяга, приисковый старатель, представитель неутомимой армии журналистов. Опыт народа подсказал ему его мужественное мировоззрение; народный опыт живет в его уважении к тем, кто умеет трудиться, в его глубоком критицизме — а подчас и ненависти к богатым бездельникам, в его этике верности товариществу и самому себе, своим взглядам, доставшимся нелегкой ценой, выстраданным, проверенным жизнью. Действенный, глубоко социальный гуманизм Лондона, его вера в силы и возможности человека, его жажда справед-

ливости и сознание необходимости борьбы за нее — это все черты глубокого и органического демократизма, коренящегося в самой основе его мировоззрения.

Лондон — писатель противоречивый. Как мог он, писатель-демократ, высказывать самые нелепые расистские бредни, самые жестокие буржуазные теории, обрекавшие одних — на роль господ, а других — на положение рабов? А ведь все это мы найдем в таких его романах, как «Приключение», «Мятеж на Эльсайноре», «Звездный скиталец», да и во многих рассказах.

Как мог он, убежденный социалист, хладнокровно наблюдать американскую интервенцию в Мексике — и писать о ней с явным сочувствием к американской морской пехоте, наводившей полицейский порядок в стране, охваченной революцией? И немало таких горьких и недоуменных вопросов рождается у того, кто внимательно, год за годом и книгу за книгой, рассматривает творческий путь Джека Лондона.

Но разве расистские бредни могут заставить забыть об интернационализме Лондона, разве промахи и ошибки романов вроде «Маленькой хозяйки большого дома» или «Лунной долины» могут заслонить великолепный реализм «Мартина Идена», разве растерянные попытки уйти от проклятой американской действительности в рай южных морей и цветущих островов могут заставить нас забыть о революционном пафосе «Железной пяты»? Нет, исследуя противоречия Лондона, нельзя не видеть и того, что они не были результатом личных заблуждений писателя. Следует также помнить, что сильные стороны Лондона не только уравновешивают, но значительно перевешивают весь комплекс тех его воззрений и высказываний, с которыми мы не можем ни согласиться, ни примириться.

Чтобы разобраться в сложном наследии Лондона, надо внимательно присмотреться к его творческому пути.

Джек Лондон принадлежал к числу тех писателей, которые охотно используют в своих книгах собственный жизненный опыт, факты из своей биографии. И всякий, кто читал внимательно его произведения, уже этим подготовлен к тому, чтобы составить себе представление о жизненном пути их автора.

Джек Лондон (Джон Гриффит Лондон) родился в Сан-Франциско в 1876 году; отчим, скромный труженик, дал свою фамилию ребенку, от которого отказался его подлинный отец — чудаковатый ирландец Генри Вильям Чэни, астролог, литератор, мечтатель, а в общем — неудачник.

Семье Лондонов жилось плохо. Надежды отца на то, что сын сделает карьеру в быстро растущем Сан-Франциско, явно не оправдывались.

Когда Джек подрос, он стал рабочим консервной фабрики; работать приходилось по восемнадцать — двадцать часов подряд. «Однажды я простоял за машиной тридцать шесть часов»,— вспоминает Лондон. К суро-

вой школе труда, которую он так впечатляюще описал в романе «Мартин Иден», вскоре прибавилась и другая.

Подростка захватила романтика моря. Он плавал на «собственной» лодчонке и был принят, как вспоминает об этом в серии рассказов об «устричных пиратах», в компанию юных искателей приключений, которые занимались не только ловлей устриц, но и контрабандой, и прочими темными делами.

Но деятельность «устричного пирата» не могла удовлетворить юношу надолго. Уже тогда он мечтал о «просторе приключений» в мире, где сражаются «не за старую рубашку или украденное судно» — таковы, видимо, были предметы раздора среди «устричных пиратов»,— «но ради высоких целей». Запомним это: уже у подростка Лондона появляется мечта о «высокой цели», во имя которой ему хочется жить и действовать.

И вот Джек Лондон — матрос шхуны «Софи Сэзерленд», идущей в Беринтово море за котиками. Ему семнадцать лет.

Капитан шхуны не помышлял о высоких целях. В те годы охота на котиков была сродни древнему пиратскому промыслу. Не без гордости вспоминал писатель о том, что ему удалось сдать этот своеобразный экзамен на мужество. Вернувшись из плавания, он отдал матери деньги, заработанные им на «Софи Сэзерленд», и пошел на джутовую фабрику.

Видимо, жизненный опыт, приобретенный юношей к этому времени, подсказал ему мысль о самообразовании. Он нашел дорогу в библиотеки, к хорошим книгам. Он открыл для себя очарование упорной умственной работы, восторг накопления знаний, которых так ему недоставало. В кругу семьи полюбили его повествования о море и пережитых опасностях. Он послал свой очерк «Тайфун у берегов Японии» в газету. 12 ноября 1893 года этот очерк был напечатан,— родился американский писатель Джек Лондон, на первый взгляд один из многочисленных авторов-очевидцев, поставлявших свои очерки о приключениях на суше и на море.

Но жить литературным трудом Лондон еще не мог, а деньги были нужны и ему и семье. В 1894 году Лондон вновь в рядах рабочего класса Америки: сначала кочегар на электростанции, затем безработный, живущий случайным трудом, наконец, солдат «армии Келли» — так называлась многотысячная толпа безработных, которая двинулась походом на Вашингтон, чтобы добиться хлеба и справедливости. Среди многих других он отстал от «армии», превратился просто в «хобо», в «трампа» — в бродягу, ищущего временной работы, чтобы перебиться и отправиться дальше в поисках постоянного заработка. Как и многих других, его посадили в тюрьму за бродяжничество — там юноша увидел «ужасные бездны человеческого унижения». Свою одиссею бродяги он впоследствии описал в сборнике очерков «Дорога». Вернувшись из тюрьмы, он примкнул к Социалистической рабочей партии, начал свою дея-

тельность пропагандиста. Джек Лондон стал убежденным участником борьбы рабочего класса за лучшее будущее человечества.

Нельзя не заметить, что недолгое пребывание Лондона в «армии Келли» было для него очень важной полосой жизни, значение которой он и сам, быть может, не понимал полностью. Впервые участвовал юноша в большом массовом выступлении, впервые столкнулся с таким количеством товарищей по труду и бедствиям, по лишениям и надеждам,— шел вместе с людьми своего класса. Именно после этого похода Лондон окончательно и всерьез почувствовал свое призвание писателя. 1896 год заполнен упорной работой. Лондон писал иной раз по пятнадцать часов в сутки, пробуя свои силы в самых различных жанрах. Он поступил в университет, но вскоре пришлось занятия прекратить: нужны были деньги. Лондону пришлось пойти на работу в паровую прачечную. Надо понять, как мучило Лондона хроническое безденежье, чувство каторжной зависимости от жалкого заработка, во имя которого он должен был отказывать себе в чтении и любимом писательском труде. Молодой человек попал в тупик. Впереди его ждало то же невыносимое рабство. Вот почему Лондона, как и многих других юношей его склада, поманил Клондайк. Это была мечта о возможности разбогатеть, чтобы иметь время для труда за пишущей машинкой, чтобы пробиться в журналы, открыть себе дорогу в литературу. Лондон двинулся в дальний путь. В октябре 1897 года он вместе с другими золотоискателями прошел через страшный Чилкутский перевал.

Клондайкская эпопея Лондона не принесла юному мечтателю богатства, но одарила его огромным запасом жизненных наблюдений, приобщила его к героической битве с безжалостной северной природой, познакомила со сценами корыстной борьбы из-за золота. В бревенчатых притонах Аляски, в снеговых просторах и скалистых ущельях сущность буржуазного общества его времени раскрылась перед писателем обнаженнее и бесстыднее, чем где бы то ни было. К 1899 году Лондон действительно завоевал себе место в американских журналах и газетах. Его рассказы о жизни Севера были замечены публикой и полюбились ей. Кончились годы тяжких поисков работы: Лондон стал зарабатывать на хлеб для себя и своей семьи трудом литератора.

Наступило время относительного благополучия. Весной 1900 года Лондон женился. В новом доме, куда переехала его семья, стали собираться друзья молодого писателя. «Четверги» Лондонов привлекали молодых литераторов, художников, журналистов Сан-Франциско. В кружке Лондона бывали люди, углублявшие его интерес к социализму, к вопросам общественной борьбы.

Лондон стал к тому времени сторонником Юджина Дебса — замечательного лидера американских рабочих, о котором тепло писал В. И. Ленин. Ю. Дебс стремился к созданию боевой рабочей организации,

которая положила бы конец постоянным разногласиям и спорам, шедшим в рядах Социалистической рабочей партии. Когда Дебс возглавил созданную им новую Социалистическую партию (1901), Джек Лондон примкнул к ней и вышел из рядов СРП вместе с большинством своих друзей—окленденских социалистов. Он даже был выдвинут, как самый популярный в Окленде оратор социалистов, в кандидаты на пост мэра города.

В июле 1902 года так называемый Американский союз печати — одно из буржуазных газетных агентств — предложил Лондону поехать корреспондентом в Южную Африку, где заканчивалась англо-бурская война. Лондон согласился, но опоздал: буры, истомленные годами неравной борьбы с гигантской империей, капитулировали. По новому поручению союза молодой писатель остался в британской столице, чтобы присутствовать на коронации Эдуарда VII.

Попав в Англию, Лондон остро заинтересовался положением английских рабочих масс. Сняв комнату в рабочем квартале столицы, Лондон в течение нескольких недель жил жизнью обычного труженика, деля хлеб, ночлег и все бытовые тяготы с бедняками, ютившимися в трущобах столицы. Писатель внимательнейшим образом обследовал материальные условия жизни английских рабочих, их жилищное положение, их культурный уровень. Страшные результаты своих наблюдений он опубликовал в книге «Люди бездны» (1903) — в этом блестящем репортаже о вопиющих несправедливостях капиталистического строя.

«Люди бездны» сделали Лондона одним из наиболее заметных молодых американских писателей, выступавших с критикой капитализма. Это повлияло на его положение в Сан-Франциско. Выросла и его известность, выросло и враждебное отношение к нему со стороны «отцов города», постепенно проникавшихся серьезными подозрениями к «красному Джеку».

Укреплявшаяся международная известность Лондона была, вероятно, причиной того, что в 1904 году, в связи с начавшейся русско-японской войной, он получил предложение большой сан-францисской газеты «Экземинер» отправиться корреспондентом на Дальний Восток. Молодой писатель с радостью принял это предложение. Оно, кроме всего, обозначало для него еще и выход из мучительной личной ситуации: его отношения с женой испортились непоправимо. Ей трудно было понять искания Лондона. Семейные неурядицы были настолько мучительны для Лондона, что, как вспоминают его друзья, писатель поговаривал о самоубийстве. Поездка на Дальний Восток — да еще с таким интересным поручением — привлекла его.

Хотя японская военная полиция сделала все, чтобы держать военных корреспондентов подальше от фронта, Лондон на утлой китайской джонке прорвался в Чемульпо — туда, где незадолго перед тем погиб наш славный «Варяг». Японские милитаристы внушали ему антипатию

тем, как они хозяйничали в Корее. Письма Лондона из Кореи исполнены горечи, отравлены дыханием войны. Он писал их под гул далекой канонады, под немолчный топот японских полчищ, торопящихся к месту сражения: «В то время как я пишу, тысячи солдат проходят через деревню мимо моих дверей»...— читаем мы в одном из его писем.

С чувством «полного омерзения» уезжал он из Кореи. Его мрачные впечатления от японской военщины, от ее наглости и заносчивости, от методов японской политики отразились в острой статье «Желтая опасность» (1904). Хотя в ней есть глубоко ошибочные слова о природе азиатских народов, видно в ней и осуждение японского империализма, в котором Лондон справедливо увидел грозную опасность для народов Азии и тихоокеанского бассейна.

Лондон и до 1904—1905 годов не раз осуждал империалистическую политику «великих держав». Непосредственное знакомство с военной машиной империализма усугубило критическое отношение Лондона к позиции правящих кругов США, которые в то время поддерживали японских милитаристов. Лондон вернулся с войны со взглядами еще более радикальными, чем раньше. Он выступает с серией лекций, в которых перед широкой аудиторией, состоящей из интеллигентов и рабочих, разоблачает сущность капиталистического строя и предсказывает неизбежность социальной революции во всем мире.

Есть все основания предполагать, что на позицию Лондона в 1905—1906 годах сильнейшим образом воздействовала первая русская революция. Лондон не раз восторженно отзывался о героизме русского народа, поднявшегося на борьбу против царизма, считал поражение русской революции временным и жадно изучал ее опыт. Он выступал против жестокой расправы царизма с участниками революции и требовал, чтобы американский народ взял под защиту тех, кому грозила в России смертная казнь. Знаменитый роман Лондона «Железная пята» (1907) — его самое смелое и во многом пророческое выступление против усиливавшейся империалистической реакции в США — был написан под живым впечатлением от русской революции.

В 1905—1906 годах Лондон особенно тесно связан с социалистическим движением в США. Это годы наибольшей активности Лондона-социалиста. Именно в это время он стал подписываться «Ваш во имя революции Джек Лондон». В те годы он был наиболее «левым» из популярных в США молодых писателей. На плакатах, извещавших о лекции Лондона «Социалистическая революция», его рисовали в красном свитере на фоне зарева. Молодежь любила его, видела в нем своего трибуна, революционного писателя, зовущего за собой тех, кто честен и благороден.

Опасная популярность Лондона-бунтаря стала причиной организованной травли, которой он подвергся в 1906 году.

Для этой травли воспользовались даже его разводом и второй женитьбой (его подругой стала журналистка Чармиан Киттредж, впоследствии — автор первой биографии Джека Лондона). Чтобы уйти от травли, он отправился с Чармиан в длительное путешествие на яхте «Снарк», которая стала для него домом и мастерской на целых два года.

Выстроенный под любовным надзором Лондона, «Снарк», гордо неся алый вымпел, бороздил южные моря и особенно надолго задерживался в тихоокеанских архипелагах, которые так полюбились и Лондону, и французам Гогену и Лоти, и англичанину Стивенсону — целой плеяде мечтателей-художников конца XIX века. Из книги «Путешествие на «Снарке» (1911) видно, что странствование это было предпринято отнюдь не для увеселения и что хозяин его делил свое время между писательским трудом и трудом моряка, дорогим ему по воспоминаниям юности. Заряд живых впечатлений от американской жизни, от русско-японской войны, от русской революции, от митингов в американских университетах, где он говорил о близости и неизбежности революции в США, действовал долго: на «Снарке» была закончена «Железная пята», на «Снарке» был написан «Мартин Иден» и многие великолепные рассказы о жизни на островах Тихого океана. Здесь, под южным небом, над бездонными глубинами, в бухтах прекрасных островов, среди которых встречались и такие, где еще не бывал белый человек, обдумал и обобщил Лондон самое важное и ценное из того, что было собрано и прочувствовано за прежние годы. Но и судьба Мартина Идена — писателя, который погиб потому, что отошел от своего класса,— обрисовалась для Лондона во всей своей непоправимости именно на «Снарке»; на нем Лондон уплыл далеко не только от клеветников и газетных дельцов, поносивших его имя, но и от острых социальных противоречий американского общества. Прервалась и уже не возобновлялась деятельность Лондона-лектора, рвались его живые связи с демократической аудиторией, которая так высоко ценила его и так вдохновляла; менялись и взгляды Лондона на политическую современность.

Русская революция потерпела временное поражение, реакция торжествовала, и об этом сочувственно писала мировая буржуазная пресса, переоценивая прочность «успехов» царизма. Американское рабочее движение переживало период застоя. Социалистическая партия не вышла на то лидирующее место в общественной жизни США, о котором мечтал для нее Лондон — член этой партии. Кстати, не дремали и те американские круги, которые хотели вернуть Лондона под свое влияние, оторвать его от социалистического движения. Утихла травля Лондона. К 1910 году определилось мировое признание писателя. Его уже было просто невыгодно травить: на нем можно было заработать, приручив его, доведя его до примирения с американскими мещанами, столь беспощадно осужденными и высмеянными в «Мартине Идене».

Вернувшись из плавания на «Снарке» (1909), Лондон увидел себя знаменитым писателем, которому льстили, с которым заигрывали. Он продолжал писать много, но в его произведениях все чаще прорывались фальшивые ноты, появлялись мелкие и недостойные его темы. Это видно по романам «Лунная долина» (1913) и особенно «Маленькая хозяйка большого дома» (1916).

Последние годы Лондона, внешне благополучные, приносившие ему все больше славы и денег, были омрачены многими печальными событиями. Иначе и не назовешь, например, тот факт, что Джек Лондон, столь резко высказывавшийся против империалистической войны и заявлявший в печати о своей солидарности с мексиканскими революционерами, в 1914 году принял предложение херстовского концерна о поездке в качестве военного корреспондента в Мексику, где американские империалисты, стремясь задушить революцию, ввязались в открытую интервенцию. Конечно, они прикрывали это очередное вмешательство в дела Мексики благородными разговорами о «защите демократии». И Лондон — автор прекрасной повести «Мексиканец», славившей подвиг революционера,— унизился до того, что описывал не без сочувствия пребывание американских интервентов в Мексике. Вполне понятно, что социалистическая пресса в США откликнулась на этот поступок Лондона оправданно резким осуждением писателя. Статьи о Мексике — подлинное падение Лондона. А ведь в те же годы другой американец, Джон Рид, писал свои великолепные очерки о борьбе мексиканского народа против диктатуры помещиков и монополий.

В 1916 году связи Лондона с Социалистической партией, слабевшие с каждым годом, окончательно порвались. Лондон выступил с письмом, в котором объявил о своем выходе из партии и объяснил его причины. Эти причины были серьезными: Лондон с полным основанием упрекал лидеров партии в оппортунизме, в сдаче пролетарских позиций. «Дорогие товарищи,— писал он,— я ухожу из социалистической партии потому, что в ней отсутствует огонь и борьба. Потому что ее напряжение в классовой борьбе ослабло...» Конечно, это были честные слова. Вероятно, в тяжком кризисе партии, к которой он причислял себя в течение многих лет, Лондон видел и свое собственное поражение, но боялся признаться себе в этом.

Все больше мучила его тяжелая и трудноизлечимая болезнь, которую он привез из своих странствий по тропикам; все чаще становились и приступы алкоголизма, о власти которого он написал страшную книгу «Джон Ячменное Зерно» (1913), во многом отображающую последние нелегкие годы его жизни. Усиливалась болезнь печени, доставлявшая ему постоянные физические страдания.

В сентябре 1916 года он написал замечательный рассказ «Как аргонавты в старину...», полный задора и грусти, зовущий в мир романтики

и приключений, от которых чудесным образом молодеют человеческие души. В ноябре писателю стало хуже. Вечером 20 ноября он еще разговаривал с Чармиан о школе, которую хотел открыть при своем ранчо. Утром 21 ноября 1916 года его нашли в безнадежном состоянии: то ли он случайно принял слишком большую дозу болеутоляющего наркотика, то ли это было чуть-чуть замаскированное самоубийство... «Смертельно устал...» — эти слова многие слышали от него в ту осень.

Его последняя незаконченная рукопись называлась «Автобиография социалиста». Есть в ней что-то похожее на некролог самому себе.

В жизни Лондона, это видно из приведенных фактов, намечаются два больших этапа. На первом — от 1890-х годов до 1910-х — писатель неустанно движется вперед, обогащаясь новым и новым жизненным и общественным опытом, завоевывая новые и новые высоты, достигая новых и новых творческих успехов. Это именно те годы, когда его связь с американским рабочим движением крепнет и углубляется. Вслед за циклами северных рассказов, опубликованных в сборниках «Сын Волка» (1900), «Бог его отцов» (1901), «Дети мороза» (1902), вслед за прекрасным анималистическим романом «Зов предков» (1903) — книга репортажей «Люди бездны», сборник острых политических статей «Война классов» (1905), великолепный роман о смелом и верном псе «Белый клык» (1906) и многие другие; вершиной этого первого этапа оказываются годы 1907—1910, когда написаны «Железная пята» и «Мартин Иден», когда опубликована книга статей «Революция». По существу за эти десять лет созданы те произведения, которые стали как бы классикой Лондона. Конечно, и в те годы развитие писателя было противоречиво. Формированию его прогрессивных взглядов препятствовало не только воздействие всей буржуазной американской действительности, но и влияние реакционных идеологических концепций — в первую очередь, позитивизма Г. Спенсера, вульгарно применившего великие идеи Дарвина к истории человечества и выработавшего характерную для идеологии английской буржуазии концепцию превосходства белой расы над другими племенами земли, концепцию, оправдывавшую любое насилие и угнетение якобы антропологическим превосходством «белого человека». Влияли на Лондона и Фридрих Ницше с его идеалом «сверхчеловека», и Чемберлен с теорией избранности германской расы, к которой причисляли себя и американцы, считавшие себя прямыми потомками англосаксов, влиял и американский прагматизм с его преклонением перед преуспевающим бизнесменом, как воплощением человека XX столетия. Но в те годы эти влияния отступали под натиском здоровых социальных доктрин, демократических настроений писателя, его веры в справедливость борьбы рабочего класса. Именно эти передовые воззрения Лон-

дона, выстраданные им за годы его трудной молодости, берут верх в лучших его книгах, особенно в «Железной Пяте» и в «Мартине Идене».

Выше уже было сказано, как сложилась жизнь писателя в конце 1900-х годов, как он медленно отходил от участия в общественной борьбе, как, не замечая того сам, покорился воздействию американской буржуазной идеологии, как ушла из его творчества великая тема борьбы против капиталистического рабства, столь явственно звучавшая в произведениях, созданных в начале XX века.

Начался второй этап жизни и творческой деятельности Лондона, тоже очень насыщенный и богатый, но прежде всего характерный обостряющимися противоречиями. Возникает сборник рассказов о южных морях (1911), в котором Лондон открывает для своих читателей целый новый мир, полный красок и страстей, полный новых характеров,— мир тихоокеанских архипелагов с его глубоко своеобразной культурой, гибнущей от соприкосновения с белыми авантюристами; написаны два отличных новых романа о собаках — «Джерри-островитянин» (напечатанный отдельно после смерти Лондона — 1917) и «Майкл, брат Джерри» (1917), в 1915 году написан рассказ «Алая чума» — видение обреченности и катастрофы старой буржуазной цивилизации.

Создан «Мексиканец» — одно из лучших произведений Лондона, отражающих его глубокое сочувствие революционному движению, сотрясающему Центральную Америку. Но, с другой стороны, к этому же времени относится роман «Приключение» (1911), полный расистских предрассудков, романы «День пламенеет» (1910) и «Лунная долина», зовущие отказаться от тревог и волнений современной жизни и искать тихого счастья в уединении, на лоне пышной калифорнийской природы. В романах «Мятеж на Эльсайноре» (1914), «Звездный скиталец» (1915) нашли свое отражение увлечения Лондона реакционными социологическими и философскими теориями, модными в начале века; в 1916 году появилась «Маленькая хозяйка большого дома» — досадный срыв Лондона-писателя, сделавшего уступку стандартам буржуазной беллетристики. Нащупывая путь, по которому потом пошли многие американские писатели, Лондон, соблазнившись перспективами кино, пишет сценарий-роман «Сердца трех» (1920) — наивный приключенческий боевик, в котором трудно узнать былого мастера приключенческих жанров. Публицистический талант Лондона в эти годы растрачивается на корреспонденции для херстовской прессы, обливающей грязью мексиканскую революцию. Тяжелую кризисную картину представляют собою последние шесть лет творчества Лондона. Неверно было бы видеть во всех его произведениях этих лет только упадок и отказ от прошлых достижений, но нельзя не заметить, как мучительная борьба противоречий в Лондоне подрывает самую основу его творческой деятельности.

Помня о противоречивости мировоззрения Лондона и о том, что

нередко влияние буржуазного общества искажало его замыслы, нельзя не признать в Лондоне одного из самых выдающихся американских писателей, выдвинувшихся на рубеже XIX—XX веков. Это была пора, когда литература США переживала процесс бурного развития, формирования новых талантов, новых направлений. Хотя апологетическая литература, прославлявшая буржуазный строй в США как образец демократии, была господствующей и решительно влияла на умы и вкусы массового читателя, плеяда молодых писателей — Э. Синклер, Ф. Норрис, Т. Драйзер, С. Крейн, Г. Фуллер — властно утверждали традиции реалистического искусства, остро критичного по отношению к американскому образу жизни, полного тревоги за будущее США и сочувствия к народным массам.

К плеяде молодых писателей США, выводивших американскую литературу на международную арену, бравшихся за самые острые и актуальные в мировых масштабах проблемы, в полной мере относился и Джек Лондон. Подобно Андерсену Нексе и М. Горькому, Лондон испытал сильнейшее воздействие борьбы рабочего класса и — в той или иной форме — идей научного социализма.

И с полным основанием А. В. Луначарский в своем курсе «История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах» сказал о Лондоне, что «некоторые его повести, особенно большой роман «Железная пята», должны быть отнесены к произведениям подлинно социалистической литературы» [1].

В пределах нашего тома нет возможности дать представление о всем многообразном творчестве Джека Лондона. Он писал и стихи, и романы, и драмы, и новеллы, и повести, и очерки. Пожалуй, не было такого жанра, в котором он не попробовал бы свои силы. Для нашей книги выбран лучший роман Джека Лондона — «Мартин Иден», группа рассказов, которая достаточно широко демонстрирует диапазон его новеллистического мастерства, и повесть «Мексиканец» — лучший образец этого жанра в творчестве Лондона.

Над всеми романами Лондона возвышается «Мартин Иден», это бесспорно высшее достижение его таланта.

Трагедия художника, талантливого человека в буржуазном обществе — одна из заметных проблем американской и мировой литературы на рубеже XIX—XX веков. Ставилась она и раньше — романтиками, реалистами XIX столетия — но не так остро, как в эпоху возникающего империализма с его «реакцией по всей линии», сильнейшим образом задевавшей и судьбы людей искусства. В частности, в литературе США

---

[1] А. В. Луначарский, История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах, М. 1924, ч. II, стр. 188.

тема художника, вынужденного трудиться в жестоких условиях буржуазного мира, нашла отражение в романе Э. Синклера «Артур Стирлинг», в романе Т. Драйзера «Гений», в большом цикле новелл безвременно умершего С. Крейна и т. д. Но роман Лондона поднимается над общим уровнем решения этой темы в американской литературе. Он глубже, трагичнее, значительнее, чем названные выше произведения, он затрагивает более широкие эстетические проблемы.

«Мартин Иден» — роман социально-психологический. В нем резко противопоставлены друг другу мир Бэтлеров, Морзов, Хиггинботамов — мир американского мещанства, от банкира до лавочника меченный одним клеймом, и мир людей труда, представленный прежде всего самим Мартином, его друзьями, Лиззи Конолли, участниками массовых сцен романа — этими безымянными, но важными героями. Роман Лондона полон контрастов. Из салона Морзов читатель попадает в прачечную, где трудится Мартин, или в жалкую каморку, где, задыхаясь от чада керосинки, он пишет свои первые стихи и рассказы, читает книгу за книгой, овладевая сокровищами мировой культуры, но и впитывая в себя в то же время болезнетворные идеи из книг модных декадентских авторов.

Еще резче острые социальные контрасты характеров: как убедительно свидетельствует Лондон, подлинная человечность, настоящие искренние чувства живут в среде трудового люда — такова любовь Лиззи Конолли к Мартину, чувство Мартина к Руфи, его отношение к сестре, дружба старых товарищей, спаянных общими лишениями и тяжкой работой. А в мире Морзов и Бэтлеров чувства оказываются фальшью, готовностью продать себя за славу и богатство. Ведь именно так можно назвать отношение Руфи к Мартину — известному писателю, которого деньги и признание публики превращают для Руфи из смешного поклонника в серьезного и желанного претендента на ее руку. Сцена их расставания — сцена морального падения Руфи — это страшная, безжалостная, но и правдивая сцена. Вот где с полной силой сказался талант Лондона, умевшего ненавидеть и презирать буржуазный мир. В этой сцене заключается отрицание и осуждение буржуазной культуры и морали, классовая оценка буржуазного понимания любви. Классовые конфликты, которые в политическом романе «Железная пята» выражены в массовых сценах битв, в социально-психологическом романе «Мартин Иден» раскрыты в сложных отношениях двух молодых людей, в борьбе Мартина за овладение культурными ценностями прошлого, в его попытках создать новые культурные ценности, принципиально отличающиеся от старых, как бы прекрасны они ни были.

Большое место в романе занимает проблема нового человека, идущего на смену людям, чьи души искалечены миром собственнических отношений. Черты нового человека, предвестника тех, кому должно принадлежать будущее, заметны в Мартине. В его таланте заключено новое

восприятие мира. Мартин рожден и воспитан трудовым народом, «четвертым сословием», он несет в себе его одаренность, его мораль, его понимание действительности. Проблема формирования новой интеллигенции, выходящей из рабочего класса и готовой отдать ему свои силы, воплощена не только в Мартине, но — и, быть может, не с меньшей силой — в образе Лиззи Конолли.

Как расцветает ее душа, как быстро зреет ее живой и энергичный разум под влиянием знаний, доступ к которым ей помог получить Мартин! Может быть, она стала на этот путь, чтобы не быть ниже Мартина, которого она навсегда и самоотверженно полюбила, но в конце романа она уже настолько самостоятельна, личность ее настолько развилась, что она чувствует себя сильнее Мартина, говорит с ним, как нежный и заботливый друг. Нельзя не сравнить ее с образами женщин из народа, выведенными в романах Драйзера «Сестра Керри» и «Дженни Герхардт»: в обоих этих романах судьбы женщин ограничены рамками и возможностями буржуазного общества. Лиззи Конолли — предвестница того нового типа американской женщины, который сложился в борьбе американского рабочего класса за свои права, тип сознательной дочери американского пролетариата.

Кризис, губящий молодого, полного сил писателя, тоже заслуживает того, чтобы читатель задумался над его причинами. Конечно, судьба Мартина — прежде всего яркое доказательство того, насколько враждебно подлинному искусству буржуазное общество. Мартину, писателю, вышедшему из рабочего класса, нечем дышать в мире Морзов и Бэтлеров, даже если они вынуждены признать его талант. Они умеют поработить и подчинить своим вкусам талантливого, хотя и чуждого им художника. Буржуазное общество сначала отравило талант Мартина, а затем привело его к смерти. Мысль о страшной судьбе подлинного художника в буржуазном мире настойчиво преследовала Лондона, это была мысль о своей собственной судьбе, пророческая мысль о судьбах многих других талантливых писателей XX века — в том числе и американских. Сколько таких судеб видели мы уже после смерти Лондона!

Но есть и другая причина гибели Мартина. Она кроется в том, что Мартин утратил пути к народу — туда, откуда он вышел и где лежат корни, питающие его талант и характер. Он потерял свою среду [1]. Кроме того, Лондон прямо говорит о необратимом отравляющем воздействии, которое оказали на еще неопытный ум Мартина различные дека-

---

[1] О значении народа для формирования личности интеллигента Лондон пишет и в рассказе «По ту сторону рва», который является как бы вариантом основной темы «Мартина Идена». Герой этого рассказа — молодой буржуазный ученый — социолог — навсегда бросает свою среду и карьеру, переходит на сторону рабочих, с которыми он сроднился, изучая их повседневную жизнь.

дентские теории. Особенно сильным и губительным было воздействие ницшеанских идей: они воспитали болезненный индивидуализм Мартина, от которого он уже не в силах освободиться, хотя и чувствует всю порочность и ложность идей Ницше. Эта ситуация лишний раз напоминает об известной автобиографичности романа: комплекс ницшеанских идей остался непреодоленным до конца и для Лондона, хотя Лондон сам писал о том, что «Мартин Иден» и «Морской волк» — книги, направленные против ницшеанства.

Эстетические идеи писателя Мартина Идена безмерно выше уровня буржуазного искусства. Когда Мартин чувствует, что он должен приноравливаться к этому жалкому уровню, он видит в этом измену своим заветным мечтам, своим представлениям о подлинном искусстве, которое должно служить «Приключению с большой буквы» — прославлению подлинных подвигов. Только о них хотел писать Мартин.

Вероятно, именно в этом романе Лондон ближе всего подошел к тому идеалу искусства, который он видел в творчестве М. Горького. Еще в 1901 году, в пору своего мужественного движения вперед, в пору овладения писательским мастерством, он писал в своей рецензии на американское издание романа «Фома Гордеев»: «Его реализм (Лондон говорит о Горьком.— *Р. С.*) более действен, чем реализм Толстого или Тургенева. Его реализм живет и дышит в таком страстном порыве, какого они редко достигают. Мантия с их плеч упала на его молодые плечи, и он обещает носить ее с истинным величием...»

«Он,— заключает Лондон свою статью о Горьком,— знает жизнь и знает, как и для чего следует жить».

Так говорил американский революционный писатель начала XX века об основоположнике социалистического реализма. Он верно почувствовал в его искусстве черты «нового реализма», как определил Лондон творческий метод Горького.

Лондон стремился к тому новому, действенному искусству, которое учило, «как и для чего следует жить», и в романе «Мартин Иден» достиг многого.

Характерной чертой того искусства, за которое боролся Лондон и его герой в романе «Мартин Иден», наряду с острым критическим изображением буржуазного общества, наряду с беспощадным анализом переживаний героев романа, является и ясно выраженная романтическая тенденция. Эта тенденция свойственна и эстетике Лондона в целом.

В конспекте своих лекций о русской литературе, читанных в начале XX века на острове Капри, Горький писал о «социальном романтизме» как о важном направлении в литературах конца XIX — начала XX века.

Действительно, критика капитализма, с новой силой вспыхнувшая в мировой литературе вместе с переходом капитализма в его последнюю

стадию — в стадию империализма,— дала импульс для волны романтических настроений, характерных для многих писателей этого времени. Литературная критика конца столетия — начала XX века охотно говорила о явлениях «неоромантизма», то есть нового романтизма в творчестве писателей-современников. При этом в число «неоромантиков», противостоявших душным и бесчеловечным будням позднего капитализма, заносили писателей очень различных — и Кнута Гамсуна с его сильным человеком, вернувшимся к общению с природой, и болезненно хрупкого Гофмансталя, артиста и сноба до кончиков ногтей, убегавшего от венской бюргерской пошлости в мир утонченных эстеских переживаний, и поэта строителей Британской империи Редьярда Киплинга с его пафосом отречения от личности во имя солдатского долга и во имя служения идее британской мировой империи.

Но была и другая линия «нового романтизма», звавшая к борьбе против буржуазного мира под знаменами революции, во имя создания действительно нового общества, в котором человек станет действительно свободным. Революционная романтика звала к себе все большее количество активных натур, и, видимо, эти настроения Горький объединял под понятием «социального романтизма».

Героический идеал многих произведений Лондона, образ смелого, чистого духом, бескорыстного человека, способного умереть «за други своя»,— это идеал, несущий в себе черты социального романтизма. Сильнее всего он выражен в образе Эвергарда — героя «Железной пяты», вождя революционных рабочих. Идеи революционного социального романтизма вспыхнут и в повести «Мексиканец», в образе худого смуглого юноши, героически помогающего делу мексиканской революции. Есть они и в «Мартине Идене» — в образе Лиззи Конолли, в образе самого Мартина, в том, что рассказывает Лондон об эстетике писателя Идена, мечтавшего воспеть нечто необычное, «Приключение с большой буквы» — подвиг.

Позже, в романах 1910-х годов, в творчестве Лондона возобладают другие стороны неоромантической поэтики — идиллическое изображение природы, под сень которой спешат укрыться его уставшие от классовых битв герои, даже мистические представления о сильных и смелых душах, над которыми не властны тупые и жестокие законы «реального», то есть буржуазного мира («Звездный скиталец»). Но и герой романа «Мартин Иден», и сам автор стремятся к романтике действия.

В страшном и жестоком финале романа есть своя логика. Финал книги говорит о том, что Лондон, несмотря на сильнейшие романтические тенденции, не был писателем-романтиком исключительно. В его творческом методе, как почти у всех больших художников,— и об этом Горький тоже говорил,— романтический метод был переплетен с реалистическим, дополнял и обогащал его. И в целом роман «Мартин Иден»,

конечно, произведение глубоко реалистическое, как реалистичен рассказ об участи одинокого писателя, не выстоявшего в тяжелой борьбе с враждебным ему социальным строем именно потому, что он оказался одинок. Романтическая победа одинокого художника над обществом выглядела бы красивой неправдой. Ведь и судьба самого Лондона складывалась трагически.

Соединение элементов романтизма и критического реализма в той или иной пропорции характерно — но с преобладанием реализма — и для рассказов Лондона. К тому времени, когда Лондон выдвинулся в области этого жанра, рассказ уже был одним из самых распространенных жанров американской прозы. Уже существовала традиция американской новеллы, представленная В. Ирвингом, Брет-Гартом, М. Твеном, О. Генри, С. Крейном и другими, менее значительными мастерами.

Но и на этом богатом фоне произведения Лондона быстро заняли свое, только им принадлежащее место, породили подражания и попытки конкурировать с ними, определили тип американского приключенческого рассказа. Стремительность действия, яркость характеров, свежие жизненные подробности, почерпнутые из огромного опыта, накопленного писателем, энергичный и выразительный стиль, богатый зрительными образами и меткими, точными эпитетами, привлекал к рассказам Лондона и массового читателя, которому были понятны и интересны его «истории», и знатоков литературы. Последние не могли не оценить и новизну материала, и своеобразие изложения, поэтичность Лондона, умевшего найти художественный эффект в самом, казалось бы, обычном предмете — в описании упряжки собак или хижины золотоискателей. К этому надо добавить богатство северных пейзажей, открытых Лондоном, картины природы, к которой писатель был так чуток.

Из неисчерпаемого богатства рассказов Лондона мы могли для настоящего издания выбрать сравнительно немногое. Мы постарались дать представление о мире, открывающемся в северных рассказах Лондона. Тема величия человеческого характера, выдерживающего жесточайшие испытания, не может не увлечь тех, кто в наши дни воздвигает города в полярной тундре, покоряет гигантские реки, оживляет пустыни, борется с морозом и ветрами, охраняющими заветные, некогда дикие углы нашей земли. Правда, именно в северных рассказах в свое время сказались заблуждения Лондона, весьма увлеченного идеями Г. Спенсера, делившего народы на «жизнеспособные» и «нежизнеспособные», якобы обреченные на подчинение и вымирание. Отголоски этой реакционной теории ясно видны даже в таких известных рассказах, как «Сын Волка», где индейцы — «дети Ворона» — должны повиноваться «Сыну Волка», белому человеку, будто в силу закона природы. Но эти заблуждения Лондона перечеркнуты такими рассказами, полными веры в духовные силы и благородство индейцев, как «Лига стариков» или «Сивашка».

О величии старого индейца, о его мудрости и мужестве перед лицом смерти говорит и небольшой рассказ «Закон жизни». Северный эпос Лондона жив и сейчас, ибо герои лучших его произведений оказываются братьями в минуту беды, верными друзьями в час подвига, делят честно и последнюю корку, и смерть, которую они умеют встретить бестрепетно. Они проявляют ту победительную энергию, которой дышит рассказ «Любовь к жизни», так понравившийся В. И. Ленину. Мужество героев северных рассказов Лондона уходит своими корнями в народные представления о человеческом достоинстве, в народную этику.

Другой мир открывается в экзотических южных рассказах Лондона, на счастливых Гавайях и на других архипелагах Тихого океана, жизнь которых была совсем недавно открыта в европейской литературе XIX века. Столь же ярко, как и угрюмые пейзажи Клондайка, изобразил писатель очарование и богатство островной природы, просторы южных морей, по которым он сам водил свой «Снарк», заботливо собирая впечатления от этих чудесных островов и предания об их прошлом. Хотя и в тихоокеанских рассказах Лондона, как и в северных его рассказах, встречаются мотивы противопоставления деловитого белого человека — отсталому, погрязшему в партиархальной старине «туземцу», но и здесь преобладает подлинный человеческий интерес к необыкновенным формам жизни, к своеобразным характерам, с которыми столкнулся Лондон на островах. Рассказ «Страшные Соломоновы острова» и, особенно, «Кулау-прокаженный» полны фактов, впервые подмеченных Лондоном, свидетельствуют о его уменье оценить по существу и трагедию народов Тихого океана, истребляемых бизнесом, водкой, болезнями и оружием белого человека, и разбойничий характер политики США и других империалистических держав на Тихом океане. О жестокости и подлости белых авантюристов, об их бесчеловечности говорит рассказ «Под палубным тентом». Интернационализм Лондона, который был все же сильнее его предрассудков и помогал ему создавать такие произведения, проникнутые духом братства народов, как рассказ «Алоха-Оэ», сказывается в той искренней любви и восхищении, с которыми он описывает жизнь коренных обитателей тихоокеанских архипелагов. Он отдает должное их мужественным попыткам сопротивляться нашествию белых захватчиков, которые несут с собой гибель, разрушение и смерть на острова южных морей, так же как и на далекий Север. Из этих двух групп рассказов Лондона встает правдивая картина захвата и грабежа, побеждавшего всюду, где хозяйничал империализм янки в любых его формах — в виде ли компаний, разрабатывавших недра Аляски, или в виде колонизаторов, превращавших сказочный мир Гавайских островов в базы для военно-морского флота.

В рассказах Лондона так или иначе звучат социальные мотивы. Но есть группа его рассказов, где они решительно преобладают, где

Лондон, изображая не северные окраины и не южные пределы, а обычную американскую действительность, выступает как ее достоверный наблюдатель, зорко ведущий счет несправедливостям и низостям, творимым американским буржуа у себя дома. Таков рассказ «Отступник». Лондон остается верен друзьям детства и юности и в те годы, когда он — преуспевающий американский писатель — создаст свои поздние произведения на калифорнийском ранчо. К числу рассказов, обращенных к былым друзьям Лондона по годам странствий и тяжкого труда, относится и рассказ о настоящем моряке «Крисе Фаррингтоне», один из лучших рассказов Лондона о простых людях.

Яркий образец лирической прозы Лондона, его эссеистического мастерства — этюд «О себе». Он вбирает в себя очень богатый автобиографический материал и раскрывает стилистическое многообразие прозы Лондона. Опыт Лондона — мастера в жанре рассказа — навсегда останется для мировой литературы наследием, которое не только радует и будет радовать еще многие поколения читателей, но и будет изучаться теми, кто хочет овладеть искусством напряженного, захватывающего, яркого повествования, увлекающего высокими и сильными чувствами, деятельным и бодрым восприятием жизни.

При всем том, что Лондону-романисту и Лондону — автору рассказов и повестей свойственны общие особенности творческого метода, своеобразие жанра накладывает очень сильный отпечаток на его мастерство. Сюжетам рассказов Лондона присуща стремительность, усугубленная лаконичностью изложения и особым интересом автора к острым драматическим ситуациям. В противоположность этому в романах Лондона — может быть, за исключением романа «Сердца трех» — нельзя усмотреть столь усиленной заботы о сюжете и его развитии. Скорее романы имеют тенденцию распадаться на отдельные новеллы — как это видно особенно из романа «Звездный скиталец». В рассказах Лондона характеры раскрываются в одной-двух ситуациях, и чаще всего толчком для раскрытия служит острая сюжетная коллизия. Наоборот, в романах характеры действующих лиц раскрываются постепенно, в них чувствуется интерес к самому процессу анализа.

Очень важно заметить значение природы, пейзажа в рассказах Лондона. Выдающийся художник природы, замечательный мастер словесного пейзажа, Лондон в своих рассказах всегда придает пейзажу некий активный характер: пейзаж становится у него как бы действующим лицом, он не просто фон, он используется для портрета действующих лиц как возможность раскрыть мужество северных героев, первобытную непосредственность и силу людей с островов Тихого океана. Надо всеми пейзажами рассказов Лондона господствуют величественные образы моря — Лондон был одним из крупных маринистов среди писателей

XX века — и образ безлюдной снеговой пустыни, образ «Белого безмолвия», зачаровавший его во время его собственной «Северной Одиссеи».

Лучшие рассказы Лондона учат писателей великой экономности средств, искусству отбора их, искусству сконцентрированного изложения и многообразного эмоционального воздействия на читателей самых разных возрастов и вкусов. Кто устоит перед прелестью этих набросков, полных красками, звуками, запахом жизни, полных действием, которое никогда не оставит нас равнодушными к тому, о чем говорит писатель.

Мы поместили в нашем однотомнике и статью Д. Лондона о романе Горького «Фома Гордеев» — этот образец публицистики Лондона, поместили не только потому, что в ней видно мастерство Лондона в этом жанре, но и потому, что статья звучит как манифест большого писателя, чье творчество отразило наступление новой эры в истории мирового искусства, в истории человечества.

Р. САМАРИН

МАРТИН ИДЕН

ПЕРЕВОД ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Е. КАЛАШНИКОВОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тот, что шел впереди, отпер дверь французским ключом. Молодой парень, шагавший следом, прежде чем переступить порог, неловко сдернул кепку с головы. На нем была простая, грубая одежда, пахнувшая морем; в просторном холле он как-то сразу оказался не на месте. Он не знал, что делать со своей кепкой, и собрался уже запихнуть ее в карман, но в это время спутник взял кепку у него из рук и сделал это так просто и естественно, что парень был тронут. «Он понимает,— пронеслось у него в голове,— он меня не выдаст».

Раскачиваясь на ходу, широко расставляя ноги, словно пол под ним опускался и поднимался на морской волне, он шел за своим спутником. Огромные комнаты, казалось, были слишком тесны для его размашистой походки,— он все время боялся зацепить плечом за дверной косяк или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Он шарахался из стороны в сторону и тем увеличивал опасность, существовавшую больше в его воображении. Между роялем и столом, заваленным книгами, могли свободно пройти шесть человек, но он отважился на это лишь с замиранием сердца. Его большие руки беспомощно болтались, он не знал, куда их деть. И когда вдруг ему показалось, что он вот-вот заденет книги на столе, он отпрянул, как испуганный конь, и едва не повалил табурет у рояля. Он взглянул на своего уверенно шагавшего спутника и впервые в жизни подумал о том, как неуклюжа его собственная походка и как она отличается от походки других людей. На мгновение его обожгло стыдом от этой мысли. Капли пота выступили у него на лбу, и, остановившись, он вытер свое бронзовое лицо носовым платком.

— Артур, дружище, погодите немножко,— сказал он, пытаясь шутливым тоном замаскировать свое смущение.— Слишком уж для меня много на первый раз. Дайте собраться с духом. Вы ведь знаете, что я не хотел идти, да и вашим-то едва ли так уж не терпится посмотреть на меня.

— Пустяки! — последовал успокоительный ответ.— Вам нечего бояться нас. Мы люди простые... Эге! Кажется, мне письмо!

Артур подошел к столу, вскрыл конверт и стал читать, предоставляя гостю возможность прийти в себя. И гость это понял и оценил. Он был от природы чуток и отзывчив и, несмотря на внешнюю растерянность, не утратил этих чувств и сейчас. Он снова вытер лоб и обвел комнату сосредоточенным взглядом, но в этом взгляде все еще была тревога, как у дикого животного, опасающегося западни. Он был окружен неведомым, он боялся того, что его ожидало, он не знал, что ему делать, и понимал, что держится нескладно и что, вероятно, нескладность эта проявляется не только в походке и жестах. Чувствительность его была обострена, смущение дошло до предела, и лукавый взгляд, который украдкой бросил на него Артур поверх письма, поразил его, как удар ножом. Он поймал этот взгляд, но не подал виду, так как многому уже успел научиться, и прежде всего дисциплине. Однако его гордость была ранена. Он выругал себя за то, что пришел, но тут же решил: будь что будет, но раз уж он здесь, то выдержит все до конца. Лицо его приняло суровое выражение, и в глазах сверкнул сердитый огонь. Он снова огляделся, теперь уже более уверенно, стараясь запечатлеть в своем мозгу все детали окружающей обстановки. Ничто не ускользнуло от его широко раскрытых глаз: и по мере того как он глядел на эти красивые вещи, сердитый огонь в его глазах угасал, сменяясь теплым блеском. Он всегда живо откликался на красоту, а здесь было на что откликнуться.

Его внимание привлекла картина на стене, писанная маслом. Могучий вал разбивался о прибрежную скалу; низкие, грозовые облака покрывали небо, а по бушующим волнам, освещенная закатными лучами, неслась маленькая шхуна, сильно накренившись, так, что вся ее палуба была открыта взгляду. Это было красиво, а красота неодолимо влекла его. Он забыл о своей неуклюжей походке и подошел к картине вплотную. Красоты как не бывало. Он с недоумением взирал на то, что теперь казалось грубой мазней. Затем он отошел. И тотчас же картина снова стала прекрасной. «Картина с фокусом»,— решил он, отворачиваясь, и среди новых нахлынувших впечатлений успел с негодо-

ванием подумать о том, что столько красоты принесено в жертву ради глупого фокуса. Он не имел понятия о живописи. До сих пор он знал лишь хромолитографии, которые были одинаково гладки и отчетливы издали и вблизи. Правда, в витринах магазинов он видал картины, написанные красками, но стекло не позволяло разглядеть их как следует.

Он оглянулся на своего друга, читавшего письмо, и взгляд его упал на лежавшие на столе книги. Его глаза загорелись жадностью, как у голодного при виде пищи. Он невольно шагнул к столу и начал с волнением перебирать книги. Он глядел на заглавия и имена авторов, читал отдельные фразы в тексте, ласкал книги взглядом, любовно поглаживал и вдруг узнал книгу, которую недавно прочел. Но все другие книги были ему совершенно неизвестны, так же как и их авторы. Ему понался томик Суинберна, он стал читать и забыл, где находится; лицо его разгорелось. Дважды он закрывал книгу, чтоб посмотреть имя автора, указательным пальцем заложив страницу. Суинберн! Он запомнит имя. У этого Суинберна был, видно, наметанный глаз, он умел видеть очертания и краски. Но кто он такой? Умер он лет сто тому назад, как большинство поэтов, или жив и еще пишет? Он перевернул заглавную страницу. Да, этот Суинберн написал и другие книги. Ладно, завтра же утром он пойдет в публичную библиотеку и попробует достать что-нибудь из его сочинений.

Он так увлекся чтением, что не заметил, как в комнату вошла молодая девушка. Его заставил опомниться голос Артура:

— Руфь! Это мистер Иден.

Книга захлопнулась, и сразу же его пронизало новое, еще незнакомое ощущение, вызванное, однако, не появлением девушки, а словами ее брата. В этом мускулистом теле жила обостренная чувствительность. Под малейшим воздействием внешнего мира его чувства и мысли вспыхивали и играли, как пламя. Он был необычайно восприимчив и впечатлителен, а его пылкое воображение все время работало, устанавливая связь между вещами, их сходство и различие. Слова «мистер Иден» — вот что заставило его вздрогнуть. Он, которого всю жизнь звали «Иден», или «Мартин Иден», или просто «Мартин»,— вдруг «мистер». «Это уже кое-чего стоит»,— отметил он про себя. Его сознание вдруг словно превратилось в огромную камеру-обскуру, и перед ним, обгоняя друг друга, замелькали знакомые картины: кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы; все это нанизалось на один стержень — форму обращения, к которой он привык в жизни.

Но тут он обернулся и увидел девушку. Беспорядочные видения, роившиеся в его памяти, сразу исчезли. Перед ним было бледное, воздушное существо с большими одухотворенными голубыми глазами, в короне пышных золотых волос. Он не знал, как она одета,— знал лишь, что наряд на ней такой же чудесный, как и она сама. Он мысленно сравнил ее с бледно-золотым цветком на тонком стебле. Нет, скорей она дух, божество, богиня,— такая возвышенная красота не может быть земной. Или в самом деле правду говорят книги, и в других, высших кругах общества много таких, как она? Вот ее бы воспеть этому Суинберну. Может быть, он и думал о ком-нибудь, похожем на нее, когда описывал Изольду в книге, которая лежит там, на столе. Вся эта смена мыслей, образов и чувств заняла одно мгновение. А внешние события шли своей непрерывной чередой. Руфь протянула ему руку, и он заметил, как прямо смотрела она ему в глаза во время крепкого, совсем мужского рукопожатия. Женщины, которых он знавал, не так пожимали руку. Они вообще редко здоровались за руку. Его снова захлестнул поток пестрых картин, воспоминаний о встречах и знакомствах с разными женщинами. Но он отогнал все эти воспоминания и смотрел на нее. Такой он никогда не видел. Женщины, которых он знавал... Немедленно рядом с нею выстроились «те» женщины. В течение секунды, показавшейся вечностью, он словно стоял посреди портретной галереи, в которой она занимала центральное место, а вокруг теснилось множество женщин, и каждую надо было оценить беглым взглядом, сравнить с нею. Он увидел худые, болезненные лица фабричных работниц и задорных девчонок городской улицы; увидел батрачек с огромных скотоводческих ранчо и смуглых жительниц Мексики с неизменной сигаретой в зубах. Потом замелькали похожие на кукол японки, семенящие на деревянных подошвах; женщины Евразии с тонкими чертами лица, уже отмеченные признаками вырождения; за ними пышнотелые женщины островов Тихого океана, в венках из цветов, оттеняющих их темную кожу. И, наконец, всех оттеснила чудовищная, кошмарная толпа — растрепанные потаскухи с панелей Уайтчепела, пропитанные джином ведьмы из темных притонов, целая вереница исчадий ада, грязных и развратных, жалкие подобия женщин, подстерегающие моряков на стоянках, отбросы гаваней, пена и накипь людского котла.

— Садитесь, мистер Иден,— сказала девушка.— Мне так хотелось познакомиться с вами после того, что нам рассказал Артур. Это был такой смелый поступок.

Он остановил ее движением руки и пробормотал, что все это сущий вздор, что всякий поступил бы так же на его месте. Она заметила, что рука, которую он поднял, покрыта недавними, заживающими ссадинами; посмотрела на другую руку и увидела то же самое. Потом, скользнув быстрым испытующим взглядом по его лицу, она заметила шрам на щеке, другой на лбу, под самыми волосами, и, наконец, третий, исчезавший за крахмальным воротничком. Она подавила улыбку, увидав красную полоску, натертую воротничком на его бронзовой шее. Он, видимо, не привык носить воротнички. Ее женский глаз отметил и дурной, мешковатый покрой его костюма, складки у плеч, морщины на рукавах, под которыми обрисовывались могучие бицепсы.

Повторяя, что в его поступке нет ничего особенного, он послушно шагнул к креслу. При этом он успел полюбоваться той непринужденной грацией, с которой села она, и смутился еще больше, представив себе свою нескладную фигуру. Это было ново для него. Ни разу в жизни не задумывался он над тем, ловок он или неуклюж. Ему никогда в голову не приходило смотреть на себя с такой точки зрения. Он осторожно присел на край кресла, не зная, куда деть свои руки. Как он их ни клал, они все время мешали ему. А тут еще Артур вышел из комнаты, и Мартин Иден с невольной тоской посмотрел ему вслед. Оставшись в комнате наедине с этим бледным духом в женском облике, он окончательно растерялся. Тут не было ни стойки, где можно спросить джину, ни мальчишки, которого можно послать за пивом, чтобы дружеская беседа потекла свободно, смоченная этими располагающими к общению напитками.

— У вас шрам на шее, мистер Иден,— сказала девушка.— Откуда он? Наверно, это след какого-нибудь необычайного приключения?

— Мексиканец меня хватил ножом, мисс,— отвечал он, проведя языком по губам и кашлянув, чтобы прочистить горло.— Была потасовка. А потом, когда я вырвал у него нож из рук, он хотел откусить мне нос.

Он сказал это совершенно просто, а перед его глазами возникла картина той душной звездной ночи в Салина-Круц: белая полоска берега, огни груженных сахаром пароходов, голоса пьяных матросов в отдалении, толкотня грузчиков, искаженное яростью лицо мексиканца, звериный блеск его глаз при звездном свете, холод стали на шее, струя крови, толпа и крики, два тела, сплетенные вместе и катающиеся на песке, и мелодичный звон гитары где-то вдали. Так это было, и, вздрогнув при одном

воспоминании, он подумал о том, сумел ли бы изобразить все это красками тот, кто написал картину, висевшую на стене. Белый берег, звезды, огни грузовых пароходов — все это должно бы здорово получиться,— а посредине, на песке, темная толпа вокруг дерущихся. Он решил, что и нож следовало изобразить на картине,— сталь так красиво блестела бы при свете звезд.

Но обо всем этом он не сказал ни слова.

— Да, он хотел откусить мне нос,— повторил он только.

— О! — воскликнула девушка, и в тоне ее голоса и в выражении лица он почувствовал замешательство. Он и сам смешался, легкая краска разлилась по его загорелым щекам, но ему показалось, что они пылают, как будто он целый час провел у открытой топки котла. О таких неприглядных предметах, как поножовщина, едва ли удобно беседовать со светской дамой. В книгах люди ее круга никогда таких разговоров не вели,— может быть, они даже не знали о подобных вещах.

Произошла легкая заминка в едва успевшей завязаться беседе. Тогда Руфь снова задала вопрос, на этот раз о шраме у него на щеке. Когда она сделала это, он понял, что она старается говорить с ним о том, что ему близко, и тут же решил, ответив, перевести затем разговор на то, что близко ей.

— Случай такой вышел,— сказал он, проводя рукой по щеке.— Однажды ночью, в большую волну, сорвало грот со всеми снастями. Трос-то был проволочный, он и стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его поймать. Ну, я бросился и закрепил его, только при этом меня звездануло по щеке.

— О! — воскликнула она опять, на этот раз с некоторым участием, хотя все эти «гроты» и «тросы» были для нее настоящей китайской грамотой.

— Этот... Свайнберн,— начал он, осуществляя свой план, но при этом делая ошибку в произношении.

— Кто?

— Свайнберн,— повторил он,— поэт.

— Суинберн,— поправила она его.

— Да, он самый,— проговорил он, снова покраснев.— Давно он умер?

— Я не слыхала, чтобы он умер.— Она посмотрела на него с любопытством.— А где вы с ним познакомились?

— Да я его и в глаза не видал,— отвечал он.— Я прочитал кое-что из его стишков вон в той книжке на столе, как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи нравятся?

Она заговорила свободно и легко об интересовавшем его предмете. Он почувствовал себя лучше и даже поудобнее усел-

ся, продолжая, однако, крепко держаться за ручки кресла, словно опасался, что оно уйдет из-под него и он шлепнется на пол. Ему удалось подсказать тему, ей близкую, и теперь он напряженно слушал, удивляясь тому, как много знаний укладывается в ее хорошенькой головке, и наслаждаясь созерцанием ее хрупкой красоты. Он старался понять то, что слышал, хотя незнакомые слова, так просто слетавшие с ее губ, повергали его в недоумение, да и весь ход ее мысли был ему совершенно чужд. Однако все это заставляло работать его мозг. Вот где умственная жизнь, думал он, вот где красота, яркая и чудесная, какая даже не снилась ему. Он забыл все окружающее и жадными глазами впился в девушку. Да, вот оно — то, для чего стоит жить, чего стоит добиваться, из-за чего стоит бороться и ради чего стоит умереть. Книги говорили правду. Бывают на свете такие женщины. Вот одна из них. Она окрылила его воображение, и огромные яркие полотна возникали перед ним, и на них роились таинственные, романтические образы, сцены любви и героических подвигов во имя женщины — бледной женщины, золотого цветка. И сквозь эти зыбкие, трепетные видения, как чудесный мираж, он видел живую женщину, говорившую ему об искусстве и литературе. Он слушал и смотрел, не подозревая, что в его глазах, в устремленном на нее пристальном взгляде отражается вся мужская сущность его натуры. Но она, мало знавшая о жизни и о мужчинах, вдруг по-женски насторожилась, поймав его пылающий взгляд. Еще ни один мужчина не смотрел на нее так, и этот взгляд смутил ее. Она запнулась и умолкла, потеряв нить рассуждений. Этот человек пугал ее, и в то же время ей почему-то было приятно, что он так на нее смотрит. Привитые воспитанием навыки предостерегали ее против опасности и силы этого таинственного, коварного обаяния; но инстинкт звенел в крови, требуя, чтобы она забыла, кто она и что она, и устремилась навстречу этому гостю из другого мира, этому неуклюжему юноше с израненными руками и красной полоской на непривычной к воротничку шее,— юноше, носившему на себе явный и неприглядный отпечаток грубой жизни среди грубых людей. Она была чиста, и вся чистота ее возмущалась; но она была женщина, и к тому же только что начавшая познавать удивительный парадокс женской природы.

— Значит, как я говорила... А что я говорила? — вдруг воскликнула она, оборвав фразу, и сама весело рассмеялась.

— Вы говорили, что этот Суинберн не сделался великим поэтом, потому что... да... вот на этом вы как раз и остановились, мисс...

Он сказал это и почувствовал точно приступ внезапного голода. От ее смеха приятные мурашки забегали у него по спине. Точно серебро, подумал он, точно маленькие серебряные колокольчики; и в то же мгновение, и только на одно мгновение, он перенесся в далекую страну — сидел там под вишней, осыпанной розовым цветом, курил и слушал звон колокольчиков остроконечной пагоды, призывающий на молитву богомольцев в соломенных сандалиях.

— Да, да... благодарю вас,— отвечала она.— Суинберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват. У него есть такие стихотворения, которые просто не стоит читать. У настоящего поэта каждая строчка исполнена прекрасной истины и взывает к самому высокому и благородному в человеке. У великого поэта нельзя выкинуть ни одной строчки. Это было бы огромной потерей для мира.

— А мне это показалось очень хорошо,— сказал он нерешительно,— то, что я вот тут прочел... Мне и в голову не приходило, что он такой... такой грубый. Должно быть, это по другим его книгам видно.

— И в той книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба,— заявила она твердым и безапелляционным тоном.

— Мне они, верно, не попались,— сказал он.— То, что я читал, было уж очень здорово. Точно свет какой-то тебе в душу светит, вроде солнца или прожектора. Так мне показалось, мисс; да ведь я, должно быть, ни черта в стихах не смыслю.

Он вдруг умолк, мучительно сознавая свое косноязычие. В том, что он только что прочел, он почувствовал силу и теплое дыхание жизни, но ему не хватало слов, чтобы рассказать об этом. Он чувствовал себя, точно матрос на чужом судне, который темною ночью путается в незнакомой оснастке. Хорошо, решил он, значит, нужно во что бы то ни стало освоиться в этом чужом мире. Еще никогда не бывало, чтобы он не смог достигнуть того, чего хотел, а сейчас он страстно хотел научиться выражать свои чувства и мысли так, чтобы она его понимала. Она уже затмила для него весь горизонт.

— Вот, например, Лонгфелло...— начала она.

— Да, да. Я его читал,— живо перебил он, желая поскорей проявить все свои хоть и малые познания в области литературы. Пусть она убедится, что он не такой уж круглый невежда.— Я читал «Псалом жизни», «Эксцельсиор»... Да вот, кажется, и все.

Она улыбнулась, кивнула головой, и он почувствовал в ее улыбке снисходительность, жалостливую снисходительность. Он сглупил, вздумав похваляться своими убогими познаниями. Ведь этот Лонгфелло написал, наверно, несчетное множество книг.

— Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами,— сказал он,— Правду сказать, я мало смыслю в таких вещах. Это не моего ума дело... Но я добьюсь того, что это будет моего ума дело.

Последние слова прозвучали как угроза. Голос его звенел, глаза сверкали, складки в углах рта обозначились резче. Ей даже показалось, что челюсть у него выдвинулась вперед, отчего все лицо приняло какое-то неприятное, вызывающее выражение. И в то же время мощная волна мужественности, исходящая от него, захлестнула ее.

— Я верю, вы добьетесь того, чтобы... чтобы это стало вашего ума дело,— подтвердила она, смеясь.— Вы такой сильный!

Ее взгляд на миг остановился на его мускулистой, почти бычьей шее, бронзовой от солнца, пышущей здоровьем и силой. И хотя он сидел перед ней такой смущенный и робкий, ее снова потянуло к нему. У нее вдруг мелькнула сумасбродная мысль. Ей представилось, что, если б она обняла эту шею, вся его сила и мощь передались бы ей. Эта мысль устыдила ее. Точно вдруг проявилась какая-то скрытая порочность ее натуры. Кроме того, физическая сила всегда казалась ей чем-то низменным и грубым. Ее идеалом мужской красоты была до сих пор элегантная стройность. Однако странная мысль не оставляла ее. Она не понимала, как могло у нее явиться желание обнять эту загорелую шею. А между тем все было просто. Она была хрупка от природы и потому телом и душой тянулась к силе, которой ей не хватало. Но она не сознавала этого, она знала лишь, что ни один мужчина еще не затрагивал ее так сильно, как этот парень, чья неправильная речь то и дело резала ее слух.

— Да, я вообще здоров, как бык,— сказал он,— ежели понадобится, могу переварить ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему такому не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдастся время. Но только я никогда про них так не думаю, как вы. Оттого мне и говорить о них трудновато..Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что тут к чему. Может, вы мне поможете? Откуда вы сами столько знаете?

— Я училась, ходила в школу,— отвечала она.

— В школу и я ходил, когда был мальчишкой,— возразил он.

— Да, но я окончила среднюю школу, а потом ходила в университет, слушала лекции.

— Вы учились в университете? — переспросил он с неприкрытым изумлением. И сразу между ними легло пространство в миллионы миль.

— Я и сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии.

Он не знал, что значит «филология», и, отметив свое невежество в этом пункте, спросил:

— А сколько времени нужно было бы мне учиться, чтобы попасть в университет?

Она решила ободрить его в этом стремлении к знанию.

— Зависит от того, сколько вы учились раньше. Вы совсем не были в средней школе? Ну, да, конечно, нет... Но начальную школу вы окончили?

— Мне оставалось до конца всего два года,— отвечал он,— да я ушел... Но учился я всегда с наградами.

И тотчас же, браня себя за это хвастовство, он так вцепился в ручки кресла, что у него заныли пальцы. В то же мгновение он увидел, что в комнату вошла какая-то дама. Девушка тотчас же встала и пошла ей навстречу. Они поцеловались и, обнявшись, вместе направились к нему. Наверно, ее мать, решил он. Это была высокая белокурая женщина, стройная, величественная и красивая, одетая нарядно, как и подобает хозяйке такого дома. Изящные линии ее платья радовали глаз. Весь ее облик напомнил Мартину Идену женщин, виденных им на сцене. Потом он вспомнил, что таких же важных дам, так же одетых, он видел в вестибюлях лондонских театров, где, бывало, пялил на них глаза, пока полисмен не выгонит его на улицу под дождь. Вслед за этим воображение перенесло его в Иокогаму, к Гранд-Отелю, где ему тоже случалось видеть издали подобных дам. И тотчас же замелькали перед ним сотни картин Иокогамы — города и гавани. Но он принудил себя закрыть калейдоскоп памяти и сосредоточить все внимание на настоящем. Он догадался, что должен встать, чтоб быть ей представленным, и с трудом поднялся с кресла, чувствуя, как безобразно пузырятся у него брюки на коленях. Руки его беспомощно повисли, а лицо при мысли о предстоящем испытании приняло мрачное выражение.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Переход в столовую был сплошным кошмаром. Продвигаясь среди всех этих предметов, на которые можно было ежесекундно натолкнуться, он медлил, спотыкался, останавливался, и подчас ему казалось, что он никогда не доберется до цели. Но в конце концов он проделал опасный путь и теперь сидел рядом с нею. Обилие ножей и вилок испугало его. Они грозили неведомыми опасностями, и он, как зачарованный, смотрел на них, пока в глазах у него не зарябило от блеска, и на этом сверкающем фоне всплыла знакомая картина матросского кубрика, где он и его товарищи ели солонину, действуя складными ножами, а то и просто пальцами, или хлебали густой гороховый суп из общей миски помятыми железными ложками. В ноздрях у него стоял запах тухлого мяса, в ушах раздавалось громкое чавканье матросов, которому аккомпанировал скрип снастей. Он решил, что они ели, как свиньи. Ладно, тут уж он последит за собой. Постарается жевать без шума, все время будет помнить об этом.

Он окинул взглядом стол. Против него сидели Артур и второй брат, Норман. Ее братья, сказал он себе, и почувствовал к ним искреннее расположение. Как они любят друг друга, члены этой семьи! Ему вспомнилось, как Руфь встретила свою мать, как они поцеловались, как, обнявшись, направились к нему. В том мире, из которого он вышел, не в обычае были подобные нежности между родителями и детьми. Для него это послужило своего рода откровением, доказательством той утонченности чувств, которой достигли высшие классы. Из всего, что ему пришлось увидеть в этом новом для него мире, это было самое прекрасное. Он был глубоко тронут, и сердце его исполнилось нежностью. Всю свою жизнь Мартин искал любви. Его натура жаждала любви. Это было органическою потребностью его существа. Но жил он без любви, и душа его все больше и больше ожесточалась в одиночестве. Впрочем, сам он никогда не сознавал, что нуждается в любви. Не сознавал он этого и теперь. Он только видел перед собой проявления любви, и они волновали его, казались ему благородными, возвышенными, прекрасными.

Он был рад, что за столом нет мистера Морза. Достаточно с него знакомства с Руфью, с ее матерью и братом Норманом,— Артура он уже немного знал. Знакомиться еще и с отцом — это было бы слишком. Ему казалось, что еще никогда он так не трудился. Самая тяжелая работа была детской игрой по сравнению с тем, что приходилось делать сейчас. На лбу у него высту-

пили мелкие капли пота, а рубашка взмокла от усилий, которых требовало решение стольких непривычных задач сразу. Надо было есть так, как он никогда прежде не ел, пользоваться предметами, с назначением которых он не был знаком, украдкой поглядывать на других, чтобы понять, как все это делается, и в то же время вбирать в себя непрерывный поток новых впечатлений,— он едва успевал классифицировать их в своем сознании; и при этом он еще испытывал неодолимое влечение к Руфи, наполнявшее его смутной и болезненной тревогой; томился страстным желанием подняться до той жизни, которой жила она, и напряженно и непрестанно размышлял о том, как достичь этого. Искоса посматривая на Нормана, сидевшего напротив, или еще на кого-нибудь из обедающих, чтобы узнать, какой нож или вилку надо брать в том или ином случае, он старался в то же время ясно запечатлеть в своем сознании черты каждого и определить его место по отношению к Руфи. Кроме того, он должен был говорить, слушать то, что говорили ему, или то, что говорилось вокруг, отвечать, когда это было нужно, заботясь о том, чтобы язык, привыкший к распущенным речам, не сболтнул чего-нибудь неподходящего. В довершение всего существовала еще постоянная угроза в виде слуги, который бесшумно появлялся за его стулом и, подобно некоему сфинксу, задавал загадки, требуя немедленного ответа. И все время Мартину не давала покоя мысль о чашках для ополаскивания пальцев. Против воли он то и дело вспоминал об этих чашках, думал о том, какие они из себя и когда их подадут. До сих пор он знал о них только понаслышке, и вот теперь, может быть, через минуту-две, он их увидит,— ведь он сидит за одним столом с высшими существами, которые привыкли ополаскивать пальцы после еды, и должен будет сам — да, сам — это проделать. Но больше всего его занимала неотступная мысль: как ему держаться с этими людьми? Как себя вести? Он мучительно и напряженно старался разрешить эту проблему. Иногда его соблазняло желание притвориться не тем, что он есть на самом деле, но тотчас являлась опасливая мысль, что ничего у него не выйдет, что он не привык к притворству и легко может оказаться в дураках.

Занятый этими размышлениями, Мартин первую половину обеда просидел очень тихо. Он не знал, что тем самым опровергает слова Артура, предупредившего родных, что приведет обедать дикаря, но чтобы они не пугались, так как дикарь этот очень интересный. Мартину никогда не пришло бы в голову, что брат Руфи может быть способен на такое предательство, в особенности после того, как он этого брата выручил из беды. И он

сидел за столом, угнетенный сознанием собственного ничтожества и очарованный всем, что свершалось вокруг него.

Впервые он понял, что еда не просто удовлетворение физической потребности. Раньше он никогда не замечал того, что ел. Это была пища, и только. Здесь же, за этим столом, он находил удовлетворение своему чувству прекрасного, потому что еда здесь являлась эстетической функцией. И не только эстетической, но и интеллектуальной. Ум его усиленно работал. Вокруг него произносили слова, непонятные ему или же такие, которые он встречал только в книгах и которые никто из людей его мира не мог бы даже выговорить. И, слушая, как легко перебрасываются подобными словами члены этой удивительной семьи, *ее* семьи, он дрожал от восторга. Все увлекательное, высокое и прекрасное, о чем он читал в книгах, оказалось правдой. Он находился в блаженном состоянии человека, мечты которого вдруг перестали быть мечтами и воплотились в жизнь.

Никогда еще не поднимался он на такие жизненные высоты, и потому старался поменьше обращать на себя общее внимание, наблюдая и слушая, отвечая односложно: «да, мисс» и «нет, мисс», если к нему обращалась она; «да, мэм» и «нет, мэм», если к нему обращалась ее мать. Он едва удерживался, чтобы не говорить ее братьям: «слушаю, сэр», как полагалось по правилам морской дисциплины. Он чувствовал, что тем самым поставил бы себя в приниженное положение, а этого не должно быть, если он хочет завоевать ее. Да и гордость его восставала против этого. Ей-богу, думал он, я не хуже их; и если они знают многое, чего я не знаю, то и я их тоже мог бы кой-чему научить. Но в следующий миг, когда она или ее мать говорили ему: «мистер Иден»,— он забывал свою строптивую гордость и сиял от восторга. Он был сейчас цивилизованным человеком — да, да, вот именно — и обедал в обществе людей, о которых раньше только читал в книжках. Он словно сам попал в книгу и странствовал по страницам переплетенного тома.

Но, сидя за столом и уподобляясь скорее кроткому ягненку, чем изображенному Артуром дикарю, Мартин не переставал ломать голову над тем, как ему быть. Он вовсе не был кротким ягненком, и его властная натура не мирилась со второстепенной ролью. Он говорил только тогда, когда это было необходимо, и речь его очень напоминала его переход из гостиной в столовую — он так же поминутно спотыкался и останавливался, роясь в своем многоязычном лексиконе и опасаясь, что нужные слова он не сумеет произнести как следует, а иные, знакомые ему, окажутся грубыми или непонятными. Все время его угнетала

мысль, что эта скованность речи вредит ему, мешает выразить то, что он на самом деле чувствует и думает. Кроме того, словесная узда стесняла его независимый дух точно так же, как крахмальный воротничок давил его шею. Он знал, что долго не выдержит. Чувства и мысли, обуревавшие его, настоятельно стремились вылиться наружу и принять определенную форму; и в конце концов он забыл, где находится, и старое, знакомое слово, одно из тех, которыми он привык пользоваться, сорвалось с его языка.

Мартин отстранил блюдо, которое назойливо предлагал ему лакей, торчавший у него за спиной, и сказал кратко и выразительно:

— Пау.

Все за столом мгновенно застыли в ожидании, слуга с трудом сдержал злорадную ухмылку, а сам Мартин оцепенел, объятый ужасом. Но он быстро овладел собою.

— Это канакское слово,— сказал он,— означает: «хватит», «довольно». Так уж у меня вырвалось, нечаянно.

Он поймал любопытный взгляд Руфи, устремленный на его руки, и, придя в разговорчивое настроение, продолжал:

— Я недавно приплыл на одном из пароходов тихоокеанской почтовой линии. Он опаздывал, и нам пришлось здорово поработать на погрузке в портах залива Пюджет. Вот я и поободрал себе шкуру.

— А я вовсе не на то смотрела,— поспешно сказала она.— У вас очень маленькие руки для такого крупного мужчины.

Он покраснел, словно ему указали еще на один его недостаток.

— Да,— сказал он огорченно,— кулаки у меня маловаты, это верно. Но бицепсы здоровые и удар что надо. Как заеду кому-нибудь в зубы, так непременно руки в кровь расшибу.

Мартин был недоволен тем, что сказал. Он почувствовал отвращение к себе: перестал следить за собой и сразу наболтал лишнего о вещах не очень красивых.

— Как смело было с вашей стороны прийти на помощь Артуру, тем более что он вам совсем чужой,— сказала Руфь деликатно, заметив его смущение, но не поняв причины.

Он же вполне понял и оценил ее тактичность и, увлеченный порывом благодарности, опять дал волю своему языку.

— Ерунда,— сказал он,— каждый сделал бы то же на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их и не трогал. Они набросились на него, а я на них,— ну и отдул их порядком. Правда, руки у меня пострадали, ну

да зато кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу...

Он вдруг умолк, с раскрытым ртом, потрясенный собственным ничтожеством, чувствуя, что недостоин даже дышать одним воздухом с нею. И в то время как Артур, подхватив разговор, в двадцатый раз стал рассказывать о приключении на пароме,— как на него напали какие-то пьяные хулиганы и как Мартин Иден бросился на них и спас его,— герой этого приключения, насупив брови, молча думал о том, что выставил себя болваном, и еще больше прежнего терзался вопросом, как же нужно вести себя в обществе этих людей. Он явно делал все время не то, что надо. Он был не их породы и не умел говорить их языком. Это для него было несомненно. Подделываться под них? Но из этого ничего бы не вышло, да и вообще притворство было не в его натуре. В нем не было места для обмана и фальши. Будь что будет, но он должен оставаться самим собою. Сейчас он не может говорить так, как говорят они, но со временем сможет: это он решил твердо. А пока — не молчать же ему! — он будет говорить своим языком, разумеется, смягчая выражения, чтобы его речь не шокировала их и была им понятна. Больше того, он не хочет своим молчанием дать повод думать, будто ему ясно то, что на самом деле ему совершенно неясно. Поэтому, когда братья, говоря об университетских делах, несколько раз употребили слово «триг», Мартин Иден, следуя своему решению, спросил их:

— Что такое «триг»?

— Тригонометрия,— отвечал Норман.— Часть высшей «матики».

— А «матика» что такое? — был следующий вопрос, и на этот раз почему-то все засмеялись, глядя на Нормана.

— Математика — ну, арифметика,— отвечал тот.

Мартин Иден кивнул головой. Он заглянул в бесконечные, на первый взгляд, дали мудрости. Но то, что он увидел, приняло для него осязаемые формы. Необычайная сила его воображения воплощала абстрактные понятия в конкретные образы. В алхимическом приборе его мозга тригонометрия и математика и вся область знания, обозначением которой служили эти слова, превратилась в яркий ландшафт. Он видел, как на картине, зеленую листву, лесные прогалины, то ярко освещенные, то лишь пронизанные золотистыми лучами. Издалека все казалось окутанным легкой пурпурной дымкой, но за этой дымкой, он знал твердо, лежала страна неведомого, страна романтических чудес. Все это пьянило его, как вино. Тут была почва для под-

вига, простор для мыслей и дел, мир, который можно было завоевать,— и тотчас же из глубины сознания всплыла мысль: завоевать ради нее, бледной, как лилия, девушки, сидящей рядом с ним.

Сверкающее видение было разрушено Артуром, который прилагал все старания, чтобы в Мартине Идене проявился наконец дикарь. Мартин помнил свое решение. Впервые за весь вечер он стал самим собою и сначала с усилием, а потом свободно, увлекшись радостью творчества, стал рассказывать, стараясь представить жизнь такой, какою он ее знал. Он был матросом на контрабандистской шхуне «Алкион», когда ее захватил таможенный катер. Мартин умел видеть и вдобавок умел рассказать о том, что видел. Он описывал бурное море, корабли и людей команды и силой своего воображения заставлял слушателей смотреть его глазами. С чутьем настоящего художника он выбирал из множества подробностей самое яркое и разительное, создавал картины, полные света, красок и движения, увлекая слушателей своим самобытным красноречием, вдохновением и силой. Иногда их шокировала реальность описаний или отдельные обороты речи, но грубое в его рассказе неизменно чередовалось с прекрасным, а трагизм смягчался юмором, причудливыми и веселыми образцами остроумия моряков.

И пока Мартин Иден говорил, Руфь смотрела на него с восхищением. Его огонь согревал ее. Она впервые почувствовала, что все эти годы жила, не зная тепла. Ей хотелось прильнуть к этому могучему, пылкому человеку, в котором клокотал вулкан силы и здоровья. Желание это было так сильно, что она с трудом сдерживала себя. Но в то же время что-то и отталкивало ее от Мартина. Отталкивали эти израненные мозолистые руки, в кожу которых словно въелась житейская грязь, эти вздувшиеся мускулы, эта шея, натертая воротничком. Его грубость пугала ее. Каждое грубое слово оскорбляло ее слух, каждая грубая подробность его жизни оскорбляла ее чувства. И все-таки ее влекла к нему какая-то, как ей казалось, сатанинская сила. Все, что так твердо устоялось в ее сознании, вдруг стало колебаться. Его жизнь, полная романтики и приключений, опрокидывала все привычные ей условные представления. Она слушала его смех, его веселые рассказы об опасностях, и жизнь уже не казалась ей чем-то серьезным и трудным, а скорее игрушкой, которой приятно поиграть, повертеть во все стороны, но которую можно и отдать без особого сожаления. «Вот и ты играй,— говорил ей внутренний голос,— прижмись к нему, если тебе так хочется, обними его за шею». Ее ужаснула легко-

мысленность этих побуждений, но напрасно заставляла она себя думать о своей чистоте, своей культуре — обо всем том, что отличало ее от него. Посмотрев кругом, Руфь увидела, что и остальные слушают его, как завороженные, но в глазах своей матери она прочла тот же ужас,— восторженный, но все-таки ужас,— и это придало ей силы. Да, этот человек, пришедший из мрака,— порождение зла. Ее мать тоже видит это,— значит, так и есть. Руфь была готова положиться на суждение матери, как привыкла полагаться всегда. Пламя Мартина перестало жечь ее, и страх, который он ей внушал, потерял свою остроту.

После обеда она играла ему на рояле, с тайным вызовом, с неосознанным желанием еще увеличить пропасть, их разделявшую. Ее музыка ошеломила Мартина, подействовала на него, как жестокий удар по голове, но, ошеломив и сокрушив, в то же время всколыхнула его душу. Он смотрел на Руфь с благоговением. Как и она, он почувствовал, что пропасть между ними еще увеличилась, но тем сильнее хотелось ему перешагнуть через нее. Он был слишком полон жизни и энергии, чтобы целый вечер покорно созерцать эту пропасть, в особенности когда еще при этом звучала музыка. Музыка на него всегда сильно действовала. Она, точно крепкое вино, горячила его чувства, опьяняла воображение и уносила в заоблачную высь. У него словно вырастали крылья. Неприглядная действительность переставала существовать, уступая место прекрасному и необычайному. Он, конечно, не понимал того, что играла Руфь. Это было совсем не похоже на звуки разбитого пианино, которые он слышал на матросских танцульках, или на оглушительную медь духового оркестра. Но в книгах ему случалось читать о такой музыке, и он принимал на веру игру Руфи, не находя в ней простого и четкого ритма, к которому привыкло его ухо. Иногда ему казалось, что он уловил ритмический рисунок, и он уже готов был подчинить ему строй образов, вставших перед ним, но тотчас же снова терялся в хаосе звуков, и его воображение беспомощно низвергалось на землю, как лишенная опоры тяжесть.

Один раз Мартину даже пришло в голову,— уж не смеется ли она над ним. В ее игре ему чудилось нечто враждебное, и он старался угадать, что хотели сказать ее руки, ударявшие по клавишам. Но он поспешно отогнал эту недостойную мысль и постарался свободно отдаться музыке. Прежнее очарование постепенно опять овладело им. Его ноги словно отделились от земли, плоть стала духом, лучезарное сияние разлилось перед

глазами. Все, что было вокруг, исчезло, он парил над каким-то неведомым миром, мечту о котором лелеял давно. Знакомое и незнакомое смешалось в ярком и неотступном видении. Он входил в гавани неведомых жарких стран, блуждал по людным площадям в селениях никому не известных диких племен. Он снова чувствовал пряный аромат южных островов, который привык вдыхать в знойные ночи на море, снова долгие тропические дни боролся с пассатным ветром среди увенчанных пальмами коралловых рифов, то исчезавших, то вновь появлявшихся на бирюзовой поверхности океана. Картины возникали и исчезали быстро, как мысли. То он скакал на коне по выжженной солнцем пустыне Аризоны, то, в следующее мгновение, сквозь радужную дымку раскаленного воздуха заглядывал в белую гробницу калифорнийской Долины Смерти или ударял веслами по волнам Ледовитого океана, где сверкали на солнце ледяные громады. То лежал на коралловом острове под кокосовой пальмой, прислушиваясь к мерному шуму прибоя. Остов старого, потерпевшего крушение судна пылал синеватым пламенем, и при этом таинственном свете танцоры плясали «гулу» под страстные завывания певцов, под звон гавайской гитары и грохот тамтама. Стояла полная истомы тропическая ночь. Вдали, на фоне звездного неба, вырисовывался силуэт вулкана. Вверху над головой медленно плыл бледный месяц, и низко над горизонтом сияли звезды Южного Креста.

Он словно превратился в эолову арфу. То, что он пережил и изведал на своем веку, было струнами, а музыка — ветром, который колебал эти струны, и они вибрировали, порождая воспоминания и мечты. Он не просто чувствовал. Каждое ощущение принимало у него форму и окраску и претворялось в образы каким-то чудесным и таинственным путем. Прошедшее, настоящее и будущее сливалось в одно; он уносился в огромный, жаркий, прекрасный мир, совершал великие подвиги, добиваясь Ее. И вот он с ней, он владеет ею, заключает ее в свои объятия, увлекает в царство своих грез.

Руфь, взглянув на Мартина через плечо, прочла на его лице то, что он чувствовал. Это было совсем другое лицо, с большими сверкающими глазами, взгляд которых будто проникал за пелену звуков и там ловил биение живой жизни и исполинские призраки фантазии. Она была потрясена. Грубый, неуклюжий парень исчез. Плохо сшитый костюм, израненные руки и обожженное солнцем лицо по-прежнему были перед ней, но теперь все это казалось ей лишь тюремной решеткой, сквозь которую она видела великую душу, беспомощную и не-

мую, ибо не было слов, которые могли выразить волновавшие ее чувства. Но все это Руфь видела лишь один миг; неуклюжий парень появился снова, и она рассмеялась своей фантазии. Однако впечатление от этого мига сохранилось, и когда Мартин неловко подошел к ней, чтобы проститься, она дала ему томик Суинберна и еще томик Браунинга,— как раз сейчас она изучала Браунинга в курсе английской литературы. Мартин вдруг показался ей совсем мальчиком, когда стоял перед нею и бормотал слова благодарности, и она невольно почувствовала к нему почти материнскую нежность и жалость. Она забыла и грубого парня, и плененную душу, и мужчину, который так по-мужски смотрел на нее, волнуя и в то же время пугая своим взглядом. Она видела перед собою лишь мальчика, и этот мальчик, пожимая ее руку своей рукой, такой жесткой и огрубевшей, что она царапала кожу, говорил ей, запинаясь:

— Самый замечательный день в моей жизни. Видите ли, я не очень привык ко всему этому,— он растерянно оглянулся,— к таким людям и к таким домам. Это все совсем ново для меня... и это мне нравится.

— Надеюсь, вы к нам еще придете,— сказала она, когда он прощался с ее братьями.

Он напялил кепку, неловко споткнулся о порог и вышел.

— Ну, как он тебе понравился? — спросил Артур.

— Очень занятный. Для нас это — словно струя свежего воздуха,— ответила она.— Сколько ему лет?

— Двадцать, скоро двадцать один. Я спрашивал его сегодня. Никак не предполагал, что он так молод.

«Значит, я на целых три года старше его»,— подумала Руфь, целуя братьев и желая им спокойной ночи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сойдя с лестницы, Мартин Иден запустил руку в карман и, вытащив лоскуток коричневой рисовой бумаги и щепотку мексиканского табаку, скрутил папироску. Он с наслаждением затянулся и медленно выпустил дым.

— Черт побери! — воскликнул он, и в этом возгласе было и удивление, и благоговейный восторг.— Черт побери! — повторил он и, помолчав, пробормотал еще раз: — Черт побери! — Потом он отстегнул воротничок и сунул его в карман. Моросил холодный дождь, но Мартин шел с непокрытой головой и в расстегнутом пиджаке, ничего не замечая вокруг. Лишь смутно

до его сознания доходило, что идет дождь. Он был в каком-то экстазе, грезил наяву, мысленно переживая снова все, что только что с ним произошло.

Наконец-то он встретил ту самую женщину, о которой он, правда, думал редко,— задумываться о женщинах ему было несвойственно,— но которую всегда смутно надеялся встретить на своем пути. Он сидел с нею рядом за столом, пожимал ее руку, смотрел ей в глаза и видел в них красоту ее души, равную красоте этих глаз, в которых она светилась, этого тела, в котором она обитала. Но о теле ее Мартин не думал,— и это было ново для него, потому что до сих пор он о женщинах думал только так. Ее тело было чем-то особым; казалось даже, что оно не подвержено обыкновенным телесным недугам и слабостям. Оно было не только обиталищем ее души,— оно было эманацией духа, чистейшим и прекраснейшим воплощением ее божественной сущности. Это впечатление божественности поразило Мартина и, рассеяв мечты, обратило его к более трезвым мыслям. До сих пор ни одно слово, ни одно указание, ни один намек на божественное не задевали его сознания. Мартин никогда не верил в божественное. Он всегда был человеком без религии и добродушно посмеивался над священниками, толкующими о бессмертии души. Никакой жизни «там», говорил он себе, нет и быть не может; вся жизнь здесь, а дальше — вечный мрак. Но то, что он увидел в ее глазах, была именно душа; бессмертная душа, которая не может умереть. Ни один мужчина, ни одна женщина не внушали ему прежде мыслей о бессмертии. А она внушила! Она безмолвно подсказала ему эту мысль сразу, как только взглянула на него. Ее лицо и теперь сияло перед ним, бледное и серьезное, ласковое и выразительное, улыбающееся так нежно и сострадательно, как могут улыбаться только ангелы, и озаренное светом такой чистоты, о какой он и не подозревал никогда. Чистота ее ошеломила его и потрясла. Он знал, что существуют добро и зло, но мысль о чистоте, как об одном из атрибутов живой жизни, никогда не приходила ему в голову. А теперь — в ней — он видел эту чистоту, высшую степень доброты и непорочности, в сочетании которых и есть вечная жизнь.

И его вдруг охватило честолюбивое желание приобщиться к этой вечной жизни. Он отлично знал, что недостоин и воду таскать для такой девушки, как Руфь; уже то, что он весь вечер сидел с нею и беседовал, было неожиданной и фантастической удачей. Конечно, это была только случайность. Его заслуги тут не было. Он не был достоин такого счастья. Религиозное

настроение овладело им. Он стал кротким и смиренным, готовым к самоотречению и самоунижению. В таком состоянии идет грешник к исповеди. Он был обличен во грехе. Но как всякий грешник, каясь и скорбя о своих прегрешениях, прозревает будущее блаженство, так и он видел впереди то счастье, которое даст ему обладание ею. Но мысль об этом обладании была окутана каким-то туманом и совсем не похожа на те мысли, которые возникали обычно. Честолюбивые мечты окрыляли его, ему представлялось, что он парит вместе с нею на высотах духа, наслаждается всем прекрасным и возвышенным, делит с нею ее мысли. Это было какое-то духовное обладание, освобожденное от всего грубого, вольное содружество душ, которое он никак не мог осознать до конца. Да он и не думал об этом. Он вообще ни о чем не думал. Ощущения в нем взяли верх над рассудком, и он отдался эмоциям, которых никогда прежде не испытывал, плыл по течению в океане чувств, возвышенных и утонченных, уносясь за пределы действительной жизни. Он шел шатаясь, как пьяный, и бормотал вполголоса:

— Черт побери! О, черт побери!

Полисмен на углу посмотрел на него подозрительно и по походке признал в нем матроса.

— Где это ты нагрузился? — спросил полисмен.

Мартин Иден возвратился на землю. Он был от природы наделен внутренней гибкостью, умением быстро приспособляться к обстоятельствам. Как только полисмен окликнул его, он тотчас же опомнился.

— Здорово! — воскликнул он со смехом.— А я и не заметил, что разговариваю вслух.

— Еще немножко, и ты начнешь петь,— определил его состояние полисмен.

— А вот не начну. Дайте-ка мне спичку, я сейчас сяду в трамвай и поеду домой.

Он закурил папироску, пожелал полисмену доброй ночи и зашагал дальше.

— Как вам это нравится,— пробормотал он себе под нос,— этот олух принял меня за пьяного! — Он усмехнулся про себя и подумал: «А ведь я вправду пьян, вот не думал, что могу опьянеть от женского лица».

На Телеграф-авеню он вскочил в трамвай, шедший в Беркли. Вагон был набит молодыми людьми, распевавшими студенческие песни. Он с любопытством наблюдал их. То были студенты университета. Они посещали те же лекции, которые посеща-

ла она, принадлежали к тому же обществу, могли водить с ней знакомство, могли видеть ее каждый день, если бы захотели. Он удивлялся, что они этого не хотят, что они прошатались где-то весь вечер, вместо того чтобы провести этот вечер с нею, беседовать с нею, любоваться ею восхищенно и почтительно. Он заметил одного юношу с узенькими глазками и отвислой губой. Дрянной, порочный мальчишка, решил он. На корабле это был бы трус, слюнтяй и доносчик. Мысль, что он, Мартин, куда лучше этого юнца, чрезвычайно обрадовала его. Она как будто приблизила его к ней. Он стал сравнивать себя с этими студентами. Он подумал о своем крепком, мускулистом теле и решил, что в физическом отношении всем им далеко до него. Но их головы были наполнены знаниями, которые позволяли им говорить одним языком с нею, и вот эта-то мысль угнетала его. Но для чего же мне дан мозг, с горячностью подумал он. В самом деле, разве не мог он достичь того, чего достигли они? Они изучали жизнь по книгам, в то время как он был занят тем, что жил. Его голова тоже была наполнена знаниями, только это были знания иного рода. Кто из них сумел бы натянуть парус, править рулем, отстоять вахту? Его жизнь пронеслась перед ним, полная опасностей, отваги, лишений и трудов. Он вспомнил все, что ему пришлось претерпеть, когда он проходил школу жизни. Что ж, а все-таки он не в проигрыше. Когда-нибудь и им придется столкнуться с живою жизнью и испытать все, что испытал он. И прекрасно. Пока они будут узнавать то, что ему уже давно известно, он станет по книгам изучать другую сторону жизни.

Трамвай шел мимо пустырей, которых много между Оклендом и Беркли, и Мартин Иден ждал, когда он поравняется с хорошо знакомым двухэтажным домом, украшенным горделивой вывеской: «Розничная торговля Хиггинботама». Возле этого дома он соскочил с трамвая и с минуту смотрел на вывеску. Она говорила ему больше, чем можно было на ней прочесть. Мелочностью, себялюбием и ничтожеством веяло, казалось, от самих букв. Бернард Хиггинботам был мужем сестры Мартина, и Мартин достаточно хорошо успел изучить его. Он отпер дверь своим ключом и поднялся по лестнице во второй этаж. Тут жил его зять. Лавка находилась внизу, но запах гнилых овощей проникал и сюда. Пробираясь по темной прихожей, он споткнулся об игрушечную тележку, забытую кем-то из его многочисленных племянников и племянниц, и с грохотом налетел на дверь. «Скряга,— подумал он,— жалеет уплатить два лишних цента за газ, чтобы жильцы не разбивали себе носов».

Нащупав ручку, он открыл дверь и вошел в освещенную комнату, где сидели его сестра и Бернард Хиггинботам. Она чинила его брюки, а он читал газету, расположившись на двух стульях и вытянув костлявые ноги в стоптанных ковровых туфлях. Когда Мартин вошел в комнату, он взглянул на него поверх газеты темными, пронзительными, хитрыми глазками. В Мартине Идене Бернард всегда вызывал инстинктивное отвращение. Что могло привлечь сестру в этом человеке? Он ему казался каким-то гадом и вызывал непреодолимое желание раздавить его каблуком. «Когда-нибудь я набью ему морду»,— утешал он себя, и только эта мысль помогала ему терпеть присутствие зятя. Сейчас злые и хищные глазки смотрели на Мартина неодобрительно.

— Ну,— спросил Мартин,— в чем дело?

— Эту дверь только на прошлой неделе окрасили,— произнес мистер Хиггинботам не то жалобно, не то злобно,— а ты знаешь, какую плату теперь дерут союзы. Можно было бы поосторожнее!

Мартин хотел было ответить, но раздумал, решив, что это все равно бесполезно. Чтобы отделаться от гадливого чувства, он посмотрел на хромолитографию, висевшую на стене. Он удивился. Всегда эта картина нравилась ему, но теперь он словно впервые ее заметил. Это была дешевка, третий сорт, как и все в этой лачуге. Ему вдруг представился тот дом, который он только что покинул, и он увидел сначала картины на стенах, а потом Ее, с ласковой улыбкой пожимающую ему руку на прощание. Он забыл, где находится, забыл о существовании Бернарда Хиггинботама и опомнился только, когда названный джентльмен спросил его:

— Привидение ты увидел, что ли?

Мартин пришел в себя и, взглянув в злые, хитрые глазки зятя, вдруг вспомнил, какие они бывают, когда обладатель их отпускает товар в лавке,— масленые, слащавые, с заискивающим, рабски-угодливым выражением.

— Да,— отвечал Мартин,— я увидел привидение. Покойной ночи! Покойной ночи, Гертруда!

Он направился к двери и по дороге опять споткнулся и чуть не упал, зацепившись за складку пыльного ковра.

— Не хлопай дверью,— предостерегающе окликнул мистер Хиггинботам.

Мартину кровь бросилась в голову, но он сдержался и осторожно затворил за собою дверь.

Мистер Хиггинботам торжествующе поглядел на жену.

— Пьян,— объявил он хриплым шепотом.— Я тебе говорил, что он налижется!

Жена покорно кивнула головой.

— У него, правда, глаза блестят,— признала она,— и воротничок куда-то девался, а пошел он из дому в воротничке. Но, может, он не так уж много выпил.

— Он еле на ногах держится,— возразил ее супруг,— я наблюдал за ним. Шагу не мог ступить, чтобы не споткнуться. Ты слышала, как он чуть не свалился в передней?

— Верно, наскочил на тележку Алисы,— отвечала она,— не заметил ее в темноте.

Мистер Хиггинботам повысил голос, давая волю нарастающему раздражению. Весь день он скромно стушевывался перед покупателями в ожидании вечера, когда в кругу семьи сможет наконец позволить себе стать самим собою.

— Я тебе говорю, что твой прекрасный братец пьян!

Он говорил резким, холодным, решительным тоном, чеканя слова, точно штампуя их на станке. Жена грустно умолкла. Это была толстая, рыхлая женщина, всегда небрежно одетая, всегда изнемогающая под бременем своего тела, своей работы и вздорного характера своего супруга.

— Это у него наследственное, от папаши,— продолжал тот прокурорским тоном.— Тоже кончит где-нибудь под забором. Так и знай!

Она опять кивнула и со вздохом принялась шить. Оба были убеждены, что Мартин пришел домой пьяный. Их души были глухи ко всему прекрасному, иначе они бы поняли, что эти сверкающие глаза и сияющее лицо были отражением первой юношеской любви.

— Хорош пример для детей! — закричал вдруг мистер Хиггинботам, раздраженный молчанием жены. Иногда ему хотелось, чтобы она почаще возражала ему.— Если это случится еще раз, пусть убирается вон. Поняла? Я не желаю, чтобы невинные дети развращались, глядя на его пьяную харю! — Мистер Хиггинботам любил употреблять слова, только что вычитанные в газете.— Да, развращались. Иначе не скажешь.

Но жена по-прежнему только вздыхала, качала головой и продожала шить. Мистер Хиггинботам снова взял газету.

— А он заплатил за прошлую неделю? — спросил он вдруг, выглядывая из-за газетного листа.

Она утвердительно наклонила голову.

— У него еще есть деньги.

— А скоро он опять отправится в плавание?

— Должно быть, как все истратит,— отвечала она.— Он уж вчера ездил в Сан-Франциско — посмотреть, нет ли подходящего судна. Но пока у него деньги есть, он, конечно, не наймется на первое попавшееся. Он очень разборчив.

— Еще чего! Палубной швабре не пристало задаваться! — Мистер Хиггинботам усмехнулся.— Разборчив! Подумаешь!

— Он тут рассказывал про одну шхуну, которая отправляется в далекие края какой-то клад искать. Вот он на ней хочет идти, если только хватит денег ее дождаться.

— Если бы он хотел устроиться здесь, я бы его взял к себе возчиком,— сказал муж, без тени доброжелательства, впрочем.— Том взял расчет.

Жена посмотрела на него тревожно и вопросительно.

— Сегодня взял расчет. Он переходит к Каррузерсам. Они платят больше. Я столько не могу платить.

— Вот видишь! — вскричала она.— Я тебе говорила. Ты ему платил слишком мало по его работе.

— Вот что, старуха,— огрызнулся мистер Хиггинботам.— Я и тебе тысячу раз говорил, чтобы ты не совала нос не в свое дело. Больше повторять не буду.

— Мне-то все равно,— проворчала она.— А только Том был хороший малый.

Супруг метнул на нее яростный взгляд. С ее стороны это было большой дерзостью.

— Если бы твой братец не был лодырем, он мог бы ездить с подводой.

— Он платит исправно за стол и квартиру,— возразила жена.— Он мой брат, и покуда он тебе ничего не должен, нечего придираться к нему. Я ведь еще тоже человек, даром что прожила с тобою целых семь лет.

— А ты заявила ему, что он должен платить за газ, если будет читать по ночам? — спросил он.

Миссис Хиггинботам ничего не ответила. Ее негодование уже остыло, ее дух снова забился в недра утомленного тела. Супруг торжествовал. Он одержал верх. И его бусинки-глазки сверкнули злобной радостью. Ему доставляло большое удовольствие смирять ее; и, по правде говоря, теперь это было совсем нетрудно, не то что в первые годы их супружеской жизни, когда ежегодные роды и его постоянные придирки еще не подорвали ее сил.

— Так вот, заяви завтра,— сказал он.— И еще, чтоб не забыть: пошли с утра за Мэриен, пусть присмотрит за детьми.

А то теперь, раз Том ушел, мне самому придется ездить за товаром, а ты будешь торговать в лавке вместо меня.

— Завтра у меня стирка,— возразила она нерешительно.

— Встать пораньше, только и всего... Я раньше десяти не выберусь.

Он сердито перевернул газетный лист и снова погрузился в чтение.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мартин Иден, все еще содрогаясь после столкновения с зятем, ощупью пробрался через темную переднюю и вошел в свою комнату — тесную каморку, где помещалась только кровать, умывальник и один стул. Мистер Хиггинботам был слишком скуп, чтобы держать служанку, раз жена его могла работать. К тому же лишняя комната позволяла иметь двух жильцов вместо одного. Мартин положил Суинберна и Браунинга на стул, снял пиджак и сел на кровать. Пружины жалобно застонали под тяжестью его тела, но он не обратил на это внимания. Нагнувшись, чтобы снять башмаки, он вдруг уставился на противоположную стену, где на белой штукатурке виднелись темные полосы от просочившегося сквозь крышу дождя, и замер. На этом грязном фоне стали возникать и таять разные видения. Он забыл про башмаки и долго смотрел на стену, потом у него зашевелились губы, и он прошептал: «Руфь!»

«Руфь!» Мартин никогда и не думал, что простое имя может быть так прекрасно. Это имя ласкало его слух, и он повторял с упоением: «Руфь. Руфь». Ее имя было талисманом, магическим заклинанием; и каждый раз, когда он произносил его, ее лицо являлось перед ним, озаряя стену золотым сиянием. И не только стену — оно уходило в бесконечность, и где-то там, в золотом просторе, его душа искала ее душу. Все лучшее, что было заложено в нем, хлынуло наружу могучим потоком. Самая мысль о ней облагораживала и возвышала его, делала лучше и вызывала желание стать еще лучше. Это было для него внове. Мартин никогда еще не встречал женщин, с которыми он становился бы лучше. Напротив, все они обычно превращали его в грубое животное. Он не знал, что многие из них все же отдавали ему свое самое лучшее, как ни убого это лучшее было. Он никогда не задумывался о себе и не подозревал, что в нем есть нечто, вызывающее в сердцах любовь, и что именно потому многие женщины так упорно добивались его внимания. Он их никогда не искал, они сами его искали; и ему не приходило

в голову, что некоторые из них становились лучше благодаря ему. До сих пор он относился к женщинам с беспечной небрежностью и теперь был убежден, что это они всегда хватали его и старались удержать своими нечистыми руками. Он был несправедлив к ним, несправедлив и к самому себе. Но этого он не мог понять, потому что не привык еще задумываться о себе, и только сгорал от стыда, вспоминая то, что теперь казалось ему позорным.

Он вдруг встал и заглянул в засиженное мухами зеркало над умывальником. Он тщательно протер его полотенцем и смотрел на себя долго и внимательно. В сущности, он рассматривал себя впервые в жизни. У него был зоркий и наблюдательный взгляд, но до сих пор он слишком был поглощен пестрым разнообразием внешнего мира, и у него не оставалось времени взглянуть на себя. Теперь он видел перед собой лицо молодого, двадцатилетнего парня, но никак не мог решить, красиво оно или нет, так как у него не было критерия для подобной оценки. Он увидел копну каштановых волос, вьющихся над высоким крутым лбом. Его кудри нравились женщинам, они любили перебирать их и гладить. Но он не стал приглядываться к волосам, считая, что для Нее они не могут иметь никакого значения, и сосредоточенно и вдумчиво смотрел на свой лоб, точно пытаясь просверлить его взглядом, узнать, что за ним скрывается. Он настойчиво спрашивал себя: какой у него мозг? Что может этот мозг дать ему? Чего он добьется с его помощью? Добьется ли он Ее?

Он спрашивал себя, видна ли душа в этих серых глазах, которые часто становились совсем голубыми, точно вбирали в себя синеву морской глади, озаренной солнцем. Он гадал, могут ли его глаза понравиться ей. Он попытался взглянуть на них со стороны, ее взглядом, но из этого ничего не вышло. Он обычно легко проникал в мысли других людей, но то были люди, жизнь которых он хорошо знал. А ее жизни он не знал совсем. Она была тайна и чудо,— где ж ему было угадать хоть одну ее мысль? Ну что ж, решил он, наконец, это честные глаза, ни подлости, ни коварства в них нет. Его удивил темный цвет его лица; никогда он не думал, что так черен. Он засучил рукава рубашки и сравнил белую кожу повыше локтя с кожей лица. Нет, он все-таки белый. Но руки тоже были покрыты загаром. Тогда он согнул руку и постарался разглядеть те части рук, которых вовсе не касалось солнце. Они были очень белы. Он рассмеялся при мысли, что и это бронзовое лицо в зеркале было некогда таким же белым; ему не приходило в голову, что не так уж мно-

го на свете женщин, которые могут похвастать такой же белой кожей, как у него,— там, где она не обожжена солнцем.

Рот у него был бы совсем как у херувима, если бы он не имел обыкновения, когда сердился, крепко сжимать свои чувственные губы, что придавало ему какую-то суровость, строгость почти аскетическую. Это были губы воина и любовника. Они знали всю полноту наслаждения жизнью, но умели при случае и принять властный изгиб. Подбородок и чуть тяжеловатая нижняя челюсть подчеркивали это властное выражение. Сила уравновешивала в нем чувственность, и потому он любил здоровую красоту и откликался на здоровые чувства. А между губами блестели зубы, которые ни разу еще не нуждались в услугах дантиста. Они были белые, крепкие и ровные,— так он решил, рассмотрев их. Но тотчас же он почувствовал смущение. Где-то в его памяти шевельнулось смутное представление о том, что некоторые люди ежедневно чистят зубы. То были люди высшего круга, ее круга. Она, вероятно, тоже чистит зубы каждый день. Что она подумала бы о нем, если бы узнала, что он ни разу в жизни не чистил зубов. Он решил завтра же купить зубную щетку и ввести это в обычай. Одними подвигами ее не завоюешь. Он должен произвести изменения во всем, что касается его внешности, начиная с чистки зубов и кончая ношением воротничка, хотя, надевая крахмальный воротничок, он всегда чувствовал себя так, будто его лишили свободы.

Мартин поднял руку и поскреб пальцем мозолистую ладонь, где грязь, казалось, настолько въелась в кожу, что ее не соскоблишь и щеткой. Какая ладонь у нее! Даже вспомнить и то было приятно. Нежная, точно лепесток розы; прохладная и легкая, как снежинка. Он никогда и не подозревал, что женская рука может быть такой мягкой и нежной. Он подумал о том, как чудесна должна быть ласка такой руки, и, поймав себя на этой мысли, покраснел и смутился. Эта мысль была слишком дерзкой и оскорбляла ее духовную красоту. Ведь она — бледный дух, бесплотный призрак, парящий где-то далеко от всего земного. И все же он не мог отогнать воспоминания о ее мягкой ладони. Он привык к жестким, огрубевшим в труде рукам фабричных работниц и женщин, измученных домашней работой. Да, конечно, он понимал, почему так грубы их руки. Ее рука... она была нежной и мягкой потому, что ей был незнаком труд. Пропасть снова разверзлась между ними, как только он подумал о том, что есть люди, которым не нужно работать для того, чтобы жить. Он вдруг увидел перед собою образ аристократии, людей, не знающих труда. Этот образ возник на грязно-белой стене в виде

бронзовой статуи, надменной и величавой. Мартин работал всю жизнь, с тех пор как он себя помнил; и вся его семья трудом добывала себе пропитание. Взять хоть Гертруду. Ее натруженные руки от стирки распухали и делались красными, как вареное мясо. Или другая его сестра, Мэриен. Она работала на консервном заводе, и ее маленькие, хорошенькие ручки были сплошь в ссадинах от ножей, которыми резали помидоры. Кроме того, прошлой зимой, когда она работала на картонажной фабрике, ей машиной отхватило суставы двух пальцев на руке. Он вспомнил свою мать в гробу, ее шершавые руки, сложенные на груди. Отец его тоже работал до конца дней, и на его ладонях наросли мозоли чуть не в полдюйма толщиною. А у Руфи руки были нежные, и не только у нее, но и у ее матери и братьев. Последнее особенно поразило его; это был красноречивый знак касты, доказательство огромности расстояния, их разделявшего.

Мартин с горькой усмешкой опять сел на кровать и снял наконец башмаки. С ума он сошел — опьянел от женского лица, от нежных женских рук. И вдруг перед его глазами всплыло новое видение. Он стоит перед огромным мрачным домом в лондонском Ист-энде, ночью, а рядом с ним Марджи, девчонка-работница лет пятнадцати. Он провожал ее домой после гулянья. Она жила в этом грязном доме, похожем на большой хлев. Прощаясь, Мартин протянул ей руку. Она подставила губы для поцелуя, но ему не хотелось целовать ее. Что-то в ней его отпугивало. Тогда она с лихорадочным трепетом сжала ему руку. Мартин почувствовал мозоли на ее маленькой ладони, и его вдруг захлестнула волна жалости. Он видел ее молящие, голодные глаза, ее тщедушное, полудетское тело, в котором уже проснулся несмелый, но жадный инстинкт женщины. Тогда, в порыве сочувствия, он обнял ее и поцеловал в губы. Он услыхал ее радостный возглас и почувствовал, как она, словно кошка, прижалась к нему. Бедный маленький заморыш! Мартин смотрел на эту картину далекого прошлого. У него побежали мурашки по телу, как тогда, в ту минуту, когда она прильнула к нему, и сердце его сжалось от сострадания. Это была серая картина: небо в тот день было серо, и серый дождь моросил над грязными плитами мостовой. Но вдруг яркий свет озарил стену, и, затмевая все образы и видения, перед ним снова засияло Ее бледное лицо в короне золотых волос, далекое и недостижимое, как звезда.

Он взял со стула томики Суинберна и Браунинга и поцеловал их. А все-таки она звала меня приходить, подумал он. По-

том снова взглянул на себя в зеркало и сказал громко и торжественно:

— Мартин Иден, первое, что ты сделаешь завтра утром,— это пойдешь в бесплатную читальню и почитаешь что-нибудь о правилах хорошего тона. Понял?

После этого он погасил свет, и пружины заскрипели, приняв груз его тела.

— А главное, Мартин, ты должен поменьше чертыхаться. Слышишь, старина! Заруби это себе на носу!

С этими словами он заснул, и сны его по смелости и необычайности могли сравниться с грезами курильщика опиума.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Проснувшись на другое утро, он почувствовал запах мыла и грязного белья и забыл свои розовые сны. Уши сразу наполнил нестройный шум тяжелой, безрадостной жизни. Выйдя из своей комнаты, он услыхал сердитый окрик и звук затрещины, которой его сестра наградила кого-то из детей, чтобы дать выход своему раздражению. Визг ребенка резнул его, словно ножом. Все здесь казалось ему отвратительным, даже самый воздух, которым он дышал. Как не похоже на покой и гармонию, царившие в доме, где жила Руфь! Там все было возвышенно и духовно; здесь — материально, грубо материально.

— Иди сюда, Альфред! — крикнул он плачущему ребенку и опустил руку в карман, где у него лежали деньги. К деньгам он относился небрежно, в этом сказывалась его широкая натура. Он сунул мальчугану двадцатипятицентовую монету и взял его на руки, чтобы успокоить.

— Ну, а теперь беги купи себе леденцов да поделись с братьями и сестрами. Выбери такие, чтоб подольше не таяли во рту.

Его сестра на миг распрямилась над лоханью и посмотрела на него.

— Довольно было бы и десяти центов,— сказала она,— ты не знаешь цены деньгам. Мальчишка теперь объестся.

— Ничего,— ответил он весело,— мои денежки сами знают себе цену. Доброе утро, сестренка, если бы ты не была так занята, ей-богу, поцеловал бы тебя.

Ему хотелось быть поласковее с сестрой; сердце у нее было доброе, и она по-своему — он это знал — любила его. Правда, с годами она все больше и больше теряла свой прежний облик,

становилась сварливой и раздражительной. Он решил, что эта перемена объясняется тяжелым трудом, большой семьей и нудным характером супруга. И вдруг ему пришло в голову, что за это время она словно вся пропиталась запахом гнилых овощей, грязного белья и захватанных медяков, которые она считала за прилавком.

— Ступай-ка лучше завтракать,— сказала она внешне сурово, но в глубине души довольная; из всех ее странствующих по миру братьев Мартин всегда был самым любимым.

— Ну, иди ко мне, я тебя поцелую,— прибавила она, поддавшись неожиданному порыву.

Она обобрала пальцами пену сначала с одной руки, потом с другой. Мартин обнял ее тяжеловесный стан и поцеловал влажные, распаренные губы. Слезы навернулись у нее на глаза, не столько от полноты чувства, сколько от слабости, вызванной постоянным переутомлением. Она оттолкнула его, но он все-таки успел заметить ее слезы.

— Завтрак в печке,— торопливо проговорила она.— Джим, наверное, уже встал. Я сегодня из-за стирки поднялась ни свет ни заря. Иди скорей поешь, да и уходи из дому; у нас сегодня тяжелый денек. Том ушел, стало быть, Бернарду самому придется ехать с подводой.

Мартин с тяжелым сердцем отправился на кухню. Красное лицо сестры и весь ее неряшливый облик стояли у него перед глазами. Она бы любила меня, если бы у нее нашлось время, подумал Мартин. Но она надрывается от работы. Скотина этот Бернард Хиггинботам, что заставляет ее так работать. И в то же время Мартин никак не мог отделаться от мысли, что в поцелуе сестры не было ничего красивого. Правда, этот поцелуй сам по себе был необычен. Уже много лет она целовала его, лишь когда провожала в плавание или встречала по возвращении домой. Но в этом поцелуе чувствовался вкус мыльной пены, а губы ее были дряблы. Они не прижимались быстро и упруго к его губам, как должно быть в поцелуе. Это был поцелуй женщины настолько усталой, что она забыла даже, как целуются. Он невольно вспомнил, как до замужества она могла плясать всю ночь напролет после дня тяжелой работы и как ни в чем не бывало прямо с танцев отправлялась опять в свою прачечную. Тут Мартин снова подумал о Руфи и о том, что губы у нее, должно быть, такие же свежие, как и вся она. Она целует, вероятно, так же, как смотрит, как жмет руку: крепко и искренне. Он даже дерзнул представить себе, как ее губы прикасаются к его губам, и представил это так живо, что у него закружилась голова. Ему

казалось, что он медленно плывет в облаке из розовых лепестков, опьяняющих его своим ароматом.

В кухне он нашел Джима, второго жильца, который не спеша ел овсяную кашу, уставясь в пространство тупым, отсутствующим взглядом. Он был подмастерьем слесаря, и его вялый нрав и безвольный подбородок в сочетании с некоторой умственной отсталостью не сулили ему удачи в борьбе за существование.

— Ты почему не ешь? — спросил он, видя, как неохотно ковыряет Мартин свою остывшую недоваренную овсянку.— Опять, что ли, напился вчера?

Мартин отрицательно покачал головой. Он был подавлен убожеством всего, что его окружало. Руфь Морз казалась теперь еще дальше.

— А я напился,— сказал Джим с нервным смешком,— нализался в доску. Эх, хороша же была девочка! Билл приволок меня домой.

Мартин кивнул головой в знак того, что слушает,— у него была бессознательная привычка проявлять таким образом внимание к собеседнику, к любому собеседнику. Потом он налил себе чашку едва теплого кофе.

— Пойдем сегодня потанцевать в «Лотос»? — спросил Джим.— Будет пиво. А если явится компания из Темескаля, то без драки не обойдется. Мне, конечно, начхать. Я все равно притащу туда свою девчонку. Фу!.. Ну и вкус у меня во рту. Черт знает что такое!

Он скорчил гримасу и поспешил прополоскать рот глотком кофе.

— Ты Джулию знаешь?

Мартин покачал головой.

— Она теперь со мной,— объяснил Джим.— Конфетка, а не девочка! Я бы тебя познакомил, да ты отобьешь. Ей-богу, я не понимаю, из-за чего девчонки так вешаются тебе на шею. Даже зло берет, когда видишь, как тебе ничего не стоит отбить любую.

— У тебя я еще ни одной не отбил,— заметил Мартин равнодушно.— Пока не кончишь завтрак, все равно не уйдешь.

— Как же так,— возразил тот,— а Мэгги?

— Да у меня с ней не было ничего. Я даже и не танцевал с нею после того раза.

— Вот то-то и оно,— вскричал Джим,— ты только потанцевал с нею да глянул на нее разок-другой — и готово дело! Ты, может, ничего такого и не думал. А она после на меня и смот-

реть не стала. Все время только про тебя и спрашивала. Если бы ты захотел, она бы тебе сразу же назначила свидание.

— Но я ведь не захотел.

— Неважно. Я все равно получил отставку.— Джим посмотрел на него с восхищением.— И как это тебе удается, Март?

— Мало ими интересуюсь, вот и все.

— Ты, стало быть, делаешь вид, что тебе на них наплевать? — допытывался Джим.

Мартин с минуту раздумывал над ответом.

— Может, и это подействовало бы. Но мне-то в самом деле на них наплевать. А ты попробуй сделать вид, может, что и выйдет.

— Жаль, тебя вчера не было у Райли,— объявил вдруг Джим без всякой логики и связи,— там был один красавчик из Западного Окленда, по прозванию Крыса. Ох, и увертлив в драке! Никому из наших ребят не удалось свалить его. Все жалели, что тебя нет! Где ты вчера шатался?

— Был в Окленде,— отвечал Мартин.

— В театре, что ли?

Мартин отодвинул свою тарелку и пошел к двери.

— Так что ж, придешь на танцульку? — крикнул Джим ему вслед.

— Да нет, едва ли,— ответил Мартин.

Он сбежал с лестницы и вышел на улицу, чувствуя потребность в свежем воздухе. Он и так задыхался в атмосфере этого дома, а болтовня Джима окончательно привела его в ярость. Было мгновение, когда он чуть-чуть не вскочил и не ткнул его носом в тарелку с кашей. Чем больше болтал Джим, тем дальше уходила Руфь. Разве, живя среди таких скотов, он может надеяться стать когда-нибудь с нею рядом? Его приводила в отчаяние трудность стоящей перед ним задачи, он чувствовал безвыходность своего положения, положения человека из рабочего класса. Казалось, все кругом давило на него мертвым грузом и не давало подняться — сестра, ее дом, ее семья, слесарь Джим,— все, к чему он привык, куда уходили корни его существования. Жизнь для него утратила вкус. До сих пор он принимал жизнь, как она есть. Он никогда не задумывался над вопросом, хороша она или плоха, разве лишь когда читал книги. Но ведь то были только книги, прекрасные сказки о прекрасном несуществующем мире. А теперь он увидел этот мир существующим в действительности и в центре его — женщину-цветок по имени Руфь. И отныне он обречен на тоску и безнадежность, особенно мучительную оттого, что надежда питает ее.

Мартин долго решал, куда пойти; в Берклейскую общедоступную читальню или в Оклендскую, и остановился на Оклендской, потому что в Окленде жила Руфь. Как знать! Читальня — самое подходящее для нее место, и вполне возможно, что он встретит ее там. Он совершенно не был знаком с расположением отделов и скитался среди бесконечных полок беллетристики, пока, наконец, худенькая, похожая на француженку девушка не сказала ему, что справочная библиотека находится наверху. Он не догадался обратиться к человеку, сидевшему за столом, и, двинувшись наугад, попал в отдел философии. Он слыхал о существовании философских книг, но никак не подозревал, что об этой науке столько написано. Вид высоких шкафов, набитых толстыми томами, подавлял его и в то же время распалял его воображение. Здесь было над чем поработать мозгу. В математическом отделе он нашел книги по тригонометрии и долго рассматривал казавшиеся ему бессмысленными формулы и чертежи. Он читал английские слова, но значение их от него ускользало. Это был какой-то особенный язык. Норман и Артур знали этот язык. Он слышал, как они говорили на нем. А они были ее братья. Мартин ушел из отдела философии с чувством безнадежности. Книги, казалось, надвигались со всех сторон и хотели задавить его. Он никогда не подозревал, что человеческие знания так огромны. Его охватил страх: сумеет ли он одолеть все это? Но тут же он вспомнил, что были люди — и много людей,— которые одолели. И он горячо поклялся, что сумеет постичь все то, что постигли другие.

Так он блуждал, переходя от отчаяния к восторгу, среди полок, уставленных сокровищами мудрости. В общем отделе он нашел «Конспективный курс» Норри. С благоговением он перелистал его. Здесь, по крайней мере, было что-то родное. Автор, как и он, был моряком. Потом он нашел «Навигационный справочник» Боудича и сочинения Лекки и Маршала. Вот, отлично. Он займется изучением навигации. Бросит пить, начнет усиленно работать и станет капитаном. В этот миг Руфь казалась ему совсем близкой. Капитаном он уже может жениться на ней, если она захочет. А если не захочет — что ж, благодаря ей он будет жить хорошей, достойной жизнью, а пить, во всяком случае, бросит. Потом он вспомнил о страховщике и судовладельце, этих двух хозяевах капитана, интересы которых никогда не совпадают, и подумал о том, что каждый из них может погубить его, и наверняка погубит. Оглядев комнату, он даже зажмурился перед внушительным зрелищем десяти тысяч томов. Нет, с морем покончено. Здесь, в этом множестве книг, заключена огром-

ная сила, и если он хочет совершать великие дела, то должен совершать их на суше! А кроме того, капитанам не разрешается брать с собою в плавание жен.

Наступил полдень. Время шло. Мартин забыл о еде и все рассматривал заглавия книг, отыскивая руководство по правилам хорошего тона. Его ум, помимо мыслей о карьере, был занят решением простой задачи: если молодая леди, прощаясь с вами, просит зайти еще раз, то как скоро можно это сделать? Но когда он набрел наконец на нужную книгу, он все же не получил ответа. Он пришел в ужас от сложности и многообразия правил этикета, запутался во всех этих наставлениях о порядке обмена визитными карточками, принятом в светском обществе, и отошел с грустью. Он не нашел того, что искал, но зато понял, что соблюдение всех форм вежливости требует огромного количества времени и для усвоения всех этих форм ему пришлось бы предварительно прожить целую жизнь.

— Ну что же, нашли вы, что вам нужно? — спросил его при выходе человек, сидевший за столом.

— Да, сэр, у вас отличная библиотека,— отвечал Мартин.

Человек кивнул головой.

— Приходите к нам почаще. Вы моряк?

— Да, сэр. Я приду еще как-нибудь.

«Как он узнал, что я моряк?» — спрашивал он себя, спустившись с лестницы.

И, выйдя на улицу, он постарался идти прямо, без неуклюжего раскачивания. Он помнил об этом, пока не задумался, а тогда зашагал своей обычной походкой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Беспокойное томление, похожее на муки голода, овладело Мартином. Он изнывал от желания увидеть вновь девушку, чьи нежные руки с неожиданной цепкостью захватили всю его жизнь. Пойти к ней он не решался. Он боялся, что это будет слишком скоро и он таким образом нарушит страшный свод правил, именуемый хорошим тоном. Он проводил долгие часы в Оклендской и Берклейской библиотеках, где записался на свое имя, на имя Гертруды, Мэриен и даже Джима, который дал согласие после того, как Мартин щедро угостил его пивом. На все четыре абонемента он набрал книг, и в его каморке теперь почти всю ночь горел газ, за что мистер Хиггинботам брал с него лишних пятьдесят центов в неделю.

Но книги, которые он читал, только усиливали его беспокойство. Каждая страница в новой книге казалась ему лазейкой в сады знаний. Его голод становился еще острее от чтения этих книг. К тому же он не знал, с чего следовало начинать, и, конечно, ему очень мешало отсутствие подготовки. Он не знал даже самых простых вещей, которые, очевидно, должен был знать всякий берущийся за книгу. Это относилось и к поэзии, которую Мартин читал с необычайным увлечением. Из Суинберна он прочел не только то, что было в томике, данном ему Руфью. Он прочел и «Долорес» и отлично понял все. Руфь, вероятно, не понимала этого произведения, решил он. Как могла она понять, живя такой утонченной жизнью? Потом ему попались под руку стихотворения Киплинга, и он был заворожен музыкой, ритмом, волшебной образностью строк, говоривших о таких знакомых ему вещах. Его поразила та любовь к жизни, та тонкость психологии, которая отличала все стихи Киплинга. «Психология» была новым словом в лексиконе Мартина Идена. Он приобрел толковый словарь, чем подорвал свои финансы и сократил срок пребывания на суше, а кроме того, привел в ярость мистера Хиггинботама, который предпочел бы получить эти деньги в уплату за комнату.

Днем он не решался даже приближаться к обиталищу Руфи, но по ночам, словно вор, бродил вокруг дома Морзов, украдкой глядя на освещенные окна и испытывая нежность к самим стенам, которые ее окружали. Несколько раз он чуть не наткнулся на ее братьев, а однажды долго шел за мистером Морзом, на поворотах изучая его лицо при свете уличных фонарей и страстно желая, чтобы почтенный джентльмен подвергся какой-нибудь смертельной опасности и предоставил Мартину случай спасти его жизнь. В другой раз он вдруг увидел Руфь в окне второго этажа. Видна была лишь ее голова, плечи и руки, по движениям которых он решил, что она причесывается. Это длилось одно мгновение, но и мгновения было достаточно, чтобы вся кровь заклокотала в нем и превратилась в пьянящее вино. Она, правда, тотчас же опустила штору, но он узнал, где ее комната, и после этого уже часами простаивал под деревом на противоположном тротуаре, выкуривая бесчисленное количество папирос. Однажды он увидел, как ее мать выходила из банка, и лишний раз убедился в неизмеримости расстояния, их разделяющего. Руфь принадлежала к тем, кто держит деньги в банке! Он за всю свою жизнь ни разу не переступил порога банка и был убежден, что подобные учреждения посещаются лишь очень богатыми и очень могущественными людьми.

В известном смысле он переживал целую бытовую революцию. Чистота и непорочность Руфи произвели на него такое впечатление, что он теперь был положительно одержим потребностью в чистоте. Он должен стать чистым, если хочет быть достойным дышать одним с нею воздухом. Он чистил зубы и беспрестанно скреб руки кухонной щеткой, пока в окне магазина не увидел щеточки для ногтей и не угадал ее назначения. Приказчик, взглянув на его ногти, предложил ему еще и ногтечистку, и, таким образом, его набор туалетных принадлежностей обогатился еще одним предметом. Он достал в библиотеке книгу о личной гигиене и вычитал в ней совет каждое утро обливаться холодной водой — что и стал делать, к большому восторгу Джима и смущению мистера Хиггинботама, который, не сочувствуя подобным причудам, всерьез призадумался, не следует ли брать с Мартина особую плату за воду. Следующим шагом по пути прогресса была забота о брюках. Начав интересоваться этим вопросом, Мартин скоро заметил разницу между мешковатыми штанами рабочих и брюками людей высшего класса, с прямою складкою от колена до ступни. Догадавшись, в чем тут секрет, Мартин отправился на кухню за утюгом и гладильной доской; но первая попытка окончилась неудачей, он только прожег свои брюки и должен был купить новые, чем еще больше приблизил день ухода в плавание.

Но внешними реформами дело не ограничилось. Курить он все еще продолжал, однако пить бросил. До сих пор он считал выпивку самым подходящим занятием для мужчины и даже очень гордился тем, что у него крепкая голова и он может продолжать пить, когда большинство собутыльников давно уже валяется под столом. В Сан-Франциско у него было много товарищей по прежним плаваниям, и при встречах он по-прежнему ставил им угощение, но себе заказывал только кружку легкого пива или имбирного лимонада и добродушно сносил все насмешки. Он с любопытством наблюдал за тем, как они, напиваясь, постепенно доходили до скотского состояния, и радовался, что сам он уже не таков. У каждого из них были свои горести, и вино помогало им забыть действительность и перенестись в страну грез и фантазий. Но Мартину уже не нужен был алкоголь. Он изведал опьянение более глубокое,— он был пьян Руфью, которая зажгла в нем любовь и стремление к новой, лучшей жизни; пьян книгами, которые пробудили в нем мириады неиспытанных желаний; пьян своей вновь обретенной чистотой, которая дала ему еще более полное, чем раньше, ощущение здоровья

и заставила все его тело трепетать от физической радости существования.

Однажды Мартин отправился в театр в смутной надежде увидеть Руфь, и с балкона второго яруса он и в самом деле увидел ее. Она прошла по партеру в сопровождении Артура и еще какого-то незнакомого, стриженного бобриком молодого человека в очках, который тотчас возбудил в Мартине тревогу и ревность. Она села в первом ряду, и он уже почти ничего не видал в течение всего вечера, кроме ее стройных плеч и золотых волос, издали словно подернутых дымкой. Но все же раз или два он оглянулся по сторонам и успел заметить двух девушек, сидевших через несколько мест от него; девушки эти улыбались и строили ему глазки. Он всегда был общителен, и не в его привычках было оставлять без ответа подобные проявления благосклонности. Еще недавно он непременно улыбнулся бы, в свою очередь, а затем пошел бы и дальше. Но теперь все переменилось. Он, правда, ответил улыбкой, но тотчас же после этого отвернулся и старался больше не смотреть в ту сторону. Однако не один еще раз, совсем позабыв об этих девушках, он случайно ловил их улыбки. Трудно измениться за один день, да к тому же он от природы был ласков и приветлив и поэтому невольно улыбался девушкам в ответ, улыбался просто, по-приятельски. Все это было не ново для него. Он знал, что они ведут с ним обычную женскую игру. Но для него теперь все стало иным. Там, далеко, в первом ряду, сидела женщина, единственная на свете, столь не похожая, столь бесконечно не похожая на этих двух девушек его класса, что к ним он уже не мог чувствовать ничего, кроме жалости. Он от души желал им обладать хоть крохотной долей ее красоты и душевного величия. Ни за что на свете он не бросил бы им упрека в слишком смелом заигрывании. Но оно не льстило ему; напротив, оно как бы подчеркивало его низкое положение, и это было неприятно. Он отлично понимал, что, принадлежи он к миру Руфи, эти девушки не посмели бы заигрывать с ним. И при каждом их взгляде он чувствовал, как сжимаются вокруг него цепкие щупальца его мира и тянут его вниз.

Мартин покинул свое место незадолго до конца представления, надеясь увидеть Руфь, когда она будет выходить. У театрального подъезда всегда толпилось множество ротозеев, и легко можно было остаться незамеченным, если пониже надвинуть кепку на лоб и спрятаться за чьей-нибудь спиной. Он вышел одним из первых и смешался с толпой, но едва он занял удобное место на краю тротуара,— появились те две девушки. Он знал,

«Мартин Иден»

что они ищут его, и проклинал ту силу, которая притягивала к нему женщин. Сначала они как будто не заметили его, но он понимал, что это только маневр. Подходя ближе, они замедлили шаг, и наконец одна из них, проходя мимо, задела его плечом и оглянулась, делая вид, словно только сейчас его узнала. Это была стройная брюнетка с черными лукавыми глазами. Обе девушки опять улыбнулись ему, и он тоже улыбнулся им в ответ.

— Мое почтение,— сказал он.

Это было сказано совершенно машинально,— так часто случалось ему начинать знакомство подобным образом. Впрочем, природная общительность и добродушие не позволили бы ему поступить иначе. Черноглазая девушка улыбнулась весело и вызывающе и, взяв под руку свою подругу, выразила желание остановиться; подруга хихикнула в знак согласия. Мартин испугался, что вот сейчас выйдет Руфь и увидит его разговаривающим с этими девушками. Нужно было помешать этому. Он просто, как будто так и нужно было, шагнул к черноглазой и пошел рядом с нею. В этом обществе он не чувствовал себя ни скованным, ни косноязычным. Здесь он был в своей стихии, мог и проявить остроумие, и щегольнуть жаргонными словечками, мог смеяться и болтать о чем угодно, как это водится на первой стадии быстрого и случайного знакомства. Дойдя до угла, он сделал попытку отстать и свернуть в переулок. Но черноглазая девушка схватила его за локоть, не выпуская руки своей подруги, и крикнула:

— Постой, Билл. Что за спешка? Уж не хочешь ли ты удрать от нас?

Мартин остановился и, смеясь, повернулся к ним лицом. Позади них, под ярким светом уличных фонарей, струился людской поток. Там, где он стоял, было сравнительно темно, и он мог, оставаясь незамеченным, увидеть Ее, если бы она прошла мимо. А пройти она должна была непременно, потому что эта дорога вела к ее дому.

— Как ее зовут? — спросил он, указывая на черноглазую и обращаясь к ее хихикающей подруге.

— Это уж вы ее спросите,— отвечала та, фыркнув.

— Ну, как же? — спросил он, оборачиваясь к черноглазой.

— А вы мне сказали, как вас зовут? — возразила она.

— Да вы и не спрашивали,— улыбнулся он,— впрочем, вы угадали. Меня и в самом деле зовут Билл. Верно, верно!

— Да ну вас! — Она посмотрела на него долгим взглядом, зовущим и откровенно страстным.— Нет, правда? Скажите!

И посмотрела снова. Вся женская сущность, неизменная от века, отражалась в ее взгляде. И Мартин уже знал, что будет дальше: теперь она начнет отступать смиренно и робко, готовая в любой миг перейти в наступление, как только почувствует, что в нем остывает пыл погони. Как-никак он был мужчина, не мог не оценить ее привлекательности, и ее страстные взоры льстили его самолюбию. О, он прекрасно знал этих девчонок, знал их насквозь! Славные, хорошие девушки — насколько могли быть хорошими девушки этого класса. Привыкшие добывать себе пропитание тяжелым трудом и слишком гордые, чтобы продавать свои ласки, они искали хоть немножко счастья в житейской пустыне, стараясь не заглядывать в будущее и отсрочить выбор между безысходной рутиной труда и бездной падения, куда вела хотя и лучше оплачиваемая, но страшная дорога.

— Билл,— отвечал он снова.— Ей-богу! Билл и никак не иначе.

— Шутите? — переспросила она.

— И вовсе не Билл,— вмешалась другая.

— А вы почем знаете? Вы меня никогда и в глаза не видали.

— Ну и что ж, что не видала! И так знаю, что врете!

— Ну, как же — Билл? — спрашивала первая.

— Пусть будет Билл,— дружелюбно сказал он.

Она ухватила его за плечо и весело тряхнула.

— Так и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе.

Он пожал ее ищущую руку и на ладони нащупал знакомые царапины и шрамы.

— Давно ушли с консервного завода? — спросил он.

— Вы почем знаете? Уж не ясновидящий ли вы? — вскричали обе девушки.

И, обмениваясь с ними убогими плоскими шутками, он вдруг мысленно представил себе многоярусные библиотечные полки, хранящие мудрость веков. Он с горечью улыбнулся неуместному сейчас видению, и опять сомнения охватили его. Но за всем этим — болтовней и раздумьем — он не упускал из виду потока уличной толпы. И вот в ярком свете фонарей он увидел Ее; она шла между братом и незнакомым юношей в очках. Сердце его замерло. Он долго ждал этого мгновения. Он успел разглядеть что-то легкое и воздушное вокруг ее царственной головы, стройные контуры фигуры, изящество походки, грациозное движение, которым она подобрала юбку, когда переходила через улицу. И вот она прошла, а он остался с этими

двумя фабричными работницами, стоял и смотрел на их платья, носившие следы жалких и отчаянных попыток принарядиться, их дешевые ботинки, дешевые ленточки, дешевые колечки на грубых пальцах. Кто-то тронул его за руку, и он услыхал голос, говоривший:

— Проснитесь, Билл. Что такое с вами?

— Вы что-то сказали? — переспросил он.

— Да так, ничего особенного,— отвечала черноглазая, тряхнув головой,— просто мне пришло в голову...

— Что?

— Было бы недурно, если бы вы подыскали кавалера для нее,— она указала на подругу,— и мы бы пошли куда-нибудь выпить кофе или поесть мороженого.

Он вдруг почувствовал приступ какой-то духовной тошноты. Уж очень груб был переход от Руфи ко всему этому. Рядом с дерзкими, откровенно зовущими глазами этой девушки Мартин увидел вдруг лучезарные, ясные глаза Руфи, глаза святой, взиравшие на него с недосягаемых высот чистоты. И он почувствовал в себе могучую силу. Он выше всего этого. Жизнь для него нечто большее, чем для этих девушек, мечты которых не идут дальше кавалеров и мороженого. В сущности, он ведь и раньше жил в своих мыслях особой, тайной жизнью. Он пробовал иногда поверять эти мысли другим, но до сих пор не встретил ни одной женщины, способной их понять, да и ни одного мужчины тоже. Когда он высказывал их вслух, слушатели смотрели на него с недоумением. Что ж, если его мысли им недоступны — значит, и сам он выше их. Ощущение силы радовало его; он сжал кулаки. Если жизнь для него нечто большее, то он вправе и требовать от нее большего, но только, конечно, не здесь, не в общении с этими людьми. Эти черные глаза ничего не могли дать ему. Он знал, какие мечты отражены в их взгляде,— о мороженом и еще, пожалуй, кое о чем. Тогда как Ее неземной взор обещал ему все, к чему он стремился, и еще бесконечно многое. Книги, картины, красоту и гармонию, изящество возвышенной и утонченной жизни — вот что обещал этот взор. Та работа мысли, которая отражалась в черных глазах, смотревших на него, была известна ему во всех подробностях. Это был как бы часовой механизм, и он мог наблюдать в нем каждое колесико. Эти глаза звали к пошлым, низменным утехам, ведущим к пресыщению, в конце которых зияла могила. А тот, неземной взор звал к проникновению в непостижимую тайну, в чудо вечной жизни. В нем он видел отражение ее души и отражение своей души также.

— В программе одна ошибка,— сказал он громко,— я сегодня занят.

Девушка не пыталась скрыть свое разочарование.

— Вздумали навестить больного друга? — съязвила она.

— Нет, зачем... У меня свидание...— он запнулся,— с одной девушкой.

— Не врете? — спросила она строго.

Он поглядел ей в глаза и ответил:

— Честное слово, правда. Но мы можем встретиться в другой раз. Как все-таки вас зовут? Где вы живете?

— Меня зовут Лиззи,— отвечала она, взяв его под руку и всем телом прижимаясь к нему.— Лиззи Конолли. Я живу на углу Маркет-стрит и пятой.

Они еще поболтали несколько минут, прежде чем проститься. Мартин не хотел сразу идти домой. Он пошел к знакомому дереву, встал на привычное место под Ее окном и прошептал взволнованно:

— У меня свидание с вами, Руфь. Я не хочу других свиданий.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Прошла неделя с того дня, как Мартин познакомился с Руфью, а он все еще не решался пойти к ней. Иногда он уже совсем готов был решиться, но всякий раз сомнения одерживали верх. Он не знал, спустя какой срок прилично повторить посещение, и не было никого, кто бы мог ему сказать это, а он боялся совершить непоправимый промах. Он отошел от всех своих прежних товарищей и порвал с прежними привычками, а новых друзей у него не было, и ему оставались только книги. Читал он столько, что обыкновенные человеческие глаза давно уже не выдержали бы такой нагрузки. Но у него были отличные глаза и крепкий, выносливый организм. Кроме того, до сих пор он жил, не зная абстрактных книжных мыслей, и мозг его представлял собой нетронутую целину, благодатную почву для посева. Он не был утомлен науками и теперь мертвой хваткой вцеплялся в книжную премудрость.

К концу недели Мартину показалось, что он прожил целые столетия,— так далека была прежняя жизнь и прежнее отношение к миру. Но ему все время мешал недостаток подготовки. Он брался за книги, которые требовали многих лет предварительных специальных занятий. Сегодня он читал книги по античной, завтра — по новейшей философии, так что в голове у

него царила постоянная путаница. То же самое было и с экономическими учениями. На одной и той же полке в библиотеке он нашел Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля, и непонятные ему формулы одного не опровергали утверждений другого. Он совершенно растерялся и все-таки хотел все знать. Он увлекся вопросами экономики, промышленности и политики. Однажды, проходя через Сити-Холл-парк, он увидел толпу, окружившую человек пять или шесть, которые, по всей видимости, были заняты каким-то горячим спором. Он подошел поближе и тут в первый раз услыхал еще незнакомый ему язык народных философов. Один из споривших был бродяга, другой — профсоюзный агитатор, третий — студент-юрист, а остальные — просто любители дискуссий из рабочих. Впервые он услыхал об анархизме, социализме, о едином налоге, узнал, что существуют различные, враждебные друг другу системы социальной философии. Он услыхал сотни совершенно новых для него терминов из таких областей науки, которые еще не вошли в его скудный запас знаний. В силу этого он не мог следить за развитием спора и лишь чутьем угадывал идеи, выраженные в этих странных словах. Был среди спорщиков черноглазый лакей из ресторана — теософ, член профсоюза пекарей — агностик, какой-то старик, сразивший всех своей удивительной философией, основанной на утверждении, что все сущее справедливо, и еще один старик, пространно рассуждавший о космосе, об атоме-отце и об атоме-матери.

У Мартина Идена голова распухла от всех этих рассуждений, и он поспешил в библиотеку посмотреть значение десятка врезавшихся в его память слов. Уходя из библиотеки, он нес под мышкой четыре толстых тома: «Тайная доктрина» госпожи Блаватской, «Прогресс и нищета», «Квинтэссенция социализма», «Война религии и науки». К несчастью, он начал с «Тайной доктрины». Каждая строчка в этой книге изобиловала многосложными словами, которых он не понимал. Он сидел на кровати и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Слов было так много, что запоминая одни, он забывал другие и должен был снова искать в словаре. Он решил записывать слова в особую тетрадку и в короткий срок исписал десятка два страниц. И все-таки он ничего не мог понять. Он читал до трех часов утра; у него уже ум за разум зашел, а все же он не сумел ухватить в прочитанном ни одной существенной мысли. Он поднял голову, и ему показалось, что стены и потолок ходят ходуном, как на корабле во время качки. Тогда он выругался, отшвырнул «Тайную доктрину», погасил свет и решил заснуть. Не лучше

пошло дело и с остальными тремя книгами. И не то чтобы мозг его был слаб или невосприимчив — он мог бы усвоить все, о чем шла речь в этих книгах,— но ему недоставало привычки мыслить и не хватало словесного запаса. Он, наконец, понял это и одно время носился даже с мыслью читать один только словарь, пока он не выучит наизусть все незнакомые слова.

Единственным утешением была для Мартина поэзия; он с восторгом читал тех поэтов, у которых каждая строчка была ему понятна. Он любил красоту, а здесь он находил ее в изобилии. Поэзия действовала на него так же сильно, как и музыка, и незаметным образом подготовляла его ум к будущей, более трудной работе. Страницы его памяти были чисты, и он без всякого усилия запоминал строфу за строфой, так что скоро мог уже декламировать наизусть целые стихотворения, наслаждаясь гармоническим звучанием оживших печатных строк. Однажды он случайно наткнулся на «Классические мифы» Гэйли и «Мифический век» Булфинча. Словно луч яркого света прорезал вдруг мрак его невежества, и его еще больше потянуло к поэзии.

Человек за столом уже знал Мартина, был очень приветлив с ним и дружелюбно кивал головой, когда Мартин приходил в библиотеку. Поэтому Мартин решился однажды на смелый поступок. Он взял несколько книг и, когда библиотекарь штемпелевал его карточки, пробормотал:

— Послушайте, можно вас спросить кой о чем?

Библиотекарь улыбнулся и ободряюще кивнул головой.

— Если вы познакомились с молодой леди и она пригласила вас зайти... так вот... когда можно это сделать?

Мартин почувствовал, что рубашка прилипла к его спине, вспотевшей от волнения.

— Да когда угодно, по-моему,— отвечал библиотекарь.

— Нет, вы не понимаете,— возразил Мартин.— Она... видите ли, в чем штука: ее может не быть дома. Она учится в университете.

— Ну, другой раз зайдете.

— Собственно, дело даже не в этом,— признался Мартин, решившись, наконец, отдаться на милость собеседника,— я, видите ли, простой матрос и не очень-то привык к светскому обществу. Эта девушка совсем не то, что я, а я совсем не то, что она... Вы не подумайте, что я дурака ломаю,— перебил он вдруг сам себя.

— Нет, нет, что вы,— успокоил его библиотекарь.— Правда, ваш запрос не в компетенции справочного отдела, но я с удовольствием постараюсь помочь вам.

Мартин посмотрел на него с восхищением.

— Эх, если бы я умел так шпарить, вот это было бы дело,— сказал он.

— Виноват...

— Я хочу сказать, что было бы хорошо, если бы я умел так складно и вежливо говорить, как вы.

— А! — сочувственно отозвался библиотекарь.

— Когда лучше прийти? Днем? Только так, чтобы не угодить к обеду, да? Или вечером? А может, в воскресенье?

— Знаете, что я вам посоветую,— сказал, улыбаясь, библиотекарь,— вы ей позвоните по телефону и спросите.

— А ведь верно! — вскричал Мартин, собрал книги и пошел к выходу.

На пороге он обернулся и спросил:

— Когда вы разговариваете с молодой леди — ну, скажем, мисс Лиззи Смит,— как надо говорить: мисс Лиззи или мисс Смит?

— Говорите «мисс Смит»,— сказал библиотекарь авторитетным тоном,— говорите «мисс Смит», пока не познакомитесь с ней поближе.

Итак, проблема была разрешена.

— Приходите когда угодно. Я всегда дома после обеда,— отвечала по телефону Руфь на его робкий вопрос, когда можно возвратить взятые у нее книги.

Она сама встретила его у двери, и ее женский глаз сразу отметил и отутюженную складку брюк, и какую-то общую неуловимую перемену к лучшему. Но удивительнее всего было выражение его лица. Казалось, здоровая сила переливалась через край в этом юноше и волною захлестывала ее, Руфь. Снова она почувствовала желание прижаться к нему, ощутить теплоту его тела и снова поразилась тому, как действовало на нее его присутствие. А он, в свою очередь, вновь ощутил блаженный трепет, когда пожимал ей руку. Разница между ними была в том, что она внешне ничем не обнаруживала своего волнения, в то время как он покраснел до корней волос.

Он последовал за нею, по-старому неуклюже раскачиваясь на ходу. Но когда они уселись в гостиной, Мартин, против ожидания, почувствовал себя довольно непринужденно. Она всячески старалась создать у него это ощущение непринужденности и делала это так деликатно и бережно, что стала ему еще во сто крат милее. Сначала они поговорили о книгах, о Суинберне, которым он восхищался, и о Браунинге, который был ему непонятен. Руфь направляла разговор, а сама все думала о том,

как бы ему помочь. Она часто думала об этом после их первой встречи. Ей непременно хотелось помочь ему. Она чувствовала к нему нежность и жалость, но в этой жалости не заключалось ничего обидного: это было никогда не испытанное ею прежде, почти материнское чувство. Да и могла ли это быть простая, обычная жалость, если в человеке, ее вызывавшем, было столько мужественной силы, что одна его близость порождала в ней безотчетный девический страх и заставляла сердце биться от странных мыслей и чувств. Опять возникло у нее желание обнять его за шею или положить руки ему на плечи. И по-прежнему это желание смущало ее, но она уже к нему привыкла. Ей не приходило в голову, что зарождающаяся любовь может принимать такие формы. Но ей не приходило в голову также и то, что чувство, охватившее ее, можно назвать любовью. Ей казалось, что Мартин просто заинтересовал ее как личность незаурядная, с огромными скрытыми возможностями и что ею руководит лишь обыкновенное человеколюбие.

Она не понимала, что желает его; но с ним дело обстояло иначе. Мартин знал, что любит Руфь; и знал, что желает ее так, как никогда ничего не желал в своей жизни. Он и прежде любил поэзию, как любил все прекрасное, но после встречи с нею перед ним открылись ворота в огромный мир любовной лирики. Она дала ему гораздо больше, чем Булфинч и Гэйли. Неделю тому назад он не стал бы задумываться над такой, например, строчкой: «Блаженный юноша, он одержим любовью и в поцелуе умереть готов»,— но теперь слова эти не выходили у него из головы. Он восхищался ими, как величайшим откровением; он смотрел на Руфь и думал, что с радостью умер бы в поцелуе. Он чувствовал себя тем самым блаженным юношей, который «одержим любовью», и гордился этим больше, чем мог бы гордиться возведением в рыцарское достоинство. Он постиг наконец смысл жизни и цель своего существования на земле.

Когда он смотрел на нее и слушал ее, его мысли становились смелее. Он вспоминал наслаждение, испытанное при пожатии ее руки, и жаждал почувствовать его снова. Порою он с жадным томлением смотрел на ее губы. Но ничего грубого и земного в этом томлении не было. Ему доставляло невыразимое наслаждение ловить каждое движение ее губ в то время, как она говорила; это не были обычные губы, какие бывают у всех женщин и мужчин. Они были не из плоти и крови. Это были уста бесплотного духа, и желание их поцеловать совершенно не было похоже на желание, которое пробуждали в нем губы других женщин. Он, конечно, охотно прижал бы к этим небесным

устам свои губы, но это было бы все равно, как если бы он приложился к святыне. Он не мог разобраться в той своеобразной переоценке ценностей, которая в нем происходила, и не понимал, что, когда он смотрит на нее, глаза его горят тем самым огнем, которым горят глаза всякого мужчины, жаждущего любви. Он не подозревал, как пылок и мужествен его взгляд, как сильно он волнует ее душу. Ее девственная непорочность облагораживала его собственные чувства и возносила их на высоту трепетного целомудрия звезд. Он был бы поражен, узнав, что его глаза излучают таинственное тепло, которое проникает в глубину ее существа и там зажигает ответный огонь. Смущенная, встревоженная его взглядом, она несколько раз теряла нить разговора и с немалым трудом вновь собирала обрывки мыслей. Обычно она не затруднялась в разговоре и теперь, не понимая, что с ней, решила, что просто ей никогда не приходилось иметь дело с таким своеобразным собеседником. Она очень впечатлительна по натуре, и нет ничего странного, если этот пришелец из другого мира смущает ее.

Она думала, как помочь ему, и хотела повернуть разговор в этом направлении, но Мартин опередил ее.

— Хочется мне попросить у вас совета,— начал он и едва не задохнулся от радости, когда она выразила готовность сделать для него все, что будет в ее силах.— Помните, я в тот раз говорил, что не умею говорить о книгах, о всяких таких вещах, ничего у меня из этого не получается. Ну вот, я с тех пор много передумал. Стал ходить в библиотеку, набрал там всяких книг, но только все они не моего ума дело. Может, лучше начать с самого начала? Я ведь по-настоящему и не учился никогда. Мне пришлось работать с самого детства, а вот теперь я пошел в библиотеку, посмотрел на книги, почитал — и вижу, что раньше читал я совсем не то, что нужно. Понимаете, где-нибудь на ферме или в пароходном кубрике таких книг не найдешь, как, скажем, у вас в доме. Там чтение другое, и вот к такому-то чтению я как раз и привык. А между тем, скажу, не хвастаясь, я не такой, как те, с кем я водил компанию. Не то чтобы я был лучше других матросов и ковбоев,— я и ковбоем тоже был,— но я, видите ли, всегда любил книги и всегда читал все, что попадалось под руку, и мне кажется, у меня голова работает на иной манер, чем у моих товарищей. Но дело-то еще не в этом. Дело вот в чем. Я никогда не бывал в таких домах, как ваш. Когда я к вам пришел на той неделе и увидел вас, и вашу мать, и ваших братьев, и как тут у вас все,— мне очень понравилось. Я раньше только в книжках читал про такое, но тут вот

оказалось, что книги не врут. И мне понравилось. Мне захотелось всего этого, да и теперь хочется. Я хотел бы дышать таким воздухом, как у вас в доме, чтобы кругом были книги, картины и всякие красивые вещи, и чтобы люди говорили спокойно и тихо и были чисто одеты, и мысли чтоб у них были чистые. Тот воздух, которым я всю жизнь дышал, пропитан запахом кухни, спиртным духом, руганью и разговорами о квартирной плате. Когда вы подошли к своей матери и поцеловали ее, мне это показалось так красиво,— ничего красивее, кажется, на свете не видел. А я повидал немало и могу сказать — всегда видел больше, чем другие. Я очень люблю смотреть, и мне всегда хочется смотреть еще и еще.

Но это все не то. Самое главное вот: мне бы хотелось подняться до такой жизни, какою живете вы здесь, в этом доме. Жизнь — это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос: как это сделать? С чего мне начать? Работы я не боюсь; если уж говорить об этом, то я в работе любого заткну за пояс. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю? Я знаю, не следует докучать вам своими расспросами, но мне больше некого спросить — вот разве что Артура? Может, мне к нему и надо было пойти? Если я был...

Он вдруг замолчал. Его испугала мысль, что надо было в самом деле спросить Артура и что он выставил себя дураком. Руфь ответила не сразу. Она была поглощена тем, что пыталась связать воедино его нескладную речь и примитивные мысли с тем, что она читала в его глазах. Она никогда не видела глаз, в которых отражалась бы такая несокрушимая сила. Этот человек все может,— вот о чем говорил его взгляд, и это плохо вязалось с его неумением распоряжаться словами. К тому же ее собственный ум был так изощрен и сложен, что она не могла по-настоящему оценить простоту и непосредственность. И все же даже в этом косноязычии мысли угадывалась сила. Мартин представлялся ей великаном, силящимся сорвать с себя оковы. Ее лицо дышало лаской, когда она заговорила.

— Вы сами знаете, чего вам не хватает,— сказала она,— вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала — кончить школу, а потом пройти курс в университете.

— Для этого нужны деньги,— прервал он ее.

— О,— воскликнула она,— я не подумала об этой стороне дела! Но разве никто из ваших родных не мог бы поддержать вас?

Он отрицательно покачал головой.

— Отец и мать мои умерли. У меня две сестры: одна замужняя, другая, вероятно, скоро выйдет замуж. Братьев целая куча, я младший, но они никому никогда не помогали. И все давно уже разбрелись по свету искать счастья, каждый сам по себе. Старший умер в Индии. Двое сейчас в Южной Африке, третий плавает на китобойном судне, а четвертый разъезжает с бродячим цирком — он акробат. Вот и я такой же. С одиннадцати лет я живу своим трудом, с тех пор как умерла мать. Так что придется мне самому, без школы, доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать.

— Вам, во-первых, надо бы обратить внимание на свою речь. Вы иногда выражаетесь (она хотела сказать «ужасно», но удержалась) не совсем правильно.

Лоб его покрылся испариной.

— Я знаю, что иногда отпускаю такие словечки, которых вам не понять. Но эти-то я хоть знаю, как выговаривать. Я держу в голове кое-какие слова из книг, но я не знаю, как они произносятся, потому-то и не говорю их.

— Дело тут не только в словах, а в общем строе речи. Можно говорить с вами откровенно? Вы не обидитесь на меня?

— Нет, нет! — воскликнул он, благословляя в душе ее доброту.— Жарьте! Уж лучше мне узнать все это от вас, чем от кого-нибудь другого!

— Так вот. Вы очень часто неправильно строите фразу. Употребляете обороты, непринятые в литературной речи. Я многое отметила в вашем разговоре, от чего вам надо отвыкать. Но лучше всего вам начать с грамматики. Я вам сейчас принесу учебник.

Когда Руфь встала, Мартину вспомнилось одно правило, вычитанное им из руководства по хорошему тону, и он неуклюже вскочил со своего места, но тут же испугался — не подумала бы она, что он собирается уходить.

Руфь принесла учебник грамматики, придвинула свой стул к его стулу,— он тут же подумал, что, вероятно, нужно было помочь ей. Она раскрыла книгу, и головы их сблизились. Ему трудно было следить за ее объяснениями — так волновала его эта близость. Но когда она начала объяснять тайны спряжений, он забыл все на свете. Он никогда не слыхал о спряжениях, и это первое проникновение в таинственные законы речи заворожило его. Он ниже пригнулся к книге, и вдруг ее волосы коснулись его щеки.

Только раз в жизни Мартин Иден терял сознание, но тут он подумал, что сейчас это случится снова. У него перехватило

дыхание, а сердце забилось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит. Никогда она не казалась ему столь доступной. На одно мгновение через бездну, их разделявшую, был перекинут мост. Но его чувства не стали от этого более низменными. Это не она опустилась до него. Это он поднялся за облака и приблизился к ней. Его любовь, как и прежде, была полна почти религиозного благоговения. Ему почудилось, что он вторгся в святая святых некоего храма, и он осторожно отвел голову, чтобы избежать этого прикосновения, действовавшего на него, как электрический ток. Но Руфь ничего не заметила.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Много недель прошло, а Мартин Иден все учил грамматику, штудировал руководства по хорошему тону и пожирал каждую книгу, которая увлекала его воображение. От своего прежнего круга он отошел совершенно. Девушки из «Лотоса» не понимали, что с ним приключилось, и забрасывали Джима вопросами, а многие молодые люди были рады, что он больше не появляется на состязаниях у Райли. Он сделал еще одну драгоценную находку в сокровищнице библиотеки. Как грамматика открыла ему основы языка, так эта новая книга указала на правила, лежащие в основе поэзии. Он начал изучать размеры, формы и законы стихосложения и понял, как создается восхищающая его красота. Один новейший трактат рассматривал поэзию как изобразительное искусство, причем теория в нем была подкреплена многими ссылками на лучшие литературные образцы. Ни одного романа Мартин не читал с таким увлечением. И его свежий, нетронутый двадцатилетний ум, подстрекаемый жаждой знания, усваивал все с активностью и энергией, несвойственной восприятию студента.

Когда Мартин оглядывался на прежний свой мир — мир далеких стран, морей, кораблей, матросов и уличных женщин,— этот мир представлялся ему очень маленьким; и все-таки какими-то своими гранями он соприкасался с большим, вновь открывшимся Мартину миром. Ум его инстинктивно искал во всем единства; однако он был удивлен, когда впервые обнаружил, что эти два мира связаны между собой. Возвышенные мысли и чувства, почерпнутые из книг, облагораживали его. Он был теперь уверен, что в том высшем круге, к которому принадлежат Руфь и ее семья, все мужчины и все женщины думают и чувствуют именно так. До сих пор он жил в каком-то грязном болоте

и теперь хотел очиститься и подняться в высшую сферу. Уже в детстве и юности какая-то смутная тревога постоянно томила его; он гнался за чем-то, но сам не понимал, за чем гонится, пока не встретил Руфи. И теперь его томление сделалось острым и болезненным, он понял ясно и твердо, что искал красоты, ума и любви.

За эти недели он несколько раз встречался с Руфью, и каждый раз свидание с нею вдохновляло его. Она исправляла его язык и произношение, занималась с ним арифметикой. Но их беседы не ограничивались одними учебными занятиями. Он слишком много видел в жизни, его ум был слишком зрелым, чтобы удовлетвориться дробями, кубическими корнями, грамматическим разбором и спряжениями. Бывали минуты, когда их разговор касался совсем других тем,— они говорили о стихах, которые он только что прочел, о поэте, которого она теперь изучала. И когда она читала ему вслух свои любимые строчки, он испытывал несказанное блаженство. Никогда, ни у одной женщины на свете он не слыхал такого голоса. От одного звука ее речи расцветала его любовь, каждое слово заставляло его трепетать. Пленительной была музыкальность этого голоса, его гибкие, богатые интонации — качества, которые даются культурой и душевным благородством. Слушая ее, он невольно вспоминал гортанные голоса женщин из диких племен, крикливую речь портовых потаскух, неблагозвучный говор фабричных работниц, женщин и девушек его класса. Тотчас же его воображение начинало работать, вереницы женских образов возникали в мозгу, и от сравнения с ними ореол, окружавший Руфь, сверкал еще ослепительнее. Но он не только любил слушать ее голос, ему бесконечно приятно было сознавать, что Руфь глубоко проникает в сущность читаемого и живо откликается на красоту поэтической мысли. Она много читала ему из «Принцессы», и часто он видел при этом слезы у нее на глазах,— так тонко чувствовала она красоту. В такие минуты ему казалось, что он поднимается до божественного всевидения; глядя на нее и слушая ее голос, он словно созерцал самое жизнь и читал ее сокровеннейшие тайны. И, достигнув этих вершин чувства, он начинал понимать, что это и есть любовь и что любовь — самое великое в мире. Перед его внутренним взором проходили все радости, испытанные им некогда,— опьянение, ласки женщин, игра, задор физической борьбы,— и все это казалось невыносимо пошлым и низким по сравнению с чувствами, овладевшими им теперь.

Руфь не отдавала себе отчета в происходившем. У нее не было еще никакого опыта в сердечных делах. Все, что она знала, она почерпнула из книг, где творческая фантазия автора всегда преображала события обыденной жизни в нечто нереальное и прекрасное; ей не приходило в голову, что этот грубый матрос заронил в ее сердце искру, которая в один прекрасный день разгорится ярким испепеляющим пламенем. До сих пор это пламя еще ни разу не опалило ее. Ее представления о любви были чисто умозрительными, и самое слово «любовь» напоминало ей о кротком сиянии звезд, легкой зыби, колеблющей морскую гладь, прохладной росе на исходе бархатной летней ночи. Любовь представлялась ей как нежная привязанность, служение любимому в сумеречной тишине, напоенной ароматом цветов и исполненной благостного покоя. Она и не подозревала о вулканических бурях любви, о ее страшном зное, превращающем сердце в пустыню горячего пепла. Она не знала ничего о силах, сокрытых в мире, сокрытых в ней самой; глубины жизни терялись за дымкой иллюзий. Супружеская привязанность отца и матери была для нее идеалом любовного единения, и она спокойно ждала, где-то в будущем, дня, когда без всяких волнений и потрясений войдет в такую же мирную совместную жизнь с любимым человеком.

Таким образом, на Мартина Идена она смотрела, как на что-то новое для нее, как на странное, исключительное существо, и этой новизне и исключительности приписывала те необыкновенные ощущения, которые он в ней вызывал. Это было естественно. Того же порядка чувства испытывала она, когда смотрела в зверинце на диких зверей или когда видела, как гнутся деревья в бурю, и вздрагивала от вспышек молнии. Было что-то космическое в подобного рода явлениях, и было, несомненно, что-то космическое и в нем. Он ей принес дыхание моря, бесконечность земных просторов. Блеск тропического солнца запечатлелся на его лице, а в его железных мускулах была первобытная жизненная сила. Он весь был в рубцах и шрамах, полученных в том неведомом мире жестоких людей и жестоких деяний, который начинался за пределами ее кругозора. Это был дикарь, еще не приручeнный, и втайне она чувствовала себя польщенной его покорностью. И у нее возникло естественное желание приручить дикаря. Желание это было бессознательно, и ей не приходило в голову, что она хочет сделать из Мартина подобие своего отца, который ей казался образцом совершенства. В своем неведении она не могла понять, что космическое чувство, которое он в ней вызывал, есть любовь, та непреодоли-

мая сила, что влечет мужчину и женщину друг к другу через целый мир, заставляет оленей в период течки убивать друг друга и все живое побуждает стремиться к соединению.

Быстрые успехи Мартина чрезвычайно удивляли и занимали ее. Она встретила в нем способности, о которых не могла и подозревать; и они раскрывались полнее день ото дня, как цветы на благодатной почве. Она читала ему вслух Браунинга, и сплошь да рядом он изумлял ее неожиданными истолкованиями неясных мест. Она не понимала, что его истолкования, основанные на знании жизни и людей, были часто гораздо правильнее, чем ее. Ей казалось, что он рассуждает наивно, хотя иногда ее увлекал смелый полет его мысли, уносившей его в такие надзвездные дали, куда она не могла следовать за ним и только трепетала от столкновения с какою-то непонятной силой. Иногда она играла ему на рояле, и музыка проникала в глубины его существа, которых ей было не измерить. Он весь раскрывался навстречу звукам, как цветок раскрывается навстречу солнечным лучам; он очень скоро позабыл дробные ритмы и резкие созвучия музыки матросских танцулек и научился ценить излюбленный Руфью классический репертуар. Но все же он испытывал какое-то демократическое пристрастие к Вагнеру, и увертюра к «Тангейзеру», особенно после объяснений Руфи, ему нравилась больше всего. Увертюра эта как бы служила иллюстрацией к его жизни. Его прошлое было для него олицетворено в лейтмотиве Венерина грота, а Руфь он связывал с хором пилигримов; и, казалось, вагнеровские мелодии уносили его в призрачное царство духа, где добро и зло ведут извечную борьбу.

Иногда он задавал вопросы, и ей вдруг начинало казаться, что она сама неправильно понимает музыку. Зато, когда она пела, он ни о чем не спрашивал. В благоговейном молчании прислушивался он к ее высокому чистому сопрано, и ему казалось, что он слышит ее душу. И снова по контрасту он вспоминал визгливые песенки фабричных девушек и хриплые завывания пьяных мегер в портовых кабачках. Ей нравилось играть и петь ему. В сущности, она в первый раз имела дело с живой человеческой душой, и такой податливой и гибкой, что формировать ее было одно наслаждение,— Руфи казалось, что она формирует душу Мартина, и она делала это с самыми лучшими намерениями. А кроме того, ей просто было приятно его общество. Он больше не пугал ее. Сначала она действительно испытывала смутный страх — не перед ним, а перед чем-то, вдруг шевельнувшимся в ее собственной душе,— но теперь этот страх улегся. Сама того не подозревая, она уже предъявляла какие-то права

на него. С другой стороны, он оказывал на нее живительное действие. Она очень много времени отдавала университетским занятиям, и ей, очевидно, было полезно иногда отвернуться от книжной пыли и вдохнуть свежую струю морского ветра, которым он был пропитан. Сила! Да, ей нужна была сила, и он великодушно делился с нею своим неисчерпаемым запасом. Быть с ним в одной комнате, встречать его в дверях — уже значило дышать полной грудью. И когда он уходил, она бралась за свои книги с удвоенной энергией.

Руфь прекрасно знала Браунинга, но ей никогда не приходило в голову, что игра с человеческой душой опасна. Чем больше она интересовалась Мартином, тем сильнее хотелось ей переделать его жизнь.

— Вот возьмите мистера Бэтлера,— сказала она однажды, после того как они отдали должное и грамматике, и арифметике, и поэзии,— ему сначала ни в чем не было удачи. Его отец был банковским кассиром, но, прохворав несколько лет, умер от чахотки в Аризоне, так что мистер Бэтлер — тогда еще он был просто Чарльз Бэтлер — остался совершенно один. Его отец был выходцем из Австралии, и родных у него в Калифорнии нет. Он поступил в типографию,— он мне несколько раз об этом рассказывал,— и на первых порах зарабатывал три доллара в неделю. А теперь у него тридцать тысяч годового дохода. Как он достиг этого? Он был честен, трудолюбив и бережлив. Он отказывал себе в удовольствиях, которые обычно так любят молодые люди. Он положил себе за правило откладывать сколько-нибудь каждую неделю, ценою любых лишений. Конечно, скоро он стал получать больше трех долларов, и по мере того как увеличивался его заработок, росли и сбережения. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу. Он постоянно думал о будущем. Потом он стал посещать вечерние курсы. Семнадцати лет он уже был наборщиком и получал хорошее жалованье, но он был честолюбив. Он хотел сделать карьеру, а не просто иметь обеспеченный кусок хлеба, и готов был на всякие жертвы ради будущего. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца рассыльным — подумайте! — на четыре доллара в неделю. Но он научился быть экономным и даже из этих четырех долларов ухитрялся откладывать.

Руфь остановилась на мгновение, чтобы перевести дыхание и посмотреть, как Мартин воспринимает рассказ. На его лице отражался живой интерес к судьбе мистера Бэтлера, но брови были слегка нахмурены.

— Верно, туговато ему приходилось,— сказал он.— Четыре

доллара в неделю! С этого не разгуляешься. Я вот плачу пять долларов в неделю за квартиру и стол и, ей-богу, ничего хорошего не имею. Он, вероятно, жил, как собака. Питался, должно быть...

— Он сам себе готовил на керосинке,— прервала она его.

— Питался, должно быть, так же скверно, как матросы на рыболовных судах, а это уж значит — хуже нельзя.

— Но подумайте, чего он достиг теперь! — вскричала она с воодушевлением.— Ведь он с лихвой может вознаградить себя за все лишения юности!

Мартин посмотрел на нее испытующе.

— А вы знаете, что я вам скажу,— возразил он.— Едва ли вашему мистеру Бэтлеру так уж весело жить теперь. Он настолько плохо питался все прошлые годы, что желудок у него, надо думать, ни к черту не годится.

Она отвела глаза, не выдержав его взгляда.

— Пари держу, что у него катар.

— Да,— согласилась она,— но...

— И, наверно,— продолжал Мартин,— он теперь сердитый и скучный, как старый филин, и никакой радости нет ему от его тридцати тысяч. И, наверно, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или не так?

Она кивнула утвердительно и поторопилась объяснить:

— Но ему это и не нужно. Он по натуре человек замкнутый и серьезный. Он всегда был таким.

— Еще бы ему не быть! — воскликнул Мартин.— На три да на четыре доллара в неделю! Молодой парень сам стряпает, чтобы отложить деньги! Днем работает, ночью учится, только и знает, что трудиться, и никогда не поразвлечется, никогда не погуляет, даже и понятия, должно быть, ни о чем таком не имеет. Хо! Слишком поздно пришли эти его тридцать тысяч.

Услужливое воображение тотчас же нарисовало ему во всех подробностях жизнь этого бережливого юноши и ту узенькую дорожку, которая в конечном счете привела его к тридцатитысячному годовому доходу. Все мысли и поступки Чарльза Бэтлера прошли перед ним, словно на экране.

— Знаете,— прибавил он,— мне жалко его, вашего мистера Бэтлера. Он тогда был слишком молод и не понимал, что сам украл у себя всю жизнь ради этих тридцати тысяч, от которых ему теперь никакой радости. Сейчас уж он на эти тридцать тысяч не купит того, что мог бы тогда купить на свои отложенные десять центов,— ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орехов, или билет на галерку!

Такой ход мыслей ошеломлял Руфь. Это было не только ново для нее и не соответствовало ее взглядам, но она смутно угадывала здесь долю правды, которая грозила опрокинуть или в корне изменить все ее представление о мире. Будь ей не двадцать четыре года, а четырнадцать, она, может быть, изменила бы свои взгляды под влиянием Мартина. Но ей было двадцать четыре, и вдобавок по натуре она была консервативна и слишком привыкла к образу жизни и мыслей той среды, в которой родилась и выросла. Правда, своеобразные суждения Мартина иногда смущали ее во время разговора, но она объясняла их оригинальностью его личности и судьбы и старалась поскорее выбросить из памяти. И все-таки, хотя она и не соглашалась с ним, убедительность его тона, блеск глаз и серьезное выражение лица всегда волновали ее и влекли к нему. Ей и в голову не приходило, что этот человек, пришедший из чуждого ей мира, высказывал очень часто мысли, слишком глубокие для нее и выходящие за пределы ее кругозора. Мир для нее исчерпывался пределами этого кругозора, но ограниченные умы замечают ограниченность только в других. Таким образом, она считала свой кругозор очень широким и в каждом своем разногласии с Мартином видела доказательство его ограниченности и мечтала научить его смотреть на вещи ее глазами и расширить его кругозор до пределов своего.

— Погодите, я еще не докончила рассказа,— сказала она.— Мистер Бэтлер работал, по словам отца, с редкостным рвением и усердием. Он всегда отличался необычайной работоспособностью, никогда не опаздывал на службу, наоборот — очень часто являлся раньше, чем было нужно. И все-таки он ухитрялся экономить время. Каждую свободную минуту он посвящал учению. Он изучал бухгалтерию, научился писать на машинке, брал уроки стенографии и в уплату за них диктовал по ночам своему преподавателю, судебному репортеру, нуждавшемуся в практике. Он скоро из рассыльного сделался клерком и сумел стать в своем роде незаменимым. Отец мой вполне оценил его и увидал, что это человек с большим будущим. По совету отца он поступил в юридическую школу, сделался адвокатом и вернулся в контору уже в качестве младшего компаньона. Это выдающийся человек. Он уже несколько раз отказывался от места в сенате Соединенных Штатов и мог бы стать, если бы захотел, членом Верховного суда. Такой пример должен всех нас вдохновлять. Он доказывает, что человек с упорством и волей может высоко подняться над своим окружением.

— Да, он выдающийся человек,— согласился Мартин совершенно искренне.

И все же что-то в этом рассказе плохо вязалось с его представлениями о жизни и о красоте. Он никак не мог найти достаточного оправдания для всех тех лишений и тягот, которые претерпел мистер Бэтлер. Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному — Мартин бы его понял. Юноша, одержимый любовью, мог умереть за поцелуй, но не за тридцать тысяч долларов в год! Было что-то жалкое, мелкотравчатое в карьере мистера Бэтлера. Тридцать тысяч долларов — это, конечно, неплохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожали их ценность.

Многие из этих соображений Мартин высказал Руфи, чем лишний раз убедил ее, что необходимо заняться его перевоспитанием. Ей была свойственна та характерная узость мысли, которая заставляет людей думать, что только их раса, религия и политические убеждения хороши и правильны и что все остальные человеческие существа, рассеянные по миру, стоят гораздо ниже их. Это была та же узость мысли, которая заставляла древнего еврея благодарить бога за то, что он не родился женщиной, а теперь заставляет миссионеров путешествовать по земному шару, чтобы навязать всем своего бога. И она же внушала Руфи желание взять этого человека, выросшего в совершенно иных условиях жизни, и перекроить его по образцу людей ее круга.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Мартин Иден возвращался из плавания, спеша в Калифорнию с нетерпением влюбленного. Восемь месяцев назад, истратив все свои деньги, он нанялся на судно, отправлявшееся на поиски клада, зарытого где-то на Соломоновых островах. После долгих и безуспешных поисков предприятие было признано неудавшимся. В Австралии экипаж получил расчет, и Мартин немедленно нанялся на судно, идущее в Сан-Франциско. За эти восемь месяцев он не только заработал достаточно денег, чтобы подольше продержаться на суше, но, кроме того, значительно подвинулся в своих занятиях, для которых всегда умел выкраивать время.

У него был восприимчивый ум, к тому же ему помогали природное упорство и любовь к Руфи. Он несколько раз проштудировал полученный от Руфи учебник грамматики и в конце концов основательно овладел предметом. Он теперь замечал

неправильности речи матросов и мысленно исправлял их ошибки в произношении и построении фраз. С радостью он замечал, что его ухо стало очень чувствительно к слову и что у него развилось особое грамматическое чутье. Всякая неправильность речи резала его слух, как фальшивый аккорд, хотя с непривычки бывало еще, что и у него самого срывались с языка неправильные обороты. Видимо, нужно было время для того, чтобы освободиться от них навсегда.

Покончив с грамматикой, он принялся за словарь и взял за правило каждый день прибавлять двадцать слов к своему лексикону. Это была нелегкая задача. Стоя на вахте или у штурвала, он повторял выученные слова и старался произносить их как следует. Он вспоминал все наставления Руфи и, к своему изумлению, скоро обнаружил, что начал говорить по-английски чище и правильнее самих офицеров и тех сидевших в каютах джентльменов, которые финансировали всю авантюру.

У капитана, норвежца с рыбьими глазами, нашлось случайно полное собрание сочинений Шекспира, в которое он, конечно, никогда не заглядывал, и Мартин получил разрешение пользоваться драгоценными книгами за то, что взялся стирать белье их владельцу. Отдельные, особенно полюбившиеся ему места трагедий он без всякого труда запоминал наизусть и некоторое время был одержим Шекспиром так, что весь мир представлялся ему в образах и формах елизаветинского театра, а мысли сами собой укладывались в белые стихи. Это послужило полезной тренировкой для его слуха и научило его ценить благородство английского языка, хотя в то же время внесло в его речь много устаревших и редких оборотов.

Мартин хорошо провел эти восемь месяцев. Он обогатил свой словарь и свой умственный багаж и лучше узнал самого себя. С одной стороны, он смиренно сознавал свое невежество, с другой — чувствовал в себе великие силы. Он видел огромную разницу между собою и своими товарищами и понимал, что разница эта не столько в достигнутом, сколько в возможном. То, что он делал, могли делать и они, но какое-то внутреннее чувство говорило ему, что он способен на большее. Он мучительно остро воспринимал красоту мира, и ему хотелось, чтобы Руфь могла любоваться этой красотою вместе с ним. Он решил описать ей величие Тихого океана. Эта мысль пробудила в нем творческий импульс, ему захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И вот ослепительная идея осенила его: он будет писать. Он будет одним из тех людей, чьими глазами мир видит, чьими ушами слышит, чьим сердцем чувствует. Он будет писать все:

поэзию и прозу, романы и очерки, и пьесы, как Шекспир. Это настоящая карьера, и это — путь к сердцу Руфи. Ведь писатели — гиганты мира, куда до них какому-нибудь мистеру Бэтлеру, который имеет тридцать тысяч годового дохода и мог бы стать членом Верховного суда, если б захотел.

Едва возникнув, эта идея всецело овладела им, и весь обратный путь в Сан-Франциско он проделал как во сне. Он был опьянен сознанием своей силы и ощущением, что может все. На пустынных просторах Великого океана вещи приобрели перспективу. Впервые он ясно увидел и Руфь, и мир, в котором она жила. Этот мир стал для него чем-то осязаемым, конкретным, он словно мог взять его в руки, поворачивать во все стороны и рассматривать. Много было непонятного и туманного в этом мире, но он глядел на целое, а не на детали, и в то же время видел способ овладеть всем этим. Писать! Эта мысль жгла его, как огонь. Он начнет писать немедленно по возвращении. Прежде всего он опишет экспедицию искателей клада. Он пошлет рассказ в какой-нибудь журнал в Сан-Франциско, ничего не сказав об этом Руфи, и она будет удивлена и обрадована, увидев его имя в печати. Он может одновременно и писать и учиться. Ведь в сутках двадцать четыре часа. Он непобедим, потому что умеет работать, и все твердыни рушатся перед ним. Ему уже не нужно будет плавать по морю простым матросом; в воображении он вдруг увидел собственную яхту. Есть же писатели, которые имеют собственные яхты! Конечно, останавливал он себя, успех приходит не сразу, хорошо если на первых порах он заработает своим писанием столько, сколько надо, чтоб продолжать учение. А потом, через некоторое время — очень неопределенное время, когда он выучится и подготовится, он напишет великие произведения, и его имя будет у всех на устах. Но важнее этого, бесконечно важнее всего самого важного, что тогда он станет наконец достойным Руфи. Слава хороша, но не ради славы, а ради Руфи лелеял он эти мечты. Он был не искатель славы, а только юноша, одержимый любовью.

Явившись в Окленд с туго набитым карманом, Мартин опять водворился в своей каморке в доме Бернарда Хиггинботама и засел за работу. Он не сообщил Руфи о своем возвращении. Он решил, что пойдет к ней, лишь окончив свой очерк об искателях сокровищ. Творческая лихорадка, охватившая его, помогала переносить эту отсрочку. Кроме того, каждая написанная им фраза приближала ее к нему. Он не знал, какой длины должен быть его очерк, но сосчитал количество слов в очерке, занимавшем две страницы в воскресном приложении к

«Обозревателю Сан-Франциско», и решил этим руководствоваться. В три дня, работая без передышки, закончил Мартин свой очерк, потом тщательно переписал его крупными буквами, чтоб легче было читать,— и тут вдруг узнал из взятого в библиотеке учебника словесности, что существуют абзацы и кавычки. А он и не подумал об этом! Мартин тотчас снова сел за переписку очерка, то и дело справляясь с учебником, и в один день приобрел столько сведений о том, как писать сочинение, сколько обыкновенный школьник не приобретает и за год. Переписав вторично очерк и осторожно свернув его трубкой, он вдруг прочел в одной газете правила для начинающих авторов, гласившие, что рукопись нельзя свертывать трубкой и что писать надо на одной стороне листа. Он нарушил оба правила. Но он прочел еще, что в лучших журналах платят не менее десяти долларов за столбец. Переписывая в третий раз, Мартин утешался тем, что без конца помножал десять столбцов на десять долларов. Результат получался всегда один и тот же,— сто долларов,— и он решил, что это куда выгоднее матросской службы. Если бы он дважды не дал маху, рассказ за три дня был бы готов. Сто долларов в три дня! Ему пришлось бы три месяца скитаться по морям, чтобы заработать такую сумму. Надо быть дураком, чтобы тянуть матросскую лямку, если можешь писать. Впрочем, деньги сами по себе не представляли для Мартина особенной ценности. Их значение было только в том, что они давали досуг, возможность купить приличный костюм, а все это вместе взятое должно было приблизить его к стройной бледной девушке, которая перевернула всю его жизнь и наполнила ее вдохновением.

Мартин вложил рукопись в большой конверт, запечатал и адресовал редактору «Обозревателя Сан-Франциско». Он представлял себе, что все присылаемое в редакцию немедленно печатается, и так как послал очерк в пятницу, то ожидал его появления в воскресенье. Приятно будет таким способом известить Руфь о своем возвращении. В это же воскресенье он и пойдет к ней. Между тем его уже захватила новая идея, которая казалась ему необыкновенно удачной, правильной, здравой и в то же время непритязательной: написать приключенческий рассказ для мальчиков и послать его в «Спутник юношества». Он пошел в читальню и просмотрел несколько комплектов «Спутника юношества». Выяснилось, что большие рассказы и повести печатаются в еженедельнике частями, примерно по три тысячи слов. Каждая повесть тянулась в пяти номерах, а некоторые даже в семи, и он решил исходить из этого расчета.

Мартин однажды плавал в Арктику на китобойном судне; плавание было рассчитано на три года, но закончилось через полгода, потому что корабль потерпел крушение. Хотя он и обладал пылкой фантазией, в нем была сильна любовь к правде, и ему хотелось писать лишь о вещах, ему известных. Он отлично знал китобойный промысел и, основываясь на фактическом материале, решил повествовать о вымышленных приключениях двух мальчиков-подростков. Это было нетрудно, и в субботу вечером он уже написал первую часть в три тысячи слов, чем доставил великое удовольствие Джиму и вызвал со стороны мистера Хиггинботама немало насмешек по поводу объявившегося в их семье «писаки».

Мартин молчал и только с наслаждением представлял, как удивится зять, когда, развернув воскресный номер «Обозревателя», прочтет очерк об искателях сокровищ. В воскресенье он рано утром сам спустился к парадной двери за газетой.

Просмотрев номер внимательно несколько раз, он свернул его и положил на место, радуясь, что никому не сказал о своей попытке. Потом, поразмыслив, решил, что ошибся относительно срока появления рассказов в печати. К тому же в его очерке не было ничего злободневного, и возможно, что редактор решил предварительно написать ему свои соображения.

После завтрака он снова занялся повестью. Слова так и текли из-под его пера, хотя он часто прерывал работу, чтобы справиться со словарем или с учебником словесности. Иногда во время таких пауз он читал и перечитывал написанную главу, утешая себя тем, что, отвлекаясь от великого дела творчества, он зато усваивает правила сочинения и учится выражать и излагать свои мысли. Он писал до темноты, затем шел в читальню и рылся в еженедельных и ежемесячных журналах до десяти часов вечера, то есть до самого закрытия. Такова была его программа на эту неделю. Каждый день он писал три тысячи слов и каждый вечер шел в читальню, листал журналы, стараясь уяснить себе, какие стихи, повести, рассказы нравятся издателям. Одно было несомненно, он бы мог написать все, что написали эти бесчисленные писатели, и более того: дайте срок, и он напишет много такого, чего им не написать. Ему было приятно прочитать в «Книжном бюллетене» статью о гонорарах, где между прочим было сказано, что Киплинг получает доллар за слово, а для начинающих писателей — что особенно заинтересовало его — минимальная ставка в первоклассных журналах два цента. «Спутник юношества» был, несомненно, первоклассным журналом, и, таким образом, за каж-

дые три тысячи слов, которые он писал в день, он должен был получить по шестьдесят долларов — заработок за два месяца плавания.

В пятницу вечером Мартин закончил свою повесть. В ней было ровно двадцать одна тысяча слов. По два цента за слово — и то это уже даст ему четыреста двадцать долларов. Недурная плата за недельную работу. У него еще никогда в жизни не было столько денег сразу. Он даже не понимал, на что можно истратить так много. Ведь это же золотое дно! Неиссякаемый источник благополучия! Он решил приодеться, выписать кучу газет и журналов, купить все необходимые справочники, за которыми теперь приходилось бегать в библиотеку. И все же от четырехсот двадцати долларов оставалась еще довольно крупная сумма, и он ломал голову, как использовать ее, пока наконец не решил нанять служанку для Гертруды и купить велосипед Мэриен.

Мартин отослал объемистую рукопись в «Спутник юношества» и в субботу вечером, обдумав план очерка о ловцах жемчуга, отправился к Руфи. Он предварительно позвонил ей по телефону, и она сама вышла встретить его. И сразу же ее обдало знакомым, исходящим от него ароматом силы и здоровья. Казалось, эта сила передавалась и ей, горячей волной разливалась по ее жилам и заставляла трепетать от волнения. Он вспыхнул, коснувшись ее руки и взглянув в ее голубые глаза, но она не заметила этого под темным загаром, покрывшим его лицо за восемь месяцев плавания под солнцем. Но полосу, натертую воротником на шее, не скрыл и загар, и, заметив ее, Руфь едва удержалась от улыбки. Впрочем, у нее прошла охота улыбаться, когда она взглянула на его костюм. Брюки на этот раз сидели отлично,— это был его первый костюм, сшитый на заказ, и Мартин казался в нем стройнее и тоньше. Вдобавок вместо кепки он держал в руке мягкую шляпу, которую она тут же велела ему примерить и похвалила его внешний вид. Руфь была счастлива, как никогда. Эта перемена в Мартине была делом ее рук, ее гордостью, и она уже мечтала о том, как будет и дальше направлять его.

Но в особенности радовало ее одно обстоятельство, казавшееся самым важным: перемена в его речи. Он теперь говорил не только правильнее, но гораздо свободнее, и его лексикон значительно обогатился. Правда, в моменты увлечения он забывался и опять начинал употреблять жаргонные словечки и комкать окончания; иногда он запинался, произнося слово, которое только недавно выучил. Но дело было не только в правильности

выражений. В разговоре его появилась легкость, живое остроумие, чрезвычайно обрадовавшее Руфь. Это сказывался природный юмор, за который его всегда любили товарищи, но который он раньше не мог проявить при ней за недостатком подходящих слов. Теперь он понемногу осваивался и уже не чувствовал себя чужаком в ее мире. Но все же он был преувеличенно осторожен и, предоставив Руфи вести беседу в веселом, непринужденном тоне, старался, правда, не отставать от нее, но ни разу не брал на себя инициативу.

Он рассказал ей о своем сочинительстве, изложил свой план — писать для заработка и продолжать учиться. Но его ждало разочарование: Руфь отнеслась к этому плану скептически.

— Видите ли,— откровенно сказала она,— литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не знаток, конечно, я просто высказываю общеизвестные истины. Ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно года три, а то, пожалуй, и все пять. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому, вероятно, очень многие хотели бы стать писателями и даже пробуют писать.

— А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности? — спросил Мартин, радуясь втайне, что так складно выразился; и тотчас же заработало его воображение, и он как бы со стороны увидел этот разговор в гостиной, а рядом сотни картин его прежней жизни, грубых и отвратительных.

Но все эти пестрые видения пронеслись перед ним в один миг, не прерывая течения его мыслей, не замедляя темпа разговора. На экране своей фантазии видел Мартин эту прелестную, милую девушку и себя самого, беседующих на хорошем английском языке, среди книг и картин, в уютной комнате, где на всем лежала печать культуры и хорошего воспитания. Эта сцена, озаренная ровным, ясным светом, как бы занимала середину экрана. А кругом, по краям экрана, возникали и исчезали совсем иные сцены, и он, как зритель, мог смотреть на любую из них по выбору. Они сменялись перед ним, выхватываемые лучами яркого красноватого света из зыбкой сумеречной пены тумана. Он видел ковбоев, пивших в кабаке огненное виски, кругом раздавалась грубая речь, пересыпанная непристойностями, а сам он тоже стоял у стойки, пил и бранился, не отставая от самых отъявленных забулдыг и буянов, или сидел с ними за столом под коптящей керосиновой лампой, сдавая карты и стуча фишками. Потом видел себя обнаженным до пояса, со сжатыми кулаками, перед началом знаменитой схватки с рыжим ливерпульцем на баке «Сасквеганны»; потом он

увидел окровавленную палубу «Джона Роджерса» в то серое утро, когда вспыхнул мятеж, увидел старшего помощника, корчившегося в предсмертных судорогах, дымящийся револьвер в руках капитана, толпу матросов вокруг, с искаженными от ярости лицами, раненых, изрыгающих проклятья,— и от этих картин он вновь вернулся к центральной сцене, спокойной и тихой, озаренной ярким светом, вновь увидел Руфь, беседующую с ним среди книг и картин; увидел большой рояль, на котором она позже будет играть ему; услышал свою собственную правильно построенную и произнесенную фразу: «А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности?»

— Даже если у человека есть способности к кузнечному ремеслу,— возразила она со смехом,— разве этого достаточно? Я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь стал кузнецом, не побывав сначала в обучении.

— Что же вы мне посоветуете? — спросил он.— Но только помните, я действительно чувствую, что могу писать. Это трудно объяснить, но это так.

— Вам надо учиться,— последовал ответ,— независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы карьеру вы ни избрали, и оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу.

— Да...— начал он, но она прервала его:

— Вы можете и тогда продолжать писать.

— Поневоле придется,— отвечал он грубо.

— Почему же?

Она посмотрела на него почти недовольно: ей не нравилось упорство, с которым он стоял на своем.

— Потому что без этого не будет и ученья. Ведь нужно же мне есть, покупать книги, одеваться.

— Я все забываю об этом,— сказала она, смеясь.— Почему вы не родились с готовым доходом!

— Предпочитаю иметь здоровье и воображение,— отвечал он,— а доходы придут. Я бы много делов наделал ради...— и он чуть не сказал «ради вас», — ради... другого чего-нибудь.

— Не говорите «делов»! — воскликнула она с шутливым ужасом.— Это ужасно вульгарно.

Мартин смутился.

— Вы правы,— сказал он,— поправляйте меня, пожалуйста, всегда.

— Я... я с удовольствием,— отвечала Руфь неуверенно.— В вас очень много хорошего, и мне бы хотелось, чтобы стало еще больше.

Он тотчас опять превратился в глину в ее руках и страстно желал, чтобы она лепила из него, что ей угодно, а она так же страстно желала вылепить из него мужчину по тому образцу, который ей представлялся идеалом. Когда она сказала ему, что приемные экзамены в среднюю школу начнутся в понедельник, он тут же объявил, что пойдет экзаменоваться.

После этого она уселась за рояль и долго играла и пела ему, а он смотрел на нее жадными глазами, восторгаясь ею и удивляясь, почему вокруг нее не толпятся сотни обожателей, внимая ей и томясь по ней так же, как внимал и томился он.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В этот вечер Мартин остался обедать у Морзов и, к великому удовольствию Руфи, произвел очень благоприятное впечатление на ее отца. Разговор шел о профессии моряка — предмете, который Мартин знал как свои пять пальцев; и мистер Морз отозвался о нем после как об очень сообразительном и здравомыслящем молодом человеке. Мартин старался избегать грубых слов и неправильных выражений и поэтому говорил медленно и лучше формулировал свои мысли. Он держался за обедом гораздо непринужденнее, чем в первый раз, почти год тому назад, но сохранил скромность и некоторую застенчивость, что очень понравилось миссис Морз, которая была приятно поражена происшедшей в нем переменой.

— Это первый мужчина, который удостоился внимания Руфи,— говорила она потом мужу.— Она всегда так равнодушно относилась к мужчинам, что меня это даже начало тревожить.

Мистер Морз взглянул на нее с удивлением.

— Ты хочешь, чтобы этот молодой матрос пробудил в ней женщину? — спросил он.

— Я не хочу, чтобы она умерла старой девой. Если благодаря Мартину Идену она заинтересуется мужчинами вообще, это будет очень хорошо.

— Очень хорошо! — согласился мистер Морз.— Но предположим,— а иногда, моя дорогая, приходится заниматься предположениями — предположим, что она заинтересуется не вообще, а в частности?

— Это невозможно,— смеясь, сказала миссис Морз.— Он на три года моложе ее, и потом это просто невозможно! Ничего плохого не будет. Положись на меня.

Таким образом, роль Мартина Идена была определена вполне точно. Между тем сам он обдумывал одну довольно экстравагантную затею, на которую его натолкнули Артур и Норман. Речь шла о воскресной загородной прогулке на велосипедах, которая, конечно, едва ли заинтересовала бы Мартина, если бы он не узнал, что и Руфь тоже собирается ехать. Он никогда не ездил на велосипеде, но раз Руфь ездит, для него не оставалось уже сомнений в том, что и он должен научиться. Поэтому по дороге домой он зашел в магазин и купил за сорок долларов велосипед. Эту сумму он и в месяц не мог бы заработать самым тяжелым трудом, и такой расход был весьма чувствителен для его кармана. Но, прибавив к ста долларам, которые он должен был получить с «Обозревателя», те четыреста двадцать, которые ему заплатит «Спутник юношества», он даже обрадовался, что нашел разумное применение хотя бы для части этих денег. Не смутило его и то обстоятельство, что при первой попытке научиться ездить на велосипеде он порвал брюки и пиджак. Он тут же позвонил портному по телефону из лавки Хиггинботама и заказал себе новый костюм. Потом он втащил велосипед по узенькой наружной лестнице к себе в каморку, и когда отодвинул кровать от стены, то в комнате осталось место только для него и для велосипеда.

Воскресенье он решил посвятить подготовке к приемным экзаменам, но рассказ о ловцах жемчуга так увлек его, что он провел весь день в лихорадке творчества, пытаясь передать на бумаге красоту картин, которые горели в его мозгу. В это воскресенье «Обозреватель» опять не напечатал его рассказа об искателях сокровищ, но это нисколько его не смутило. Он слишком высоко взлетел на крыльях своего воображения и даже не слыхал, как его два раза звали обедать. Так ему и не пришлось попробовать изысканного обеда, которым мистер Хиггинботам имел обыкновение отмечать воскресные дни. Для мистера Хиггинботама такие обеды были вещественным доказательством его жизненного успеха, и он всегда сопровождал их пошлейшими разглагольствованиями о мудрости американского уклада жизни и тех богатых возможностях, которые этот уклад предоставляет людям: например, возможности возвыситься,— он это особенно подчеркивал,— от приказчика овощной лавки до хозяина торгового предприятия.

В понедельник утром Мартин Иден печально поглядел на свой неоконченный очерк о ловле жемчуга и отправился в оклендскую школу. Когда он несколько дней спустя явился, что-

бы узнать результаты, ему сообщили, что он провалился по всем предметам, за исключением грамматики.

— Ваши познания по грамматике превосходны,— сообщил ему профессор Хилтон, глядя на него сквозь толстые очки,— но по другим предметам вы ничего не знаете, положительно ничего не знаете, а ваши ответы по истории Соединенных Штатов чудовищны,— именно чудовищны, другого слова не придумаешь. Я бы вам посоветовал...

Профессор Хилтон умолк и посмотрел на него неприязненно и равнодушно, как на одну из своих пробирок. Он преподавал в школе физику, имел большую семью, получал маленькое жалованье и обладал запасом знаний, затверженных, как затверживает слова попугай.

— Да, сэр? — смиренно сказал Мартин, жалея, что вместо профессора Хилтона с ним не беседует библиотекарь из справочного отдела.

— Я бы вам посоветовал еще года два поучиться в начальной школе. Всего хорошего!

Мартин довольно легко отнесся к этой неудаче, но он был поражен, увидав, как огорчилась Руфь, когда он передал ей слова профессора Хилтона. Огорчение Руфи было так очевидно, что и он пожалел о своем провале — не из-за себя, а из-за нее.

— Вот видите,— сказала она,— я была права. Вы знаете гораздо больше иных студентов, а экзамена выдержать не можете. Это потому, что вы учились урывками и без всякой системы. Вам нужно систематическое обучение, а это невозможно без хорошего учителя. Знания должны быть основательными. Профессор Хилтон прав, и на вашем месте я бы поступила в вечернюю начальную школу. Вы пройдете курс года в полтора и сэкономите шесть месяцев. Кроме того, днем у вас будет время для писания или другой работы, если вам не удастся зарабатывать деньги своим пером.

«Но если днем я буду работать, а по вечерам ходить в школу, то когда же я буду видеться с вами?» — была первая мысль Мартина, которую он, впрочем, побоялся высказать. Вместо этого он сказал:

— Уж очень это детское занятие — ходить в вечернюю школу. Я бы, конечно, на это не посмотрел, если бы знал, что дело стоит того. Но только, по-моему, не стоит. Я сам могу изучить все гораздо быстрее, чем со школьными учителями. Это было бы пустой тратой времени (он думал о ней, о своем желании добиться ее), а я не могу тратить время! У меня его нет!

— Но ведь вам так много нужно сделать.

Она ласково посмотрела на него. И Мартин мысленно назвал себя грубой скотиной за то, что решился противоречить ей.

— Для физики и химии нужны лаборатории,— сказала она.— С алгеброй и геометрией вам никогда не справиться самостоятельно. Вам необходим руководитель, опытные педагоги-специалисты.

Он молчал с минуту, обдумывая тщательно, как бы получше ответить ей.

— Не думайте, что я хвастаюсь,— сказал он,— дело совсем не в этом. Но у меня есть чувство, что я могу легко всему научиться. Я сам могу всему научиться. Меня тянет к учению, как утку к воде. Вы видели, как я одолел грамматику. И я изучил еще много других вещей, вы себе и представить не можете, как много... А ведь я только начал учиться. Мне еще не хватает...— Он запнулся на мгновение и потом твердо выговорил: — Инерции. Я ведь только начинаю становиться на линию.

— Что значит становиться на линию? — прервала она его.

— Ну, разбираться, что к чему,— проговорил он.

— Это бессмысленное выражение,— опять сказала Руфь.

Он решил тогда выразиться иначе:

— Я только теперь начинаю в себе понимать направление.

На этот раз она из жалости промолчала, и он продолжал:

— Наука представляется мне штурманской рубкой, где хранятся морские карты. Когда я прихожу в библиотеку, я об этом всегда думаю. Дело учителя — познакомить ученика со всеми картами по порядку. Вот и все. Он вроде проводника. Он ничего не может выдумать из головы. Он ничего нового не создает. На картах все есть, и он только должен показать новичку, где что лежит, чтобы тот не заплутался. А я не заплутаюсь. Я умею распознавать местность. И обычно соображаю, чего делать. Опять не так что-нибудь?

— Не «чего делать», а «что делать»,— сказала Руфь.

— Верно, что делать,— повторил он с благодарностью.— О чем это я? Да, о морских картах. Ну, так вот: иным людя́м...

— Лю́дям,— поправила она опять.

— Иным людям нужны проводники. Это так. А мне вот кажется, что я могу обойтись и без них. Я уже довольно повертелся возле этих карт и знаю, которые мне нужны, и какие берега мне исследовать, я тоже знаю. Один я гораздо скорее исследую их. Скорость флота меряется всегда по скорости самого тихоходного судна. Ну вот, то же самое и со школой. Учи-

теля должны равняться по отстающим ученикам, а я один могу идти быстрее.

— «Тот всех быстрей идет вперед, кто в путь идет один»,— процитировала она.

«Но я бы желал идти не один, а с вами»,— чуть не выпалил он в ответ. Перед ним возникла величественная картина безграничных, озаренных солнцем пространств и звездных путей, по которым он летит рука об руку с нею, и ее бледно-золотые волосы, развеваясь, касаются его щеки. И тотчас же он почувствовал все свое словесное бессилие. Боже правый! Если бы он мог рассказать ей обо всем так, чтобы и она увидела то, что сейчас видел он! Как острая боль, пронзило его страстное непреодолимое желание нарисовать ей те видения, которые возникли так неожиданно в зеркале его мысли. И вдруг он понял! Так вот ключ к тайне! Ведь именно это и делают великие мастера — поэты и писатели! В этом их величие. Они умеют передать словами все то, что видят, думают и чувствуют. Собака, дремлющая на солнце, часто повизгивает и лает во сне, но она не может объяснить, что заставляло ее визжать и лаять! Вот и он — собака, уснувшая на солнцепеке; он тоже видит чудесные, сказочные сны, но бессилен передать их Руфи. Но теперь довольно спать. Он будет учиться, будет работать до тех пор, пока у него не откроются глаза и не развяжется язык, пока он не сможет поделиться с ней сказочным сокровищем своих видений. Есть же люди, которые владеют тайной выражения мыслей, умеют делать слова своими послушными рабами, сочетать их так, что возникает нечто новое, и это новое больше, чем простая сумма отдельных значений. Он был глубоко потрясен мыслью, что проник на мгновение в тайну, давно его мучившую, и опять перед ним засияли солнечные и звездные пространства. Наконец он пришел в себя, пораженный наступившей тишиной, и увидел, что Руфь смотрит на него с веселой улыбкой.

— Я только что грезил наяву,— сказал Мартин, и при этих словах его сердце сильно забилось.

Как нашел он такие слова? Они правильно объяснили, почему он замолчал. Это было чудо! Никогда он так прекрасно не выражал прекрасных мыслей. Но ведь он никогда и не пробовал. Ну, конечно. Теперь все ясно. Он не пробовал. Суинберн, Теннисон, Киплинг и другие великие поэты — они пробовали, у них выходило. Ему вспомнились его «Ловцы жемчуга». Он ведь никогда не пытался изобразить словами ту красоту, которая жила в нем. Если бы он сделал это, рассказ был бы совер-

шенно иным. Ему стало почти страшно при мысли о том, сколько прекрасного он мог бы описать; а воображение несло его дальше, и он вдруг подумал: почему бы ему не выразить всю волновавшую его красоту в стихах, звучных, благородных стихах, как это делают великие поэты? Выразить хотя бы его любовь к Руфи, таинственную прелесть и высокую духовность этой любви. Почему он не может сделать то, что делают поэты? Они поют о любви. И он будет петь! Черт побери!..

Эти слова, как удар грома, прозвучали в его ушах. Увлеченный мечтами, он произнес их вслух. Кровь бросилась ему в лицо, и он покраснел до корней волос под бронзовым загаром.

— Я... я... простите, пожалуйста,— прошептал он,— я задумался...

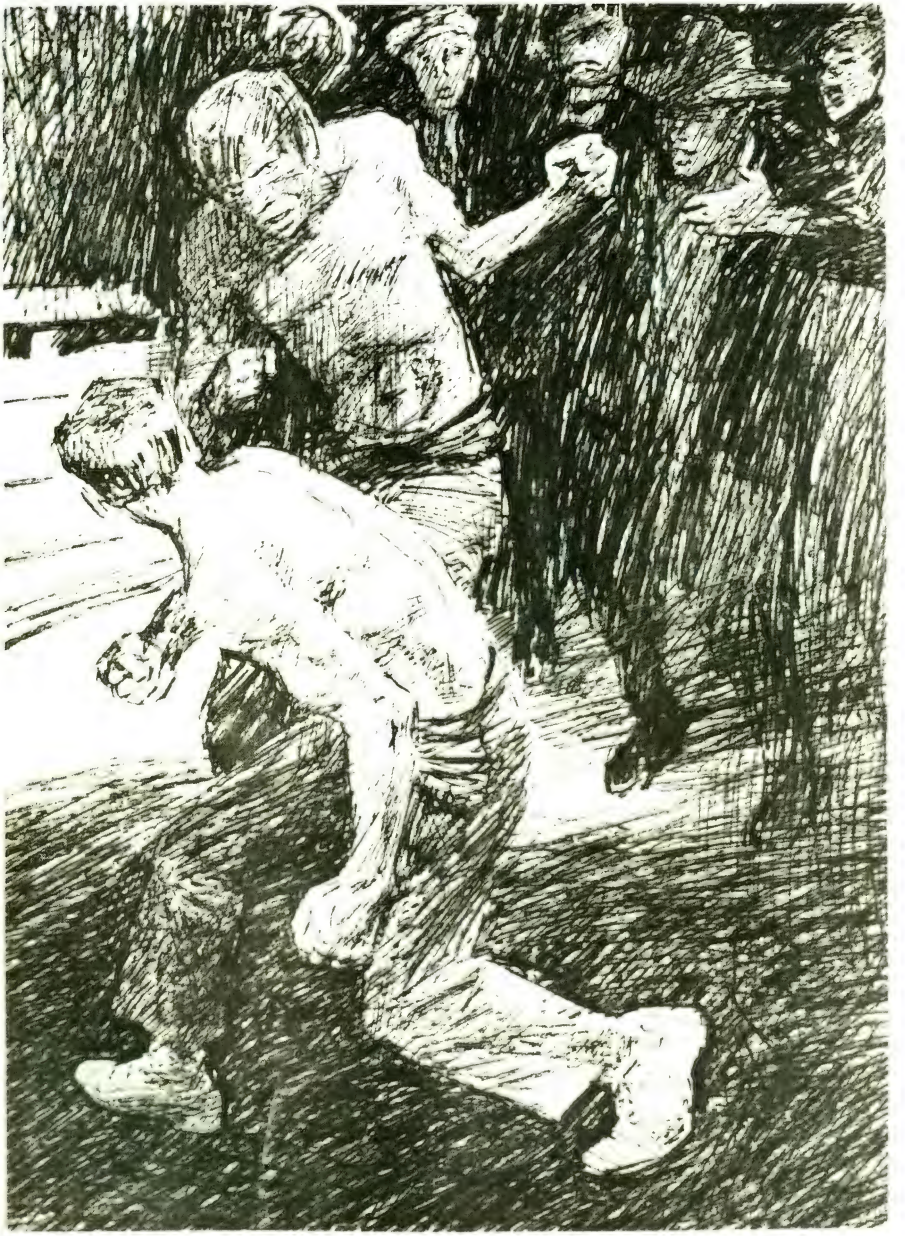
— Вы сказали это таким тоном, как говорят: «Я молился»,— храбро попробовала она пошутить, но внутри у нее все дрожало.

В первый раз в жизни Руфь услышала брань в устах знакомого ей человека и была глубоко потрясена, не только потому, что это оскорбило ее слух и чувство благопристойности,— ее испугал резкий порыв ветра, ворвавшийся вдруг в заботливо укрытую теплицу ее девичества.

И все же она простила его и сама удивилась своей снисходительности. Его почему-то было нетрудно прощать. Жизнь не дала ему многого, что давала другим, но он старался наверстать упущенное и уже достиг больших успехов. Ей не приходило в голову, что есть и другие причины, еще проще объясняющие ее снисходительность. Она испытывала к нему настоящую нежность, но сама не догадывалась об этом. Да она и не могла догадаться. Она спокойно прожила свои двадцать четыре года, ни разу не испытав даже легкого любовного увлечения, не умела разбираться в своих чувствах и, до сих пор ни разу не согретая любовью, не понимала, что это любовь согревает ее теперь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мартин снова принялся за своих «Ловцов жемчуга» и, вероятно, очень скоро кончил бы их, если бы его не отвлекало желание писать стихи. Это были любовные стихи, вдохновительницей которых являлась Руфь. Но ни одного стихотворения он не мог закончить. Нельзя овладеть в такой короткий срок благородным искусством поэзии. Ритм, метр, общая структура стиха сами по себе представляли достаточные сложности, но, по-



«Мартин Иден»

мимо всего этого, было еще нечто неуловимое, что он находил в стихах великих поэтов, но чего никак не мог вложить в свои собственные. То был дух поэзии, который никак не давался ему. Мартину он представлялся каким-то сиянием, вьющейся радужной дымкой, которая всегда разлеталась у него под руками, и в лучшем случае ему удавалось поймать лишь клочья, сложить отдельные красивые строки, которые звучали в мозгу, как музыка, или проносились перед глазами призрачными видениями. Это было мучительно. Прекрасные чувства просились на язык, а выходили прозаические, обыденные фразы. Мартин вслух читал себе свои стихи. Размер был выдержан по всем правилам, с рифмами и с ритмом дело тоже обстояло благополучно, но не было, увы, ни огня, ни истинного вдохновения. Он никак не мог понять, отчего это происходит, и, временами приходя в отчаяние, возвращался к своему очерку. Проза была более послушным инструментом.

После очерка о ловцах жемчуга Мартин написал еще несколько — о профессии моряка, о ловле черепах, о северо-восточном пассате. Затем, в виде опыта, он попробовал написать небольшой сюжетный рассказ и, увлекшись, написал вместо одного целых шесть и разослал их в различные журналы. Он работал напряженно и плодотворно с утра до вечера и даже до глубокой ночи, за исключением тех часов, когда ходил в библиотеку или навещал Руфь. Мартин был в эти дни необычайно счастлив, его жизнь была полна и прекрасна, творческая лихорадка никогда не оставляла его. Радость созидания, которую прежде он считал привилегией богов, теперь и ему была доступна. Все окружавшее его — запах прелых овощей и мыльной воды, расплывшаяся фигура сестры и ехидная физиономия мистера Хиггинботама — все это представлялось каким-то спом. Реальный мир существовал только в его мозгу, и те рассказы, которые он писал, были частицами этого мира.

Дни казались слишком короткими,— уж очень многое ему хотелось узнать. Он сократил время сна до пяти часов и нашел, что этого вполне достаточно. Он даже пробовал спать только четыре с половиной часа, но все же с сожалением должен был вернуться к пятичасовой норме. Все остальное время он с восторгом посвящал своим занятиям, неохотно прерывал писание, чтобы сесть за учебники, откладывал учебники, чтобы пойти в библиотеку, с сожалением покидал штурманскую рубку науки или отрывался от чтения журналов, наполненных рассказами тех писателей, которые каким-то образом сумели пристроить свои произведения. Когда Мартин бывал у Руфи, то вся-

кий раз, чтобы подняться и уйти, ему приходилось словно отрывать ее от своего сердца; а уйдя, он опрометью бежал по темным улицам, чтобы как можно скорее вернуться к книгам. Но труднее всего было закрыть учебник алгебры или физики, отложить в сторону перо и тетрадь и решиться сомкнуть усталые глаза. Выбыть из жизни хотя бы на такой короткий срок казалось Мартину невыносимым, и его утешало лишь сознание, что через пять часов будильник снова разбудит его. Он потеряет только пять часов, а там пронзительный трезвон вырвет его из бесплодного забытья, и перед ним будет снова целых девятнадцать часов работы.

Между тем время шло, деньги у Мартина были на исходе, а гонорары пока что не поступали. Рукопись, отправленную в «Спутник юношества», он через месяц получил обратно. Отказ был написан в очень деликатной форме, так что Мартин даже почувствовал расположение к издателю. Но не то было с «Обозревателем Сан-Франциско». Прождав две недели, Мартин написал туда; еще через неделю написал снова. В конце концов он отправился в редакцию, чтобы лично побеседовать с редактором. Но цербер в образе рыжеволосого юнца, охранявший двери, не допустил его до лицезрения столь значительной особы. В конце пятой недели рукопись была возвращена по почте без всяких объяснений. Не было ни отказа, ни объяснительного письма — ничего. Так же были вскоре возвращены и другие рукописи, посланные им в крупные газеты Сан-Франциско. Тогда Мартин отправил свои творения в журналы восточных штатов, но не успел оглянуться, как получил их все обратно,— правда, каждый раз с печатным уведомлением о невозможности использовать.

Та же судьба постигла и рассказы. Мартин перечел их несколько раз подряд, и они ему так понравились, что он никак не мог понять, почему журналы столь решительно отклоняют их, пока не прочел в одной газете, что рукописи должны быть непременно переписаны на машинке. Все объяснилось. Редакторы, несомненно, были так заняты, что не могли тратить время на изучение неразборчивых почерков. Мартин взял напрокат пишущую машинку и целый день учился писать на ней. Теперь он каждый вечер перепечатывал все, что написал за день, и, кроме того, постепенно перепечатал все свои прежние произведения. Каково же было его изумление, когда и перепечатанное стало возвращаться обратно. Лицо Мартина приняло упрямое выражение, челюсть воинственно выдвинулась вперед, и он упорно продолжал рассылать рукописи все по новым и новым адресам.

Наконец, ему пришло в голову, что самому очень трудно судить о своих произведениях. Он решил испытать их на Гертруде и прочитал ей некоторые свои рассказы. У нее заблестели глаза, и она сказала, с гордостью посмотрев на него:

— А ведь здорово, что ты пишешь такие штуки.

— Да, да,— нетерпеливо перебил он.— Но ты скажи, тебе нравится?

— Господи помилуй! — воскликнула она.— Еще бы не нравилось. Меня так разобрало, что просто страсть!

Но Мартин видел, что не все в его рассказе вполне ясно сестре. Ее добродушное лицо выражало недоумение. Он ждал.

— А скажи-ка, Март,— промолвила она после долгой паузы,— чем же у них дело кончилось? Что ж, этот парень, который так ловко чешет языком... что ж — он женился на ней?

И после того как Мартин объяснил ей конец, казавшийся ему вполне понятным из развития сюжета, она промолвила:

— Ну то-то же. Почему ж ты так прямо не написал?

Прочтя Гертруде с десяток рассказов, он понял, что ей нравятся только счастливые концы.

— Рассказ хорош, что и говорить,— объявила она, выпрямляясь над корытом и со вздохом вытирая лоб красной, распаренной рукой,— только уж очень от него мне тяжело стало. Плакать захотелось. А кругом и так грустного много. Когда я слушаю про хорошее, мне и самой становится лучше. Вот если бы они поженились, да... Ты не сердишься на меня, Март? — спросила она с тревогой.— Может быть, мне это кажется, потому что я очень устала. А так рассказ — прелесть, ну просто прелесть. Куда ты думаешь пристроить его?

— Это уж другой вопрос,— усмехнулся он.

— Но если б удалось пристроить, сколько бы ты за него получил?

— Да уж сотню долларов, не меньше.

— Ого! Хоть бы ты его в самом деле пристроил!

— Не плохие денежки, а? — И он прибавил с гордостью: — Заметь, я это накатал в два дня. Пятьдесят долларов в день!

Мартину страстно хотелось прочесть свои рассказы Руфи, но он не отваживался. Он решил подождать, пока что-нибудь будет напечатано,— по крайней мере, тогда она лучше оценит его старания. Тем временем он продолжал учиться. Ни одно приключение не казалось ему таким заманчивым, как это путешествие по неисследованным дебрям знаний. Он купил учебники физики и химии и наряду с алгеброй изучал физические законы и их доказательства. Экспериментальную часть прихо-

дилось принимать на веру, но могучее воображение помогало ему видеть как бы воочию всякие химические реакции, и он понимал их лучше, чем студенты, присутствующие при опытах. Через страницы учебников Мартин начинал постепенно проникать в тайны природы и мира. Раньше он воспринимал мир как нечто данное, теперь он начал понимать его устройство, взаимодействие и соотношение энергии и материи. Его ум постоянно находил теперь объяснение давно знакомым вещам. Рычаги и блоки сразу привели на память лебедки и подъемные краны, с которыми ему приходилось иметь дело на море. Теория навигации, дающая возможность судам не сбиваться с пути в открытом море, стала вдруг простой и понятной; он постиг тайну бурь, дождей, приливов, узнал причину возникновения пассатных ветров и даже подумал, не поторопился ли он со своим очерком о северо-восточном пассате. Во всяком случае, он чувствовал, что теперь мог бы написать его лучше. Однажды он отправился с Артуром в университет и, затаив дух, с чувством религиозного благоговения смотрел на производившиеся в лаборатории опыты и слушал лекцию профессора физики.

Но он не забросил и своих литературных занятий. Очерки и рассказы так и текли из-под его пера, и он еще находил время писать простенькие стихотворения — вроде тех, которые печатались в журналах; потом вдруг закусил удила и в две недели написал белым стихом трагедию, которую, к его изумлению, немедленно забраковали с полдюжины издателей. Однажды, начитавшись Хенли, он написал цикл стихов о море по образцу «Поэм с больничной койки». Это были простые стихи, светлые и красочные, полные романтики и боевого духа. Мартин назвал их «Песни моря» и решил, что это самое лучшее из всего им написанного. Цикл состоял из тридцати стихотворений; он написал их за месяц по одному в вечер, после целого дня работы над прозой — работы, на которую любой модный писатель затратил бы не меньше недели. Но Мартину такой труд был нипочем. Он даже и не считал это за труд. Просто он обрел дар речи, и все мечты, все мысли о прекрасном, которые долгие годы безгласно жили в нем, хлынули наружу неудержимым, мощным, звенящим потоком.

Мартин никому не показал своих «Песен моря» и никуда не послал их. Он потерял доверие к редакторам. Впрочем, не из недоверия воздержался он на этот раз от посылки своего творения. Оно радовало его заключенной в нем красотой, и этой радостью ему хотелось поделиться с одной только Руфью в тот блаженный миг, когда он осмелится наконец прочесть ей свои

произведения. А до тех пор он решил держать их при себе, читал и перечитывал вслух, пока наконец не выучил наизусть.

Он интенсивно жил каждое мгновение, когда бодрствовал, и это продолжалось даже во сне; его сознание, протестуя против вынужденного пятичасового бездействия, цеплялось за все передуманное и пережитое в течение дня, рождая невероятные и нелепые грезы. Таким образом, он никогда не отдыхал, и на его месте другой, менее крепкий телом и менее здоровый духом, давно бы свалился с ног. Его свидания с Руфью становились все реже и реже: приближался июнь, а с ним экзамены, которые должны были дать ей университетский диплом. Бакалавр искусств! Когда Мартин думал об этом звании, ему казалось, что Руфь улетает от него на такие высоты, где ему уже не достичь ее.

Один день в неделю Руфь все же посвящала Мартину, и он обычно в этот день оставался у Морзов обедать и после обеда слушал музыку. Это были его праздники. Вся атмосфера дома Морзов была так не похожа на ту, в которой жил Мартин, и близость Руфи так окрыляла его, что всякий раз, возвращаясь домой, он мысленно давал себе клятву достичь этих высот во что бы то ни стало. Несмотря на неуемный пыл творчества и жажду красоты, томившую его, он в конце концов трудился только ради Руфи. Он прежде всего был влюбленным и все остальное подчинял своей любви. Мечта о любви была для него важнее мечты о знании. Мир казался удивительным вовсе не потому, что состоял из молекул и атомов, подчинявшихся действию каких-то таинственных законов,— мир казался удивительным потому, что в нем жила Руфь. Она была чудом, какое никогда раньше не являлось ему даже в мечтах.

Но Мартина все время приводила в уныние мысль о расстоянии между ними. Руфь была бесконечно далека, и он никак не мог придумать, что сделать, чтобы приблизиться к ней. Он всегда пользовался успехом у женщин и девушек своего класса. Но ни одной из них он не любил, а ее полюбил. Дело было не в том, что Руфь принадлежала к другому классу. Его любовь вознесла ее превыше всяких классов. Она была особым существом, настолько отличным от всех, что он не знал даже, как подойти к ней со своей любовью. Правда, теперь, когда он больше знал и лучше умел говорить, она как будто стала ближе, у них появился общий язык, общие темы, вкусы и интересы, но любовная жажда этим не удовлетворялась. Его воображение влюбленного наделило ее такой святостью, такой бесплот-

ной чистотой, что исключило всякую мысль о телесной близости. Сама любовь отнимала у него то, чего он так страстно желал.

И вот в один прекрасный день через бездну, их разделявшую, на мгновение был перекинут мост, и после этого мгновения бездна уже не казалась такой непреодолимой. Они сидели и ели вишни, большие черные вишни, сок которых напоминал терпкое вино. И после, когда она стала читать ему «Принцессу», он заметил следы вишневого сока у нее на губах. На мгновение она перестала быть божеством. Она была созданием из плоти и крови, ее тело было подчинено тем же законам, что и его собственное и тело всякого человека. Ее губы были так же телесны, как и его, и вишни оставляли на них такие же следы. А если таковы были ее губы, то такова была она вся. Она была женщина — женщина, как и всякая другая. Эта мысль поразила его, точно удар грома. Это было для него настоящим откровением. Он словно увидел, как солнце падает с неба, или присутствовал при кощунственном осквернении божества.

Когда Мартин вполне уяснил себе смысл этого открытия, сердце бурно заколотилось у него в груди, побуждая его домогаться любви этой женщины, которая вовсе не была духом, слетевшим с неба, а обыкновенной женщиной, с губами, запачканными вишневым соком. Он содрогнулся от этих дерзких мыслей, но голос разума и голос сердца, сливаясь в победном гимне, твердили ему, что он прав. Должно быть, Руфь почувствовала эту внезапную перемену в настроении Мартина, так как вдруг перестала читать, взглянула на него и улыбнулась. Его взгляд скользнул по ее лицу от голубых глаз к губам, где виднелся след вишневого сока — небольшое пятнышко, сводившее его с ума. Его руки готовы были протянуться к ней, как часто тянулись к другим женщинам в дни его прежней беспутной жизни. А она как будто ждала, слегка склонясь к нему, и Мартину пришлось напрячь всю свою волю, чтобы сдержаться.

— Вы не слышали ни одного слова,— сказала она обиженно.

И тут же улыбнулась ему, наслаждаясь его смущением. Мартин взглянул в ее ясные глаза и понял, что она ничуть не догадывалась о том, что в нем происходило, и ему стало стыдно. В мыслях он посмел слишком далеко зайти! Всякая другая женщина догадалась бы — всякая, кроме Руфи. А она не догадалась. Вот тут-то и заключалась разница! Она была не такая, как все! Мартин смотрел на нее, совершенно уничтоженный сознанием своей грубости и ее невинности, и снова между ними разверзлась бездна. Мост был разрушен.

И все-таки этот случай приблизил его к ней. Воспоминание о нем не исчезло и утешало Мартина в моменты разочарований и сомнений. Бездна уже не была так непреодолима, как прежде. Он проделал путь куда больший, чем тот, что давал право на звание бакалавра искусств. Правда, она была чиста, так чиста, что раньше он даже и не знал о существовании такой чистоты. Но вишни оставляли пятна у нее на губах. Она была подчинена физическим законам, как и все в мире, она должна была есть, чтобы жить, и могла простуживаться и хворать. Но не это было важно. Важно было то, что она могла испытывать голод и жажду, страдать от зноя и холода, а стало быть — могла чувствовать и любовь, любовь к мужчине. А он был мужчина! Почему бы в таком случае ему не стать ее избранником? «Я добьюсь счастья,— шептал он лихорадочно.— Я стану им! Сумею стать. Я добьюсь счастья!»

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Однажды вечером, когда Мартин мучился над сонетом, в который тщетно старался вложить прекрасные, но туманные образы, теснившиеся в его мозгу, его вызвали к телефону.

— Тебя дама спрашивает. По голосу слышно, что настоящая дама,— сказал насмешливо мистер Хиггинботам.

Мартин подошел к телефону, находившемуся в углу, и горячая волна словно захлестнула его, когда он услышал голос Руфи. Возясь со своим сонетом, он забыл о ее существовании, но при звуке знакомого голоса любовь пронзила его с новой силой, сокрушительной, как удар молнии. Какой это был голос! Нежный и мелодичный, словно далекая музыка, словно звон серебряных колокольчиков кристальной чистоты! Нет! Не могла обыкновенная, смертная женщина обладать таким голосом. В нем было что-то небесное, что-то не от мира сего. Поддавшись наплыву чувств, Мартин едва мог разобрать, что Руфь ему говорила, хотя старался внешне сохранить спокойствие, зная, что мышиные глазки мистера Хиггинботама так и впиваются в него.

Никакого дела к нему у Руфи не было; просто она собиралась сегодня вечером на публичную лекцию с Норманом, но у Нормана — такая досада! — началась мигрень, а поскольку билеты уже взяты, то не хочет ли Мартин пойти с нею, если он не занят.

Если он не занят! Мартин едва мог скрыть дрожь в голосе. Он не верил своим ушам! До сих пор он встречался с Руфью только у них дома и ни разу не осмеливался пригласить ее куда-

нибудь! Стоя с телефонной трубкой в руке, он вдруг почувствовал непреоборимое желание умереть за нее, и перед его мысленным взором возникли героические образы, сцены самопожертвования во имя любви. Он любил ее так сильно, так страшно, так безнадежно. Его охватила такая сумасшедшая радость при мысли, что она пойдет на лекцию с ним, с Мартином Иденом, что ему захотелось тут же умереть за нее. Ничего лучшего он не мог придумать. Это было единственное, чем он мог доказать свое безграничное и бескорыстное чувство. Это был великий порыв самоотречения, знакомый каждому истинно влюбленному, и он подхватил Мартина, точно огненный вихрь, во время короткого разговора по телефону. Умереть за нее, думал он, это значило бы, что он жил и любил по-настоящему. А ему был всего двадцать один год, и это была его первая любовь!

Дрожащей рукой Мартин повесил трубку, обессилев после только что пережитого потрясения. Глаза у него сияли каким-то ангельским светом, лицо преобразилось, точно он очистился от земной скверны и стал святым и безгрешным.

— Свидание на стороне, а? — ехидно прошипел зять.— А знаешь, чем это кончается? Как раз угодишь в полицейский суд, голубчик мой.

Но Мартин не мог сразу спуститься с высот. Даже эти гнусные намеки не могли вернуть его на землю. Он был выше и гнева и раздражения. Он еще весь был во власти прекрасного видения и, точно божество, не мог испытывать к ничтожным созданиям, вроде зятя, ничего, кроме жалости. Он и не замечал мистера Хиггинботама, его глаза смотрели сквозь него, и, как во сне, он вышел из комнаты, чтобы переодеться. Только когда он уже завязывал галстук перед своим зеркальцем, до его сознания дошел какой-то раздражающий звук. Это было застрявшее у него в ушах глупое гоготание Бернарда Хиггинботама, которое он словно сейчас только услыхал.

Когда дверь дома Морзов закрылась за ними и Мартин стал спускаться со ступенек крыльца вместе с Руфью, он вдруг почувствовал замешательство. Радость этой прогулки омрачилась непредвиденными сомнениями. Он не знал, как держать себя. Он не раз видал, что люди ее круга, выходя на улицу, берут даму под руку. Но это бывало не всегда, и он не знал, принято ли ходить под руку только по вечерам или, быть может, так ходят лишь мужья с женами или братья с сестрами.

Ставя ногу на последнюю ступеньку, он вдруг вспомнил Минни. Минни была большая модница, и при второй встрече она сделала ему выговор за то, что он шел с внутренней сторо-

ны тротуара, тогда как истинный джентльмен, прогуливаясь с дамой, должен идти всегда с внешней стороны. И Минни завела манеру наступать ему на ноги, когда они переходили улицу, чтобы он не забывал держаться внешней стороны. Но он не знал, откуда она выкопала такое правило и в самом ли деле так принято в высшем обществе.

В конце концов Мартин решил, что беды от этого, во всяком случае, не будет, и, выйдя на улицу, он пропустил Руфь вперед, а сам пошел рядом, с внешней стороны тротуара. Но тут возникла вторая проблема: нужно ли предложить ей руку? До сих пор он никогда не предлагал руку спутнице. Девушки, с которыми он привык иметь дело, не гуляли с кавалерами под руку. В начале знакомства девушка обычно просто ходила рядом, а позже старалась выбирать темные переулки и шла, положив голову на плечо спутника, который при этом обнимал ее за талию. Но здесь дело обстояло иначе. Руфь была совсем не такая, как те девушки. И Мартин не знал, как ему быть.

Ему пришло в голову слегка согнуть свою правую руку, как будто случайно, по привычке. И тут произошло чудо. Мартин почувствовал, как ее рука легла на его руку. Сладостная дрожь пронизала его, и несколько мгновений ему казалось, что ноги его отделились от земли, а за спиной выросли крылья. Но новое осложнение вернуло его к действительности. Они перешли улицу, и теперь он очутился не с внешней, а с внутренней стороны тротуара. Что ж теперь делать? Выпустить ее руку и переменить место? А что делать, когда им придется переходить улицу вторично? И в третий раз? Что-то было тут не совсем ясно, и Мартин решил, что не будет валять дурака, прыгая взад и вперед. Но такое решение не вполне удовлетворяло его, и, очутившись с внутренней стороны, он начал быстро и с увлечением говорить о чем-то. Пусть в случае чего она думает, что в пылу беседы он просто забыл перейти на другую сторону.

На Бродвее Мартина ожидало новое испытание. При свете уличных фонарей он вдруг увидел Лиззи Конолли и ее смешливую подругу. На одно, только одно мгновение он заколебался, но тотчас же снял шляпу и поклонился. Он не намерен был стыдиться своей среды, и его поклон относился не только к Лиззи Конолли. Девушка кивнула в ответ, быстро глянув на него красивыми, задорно блестящими глазами, так не похожими на светлые и ясные глаза Руфи. Она оглядела Руфь и сразу, по-видимому, оценила ее наружность и платье и угадала ее положение в обществе. Мартин заметил, что и Руфь бросила на девушку ответный взгляд, и этот взгляд, мимолетный и исполненный

голубиной кротости, все же успел отметить дешевый наряд и затейливую шляпку, какими любили щеголять молодые работницы.

— Какая красивая девушка,— сказала Руфь минуту спустя.

Мартин готов был благословить ее за эту фразу, но сказал только:

— Не знаю. Дело вкуса, должно быть; я не нахожу ее особенно красивой.

— Ну, что вы! Такие правильные черты встречаются один раз на тысячу. У нее лицо, точно камея. И глаза чудесные!

— Вы находите? — равнодушно сказал Мартин, ибо для него существовала на свете только одна красивая женщина, и она шла рядом с ним, опираясь на его руку.

— Если б эту девушку одеть как следует и научить ее держаться, уверяю вас, она покорила бы всех мужчин и вас в том числе, мистер Иден.

— Прежде всего нужно было бы научить ее правильно говорить,— отвечал он,— а то большинство мужчин и не поняли бы ее. Я уверен, что вы и половины не поняли бы из ее речи, если б она говорила так, как привыкла.

— Глупости! Вы так же упрямы, как Артур, когда хотите доказать что-нибудь.

— А вы забыли, как я говорил, когда мы встретились первый раз? Сейчас я говорю совсем иначе. Я тогда говорил так же, как эта девушка. Но за это время я кое-чему выучился и могу утверждать понятным для вас языком, что ее язык для вас не понятен. Вот вы обратили внимание, что она некрасиво держится. А знаете, почему? Я ведь теперь все время думаю о таких вещах, которые раньше мне и в голову не приходили,— и я многое начинаю понимать.

— Почему же она так держится?

— Она уже несколько лет работает на фабрике. Молодое тело податливо, как воск, и тяжелый труд формирует его; оно невольно привыкает к положению, удобному для данной работы. Я с одного взгляда могу определить, чем занимается рабочий, которого я встретил на улице. Посмотрите на меня. Почему я так раскачиваюсь при ходьбе? Да потому, что я почти всю жизнь провел на море. Если бы все эти годы я был не матросом, а ковбоем, я бы не ходил враскачку, но у меня были бы кривые ноги. Вот и с этой девушкой так. Вы заметили, какой у нее, если можно так выразиться, жесткий взгляд? Ведь она никогда не жила под чьим-нибудь крылышком. Она все время сама

должна думать о себе, а когда девушке приходится самой о себе думать и заботиться, у нее не может быть такого нежного, кроткого взгляда, как... как у вас, например.

— Вы, пожалуй, правы,— тихо сказала Руфь.— Как это ужасно! Она такая красивая...

Мартин, взглянув на нее, увидел, что в ее глазах светится сострадание. И тут же он подумал о том, как он любит ее и какое необычайное счастье выпало ему — любить ее и идти с нею вдвоем, под руку, направляясь на лекцию.

«Кто ты такой, Мартин Иден? — спрашивал он себя в этот вечер, вернувшись домой и глядя на себя в зеркало. Он глядел долго и с любопытством.— Кто ты и что ты? Где твое место? Твое место подле такой девушки, как Лиззи Конолли. Твое место среди миллионов людей труда,— там, где все вульгарно, грубо и некрасиво. Твое место в хлеву, на конюшне, среди грязи и навоза. Чувствуешь запах прели? Это гниет картофель. Нюхай же, черт тебя побери, нюхай хорошенько! А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем не думает никто из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Конолли и любить девушку, которая неизмеримо далека от тебя и живет среди звезд! Кто ты и что ты, черт тебя возьми! Добьешься ли ты того, к чему стремишься?»

Он погрозил себе в зеркале кулаком и сел на край кровати, глядя перед собой широко открытыми, невидящими глазами. Потом немного спустя достал свою тетрадку, учебник алгебры и углубился в квадратные уравнения. А часы летели, меркли звезды, и за окном серели уже предрассветные сумерки.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Кружок словоохотливых социалистов и философов из рабочих, который собирался в Сити-Холл-парке в жаркие дни, случайно натолкнул Мартина на одно великое открытие. Раза два в месяц, проезжая через парк по пути в библиотеку, Мартин слезал с велосипеда, прислушивался к спорам, и всякий раз ему стоило труда оторваться от них. Общий тон этих дискуссий был иной, чем за столом мистера Морза. Спорщики не были важными и преисполненными достоинства. Они давали волю своему темпераменту и осыпали друг друга обидными прозвищами, ругательствами и ядовитыми намеками. Раза два дело доходило до потасовки. И все же, не отдавая себе ясного отчета —

почему, Мартин чувствовал какую-то живую основу во всех этих словопрениях; они сильнее действовали на него, чем спокойный и уравновешенный догматизм мистера Морза. В этих людях, которые немилосердно коверкали английский язык, жестикулировали, как помешанные, и с первобытной яростью нападали на своих противников,— в них, казалось ему, было куда больше жизни, чем в мистере Морзе и его друге мистере Бэтлере.

На сборищах в парке Мартин несколько раз слышал имя Герберта Спенсера, но вот однажды появился там его ученик и последователь, жалкий бродяга в рваной куртке, застегнутой наглухо, чтобы скрыть отсутствие рубашки. Началось генеральное сражение в дыму бесконечных папирос, среди беспрестанно сплевываемой табачной жвачки, причем бродяга ловко парировал все удары, даже когда один из рабочих-социалистов крикнул насмешливо: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его!» Мартин не мог уяснить себе, о чем идет спор, но он заинтересовался Гербертом Спенсером и, явившись в библиотеку, спросил «Основные начала», так как бродяга в разгаре спора часто упоминал это сочинение.

И это было начало великого открытия. Мартин уже однажды пытался читать Спенсера, но он выбрал «Основы психологии» и потерпел фиаско, так же как и с госпожой Блаватской. Он ничего не мог понять в этой книге и вернул ее непрочитанной. Но в этот вечер, после алгебры и физики и долгой борьбы с сонетом, он лег в постель и раскрыл «Основные начала». Утро застало его еще за чтением. Спать он не мог. В этот день он даже не писал. Он лежал и читал до тех пор, пока у него не заболели бока; тогда он слез с постели, улегся на голый пол и продолжал читать, держа книгу над головой или облокотясь на руку. Следующую ночь он все-таки уснул и утром уселся писать, но соблазн был так велик, что вскоре он снова принялся за чтение, позабыв все на свете, даже то, что в этот вечер он должен был пойти к Руфи. Он опомнился только тогда, когда Бернард Хиггинботам распахнул дверь и спросил, не думает ли он, что у них тут ресторан.

Мартин Иден всегда отличался любознательностью. Он хотел все знать и отчасти из-за этого увлекся профессией всесветного бродяги-моряка. Но теперь, читая Спенсера, он понял, что не знает ничего, что никогда ничего и не узнал бы, сколько бы ни странствовал по морям. Он лишь скользил по поверхности вещей, наблюдая разрозненные явления, накопляя отдельные факты, делая иногда небольшие частные обобщения,— все это

без всякой попытки установить связь, привести в систему мир, который представлялся ему прихотливым сцеплением случайностей. Наблюдая летящих птиц, он часто размышлял над механизмом их полета; но ни разу он не задумался о том процессе развития, который привел к появлению живых летающих существ. Он даже и не подозревал о существовании такого процесса. Что птицы могли «появиться», не приходило ему в голову. Они «были» — вот и все, были всегда.

И как обстояло дело с птицами, так обстояло и со всем остальным. Все его попытки философских умозаключений были обречены на неудачу из-за отсутствия знаний и навыка к ним. Средневековая метафизика Канта ничего не открыла ему, а лишь заставила усомниться в своих умственных силах. Такую же неудачу он потерпел, начав изучать теорию эволюции по слишком специальной книге Ромейса. Единственное, что он вынес из этого чтения,— это представление об эволюции как о беспочвенной теоретической выдумке сухих педантов, изъясняющихся тарабарским языком. А теперь он увидал, что это вовсе не голая теория, но общепризнанный закон развития; что если между учеными и возникают еще по этому поводу споры, то лишь по частным вопросам о формах эволюции.

И вот явился человек — Спенсер, который привел все это в систему, объединил, сделал выводы и представил изумленному взору Мартина конкретный и упорядоченный мир во всех деталях и с полной наглядностью, как те маленькие модели кораблей в стеклянных банках, которые мастерят на досуге матросы. Не было тут ни неожиданностей, ни случайностей. Во всем был закон. Подчиняясь этому закону, птица летала; подчиняясь тому же закону, бесформенная плазма стала двигаться, извиваться, у нее выросли крылья и лапки — и появилась на свет птица.

Мартин в своей умственной жизни шел от одной вершины к другой и теперь достиг самой высокой. Он вдруг проник в тайную сущность вещей, и познание опьянило его. Ночью, во сне, он жил среди богов, преследуемый величественными видениями. Днем бродил, как лунатик, и перед его блуждающим взором был только тот мир, который открыл ему Спенсер. За столом во время обеда он не слышал разговоров и споров о разных житейских мелочах, так как ум его все время напряженно работал, вскрывая причинную связь во всем, что он видел. В мясе, лежащем на тарелке, он прозревал энергию солнечных лучей, и в обратном порядке, через все превращения, прослеживал их путь до первоисточника, отстоящего на миллионы миль, или же мыс-

ленно продолжал этот путь и думал о той силе, которая движет мускулы его руки, заставляя ее резать мясо, и о мозге, посылающем приказание мускулам, так что в конечном счете находил в своем мозге ту же энергию солнечных лучей. Мартин настолько ушел в свои мысли, что не слыхал, как Джим пробормотал: «Спятил парень»,— не замечал тревожных взглядов сестры и не обращал внимания на Бернарда Хиггинботама, который уже несколько раз выразительно покрутил пальцем около своего лба.

Больше всего поразила Мартина взаимосвязь между науками — всеми науками. Он всегда был жаден до знаний, но те знания, которые ему удавалось приобрести, откладывались у него как бы в отдельные клетки памяти. Так, в одной клетке скопилось много отрывочных сведений о мореплавании, в другой — о женщинах. Но эти две клетки никак не сообщались между собой. Мысль, что можно установить связь между женщиной в истерике и судном, подхваченным бурей, показалась бы Мартину нелепой и невозможной. Но Герберт Спенсер доказал ему не только, что в этом нет ничего нелепого, но что, напротив, между этими двумя явлениями не может не быть связи. Все связано в мире, от самой далекой звезды в небесных просторах и до мельчайшего атома в песчинке под ногой человека.

Для Мартина это было постоянным источником изумления, и он теперь все время был занят тем, что старался устанавливать связь вещей и явлений на этой планете — да и не только на этой. Он составлял целые списки самых разнородных вещей и не успокаивался до тех пор, пока не находил между ними связи. Так, оказалось, что существует связь между любовью, поэзией, землетрясениями, огнем, гремучими змеями, радугой, драгоценными камнями, уродством, солнечными закатами, львиным рыком, светильным газом, каннибализмом, красотою, убийством, рычагами, точкой опоры и табаком. Теперь вселенная предстала перед ним как единое целое, и он странствовал по ее закоулкам, тупикам и дебрям не как заблудившийся путник, сквозь таинственную чащу продирающийся к неведомой цели, а как опытный путешественник-наблюдатель, старающийся ничего не упустить из виду и все заносящий на карту. И чем больше он узнавал, тем больше восхищался миром и собственной жизнью в этом мире.

— Эх ты, болван! — кричал он своему изображению в зеркале.— Тебе хотелось писать, и ты писал, а писать-то было не о чем! Ну что у тебя было? Детские понятия, недозрелые чувства, смутное представление о красоте, черная трясина невежества, сердце, готовое разорваться от любви, да самолюбие, такое же

огромное, как твоя любовь, и такое же безнадежное, как твое невежество. И ты хотел писать? Но ведь только теперь ты начинаешь находить, о чем писать. Ты хотел создавать красоту, а сам ничего не знал о природе красоты. Ты хотел писать о жизни, а сам не имел понятия о ее сущности. Ты хотел писать о мире, а мир был для тебя китайской головоломкой; и что бы ты ни писал, ты бы только лишний раз расписался в своем невежестве. Но не падай духом, Мартин, мой мальчик! Ты еще будешь писать. Ты уже кое-что знаешь; правда, еще очень мало, но ты теперь держишь правильный курс и скоро будешь знать больше. Если тебе повезет, то когда-нибудь ты узнаешь почти все, что можно узнать. И вот тогда ты будешь писать!

Он сообщил Руфи о своем великом открытии, чувствуя потребность поделиться с ней своей радостью и удивлением. Но она отнеслась к этому очень спокойно, так как, по-видимому, знала все это раньше. И его не удивило такое бесстрастное отношение к тому, что так взбудоражило все его существо,— он понимал, что для нее тут нет ничего нового. Артур и Норман, как удалось ему выяснить, были сторонниками эволюционной теории, и оба читали Герберта Спенсера, хотя на них он, по-видимому, не произвел такого ошеломляющего впечатления; а лохматый молодой человек в очках, которого звали Уилл Олни, язвительно засмеялся при упоминании имени Спенсера и повторил уже слышанную Мартином остроту: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его».

Но Мартин простил ему эту насмешку, так как уже начал догадываться, что Олни вовсе не влюблен в Руфь. Впоследствии по разным мелким фактам он убедился, что Олни не только не влюблен в нее, но относится к ней с явною неприязнью. Мартину это казалось непонятным. Это был феномен, который он никак не мог связать с прочими явлениями вселенной. Ему даже стало жаль этого юношу, которому, очевидно, какой-то природный недостаток мешал оценить прелесть и красоту Руфи. Они очень часто по воскресеньям все вместе катались на велосипедах, и Мартин убедился во время этих поездок, что Руфь и Олни находятся в состоянии вооруженного мира. Олни больше дружил с Норманом, предоставляя Руфь, Артура и Мартина обществу друг друга, за что Мартин был ему очень благодарен.

Эти воскресенья были для Мартина праздниками вдвойне, потому что они давали ему возможность встречаться с Руфью, а кроме того, ставили его в один ряд с молодыми людьми ее класса. Хотя эти люди и получили систематическое образование, Мартин видел, что в умственном отношении он не уступает

им; разговор же с ними был для него, Мартина, прекрасной практикой устной речи. Он давно перестал читать руководства по правилам поведения в обществе, решив положиться на свою наблюдательность. За исключением тех случаев, когда он забывал обо всем, увлекшись предметом разговора, он всегда внимательно следил за поведением своих спутников, стараясь запомнить разные мелочи в их обращении друг с другом.

То обстоятельство, что Спенсера вообще очень мало читали, изумляло Мартина. «Герберт Спенсер,— сказал библиотекарь в справочном отделе,— о, это великий ум». Но, по-видимому, сам библиотекарь очень мало знал о творениях этого великого ума. Однажды за обедом у Морзов, в присутствии мистера Бэтлера, Мартин завел разговор о Спенсере. Мистер Морз резко осудил агностицизм английского философа, сознавшись, впрочем, что не читал «Основных начал», а мистер Бэтлер объявил, что Спенсер нагоняет на него тоску, что он не прочел ни строчки из его сочинений и отлично обходится без этого. Мартина стали одолевать сомнения, и не будь он так резко самобытен, он, пожалуй, подчинился бы общему мнению и отказался от дальнейшего знакомства со Спенсером. Но взгляды Спенсера на мир казались ему необычайно убедительными, и отказаться от них было для него все равно, что для мореплавателя выбросить за борт компас и карты. Поэтому Мартин продолжал изучать теорию эволюции, все более и более овладевая предметом и находя подтверждение взглядам Спенсера у тысячи других писателей. Чем дальше он шел в своих занятиях, тем больше открывалось перед ним неисследованных областей знания, и он все чаще сожалел, что в сутках всего двадцать четыре часа.

Однажды, в погоне за временем, он решил бросить алгебру и геометрию. К тригонометрии он даже и не приступал. Потом он вычеркнул из своего расписания и химию, оставив лишь физику.

— Я же не специалист,— сказал он Руфи в свое оправдание,— и я не собираюсь стать специалистом. Ведь наук так много, что одному человеку не хватит жизни изучить их все. Я хочу получить общее образование. Когда мне понадобятся специальные знания, я могу обратиться к книгам.

— Но это совсем не то, что самому обладать этими знаниями,— возразила она.

— А зачем нужно ими обладать? Мы всегда пользуемся трудами специалистов. Для того они и существуют. Вот сегодня, входя к вам в дом, я видел, что у вас работают трубочисты. Они тоже специалисты, и когда они сделают свое дело, вы бу-

дете пользоваться вычищенными трубами, даже и не зная ничего о строении печей.

— Ну, это явная натяжка!

Она посмотрела на него неодобрительно, и он прочел упрек в ее взгляде и тоне. Но он был убежден в своей правоте.

— Все мыслители, задумывавшиеся над общими проблемами, все величайшие умы фактически всегда полагались в отдельных вопросах на суждения специалистов. И Герберт Спенсер поступал точно так же. Он обобщал открытия многих тысяч исследователей. Ему надо было бы прожить тысячи жизней, чтобы дойти до всего самому. То же самое было с Дарвином. Он использовал то, что было изучено садовниками и скотоводами.

— Вы правы, Мартин,— сказал Олни,— вы знаете, что вам нужно, а Руфь не знает. Она не знает даже, что ей самой нужно. Да, да,— продолжал он, не давая Руфи времени возразить.— Я знаю, вы называете это общей культурой. Но если добиваться этой общей культуры, то не все ли равно, что изучать? Вы можете изучать французский язык, можете изучать немецкий или эсперанто,— вы все равно приобретете так называемую «общую культуру». Или займитесь латынью и греческим,— правда, ни тот, ни другой язык никогда вам не пригодится, но культуру это вам, несомненно, даст. Изучала же Руфь два года назад староанглийский язык, и даже очень успешно, а теперь ничего не помнит, кроме одной строчки: «Когда апрель обильными дождями». Так, кажется? И это дало вам «общую культуру»,— засмеялся он, опять не давая ей возможности возразить,— знаю, знаю. Мы ведь с вами были на одном курсе.

— Вы так говорите о культуре, как будто это средство, а не цель! — воскликнула Руфь. Глаза ее засверкали, а на щеках выступили два красных пятна.— Культура самоценна!

— Но Мартину не это нужно.

— А вы откуда знаете?

— Что вам нужно, Мартин? — спросил Олни, круто поворачиваясь к нему.

Мартин почувствовал себя крайне неловко и умоляюще поглядел на Руфь.

— Да, скажите, что вам нужно,— сказала Руфь.— Это разрешит наш спор.

— Конечно, мне нужна культура,— сказал Мартин перешительно.— Я люблю красоту, а культура даст мне возможность лучше понять и оценить ее.

Руфь кивнула головой с торжествующим видом.

— Чепуха! И вы сами это прекрасно знаете,— объявил Олни.— Мартин добивается карьеры, а не культуры. То, что в его случае карьера связана с культурой,— простое совпадение. Если бы он хотел стать химиком, культура была бы ему ни к чему. Мартин хочет стать писателем, но боится сказать это, чтобы вы не потерпели фиаско в нашем споре. А почему Мартин хочет стать писателем? — продолжал он.— Потому что у него нет денег. Почему вы забивали себе голову староанглийским языком и всей этой вашей «общей культурой»? Да потому, что вам не надо пробивать себе дороги. Об этом заботится ваш отец. Он платит за ваши наряды, он сделает для вас и все остальное. Что проку в том образовании, которое мы все получили — и вы, и я, и Артур, и Норман? Мы напичканы «общей культурой», а разорись завтра наши отцы — нам только и осталось бы, пожалуй, что держать экзамен на школьного учителя. Самое большее, на что Руфь могла бы тогда рассчитывать,— это стать сельской учительницей или преподавательницей музыки в женском пансионе.

— А вы бы что делали? — спросила Руфь.

— Ничего путного. Пошел бы на черную работу доллара за полтора в день или рискнул бы наняться репетитором в заведении Хенли, натаскивать тупиц к экзаменам; говорю: «рискнул бы», потому что через неделю меня бы, вероятно, выгнали за полной негодностью.

Мартин молча прислушивался к разговору; он чувствовал, что Олни прав, но в то же время осуждал его за бесцеремонность по отношению к Руфи. В его голове во время этого спора складывались новые взгляды на любовь. Разум не должен вмешиваться в любовные дела. Правильно рассуждает любимая женщина или неправильно — это безразлично. Любовь выше разума. Руфь, очевидно, не понимала, как важна для него карьера, но от этого она, разумеется, не стала менее прелестной. Она была прелестна, и то, что она думала, не имело никакого отношения к ее прелести.

— Что вы сказали? — переспросил он Олни, который неожиданным вопросом прервал течение его мыслей.

— Я спросил, неужели у вас хватит глупости взяться за изучение латыни.

— Латынь не только дает культуру,— прервала Руфь,— это тренировка ума.

— Ну, так как же, Мартин, будете вы изучать латынь? — настаивал Олни.

Мартин был прижат к стене. Он видел, что Руфь с нетерпением ждет его ответа.

— Боюсь, что у меня не хватит времени,— ответил он наконец.— Я бы стал изучать, но у меня не хватит времени.

— Видите, Мартину вовсе не нужна ваша «общая культура»! — торжествовал Олни.— Он хочет чего-то добиться в жизни, выйти в люди.

— Да, но ведь это же тренировка ума, это дисциплина! Латынь дисциплинирует ум! — При этих словах Руфь посмотрела на Мартина, словно прося его переменить свое суждение.— Вы видели, как футболисты тренируются перед игрою? То же самое латынь для мыслителей. Это тренировка.

— Какой вздор! Это нам в детстве вбивали в голову! Но есть одна истина, которую забыли нам внушить своевременно. Пришлось доходить до нее своим умом.— Олни сделал паузу для вящего эффекта и сказал торжественно: — Джентльмену следует изучать латынь, но джентльмену не следует ее знать.

— Это нечестно! — вскричала Руфь.— Я так и знала, что вы сведете весь разговор к шутке.

— Но согласитесь, что шутка остроумна!— возразил он.— И к тому же это верно. Единственные люди, которые знают латынь,— это аптекари, адвокаты и преподаватели латыни. Если Мартин хочет стать аптекарем или адвокатом, я умолкаю. Но тогда при чем тут Герберт Спенсер? Мартин только что открыл Спенсера и пришел от него в дикий восторг. Почему? Потому что Спенсер дает ему что-то. Вам Спенсер ничего не может дать и мне тоже. Да нам ничего и не нужно. Вы в один прекрасный день выйдете замуж, а мне вообще нечего будет делать, так как все за меня будут делать разные поверенные и управляющие, которые позаботятся о капитале, который я получу от отца.

Олни направился было к двери, но, остановившись, выпустил свой последний заряд:

— Оставьте Мартина в покое, Руфь. Он сам прекрасно знает, что ему нужно. Посмотрите, сколь многого он сумел добиться. Иногда я краснею и стыжусь за себя. Он и сейчас знает о жизни и о назначении человека куда больше, чем Артур, Норман, я или вы, несмотря на всю нашу латынь, французский и староанглийский, несмотря на всю нашу так называемую культуру.

— Но Руфь моя учительница,— рыцарски возразил Мартин,— если я и знаю что-нибудь, то только благодаря ей.

— Чепуха! — Олни посмотрел на Руфь с каким-то недоброжелательством.— Вы еще скажете, что стали читать Спенсера по ее совету. Так я и поверил! Руфь знает о Дарвине и об

эволюции столько же, сколько я об алмазных копях царя Соломона. Помните, несколько дней тому назад вы огорошили нас своим толкованием одного места у Спенсера — относительно неопределенного, неуловимого и однородного. Попробуйте растолковать ей это — и посмотрите, поймет она вас или нет. Это, видите ли, не «культура»! Словом, Мартин, если вы начнете зубрить латынь, я просто потеряю к вам уважение.

С интересом прислушиваясь к разговору, Мартин в то же время чувствовал какой-то неприятный осадок. Речь шла об учении и уроках, о начатках знания, и общий школьнический тон спора не соответствовал тем большим вопросам, которые волновали Мартина, заставляли его цепко ухватывать все жизненные явления и трепетать каким-то космическим трепетом от сознания своей пробуждающейся силы. Он мысленно сравнивал себя с поэтом, выброшенным на берег неведомой страны, который потрясен окружающей красотою и тщетно старается воспеть ее на чуждом ему языке диких туземцев. Так было и с ним. Он чувствовал в себе мучительное стремление познать великие мировые истины,— а вместо этого должен был слушать детские пререкания о том, нужно изучать латынь или не нужно.

— На кой дьявол тут припуталась эта латынь! — говорил он себе в этот вечер, стоя перед зеркалом.— Пусть мертвецы остаются мертвецами. Какое имею я отношение к этим мертвецам? Красота вечна и всегда жива. Языки создаются и исчезают. Они прах мертвецов.

Он тут же подумал, что научился хорошо формулировать свои мысли, и, ложась в постель, старался понять, почему он теряет эту способность в присутствии Руфи. При ней он превращался в школьника и говорил языком школьника.

— Дайте мне время,— сказал он вслух.— Дайте мне только время.

Время! Время! Это была его вечная мольба.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Несмотря на свою любовь к Руфи, Мартин не стал изучать латынь. Советы Олни были тут ни при чем. Время было для него все равно что деньги, а многие науки, куда важнее латыни, повелительно требовали его внимания. К тому же он должен был писать. Ему нужно было зарабатывать деньги. Но, увы, его нигде не печатали. Рукописи грустно странствовали

по редакциям. Почему же печатали других писателей? Мартин, подолгу просиживая в читальне, читал чужие произведения, изучал их внимательно и критически, сравнивая со своими собственными и тщетно стараясь раскрыть секрет, помогавший этим писателям пристраивать свои творения.

Он удивлялся надуманности большей части того, что попадало на страницы печати. Ни света, ни красок не было в этих рассказах. От них не веяло дыханием жизни, а между тем они оплачивались по два цента за слово, по двадцати долларов за тысячу слов — так было сказано в статье, которую он вырезал из газеты. С недоумением он читал и перечитывал бесчисленные рассказы, написанные (он не мог не признать этого) легко и остроумно, но далекие от того, что составляет существо жизни. Ведь жизнь сама по себе так удивительна, так чудесна, так много в ней нерешенных задач, грез, героических поступков, а эти рассказы касались только житейской обыденщины. Мартин чувствовал силу и величие жизни, ее жар и трепет, ее мятежный дух — вот о чем стоило писать! Ему хотелось воспеть смельчаков, стремящихся навстречу опасности, юношей, одержимых любовью, гигантов, борющихся среди ужасов и страданий, заставляющих жизнь трещать под их могучим напором. А между тем в журнальных рассказах прославлялись всевозможные мистеры Бэтлеры, жалкие охотники за долларами, изображались мелкие любовные треволнения мелких, ничтожных людишек. «Быть может, это потому, что сами редакторы — мелкие людишки? — спрашивал он себя.— Или же все эти редакторы, писатели и читатели просто-напросто боятся жизни?»

Больше всего его смущало то, что он не был знаком ни с редакторами, ни с писателями. Он не только не знал ни одного писателя, но даже не знал никого, кто бы когда-нибудь пытался писать. Некому было поговорить с ним, направить его, дать ему хороший совет. Он даже начал сомневаться в том, что редакторы — живые люди. Они стали представляться ему винтиками или рычажками какой-то машины. Да, да, именно так. В рассказах, очерках и поэмах он изливал свою душу, и эти излияния отдавал на суд машине. Он запечатывал рукопись в большой конверт, вкладывал в него марку для ответа и опускал в почтовый ящик. Пространствовав известное число дней по континенту, рукопись возвращалась к нему, причем была уже запечатана в другой конверт, а марка, вложенная им внутрь, была наклеена снаружи. По всей вероятности, никако-

го редактора не существовало, а был просто хитро устроенный механизм, который перекладывал рукопись из одного конверта в другой и наклеивал марку. Нечто вроде тех автоматов, в которые опускают монетку,— оттуда тотчас выскакивает кусок жевательной резины или плитка шоколада. Опустишь монетку в одно отверстие — получишь резину, опустишь в другое — получишь шоколад. И точно так же обстояло дело здесь. Из одного отверстия выскакивают чеки на гонорар, из другого — письма с отказом. До сих пор он все время попадал во второе отверстие.

Пресловутые письма дополняли сходство с машиной. Это были стандартные печатные бланки, на которых проставлялись только имена и названия. Мартин их получил уже сотни — штук по десяти на каждую рукопись. Если бы он получил хоть одну живую строчку, написанную от руки, обращенную лично к нему, он был бы счастлив. Но ни один редактор не подавал признаков жизни. Оставалось только предположить, что никаких живых редакторов на свете не бывает, а есть только хорошо смазанные и исправно действующие автоматы.

Мартин был прирожденным борцом, смелым и выносливым, и у него хватило бы упорства в течение долгих лет питать эти бездушные машины. Но он истекал кровью, и не годы, а недели должны были решить исход борьбы. Еженедельная плата за содержание приближала миг банкротства, а почтовые расходы еще больше способствовали этому. Он уже не мог покупать книги и решил экономить на мелочах, чтобы отдалить роковой конец; но он не умел экономить и на целую неделю ускорил развязку, подарив своей сестре Мэриен пять долларов на платье.

Мартин боролся во мраке, без совета, без поощрения; все кругом словно сговорились подтачивать его мужество. Даже Гертруда стала коситься на него; сначала она, как добрая сестра, смотрела сквозь пальцы на то, что ей казалось ребяческой дурью; но потом, опять-таки как добрая сестра, начала беспокоиться. Ей казалось, что ребяческая дурь уже переходит в сумасшествие. Мартин замечал ее тревожные взгляды и страдал от них больше, чем от бесцеремонных и наглых насмешек мистера Хиггинботама. Он верил в себя, но он был одинок в этом. Даже Руфь не разделяла его веры. Ей хотелось, чтобы он занимался только самообразованием, и хотя она никогда открыто не осуждала его литературных увлечений, но никогда и не поощряла их.

Мартин ни разу не показывал ей того, что писал. Какая-то особая щепетильность удерживала его; кроме того, зная, как она занята в университете, он стеснялся отнимать у нее время. Но когда все экзамены были сданы, Руфь сама сказала, что хочет почитать что-нибудь из его произведений. Мартин и обрадовался и оробел. Руфь — настоящий судья. Она бакалавр искусств. Она изучала литературу под руководством профессоров. Может быть, и редакторы — опытные судьи, но она по-другому отнесется к его произведениям. Она не пошлет ему печатного бланка с отказом, не сообщит, что при всех своих достоинствах его рассказы, к сожалению, не подходят для напечатания в данном издании. Она выскажет ему свое мнение в живых, человеческих словах, и, что всего важнее, она узнает наконец подлинного Мартина Идена. В его творениях она почувствует его душу и сердце и хоть немного, хоть чуть-чуть поймет, о чем он мечтает и на что он способен.

Мартин отобрал несколько рассказов и присоединил к ним, после некоторого колебания, «Песни моря». В один из жарких июньских дней он и Руфь на велосипедах поехали за город, к ее любимым холмам. Это была их вторая прогулка вдвоем, и, когда они мчались по дороге, овеваемые морским ветерком, умерявшим дневную жару, он глубоко, всем своим существом ощущал, что мир прекрасен и что хорошо жить и любить. Они оставили велосипеды у дороги, а сами взобрались на бурую вершину холма, где от выжженной солнцем травы шел сухой и пряный запах свежего сена.

— Она сделала свое дело,— сказал Мартин, когда они уселись — Руфь на его куртке, а он сам прямо на теплой земле.

Вдыхая сладкий, дурманящий аромат, он тотчас, по привычке, начал размышлять, переходя от частного к общему и основному.

— Она исполнила свое жизненное назначение,— продолжал он, ласково гладя сухую траву,— питалась влагою зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и привлекала насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь, свершив свой долг перед миром...

— Почему вы смотрите на все с такой противной практической точки зрения? — прервала его Руфь.

— Вероятно, потому, что я изучаю теорию эволюции. Говоря по правде, я только недавно начал видеть все в настоящем свете.

— Но мне кажется, что вы перестаете понимать красоту из-за этого практического подхода. Вы разрушаете красоту,

как мальчик уничтожает бабочек, стирая пыльцу с их красивых крылышек.

Он отрицательно покачал головой.

— У красоты есть свое значение, но я до сих пор не ощущал этого значения. Мне нравилось красивое просто потому, что оно красиво, вот и все. Я не понимал сущности красоты. А теперь понимаю или, вернее, начинаю понимать. Эта трава для меня гораздо прекраснее теперь, когда я знаю, почему она такая, знаю все то сложное воздействие солнца, дождей и соков земли, которое понадобилось, чтобы она выросла на этом холме. Есть много романтического в истории каждой травинки; она пережила немало приключений. Одна эта мысль вдохновляет меня. Когда я думаю об игре энергии и материи, обо всей великой жизненной борьбе, я чувствую, что я мог бы написать про эту траву целую поэму, и не одну.

— Как хорошо вы говорите,— сказала Руфь рассеянно, и Мартин вдруг поймал на себе ее странный, испытующий взгляд. Он сразу смутился, даже растерялся, и румянец залил его щеки.

— Ох, если б я в самом деле умел хорошо говорить,— начал он, запинаясь.— Столько во мне всяких мыслей и так хочется их высказать. Но все это такое большое, что я не могу найти подходящих слов. Иногда мне кажется, что весь мир, все живые существа взывают ко мне и требуют, чтобы я говорил за них. Я чувствую — ну как бы мне выразить это? — я чувствую величие всего; но, когда я начинаю говорить, получается детский лепет. Это огромная задача — суметь воплотить свои мысли и чувства в слова и написать или сказать эти слова так, чтобы слушатель или читатель понял их, чтобы в нем они снова перевоплотились в те же мысли и в те же чувства. Это задача, которая ни с чем не может сравниться. Вот смотрите, я зарываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне тысячи мыслей и образов. Ведь я вдохнул запах вселенной. Я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу, смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось поведать о них вам, всему миру! Но как это сделать? Язык мой скован. Вот я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, вдыхая аромат травы. И ничего у меня не вышло. Получились неуклюжие, бледные намеки. Какой-то бессвязный набор слов... а между тем мне так хочется высказаться. О...— он с отчаянием заломил руки,— это невозможно! Нельзя рассказать! Нельзя передать!

— Но вы отлично говорите,— утверждала Руфь,— просто удивительно, как вы научились говорить за это короткое время. Мистер Бэтлер — всеми признанный оратор. Комитет штата всегда приглашает его выступать с речами во время предвыборной кампании. А тогда, за обедом, вы говорили не хуже его. Только у него больше выдержки. Вы слишком горячитесь; но это постепенно пройдет. Из вас может выработаться отличный оратор. Вы далеко пойдете... если захотите. В вас есть какая-то сила. И вы способны вести людей за собой, я уверена в этом. Вы можете одолеть любые трудности на пути, так же как вы одолели грамматику. Можете стать известным адвокатом. Или политическим деятелем. Ничто не мешает вам добиться такого же успеха, как мистер Бэтлер. И притом без катара,— прибавила она с улыбкой.

Они продолжали беседовать; Руфь, по своему обыкновению, ласково, но настойчиво говорила о необходимости учиться, указывала на латынь, как на один из краеугольных камней в любой области знания. Она нарисовала ему свой идеал человека и мужчины, который был целиком списан с ее отца и дополнен кое-какими черточками, явно заимствованными у мистера Бэтлера. Мартин слушал ее, лежа на спине и наслаждаясь каждым движением ее губ, но то, что она говорила, не находило в нем отклика. Нарисованные ею перспективы не влекли его, и он чувствовал глухую горечь разочарования, соединенную с острым томлением любви. Она ни словом не упомянула о его литературной работе, и рукописи, которые он захватил с собой, лежали забытые на земле.

Наконец, во время одной паузы, он взглянул на солнце, прикинул его высоту над горизонтом и стал собирать свои рукописи, тем самым напомнив о них.

— Ах, я и забыла,— живо сказала Руфь,— а мне так хочется послушать!

Мартин прочел ей рассказ, казавшийся ему одним из лучших. Он назвал его «Вино жизни»; и это вино, опьянявшее Мартина, когда он писал рассказ, снова бросилось ему в голову теперь, во время чтения. Было своеобразное очарование в оригинальном замысле рассказа, а он еще постарался усилить это очарование яркими словами и оборотами. Вдохновенный огонь, горевший в нем во время писания, охватил его снова, и он читал самозабвенно, не замечая недостатков. Но не то было с Руфью. Ее изощренное ухо сразу заметило все слабые стороны, все преувеличения, чрезмерный пафос, характерный для новичка, частые нарушения ритмического строя фразы. Она

вообще не улавливала ритма в его рассказе, за исключением тех мест, которые звучали претенциозно-размеренно, и это неприятно поразило ее, как дурной дилетантизм. «Дилетантизм» — таков был ее окончательный приговор, но она не произнесла его. Напротив, она сделала всего несколько мелких замечаний, сказав, что в общем рассказ ей нравится.

Но Мартин был разочарован. Ее критика была справедлива, он не мог не признать этого, но ведь не для школьных поправок он читал ей свое произведение. Дело не в деталях. Это все поправимо. Рано или поздно он, конечно, сам научится замечать мелкие погрешности, даже вовсе избегать их. Но ведь он постарался вместить в свой рассказ кусок большой, живой жизни. Этот кусок жизни он хотел показать ей, а вовсе не ряд фраз, разделенных точками и запятыми. Он хотел, чтобы она почувствовала то большое и важное, что он видел своими глазами, охватил своим разумом и своими руками вложил вот в эти напечатанные на машинке строки. Очевидно, это не удалось, подумал он. Может быть, редакторы и правы в конце концов. Он видел большое и важное, но не умел выразить это в словах. И, скрыв свое разочарование, Мартин так легко согласился с ее критикой, что ей и в голову не пришло, какую бурю протеста она в нем подняла.

— Вот эту вещицу я назвал «Котел»,— сказал он, развертывая другую рукопись.— Ее отвергли четыре или пять журналов, а мне рассказ все-таки нравится. Конечно, самому судить трудно, но, по-моему, в нем кое-что есть. Может быть, вас это не захватит так, как захватило меня, но рассказ коротенький, всего две тысячи слов.

— Какой ужас! — вскричала она, когда он кончил читать.— Это просто страшно!

Мартин с тайным удовлетворением смотрел на ее бледное лицо, блестящие глаза и судорожно сцепленные руки. Он достиг своей цели. Он сумел передать ей чувства и образы, владевшие им. Все равно, понравился ей рассказ или нет,— важно, что он произвел на нее впечатление, заставил ее слушать внимательно, так, что она даже не заметила мелочей.

— Это жизнь,— возразил он,— а жизнь не всегда привлекательна. А впрочем, может быть, я очень странно устроен, но я и здесь нахожу красоту. Она мне даже кажется еще в десять раз более ценной в таком...

— Но почему же эта несчастная женщина не могла...— прервала его Руфь и, не договорив, снова воскликнула с возмущением: — О! Это безобразно! Это гадко! Это грязно!

На мгновение ему показалось, что у него остановилось сердце. Грязно! Он никогда не думал этого, никогда не предполагал. Весь рассказ горел перед ним огненными буквами, и, ослепленный сиянием, он не замечал в нем никакой грязи. Но вот сердце снова забилось у него в груди. Совесть его была спокойна.

— Почему вы не взяли более красивого сюжета? — говорила она.— Мы знаем, что в мире много грязи, но это вовсе не значит...

Руфь продолжала говорить что-то с негодованием в голосе, но он ее не слушал. Он смотрел на ее девичье личико, озаренное такой трогательной невинностью, что, казалось, невинность эта проникла в самое сердце Мартина, очищая и омывая его эфирным сиянием, прохладным, нежным и ласковым, как сияние звезд. «Мы знаем, что в мире много грязи». Он подумал о том, что́ она могла «знать», и улыбнулся про себя радостно, словно она шутила с ним. В мгновенной вспышке перед ним возникло видение бесконечного океана житейской грязи, который он избороздил вдоль и поперек, и он простил ей, что она не поняла его рассказа. Она была не виновата, что не поняла его. Слава богу, что она родилась и выросла в стороне от всего этого. Но он — он знал жизнь, знал в ней все низкое и все великое, знал, что она прекрасна, несмотря на всю грязь, ее покрывающую, и — черт побери! — он скажет об этом свое слово миру. Не удивительно, что святые на небесах чисты и непорочны. Тут нет заслуги. Но святые среди грязи — вот это чудо! И ради этого чуда стоит жить! Видеть высокий нравственный идеал, вырастающий в клоаке несправедливости; расти самому и глазами, еще залепленными грязью, ловить первые проблески красоты; видеть, как из слабости, порочности, ничтожества и скотской грубости рождается сила, и правда, и благородство духа.

До слуха Мартина вдруг донесся голос Руфи:

— Весь тон какой-то низменный! А есть так много прекрасного и высокого: вспомните «In Memoriam» [1].

Он хотел сказать ей: «А Локсли Холл?» — и сказал бы, если бы снова его не отвлекли видения. Он глядел на нее и думал, какими сложными путями, взбираясь в течение сотен тысяч веков по лестнице жизни, достигла наконец женщина высшей ступени совершенства и стала Руфью, образцом творенья, чистым и прекрасным, одаренным божественной силой,

[1] Памяти, в память *(лат.)*.

и сумела вдохнуть в него любовь и стремление к чистоте и желание изведать эту божественную силу — в него, Мартина Идена, который тоже непостижимым образом поднялся из глубин первобытной жизни, из хаоса бесчисленных ошибок и неудач вечного процесса созидания. Вот где и романтика, и красота, и чудо! Вот о чем надо писать; только бы найти слова. Святые на небесах — они всего только святые. А он человек.

— В вас очень много силы,— услышал он голос Руфи,— но эта сила какая-то необузданная.

— Похож на бегемота в посудной лавке,— пошутил он и был награжден улыбкой.

— Нельзя так — писать обо всем, без разбора. Вы должны выработать в себе вкус, изящество, стиль.

— Я, должно быть, слишком много на себя беру,— пробормотал он.

Руфь ответила ему ободряющей улыбкой и приготовилась слушать следующий рассказ.

— Не знаю, как вам понравится,— сказал Мартин, словно оправдываясь.— Это странный рассказ! Может быть, я тут слишком размахнулся, но, право, замысел у меня был хороший. Постарайтесь не обращать внимания на мелочи. Главное, чтобы вам удалось уловить основную мысль. Это важная мысль и верная, не знаю только, сумел ли я сделать ее понятной.

Он начал читать; читая, поглядывал на Руфь. Наконец ему показалось, что рассказ захватил ее. Она сидела неподвижно, не сводя с него глаз, затаив дыхание, точно зачарованная созданными им образами. Он назвал рассказ «Приключение», и это был в самом деле апофеоз приключения — не книжного, а настоящего, Приключения с большой буквы, грозного повелителя, одинаково щедрого на взыскания и награды, прихотливого и вероломного, требующего рабской покорности и неустанного труда, который то выводит на ослепительные солнечные просторы, то обрекает мукам жажды, голода, томительного долгого пути или жестокой лихорадки, несущей смерть, и через пот, кровь, укусы ядовитых насекомых, через длинную цепь мелких и неприглядных событий приводит к великолепному, победному финалу.

Все это и еще многое другое изобразил Мартин в своем рассказе; все это, казалось ему, заставляло Руфь слушать его с горящими глазами; щеки ее разрумянились, и к концу чтения он испугался, что она вот-вот упадет в обморок. Она действительно была взволнована, но не рассказом, а самим Мар-

тином. Дело было не в рассказе; она снова испытала на себе действие той знакомой уже ей силы, которая исходила от Мартина и захватывала ее всю. Но, странным образом, рассказ тоже был насыщен этой силой, и Руфь сейчас воспринимала ее именно через рассказ. Она ощущала лишь эту силу, почти не замечая того, что служило посредником; и хотя ее как будто увлекло услышанное, на самом деле она была увлечена совсем посторонней, страшной, невероятной мыслью, внезапно возникшей в ее мозгу. Она вдруг задумалась о замужестве, и прихотливая настойчивость этой мысли испугала ее. Это было нескромно. Это было так чуждо ей. Ее еще никогда не мучила пробуждающаяся женственность, и до сих пор она жила в мире снов, навеянных поэзией Теннисона, оставаясь глухой даже к деликатным намекам этого деликатнейшего поэта относительно истинных взаимоотношений рыцарей и королев. Она спала,— и вдруг жизнь властно постучалась у ее двери. Объятая ужасом, она хотела было запереться на все запоры, но пробуждающийся инстинкт требовал, чтобы она широко распахнула дверь перед странным и прекрасным гостем.

Мартин ждал ее приговора с чувством удовлетворения. Он не сомневался в том, каков будет этот приговор, и был ошеломлен, когда Руфь сказала только:

— Это красиво.

После маленькой паузы она с жаром повторила:

— Очень красиво!

Конечно, это было красиво; но в рассказе было нечто большее, нечто такое, чему красота лишь служила и подчинялась. Мартин лежал, растянувшись на земле, и зловещая туча сомнения надвигалась на него... Опять не удалось. Он не владеет словом. Он видит величайшие чудеса мира, но не в силах описать их.

— А что вы скажете о...— он помедлил, не решаясь произнести новое слово,— об идее?

— Она недостаточно ясна,— отвечала она,— таково мое общее впечатление. Я старалась следить за основной линией сюжета, но это трудно. Вы слишком многословны. Вы затемняете действие введением совершенно постороннего материала.

— Но ведь все это подчинено основной идее,— поторопился он объяснить.— Центральная идея — космического, мирового значения. Я хотел насытить ею весь рассказ. Он для нее только внешняя оболочка. Я шел по верному пути, но, видно, плохо справился с задачей. Мне не удалось высказать то, что я хотел. Может быть, со временем я научусь.

Руфь не могла уследить за ходом его мыслей. Они были недоступны ей, хотя она и была бакалавром искусств. Она не понимала их и свое непонимание приписывала его неумению выразить желаемое.

— Вы слишком многословны,— повторила она,— но местами это прекрасно.

Ее голос доносился до Мартина как будто издалека, ибо он в это время раздумывал, читать ли ей «Песни моря». Он лежал молча, чувствуя тоску и отчаяние, а она смотрела на него, и в голове ее носились все те же незваные и упорные мысли о замужестве.

— Вы хотите стать знаменитым? — вдруг спросила она.

— Да, пожалуй,— согласился он,— но это не главное. Меня занимает не столько слава, сколько путь к ней. А кроме того, слава мне помогла бы в другом. Я очень хочу стать знаменитым, если на то пошло, ради одного.

Он хотел прибавить «ради вас», и, вероятно, прибавил бы, если бы Руфь более горячо отнеслась к его произведениям.

Но она слишком была занята в этот миг мыслями о какой-либо мало-мальски приемлемой карьере для него и потому не спросила даже, на что он намекает. Что писателя из него не выйдет, Руфь была твердо уверена. Он только что доказал это своими дилетантскими, наивными сочинениями. Он научился хорошо говорить, но совершенно не владел литературным слогом. Она сравнивала его с Теннисоном, Браунингом и с любимейшими своими писателями-прозаиками, и сравнение оказывалось для него более чем невыгодным. Но она не стала говорить ему все, что думала. Странное чувство, которое тянуло ее к нему, умеряло ее взыскательность. В конце концов его стремление писать было маленькой слабостью, которая со временем, вероятно, исчезнет. Тогда он, несомненно, попробует свои силы на каком-нибудь другом, более серьезном жизненном поприще и добьется успеха. В этом Руфь была уверена. Он так силен, что, наверное, добьется всего, лишь бы он скорей бросил писать.

— Я хочу, чтобы вы читали мне все, что вы пишете, мистер Иден,— сказала она.

Мартин вспыхнул от радости. Она заинтересовалась,— это несомненно. В конце концов она ведь не забраковала его произведений. Она даже нашла отдельные места прекрасными, от нее первой он услыхал ободряющие слова.

— Хорошо,— пылко сказал он,— и вот вам мое слово, мисс Морз, я стану хорошим писателем. Я пришел издалека, я знаю, и мне еще предстоит долгий путь, но я пройду его, хотя

бы пришлось ползти на четвереньках.— Он протянул ей пачку отпечатанных на машинке листков: — Вот это «Песни моря». Я вам дам их, а вы прочитаете дома, когда будет время. Но только потом скажите откровенно свое мнение. Мне так нужна критика! Пожалуйста, скажите всю правду!

— Я ничего не утаю,— обещала она, чувствуя, однако, в глубине души, что не была с ним откровенна, и не зная, сможет ли быть откровенной и впоследствии.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Первая схватка состоялась,— говорил Мартин своему изображению в зеркале дней десять спустя,— но будет вторая, третья, и так до тех пор, пока...

Не докончив фразы, он оглядел свою жалкую комнатенку, и взгляд его с грустью остановился на ворохе длинных конвертов, валявшихся в углу. Все это были возвращенные рукописи. Ему не на что было купить марок для отправки их по новым адресам, и вот за неделю набралась целая груда. Они будут приходить и завтра и послезавтра, пока все не вернутся к своему владельцу. И он уже не в состоянии рассылать их дальше. Он целый месяц не платил за прокат машинки и не мог заплатить, потому что у него едва хватало денег для недельной платы за свое содержание и взноса в посредническую контору, через которую он рассчитывал получить работу. Он сел и задумчиво посмотрел на свой стол. На нем виднелись чернильные пятна, и Мартин вдруг почувствовал к нему нежность.

— Милый старый стол,— сказал он,— много счастливых часов я провел за тобой, и ты был всегда верным другом. Ты никогда не отталкивал меня, никогда не обижал незаслуженными отказами, никогда не сетовал на тяжесть работы.

Он облокотился на стол и закрыл лицо руками. Что-то подступило к горлу, хотелось заплакать. Ему вспомнилась его первая драка, когда он, шестилетний мальчуган, весь в слезах, отбивался от другого мальчика, на два года старше, который бил его кулаками что есть силы. Он видел тесный круг мальчишек, поднявших дикий вой, когда он наконец упал, глотая кровь, которая текла из носа и смешивалась со слезами, лившимися из глаз.

— Бедный малыш,— бормотал он,— и теперь тебя снова побили! Так побили, что и не встать.

Воспоминание об этой первой битве исчезло не сразу. За нею последовало тогда много других битв, и все они постепенно всплывали в памяти Мартина. Полгода спустя Масляная Рожа (это было прозвище того самого мальчишки) опять напал на него. Но на этот раз и Мартин посадил ему синяк под глазом. Это чего-нибудь да стоило! Он вспомнил все их схватки, одну за другой. Масляная Рожа всегда побеждал. Но Мартин ни разу не обратился в бегство. Он почувствовал гордость при мысли об этом. Он всегда стойко держался до конца, хотя ему и приходилось туго. Масляная Рожа был подлым противником и никому не давал пощады. Но Мартин держался. Он всегда держался до конца!

Потом Мартин увидал узкий переулок между рядами ветхих каркасных домов. В конце переулка находилось одноэтажное кирпичное здание, из которого доносился глухой ритмичный шум машин, печатающих дневной выпуск газеты «Вестник». Мартину было тогда одиннадцать лет, а Масляной Роже тринадцать; оба они продавали газеты. Потому-то они и стояли в ожидании у ворот типографии. Масляная Рожа, разумеется, тотчас придрался к Мартину, и завязался бой, исход которого остался нерешенным, так как без четверти четыре ворота типографии распахнулись, и вся толпа мальчишек устремилась за газетами.

— Я тебя вздую завтра,— пообещал ему Масляная Рожа, и Мартин дрожащим от слез голосом заявил, что завтра будет на месте.

На следующий день, удрав из школы, он прибежал на место битвы за две минуты до Масляной Рожи. Другие мальчишки хвалили Мартина и давали ему советы, следуя которым он непременно должен был побить противника. Но те же мальчишки давали такие же советы и Масляной Роже. Как наслаждались эти бесплатные зрители! Сейчас Мартин даже позавидовал им, вспоминая о том, сколько удовольствия они тогда получили. Битва началась и продолжалась целых полчаса, пока не открылись ворота типографии. Снова и снова Мартин видел себя мальчишкой, каждый день торопящимся из школы к воротам типографии. Бегать он не мог. Он горбился, он прихрамывал от постоянных драк. Тело у него было сплошь в синяках, руки исцарапаны, и некоторые царапины начинали гноиться. У него болели бока, болела спина, болели плечи; в голове, точно налитой свинцом, стоял туман. В школе он не мог играть, забросил учение. Для него было мукой сидеть целый день за партой. Казалось, прошли века с тех пор, как начались эти ежедневные

драки, и время тянулось, как кошмар, в непрестанном ожидании новой стычки. «Почему нельзя побить Масляную Рожу?» — думал Мартин. Это сразу избавило бы его от всех мучений. Но никогда ему не приходило в голову сдаться и признать, что Масляная Рожа сильнее его.

Так он день за днем таскался к воротам типографии, истерзанный душой и телом, учась великой науке долготерпения, и там встречал своего вечного врага — Масляную Рожу, который был истерзан так же, как и он, и охотно прекратил бы эти побоища, если бы не подстрекательства мальчишек-газетчиков, перед которыми ему не хотелось осрамиться. Однажды, после двадцатиминутной отчаянной схватки с соблюдением всех правил борьбы (не драться ногами, не давать подножек и не бить лежачего), Масляная Рожа, шатаясь, едва переводя дух, предложил кончить дело вничью. Мартин вздрогнул от сладости этого воспоминания: задыхаясь и давясь кровью, бегущей из его разбитой губы, он кинулся к Масляной Роже, выплюнул кровь, мешавшую ему говорить, и крикнул, что на ничью он не согласен, и если Масляная Рожа выдохся, пусть сдается. Но Масляная Рожа сдаться не захотел, и драка продолжалась.

На следующий день драка возобновилась и возобновлялась по-прежнему изо дня в день. Каждый раз в начале побоища Мартин сильно страдал от боли, но потом боль притуплялась, и он дрался, ослепленный яростью, как во сне, видя перед собою лишь широкие скулы Масляной Рожи и горящие, как у зверя, глаза. Он сосредоточил все свое внимание на этой роже, все остальное перестало существовать. В мире не было ничего, кроме этой рожи, и Мартин знал, что успокоится он лишь тогда, когда превратит ее в кровавое месиво или когда в кровавое месиво превратится его собственная физиономия. Тогда можно будет прекратить состязание. Но согласиться ему, Мартину, на ничью — это было невозможно!

И вот настал день, когда, придя к воротам типографии в обычное время, Мартин не нашел Масляной Рожи. Он так и не пришел. Мальчишки поздравляли Мартина, утверждая, что Масляная Рожа сдался. Но Мартин не был удовлетворен таким исходом. Он не победил Масляную Рожу, и Масляная Рожа не победил его. Спор не был решен. Впоследствии выяснилось, что в тот самый день у Масляной Рожи внезапно умер отец.

Мартин мысленно перескочил через несколько лет и увидел себя сидящим на галерке в театре. Он только что вернулся из плавания, ему уже шел семнадцатый год. Среди зрителей вспыхнула ссора. Кто-то кого-то толкнул. Мартин вмешался и

встретился со сверкающими глазами своего старинного врага — Масляной Рожи.

— После спектакля я тебе всыплю,— прошипел Мартину его враг.

Мартин кивнул головой. К месту скандала спешил блюститель порядка.

— Встретимся у выхода после конца,— шепнул Мартин, делая вид, что поглощен происходящим на сцене.

Блюститель порядка посмотрел на них и отошел.

— Ты с компанией? — спросил Мартин Масляную Рожу по окончании действия.

— Конечно!

— Тогда я тоже кое-кого позову,— объявил Мартин.

Во время антракта он навербовал себе партию: трех приятелей с гвоздильного завода, одного пожарного, полдюжины матросов и столько же молодцов из знаменитой шайки с Маркет-стрит.

По окончании спектакля обе партии пошли по разным сторонам улицы. В тихом переулке неподалеку они сошлись и устроили военный совет.

— Самое подходящее место — это мост Восьмой улицы,— сказал рыжий парень из шайки Масляной Рожи,— драться будете посередке, под электрическим фонарем, а мы будем смотреть, не идут ли фараоны. Если с одной стороны покажутся, мы удерем в другую сторону.

— Ладно. Решено,— сказал Мартин, посоветовавшись со своими.

Мост Восьмой улицы, перекинутый через рукав устья Сан-Антонио, по длине равен трем городским кварталам. Посредине моста и на обоих концах его горели электрические фонари. Ни один полисмен не мог подойти незамеченным. Перед закрытыми глазами Мартина возникло во всех подробностях это удобное для боя место. Он увидел обе шайки, хмурые и враждебные, стоявшие друг против друга, каждая позади своего бойца. Мартин и Масляная Рожа разделись до пояса. Дозорные заняли свои наблюдательные посты на концах моста. Один из матросов взял у Мартина куртку, рубашку и шапку, чтобы в случае появления полиции удрать с ними в безопасное место. Мартин ясно увидел самого себя: как он выходит на середину круга, смотрит прямо в глаза Масляной Роже и говорит, подняв кулак:

— Никаких церемоний разводить не будем! Понял? Драться до конца! Без уверток. У нас с тобой старые счеты, и надо свести их вчистую! Понял?

Противник заколебался — Мартин заметил это,— но Масляная Рожа был самолюбив и не хотел ударить лицом в грязь перед столькими зрителями.

— Ну что же, выходи,— крикнул он,— чего разболтался! До конца так до конца!

И тут, сжав кулаки, они бросились друг на друга, как два молодых бычка, со всем пылом юности, охваченные желанием бить, ломать, калечить. Все, что было достигнуто человечеством на его тысячелетнем трудном пути к совершенству, рухнуло в один миг. Только электрический фонарь торчал, как забытая веха прогресса. Мартин и Масляная Рожа были дикарями каменного века, обитающими в пещерах и на деревьях. Они все глубже и глубже погружались в трясину первобытного существования, сталкивались слепо, непроизвольно, как осколки небесных тел, как атомы, вечно притягивающие и вечно отталкивающие друг друга.

— Боже! Что за скоты мы были! Что за дикие звери! — простонал Мартин, вспоминая подробности этого боя. Благодаря необычайной силе своего воображения он видел все так живо, словно сидел в кинематографе. Он был одновременно и участником и зрителем. Все, чему он научился за эти долгие месяцы, заставляло его содрогаться от этого зрелища; но вскоре прошлое вытеснило настоящее из его сознания, и он снова стал былым Мартином Иденом и, только что вернувшись из плавания, дрался с Масляной Рожей посреди моста на Восьмой улице. Он напрягал силы, потел, обливался кровью, ликовал, когда кулаки его попадали в цель.

Казалось, то были не люди, а два буйных вихря, налетевшие друг на друга. Время шло, и обе партии стояли, присмирев и затаив дыхание. Подобной ярости они не видели, и она внушала им страх. Перед ними боролись два зверя, более свирепые, чем они сами.

Когда остыл первый порыв, противники стали драться осторожнее и обдуманнее. Ни один не брал верх.

— Ничья будет,— долетели до Мартина слова.

Он сделал нечаянно обманное движение, но в тот же миг получил страшный удар в щеку, рассекший ее до кости. Голый кулак не мог нанести такой раны. Мартин услыхал возгласы изумления и почувствовал, что из щеки у него хлещет кровь. Но он не подал и виду. Он тотчас же насторожился, так как хорошо знал, с кем имел дело, и мог ожидать всякой низости. Он стал внимательно следить за противником и, уловив блеск металла, сделал ловкий маневр и поймал его за руку.

— Разожми кулак! — гаркнул он.— Ты меня хватил кастетом!

Обе партии с ревом и руганью бросились друг на друга; еще секунда — и произошла бы общая свалка и Мартин не утолил бы своей жажды мести. Он был вне себя.

— А ну назад! — загремел он.— Все назад! Понятно?

Они расступились. Они были звери, но он был сверхзверь, внушавший ужас, и этот ужас заставил их подчиниться.

— Это мое дело, и никто пусть не мешается. Эй, ты! Давай сюда кастет.

Масляная Рожа повиновался, немного испуганный, и отдал предательское оружие.

— Это ты ему дал железку, рыжая сволочь,— продолжал Мартин, швырнув кастет в воду,— я видел, как ты тут терся, не догадался только, что тебе нужно. Если ты еще раз сунешься, я изобью тебя до смерти. Понял?

Бой возобновился, и хотя оба противника дошли до полного изнеможения, они все же продолжали осыпать друг друга ударами, пока, наконец, окружавшая их звериная стая, насытив свою жажду крови, не почувствовала страха и не начала уговаривать их прекратить драку. Масляная Рожа, едва державшийся на ногах, избитый до потери человеческого облика и превратившийся в какое-то страшное чудовище, остановился в нерешительности, но Мартин кинулся на него, снова и снова осыпая ударами.

Казалось, они боролись уже целую вечность, и Масляная Рожа заметно стал сдавать, как вдруг послышался громкий хруст, и правая рука Мартина беспомощно повисла. Кость была сломана. Все слышали, и все поняли. Понял и Масляная Рожа и, как тигр, набросился на раненого противника, колотя изо всех сил. Партия Мартина бросилась на выручку. Но Мартин, одурев от сыпавшихся на него ударов, не переставая изрыгать проклятия вперемежку со стонами боли и злобы, крикнул, чтобы они не вмешивались, и все бил одной левой рукой, ничего не сознавая, колотил и колотил. Словно издалека, доносились до него испуганные перешептывания, потом он услышал, как кто-то сказал дрожащим голосом: «Ребята, это не драка! Это убийство! Надо растащить их!»

Но ни один не решился подступиться, а он все бил и бил своей левой рукой, попадая каждый раз во что-то мягкое, кровавое, отвратительное и не имеющее ничего общего с человеческим лицом, и это что-то не поддавалось и продолжало маячить перед его помутившимся взором. И он все бил и бил, все слабее

и слабее, постепенно теряя последние остатки жизненной энергии, бил, казалось, целые века, целые тысячелетия, пока, наконец, бесформенная кровавая масса не рухнула на доски моста. И тогда он встал над ней, шатаясь, как пьяный, ища опоры в воздухе и спрашивая изменившимся голосом:

— Еще хочешь? Говори... Еще хочешь?

Он все спрашивал, настойчиво требуя ответа, и вдруг почувствовал, что товарищи хватают его, тащат, пытаются надеть на него куртку. И тут внезапно сознание покинуло его.

Будильник на столе зазвонил, но Мартин не слыхал его и продолжал сидеть, закрыв лицо руками. Он ничего не слышал. Он ни о чем не думал. Так живо он пережил все опять, что вновь потерял сознание, как в ту ночь, на мосту Восьмой улицы. Мрак и пустота окутывали его в течение нескольких минут. Потом, точно оживший мертвец, он вскочил, сверкая глазами, весь взмокший от пота.

— Я все-таки побил тебя, Масляная Рожа! — вскричал он.— Мне понадобилось для этого одиннадцать лет, но я побил тебя!

Ноги у него дрожали, голова кружилась, и, пошатнувшись, он должен был сесть на постель. Он все еще был во власти прошлого. Он недоуменно озирался по сторонам, словно не понимая, где он находится, пока, наконец, не увидел груду рукописей в углу. Тогда колеса его памяти завертелись быстрее, промчали его через четырехлетний промежуток, и он вспомнил книги, вспомнил мир, который они открыли ему, вспомнил свои гордые мечты и свою любовь к бледной девушке, впечатлительной и нежной; которая умерла бы от ужаса, если бы хоть на миг стала свидетельницей того, что он только что заново пережил, хоть на миг увидала бы ту грязь жизни, через которую он прошел!

Он поднялся и поглядел на себя в зеркало.

— Теперь ты выкарабкался из этой грязи, Мартин,— торжественно сказал он себе,— в глазах у тебя прояснилось, ты касаешься звезд плечами, живешь полной жизнью и отвоевываешь ценнейшее наследие веков у тех, кто им владеет.

Он внимательно поглядел на себя и рассмеялся.

— Немножко истерики и мелодрамы? Ну что ж! Это не страшно. Ты когда-то одолел Масляную Рожу,— так же ты одолеешь и издателей, даже если придется потратить и больше, чем одиннадцать лет! Только не вздумай останавливаться, иди вперед. Бороться — так бороться до конца!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Будильник разбудил Мартина так внезапно, что у человека с менее здоровым организмом это наверняка вызвало бы головную боль. Хотя он спал очень крепко, но проснулся мгновенно, как кошка, радуясь, что миновали пять часов забытья. Он ненавидел сон. Так много нужно было сделать, так много испытать в жизни! Он жалел о каждом миге, похищенном у него сном; будильник не перестал еще трещать, а Мартин окунул голову в таз с водой, наслаждаясь ощущением холода.

Но день не пошел по обычной программе. Не было начатого рассказа, который ждал бы окончания, не было нового замысла, который просился бы на бумагу. Мартин очень поздно кончил заниматься накануне, и теперь время уже приближалось к завтраку. Он хотел было прочитать главу из Фиска, но голова его была занята другим, и книгу пришлось отложить. Сегодня ему предстояло вступить в новую схватку с жизнью, и на некоторое время он решил прервать свое писание. Ему было грустно, как бывает грустно человеку при расставании с семьей и с родным домом. Он поглядел на рукописи в углу. Да, он должен покинуть своих бедных, опозоренных детей, которым никто не хотел дать приюта. Он наклонился и начал разбирать рукописи, перечитывал свои любимые места. «Котел» и «Приключение» он удостоил даже чтения вслух. Особенно он остался доволен рассказом «Радость», написанным накануне и брошенным в угол за отсутствием марки.

— Не понимаю,— бормотал он,— а может быть, это редакторы не понимают. Чего им еще нужно? Они печатают вещи куда хуже. Да все, что они печатают, гораздо хуже этого... почти все.

После завтрака он уложил в футляр пишущую машинку и отвез ее в Окленд.

— Я задолжал за месяц,— сказал он приказчику.— Скажите хозяину, что я уезжаю на работу и расплачусь по возвращении. Через месяц или около того.

Он переправился на пароме в Сан-Франциско и пошел в посредническую контору.

— Любую работу, все равно какую,— начал он, но его прервал приход нового посетителя, одетого с тем дешевым шиком, с каким одеваются рабочие, имеющие склонность к «изящной жизни».

Человек, сидевший за столом, безнадежно покачал головой.

— Неужели никого? — спросил вновь пришедший.— Но мне до зарезу необходимо найти кого-нибудь сегодня.

Он повернулся и посмотрел на Мартина, а Мартин посмотрел на него и увидел довольно красивое лицо, но бледное и помятое, как бывает после бурно проведенной ночи.

— Ищешь работы? — спросил он у Мартина.— Что умеешь делать?

— Любую тяжелую работу, знаю морское дело, пишу на машинке, стенографии не знаю; могу ездить верхом — вообще могу делать все, что угодно.

Тот кивнул головой.

— Ну что ж, подходит. Меня зовут Доусон, Джо Доусон, и я ищу себе помощника в прачечную.

— В прачечную? — Мысль, что он будет стирать всякие там женские кружевные финтифлюшки, показалась Мартину забавной. Но наниматель чем-то понравился ему, и потому он прибавил: — Стирать я вообще-то умею. Научился в плавании.

Джо Доусон на минуту призадумался.

— Слушай, мы, пожалуй, можем столковаться. Хочешь узнать, о чем речь идет?

Мартин утвердительно кивнул головой.

— Есть такая маленькая прачечная при гостинице в курортном местечке «Горячие Ключи». Для работы нужны двое: старший и помощник. Я старший. Каждый делает свое дело, но ты мне подчиняешься. Как, согласен?

Мартин задумался. Перспектива была заманчива. Несколько месяцев работы — и у него появится опять время для занятий. А он умел и работать и учиться на совесть.

— Хорошие харчи и отдельная комната,— сказал Джо.

Это решило вопрос. Отдельная комната, где никто не будет мешать жечь лампу по ночам.

— Но работа адова,— прибавил Джо.

Мартин погладил свои мускулы, вздувавшиеся под рукавом.

— Мне к работе не привыкать.

— Так по рукам!

Джо пощупал свой лоб.

— Фу, черт! До сих пор перед глазами круги идут. Уж больно я вчера перехватил... Да, так условия такие: на двоих полагается сотня долларов и квартира. Я получал шестьдесят, а помощник — сорок. Но тот парень знал дело, а ты новичок.

На первых порах мне придется много работать за тебя. Положим, ты начнешь с тридцати и постепенно дойдешь до сорока. Я не надую. Как только ты приладишься и начнешь работать по-настоящему, станешь получать свои сорок.

— Согласен,— заявил Мартин и протянул руку, которую тот пожал.— Только хорошо бы задаток. На дорогу и другие расходы.

— Все просадил,— грустно отвечал Джо, снова потирая лоб,— только и осталось, что обратный билет.

— А я все до последнего цента должен отдать за квартиру.

— А ты плюнь,— посоветовал Джо.

— Не могу. Родной сестре должен.

Джо сочувственно присвистнул и принял глубокомысленный вид.

— У меня на полбутылки наберется. Пойдем. Может, что и придумаем.

Мартин отклонил это предложение.

— Не употребляешь? — спросил Джо.

Мартин качнул головой, и Джо тут же заметил унылым голосом:

— Завидую, у меня вот не выходит. Проработаешь целую неделю как черт, поневоле пойдешь в кабак. Если бы я не напивался, то давно перерезал бы себе глотку или спалил все заведение. Но я рад, что ты из непьющих. Продолжай в том же духе.

Мартин видел, какая огромная пропасть лежит между ним и этим человеком — пропасть, созданная книгами; но ему нетрудно было вновь перешагнуть через нее. Всю жизнь он прожил среди людей рабочего класса, и чувство трудового товарищества было его второй натурой. Мартин быстро разрешил вопрос о переезде — задачу, чересчур затруднительную для одурманенной головы Джо. Он пошлет свой чемодан багажом по билету Джо, а сам приедет в «Горячие Ключи» на велосипеде. Семьдесят миль вполне можно осилить за воскресенье, чтобы уже с понедельника стать на работу. А теперь он пойдет домой и уложит вещи. Прощаться ему было не с кем. Руфь и вся ее семья уехали на лето в Сиерру, к озеру Тэхо.

Мартин явился в «Горячие Ключи» в воскресенье вечером, усталый и весь в пыли. Джо восторженно встретил его. Голова Джо была обвязана мокрым полотенцем, так как он проработал целый день.

— Часть белья оставалась еще с прошлой недели,— пояснил он,— когда я ездил нанимать тебя. Твой багаж прибыл в

сохранности. Он у тебя в комнате. Ну, скажу тебе, и тяжесть же. Что там напихано? Слитки золота?

Пока Мартин распаковывал чемодан, Джо присел на его кровать. Это был, собственно говоря, не чемодан, а просто ящик из-под консервов, за который мистер Хиггинботам взял с Мартина полдоллара. Приколотив к ящику две веревочные ручки, Мартин преобразил его в некоторое подобие чемодана. Джо вытаращил глаза, когда после нескольких смен белья из ящика начали появляться книги, книги и книги.

— Как! До самого дна все книги? — спросил он.

Мартин утвердительно кивнул и продолжал выкладывать том за томом на кухонный стол, заменявший умывальник.

— Ну и ну!

Отведя душу этим восклицанием, Джо замолчал, и в его мозгу начала, по-видимому, складываться какая-то мысль. Наконец он спросил:

— Скажи, ты как насчет девочек? Слаб? — спросил он.

— Нет,— ответил Мартин,— раньше случалось, пока я не начал читать книги. А теперь у меня нет времени.

— Ну, здесь у тебя не будет времени и на книги — только работать и спать.

Мартин вспомнил о своей пятичасовой норме сна и улыбнулся. Его комната была расположена над прачечной, и в этом же здании помещался мотор, который качал воду, подавал свет и приводил в движение машины в прачечной. Механик, живший в соседней комнате, зашел познакомиться с новым работником и помог Мартину приспособить электрическую лампу на длинном проводе, так что ее можно было переносить от стола к постели.

На следующее утро Мартин встал в четверть седьмого — ему сказали, что завтрак подается без четверти семь. В доме оказалась ванная для служащих, и Мартин, к великому изумлению Джо, принял холодную ванну.

— Ну и чудило же ты! — воскликнул Джо, когда они уселись завтракать на кухне.

С ними завтракали механик, садовник, помощник садовника и два или три конюха. Все они ели мрачно и торопливо, изредка перекидываясь отдельными словами, и Мартин, прислушиваясь к этому несложному разговору, думал о том, как далеко он ушел от таких людей. Убожество их кругозора казалось ему невыносимым, и хотелось поскорее избавиться от их общества. Поэтому он так же торопливо, как и они, проглотил свою

порцию жидкой безвкусной каши и вздохнул свободно, лишь выйдя за кухонную дверь.

Маленькая паровая прачечная была превосходно оборудована новейшими машинами, которые делали все, что только могли делать машины. Получив краткие наставления, Мартин стал разбирать и сортировать огромные груды грязного белья, а Джо тем временем запускал машины и разводил жидкое мыло, составленное из едких химикалий, так что он принужден был закутать полотенцем глаза, нос и рот и стал похож на мумию. Покончив с разборкой, Мартин приступил к выжиманию уже выстиранного белья. Для этого белье закладывалось в особый вращающийся барабан, делавший несколько тысяч оборотов в минуту и удалявший из белья влагу с помощью центробежной силы. Мартину то и дело приходилось бегать от сушилки к выжималке, а в промежутках еще отбирать чулки и носки. После обеда, пока нагревались утюги, они занялись катаньем носков и чулок. Потом гладили нижнее белье до шести часов, но когда пробило шесть, Джо с сомнением покачал головой.

— Не управились! — сказал он.— Придется работать и после ужина.

И после ужина они работали до десяти при слепящем электрическом свете, пока последняя пара нижнего белья не была выглажена и приготовлена к выдаче. Была знойная калифорнийская ночь, и, несмотря на распахнутые настежь окна, в комнате от раскаленной плиты и утюгов стояла невыносимая жара. Мартин и Джо, в одних рубашках, с засученными рукавами, обливались потом и задыхались.

— Точно на погрузке в тропическом порту! — сказал Мартин, когда они поднимались по лестнице.

— У тебя дело пойдет,— говорил Джо.— Ты работаешь молодцом. Если и дальше так будет, ты только первый месяц просидишь на тридцати долларах. В следующий месяц получишь уже все сорок. Но не может быть, чтобы ты раньше никогда не гладил. Меня не проведешь.

— Ей-богу, не выгладил за всю свою жизнь ни одной тряпки!

Мартин чувствовал сильную усталость и удивлялся этому, позабыв, что проработал, стоя на ногах, четырнадцать часов подряд! Он поставил будильник на шесть и, отсчитав пять часов, решил читать до часу. Сняв башмаки, чтобы дать отдохнуть ногам, он сел за стол и обложился книгами. Он раскрыл Фиска на том самом месте, на котором прервал чтение два дня назад.

Но голова работала плохо, и ему пришлось два раза прочесть один и тот же абзац. Потом он вдруг проснулся от боли в затекших мышцах и от холодного ветра, который дул с гор в открытое окно. Часы показывали два. Он проспал четыре часа. Тогда он разделся, лег в постель и заснул, едва коснувшись головой подушки.

Вторник прошел в такой же напряженной работе. Быстрота, с которой работал Джо, приводила Мартина в восторг. Сам черт не мог бы за ним угнаться. Он не терял ни одного мгновения в течение всего долгого дня, сосредоточивал на работе все свое внимание и то и дело указывал Мартину, где вместо пяти движений можно сделать три и вместо трех — два. Мартин смотрел и старался подражать ему. Он и сам был прекрасным работником, ловким, сообразительным и всегда гордился тем, что никто не мог превзойти его в работе. Теперь он тоже решил полностью сосредоточиться на работе и следовать всем наставлениям Джо. Он так ловко растирал крахмал на воротничках и манжетах, чтобы на них не образовались пузыри во время глажения, что Джо даже похвалил его.

Работа шла без всяких перерывов. Кончив одно дело, Джо тотчас же переходил к другому, ничего не дожидаясь, ничего не откладывая. Они накрахмалили двести белых сорочек, правой рукой погружая в горячий крахмал воротничок, грудь и манжеты, а левой придерживая рубашку, чтобы другие части ее не касались крахмала, а крахмал был такой горячий, что, отжимая его, им каждый раз приходилось опускать руку в холодную воду. В этот вечер они работали до половины одиннадцатого, подкрахмаливая оборки на тонком женском белье.

— В тропиках и то легче,— со смехом сказал Мартин.

— Только не для меня,— серьезно возразил Джо,— я ничего не умею делать, кроме этого.

— Но это ты делаешь здорово.

— Еще бы. Я начал работать одиннадцати лет, в Окленде. Стоял у парового катка. С тех пор прошло восемнадцать лет, и все время я только этим и занимался. Но такой каторжной работы, как тут, мне еще не попадалось. Сюда надо бы, по крайней мере, троих. Завтра придется работать и ночью. По средам всегда приходится работать ночью: воротнички и манжеты.

Мартин опять завел будильник, сел за стол и раскрыл Фиска. Но он не мог прочитать и одного абзаца. Строчки плясали перед глазами, и он клевал носом. Он стал расхаживать из

угла в угол, колотя себя кулаками по голове, чтобы разогнать сон, но все было напрасно. Потом он положил книгу перед собой и попробовал читать, придерживая веки пальцами, но тотчас же заснул с раскрытыми глазами. Тогда, не в силах больше бороться с усталостью, он разделся, едва сознавая, что делает, и бросился на кровать. Он проспал семь часов тяжелым животным сном и проснулся от звона будильника с ощущением, что все еще не выспался.

— Много прочитал? — спросил его Джо.

Мартин отрицательно покачал головой.

— Ничего! — утешил его Джо.— Мы сегодня пустим каток ночью, зато завтра кончим в шесть. У тебя будет тогда время для чтения.

Мартин в этот день полоскал шерстяные вещи в большой лохани, наполненной раствором едкого мыла, причем полоскание производилось с помощью особого приспособления, состоявшего из колесной втулки и поршня, укрепленных на перекладине над лоханью.

— Мое изобретение,— с гордостью сказал Джо.— Заменяет и валек и руки и сберегает к тому же, по крайней мере, пятнадцать минут в неделю! А ты знаешь, чего стоит каждая минута в этом чертовом пекле!

Пропускание через каток воротничков и манжет было тоже его выдумкой, и вечером, когда они продолжали работу при электрическом свете, Джо объяснил:

— В других прачечных еще не додумались до этого. А я таким образом получаю возможность в субботу кончать работу в три часа. Только надо умело это делать — вот и все. Нужна особая температура, особое давление, и пропускать надо три раза. Посмотри-ка.

Он взял манжету.

— Так и вручную не сделаешь, верно?

В четверг Джо пришел в ярость: был прислан целый узел тонкого крахмального белья сверх нормы.

— К черту,— заорал он,— к дьяволу! Не хочу больше. Я работал, как скотина, целую неделю, экономил каждую минуту, и вдруг, извольте радоваться, узел крахмального белья сверх нормы! Я живу в свободной стране, и я скажу этому голландскому борову все, что я о нем думаю! Я не стану с ним изъясняться по-французски. Найдутся и на языке Соединенных Штатов подходящие словечки. Целый узел сверх нормы!

— Придется опять работать до полуночи,— сказал он через минуту, забыв свою вспышку и покоряясь судьбе.

И в эту ночь Мартину опять не пришлось читать. Уже неделю он не видал газеты и, к собственному удивлению, не чувствовал охоты ее увидеть. Новости его не интересовали. Он был слишком утомлен, чтобы чем-нибудь интересоваться, но все-таки решил в субботу, если они действительно кончат в три, съездить на велосипеде в Окленд. Семьдесят миль туда и семьдесят миль обратно — это значило, что ему не придется вовсе отдохнуть и запастись силами на предстоящую неделю. Было бы лучше поехать поездом, но это обошлось бы в два с половиной доллара, а Мартин твердо решил копить деньги.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Мартин приобрел много новых познаний. На первой неделе был один день, когда они с Джо пропустили двести белых рубашек. Джо управлял машиной, к перекладине которой был привешен утюг на стальной пружине, регулирующей давление. Так он разглаживал накрахмаленные части рубашки, потом кидал ее Мартину. Тот на доске доглаживал все остальное.

Это была тяжелая, изнурительная работа, продолжавшаяся к тому же беспрерывно, час за часом. На открытых верандах гостиницы мужчины и дамы, одетые в белое, прогуливались для моциона или сидели за столиками и пили прохладительные напитки. Но в прачечной стояла нестерпимая духота. Раскаленная докрасна плита полыхала жаром, а из-под утюгов, прикасавшихся к сырому белью, клубился пар. Утюги нагревались гораздо сильнее, чем их обычно нагревают домашние хозяйки. Утюг, который пробуют, послюнив палец, показался бы Мартину и Джо холодным. Они определяли степень нагретости утюга, просто поднося его к щеке, и угадывали температуру каким-то особым чутьем, которое казалось Мартину совершенно необъяснимым. Если утюг был слишком горячим, его погружали в холодную воду. Это тоже требовало большого навыка и ловкости. Довольно было продержать утюг в воде лишнюю секунду, чтобы остудить его больше, чем нужно; и Мартин сам изумлялся своей точности — безупречной точности автомата, с которой он выполнял этот трудный маневр.

Впрочем, изумляться было некогда. Все внимание Мартин сосредоточил на работе. Не останавливаясь, работал он головой и руками, как живая машина, и работа поглощала все, что в нем было человеческого. В голове не оставалось места для размышлений о мире и его загадках. Все широкие, просторные

помещения в его мозгу были заперты и опечатаны. Сознание его поселилось в тесной комнатке, в штурманской рубке, из которой оно посылало указания его рукам и пальцам — как водить утюгом по дымящейся ткани, как в строгой последовательности размеренных движений разглаживать бесконечные рукава, спины, полы, бока, не уклоняясь ни на один дюйм, как отбрасывать выглаженную рубашку, не измяв ее. И тут же его внимание переключалось на следующую рубашку. Так шли долгие часы. Снаружи вся жизнь замирала под жарким солнцем Калифорнии, но в душной прачечной она не замирала ни на мгновение. Тем, кто прохлаждался на верандах гостиницы, постоянно требовалось чистое белье.

Пот градом катился с Мартина. Он пил неимоверное количество воды, но зной был так велик, что влага не задерживалась в теле и выступала изо всех пор. Во время плаваний самая тяжкая работа не мешала ему отдаваться своим мыслям. Владелец судна был только господином его времени; а хозяин гостиницы был еще и господином его мыслей. Мартин не мог думать ни о чем, кроме труда, равно изнурительного и для ума и для тела. Других мыслей у него не было. Он даже не знал, любит ли он Руфь. Она как бы перестала существовать, потому что измученному работой Мартину было не до воспоминаний, и только вечером, когда он ложился в постель, или утром, за завтраком, она мелькала перед ним туманным видением.

— Хуже, чем в аду, верно? — спросил однажды Джо.

Мартин кивнул, но почувствовал вдруг приступ раздражения. Это было ясно и без напоминаний. Они обычно не разговаривали во время работы. Разговор выбивал из ритма, вот и теперь, отвлеченный вопросом Джо, Мартин сделал утюгом два лишних движения.

В пятницу утром запустили стиральную машину. Два раза в неделю приходилось стирать белье гостиницы: скатерти, салфетки, простыни и наволочки. Покончив со всем этим, они принимались за тонкое белье. Это была работа чрезвычайно кропотливая и утомительная, требующая большой осторожности, и у Мартина дело шло медленнее; к тому же он боялся промахов, в данном случае пагубных.

— Видишь эту штуку? — сказал Джо, показывая лифчик, такой тонкий, что его можно было спрятать в кулаке.— Спали его — и с тебя вычтут двадцать долларов.

Но Мартин ничего не спалил; он сумел ослабить напряжение мускулов за счет еще большего напряжения нервов и, рабо-

тая, с удовольствием слушал ругань, которой Джо осыпал дам, носящих тонкое белье,— конечно, только потому, что им не приходится самим стирать его. Тонкое белое белье было проклятием для Мартина, да и для Джо тоже. Это тонкое белье похищало у них драгоценные минуты. Они возились с ним целый день. В семь часов они прервали стирку, чтобы прокатать простыни, скатерти и салфетки, а в десять, когда все в гостинице уже спали, снова взялись за тонкое белье и потели над ним до полуночи, до часу, до двух! Они кончили в половине третьего.

В субботу с утра опять было тонкое белье и всякие мелочи, и, наконец, в три часа недельная работа была кончена.

— На этот раз, надеюсь, ты не поедешь в Окленд? — спросил Джо, когда они уселись на ступеньках и с наслаждением закурили.

— Нет, поеду,— ответил Мартин.

— За каким чертом ты туда таскаешься? К девчонке, что ли?

— Нет, мне нужно обменять книги в библиотеке. А чтобы сэкономить два с половиной доллара, я езжу на велосипеде.

— Пошли книги по почте. Это обойдется в четверть доллара.

Мартин задумался.

— Ты лучше отдохни завтра,— продолжал Джо,— тебе это необходимо. Я по себе сужу. Я совсем разбит.

Это было видно. Неутомимый борец за секунды и минуты, враг промедлений и сокрушитель препятствий, неиссякаемый источник энергии, человеческий мотор предельной мощности, сущий дьявол на работе — теперь, окончив свою трудовую неделю, он находился в состоянии полнейшего изнеможения. Он был угрюм и измучен, красивое лицо его осунулось. Он рассеянно курил папироску, и голос его звучал тускло и монотонно. Не было уже в нем ни огня, ни энергии, и даже заслуженный отдых не радовал его.

— А с понедельника опять все сначала,— уныло сказал он.— И на кой черт это в конце концов! А? Иногда я, право, завидую бродягам. Они не работают, а ведь как-то живут. Ох, ох! Я бы с удовольствием выпил стаканчик пива, но ведь для этого надо тащиться в деревню. А ты дурака не ломай. Пошли свои книги по почте, а сам оставайся здесь.

— А что я буду делать тут целый день? — спросил Мартин.

— Отдыхать. Ты сам не понимаешь, как ты устал. Я, например, так устаю к воскресенью, что даже газету прочесть не

могу. Я однажды тифом болел. Пролежал в больнице два с половиной месяца — и ни черта не делал все это время. Вот здорово было!

— Да, это было здорово! — повторил он мечтательно минуту спустя.

Мартин пошел принимать ванну, а по возвращении обнаружил, что Джо куда-то исчез. Мартин решил, что он, наверное, отправился выпить стаканчик пива, но пойти в деревню, чтобы разыскать его, у Мартина не хватило духу. Он улегся на кровать, не снимая башмаков, и попробовал собраться с мыслями. До книг он так и не дотронулся. Он был слишком утомлен и лежал в полузабытьи, ни о чем не думая, пока не пришло время ужинать. Джо и тут не явился. На вопрос Мартина садовник заметил, что Джо, наверное, пустил корни у стойки бара. После ужина Мартин пошел спать и проснулся на другое утро, как ему показалось, вполне отдохнувшим. Джо все еще не было. Мартин, развернув воскресную газету, лег в тени под деревьями. Он и не заметил, как прошло утро. Никто ему не мешал, он не спал и тем не менее не мог дочитать газеты. После обеда он снова принялся было за чтение, но очень скоро так и заснул над газетой.

Так прошло воскресенье, а в понедельник утром он уже сортировал белье, в то время как Джо, обвязав голову полотенцем, с проклятиями разводил мыло и запускал стиральную машину.

— Ничего не могу поделать,— объяснил он,— как наступит субботний вечер, меня так и тянет напиться.

Прошла еще неделя беспрерывного труда, причем опять работали до глубокой ночи, при ярком электрическом свете, а в субботу, не успев даже как следует порадоваться тому, что удалось закончить работу к трем часам дня, Джо снова отправился в деревню, чтобы забыться. Мартин провел это воскресенье так же, как и предыдущее. Он немного поспал в тени деревьев, потом рассеянно просмотрел газету, потом несколько часов лежал, ничего не делая, ни о чем не думая. Он был слишком утомлен, чтобы думать, и чувствовал к самому себе отвращение, как будто чем-то унизил и непоправимо осквернил себя. Все возвышенное было в нем подавлено, честолюбие притупилось, а жизненная сила настолько ослабела, что он уже не испытывал никаких стремлений. Он был мертв. Его душа была мертва. Он стал просто скотиной, рабочей скотиной. Он больше не замечал никакой красоты в солнечном сиянии, пронизывавшем зеленую листву, и глубина небесной лазури больше не вол-

новала его и не вызывала мыслей о космосе, исполненном таинственных загадок, которые так хотелось разгадать. Жизнь была нестерпимо скучна и бессмысленна и, казалось, только набивала оскомину. Черное покрывало было накинуто на экран его воображения, а фантазия томилась, загнанная в темную каморку, куда не проникал ни один луч света. Он уже начал завидовать Джо, который регулярно напивался в деревне каждую субботу и в пьяной одури забывал о предстоящей неделе мучительного труда.

Потянулась четвертая неделя; Мартин проклинал себя, проклинал жизнь. С тоской сознавал он свое поражение. Редакторы были правы, отвергая его рассказы. Он теперь ясно понимал это и сам, смеялся над собой и над своими недавними мечтаниями. Руфь по почте вернула ему «Песни моря». Он равнодушно прочел ее письмо. Она, по-видимому, приложила все усилия, чтобы выразить свое восхищение его стихами. Но Руфь не умела лгать, а скрыть правду от самой себя ей тоже было трудно. Стихи ей не понравились, и это сквозило в каждой строчке ее натянутых, вымученных похвал. И она, конечно, была права. Мартин убедился в этом, перечитав стихи; он больше не находил в них красоты и никак не мог понять теперь, что побудило его написать их. Смелые обороты речи теперь показались ему смешными, сравнения чудовищными и нелепыми, все в целом было глупо и неправдоподобно. Он бы охотно тотчас сжег «Песни моря», но от одного его желания они не воспламенились бы, а сойти в машинное отделение у него не было сил: все его силы уходили на стирку чужого белья, и для своих личных дел их уже не оставалось.

Мартин решил в воскресенье во что бы то ни стало написать Руфи письмо. Но в субботу вечером, окончив работу и приняв ванну, он почувствовал непреодолимое желание забыться. «Пойду посмотрю, как там Джо развлекается»,— сказал он себе и тотчас понял, что лжет; но у него не хватило сил задуматься об этом,— да и все равно он не стал бы изобличать себя во лжи, потому что больше всего ему хотелось именно забыться. Не спеша, как бы прогуливаясь, он направился в деревню, но, приближаясь к кабачку, невольно ускорил шаги.

— А я думал, ты одну водицу употребляешь! — встретил его Джо.

Мартин не удостоил его объяснением, а заказал виски, налил себе полный стакан и передал бутылку Джо.

— Только пошевеливайся,— грубо сказал он.

Но так как Джо мешкал, Мартин не стал его дожидаться, залпом выпил стакан и налил второй.

— Теперь я могу подождать,— угрюмо произнес он,— но ты все-таки поживее.

Джо не заставил себя уговаривать, и они выпили вместе.

— Доконало-таки? — сказал Джо.

Но Мартин не пожелал вступать в обсуждение этого вопроса.

— Я же тебе говорил, что это ад, а не работа,— продолжал Джо.— Мне, по правде сказать, не нравится, что ты сдал позиции, Март. А в общем, к черту! Выпьем.

Мартин пил молча, отрывисто заказывал еще и еще, приводя в трепет буфетчика — деревенского паренька, похожего на девушку, с голубыми глазами и волосами, расчесанными на прямой ряд.

— Это прямо свинство, так загонять людей на работе,— говорил Джо.— Если бы я не напивался, я уже давно спалил бы ихнее заведение. Их счастье, что я пью, ей-богу.

Но Мартин ничего не ответил. Еще два-три стакана, и пьяный угар начал обволакивать его мозг. А, наконец-то он почувствовал дыхание жизни — впервые за эти недели. Его мечты вернулись к нему. Фантазия вырвалась из темной каморки и манила его к сверкающим высотам. Экран его воображения стал вновь светлым и серебристым, и яркие видения замелькали, обгоняя друг друга. Прекрасное и необычайное шло с ним рука об руку, он снова все знал и все мог. Он хотел объяснить это Джо, но у Джо были свои мечты — о том, как он перестанет тянуть лямку и станет сам хозяином большой паровой прачечной.

— Да, Март, и ребятишки у меня работать не будут, это уж можешь мне поверить. Ни под каким видом. И после шести часов вечера — ни живой души во всей прачечной. Слышишь? Машин будет много, и людей тоже будет много, так чтобы рабочий день кончался, когда положено. А тебя, Март, я сделаю своим помощником. План у меня вот какой. Бросаю пить, начинаю копить деньги и через два года...

Но Мартин не слушал, предоставив Джо излагать свои мечты буфетчику, пока того не отозвали новые посетители — два местных фермера. Мартин с королевской щедростью угостил и их, и всех, кто был в трактире,— нескольких батраков, помощника садовника и конюха из гостиницы, самого буфетчика и еще какого-то бродягу, который проскользнул в кабачок, как тень, и маячил у дальнего конца стойки.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В понедельник утром Джо с руганью загрузил первую партию белья в стиральную машину.

— Вот я и говорю...— начал он.

— Отстань! — зарычал на него Мартин.

— Прости, Джо,— сказал он позже, когда они сели обедать.

У Джо слезы навернулись на глаза.

— Ладно, старина,— отвечал он,— мы живем в аду, так мудрено ли иной раз окрыситься. А только я тебя за это время полюбил, ей-богу. Оттого-то мне и было немножко обидно. Я как-то сразу привязался к тебе.

Мартин пожал ему руку.

— Бросим все к черту,— предложил Джо,— пойдем бродяжничать. Я никогда не пробовал, но это, должно быть, здорово. Подумай только: ничего не делать! Я раз в тифу провалялся в больнице, так даже вспомнить приятно. Хоть бы опять заболеть!

Шли недели. Гостиница была полна, и тонкого белья поступало все больше и больше. Они проявляли чудеса мужества, работали до полуночи при электрическом свете, сократили время еды, начинали работать еще до завтрака. Мартин больше не брал холодных ванн: не хватало времени. Джо заботливо распоряжался минутами, никогда не терял ни одной, считал их, как скряга считает золото; работал яростно, неистово, как машина, в постоянном контакте с другой машиной, которая некогда была человеком по имени Мартин Иден.

Мартину редко приходилось думать. Обитель мысли была заперта, окна заколочены, а сам он был лишь призрачным стражем у ворот этой обители. Да, он стал призраком. Джо был прав. Они оба были призраками в царстве нескончаемого труда. А может быть, все это был только сон? Иногда, водя тяжелыми утюгами по белоснежной ткани, утопая в клубах горячего пара, Мартин убеждал себя, что все это в самом деле только сон. Быть может, очень скоро, а быть может, через тысячу лет он проснется снова в своей маленькой комнатке за столом, запачканным чернилами, и возобновит прерванную накануне работу. А может быть, все его сочинительство было сном, и он проснется, чтобы заступить на вахту, и, соскочив со своей койки, выйдет на палубу и встанет к штурвалу под усеянным звездами тропическим небом, и свежее дыхание пассата будет холодить ему кожу.

Опять наступила суббота, и в три часа работа была кончена.

— Не пойти ли выпить стаканчик пива? — спросил Джо равнодушным голосом, потому что им уже овладела обычная субботняя апатия.

Но Мартин как будто проснулся. Он привел в порядок велосипед, смазал колеса, проверил руль и вычистил передачу. Джо сидел в салуне, когда Мартин промчался мимо, низко пригнувшись к рулю, ритмически нажимая ногами на педали, глядя вперед, на пыльную дорогу, по которой ему предстояло проехать семьдесят миль. Он переночевал в Окленде, а в воскресенье приехал обратно и принялся в понедельник за работу, усталый, но зато с приятным сознанием, что на этот раз не был пьян.

Прошла пятая неделя, за нею шестая, а Мартин все жил и работал, как машина, и только в глубине его души сохранялась какая-то маленькая искорка, заставлявшая его в конце каждой недели совершать на велосипеде стосорокамильный путь. Но это не было отдыхом. Это было таким же механическим напряжением, и в конце концов в душе Мартина погасла даже эта последняя искорка — все, что оставалось от его былой жизни. В конце седьмой недели, не пытаясь даже сопротивляться, он отправился в деревню вместе с Джо и опять вернул себе ощущение жизни и жил до понедельника.

Однако в следующую субботу он снова проехал семьдесят миль, прогоняя оцепенение, вызванное усталостью, другим оцепенением, вызванным усталостью еще большей. И только в конце третьего месяца он в третий раз отправился в деревню вместе с Джо. Забывшись, он снова ожил, а ожив, увидал, словно при внезапной вспышке молнии, каким он стал животным,— не потому, что пил, а потому, что так работал. Пьянство было следствием, а не причиной. Оно следовало за работой с такою же закономерностью, с какою ночь следует за днем. Став вьючной скотиной, никогда не достигнешь светлых высот: виски подсказало ему эту мысль, и он согласился с нею. Виски проявило великую мудрость. Оно открыло ему важную истину.

Мартин велел подать себе бумагу и карандаш, заказал виски для всей компании, и, пока все пили за его здоровье, он, прислонясь к стойке, написал что-то на бумаге.

— Телеграмма, Джо,— сказал он.— Прочти-ка.

Джо стал читать с глупой, пьяной усмешкой. Но то, что он прочел, вдруг отрезвило его. Он с упреком посмотрел на Мартина, и слезы заблестели у него на глазах.

— Ты меня бросаешь, Март? — спросил он печально.

Мартин утвердительно кивнул головой и, подозвав какого-то мальчишку, велел ему сбегать на телеграф.

— Стой! — заплетающимся языком выговорил Джо.— Я хочу обмозговать кое-что.

Он ухватился за стойку, чтобы не упасть, а Мартин обнял его за плечи и поддерживал, пока он не собрался с мыслями.

— Напиши, что оба работника уходят,— внезапно выпалил Джо.— Пиши.

— Но почему же ты-то уходишь? — спросил Мартин.

— Потому же, почему и ты.

— Я отправляюсь в плавание, а ты не можешь.

— Верно,— отвечал Джо,— но я стану бродягой. Очень даже отлично.

Мартин с минуту испытующе смотрел на него и наконец воскликнул:

— Ей-богу, ты прав! Лучше быть бродягой, чем вьючным животным. По крайней мере, будешь жить. А до сих пор у тебя жизни не было.

— Была,— запротестовал Джо,— я раз лежал в больнице. Тифом болел, я тебе, кажется, говорил. Эх, и здорово было!

И пока Мартин исправлял в тексте телеграммы «второй рабочий» на «оба рабочих прачечной», Джо продолжал:

— Пока я лежал в больнице, мне совсем не хотелось пить. Чудно, а? Но когда я всю неделю работаю, как лошадь, я должен напиться под конец. Все знают, что повара пьют, как черти... и пекари тоже... Работа такая. Стой! Я плачу половину за телеграмму.

— Ладно, сочтемся,— сказал Мартин.

— Эй, все сюда, я угощаю! — крикнул Джо, высыпая на стойку деньги.

В понедельник утром Джо был сам не свой от волнения. Он не обращал внимания на головную боль и не интересовался работой. Немало было потеряно драгоценных минут, пока он сидел и беспечно глазел в окно, любуясь солнцем и деревьями.

— Посмотрите! — кричал он.— Ведь это все мое. Это свобода! Я могу лежать под деревьями и проспать хоть тысячу лет, если захочу. Пошли, Март. Плюнем на все. Ну их к черту! Чего нам ждать? Впереди страна безделья, и туда я теперь возьму билет,— только не обратный.

Несколько минут спустя, закладывая белье в стиральную машину, Джо увидел рубашку хозяина гостиницы,— он знал

его метку. В упоении вновь обретенной свободы он кинул рубашку на пол и начал топтать ее ногами.

— Я бы хотел, чтобы это была твоя морда, голландский боров! — кричал он.— На тебе! Получай! Вот! Вот тебе! Пусть-ка кто-нибудь удержит меня! Пусть попробует!..

Мартин, смеясь, пытался его образумить. Во вторник вечером явились два новых работника, и до конца недели Джо и Мартин были заняты тем, что приучали их ко всем порядкам. Джо сидел и давал наставления, но сам ничего не делал.

— Дудки! — объявил он.— Я и пальцем не пошевелю. Пускай увольняют раньше срока, а я все-таки не пошевелю пальцем. Я работать кончил. Буду разъезжать в товарных вагонах и спать в тени, под деревьями. Эй вы, работнички! Нажимайте! Потейте! Потейте, черт вас возьми! А когда вы околеете, то сгниете так же, как и я сгнию,— и не все ли равно, как вы жили? А? Ну, скажите мне на милость, не все ли равно в конце концов?

В субботу они получили расчет и вместе дошли до перекрестка.

— Ты, конечно, со мной не пойдешь, не стоит и уговаривать? — спросил Джо с видом полной безнадежности.

Мартин отрицательно покачал головой. Он приготовился уже сесть на велосипед. Они пожали друг другу руки, и Джо, удержав на мгновение руку Мартина, сказал:

— Мы с тобой еще увидимся на этом свете, Март. Такое у меня предчувствие. Прощай, Март, будь счастлив. Я тебя люблю, ей-богу люблю!

Он беспомощно стоял посреди дороги, глядя вслед Мартину, пока тот не скрылся за поворотом.

— Славный малый,— пробормотал он,— очень славный.

Потом он побрел вдоль дороги к водокачке, где на запасном пути стояло с полдюжины пустых товарных вагонов в ожидании, когда их прицепят к поезду.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Руфь со всей своей семьей вернулась в Окленд, и Мартин снова стал встречаться с нею. Окончив курс и получив степень, она уже не отдавала все время учению, а он, израсходовав на работе свои душевные и физические силы, уже не писал. Это давало им возможность чаще видеться, и они сближались все больше и больше.

Сначала Мартин только отдыхал и ничего не делал. Он много спал, много думал, вообще жил как человек, постепенно приходящий в себя после сильного потрясения. Но вот постепенно у него появился интерес к газете, которую последние недели он только лениво пробегал глазами,— и это послужило первым признаком пробуждения. Потом он начал снова читать, сначала стихи и беллетристику, но прошло еще несколько дней, и он с головой погрузился в давно забытого Фиска. Его изумительное здоровье помогло ему восстановить утраченную было жизненную энергию, и он вновь обрел весь свой юношеский пыл и задор.

Руфь была явно огорчена, когда Мартин сообщил ей, что отправится в плавание, как только вполне отдохнет.

— Зачем? — спросила она.

— Деньги нужны,— отвечал он,— мне нужны деньги для новой атаки на издателей. Деньги и выдержка — лучшее оружие в этой борьбе.

— Но если вам нужны только деньги, почему же вы не остались в прачечной?

— Потому что в прачечной я превращаюсь в животное. Когда так работаешь, недолго и спиться.

Она посмотрела на него с ужасом.

— Вы хотите сказать...— начала она.

Мартин мог бы легко уклониться от ответа, но его натура не терпела лжи, да к тому же ему вспомнилось давнее решение всегда говорить правду, к чему бы это ни вело.

— Да,— отвечал он,— несколько раз случалось.

Руфь вздрогнула и отодвинулась от него.

— Ни с кем из моих знакомых этого не случается.

— Вероятно, никто из них не работал в прачечной «Горячих Ключей»,— возразил он с горьким смехом.— Труд — дело хорошее, он даже полезен человеку — это говорят проповедники; и, видит бог, я никогда не боялся труда. Но все хорошо в меру. А в прачечной этой меры не было. Потому-то я и решил отправиться в плавание. Это будет мой последний рейс. А вернувшись, я сумею пробиться на страницы журналов. Я уверен в этом.

Руфь молчала, грустная и недовольная, и Мартин чувствовал, что ей не понять того, что он пережил.

— Когда-нибудь я опишу все это в книге, которая будет называться «Унижение труда», или «Психология пьянства в рабочем классе», или что-нибудь в этом роде.

Никогда еще, если не считать первого дня знакомства, они не были так далеки друг от друга. Его откровенная исповедь, в которой таился дух возмущения, оттолкнула Руфь. Но самое это отдаление поразило ее куда больше, чем причина, его вызвавшая. Оно показало, как близки они стали друг другу, и ей захотелось еще большей близости. Кроме того, ей было жаль Мартина, и в душе ее возникали наивные мечты об его исправлении. Она хотела спасти этого юношу, сбившегося с дороги, спасти от окружающей среды, спасти от него самого, хотя бы против его воли. Ей казалось, что ею руководят отвлеченные и благородные побуждения, и она не подозревала, что за всем этим таится лишь ревность и желание любви.

В ясные осенние дни они часто ездили на велосипедах далеко за город и там, на холмах, поочередно читали вслух благородные, вдохновенные поэтические произведения, располагавшие к возвышенным мыслям. Самопожертвование, терпение, трудолюбие — вот принципы, которые косвенным образом старалась внушить ему Руфь, видя воплощение этих принципов в своем отце, мистере Бэтлере и Эндрю Карнеги, который из бедного мальчика-иммигранта превратился в «короля книг», снабжающего ими весь мир.

Старания Руфи были оценены Мартином. Он теперь гораздо лучше понимал ее мысли, и ее душа не была уже для него книгой за семью печатями. Они беседовали и делились мыслями, как равный с равным. Возникавшие при этом разногласия не влияли на любовь Мартина. Его любовь становилась все глубже и сильнее, потому что он любил Руфь такою, какой она была, и даже физическая хрупкость придавала ей в его глазах особое очарование. Он читал о болезненной Элизабет Баррет, которая много лет не касалась ногами земли, пока наконец не наступил тот памятный день, когда она бежала с Браунингом и твердо встала на землю под открытым небом. Мартин решил, что он может сделать для Руфи то, что Браунинг сделал для своей возлюбленной. Но прежде всего Руфь должна его полюбить. Все остальное уже просто. Он даст ей здоровье и силу. Ему часто рисовалась в мечтах их будущая совместная жизнь. Он видел себя и Руфь среди комфорта и благосостояния, созданного трудом. Они читают и говорят о поэзии. Она полулежит на груде пестрых подушек и читает ему вслух. Всегда ему виделась одна и та же картина — символ всей их жизни. Иногда не она, а он читал, обняв ее за талию, причем ее головка покоилась у него на плече, иногда они вдвоем читали одну и ту же книгу молча, одними глазами вби-

рая в себя всю красоту, которой дышали печатные строчки. Руфь любила природу, и щедрое воображение Мартина позволяло ему менять декорацию, на фоне которой происходила эта излюбленная им сцена. То они находились в долине, окруженной высокими отвесными скалами, то это была зеленая лужайка где-то в горах или же серые песчаные дюны, у подножия которых плещутся морские волны; порою он видел себя вместе с нею где-нибудь на вулканическом острове, под тропиками, где с грохотом низвергаются водопады и брызги их долетают до моря, подхваченные порывами ветра. Но на первом плане всегда были они, Мартин и Руфь, властители прекрасной мечты, вместе склонившиеся над книгой,— красоты природы лишь служили им фоном, а где-то в глубине картины, словно в тумане, рисовались образы труда и успеха и нажитого трудом богатства, позволявшего им наслаждаться всеми сокровищами мира.

— Я бы советовала моей девочке быть поосторожней,— сказала однажды мать Руфи предостерегающим тоном.

— Я знаю, о чем ты говоришь, но это невозможно. Он не...

Руфь смутилась и покраснела: это было смущение девушки, впервые заговорившей о священных тайнах жизни с матерью, которая тоже для нее священна.

— Он не ровня тебе,— докончила мать ее фразу.

Руфь кивнула головой.

— Я не хотела этого сказать, но это так. Он груб, неотесан, в нем много силы... слишком много. Он жил не...

Она запнулась. Слишком ново было для нее говорить с матерью о подобных вещах. И снова мать договорила за нее:

— Он жил не вполне добродетельной жизнью. Ты это хотела сказать?

Руфь опять кивнула, и румянец залил ее щеки.

— Да, я как раз это хотела сказать. Это, конечно, не его вина, но он слишком много соприкасался с...

— С житейской грязью?

— Да. И что-то в нем отпугивает меня. Мне иногда просто страшно слышать, как он спокойно говорит о своих поступках. Как будто в этом нет ничего особенного. Но ведь так нельзя. Правда?

Они сидели обнявшись, и когда Руфь умолкла, мать ласково погладила ее руку, ожидая, чтобы дочь снова заговорила.

— Но мне с ним интересно,— продолжала Руфь,— во-первых, он в некотором роде мой подопечный. А потом... у меня никогда не было друзей-мужчин, хотя он не совсем друг. Он и друг и подопечный одновременно. Иногда он пугает меня, мне

тогда кажется, что я словно играю с бульдогом, большим таким бульдогом, который рычит и скалит зубы и вот-вот готов сорваться с цепи.

Опять Руфь умолкла, а мать ждала.

— У меня и интерес к нему, как... как к бульдогу. Но в нем очень много хорошего, а много и такого, что мне мешало бы... ну, относиться к нему иначе. Ты видишь, я думала обо всем этом. Он ругается, курит, пьет, он дерется на кулаках, он сам рассказывал мне об этом и даже говорил, что любит драться. Это совсем не такой человек, какого я бы хотела иметь...— Ее голос осекся, и она докончила тихо: — своим мужем. А кроме того, в нем слишком уж много грубой силы. Мой возлюбленный должен быть похож на волшебного принца — тонкий, стройный, изящный, с темными волосами. Нет, не бойся, я не влюблюсь в Мартина Идена, это было бы для меня самым большим несчастьем.

— Я не об этом говорю,— уклончиво сказала мать,— но думала ли ты о нем? Такой человек, во всех отношениях для тебя неподходящий... что, если он полюбит тебя?

— Но он... он давно меня любит! — вскричала Руфь.

— Этого надо было ожидать,— ласково сказала миссис Морз.— Разве тот, кто тебя знает, может не полюбить тебя?

— Вот Олни меня ненавидит! — пылко воскликнула Руфь.— И я ненавижу Олни. Когда он подходит ко мне, мне хочется царапаться, как кошка, я знаю, что противна ему,— и, уж во всяком случае, он противен мне. А с Мартином Иденом мне хорошо. Меня еще никто не любил, «так» не любил. А ведь приятно быть любимой «так». Ты понимаешь, милая мама, что я хочу сказать? Приятно чувствовать себя настоящей женщиной...— Руфь спрятала лицо на груди у матери.— Я знаю, я ужасно дурная, но я не хочу кривить душой и откровенно говорю тебе то, что чувствую.

Миссис Морз была и огорчена и обрадована. Дочь-девочка с университетским дипломом исчезла; рядом с ней была дочь-женщина. Опыт удался. Странный пробел в характере Руфи был заполнен, и заполнен безопасно и безболезненно. Этот неуклюжий матрос выполнил свою функцию, и хотя Руфь не любила его, он все же пробудил в ней женщину.

— У него руки дрожат,— говорила Руфь, стыдливо пряча лицо,— это смешно и нелепо, и мне даже жаль его. А когда руки его дрожат слишком сильно, а глаза сверкают слишком ярко, я читаю ему наставления и указываю на все его ошибки. Он боготворит меня, я знаю, его руки и глаза не лгут. И оттого

я сама становлюсь взрослой — уже от одной мысли об этом. Я начинаю чувствовать, что во мне есть что-то, присущее моей природе, и я похожа на других девушек... и... и... молодых женщин. Я знаю, что раньше я не была на них похожа, и это тревожило тебя. То есть ты не подавала виду, но я замечала... и я хотела «встать на линию», как говорит Мартин Иден.

Это были святые минуты и для матери, и для дочери, и глаза их были влажны в вечерних сумерках. Руфь — невинная, откровенная и неопытная; мать — любящая, понимающая и поучающая.

— Он на три года моложе тебя,— сказала миссис Морз,— у него нет положения в свете. Он нигде не служит и не получает жалованья. Он очень непрактичен. Если он тебя любит, он должен был бы подумать о каком-то занятии, которое дало бы ему возможность и право жениться на тебе, а не забавляться писанием рассказов и детскими мечтами. Боюсь, он никогда и не сделается взрослым. У него нет чувства ответственности, нет стремления найти себе настоящее дело, подобающее мужчине,— как было у твоего отца, у мистера Бэтлера и вообще у всех людей нашего круга. Мартин Иден, мне кажется, никогда не будет зарабатывать деньги. А мир так устроен, что деньги необходимы: без них не бывает счастья,— я не говорю о каком-нибудь огромном состоянии, но просто о твердом доходе, дающем возможность прилично существовать. Он тебе никогда не говорил о своих чувствах?

— Ни одного слова. Даже не пытался; да я бы и не стала слушать. Ведь я-то его не люблю.

— Я рада этому. Я бы не хотела, чтобы моя дочь, моя чистая девочка, полюбила такого человека. Ведь есть на свете много настоящих мужчин, благородных и чистых. Подожди немного. В один прекрасный день ты встретишь такого человека и полюбишь его, и он тебя полюбит. И ты будешь счастлива с ним так, как я была счастлива с твоим отцом. Об одном ты должна всегда помнить...

— Да, мама?

Голос миссис Морз сделался тихим и нежным:

— О детях.

— Я... я думала об этом,— призналась Руфь, вспомнив непрошеные мечты, овладевавшие ею подчас, и снова покраснела от стыда.

— Мистер Иден не может быть твоим мужем именно из-за детей,— многозначительно произнесла миссис Морз.— Они должны унаследовать чистую кровь, а это он едва ли смо-

жет дать им. Твой отец рассказывал мне о жизни матросов, и... и ты понимаешь?

Руфь с волнением сжала руку матери, чувствуя, что все понимает, хотя то страшное и смутное, что ей представлялось, никак не могло принять форму четкой и определенной мысли.

— Ты знаешь, мама, я тебе всегда все говорю,— начала она,— только иногда ты должна сама спрашивать меня — ну, вот так, как сегодня. Я давно уже хотела рассказать тебе об этом, а как начать — не знала. Это, конечно, ложный стыд, но тебе ведь так легко помочь мне! Иногда ты должна расспрашивать меня, давать мне возможность высказаться. Ты тоже ведь женщина, мама! — вскричала вдруг Руфь, схватив мать за руки и радостно ощущая это новое, еще незнакомое равенство между ними.— Я бы никогда не думала об этом, если б не этот разговор. Нужно было мне сперва почувствовать себя женщиной, чтобы понять, что и ты женщина тоже.

— Мы обе женщины,— сказала мать, обнимая и целуя ее.— Мы обе женщины,— повторила она, когда они, обнявшись, выходили из комнаты, взволнованные вновь возникшим ощущением общности своих судеб.

— Наша маленькая девочка стала, наконец, женщиной,— час спустя с гордостью объявила миссис Морз своему мужу.

— То есть ты хочешь сказать, что она влюблена? — спросил тот, вопросительно посмотрев на жену.

— Нет, я хочу сказать, что она любима,— отвечала та с улыбкой.— Опыт удался. В ней проснулась женщина.

— Тогда надо отвадить Идена,— кратко, деловым тоном заключил мистер Морз.

Но его жена покачала головой:

— Нет надобности: через несколько дней он отправляется в плавание. А когда он вернется, Руфи здесь не будет. Мы пошлем ее к тете Кларе. Ей будет полезно провести год на востоке страны, повидать других людей, другую жизнь, переменить климат, обстановку.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Желание писать снова охватило Мартина. Замыслы рассказов, стихотворений беспрестанно рождались у него в мозгу, и он делал беглые наброски, чтобы когда-нибудь, в будущем, вернуться к ним. Но писать не писал. Это были его каникулы, и он решил посвятить их любви и отдыху, что удалось вполне.

Жизнь снова била в нем ключом, и каждый раз при встрече с ним Руфь, как прежде, поддавалась могучему обаянию его здоровья и силы.

— Будь осторожна,— предостерегающе сказала ей однажды мать,— не слишком ли ты часто видишься с Мартином Иденом?

Но Руфь лишь улыбнулась в ответ. Она была слишком уверена в себе, к тому же через несколько дней ему предстояло уйти в плавание. А когда он вернется, она будет уже далеко на Востоке. И все-таки в силе и здоровье Мартина таилась для нее неотразимая привлекательность.

Мартин знал о ее предполагаемой поездке на Восток и понимал, что надо торопиться. Но он совершенно не представлял себе, как подойти к девушке, подобной Руфи. Весь его прежний опыт только затруднял положение. Женщины и девушки, с которыми он привык иметь дело, были совсем другие. Они знали жизнь, хорошо понимали, что такое любовь, ухаживание, флирт, а Руфь ничего этого не знала. Ее удивительная невинность ошеломляла его, лишала дара речи, невольно внушала мысль о том, что он ее недостоин. Было и еще одно обстоятельство, осложнявшее дело. Он сам еще ни разу не любил до сих пор. Бывало, что женщины нравились ему, иными он даже увлекался, но те увлечения отнюдь нельзя было назвать любовью. Просто ему стоило небрежно, по-хозяйски свистнуть — и женщина сдавалась. Это было для него минутной забавой, случайностью, элементом сложной игры, из которой состоит жизнь мужчины, и притом второстепенным элементом. А теперь в первый раз он был робок, смущен, застенчив. Он не знал, как приступить, что говорить, теряясь перед безмятежной чистотой своей возлюбленной.

В своих скитаниях по пестрому, изменчивому миру Мартин научился одному мудрому правилу: играя в незнакомую игру, никогда не делать первого хода. Это правило тысячу раз оправдало себя на деле; к тому же оно развивало наблюдательность. Мартин научился ориентироваться, соразмерять свои силы, выжидать, пока обнаружится слабое место противника. Так и в кулачном бою он всегда старался нащупать у противника слабое место. А тогда уже опыт помогал ему, и он бил наверняка.

И теперь, с Руфью, он тоже выжидал, желая и не решаясь заговорить о своей любви. Он боялся оскорбить ее и не был уверен в себе. Но, сам того не подозревая, он выбрал правильный путь. Любовь явилась в мир раньше членораздельной речи, и на заре существования она усвоила приемы и способы, кото-

рых никогда уже не забывала. Именно этими первобытными способами Мартин добивался благосклонности Руфи. Сначала он делал это бессознательно, и лишь впоследствии истина открылась ему. Прикосновение его руки к ее руке было красноречивее любых слов, непосредственное ощущение его силы оказывалось могущественнее, чем строчки и рифмы, чем пламенные излияния сотен поколений влюбленных. Словесные объяснения затронули бы прежде всего разум Руфи, тогда как прикосновение руки, мимолетная близость действовали непосредственно на таившийся в ней инстинкт женщины. Разум ее был юным, как она сама. Но инстинкт был стар, как человечество, и даже старше. Он родился в те давние времена, когда родилась сама любовь, и силе этой древней мудрости уступали все тонкости и условности позднейших веков. Разум Руфи молчал. Мартин не обращался к нему; он взывал без слов к той стороне ее существа, которая томилась о любви, и Руфь еще не осознала всей властной силы этого призыва. Что Мартин любит ее, было ясно, как день, и она наслаждалась проявлениями его любви — блеском глаз, дрожанием рук, краской, то и дело заливавшей его щеки под загаром. Иногда Руфь даже как будто разжигала Мартина, но делала это так робко и так наивно, что ни он, ни она сама не замечали этого. Она замирала от радостного сознания своей женской силы и, подобно Еве, наслаждалась, играя с ним и дразня его.

А Мартин молчал, потому что не знал, как заговорить, и потому что чувства, переполнявшие его, были слишком сильны, молчал и продолжал искать выход в несмелых и безыскусных попытках сближения. Прикосновение его руки доставляло ей удовольствие, и даже нечто большее, чем простое удовольствие. Мартин не знал этого, но он чувствовал, что не противен ей. Правда, они пожимали друг другу руки, только здороваясь и прощаясь, но очень часто пальцы их сталкивались, когда они брались за велосипеды, передавали друг другу книжку или вместе листали ее. Случалось, что ее волосы касались его щеки или она на миг прижималась к нему плечом, склоняясь над понравившимся местом в книге. Руфь застенчиво улыбалась про себя тем странным чувствам, которые при этом охватывали ее: иногда, например, ей хотелось потрепать его волосы; а он, в свою очередь, страстно желал, устав от чтения, положить голову к ней на колени и с закрытыми глазами мечтать о будущем — их общем будущем. Сколько раз, бывало, во время воскресных пикников Мартин клал свою голову на колени какой-нибудь девушке и спокойно засыпал, предоставляя ей защи-

щать его от солнца и влюбленно глядеть на него, удивляясь его величественному равнодушию к любви. Положить голову девушке на колени всегда представлялось Мартину самым простым делом в мире, а теперь, глядя на Руфь, он сознавал, что это невозможно, немыслимо. Но именно сдержанность незаметно для самого Мартина вела его к цели. Благодаря своей сдержанности он ни разу не возбудил в Руфи тревоги. Неопытная и застенчивая, она не понимала, какой опасный оборот начинают принимать их встречи. Ее бессознательно влекло к нему, а он, чувствуя растущую близость, хотел и не решался быть смелее.

Но однажды Мартин проявил смелость. Придя к Руфи, он застал ее в комнате со спущенными шторами; она пожаловалась на сильную головную боль.

— Ничего не помогает,— сказала она в ответ на его расспросы.— А порошки мне доктор Холл запретил принимать.

— Я вас вылечу без всякого лекарства,— отвечал Мартин.— Не уверен, конечно, но, если хотите, можно попробовать. Мое средство — самый простой массаж. Меня научили ему в Японии. Ведь японцы — первоклассные массажисты. А потом я видел, как то же самое, только с некоторыми изменениями, делают и гавайцы. Они называют этот массаж «ломи-ломи». Он иногда действует гораздо лучше всякого лекарства.

Едва его руки коснулись ее лба, Руфь сказала со вздохом:

— Как хорошо!

Через полчаса она спросила его:

— А вы не устали?

Вопрос был излишний, ибо она знала, какой последует ответ. И Руфь, впав в полудремотное состояние, подчинилась ему. Целительная сила истекала из его пальцев, отгоняя боль,— так, по крайней мере, ей казалось. Наконец боль настолько утихла, что Руфь спокойно уснула, и Мартин потихоньку удалился.

Вечером она позвонила ему по телефону.

— Я спала до ужина,— сказала она,— вы меня совершенно исцелили, мистер Иден; не знаю, как и благодарить вас.

Мартин от радости и смущения едва нашел слова для ответа, а в его мозгу все время плясало воспоминание о Браунинге и Элизабет Баррет. Что сделал Браунинг для своей возлюбленной, может сделать и он, Мартин Иден, для Руфи Морз. Вернувшись в свою комнату, он лег на постель и принялся за Спенсерову «Социологию». Но чтение не шло на ум. Любовь всецело владела его мыслями, и вскоре, сам не заметив, как, он

очутился у своего столика, испачканного чернилами. И сонет, написанный им в этот вечер, был первым из цикла пятидесяти «Сонетов о любви», который он завершил через два месяца. Идея цикла была навеяна «Сонетами с португальского» Элизабет Баррет. Он писал при самых благоприятных для создания великого произведения обстоятельствах,— писал, одержимый любовью.

То время, в которое он не виделся с Руфью, Мартин посвящал «Сонетам о любви» и чтению у себя дома или в читальне, где внимательно изучал текущие номера журналов, стараясь проникнуть в тайну издательских вкусов. В те часы, которые Мартин проводил с Руфью, надежды чередовались с неопределенностью, и то и другое было одинаково мучительно. Через неделю, после того как Мартин вылечил Руфь от головной боли, Норман предложил прокатиться в лунную ночь на лодке по озеру Меррит, а Артур и Олни охотно поддержали этот план. Никто, кроме Мартина, не умел управлять парусной лодкой, а потому его и попросили взять на себя обязанности капитана. Руфь села рядом с ним на корме, а трое молодых людей, разместившись на средних скамьях, завели нескончаемый спор о каких-то своих студенческих делах.

Луна еще не взошла, и Руфь, молча смотревшая в звездное небо, вдруг почувствовала себя одинокой. Она взглянула на Мартина. Порыв ветра слегка накренил лодку, и Мартин, держа одной рукой румпель, а другой гроташкот, слегка изменил курс, стараясь обогнуть выступ берега. Он не замечал ее взгляда, а она внимательно смотрела на него, размышляя о странной прихоти, которая побуждает его, юношу незаурядных способностей, тратить время на писание посредственных рассказов и стихов, заведомо обреченных на неуспех.

Взгляд Руфи скользнул по его красиво посаженной голове, по могучей шее, смутно обрисовывавшейся при свете звезд, и знакомое желание — обвить руками эту шею — снова овладело ею. Та присущая ему сила, которая казалась ей неприятной, в то же время влекла ее. Чувство одиночества усилилось, и Руфь ощутила усталость. Качание лодки раздражало ее. Она вспомнила, как Мартин вылечил ее от головной боли одним своим прикосновением. Он сидел рядом с нею, совсем рядом, и лодка, накренясь, как бы подталкивала ее к нему. И Руфи вдруг захотелось прислониться к Мартину, найти в нем опору — и, не успев еще осознать это желание, она уже клонилась, подчиняясь ему. А может быть, в этом была виновата качка? Руфь не знала. Она и не узнала никогда. Она знала лишь, что присло-

нилась к нему, что ей теперь хорошо и спокойно. Пусть даже все дело было в качке, но Руфь не хотела отодвинуться от Мартина. Она оперлась на его плечо, оперлась очень легко, но не отодвинулась даже тогда, когда он переменил позу, чтобы ей было удобнее сидеть.

Это было безумием, но ей не хотелось ни о чем думать. Она уже не была прежней Руфью, она была женщиной, и женская потребность опоры говорила в ней; правда, она только слегка прислонилась к Мартину, но потребность была удовлетворена. Ее усталости как не бывало. Мартин молчал. Он боялся рассеять чары. Благодаря его сдержанности и робости очарование длилось, но у него кружилась голова и путались мысли. Он никак не мог понять, что случилось. Это было слишком чудесно, это не могло случиться наяву. Он с трудом преодолевал желание выпустить шкот и румпель и сжать ее в объятиях. Но он инстинктивно чувствовал, что это испортило бы дело, и мысленно благодарил судьбу за то, что у него заняты руки. Однако он сознательно замедлил ход лодки, без зазрения совести отпуская парус, чтобы подольше затянуть галс. Он знал, что при перемене галса ему придется пересесть, и их близость будет нарушена. Все это он проделывал опытной рукой, не возбуждая в спорщиках ни малейшего подозрения. Он благословлял всю свою трудную матросскую жизнь за то, что она дала ему умение подчинять своей воле море, лодку и ветер и теперь позволяла продлить эту драгоценную близость с любимой в чудесную лунную ночь.

Когда первый луч луны озарил их жемчужным сиянием, Руфь отодвинулась от Мартина и, отодвигаясь почувствовала, что и он сделал то же. Им обоим хотелось скрыть все от других. Это должно было остаться их тайной. Руфь сидела теперь в стороне, с пылающими щеками, только сейчас осознав, что произошло. Она сделала что-то такое, чего не хотела обнаружить ни перед братьями, ни перед Олни. Как могла она решиться? Никогда еще этого с ней не случалось, хотя она много раз каталась в лунные ночи на лодке с молодыми людьми. У нее даже желаний таких не появлялось. Она стыдилась и страшилась этой пробуждающейся женственности. Она поглядела украдкой на Мартина, который в этот момент был занят переменой галса, и готова была возненавидеть его за то, что он вызвал ее на такой необдуманный и бесстыдный поступок. И именно он — Мартин Иден! Быть может, ее мать в самом деле права, и они слишком часто видятся. Руфь тут же твердо решила, что это никогда не повторится, а в дальнейшем она

постарается реже встречаться с ним. У нее даже явилась нелепая мысль солгать ему, вскользь сказать как-нибудь при случае, что ее укачало в лодке и она почувствовала себя нехорошо как раз перед тем, как взошла луна. Но тут она вспомнила, как они отодвинулись друг от друга перед лицом обличительницы-луны, и поняла, что Мартин ей не поверит.

Все последующие дни Руфь была сама не своя; она не хотела анализировать свои чувства, перестала думать о том, что с нею происходит и что ее ждет; точно в лихорадке прислушивалась она к тайному зову природы, то страшному, то чарующему. Но одно она решила твердо, и это решение придавало ей уверенности: не дать Мартину заговорить о любви. Пока он молчит, все обстоит благополучно. Через несколько дней он уйдет в плавание. А впрочем, если он и заговорит, все равно ничего не случится. Ведь она-то не любит его. Конечно, это будут мучительные полчаса для него и довольно затруднительные для нее, так как ей впервые придется выслушать объяснение в любви. От одной этой мысли сердце ее сладко забилось. Она стала настоящей женщиной, и мужчина добивается ее руки. Все женское в ней готово было откликнуться на зов. Трепет охватил все ее существо, одна и та же мысль назойливо кружилась в голове, как мотылек над огнем. Она зашла так далеко, что уже представляла себе, как Мартин делает ей формальное предложение: она вкладывала слова в его уста, а сама по нескольку раз повторяла свой отказ, стараясь по возможности смягчить его, взывая к присущему Мартину благородному мужеству. Прежде всего он должен бросить курить. На этом она будет особенно настаивать. Но нет, нет, она совсем не разрешит ему говорить о любви. Это в ее власти, и она обещала это своей матери. Краснея и вся дрожа, Руфь с сожалением отгоняла недозволенные мечты. Придется отложить ее первое любовное объяснение до более подходящего времени и до встречи с более достойным претендентом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Наступили чудесные дни, теплые и полные неги, какие часто бывают в Калифорнии в пору бабьего лета, когда солнце словно окутано дымкой и слабый ветерок едва колеблет дремотный воздух. Легкий лиловатый туман, словно сотканный из цветных нитей, прятался в складках холмов, а по ту сторону залива дымным пятном раскинулся город Сан-Франциско. Залив

блестел, словно полоса расплавленного металла, и на нем кое-где белели паруса судов, то неподвижных, то лениво скользящих по течению. Вдалеке, в серебристом тумане, высился Тамальпайс; Золотые Ворота и в самом деле золотились в лучах заходящего солнца, а за ними открывались безмерные просторы Тихого океана, окаймленные на горизонте густыми облаками — первыми предвестниками надвигающейся зимы.

Лету пора было уходить. Но оно все еще медлило здесь, среди холмов, сгущая лиловые тени в долинах, и под дымчатым саваном удовлетворенности и утомления умирало спокойно и тихо, радуясь, что жило и что жизнь его была плодотворна. На склоне своего любимого холма сидели Мартин и Руфь, совсем рядом, склонив головы над страницами книги; он читал ей вслух стихи любви, написанные женщиной, которая любила Браунинга так, как умеют любить лишь немногие женщины.

Но чтение подвигалось плохо. Слишком сильны были чары угасающей красоты в природе. Золотая пора года умирала так, как жила,— прекрасной и нераскаянной грешницей, и, казалось, самый воздух вокруг был напоен истомой сладких воспоминаний. Эта истома проникала в кровь Мартина и Руфи, лишала их воли, радужным туманом обволакивала мысли и решения. Мартин поддавался разнеживающей слабости, и временами его словно окатывало теплой волной. Их головы совсем сблизились, и когда от случайного порыва ветра волосы Руфи касались его щеки, печатные строчки плыли у него перед глазами.

— По-моему, вы не слушаете того, что читаете,— сказала Руфь, когда он вдруг сбился, потеряв место, которое читал.

Мартин поглядел на нее горящими глазами, но, не выдав себя, ответил:

— И вы тоже не слушаете. О чем говорилось в последнем сонете?

— Не знаю,— засмеялась она.— Я уже забыла. Не стоит больше читать. Уж очень хорош день.

— Нам теперь долго не придется гулять,— сказал он серьезно,— вон там, на горизонте, собирается буря.

Книга выскользнула из его рук, и они молча сидели, глядя на дремлющий залив мечтательными, невидящими глазами. Руфь мельком взглянула на шею Мартина. Какая-то сила, более властная, чем закон тяготения, могучая, как судьба, вдруг повлекла ее. Всего на один дюйм ей надо было склониться, чтобы коснуться плечом его плеча, и это случилось помимо ее воли.

Она коснулась его так легко, как бабочка касается цветка, и тут же почувствовала ответное прикосновение, такое же легкое, почувствовала, как при этом прикосновении дрожь прошла у него по телу. Ей надо было отодвинуться в эту минуту. Но она уже не могла совладать с собой. Все, что она делала, делалось автоматически, без участия ее воли, да она и не заботилась уже ни о чем, охваченная радостным безумием.

Рука Мартина нерешительно протянулась и обняла талию Руфи. Она ждала с мучительным наслаждением, ждала, сама не зная чего; губы ее пересохли, сердце стучало, кровь горела в ней. Объятие Мартина стало крепче, он медленно и нежно привлекал ее к себе. Она не могла больше ждать. Она судорожно вздохнула и безотчетным движением уронила голову к нему на грудь. Мартин быстро наклонился, и губы их встретились.

Это, должно быть, любовь, подумала Руфь, когда на один миг к ней вернулось сознание. Если это не любовь, это слишком постыдно. Конечно, это могла быть только любовь. Она любила этого человека, руки которого обнимали ее, а губы прижимались к ее губам. Она прильнула к нему еще крепче инстинктивным, прилаживающимся движением, и вдруг, почти вырвавшись из его объятий, решительно и самозабвенно обхватила руками загорелую шею Мартина Идена. И так сильна, так остра была радость удовлетворенного желания, что в следующее мгновение она с тихим стоном разжала руки и почти без чувств поникла в его объятиях.

Еще долго не было сказано ни одного слова. Дважды он наклонялся и целовал ее, и каждый раз ее губы робко тянулись навстречу и тело инстинктивно искало уютной покойной позы. Она была не в силах оторваться от него, и Мартин молча сидел, держа ее в объятиях и устремив невидящий взгляд на огромный город по ту сторону залива. На этот раз никакие видения не возникали перед ним. Он видел только краски и яркие лучи, жаркие, как этот чудесный день, горячие, как его любовь. Он склонился к ней; она заговорила.

— Когда вы полюбили меня? — спросила она шепотом.

— С первого дня, с самой первой минуты, как только я вас увидел. Еще тогда полюбил и с тех пор с каждым днем любил все сильнее. А теперь еще сильнее люблю, дорогая. Я совсем сошел с ума. У меня голова кружится от счастья.

— Мартин... дорогой! Как хорошо быть женщиной,— сказала она, глубоко вздохнув.

Он снова крепко сжал ее в объятиях, потом тихо спросил:

— А вы, когда вы поняли впервые?

— О, я поняла это давно, почти сразу!

— Значит, я был слеп, как летучая мышь! — вскричал Мартин, и в его голосе прозвучала досада.— Я догадался об этом только теперь, когда поцеловал вас.

— Я не то хотела сказать.— Она слегка отодвинулась и взглянула на него.— Я поняла уже давно, что вы меня любите.

— А вы? — спросил он.

— Мне это открылось как-то вдруг.— Она говорила очень тихо, взгляд ее потеплел и затуманился, щеки порозовели.— Я не понимала до тех пор, пока... пока вы не обняли меня. И я никогда до этой минуты не думала, что могу стать вашей женой, Мартин. Чем вы приворожили меня?

— Не знаю,— улыбнулся он.— Разве только своей любовью. Моя любовь могла бы растопить камень, не то что сердце живой женщины.

— Это так все не похоже на любовь, как я ее себе представляла,— растерянно произнесла она.

— Как же вы себе ее представляли?

— Я не думала, что она такая.

Она секунду смотрела в его глаза и потом сказала, потупившись:

— Я совсем ничего не понимала.

Ему снова захотелось привлечь Руфь к себе, но он медлил, боясь испугать ее, и только рука, обнимавшая ее, невольно чуть дрогнула. Тогда она сама потянулась к нему, и губы их опять слились в долгом поцелуе.

— Что скажут мои родители? — спросила она вдруг с внезапной тревогой.

— Не знаю. Но это нетрудно узнать, как только мы пожелаем.

— А если мама не согласится? Я ни за что не решусь сказать ей.

— Давайте я скажу,— храбро предложил он.— Мне почему-то кажется, что ваша мать меня недолюбливает, но это ничего, я сумею покорить ее. Тот, кто покорил вас, может покорить кого угодно. А если это не удастся...

— Что тогда?

— Мы все равно не расстанемся. Но только я уверен, что ваша мать согласится. Она слишком сильно вас любит.

— Я боюсь разбить ее сердце,— задумчиво сказала Руфь.

Мартин хотел сказать, что материнские сердца не так-то легко разбиваются, но вместо этого произнес:

— Ведь любовь — самое великое, что есть в мире!

— Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас. Я и теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень, очень хорошим со мной. Помните, что я, в сущности, еще дитя! Я ведь еще никого не любила!

— И я тоже. Мы оба дети. И мы очень счастливы. Ведь наша первая любовь оказалась взаимной!

— Но этого не может быть,— вскричала она вдруг, высвобождаясь из его рук быстрым, порывистым движением,— не может быть, чтобы вы... Ведь вы были матросом, а матросы, я знаю...

Голос ее осекся.

— Привыкли иметь жен в каждом порту,— закончил он за нее.— Вы это хотели сказать?

— Да,— тихо отвечала она.

— Но ведь это не любовь,— возразил он авторитетным тоном.— Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался от вас в первый раз, меня чуть-чуть не забрали.

— Как забрали?

— Очень просто. Полисмен подумал, что я пьян. Я был и в самом деле пьян... от любви!

— Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети, а я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь.

— Я же вам ответил, что никого раньше не любил,— возразил он,— вы моя первая, моя самая первая любовь.

— А все-таки вы были матросом,— настаивала она.

— И тем не менее полюбил я вас первую.

— Да, но ведь были женщины... другие женщины... О! — И, к великому удивлению Мартина, Руфь вдруг залилась слезами, так что понадобилось немало поцелуев, чтобы успокоить ее.

Мартину невольно пришла на память строчка Киплинга: «Но знатная леди и Джуди О'Греди во всем остальном равны». Он подумал, как, в сущности, это верно, хотя романы, читанные им, заставляли его думать иначе. По этим романам он составил себе представление, что в высшем обществе единственный путь к женщине — формальное предложение руки и сердца. В том кругу, из которого он вышел, для девушек и юношей объятия и поцелуи были обыкновенным делом. Но среди утонченных представителей высшего класса подобные способы выражения любви казались ему невозможными. Значит, романы лгали. Он только что получил этому доказательство. Одни

и те же безмолвные ласки производят одинаковое впечатление и на бедных работниц, и на девушек высшего общества. Несмотря на несходство положений, они «во всем остальном равны». Он мог бы и сам додуматься до этого, если бы вспомнил Герберта Спенсера. И, утешая Руфь ласками и поцелуями, Мартин с удовольствием возвращался к мысли о том, что знатная леди и Джуди О'Греди, в сущности, равны во всем. Эта мысль приближала к нему Руфь, делала ее доступнее. Ее прекрасное тело было таким же, как и у всех людей. Ничего невозможного не было в их браке. Классовое различие оставалось единственным различием между ними, но и оно было в конце концов чисто внешним. Им можно было пренебречь. Читал же Мартин об одном римском рабе, который возвысился до пурпурной тоги. Почему бы и ему не возвыситься до Руфи? При всей своей чистоте, непорочности, образованности и душевном изяществе она была самой настоящей женщиной, такой же, как Лиззи Конолли и все Лиззи Конолли на свете. Все, что было свойственно им, было свойственно и ей. Она могла любить, ненавидеть; быть может, ей даже случалось биться в истерике; наконец, она могла ревновать, уже ревновала, думая о его недавних портовых любовницах.

— А кроме того, я старше вас,— вдруг сказала она, взглянув ему в глаза,— я старше вас на три года.

— И все-таки вы дитя. По житейскому опыту я старше вас на тридцать три года,— возразил Мартин.

В действительности оба они были детьми во всем, что касалось любви; и по-детски неумело и наивно выражали свои чувства, несмотря на ее университетский диплом и ученую степень и несмотря на его философские познания и суровый жизненный опыт.

Они сидели, озаренные сиянием меркнущего дня, разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные; дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела их, и твердо верили, что любят так, как никто еще не любил на свете. Они беспрестанно вспоминали свою первую встречу стараясь воскресить свои впечатления друг от друга, стараясь точно восстановить, что они тогда подумали и почувствовали.

Облака на западе поглотили заходящее солнце. Небо над горизонтом стало розовым, все кругом потонуло в этом розовом свете, и Руфь тихонько запела «Прощай, счастливый день». Она пела, положив голову ему на плечо, и руки ее были в его руках, и каждый из них в этот миг держал в своей руке сердце другого.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Даже если бы миссис Морз не обладала материнской чуткостью, она и тогда бы легко догадалась обо всем, только взглянув на Руфь. Достаточно было взглянуть на румянец, заливавший ее щеки, и блестящие глаза, в которых светилась радость и победное ликование.

— Что случилось? — спросила миссис Морз, дождавшись, когда Руфь легла в постель.

— Ты догадалась? — спросила, в свою очередь, Руфь дрожащим голосом.

Вместо ответа мать нежно обняла ее и провела рукой по ее волосам.

— Он ничего не сказал! — воскликнула Руфь.— Я совсем не хотела, чтобы это случилось, и я бы ни за что не позволила ему говорить,— но он ничего не сказал.

— Но если он ничего не сказал, то ничего и не могло случиться.

— И все-таки случилось.

— Ради бога, дитя мое, что ты болтаешь! — произнесла миссис Морз.— В чем дело? Что такое случилось?

Руфь с изумлением посмотрела на мать.

— Я думала, что ты уже догадалась,— сказала она.— Мы с Мартином жених и невеста.

Миссис Морз разразилась смехом, в котором слышались недоверие и досада.

— Но он ничего не сказал,— продолжала Руфь.— Он просто любит меня, вот и все. Для меня это было так же неожиданно, как для тебя. Он не сказал ни слова. Он просто обнял меня, и я... я совсем потеряла голову. Он поцеловал меня, и я его поцеловала... Я не могла иначе. Я должна была его поцеловать. И тут я поняла, что люблю его.

Руфь умолкла, ожидая, что мать ее приласкает, но миссис Морз хранила зловещее молчание.

— Конечно, это ужасно, я понимаю,— снова начала Руфь упавшим голосом.— Не знаю, сможешь ли ты простить меня. Но я не могла иначе. Я до той минуты не подозревала, что люблю его. Только ты сама скажи об этом отцу.

— А может быть, лучше ничего не говорить отцу? Я сама поговорю с Мартином Иденом и объясню ему все. Он поймет и освободит тебя от данного слова.

— Нет, нет! — вскричала Руфь с живостью.— Я не хочу, чтобы он освобождал меня. Я люблю его, а любить так хорошо. Я выйду за него замуж, конечно, если вы мне позволите.

— У нас с твоим отцом несколько другие планы, Руфь, милая... нет, нет, нет, ты не думай, что мы тебе кого-нибудь навязываем. Мы просто хотим, чтобы ты вышла за человека нашего круга, за настоящего джентльмена, почтенного и уважаемого, которого ты сама выберешь и полюбишь.

— Но ведь я уже люблю Мартина,— жалобно возразила Руфь.

— Мы вовсе не хотим влиять на твой выбор; но ты наша дочь, и мы не можем позволить тебе выйти замуж за такого человека. Ничем, кроме грубости и невоспитанности, он не может ответить на всю твою нежность и деликатность. Он тебе не пара ни в каком отношении. Ему не на что даже содержать тебя. Мы не гонимся за богатством, но комфорт и известное благосостояние муж обязан дать жене; и наша дочь должна выйти замуж за человека, который может ей это обеспечить, а не за нищего авантюриста, матроса, ковбоя, контрабандиста и бог знает, кто он там еще. К тому же это необыкновенно легкомысленный человек, совершенно лишенный чувства ответственности.

Руфь молчала, сознавая, что мать говорит правду.

— Он тратит время на свои писания и хочет достигнуть того, чего редко достигают даже особо одаренные и высокообразованные люди. Человек, думающий о женитьбе, должен как-то подготовиться к такому шагу. А у него этого и в мыслях нет. Я уже сказала — и я знаю, ты согласишься со мной,— что у него нет чувства ответственности. Да и откуда оно возьмется? Все матросы таковы. Он никогда не старался быть бережливым и воздержанным. Привык тратить, не считая, и это уже вошло у него в плоть и кровь. Конечно, тут не его вина, но это не меняет дела. А подумала ли ты о его прежней жизни, разгульной и распущенной,— она не могла быть иной. А ты знаешь, моя девочка, что такое брак?

Руфь вздрогнула и прижалась к матери.

— Я думала...— Руфь надолго замолчала, подыскивая слова.— Это, конечно, ужасно. Мне так тяжело об этом думать. Я сознаю, что моя любовь — большое несчастье, но я ничего не могу поделать с собою. Могла ты не полюбить папу? Вот и со мной то же самое. Что-то есть такое в нем и во мне — до сегодняшнего дня я не понимала этого, но что-то есть, что заставляет

меня любить его. Я никак не думала, что полюблю его, а вот полюбила,— заключила она с оттенком торжества в голосе.

Еще долго тянулся этот бесплодный разговор, и в конце концов они решили подождать некоторое время, ничего не предпринимая.

С этим решением согласился час спустя и мистер Морз, после того как жена рассказала ему о неожиданном результате, к которому привела ее хитрость.

— Иначе и быть не могло,— заявил мистер Морз,— ведь, кроме этого матроса, она не знала близко ни одного мужчины. Рано или поздно женщина должна была проснуться в ней. Она проснулась, и, извольте радоваться, рядом оказался этот малый... Ясно, что она немедленно влюбилась в него или, по крайней мере, вбила это себе в голову, что в конце концов одно и то же.

Миссис Морз сказала, что попробует воздействовать на Руфь косвенным путем, вместо того чтобы прямо противиться ее желанию. Времени для этого достаточно, так как Мартин в данный момент не может и думать о женитьбе.

— Пусть себе видится с ним, сколько хочет,— решил мистер Морз.— Чем ближе она его узнает, тем вернее разлюбит. Надо дать ей возможность сравнить его с кем-нибудь. Надо собирать у нас в доме побольше молодежи, девушек и молодых людей нашего круга, культурных и воспитанных, настоящих джентльменов. Рядом с ними он будет выглядеть иначе. Она увидит его в настоящем свете. А потом в конце концов он просто мальчишка. Ведь ему всего двадцать один год. Руфь тоже совершенный ребенок. Это просто детская влюбленность, и со временем она пройдет.

На том и порешили. В семейном кругу признали, что Мартин и Руфь помолвлены, но оглашения не делали. Родители втайне считали, что это и не понадобится. Само собою разумелось, что помолвка будет весьма продолжительной. Мартину ничего не говорили о необходимости изменить образ жизни и приняться за серьезную работу; ему никто не советовал прекратить писать. В планы семьи не входило способствовать его жизненным успехам. А сам Мартин только лил воду на мельницу своих недоброжелателей, так как меньше всего думал о приискании солидного занятия.

— Не знаю, одобрите ли вы мои начинания,— сказал Мартин Руфи несколько дней спустя.— Я решил, что жить у сестры мне не по карману, и хочу устроиться самостоятельно. Я уже

снял комнату в Северном Окленде, в очень тихом доме, и купил керосинку — буду сам себе стряпать.

Руфь пришла в восторг. Особенно ей понравилась керосинка.

— Вот и мистер Бэтлер с этого начал,— сказала она.

Мартин слегка нахмурился при упоминании имени достопочтенного джентльмена и продолжал:

— Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их опять по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру, а с завтрашнего дня начинаю работать.

— Вы поступили на службу! — вскричала она, всем своим существом откликаясь на радостную весть, придвигаясь ближе, улыбаясь, сжимая его руку.— Что же вы мне ничего не сказали! Что это за служба?

Но Мартин отрицательно покачал головой.

— Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать.— Ее лицо вытянулось, и он торопливо продолжал: — Поймите меня правильно. На этот раз я не буду предаваться радужным мечтам. Мною руководит холодный, прозаический, чисто деловой расчет. Это лучше, чем снова отправляться в плавание, и я уверен, что заработаю гораздо больше, чем рядовой оклендский служащий. За последние месяцы у меня было время многое обдумать. Я не работал, как ломовая лошадь, и я почти ничего не писал, а если и писал, то не для печати. Все свое время я отдавал любви к вам и размышлениям о разных вещах. Кое-что, правда, читал, но это было непосредственно связано с моими размышлениями,— читал главным образом журналы. Я думал о себе, о мире, о своем месте в нем и о том, какие у меня есть шансы добиться положения, которое я мог бы предложить вам. Кроме того, я прочел «Философию стиля» Спенсера и нашел там очень много интересного, имеющего прямое отношение ко мне, вернее, к моим писаниям, а также и к той литературе, которая каждый месяц печатается в журналах. И вот к чему я пришел в результате всего этого — размышлений, чтения и любви к вам: я решил сделаться литературным ремесленником. На время забуду о шедеврах и буду писать всякий вздор: фельетоны, анекдоты, стишки на злобу дня, юмористику — вообще все, на что есть спрос. Ведь существуют же литературные агентства, которые поставляют материал для газет, для страниц юмора, для воскресных приложений. Я буду мастерить то, что им требуется, и, уверяю вас, начну неплохо зарабатывать. Есть молодчики, которые выгоняют в месяц четыреста, а то и пятьсот долларов. Я не собираюсь

уподобляться им; но, во всяком случае, я зарабо́таю на жизнь, и у меня еще будет время для своей работы и для учения, чего никакая служба не даст. Понемногу я начну пробовать свои силы на настоящих вещах и буду учиться и готовиться к настоящей работе. Знаете, я сам изумляюсь, как сильно я подвинулся. Когда я в первый раз взялся за перо, мне, в сущности, и писать было не о чем. Я просто описывал разные происшествия, не умея даже понять их по-настоящему. Никаких идей, никаких мыслей у меня не было. У меня не было даже слов, которыми я бы мог мыслить. Все, что я пережил, рисовалось мне в виде ряда картин, лишенных всякого значения. Но когда я начал учиться и пополнил свой словарь, я стал прозревать во всех этих картинах многое такое, чего раньше не замечал. Вот тогда-то я начал писать настоящие вещи: я написал «Приключение», «Радость», «Котел», «Вино жизни», «Веселую улицу», «Сонеты о любви» и «Песни моря». Я напишу еще очень многое в таком роде, и даже гораздо лучше, но я буду заниматься этим лишь в свободное время. Я теперь больше не витаю в облаках. Сначала черная работа для заработка, а уж потом шедевры. Вчера вечером, специально чтобы доказать вам, что я прав, я написал с полдюжины мелочей для юмористических еженедельников, а когда уже ложился спать, мне пришло в голову попробовать силы на шуточных куплетах, и в какой-нибудь час я написал целых четыре штуки. Можно получить по доллару за каждый. Заработать четыре доллара между делом, укладываясь спать,— право, это не так уж плохо. Конечно, такая работа сама по себе не имеет никакой ценности. Это скучно и однообразно, но не скучнее, чем всю жизнь вести конторские книги и складывать бесконечные столбцы цифр за шестьдесят долларов в месяц. Притом эта работа все-таки имеет отношение к литературе и даст мне возможность писать настоящие вещи.

— Но какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? — спросила Руфь.— Ведь вы же не можете продать их?

— Не скажите...— начал он.

Она перебила его:

— Из всего того, что вы перечислили и что вам так нравится самому, вы до сих пор не продали ни одной строчки. Мы не можем пожениться в расчете на шедевры, которых никто не покупает.

— Ну, так мы поженимся в расчете на куплеты, которые будут покупать все,— упрямо сказал Мартин и обнял ее. Но

Руфь на этот раз не была расположена к ласкам.— Вот, послушайте,— намеренно весело сказал он,— это не искусство, но это доллар:

Меня не было дома,
Когда мой знакомый
Зашел ко мне денег занять.
Меня не было дома,
И мой знакомый
Стал тут же меня ругать,
Но раз меня не было дома,
Я об этом не мог узнать.

Веселый, приплясывающий ритм стихов не вязался с обескураженным выражением, которое постепенно принимало его лицо. Руфь не улыбнулась. Она смотрела на него сумрачно.

— Может быть, за это и дадут доллар,— сказала она,— но это доллар рыжего в цирке. Как вы не понимаете, Мартин, что это унизительно для вас! Мне бы хотелось, чтобы любимый и уважаемый мною человек был занят более серьезным и достойным делом, чем сочинение рифмованного вздора.

— Вы бы хотели, чтобы он был похож на мистера Бэтлера? — спросил Мартин.

— Я знаю, что вы не любите мистера Бэтлера,— начала она.

— Мистер Бэтлер — прекрасный человек,— перебил он.— В нем все хорошо, кроме несварения желудка. Но, право, я не понимаю, почему сочинять куплеты хуже, чем стучать на машинке или потеть над конторскими книгами? И то и другое лишь средство для достижения цели. Вы хотите, чтобы я начал с корпенья над книгами и в конце концов сделался каким-нибудь адвокатом или коммерсантом. А я хочу начать с мелкой газетной работы и стать впоследствии большим писателем.

— Тут есть разница,— настаивала Руфь.

— В чем же?

— Да хотя бы в том, что вы никак не можете продать те свои произведения, которые считаете удачными. Вы ведь пробовали неоднократно, а редакторы не покупают у вас ничего.

— Дайте мне время, дорогая,— сказал Мартин умоляюще.— Эта работа — только пока, и я ее всерьез не принимаю. Дайте мне года два. За эти два года я достигну успеха, и мои произведения будут нарасхват. Я знаю, что говорю. Я верю в себя, и мне известно, на что я способен. Я знаю, что такое литература, я знаю, какой дрянью ничтожные писаки наводняют газеты и журналы. И я уверен, что через два года я буду на пути к успеху и к славе. А деловой карьеры я никогда не сде-

лаю. У меня к ней не лежит сердце. Она представляется мне чем-то скучным, мелочным, тупым и бессмысленным. Во всяком случае, я для нее не гожусь. Мне никогда не пойти дальше простого клерка, а разве мы можем быть счастливы, живя на жалкое конторское жалованье? Я хочу добиться для вас самого лучшего, что только есть на свете, и добьюсь во что бы то ни стало. Добьюсь! Знаменитый писатель своими заработками даст десять очков вперед всякому мистеру Бэтлеру. Знаете ли вы, что книга, которая «пошла», может дать автору пятьдесят тысяч долларов, а то и все сто. Иногда немножко больше, иногда немножко меньше, но в среднем около этого.

Руфь молчала. Она была очень огорчена и не скрывала своего огорчения.

— Плохо ли? — спросил он.

— У меня были совсем другие надежды и планы. Я считала и сейчас считаю, что вам всего лучше было бы научиться стенографии — писать на машинке вы умеете — и поступить в папину контору. У вас большие способности, и я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Мартин не стал меньше любить и уважать Руфь от того, что она проявляла такое недоверие к его писательскому дару. За время своих «каникул» Мартин очень много думал о себе и анализировал свои чувства. Он окончательно убедился, что красота ему дороже славы и что прославиться ему хотелось лишь для Руфи. Ради нее он так настойчиво стремился к славе. Он мечтал возвеличиться в глазах мира, чтобы любимая женщина могла гордиться им и счесть его достойным.

Мартин настолько любил красоту, что находил удовлетворение в служении ей. И еще больше он любил Руфь. Любовь казалась ему прекраснее всего в мире. Не она ли произвела в его душе этот великий переворот, превратив его из неотесанного матроса в мыслителя и художника? Что ж удивительного, что любовь представлялась ему выше и наук и искусств. Мартин начинал уже сознавать, что в области мысли он сильней Руфи, сильней ее братьев и отца. Несмотря на преимущества университетского образования, несмотря на звание бакалавра искусств, Руфь не могла и мечтать о таком понимании мира, искусства, жизни, каким обладал Мартин, самоучка, еще с год назад не знавший ничего.

Все это он понимал, но это никак не влияло ни на его любовь к ней, ни на ее любовь к нему. Любовь была слишком прекрасным, слишком благородным чувством, и Мартин, как истый влюбленный, считал невозможным оскорблять его критикой. Какое дело любви до взглядов Руфи на искусство, на французскую революцию или на всеобщее избирательное право? Все это относится к области рассудка, а любовь выше рассудка. Мартин не мог унижать любовь, потому что боготворил ее. Любовь обитала на недосягаемых вершинах, высоко над долинами разума. Она была квинтэссенцией жизни, высшей формой существования и не всякому выпадала на долю. Научная философия его любимых авторов раскрыла ему биологическое значение любви; но, продолжая развивать для себя их основные положения, он пришел к выводу, что именно в любви человеческое существо вполне оправдывает свое назначение, а потому любовь должна приниматься без всяких оговорок, как высшее благо жизни. Влюбленный представлялся Мартину созданием, отмеченным благодатью, и ему приятен был образ «юноши, одержимого любовью», для которого не имеют цены земные блага — богатство, знания, успех,— не имеет цены сама жизнь, ибо он в «поцелуе умереть готов».

Мысли подобного рода приходили Мартину в голову и раньше, до многого же он додумался лишь потом. А пока что он не переставал работать, ведя спартанский образ жизни и позволяя себе отвлекаться от занятий лишь для того, чтобы повидаться с Руфью. За комнату, которую он снимал у португалки по имени Мария Сильва, он платил два с половиной доллара в месяц. Португалка, особа довольно сварливого нрава, была вдовой и неустанно трудилась, чтобы прокормить многочисленных детишек, заливая подчас горе бутылкой кислого вина, купленного в соседнем погребке за пятнадцать центов. Сначала Мартин возненавидел эту женщину, в особенности его раздражал ее язык, но потом он начал восхищаться мужеством и упорством, с каким она вела тяжкую борьбу за существование. В домике было всего четыре маленьких комнатки, и одну из них занял Мартин. Другая комната служила гостиной, ей придавал веселый вид пестрый половик, покрывавший пол, но фотография одного из умерших малюток в гробу вносила скорбную ноту. Гостиная предназначалась только для гостей, ставни в ней всегда были затворены, и босоногая команда допускалась туда лишь в особо торжественных случаях. Мария стряпала на кухне, там же все семейство ело, и там же она стирала, гладила, трудилась не покладая рук изо дня в день, кроме воскре-

сенья. Она стирала на соседей, и это служило главным источником ее дохода. Спальня была так же мала, как и комната, занимаемая Мартином, и в ней ютилась сама Мария и семеро ребятишек. Мартину казалось совершенно необъяснимым, как они там все размещались; по вечерам он слышал за тонкой перегородкой возню, визг и писк, напоминавший чириканье птенцов. Другим источником дохода Марии были две коровы, которых она доила утром и вечером и которые паслись на пустыре или контрабандой пощипывали травку, растущую по обочинам дороги. Два оборванных мальчугана, дети хозяйки, пасли коров — иначе говоря, зорко смотрели, чтобы они не попались на глаза полисменам.

В своей тесной каморке Мартин спал, учился, писал, думал, занимался хозяйством. Перед единственным окном, выходящим на крыльцо, стоял кухонный стол, который служил и письменным столом, и библиотекой, и подставкой для пишущей машинки. Кровать, поставленная у задней стены, занимала две трети комнаты. Со столом соседствовал шкафчик для белья, который, видно, изготовляли, заботясь больше о прибыли, чем об удобствах потребителя; покрывающий его тонкий слой фанеры весь покоробился. Шкафчик этот помещался в одном углу, а в другом была кухня — ящик из-под мыла, на котором стояла керосинка, а внутри хранились посуда и кухонные принадлежности, над ним полка для провизии и рядом ведро с водой; в комнате не было водопроводного крана, за водою нужно было ходить на кухню. Дни большой стряпни, когда горячий пар наполнял комнату, особенно болезненно отзывались на поверхности шкафчика. Над кроватью Мартин повесил велосипед. Сначала он его оставлял внизу, но ребятишки Сильвы отвинчивали педали и прокалывали шины. Тогда он попробовал пристроить его на крылечке, но крылечко было крошечное и не могло служить надежной защитой от дождя, а потому в конце концов Мартину пришлось перетащить велосипед в комнату и подвесить под потолком.

В узеньком стенном шкафу висела одежда и лежали книги, которые не помещались уже ни на столе, ни под столом. Читая, Мартин имел обыкновение делать заметки, и их накопилось так много, что пришлось протянуть через всю комнату веревки и развесить на них тетрадки наподобие сохнущего белья. Вследствие этого передвигаться по комнате стало довольно затруднительно. Он не мог отворить двери, не затворив прежде дверцу стенного шкафа, и наоборот. Пройти через комнату по прямой линии было невозможно. Чтобы от двери дойти до изголовья

кровати, надо было совершить сложный зигзагообразный путь, и в темноте Мартин всегда на что-нибудь натыкался. После маневра с входной дверью и дверцей шкафа приходилось круто забрать вправо, чтобы не наткнуться на кухонный ящик; потом повернуть влево, огибая кровать, причем малейшее отклонение от курса грозило столкновением со столом. Искусно лавируя, можно было войти в канал, одним берегом которого являлся стол, а другим кровать. Но когда единственный стул стоял на своем месте, перед столом, этот канал становился несудоходным. Когда стул не был в употреблении, он стоял на кровати; впрочем, Мартин нередко стряпал сидя, так как, пока кипела вода или жарилось мясо, он успевал прочесть две-три страницы. Угол, занимаемый кухней, был так мал, что Мартин мог, не вставая со стула, достать все необходимое. Стряпать сидя было даже удобнее: стоя, Мартин загораживал себе свет.

Мартин знал несколько блюд, питательных и дешевых в одно и то же время, да, кроме того, его могучий желудок переваривал что угодно. Основой его питания был гороховый суп, картофель и крупные коричневые бобы, приготовленные по мексиканскому способу. Рис, сваренный так, как не сумела бы сварить ни одна американская хозяйка, появлялся на столе непременно хоть раз в день. Вместо масла Мартин варил и ел с хлебом сушеные фрукты, которые были вдвое дешевле свежих. Иногда он разнообразил меню куском мяса или супом из костей. Два раза в день он пил кофе без сливок или молока, а вечером пил чай; но и тот и другой напиток был приготовлен артистически.

Мартину поневоле приходилось быть расчетливым. Его каникулы поглотили почти все, что он заработал в прачечной, а свои «ремесленные» произведения он отправил так далеко, что ответ мог прийти лишь через несколько недель. Он жил затворником и нарушал свое уединение лишь для того, чтобы навестить сестру или повидаться с Руфью. Работал он за троих. Спал по-прежнему всего пять часов, и только железное здоровье давало ему возможность выносить ежедневное девятнадцатичасовое напряжение труда. Мартин не терял ни одной минуты. За рамку зеркала он затыкал листочки с объяснениями некоторых слов и с обозначением их произношения: когда он брился или причесывался, он повторял эти слова. Такие же листочки висели над керосинкой, и он заучивал их, когда стряпал или мыл посуду. Листки все время сменялись. Встретив при чтении непонятное слово, он немедленно лез в словарь и выписывал

слово на листочек, который вывешивал на стене или на зеркале. Листочки со словами Мартин носил и в кармане и заглядывал в них на улице или дожидаясь очереди в лавке.

Эту систему Мартин применял не только к словам. Читая произведения авторов, достигших известности, он отмечал особенности их стиля, изложения, построения сюжета, характерные выражения, сравнения, остроты — одним словом, все, что могло способствовать успеху. И все это он выписывал и изучал. Он не стремился подражать. Он только искал какие-то общие принципы. Он составлял длинные списки литературных приемов, подмеченных у разных писателей, что позволяло ему делать общие выводы о природе литературного приема, и, отталкиваясь от них, он вырабатывал собственные, новые и оригинальные приемы и учился применять их с тактом и мерой. Точно так же он собирал и записывал удачные и красочные выражения из живой речи — выражения, которые жгли, как огонь, или, напротив, нежно ласкали слух, яркими пятнами выделяясь среди унылой пустыни обывательской болтовни. Мартин всегда и везде искал принципы, лежащие в основе явления. Он старался понять, как явление создается, чтобы иметь возможность самому создавать его. Он не довольствовался созерцанием дивного лика красоты; в своей тесной каморке, наполненной кухонным чадом и криками хозяйских ребятишек, он, как химик в лаборатории, старался разложить красоту на составные части, понять ее строение. Это должно было помочь ему творить красоту.

Мартин мог работать только сознательно. Такова была его натура; он не мог работать вслепую, не зная, что выходит из-под его рук, полагаясь только на случай и на звезду своего таланта. Случайные удачи не удовлетворяли его. Он хотел знать, «как» и «почему». Его творчество было творчеством осмысленным, и, принимаясь за рассказ или стихи, Мартин держал в голове план всего произведения, ясно представлял себе й свою цель, и те художественные средства, которыми он располагает для достижения этой цели. Он был убежден, что без этого его попытки обречены на неудачу. С другой стороны, он воздавал должное и тем случайным словам и сочетаниям слов, которые вдруг ярко вспыхивали в его мозгу и впоследствии с честью выдерживали испытание, не только не вредя, но даже способствуя красоте и цельности произведения. Перед подобными находками Мартин благоговел, видя в них нечто большее, чем результат сознательного творческого усилия. Но, исследуя красоту и стараясь доискаться до законов прекрасного, Мартин

чувствовал, что есть в ней что-то сокровенное, куда ему не удастся проникнуть и куда не проникал еще ни один человек. Он твердо усвоил из сочинений Спенсера, что конечной сущности вещей человеку не дано познать, и тайна красоты столь же непостижима, как и тайна жизни, может быть, даже еще непостижимее; что красота и жизнь сплетаются между собою, а сам человек — частица этого удивительного сплетения звездной пыли, солнечных лучей и еще чего-то неведомого.

Под влиянием этих мыслей Мартин написал однажды статью, озаглавленную «Звездная пыль», в которой он нападал не на критику, а на критиков. Это было блестящее, глубокомысленное произведение, исполненное изящества и юмора. Впрочем, и оно было немедленно отклонено всеми журналами, куда он послал его. Но Мартин, освободившись от волновавших его мыслей, продолжал идти своей дорогой. Он давно уже приучил себя хорошенько вынашивать, додумывать до конца каждую рождавшуюся у него мысль и затем излагать ее на бумаге. Его не слишком огорчало, что ни одна его строчка до сих пор не была напечатана. Писание было для него заключительным звеном сложного умственного процесса, последним узлом, которым связывались отдельные, разрозненные мысли, подытоживанием накопившихся фактов и положений. Написав статью, он освобождал в своем мозгу место для новых идей и проблем. В конце концов это было нечто вроде присущей многим привычки время от времени «облегчать свою душу словами» — привычки, которая помогает иногда людям переносить и забывать подлинные или вымышленные страдания.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Шли недели. Деньги у Мартина были на исходе, а издательские чеки все не появлялись. Серьезные рассказы неизменно возвращались обратно, не лучше обстояло дело и с произведениями «ремесленными». Разнообразные кушанья уже не готовились в его маленькой кухне, так как у него оставалось всего с полмешочка рису и немного сушеных абрикосов. Этим он и питался в течение пяти дней. Потом он решил прибегнуть к кредиту. Лавочник-португалец перестал отпускать провизию, как только долг Мартина достиг внушительной суммы в три доллара и восемьдесят пять центов.

— Потому что,— сказал лавочник,— у вас нэт работа. Как вы мнэ будет заплатить?

Мартин ничего не мог возразить на это. Рассуждения лавочника были вполне логичны. Как можно открывать кредит молодому здоровому малому из рабочих, по лени не желающему искать работы.

— Заработаешь дэньга — будет обэд,— говорил лавочник.— Нэт монэт — нэт обэд. Такая дэла...

И чтобы доказать Мартину, что тут нет личного предубеждения, португалец прибавил:

— Давай выпэй. Одна стакана. Я угощай. Ты друг, я друг.

И Мартин выпил стаканчик в подтверждение дружбы и лег спать, не поужинав.

Овощи Мартин покупал в другой лавке, и хозяин-американец, будучи менее тверд в своих коммерческих принципах, довел кредит Мартина до пяти долларов, после чего тоже прекратил отпуск товара в долг. Булочник остановился на двух долларах, а мясник — на четырех. Сложив все свои долги, Мартин определил их общую сумму в четырнадцать долларов и восемьдесять пять пенсов. Подошел и срок платежа за пишущую машинку, но Мартин решил, что два месяца вполне сможет пользоваться ею в долг, что составит еще восемь долларов. Когда пройдет и этот срок, все кредитные возможности будут исчерпаны.

Последний его покупкой в овощной лавке был мешок картофеля, и целую неделю Мартин ел одну картошку по три раза в день. Время от времени он обедал у Морзов и этим поддерживал немного свои силы, хотя, глядя на множество расставленных на столе яств и из вежливости отказываясь от лишнего куска, он испытывал танталовы муки. Иногда, поборов стыд, Мартин отправлялся в обеденное время к своей сестре и там ел столько, сколько осмеливался,— впрочем, все-таки больше, чем у Морзов.

День за днем продолжал он все так же упорно работать, и день за днем почтальон приносил ему отвергнутые рукописи. Денег на марки не было, и возвращенные рукописи грудой валялись под столом. Однажды случилось так, что у него почти двое суток не было куска во рту. На обед у Морзов он не мог рассчитывать, так как Руфь на две недели уехала гостить в Сан-Рафаэль, а пойти к сестре ему мешал стыд. В довершение бед почтальон принес ему пять рукописей сразу. Тогда Мартин взял свое пальто, поехал в Окленд и через некоторое время вернулся домой уже без пальто, но с пятью долларами в кармане. Каждому из лавочников он уплатил по доллару, и в кухне у него опять зашипело поджариваемое с луком мясо, закипел кофе и

появился большой горшок вареного чернослива. Пообедав, Мартин сел за стол, и в полночь у него была готова статья под названием «Сила ростовщичества». Кончив писать, он швырнул рукопись под стол, потому что от пяти долларов уже ничего не оставалось: купить марок было не на что.

Несколько дней спустя Мартин заложил часы, а потом и велосипед; сэкономив на провизии, он накупил марок и снова разослал все свои рукописи. «Доходные» произведения обманули ожидания Мартина. Никто не покупал их. Сравнивая их с тем, что печаталось в газетах и дешевых еженедельных журнальчиках, он по-прежнему находил, что сам пишет гораздо лучше. Однако все-таки он не мог продать ни одной строчки. Узнав, что большинство газет получает готовый материал из специальных агентств — «синдикатов», он отправил несколько заметок в одно такое агентство, но очень скоро получил их обратно вместе с печатным бланком, в котором говорилось, что синдикат организует материал силами своих штатных сотрудников.

В одном журнале для юношества он увидел целые столбцы анекдотов и маленьких рассказиков, то, что называется «смесью». Вот еще способ заработать деньги! Но и тут Мартин потерпел полную неудачу: все ему было, по обыкновению, возвращено. Впоследствии, когда это уже не имело для него значения, он узнал, что обычно сотрудники редакции пишут такие мелочи сами, ради дополнительного заработка. Юмористические еженедельники возвращали все его шутки и стишки; не находили сбыта и стихотворные фельетоны, которые Мартин посылал в крупные журналы. Оставался еще газетный фельетон. Мартин прекрасно знал, что может написать гораздо лучше, чем то, что печатается, и, узнав адрес двух литературных агентств, буквально завалил их очерками и небольшими рассказами. Но, написав двадцать и не пристроив ни одного, Мартин перестал писать. А между тем изо дня в день он читал десятки рассказов и фельетонов, которые не выдерживали никакого сравнения с его попытками в этом жанре. Доведенный до отчаяния, он решил, наконец, что загипнотизированный своими произведениями, потерял всякое критическое чутье и способность здраво судить о своем творчестве.

Бесчеловечная издательская машина продолжала свою работу. Мартин вкладывал рукопись в пакет вместе с маркой для ответа и опускал ее в почтовый ящик, а недели три-четыре спустя почтальон звонил у дверей и возвращал ему рукопись. Очевидно, никаких живых людей по указанным адресам не

было. Были просто хорошо слаженные, смазанные маслом автоматы. Впав в полное отчаяние, Мартин начал вообще сомневаться в существовании редакторов. Ни один еще не подал признака жизни, а то обстоятельство, что все им написанное неизменно отвергалось без объяснений, как будто подтверждало ту мысль, что редактор — миф, созданный и поддерживаемый усилиями наборщиков, метранпажей и редакционных курьеров.

Часы, которые Мартин проводил в обществе Руфи, были единственными счастливыми часами в его жизни, да и то не всегда. Тревога, постоянно владевшая им, стала еще мучительнее после того, как Руфь открыла ему свою любовь, потому что сама Руфь оставалась такой же недостижимой, как и прежде. Мартин просил ее подождать два года, но время шло, а он ничего еще не добился. Кроме того, он постоянно чувствовал, что Руфь не одобряет его занятий. Она, правда, не говорила этого прямо, зато косвенно давала понять достаточно определенно. Она не возмущалась, она именно не одобряла, хотя женщина менее кроткого нрава наверняка возмутилась бы тем, что ей доставляло только огорчение. Ее огорчало, что человек, которого она решила перевоспитать, не поддается перевоспитанию. Вначале он показался ей довольно податливым, но потом вдруг заупрямился и не пожелал походить ни на мистера Морза, ни на мистера Бэтлера.

Самого достойного и значительного в Мартине она не замечала или, что еще хуже, не понимала. Этого человека, настолько гибкого, что он мог приспособляться к любым формам человеческого существования, Руфь считала упрямым и своенравным, потому что не умела перекроить его по своей мерке — единственной, которую знала. Она не могла следовать за полетом его мысли, и когда он достигал высот, ей недоступных, она просто считала, что он заблуждается. Рассуждения отца, матери, братьев и даже Олни ей всегда были понятны,— и потому, не понимая Мартина, она считала, что в этом его вина. Повторялась исконная трагедия одиночки, пытающегося внушить истину миру.

— Вы привыкли преклоняться перед всем, что пользуется признанием,— сказал однажды Мартин, поспорив с Руфью о Прапсе и Вандеруотере.— Я согласен, что это надежные и устойчивые авторитеты, их считают лучшими литературными критиками Соединенных Штатов. Каждый школьный учитель видит в Вандеруотере вождя американской критики. Но я его прочел, и мне он показался типичным образцом блестящего пустословия. Одни банальности, прикрытые высокопарными

фразами. И Прапс не лучше. Его «Лесные мхи», например, написаны превосходно. Ни одной запятой нельзя выкинуть, а общий тон — ах, какой торжественный тон! Он самый высокооплачиваемый критик в Соединенных Штатах. Но, да простит мне господь эту дерзость, он, собственно, вообще не критик. В Англии искусство критики стоит выше. Дело в том, что подобные критики все время повторяют избитые истины, которые звучат у них и благородно, и высоконравственно, и возвышенно. Рупор ходячих мнений — вот что они такое. Их критические статьи напоминают воскресные проповеди. Они всячески поддерживают преподавателей английской филологии, а те, в свою очередь, поддерживают их. И ни у тех, ни у других не гнездится под черепной коробкой ни одной оригинальной идеи. Они знают только то, что общепризнанно,— да, собственно, общепризнанное — это они и есть. Все утвердившиеся идеи приклеиваются к ним так же легко, как этикетки к пивным бутылкам. И главная их обязанность состоит в том, чтобы вытравить из университетской молодежи всякую оригинальность мышления и заставить мыслить по определенному трафарету.

— Мне кажется,— возразила Руфь,— что я ближе к истине, придерживаясь общепризнанного, чем вы, нападая на авторитеты, как дикарь на священные изображения.

— Священные изображения низвергают не дикари, а миссионеры,— засмеялся Мартин,— но, к сожалению, все миссионеры разъехались по языческим странам, и у нас не осталось ни одного, который помог бы низвергнуть мистера Вандеруотера и мистера Прапса.

— А заодно и всех университетских профессоров,— прибавила она.

Он энергично закачал головой.

— Нет. Преподаватели естественных наук пусть остаются. Они действительно делают дело. Но из преподавателей английской филологии — этих попугайчиков с микроскопическими мозгами — девять десятых не вредно было бы выгнать вон.

Столь суровое отношение к филологам казалось Руфи просто кощунственным. Она невольно справнивала степенных, элегантно одетых университетских преподавателей, говорящих размеренным голосом, проникнутых утонченной культурой, с этим невозможным человеком, которого она почему-то полюбила, вчерашним матросом в дурно сшитом костюме, со стальными мускулами чернорабочего — человеком, который ни о чем не умеет говорить спокойно, горячится, вместо того чтобы тактично изложить свою точку зрения, и кричит, когда нужно

проявлять достоинство и выдержку. Преподаватели, по крайней мере, получали хорошее жалованье и были — да, этого нельзя было не признать — настоящими джентльменами, тогда как Мартин не мог заработать ни одного пенса и на джентльмена походил очень мало.

Руфь даже не считала нужным вникать в аргументы Мартина. Что они были ошибочны, в этом ее убеждало положение вещей. Преподаватели, несомненно, были правы в своих суждениях о литературе, ибо они добились успеха в жизни, а Мартин ошибался уже потому, что не мог продать ни одного своего произведения. Говоря его языком, у них «вышло», а у него не выходило. И разве мог он судить правильно о литературе,— он, который еще так недавно стоял посреди этой самой комнаты, красный от смущения, неуклюжий, озираясь в страхе, как бы не уронить какой-нибудь безделушки, спрашивая, давно ли умер «Свайнберн», и глупо хвастаясь, что читал «Эксцельсиор» и «Псалом жизни».

Таким образом, Руфь сама подтверждала свое преклонение перед общепризнанным. Мартин отлично понимал ее мысли, но не желал придавать этому значения. Он любил ее независимо от того, как она относилась к Прапсу, Вандеруотеру и преподавателям английской филологии, но все больше убеждался, что сумел проникнуть в области мышления, для нее совершенно недоступные, о существовании которых она даже и не подозревает.

Руфь, в свою очередь, считала, что Мартин ничего не понимает в музыке, а суждения его об опере она находила не только неверными, но намеренно парадоксальными.

— Вам понравилось? — спросила однажды Руфь, когда они возвращались из оперы.

В этот вечер, ценою целого месяца суровой экономии на еде, он смог пригласить ее в театр. Тщетно прождав, что Мартин сам заговорит о спектакле, который на нее произвел сильное впечатление, она, наконец, решила спросить его.

— Мне очень понравилась увертюра,— отвечал он,— это было превосходно.

— Ну, а сама опера?

— Опера тоже, то есть оркестр, разумеется. Но было бы еще лучше, если бы эти шуты гороховые поменьше ломались или вовсе бы ушли со сцены.

Руфь была ошеломлена.

— Вы говорите о Тетралани и Барильо? — спросила она.

— Да, и о них, и обо всех других тоже.

— Но ведь это же великие артисты!

— Все равно. Они своим глупым кривляньем только портили музыку.

— Так неужели вам не нравится голос Барильо?! — воскликнула Руфь.— Ведь он считается вторым после Карузо.

— Нет, отчего же, нравится, а Тетралани нравится еще больше. У нее исключительный голос, насколько я могу судить.

— Но... но...— Руфь не находила слов.— Я тогда ничего не понимаю. Вы восхищаетесь их голосами, а говорите, что они портили музыку.

— Вот именно. Я бы много дал, чтобы послушать их в концерте, и дал бы еще больше, чтобы не слышать их, когда играет оркестр. Видно, я безнадежный реалист. Великие певцы не всегда великие актеры. Конечно, прекрасно, когда Барильо ангельским голосом поет любовную арию, а Тетралани вторит ему голосом, еще более ангельским, и все это на фоне яркой, сверкающей всеми красками оркестровой музыки. Не спорю, это огромное наслаждение. Но все впечатление мгновенно разбивается, как только я взгляну на сцену и увижу даму гренадерского роста весом фунтов в двести, и рядом маленького квадратного человечка, с обрюзгшей физиономией и грудной клеткой кузнеца, которые становятся в позы, хватаются за сердце и размахивают руками, словно обитатели сумасшедшего дома. А я должен верить, что это любовная сцена между юным принцем и прекрасной принцессой. Нет, я не верю. Это чушь, глупость. Это неестественно. Вот в чем все дело: это совершенно неестественно. Неужели хоть кто-нибудь объясняется в любви таким образом? Да если бы я вздумал вам так объясняться, вы надавали бы мне пощечин!

— Вы не понимаете,— негодовала Руфь,— каждый вид искусства имет свои ограничения. (Она вспомнила лекцию об условности искусства, слышанную недавно в университете.) Вот живопись двухмерна. Однако вы принимаете иллюзию трех измерений, которую художник создает силой своего таланта. В литературе автор всемогущ и всезнающ. Ведь вы признаете за ним право сообщать о тайных помыслах героини, хотя, когда эта героиня думала, никто не мог подслушать ее мысли? То же самое в театре, в скульптуре, в опере — всюду. С некоторыми противоречиями приходится мириться.

— Да, я понимаю,— отвечал Мартин,— всякое искусство условно. (Руфь изумилась, как правильно он выразился: как будто это был человек с университетским образованием, а не

самоучка, читавший в библиотеке все, что попадалось под руку.) Но и в условности должна быть реальность. Деревья, намалеванные на картоне и стоящие по бокам сцены, мы считаем лесом. Это условность, но достаточно реальная. Но ведь изображение моря мы не будем принимать за лес. Мы не можем этого сделать. Это значило бы насиловать свои чувства. И потому-то все ужимки и гримасы двух сумасшедших, которых мы только что видели, никак нельзя принять за выражение любовных чувств и настроений.

— Неужели вы и в музыке считаете себя выше авторитетов? — возмущенно сказала Руфь.

— О нет, нет. Просто я позволяю себе иметь собственное мнение. Я говорю все это для того, чтобы объяснить вам, почему слоновая грация госпожи Тетралани испортила мне все впечатление от оркестра. Может быть, музыкальные авторитеты совершенно правы. Но у меня есть свое мнение, и я не подчиню его приговору всех авторитетов на свете, вместе взятых. Что мне не нравится, то не нравится, и с какой стати я должен делать вид, что мне это понравилось! Только потому, что это нравится, или будто бы нравится, большинству? Я не желаю подчинять свои вкусы моде.

— Но музыка требует подготовки,— возразила Руфь,— а опера требует особой подготовки. Может быть...

— ...я еще недостаточно подготовлен, чтобы слушать оперу?...— договорил Мартин.

Она кивнула.

— Возможно,— согласился он,— но я даже рад этому. Если бы меня смолоду приучили к опере, я, вероятно, сегодня проливал бы слезы умиления, глядя на эту парочку, и от ее ужимок пение и музыка казались бы мне еще прекраснее. Но вы правы. Это все — дело воспитания, а меня уже воспитывать поздно. Мне нужно или нечто реальное, или совсем ничего. Иллюзия, в которой нет и намека на правду, не трогает меня, и опера кажется мне сплошной фальшью, в особенности когда я вижу, как маленький Барильо судорожно хватает в объятия огромную Тетралани и говорит ей о том, как он ее любит.

Но Руфь, как всегда, судила о взглядах Мартина поверхностно и исходя из своего преклонения перед общепризнанным. Кто он такой в конце концов, чтобы считать правым только себя, а весь культурный мир обвинять в непонимании? Высказывания Мартина не произвели на нее никакого впечатления. Руфь слишком привыкла ко всему общепризнанному и не сочувствовала мятежным мыслям; к тому же музыкой она занималась

с детства, с детства любила оперу, так же как и все люди ее круга. По какому же праву этот Мартин Иден, еще вчера не слышавший ничего, кроме рэгтаймов и уличных песенок, берется судить о мировых сокровищах музыки? Руфь была задета в своем самолюбии и, продолжая идти рядом с Мартином, испытывала смутное чувство обиды. В лучшем случае его суждения можно было великодушно признать капризом или нелепой шуткой. Но когда, прощаясь с ней у дверей дома, Мартин обнял ее и нежно поцеловал, Руфь забыла все, вновь охваченная любовью. После, лежа в постели без сна, Руфь все раздумывала, как могло случиться, что она полюбила такого странного человека, полюбила вопреки желанию всей своей семьи.

На следующий день Мартин Иден отложил в сторону свои «доходные» литературные поделки и одним духом написал статью под названием «Философия иллюзий». Украшенный маркой конверт с рукописью отправился в путешествие, но бедной «Философии» суждено было переменить еще очень много марок и совершить очень много длительных путешествий.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Мария Сильва была бедна и хорошо знала, что такое бедность. Для Руфи слово «бедность» означало просто известные неудобства существования. Этим исчерпывалось ее представление о бедности. Она знала, что Мартин Иден беден, и мысленно сравнивала его жизнь с жизнью юного Авраама Линкольна или мистера Бэтлера — вообще всех тех, кто, начав с лишений, достиг под конец успеха и благополучия. Признавая, что быть бедным неприятно, Руфь в то же время разделяла утешительное буржуазное представление о том, что бедность — превосходный стимул для карьеры, сулящий успех всякому, кто не лишен ума и способностей. Поэтому Руфь не слишком огорчилась, узнав, что Мартину пришлось заложить часы и пальто. Наоборот, она даже была довольна, надеясь, что тем скорее он образумится и бросит свои литературные начинания.

Видя худое и осунувшееся лицо Мартина, Руфь не подозревала, что он голодает. Она даже радовалась перемене в нем, находя, что его облик стал одухотвореннее, тоньше, утратил ту мощь здорового животного, которая одновременно и влекла и отталкивала ее. Иногда Руфь восхищалась каким-то особенным блеском его глаз, делавшим его похожим на поэта или ученого, то есть на того, кем он хотел бы быть и кем она хотела

его видеть. Но Марии Сильве ввалившиеся щеки и горящие глаза Мартина говорили совсем другое, и по этим признакам она изо дня в день отмечала перемены в благосостоянии своего жильца. Она видела, как он однажды вышел из дому в пальто, а вернулся без пальто, хотя день был холодный и дождливый. Потом на некоторое время щеки его слегка округлились и голодный огонь в глазах погас. Мария заметила также исчезновение часов и велосипеда, повлекшее за собой снова некоторый прилив жизненных сил. Кроме того, Мария знала, как много Мартин трудится, так как ей было точно известно, сколько керосина он сжигает за ночь. Работа! Мария отлично понимала, что Мартин работает не меньше ее, хотя его работа совсем иного свойства. Ее очень удивляло, что чем меньше он ест, тем усерднее трудится. Иной раз, когда ей казалось, что Мартин голодает особенно сильно, она посылала ему с одним из ребятишек свежий хлебец, под нехитрым предлогом, что ему самому не испечь такого вкусного. Иногда она посылала и миску горячего супа, мучаясь в то же время сомнением, имеет ли она право отнимать этот суп у детей, у своей плоти и крови. И Мартин был полон самой горячей благодарности, ибо умел ценить милосердие бедняков.

Однажды, накормив свое многочисленное потомство остатками запасов, имевшихся в доме, Мария истратила последние пятнадцать центов на галлон дешевого вина и угостила Мартина, зашедшего в кухню за водой. Он выпил за ее здоровье, а она — за его. Потом она выпила за благополучие в его делах, а он за то, чтобы Джеймс Грант поскорее явился и заплатил за стирку. Джеймс Грант был плотничий подмастерье, который неаккуратно платил и задолжал Марии целых три доллара.

И Мартин и Мария пили на пустой желудок, и обоим кислое молодое вино сразу бросилось в голову. При всем своем несходстве, они оба были нищи и одиноки, и эта нищета, о которой всегда умалчивалось, связывала их прочными узами. Мария обрадовалась, узнав, что Мартин бывал на Азорских островах, где она прожила до одиннадцати лет. Еще больше она обрадовалась, услыхав, что он бывал и на Гавайских островах, куда потом перебрались ее родители. Но ее восторг перешел всякие границы, когда Мартин сообщил ей, что бывал на острове Мауйи, где она вышла замуж. А на Кагулуи, где она впервые познакомилась со своим будущим мужем, Мартин был два раза. Еще бы ей не помнить груженных сахаром судов! Так он плавал на них? Ну скажите, пожалуйста, до чего же тесен мир! А Вайлуку? Мартин и там побывал! Знавал ли он

главного надсмотрщика плантации? Ну как же, он даже пропустил за его здоровье стаканчик.

Так, предаваясь воспоминаниям, они топили свой голод в кислом вине. Впрочем, Мартину будущее не представлялось слишком мрачным. Рано или поздно он добьется успеха и славы. Он уже чувствует их дыхание рядом. Еще немножко — и он сможет схватить их рукой. Тут он стал пытливо вглядываться в изможденное лицо женщины, сидящей перед ним, вспомнил хлеб и суп, которые она ему присылала, и ощутил порыв великой благодарности, желание облагодетельствовать ее.

— Мария,— вскричал он вдруг,— чего бы вы больше всего хотели?

Она с недоумением посмотрела на него.

— Ну, чего бы вы больше всего хотели именно сейчас?

— Семь пара башмака — для рэбята.

— Вы их получите,— объявил он, и она торжественно кивнула головой.— Ну, а еще чего-нибудь поважнее?

В глазах Марии мелькнула добродушная радость. Мартин шутил с ней — с ней, с которой уже давно никто не шутил.

— Подумайте, не спешите,— сказал он предостерегающе, когда она открыла было рот, чтобы заговорить.

— Корошо,— сказала она,— я подумала. Минэ надо дом, своя дом,— бесплатна жить. Нэ платить семь доллара на месяц.

— Вы его получите,— пообещал он,— и очень скоро. Ну, а самое ваше большое желание? Вообразите, что я бог и что я все могу исполнить. Ну, говорите, я слушаю.

Мария сосредоточенно помолчала минуту.

— Вы будэтэ пугацца.

— Нет, нет,— засмеялся он,— я не испугаюсь. Ну, говорите?

— Большой вещь, ах, большой,— предупредила она.

— Ладно, ладно. Говорите.

— Корошо.— Она глубоко, по-детски вздохнула, готовясь высказать свое самое заветное, сокровенное желание.— Минэ хочется фэрма — молочна фэрма. Много корова, много луг, много трава. Около Сан-Лиана. В Сан-Лиана живет мой сестра. Буду продавать молоко в Окленд. Много дэньга. Джо и Ник нэ будэт пасти коров. Они пойдет в короша школа. Будэт важный инженер строить дорога. Да, хочется молочна фэрма.

Мария умолкла и блестящими глазами поглядела на Мартина.

— Вы ее получите,— быстро отвечал он.

Она кивнула и выпила за великодушного дарителя, хотя и прекрасно знала, что никогда не получит обещанных даров. Но она была благодарна Мартину за его доброе сердце и умела ценить обещание, как ценила бы самый дар.

— Да, да, Мария,— продолжал Мартин.— Нику и Джо не придется пасти коров. Ребята будут учиться в школе весь год, ходить в хороших, крепких башмаках. У вас будет первоклассная ферма с домом, с конюшней, с хлевом. У вас будут свиньи, куры, огород, фруктовый сад — одним словом, все, что нужно; у вас хватит средств, чтобы нанять работника, даже двух работников. И вам не придется ничего делать, кроме как воспитывать детей. А если подвернется хороший человек, вы выйдете за него замуж, и он станет хозяйничать на ферме, а вы будете отдыхать.

И, щедрой рукой отмерив ей долю из своих будущих благ, Мартин встал и пошел закладывать свой единственный выходной костюм. Ему было не легко решиться на это, потому что таким образом он лишал себя возможности видеться с Руфью. Другого приличного костюма у Мартина не было, а в матросской заплатанной куртке он мог заходить к булочнику и мяснику, мог наведываться к сестре, но о том, чтобы являться в таком виде к Морзам, разумеется, нечего было и думать.

Мартин продолжал трудиться, испытывая тоску, близкую к полному отчаянию. Все чаще ему приходило на ум, что и второе сражение проиграно и что в самом деле нужно снова идти работать. Все были бы довольны этим: лавочники, сестра, Руфь и даже Мария, которой он задолжал за целый месяц. Он уже два месяца не платил за прокат пишущей машинки, и магазин требовал, чтобы он или уплатил, или вернул машинку. Готовый покориться и отложить борьбу до более подходящего времени, Мартин отправился держать экзамен на железнодорожного почтальона. К своему изумлению, он выдержал первым. Правда, неизвестно было, когда откроется вакансия.

И вот в эту особенно тяжелую пору издательская машина вдруг нарушила свой обычный ход. То ли в ней соскользнуло какое-нибудь колесико, то ли она была просто плохо смазана, но в одно прекрасное утро почтальон принес маленький запечатанный конверт. В углу конверта Мартин увидел штамп «Трансконтинентального ежемесячника». Сердце у него рванулось и замерло, он почувствовал слабость во всем теле, колени как-то странно задрожали. Пройдя к себе в комнату, он уселся на кровать с нераспечатанным конвертом в руке и в этот миг ясно понял, как люди умирают от радостного известия.

Конечно, это было радостное известие. В таком маленьком конверте не могла бы поместиться рукопись. Мартин помнил, что в «Трансконтинентальный ежемесячник» он послал «Колокольный звон», «страшный» рассказ, в котором было пять тысяч слов. А так как лучшие журналы всегда платят по приеме рукописи, то в конверте, очевидно, таился чек. Два цента за слово — стало быть, двадцать долларов за тысячу слов; чек, значит, должен быть на сто долларов. Сто долларов! Разрывая конверт, он уже подсчитал мысленно все свои долги: 3 доллара 85 центов в бакалейную лавку; 4.00 — мяснику; 2.00 — булочнику; за овощи — 5.00; всего 14.85. Далее, за комнату — 2.50, за месяц вперед — 2.50; за двухмесячный прокат машинки — 8.00, за месяц вперед — 4.00; всего 31.85. Кроме того, надо выкупить вещи из заклада: часы — 5.50; пальто — 5.50; велосипед — 7.75; костюм — 5.50 (60% ростовщику — но не все ли равно!). Общий итог — 56.10. Эта сумма словно была выписана перед ним в воздухе светящимися цифрами. Остаток в 43 доллара 90 центов представлял необычайное богатство, принимая во внимание, что будет уплачено вперед и за комнату и за машинку.

Тем временем он наконец вскрыл конверт и вынул отпечатанное на машинке письмо. Чека не было. Он потряс конверт, поглядел его на свет, не доверяя глазам, разорвал. Чека не было. Тогда он начал читать письмо, стараясь сквозь похвалы редактора добраться до сути дела, найти объяснение, почему не прислан чек. Объяснения он не нашел, но зато прочел нечто такое, что поразило его, как удар грома. Письмо выпало у него из рук. В глазах помутилось, он упал головой на подушку и судорожно потянул на себя одеяло.

Пять долларов за «Колокольный звон». Пять долларов за пять тысяч слов! Вместо двух центов за слово — один цент за десять слов! А издатель еще расточает ему похвалы, сообщая, что чек будет выслан немедленно по напечатании рассказа! Значит, все это было вранье — и то, что минимальная ставка два цента за слово, и то, что платят по приеме рукописи. Все было вранье, и он просто-напросто попался на удочку. Знай он это раньше, он не стал бы писать. Он пошел бы работать — работать ради Руфи. Он ужаснулся, подумав о том, сколько времени было потрачено на писание. Ради того, чтобы в конце концов получить по центу за десять слов! И другие блага и почести, которые, по словам газет, сыпались на писателей, вероятно, тоже существовали лишь в воображении газетчиков. Все его полученные из вторых рук представления о писательской карьере были неверны: доказательство налицо. «Трансконтинентальный

ный ежемесячник» стоит двадцать пять центов номер, и красивая обложка указывает на его принадлежность к первоклассным журналам. Это старый, почтенный журнал, начавший издаваться задолго до того, как Мартин Иден появился на свет. На его обложке неизменно печатается изречение одного всемирно известного писателя, указывающее на высокие задачи «Трансконтинентального ежемесячника», на страницах которого начало свою карьеру упомянутое литературное светило. И вот этот-то вдохновляемый высокими задачами журнал платит пять долларов за пять тысяч слов! Тут Мартин вспомнил, что автор изречения недавно умер на чужбине в страшной нищете,— и решил, что ничего удивительного в этом не было.

Да. Он попался на удочку. Газеты наврали ему с три короба про писательские гонорары, а он из-за этого потерял целых два года! Но теперь довольно. Больше он не напишет ни одной строчки! Он сделает то, чего хочет Руфь, чего хотят все кругом,— и поступит на службу. Мартин вдруг вспомнил Джо — Джо, который где-то там колесит по дорогам страны безделья. Мартин вздохнул с завистью. Ежедневная девятнадцатичасовая работа внезапно дала себя почувствовать. Но Джо не был влюблен, не знал ответственности, которую налагает любовь, и, следовательно, имел право шататься по миру и бездельничать. А у него, у Мартина, есть ради чего работать, и потому он будет работать. Завтра же с раннего утра он начнет искать службу и завтра же известит Руфь о том, что намерен переменить образ жизни и готов поступить в контору к ее отцу.

Пять долларов за пять тысяч слов, за десять слов один цент — вот рыночная цена искусства! Несправедливость, ложь, подлость, таившиеся в этом, не давали ему покоя. А сквозь закрытые веки глаза его жгла цифра 3.85 — сумма его долга бакалейщику. Мартина знобило, и все кости у него ныли. В особенности ломило поясницу. Голова болела — темя болело, затылок болел, самый мозг, казалось, болел под черепною коробкой; особенно невыносима была боль над бровями. А перед глазами по-прежнему сверкала беспощадная, терзающая цифра 3.85. Чтобы избавиться от этого назойливого видения, Мартин открыл глаза, но яркий дневной свет причинил ему нестерпимое страдание; пришлось снова закрыть глаза, и цифра 3.85 вспыхнула с прежней силой.

Пять долларов за пять тысяч слов, за десять слов — один цент! — эта мысль сверлила мозг, и он не мог от нее избавиться, так же как не мог избавиться от цифры 3.85, горевшей перед глазами. Наконец, в цифре начались какие-то изменения, за

«Мартин Иден»

которыми Мартин наблюдал с любопытством, и постепенно она превратилась в 2.00. А, догадался он, это долг булочнику! Следующая цифра была 2.50. Эта цифра так заинтриговала его, словно решала для него вопрос жизни и смерти. Кому-то он, в самом деле, должен два с половиной доллара, но кому? Ему необходимо было решить эту задачу, решить во что бы то ни стало, и он бродил по длинным темным коридорам памяти, шарил в ее углах и закоулках, загроможденных обрывками ненужных сведений и воспоминаний, отчаянно стараясь найти ответ. Казалось, прошли целые столетия, прежде чем он вспомнил, что должен эти деньги Марии. С чувством огромного облегчения Мартин подумал, что теперь может отдохнуть, решив эту сложную задачу. Но не тут-то было. Исчезла цифра 2.50, а вместо нее зажглась другая — 8.00. Кому он должен восемь долларов? Опять нужно было пускаться в утомительные скитания по лабиринтам памяти.

Сколько длились эти скитания, Мартин не знал (ему казалось, что бесконечно долго), но вдруг он пришел в себя от стука в дверь и услыхал голос Марии, спрашивавшей, не болен ли он. Глухим, незнакомым голосом Мартин ответил, что просто вздремнул. Его удивила темнота в комнате. Письмо пришло в два часа дня, а теперь был уже вечер. Видно, он заболел.

Тут опять перед ним появилась цифра 8.00, и он снова начал напряженно думать. Впрочем, теперь он стал хитрее. Вовсе незачем блуждать среди хаоса воспоминаний. Как он был глуп! Нужно просто повернуть наудачу огромное колесо памяти; оно повернулось — и вдруг, завертевшись с необычайной скоростью, втянуло его в свое движение и понесло в черную пустоту.

Мартин нисколько не удивился, увидав себя в прачечной подкладывающим крахмальные манжеты под каток. На манжетах были напечатаны какие-то цифры. Должно быть, новый способ метить белье, подумал Мартин и вгляделся в метку: на манжете стояла цифра 3.85. Он вспомнил, что это счет бакалейщика и что счета необходимо пропускать через каток. Коварная мысль пришла ему в голову. Он побросает все счета на пол и не станет платить по ним. Сказано — сделано. И вот он бесцеремонно мнет манжеты и швыряет на необыкновенно грязный пол. Куча неимоверно растет, каждый счет удвоился, удесятерился, разбился на тысячи таких же счетов, и только счет Марии в два с половиною доллара не множился. Это означало, что Мария не станет притеснять его, и Мартин великодушно

решил, что уплатит только по ее счету. Решив так, он начал разыскивать этот счет в груде на полу; он искал его много веков, но тут дверь вдруг отворилась, и в комнату вошел хозяин гостиницы — толстый голландец. Лицо его пылало гневом, и громовым голосом он заорал на весь мир: «Я вычту стоимость манжет из вашего жалованья!» Груда сразу превратилась в целую гору, и Мартин понял, что ему придется работать тысячу лет, чтобы заплатить за эти манжеты. Ничего не оставалось, как только убить хозяина гостиницы и поджечь прачечную. Но толстый голландец схватил его за шиворот и стал трясти. Потом перебросил его через стол с утюгами, через плиту, каток, стиральную машину, выжималку. Мартин так кувыркался на лету, что у него стучали зубы и звенело в голове, и все удивлялся силе голландца.

Затем он опять очутился перед катком, на этот раз принимая выстиранные и выкатанные манжеты, которые подкладывал с другой стороны издатель ежемесячного журнала. Каждая манжета превращалась в чек, и Мартин с тревожным любопытством рассматривал их, но чеки были пустые. Он стоял у катка миллионы лет и все вынимал чеки, боясь пропустить хоть один,— а вдруг именно этот будет заполнен на его имя? Наконец такой чек появился. Дрожащею рукою Мартин взял его и поднес к свету. Чек был на пять долларов. «Ха-ха-ха»,— хохотал издатель, прячась за каток. «Ладно, я тебя сейчас убью»,— сказал Мартин. Он пошел в соседнюю комнату за топором и увидал там Джо, который крахмалил рукописи. Мартин, желая спасти рукописи, швырнул в Джо топором, но топор повис в воздухе. Мартин побежал назад, к катку, и увидел, что там свирепствует снежная буря. Нет, это был не снег, а бесконечное количество чеков, каждый не меньше чем на тысячу долларов. Он начал собирать их и раскладывать пачками по сто штук, и каждую сотню заботливо перевязывал ленточкой.

Вдруг перед Мартином появился Джо. Джо стоял и жонглировал утюгами, сорочками, рукописями. Иногда он хватал пачки чеков и подбрасывал их вверх, так что они, пробив крышу, исчезали в пространстве. Мартин кинулся на Джо, но тот вырвал у него топор и тоже подбросил вверх. За топором он подбросил и самого Мартина. Мартин пролетел сквозь крышу и успел поймать много рукописей, так что упал на землю с целой охапкой в руках. Но его снова понесло вверх, и он помчался по воздуху, описывая бесконечные круги. А в отдалении детский голосок напевал: «Протанцуй со мною, Вилли, протанцуй еще разок!»

Топор торчал среди Млечного Пути чеков, крахмальных сорочек и рукописей, и Мартин, взяв его, решил убить Джо немедленно по возвращении на землю. Но он так и не возвратился на землю. В два часа ночи Мария, услыхав из-за перегородки его стоны, вошла к нему в комнату, обложила его горячими утюгами, а воспаленные глаза накрыла мокрым полотенцем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Мартин Иден не пошел на следующее утро искать работы. Было уже за полдень, когда он очнулся от забытья и оглядел комнату. Восьмилетняя Мэри, одна из дочерей Сильвы, дежурила подле него и, как только он очнулся, с визгом побежала за матерью. Мария пришла из кухни, где занималась стряпней. Она дотронулась мозолистой рукой до его горячего лба и пощупала пульс.

— Кушать будэт? — спросила она.

Мартин отрицательно покачал головой. Меньше всего ему хотелось есть, и он даже удивился, что когда-то испытывал чувство голода.

— Я болен, Мария,— сказал он слабым голосом.— Что со мной? Не знаете?

— Грипп,— отвечала она,— три дня, и будэт хорошо. Лучше без еда. Потом кушать. Завтра.

Мартин не привык хворать, и когда Мария и ее дочка вышли, он попытался одеться. Глаза его так болели, что он то и дело должен был опускать веки. Крайним напряжением воли он заставил себя встать с кровати и сел за стол, но тут силы изменили ему, он уронил на стол голову и долго не мог подняться. Через полчаса он кое-как добрался опять до постели и лежал неподвижно, закрыв глаза и пытаясь разобраться в своих болезненных ощущениях. Мария несколько раз входила к нему и меняла холодный компресс на лбу. Но заговаривать с ним не пыталась, мудро решив не надоедать ему болтовней. Исполненный благодарности, он пробормотал:

— Мария, у вас будет молочна ферма, хороша молочна ферма.

Затем ему вспомнился вчерашний день, уже отошедший в далекое прошлое. Казалось, целый век миновал с тех пор, как он получил письмо из «Трансконтинентального ежемесячника»,— с тех пор, как он понял свое заблуждение и решил покончить с этим делом и перевернуть страницу книги жизни. Он

слишком сильно натягивал тетиву, и она в конце концов лопнула. Если б он не изнурял себя так голодом и лишениями, болезнь не одолела бы его. У него недостало силы бороться с микробом, проникшим в организм. И вот теперь он лежит и не может подняться.

«Какой смысл, если бы я написал даже целую библиотеку книг, раз за это надо расплачиваться жизнью? — спрашивал он себя.— Нет, это не для меня. К черту литературу! Моя судьба — вести конторские книги, получать ежемесячно жалованье и жить в маленьком домике вдвоем с Руфью».

Через два дня Мартин съел яйцо с двумя ломтиками хлеба и, выпив чашку чаю, попросил принести ему полученную за это время почту. Но глаза у него все еще болели, и читать было трудно.

— Прочитайте мне письма, Мария,— сказал он.— Большие, толстые конверты не вскрывайте. Швыряйте их под стол. Прочтите те письма, что в маленьких конвертах.

— Не умей,— отвечала она.— Тереза умей, она ходит в школа.

Тереза Сильва — девочка лет девяти — вскрыла конверты и принялась читать. Мартин рассеянно слушал настойчивые требования уплаты за прокат пишущей машинки,— голова у него была занята мыслями о приискании работы. Внезапно до его слуха долетели следующие слова:

— «Мы предлагаем вам сорок долларов за исключительное право публикации вашего рассказа,— читала по складам Тереза,— если вы согласитесь на предлагаемые сокращения и изменения...»

— Откуда это, из какого журнала? — вскричал Мартин.— Дай сюда письмо.

Он сразу забыл о боли в глазах и с жадностью стал читать. «Белая мышь» предлагала ему сорок долларов за «Водоворот» — один из его ранних «страшных» рассказов. Мартин несколько раз перечитал письмо. Редактор прямо и откровенно говорил ему, что замысел рассказа разработан недостаточно четко, но самый этот замысел понравился им своей оригинальностью, и они готовы напечатать рассказ. Если он разрешит сократить «Водоворот» на одну треть, ему немедленно будет выслан чек на сорок долларов.

Мартин взял перо и написал редактору, что разрешает сократить рассказ хоть на три четверти, но чтобы чек выслали как можно скорее.

Тереза побежала опускать письмо, а Мартин откинулся на подушку и задумался. Значит, все-таки это не ложь. «Белая мышь» готова платить по принятии рукописи. В рассказе «Водоворот» было три тысячи слов. Если отбросить треть, останется две тысячи. Выходит как раз два цента за слово. Оплата по принятии рукописи и два цента за слово,— газеты говорили правду! А он-то считал «Белую мышь» третьесортным журнальчиком. Очевидно, он просто не имел о журналах никакого понятия. Он считал первоклассным «Трансконтинентальный ежемесячник», а там платят цент за десять слов! Он относился к «Белой мыши» с пренебрежением, а там платят в двадцать раз дороже, и притом не дожидаясь выхода из печати!

Одно было ясно: когда он поправится, ему незачем бегать в поисках работы. В голове у него целая сотня рассказов не хуже «Водоворота», и если считать по сорок долларов за штуку, он может заработать на них гораздо больше, чем ему даст любая служба. Он выиграл сражение в тот самый миг, когда оно казалось проигранным. Его выбор оправдал себя. Дорога перед ним открыта. После «Белой мыши» список журналов, готовых его печатать, будет все расти и расти. Писание «доходных» мелочей можно теперь бросить. Все равно они не принесут ему и доллара. Он займется работой, настоящей работой, и будет вкладывать в нее все, что в нем есть действительно ценного. Мартину захотелось, чтобы Руфь была тут и могла разделить его радость. Вдруг среди писем, разбросанных на постели, он нашел одно от нее. Руфь нежно упрекала его за то, что он вдруг пропал и уже который день не дает о себе знать. Мартин с восторгом перечитывал письмо, рассматривал почерк, любовался каждой буквой, нежно целовал подпись.

В ответ он написал ей откровенно, что заложил свой единственный хороший костюм и потому не мог прийти. Он сообщил о своей болезни, которая, впрочем, уже почти прошла, и прибавил, что недели через две (время, достаточное для получения чека из Нью-Йорка) он выкупит костюм и в тот же день будет у нее.

Но Руфь не собиралась ждать две недели. Ведь ее возлюбленный был болен. На другой же день она приехала к нему вместе с Артуром в коляске, к великому удовольствию ребятишек Сильвы и всей окрестной детворы и к полному ужасу Марии. Мария надавала пощечин детям, обступившим необыкновенных посетителей, и, немилосердно коверкая язык, стала извиняться за свой неряшливый вид. На руках у нее засохла мыльная пена, а мокрая рогожа, подвязанная вместо передни-

ка, ясно говорила гостям, за какой работой они ее застали. Появление нарядных молодых людей в коляске, спрашивавших ее жильца, до того потрясло Марию, что она даже не догадалась пригласить их в свою крошечную гостиную. Чтобы добраться до комнаты Мартина, им пришлось пройти через жаркую кухню, наполненную паром по случаю большой стирки. От волнения Мария никак не могла осуществить сложный маневр с дверью комнаты и дверцей шкафа, и в комнату больного ворвались облака пара, запах мыльной воды и грязного белья.

Руфь ловко повернула направо, потом налево, потом опять направо и прошла по узкому каналу между столом Мартина и его кроватью. Артур не проявил достаточной осторожности и с грохотом опрокинул горшки и сковородки в кухонном углу. Впрочем, Артур недолго оставался в комнате. Единственный стул заняла Руфь, и ее брат, считая свои обязанности исполненными, вышел на крыльцо, где его немедленно обступило многочисленное потомство Сильвы, крайне заинтересованное его особой. Вокруг экипажа толпились ребятишки со всего квартала, ожидая какой-нибудь страшной, драматической развязки. Коляски появлялись в округе только в дни свадеб или похорон; но в данном случае никто не женился и не умер — следовательно, должно было произойти нечто из ряда вон выходящее, на что стоило посмотреть.

Все эти дни Мартин изнывал от желания видеть Руфь. Обладая горячо любящим сердцем, он больше чем кто-либо нуждался в сочувствии, и не в простом сочувствии, а в глубоком и чутком понимании; но он еще не знал, что сочувствие Руфи основывается не на понимании его, Мартина Идена, стремлений, а просто на ее природной, несколько сентиментальной нежности. Пока Мартин говорил с нею, держа ее за руку, Руфь, в порыве любви, отвечала ему ласковым пожатием и со слезами на глазах глядела на его осунувшееся лицо, думая о том, какой он несчастный и беспомощный.

Мартин поспешил рассказать Руфи о том, в какое отчаяние он пришел, получив письмо «Трансконтинентального ежемесячника», и как обрадовался предложению «Белой мыши», но Руфь отнеслась к этому безучастно. Она слышала слова, им произносимые, и понимала смысл, но не разделяла ни его радости, ни его отчаяния. Она оставалась верна себе. Ее очень мало интересовали рассказы, журналы и редакторы. Она думала только об одном: когда им с Мартином можно будет пожениться. Правда, сама она этого не понимала, как не понимала и того, что ее желание заставить Мартина «устроиться» вызывалось

подсознательным материнским инстинктом. Конечно, если бы Руфи сказали об этом прямо, она бы, во-первых, смутилась, во-вторых, возмутилась и стала бы уверять, что ею руководит лишь забота о благе любимого человека. Но, так или иначе, пока Мартин, взволнованный первым успехом на избранном пути, изливал перед Руфью свою душу, она, слушая и не слыша, оглядывалась по сторонам, пораженная тем, что видела.

В первый раз Руфь лицом к лицу столкнулась с нищетой. Ей всегда казалось, что любовь и голод — очень романтическое сочетание, но она совершенно не представляла себе, как выглядит эта романтика в жизни. Такой картины она, во всяком случае, не ожидала. Ее тошнило от запаха грязного белья, который проникал сюда из кухни. Мартин, должно быть, весь пропитался этим запахом, думала Руфь, если эта ужасная женщина часто стирает. Нищета заразительна. Руфи начинало казаться, что к Мартину пристала грязь окружающей обстановки. Его небритое лицо (Руфь в первый раз видела Мартина небритым) вызывало в ней неприязнь. От щетины на подбородке и щеках оно казалось таким же мрачным и грязным, как все жилище Сильвы, и это еще подчеркивало в нем ненавистное Руфи выражение животной силы. И надо же было, чтобы два рассказа Мартина приняли к напечатанию! Теперь он еще больше утвердится в своих безумных планах. Еще немного — и он бы сдался и поступил на службу. А сейчас он с новым усердием примется за свое сочинительство, продолжая голодать и жить в этом ужасном доме.

— Чем это пахнет? — вдруг спросила Руфь.

— Вероятно, бельем. Мария стирает,— отвечал он.— Я уже привык к этому запаху.

— Нет, нет. Еще какой-то противный, застоявшийся запах!

Мартин, прежде чем ответить, понюхал воздух.

— Я ничего не чувствую, кроме запаха табака,— объявил он.

— Вот именно. Какая гадость! Зачем вы так много курите, Мартин?

— Сам не знаю. Когда у меня тоскливо на душе, я и курю больше. А вообще это старая привычка. Я начал курить еще мальчишкой.

— Нехорошая привычка,— укоризненно сказала Руфь.— Здесь просто дышать невозможно.

— Это уж табак виноват. Я курю самый дешевый. Вот подождите, получу чек на сорок долларов, тогда куплю такого табаку, что его можно будет курить даже в обществе ангелов.

А ведь это недурно! За три дня две принятых рукописи! Этими сорока пятью долларами я покрою почти все свои долги.

— Это за два года работы? — спросила Руфь.

— Нет, меньше чем за неделю. Пожалуйста, дайте мне ту книжечку в сером переплете. Вон лежит, на углу стола.

Мартин открыл книжку и быстро перелистал ее.

— Да, совершенно верно. Четыре дня «Колокольный звон», два дня «Водоворот». Сорок пять долларов за недельную работу. Сто восемьдесят долларов в месяц! Где бы я мог получить такое жалованье? А ведь это только начало. Мне понадобится не меньше тысячи долларов, чтобы как следует обставить вашу жизнь. Жалованье в пятьсот долларов меня бы никак не удовлетворило. Но для начала хорошо и сорок пять долларов. Дайте мне выйти на дорогу. Вот тогда задымим изо всех труб.

Руфи это выражение напомнило о прежнем разговоре.

— Вы и теперь слишком много дымите,— сказала она.— Дело не в качестве табака. Курение само по себе — дурная привычка, независимо от того, что́ вы курите. Вы точно ходячая дымовая труба или живой вулкан. Это ужасно! Милый Мартин, ведь вы знаете, что это ужасно!

Взгляд Руфи был полон любви и ласки, и Мартин, смотря в ее чистые голубые глаза и нежное лицо, опять, как встарь, почувствовал, что недостоин ее.

— Я хочу, чтобы вы бросили курить,— прошептала она,— сделайте это ради меня.

— Хорошо,— воскликнул он,— я брошу курить! Я сделаю для вас все, что вы пожелаете, милая моя, дорогая!

Руфью вдруг овладело искушение. Увидев, как легко и покорно он идет на уступки, она подумала: если сейчас потребовать, чтобы он бросил писать, он не откажет ей. Но слова замерли у нее на устах. Она не смогла их выговорить. Не решалась. Вместо этого она склонилась ниже и, положив голову ему на грудь, прошептала:

— Мартин, милый, ведь это я не ради себя, а ради вас. Вам, наверно, вредно курить, и потом — нехорошо быть рабом, даже рабом привычки.

— Я буду вашим рабом,— улыбнулся он.

— Ну, в таком случае я буду повелевать.

Руфь коварно посмотрела на него, в глубине души сожалея уже, что не высказала своего главного желания.

— Готов повиноваться вашему величеству.

— Хорошо. Вот вам моя первая заповедь: не забывай ежедневно бриться. Посмотрите, как вы исцарапали мне щеку.

Таким образом, все закончилось ласками и веселым смехом. Но кой-чего она все же добилась, а за один раз нельзя было рассчитывать на большее. Руфь чисто по-женски гордилась тем, что заставила Мартина отказаться от курения. В следующий раз она убедит его поступить на службу: ведь он обещал исполнять все ее желания.

Руфь встала и занялась осмотром комнаты. Она обратила внимание на заметки, развешанные на бельевых веревках, ознакомилась с таинственным приспособлением, на котором подвешивался велосипед, с огорчением увидела груду рукописей под столом: как много времени потрачено зря! Керосинка привела ее в восторг, но при дальнейшем осмотре обнаружилось, что полки для провизии пусты.

— У вас тут нет ничего съестного! Ах, бедняжка,— воскликнула она с состраданием,— вы, наверно, голодаете!

— Я держу свою провизию у Марии,— солгал Мартин,— там удобнее. Не бойтесь, я не голодаю. Посмотрите-ка!

Руфь подошла к нему и увидела, как Мартин согнул руку в локте, и твердые, как железо, мускулы вздулись под рубашкой. Это зрелище вызвало в ней отвращение. Ее чувства были оскорблены им. Но сердце, кровь, каждый фибр ее существа стремились к этим могучим мышцам, и, повинуясь знакомой непонятной силе, она, вместо того чтобы отшатнуться от Мартина, склонилась к нему. И когда Мартин сжал ее в объятиях, ее рассудок, знающий лишь внешние проявления жизни, негодовал и возмущался, зато сердце, женское сердце, которого коснулась сама жизнь, победно ликовало. В такие мгновения Руфь начинала понимать всю силу своей любви к Мартину, потому что, когда его могучие руки смыкались вокруг нее, до боли сжимая ее в неудержимом страстном порыве, у нее начинала кружиться голова от счастья. В такие мгновения все казалось ей оправданным: нарушение правил, измена идеалам, даже молчаливое неповиновение отцу и матери. Они не хотели, чтобы она вышла замуж за этого человека. Ее любовь к нему казалась им чем-то постыдным. Эта любовь порой казалась постыдной и ей самой, когда, вдали от него, она снова превращалась в холодную и рассудительную Руфь. Но когда Мартин был рядом, она любила его; правда, временами любовь была полна огорчений, но все-таки это была любовь — властная и непобедимая.

— Этот грипп пустяки,— говорил Мартин,— правда, немного болит голова и знобит, но в сравнении с тропической лихорадкой это сущие пустяки.

— А вы болели тропической лихорадкой? — спросила Руфь рассеянно, стараясь продлить блаженное чувство забвения, которое она испытывала в его объятиях.

Она почти не прислушивалась к тому, что он отвечал, но вдруг одна фраза привлекла ее внимание. Мартин упомянул, что перенес тропическую лихорадку в тайной колонии прокаженных на одном из Гавайских островов.

— А каким образом вы туда попали? — спросила Руфь. Такое царственное равнодушие к себе казалось ей преступным.

— Случайно,— отвечал Мартин,— я и не думал ни о каких прокаженных. Однажды я сбежал со шхуны, доплыл до берега и отправился в глубь острова, чтобы найти себе безопасное убежище. Три дня я питался плодами гуавы, дикими яблоками и бананами — вообще всем, что растет в джунглях. На четвертый день я вышел на тропинку. Она вела в гору, и на ней были свежие человеческие следы. В одном месте тропинка проходила по гребню горы, острому, как лезвие ножа. Ширина там была не более трех футов, а с обеих сторон зияли пропасти глубиною в несколько сот футов. Один хорошо вооруженный человек мог бы тут сдержать наступление стотысячной армии. Это был единственный путь в глубь острова. Часа через три я очутился в маленькой долине, среди нагромождений застывшей лавы. В ней росли фруктовые деревья и стояло семь или восемь тростниковых хижин. Как только я увидел жителей, я понял, куда попал. Довольно было одного взгляда.

— Что же вы сделали? — спросила Руфь, слушая, как Дездемона, испуганная, но завороженная.

— А что же я мог сделать? Старшим у них был добродушный старикашка, весь изъеденный проказой, который правил, как полновластный король. Он открыл эту долину и основал в ней колонию, что было, разумеется, противозаконно. Но у них имелись ружья и патроны к ним, кстати, канаки дьявольски метко стреляют. Привыкли охотиться на кабанов и диких кошек. Так что бежать нечего было и думать. Пришлось Мартину Идену остаться и прожить там три месяца.

— Но как же вам удалось спастись?

— Я бы сидел там и сейчас, если бы не одна девушка, наполовину китаянка, на четверть белая и на четверть гавайянка. Она была очень красива, бедняжка, и притом образованна. У ее матери в Гонолулу было состояние по меньшей мере в миллион. Вот эта девушка меня в конце концов и выручила. Понимаете, ее мать давала деньги на содержание колонии, и девушка, стало быть, не боялась, что ее накажут. Но она взяла

с меня клятву никому не открывать убежища. И я сдержал эту клятву. Сейчас я впервые заговорил об этом. У бедной девушки тогда появились только первые признаки проказы. Пальцы правой руки у нее были сведены, и выше локтя виднелось маленькое пятнышко. Больше ничего. Теперь уж она, наверное, умерла.

— Но как же вы не боялись? И какое счастье, что вы не заразились этой ужасной болезнью!

— Вначале мне было порядком не по себе,— признался он.— Но потом я привык. К тому же мне очень было жаль эту несчастную девушку, и я забывал о том, что нужно быть осторожным. Она была так хороша и душой и телом, болезнь еще едва-едва коснулась ее. И она знала, что обречена никогда больше не видеть людей, вести жизнь первобытного дикаря и постепенно заживо разлагаться. Вы даже вообразить не можете, до чего ужасна проказа.

— Бедная девушка! — прошептала Руфь.— Все-таки странно, что она вас так отпустила.

— Почему странно? — спросил Мартин, не поняв.

— Да потому что она, наверно, любила вас,— продолжала Руфь так же тихо.— Ну скажите прямо: любила?

Загар давно сошел с лица Мартина из-за работы в прачечной и затворнической жизни, а в последнее время он еще побледнел от голода и болезни; теперь сквозь эту бледность стал медленно проступать румянец. Он открыл рот и хотел заговорить, но Руфь перебила его.

— О, не отвечайте, пожалуйста! В этом нет необходимости! — воскликнула она, смеясь.

Но Мартину показалось, что в смехе ее прозвучали какие-то металлические нотки, а глаза блеснули ледяным блеском. И ему вспомнилась буря, которая однажды застигла его в северной части Тихого океана. На мгновение перед его глазами возникло видение грозных валов, озаренных холодным лунным светом. Вслед за тем он увидел девушку из колонии прокаженных и подумал, что она дала ему возможность бежать именно потому, что любила его.

— Она была благородна,— сказал он просто,— она спасла мне жизнь.

Казалось, этим инцидент был исчерпан, но Мартин вдруг услышал подавленное рыдание и увидел, что Руфь, отвернувшись от него, глядит в окно. Когда она снова взглянула Мартину в глаза, в ее лице ничто уже не напоминало о морской буре.

— Я такая дурная,— жалобно сказала Руфь,— но я ничего не могу с собой поделать. Я так люблю вас, Мартин, так люблю. Может быть, я привыкну постепенно, но теперь я невольно ревную вас ко всем призракам прошлого. А ваше прошлое полно призраков!.. Да, да, иначе и быть не может,— быстро продолжала она, не давая ему возразить.— Ну, Артур уже делает мне знаки. Ему, бедному, надоело ждать. Прощайте, мой дорогой. Есть какой-то порошок, который помогает отвыкнуть от курения,— сказала Руфь уже в дверях,— я вам его пришлю.

Руфь затворила за собой дверь и затем снова приоткрыла ее.

— Люблю, люблю,— шепнула она и только после этого ушла.

Мария почтительно проводила Руфь к экипажу, стараясь по дороге разглядеть все детали ее костюма. (Мария никогда не видела такого покроя, и он ей казался необыкновенно красивым.) Толпа ребятишек разочарованно смотрела вслед коляске, пока та не скрылась за поворотом. В следующий миг все внимание сосредоточилось на Марии, которая сразу стала самым важным лицом в квартале. Но кто-то из ее собственных отпрысков испортил дело, объявив, что знатные гости приезжали вовсе не к Марии, а к ее жильцу. После этого Мария вновь впала в ничтожество, зато Мартин стал замечать преувеличенное почтение к своей особе со стороны всех соседей.

В глазах Марии он возвысился безмерно, а если бы лавочник тоже видел ту чудесную коляску, он, несомненно, открыл бы Мартину кредит еще на три доллара и восемьдесят пять центов.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Солнце удачи взошло для Мартина. На другой же день после посещения Руфи он получил чек на три доллара из бульварного нью-йоркского журнальчика в уплату за три триолета. Еще через два дня одна чикагская газета приняла «Искателей сокровищ», обещая уплатить десять долларов по напечатании. Цена была невелика, но ведь это было его первое произведение — первая попытка выразить на бумаге волновавшие его мысли. В довершение успеха и приключенческая повесть для юношества была принята ежемесячным журналом «Юность и зрелость». Правда, в повести была двадцать одна тысяча слов, а ему предложили за нее всего шестнадцать долларов, что составляло примерно семьдесят пять центов за тысячу слов, да и

то по напечатании,— но ведь это была только вторая его литературная попытка, и Мартин сам теперь отлично видел, сколько в ней недостатков.

Впрочем, даже в самых ранних его произведениях не было ничего от посредственности. В них скорее было слишком много силы — избыточной силы новичка, готового стрелять из пушек по воробьям. Мартин был рад, что ему удалось хоть по дешевке продать свои ранние произведения. Он знал им цену, и не так уж много времени ему понадобилось, чтобы это узнать. Все надежды он возлагал на свои последние произведения. Ему хотелось стать чем-то бóльшим, чем автор журнальных рассказов и повестей. Он стремился вооружиться всеми приемами настоящего художника. Но силой жертвовать он не хотел. Напротив, он старался достигнуть еще большей силы, научившись обуздывать ее проявления. И любви к реализму он тоже не утратил. Во всех своих произведениях он стремился сочетать реализм с вымыслом и красотами, созданными фантазией. Он добивался вдохновенного реализма, проникнутого верой в человека и его стремления. Он хотел показать жизнь, как она есть, и все искания мятущегося духа.

Читая книги, Мартин обнаружил, что существуют две литературные школы. Одна изображала человека каким-то божеством, совершенно игнорируя его земную природу; другая, напротив, видела в человеке только зверя и не хотела признавать его духовных устремлений и великих возможностей. Мартин не разделял установок ни той, ни другой школы, считая их слишком односторонними. По его мнению, истина находилась где-то посредине, и как ни далека была от этой истины школа «божества», школа «зверя», с ее животной грубостью, оказывалась не ближе.

В рассказе «Приключение», не вызвавшем когда-то восхищения у Руфи, Мартин попытался осуществить свой идеал художественной правды, а в статье «Бог и зверь» он изложил свои теоретические взгляды на этот предмет.

Но «Приключение» и другие рассказы, которые он считал лучшими, продолжали странствовать из одной редакции в другую, а своим ранним вещам Мартин не придавал никакого значения и радовался лишь получаемому за них гонорару; не слишком высоко он расценивал и «страшные» рассказы, из которых два были только что приняты журналами. Рассказы эти представляли чистейшую выдумку, которой была придана видимость реального,— в этом и заключалась их сила. Правдоподобное изображение нелепого и невероятного Мартин считал

ловким трюком, и только. Такие произведения нельзя было причислять к большой литературе. Их художественная выразительность могла быть велика, но Мартин невысоко ставил художественную выразительность, если она расходилась с жизненной правдой. Трюк заключался в том, чтобы облечь выдумку в маску живой жизни, и к этому приему Мартин прибегнул в полдюжине «страшных» рассказов, которые писал до того, как достиг высот «Приключения», «Радости», «Котла» и «Вина жизни».

На три доллара, полученные за триолеты, можно было кое-как протянуть до получения чека из «Белой мыши». Мартин разменял трехдолларовый чек у недоверчивого португальца, уплатив ему один доллар в счет долга, и разделил два других доллара между булочником и торговцем овощами. Он был еще не настолько богат, чтобы есть мясо, и питался довольно скудно, как вдруг пришел долгожданный чек «Белой мыши». Мартин не знал, как ему быть. Он ни разу в жизни не бывал в банке, а тем более по денежным делам, и теперь им овладело детское желание во что бы то ни стало пойти в один из больших окленд-ских банков и небрежно бросить в окошечко свой чек на сорок долларов. Но здравый смысл советовал ему разменять чек у бакалейщика и таким образом поддержать свою репутацию на тот случай, если снова придется брать в кредит. Скрепя сердце отправился Мартин к бакалейщику и, разменяв чек, расплатился с ним сполна. Он вышел от него с карманом, набитым деньгами, и пошел рассчитываться с другими долгами: расплатился с булочником и мясником, уплатил Марии за прошлый месяц и за месяц вперед, выкупил велосипед, заплатил за пишущую машинку. После всех этих платежей у него осталось в кармане всего три доллара.

Но и эта маленькая сумма казалось Мартину целым состоянием. Выкупив костюм, он тотчас же отправился к Руфи и по дороге не мог удержаться от удовольствия время от времени позвякивать в кармане пригоршнею серебра. Как голодный человек не может отвести взоров от пищи, так и Мартин, у которого давно не было ни цента в кармане, не мог выпустить монеты из рук. Он не был ни жаден, ни скуп, но деньги для него означали нечто большее, чем известное количество долларов и центов. Они означали успех, и чеканные орлы на монетах казались Мартину крылатыми вестниками победы.

Незаметно к Мартину вернулось убеждение в том, что мир прекрасен. Он даже казался ему теперь еще прекраснее. В течение долгих недель это был темный и унылый мир; но теперь, когда все долги были выплачены, в кармане еще звенели три

доллара, а в сердце крепла вера в успех, солнце снова показалось Мартину горячим и ярким и даже ливень, хлынувший внезапно, вызвал у него только веселую улыбку. В голодные дни Мартин все время думал о тысячах голодных, разбросанных по всему миру, но теперь, когда он был сыт, мысль о них уже не тревожила его,— теперь, полный своей любовью, он стал думать о бесчисленных влюбленных, живущих на земле. В его мозгу смутно зашевелились строчки любовных стихов, и, увлеченный творческим порывом, он не заметил, как проехал на трамвае два лишних квартала.

В доме Морзов Мартин застал многочисленное общество. Из Сан-Рафаэля приехали к Руфи гостить две ее двоюродные сестры, и под предлогом развлечения гостей миссис Морз решила привести в исполнение свой план — окружить Руфь молодежью. Она развернула кампанию во время вынужденного отсутствия Мартина, и теперь военные действия были в полном разгаре. Миссис Морз задалась целью приглашать в свой дом людей преуспевших или преуспевавших. Таким образом, кроме кузин, Дороти и Флоренс, в гостиной находились два университетских преподавателя: один — латинист, а другой — специалист по английской филологии; молодой армейский офицер, школьный товарищ Руфи, только что вернувшийся с Филиппин; молодой человек по фамилии Мелвилл, личный секретарь Джозефа Перкинса, главы кредитного общества Сан-Франциско; наконец, главный бухгалтер одного банка, Чарльз Хэпгуд, элегантный мужчина тридцати пяти лет, воспитанник Стэнфордского университета, член Нильского и Соединенного клубов, присяжный оратор республиканской партии во время выборных кампаний — словом, молодой человек, многообещающий во всех отношениях. Из дам одна была художница-портретистка, другая — профессиональная музыкантша и третья — со степенью доктора социологических наук, прославившаяся своей благотворительной деятельностью в трущобах Сан-Франциско. Впрочем, в плане миссис Морз женщины не играли особенной роли. Они являлись чем-то вроде необходимого аксессуара. Ведь нужно же было чем-нибудь привлекать в дом преуспевающих мужчин.

— Не горячитесь во время разговора,— шепнула Мартину Руфь, прежде чем познакомить его с присутствующими.

Мартин вначале чувствовал себя очень неловко: к нему вернулся давнишний его страх зацепить при движении что-нибудь из мебели или безделушек. Кроме того, его стесняло общество. Он никогда раньше не сталкивался со столькими выдающимися личностями сразу. Особенно сильное впечатление

произвел на него главный бухгалтер Хэпгуд, и Мартин решил при случае познакомиться с ним поближе. Под внешней робостью в Мартине было все так же действенно его могучее «я», и ему не терпелось помериться силами с этими мужчинами и женщинами и узнать, что почерпнули они из книг и из жизни такого, чего еще не успел почерпнуть он.

Руфь посматривала на Мартина и была очень удивлена и обрадована той непринужденностью, с какой он беседовал с ее кузинами. Он в самом деле чувствовал себя непринужденно, но только пока сидел, ибо тогда мог не опасаться разрушений. Руфь знала, что обе ее кузины — умные и не лишенные блеска собеседницы, и ночью, ложась спать, удивлялась, слыша, как они расхваливали Мартина. А он, привыкнув в своем кругу быть завзятым остряком и душою общества на всех вечеринках и воскресных пикниках, неожиданно обнаружил, что и здесь тоже можно быть веселым и отпускать меткие словечки. Успех словно уже стоял у него за спиной и одобрительно похлопывал по плечу; вот почему Мартин, нисколько не смущаясь, смеялся сам и заставлял смеяться других.

Под конец вечера опасения Руфи все-таки оправдались. Мартин вступил в беседу с профессором Колдуэллом и хотя руками не размахивал, но Руфь придирчиво отметила особый блеск в его глазах, отметила, что голос его постепенно начинает повышаться и краска приливает к щекам. Не умея владеть собою и укрощать свой пыл, Мартин представлял резкий контраст с выдержанным молодым профессором.

Но Мартин меньше всего думал сейчас о внешних приличиях! Он сразу увидел, с каким сведущим и широко образованным собеседником имеет дело. Профессор Колдуэлл к тому же вовсе не соответствовал отвлеченным представлениям Мартина о преподавателях английской филологии. Мартин непременно хотел заставить профессора заговорить о своей специальности, и, хотя тот сначала от этого уклонялся, Мартину в конце концов удалось добиться своего. Мартин не понимал, почему в обществе не принято говорить на профессиональные темы.

— Ведь это же нелепо,— говорил он Руфи еще задолго до этого вечера,— почему нельзя говорить на профессиональные темы? Для чего же тогда и собираются вместе, как не для того, чтобы каждый проявлял себя с самой сильной стороны. А сильней всего человек всегда в том, чем он больше всего интересуется, что составляет его основное занятие, чему он посвятил жизнь, о чем думает и даже мечтает днем и ночью. Вообразите, что мистер Бэтлер, подчиняясь светским правилам, вдруг бы

начал излагать свои взгляды на Поля Верлена, на немецкую драму или на романы д'Аннунцио. Все бы со скуки умерли. Я, например, если уж мне слушать мистера Бэтлера, предпочту, чтоб он говорил о своей юриспруденции. В этой сфере он лучше всего, а жизнь коротка, и мне всегда хочется взять от человека все самое лучшее, что в нем есть.

— Однако,— возражала Руфь,— есть такие темы, которые одинаково интересны для всех.

— Нет, в этом вы ошибаетесь,— в свою очередь, возразил Мартин,— почти каждый человек и каждая группа общества подражают тем, кто выше их по положению. А кто занимает самое высокое положение в обществе? Бездельники, богатые бездельники. Они обычно и понятия не имеют о вещах, которые хорошо известны людям, занятым каким-нибудь делом. Им попросту скучно слушать разговоры о таких вещах, и вот они объявляют, что это профессиональный разговор, который в обществе вести неприлично. И они же устанавливают, о чем можно беседовать в обществе. О новой опере, новых романах, картах, бильярдах, коктейлях, автомобилях, яхтах, конских выставках, охоте, ловле форелей и так далее,— то есть, заметьте, обо всем, что хорошо известно бездельникам. В сущности говоря, это профессиональный разговор бездельников. Смешнее всего, что люди умные или претендующие на то, чтобы их считали таковыми, подчиняются в данном случае мнению глупцов и лентяев. Что до меня, то я непременно хочу взять от человека то, что в нем самое лучшее. Называйте это профессиональным разговором, вульгарностью или как вам будет угодно.

Но Руфь не понимала Мартина. Его нападки на общепринятое она объясняла своенравием и упрямством.

Так или иначе, Мартин заразил профессора Колдуэлла своей серьезностью и заставил его заговорить на темы, ему близкие. Руфь, подойдя к ним, услыхала, как Мартин сказал:

— Но в Калифорнийском университете вы, вероятно, не решаетесь высказывать подобную ересь!

Профессор Колдуэлл пожал плечами.

— Каждый честный налогоплательщик должен быть немного политиком. Сакраменто ассигнует средства, и приходится считаться с Сакраменто, считаться с правлением университета, с партийной прессой, точнее сказать — с прессой обеих партий.

— Это ясно, но вам-то каково! — воскликнул Мартин.— Вы должны чувствовать себя, как рыба, выброшенная на берег!

— У нас в университетском пруду не много наберется таких, как я. Иногда мне кажется, что я в самом деле рыба, выброшенная на сушу, и я начинаю думать, что мне было бы лучше и вольнее где-нибудь в Париже, в среде писак-строчкогонов или буйных завсегдатаев Латинского квартала. Я бы обедал в дешевых ресторанчиках, пил кларет и высказывал отчаянно смелые взгляды на мироздание. Наверное по натуре я радикал. Но, увы, так много вопросов, в которых я не чувствую себя уверенным! Я просто робею, когда вижу свою человеческую ограниченность, мешающую мне охватывать все стороны проблемы, в особенности когда речь идет о коренных проблемах жизни.

Слушая его, Мартин невольно вспомнил «Песнь пассата»:

Вздуваю ночью я и днем
Все паруса.

Мартин чуть не произнес этих слов вслух. Он глядел на профессора и находил в нем что-то общее с северо-восточным пассатом, упорным, холодным и сильным. Он был так же ровен и надежен, и, однако, в нем было что-то смущающее. Мартин подумал, что профессор, вероятно, никогда не высказывается до конца, так же как и северо-восточный пассат никогда не дует в полную силу, а оставляет себе резервы, которыми, однако, никогда не пользуется. Мартин не утратил своей способности к образному видению. Его мозг был как бы огромным складом воспоминаний и вымыслов, куда доступ был всегда открыт. Что бы ни произошло, воображение Мартина мгновенно извлекало из этого склада что-либо сходное или, наоборот, противоположное и воплощало в ярких образах. Делалось это совершенно непроизвольно, и каждому событию реальной жизни неизменно сопутствовали картины, создаваемые фантазией. Как тогда ревнивый блеск в глазах Руфи напомнил ему бурю при лунном свете, так теперь профессор Колдуэлл вызвал перед ним картину багряного в закатных лучах моря, по которому северо-восточный пассат гонит белые барашки волн. Так ежеминутно возникали перед ним различные видения и не только не нарушали хода его мыслей, но, напротив, делали его стройнее. Эти видения были отголоском всего того, что пережил некогда Мартин, всего, что он видел и вычитал из книг, и они постоянно, наяву и во сне, теснились в его мозгу.

И вот теперь, слушая плавную речь профессора Колдуэлла — речь умного и образованного человека,— Мартин невольно вспоминал свое прошлое. Он видел себя на заре своей юно-

сти, гулякой-парнем с размашистой походкой, в лихо заломленной стетсоновской шляпе и двубортной куртке, идеалом которого было бесшабашное озорство, насколько оно дозволялось полицией. Мартин и не пытался что-либо смягчать или сглаживать в этих воспоминаниях. Да, в известный период своей жизни он был самым обыкновенным забиякой, предводителем шайки, которая вечно воевала с полицией и терроризировала честных жителей рабочего квартала. Но теперь его идеалы изменились. Он поглядывал вокруг себя, на благовоспитанных и хорошо одетых мужчин и дам, вдыхал атмосферу утонченной культуры, а в это время призрак его юности в широкополой шляпе и двубортной куртке враскачку шел к нему по ковру гостиной. Ведь это он, озорной предводитель уличной шайки, превратился в того Мартина Идена, который сидит теперь в мягком кресле и мирно беседует с профессором университета.

В сущности говоря, Мартин так до сих пор и не нашел своего настоящего места в жизни. Он легко и быстро осваивался всюду, был всегда общим любимцем, потому что не отставал ни в работе, ни в игре, умел постоять за себя и внушить к себе уважение. Но никогда и нигде он не пускал корней. Вполне нравясь своим сотоварищам, сам он никогда не нравился себе. Его все время томила какая-то тревога, ему все время слышался голос, звавший куда-то, и он странствовал по жизни, не зная покоя, пока не нашел наконец книги, искусство и любовь. И вот теперь он сидит в этой светской гостиной — единственный из всего своего прежнего круга, кто запросто мог прийти в гости к таким людям, как Морзы.

Все эти размышления отнюдь не мешали Мартину внимательно слушать. Он видел, насколько обширны познания его собеседника, и время от времени чувствовал недостатки и пробелы в своем образовании, хотя благодаря Спенсеру ему все же были известны общие основы знания. Нужно было только время, чтобы заполнить пробелы. «Вот тогда потягаемся!» — думал он. Но пока он как бы сидел у ног профессора, благоговейно внимая всему, что тот изрекал. Однако постепенно Мартин начал замечать и слабую сторону суждений своего собеседника, которая чувствовалась при любом повороте разговора, хотя определить ее было и не так легко. И когда Мартин понял наконец, в чем заключается эта слабая сторона, у него сразу исчезло чувство неравенства.

Руфь подошла к ним вторично как раз в тот момент, когда Мартин начал говорить.

— Я скажу вам, в чем вы заблуждаетесь или, вернее, в чем слабость ваших суждений,— сказал он.— Вы пренебрегаете биологией. Она отсутствует в ваших концепциях. То есть я разумею подлинную, всепроникающую научную биологию, начиная с лабораторных опытов по оживлению неорганического вещества и кончая самыми широкими социологическими и эстетическими обобщениями.

Руфь была совершенно ошеломлена. Она в продолжение двух лет слушала лекции профессора Колдуэлла, и он казался ей живым кладезем мудрости.

— Я не совсем понимаю вас,— нерешительно сказал профессор.

— Попытаюсь объяснить,— произнес Мартин.— Помнится, я читал в истории Египта, что нельзя понять египетское искусство, не изучив предварительно характер страны.

— Совершенно верно,— согласился профессор.

— И вот мне кажется,— продолжал Мартин,— что, в свою очередь, характер страны нельзя изучать, если не знаешь прежде всего, из чего и как создавалась жизнь. Как мы можем понять законы, учреждения, нравы и религию, не зная людей, их создавших, не зная даже природы этих людей? А разве литература не такое же создание человека, как египетские храмы и статуи? Разве во вселенной существует что-нибудь, не подчиняющееся всемирному закону эволюции? Я знаю, что история эволюции отдельных искусств разработана, но мне кажется, что она разработана чисто механически. Человек остается при этом в стороне. Великолепно разработана эволюция инструментов — арфы, скрипки, эволюция музыки, танца, песни. Но что можно сказать об эволюции самого человека, о тех органах, которые развивались в нем, прежде чем он смастерил первый инструмент или пропел первую песню? Вот об этом-то вы забываете, а это именно я и называю биологией. Это биология в самом широком смысле слова. Я говорю довольно бессвязно, но мне хочется, чтобы вы поняли мою мысль. Она пришла мне в голову, пока вы говорили, и мне трудно сразу найти ей четкое выражение. Вы упомянули об ограниченности человека, мешающей ему охватить все стороны проблемы — все факторы. Вот вы как раз — по крайней мере, мне так кажется — упускаете биологический фактор, то есть именно то, на чем строится в конечном счете всякое искусство, основу основ всех человеческих дел и свершений.

К изумлению Руфи, Мартин не был мгновенно уничтожен, и профессор Колдуэлл даже отнесся внимательно к его словам,

очевидно, считаясь с молодостью собеседника. После недолгого молчания профессор начал говорить, поигрывая золотой цепочкой от часов.

— Вы знаете,— сказал он,— мне уже делал однажды подобные упреки один великий человек, ученый-эволюционист Жозеф Леконт. Но он умер, и я думал, что некому больше обличать меня, а вот теперь вижу в вашем лице нового обвинителя. Вероятно,— не могу не признать этого,— в ваших обвинениях есть доля истины, и даже очень большая доля. Я слишком ушел в классику и недостаточно следил за развитием естественных наук; быть может, это объясняется просто недостатком энергии и работоспособности. Вы, вероятно, очень удивитесь, если узнаете, что я никогда не был ни в одной физической или химической лаборатории. Однако это факт. Леконт был прав, так же как и вы, мистер Иден, хоть я и не знаю, насколько.

Под каким-то предлогом Руфь отвела Мартина в сторону и шепнула ему:

— Вы совсем завладели профессором Колдуэллом. Может быть, еще кто-нибудь хочет побеседовать с ним.

— Простите,— смущенно пробормотал Мартин,— я заставил его разговориться, и это оказалось настолько интересно, что я забыл о других. Просто мне до сих пор не приходилось встречать такого умного и образованного собеседника. И, между прочим, знаете что? Я прежде думал, что все, кто окончил университет или занимает важное общественное положение, так же умны и образованны...

— Он человек исключительный,— возразила Руфь.

— Очевидно. С кем же вы хотите, чтобы я поговорил теперь? Вот что, сведите меня с этим Хэпгудом.

Мартин беседовал с главным бухгалтером минут пятнадцать, и Руфь не могла нарадоваться на своего возлюбленного. Его глаза ни разу не засверкали, щеки ни разу не вспыхнули, и Руфь изумлялась спокойствию, с каким он вел беседу. Но зато в глазах Мартина сословие банковских деятелей потеряло всякий престиж, и под конец вечера у него сложилось убеждение, что банковский деятель — синоним пошляка. Армейский офицер оказался очень добродушным, здоровым и уравновешенным человеком, вполне довольным своей судьбой. Узнав, что он тоже учился в университете целых два года, Мартин был очень удивлен и никак не мог понять, куда же делись все его познания. Но все же офицер понравился Мартину гораздо больше, чем Чарльз Хэпгуд.

— Меня не пошлости его возмущают,— говорил потом Мартин Руфи,— меня злит тот напыщенный, самодовольный, снисходительный тон, которым эти пошлости изрекаются. А сколько времени на это уходит! Я мог бы изложить всю историю Реформации, пока этот делец объяснял мне, что рабочая партия слилась с демократической. Слова для него все равно, что карты для профессионального игрока в покер. Когда-нибудь я вам покажу это на примере.

— Мне очень жаль, что он вам не понравился,— отвечала Руфь.— Он любимец мистера Бэтлера. Мистер Бэтлер говорит, что это самый честный и надежный человек; он называет его скалой, камнем, который может служить надежной опорой для любого банковского учреждения.

— Я в этом и не сомневаюсь, даже судя по тому немногому, что я от него слышал. Но я утратил теперь всякое уважение к банкам. Вы не сердитесь, дорогая, что я так прямо высказываю свое мнение?

— Нисколько! Это очень интересно.

— Да,— подтвердил Мартин,— ведь я варвар, получающий первые впечатления от цивилизации. Цивилизованному человеку эти мои впечатления должны, несомненно, показаться очень любопытными.

— А что вы скажете о моих кузинах? — спросила Руфь.

— Они мне понравились больше других женщин. Очень веселые и держатся просто, без претензий.

— Значит, другие женщины вам тоже понравились?

Мартин покачал головой.

— Эта общественная деятельница — просто попугай, болтающий о социальных проблемах. Готов поклясться, что если б выпотрошить ее мозг, в нем не нашлось бы ни одной самостоятельной идеи. Портретистка невыносимо скучна. Вот была бы отличная пара для Хэпгуда. А уж музыкантша! Не знаю, может быть, у нее великолепная техника, и беглость, и туше,— но только в музыке она ничего не смыслит.

— Но ведь она превосходно играет,— попробовала протестовать Руфь.

— Да, играет она как будто виртуозно, но истинная сущность музыки ей совершенно недоступна. Я спросил, какой внутренний смысл находит она в музыке,— вы знаете, меня всегда интересует этот вопрос,— и она ничего не могла ответить, кроме того, что она обожает музыку, что музыка — величайшее из всех искусств, что музыка для нее дороже жизни.

— Вы всех заставили говорить на профессиональные темы,— сказала Руфь с упреком.

— Не отрицаю. Но уж если они и тут не могли сказать ничего путного, то вообразите мои мучения, если бы они стали разговаривать на какие-нибудь общие темы. А я-то думал, что здесь, где люди пользуются всеми преимуществами культуры...— Мартин на секунду умолк: он снова увидел, как в комнату раскачивающейся походкой вошел парень в стетсоне и двубортной куртке.— Да, а я-то думал раньше, что здесь все так и блещут умом и знаниями. Но из своего недолгого общения с ними я уже могу сделать вывод: большинство этих людей — круглые невежды, а девяносто процентов остальных невыносимо скучны. Вот профессор Колдуэлл — это совсем другое дело. Он настоящий человек, весь до последней клеточки своего мозгового вещества.

Руфь просияла.

— Расскажите мне о нем,— сказала она,— не о его блестящих качествах,— я и так их прекрасно знаю,— а о том, что вам в нем не понравилось. Мне очень интересно знать.

— А вдруг я попаду впросак,— шутливо протестовал Мартин,— расскажите сначала вы. Или вы в нем видите только одно хорошее?

— Я прослушала у него два курса лекций и знаю его больше двух лет, потому-то мне и интересно ваше впечатление.

— В особенности — отрицательное? Ну что же, извольте! Я думаю, что он вполне заслуживает вашего восхищения и уважения. Это самый умный и развитой человек, которого я когда-либо встречал, но у него не спокойна совесть. О, не подумайте чего-нибудь дурного! — воскликнул Мартин.— Я хочу сказать, что он производит впечатление человека, который заглянул в глубь вещей и так напугался, что самого себя хочет уверить в том, что ничего не видел. Может быть, я не ясно выразил свою мысль? Попытаюсь объяснить иначе. Вообразите себе человека, который нашел тропу к скрытому в чаще храму и не пошел по ней. Он, может быть, даже видел мельком и самый храм, но потом убедил себя, что это был просто мираж. Или вот еще. Человек мог бы совершить прекрасный поступок, но не счел это нужным и теперь все время жалеет, что не сделал того, что мог сделать. В глубине души он смеется над наградой, которую мог получить за свои деяния, но где-то еще глубже тоскует по этой награде и по великой радости свершения.

— Я его таким не воспринимаю,— сказала Руфь,— и, откровенно говоря, я все-таки не совсем понимаю, что вы хотите сказать.

— Потому что я сам еще до конца не разобрался,— говорил Мартин, как бы оправдываясь,— и не могу обосновать логически. Это только чувство, и очень может быть, оно меня обманывает. Вы, наверное, знаете профессора Колдуэлла лучше меня.

Этот вечер у Морзов вызвал у Мартина странные и противоречивые чувства. Он несколько разочаровался в своих намерениях, разочаровался в людях, до уровня которых хотел подняться. С другой стороны, успех ободрил его. Подняться оказалось легче, чем он думал. Мартин не только преодолел трудности подъема, но (он не старался из ложной скромности скрыть это от себя) оказался выше тех, с кем старался сравняться, исключая, разумеется, профессора Колдуэлла. И жизнь и книги он знал гораздо лучше, чем все эти люди, и мог только недоумевать, в какие углы и подвалы запрятали они свое образование. Ему пока не приходило в голову, что он наделен исключительным умом, не знал он и того, что истинных и глубоких мыслителей нужно искать никак не в гостиных Морзов; что эти мыслители подобны орлам, одиноко парящим в небесной лазури, высоко над землею, вдали от суеты и пошлости обыденной жизни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Удача потеряла адрес Мартина Идена, и посланцы ее больше не стучались к нему в дверь. Двадцать пять дней, не отдыхая даже по воскресеньям и праздникам, Мартин работал над «Позором солнца» — большой статьей, почти в тридцать тысяч слов. Это была хорошо продуманная атака на мистицизм школы Метерлинка,— вылазка из цитадели позитивных знаний, направленная против фантазеров, мечтающих о чудесах; правда, и в самой статье содержались элементы чудесного, но только такого, что не противоречило фактам. К этой большой статье Мартин немного позже присоединил две небольших: «Жрецы чудесного» и «Мерило нашего «я». И все три отправились путешествовать по редакциям за его счет.

За двадцать пять дней, потраченных на «Позор солнца», Мартину удалось продать на шесть с половиной долларов своих «доходных» произведений. За одну вещицу он получил пятьдесят центов, за другую, посланную в юмористический еженедельник,— целый доллар. Кроме того, были проданы еще два юмористических стихотворения, одно за два, другое за три доллара. В конце концов, исчерпав свой кредит (хотя бакалейщик увеличил его до пяти долларов), Мартин опять вынужден был

снести в заклад велосипед и пальто. За прокат пишущей машинки снова требовали денег, напоминая Мартину, что по условию он обязан платить за месяц вперед.

Ободренный сбытом нескольких мелочей, Мартин решил вновь заняться «ремесленничеством». Может быть, на это все-таки удастся жить. У него под столом было сложено десятка два небольших рассказов, отвергнутых литературными агентствами. Мартин перечитал их, чтобы уяснить себе, как не надо писать газетные рассказы, и, таким образом, выработать идеальную формулу. Он установил, что газетный рассказ не должен содержать трагического элемента, не должен иметь плохой конец и не должен отличаться ни красотой слога, ни оригинальностью мысли, ни утонченностью чувств. Но чувства в нем должны быть непременно, даже в избытке и притом самые возвышенные и благородные, вроде тех, которые заставляли его некогда аплодировать с галерки ура-патриотическим мелодрамам и пьесам на тему «хоть беден, да честен».

Уяснив себе это, Мартин принялся за изготовление рассказов по выработанной им формуле. Формула была трехчленная: 1) двум влюбленным приходится *разлучиться;* 2) благодаря какому-то событию они соединяются снова; 3) звон свадебных колоколов. Третий член был постоянной величиной, но первый и второй могли варьироваться бесконечно. Разлучить влюбленных могло роковое недоразумение, стечение обстоятельств, ревнивые соперники, жестокие родители, хитрые опекуны и т. д. и т. п.; соединить их мог какой-нибудь доблестный поступок влюбленного или влюбленной, вынужденное либо добровольное согласие опекуна, родителей или соперников, неожиданное разоблачение какой-нибудь тайны, самопожертвование влюбленного — и так далее, до бесконечности. Очень эффектно было заставить девушку сделать первый шаг, и еще много других эффектных приемов и ловких трюков придумал Мартин, разрабатывая эту тему. Одним только не мог он распоряжаться по своему усмотрению: в конце каждого рассказа непременно должны были звонить свадебные колокола, хотя бы небеса рухнули или земля разверзлась. Дозировка была также совершенно точная: максимум — полторы тысячи слов, и минимум — тысяча двести.

Прежде чем окончательно овладеть искусством сочинения подобных рассказов, Мартину пришлось выработать пять или шесть схем, и с ними он всегда соообразовывался в процессе писания. Это было вроде тех математических таблиц, которые можно читать сверху, снизу, справа налево, слева направо и с помощью которых можно без всякого умственного напряже-

ния получать какие угодно решения, всегда одинаково правильные и точные. По этим схемам Мартин в полчаса набрасывал штук десять сюжетов, которые откладывал и затем в свободное время обрабатывал. Обычно он делал это перед сном, после целого дня серьезной работы. Впоследствии он признавался Руфи, что мог сочинять такие рассказы даже во сне. Главная работа — составить схему, остальное все делалось чисто механически.

Мартин Иден не сомневался в универсальности своей формулы и, посылая первые два рассказа, был уверен, что они принесут ему деньги. И в самом деле, дней через десять Мартин получил два чека, на четыре доллара каждый.

Тем временем он сделал новые печальные открытия, касающиеся журналов. «Трансконтинентальный ежемесячник» напечатал его «Колокольный звон», но чека не прислал. Мартин очень нуждался в деньгах и написал в редакцию. Вместо чека он получил уклончивый ответ и просьбу прислать еще что-нибудь. Проголодав два дня, Мартин принужден был опять заложить велосипед. Регулярно два раза в неделю он напоминал «Ежемесячнику» о своих пяти долларах, но, по-видимому, первый ответ был получен по чистой случайности. Мартин не знал, что «Ежемесячник» уже в течение нескольких лет едва сводит концы с концами, что он не имеет ни подписчиков, ни покупателей и существует только объявлениями, которые ему даются скорее всего из чисто благотворительских соображений. Не знал он и того, что «Ежемесячник» является единственным источником дохода для издателя и редактора и что этот доход они ухитряются извлекать лишь благодаря тому, что систематически не платят авторам. Разве мог Мартин подозревать, что на его пять долларов издатель выкрасил свой дом в Аламеде, и выкрасил его сам, так как ему была не по карману плата, установленная союзом маляров, а первый же нанятый им штрейкбрехер свалился с лестницы, которую кто-то нарочно подтолкнул, и его отвезли в больницу со сломанной ногой.

Не получил Мартин и десяти долларов за очерк «Искатели сокровищ», принятый чикагской газетой. Очерк был напечатан, в этом он убедился, просмотрев комплект газеты в городской читальне, но никакого ответа от издателя он добиться не смог. Его письма оставляли без внимания. Желая быть уверенным в том, что они доходят по назначению, Мартин отправлял их заказными. Это грабеж, решил он, хладнокровный грабеж среди белого дня,— он голодает, а у него крадут его товар, его единственную возможность заработать на кусок хлеба.

Еженедельник «Юность и зрелость» напечатал две трети его повести в двадцать одну тысячу слов, после чего вдруг перестал выходить. Таким образом, пропала всякая надежда на получение шестнадцати долларов.

В довершение всего «Котел», который он считал своим лучшим рассказом, пропал зря. В отчаянии, перебрав множество журналов, Мартин послал его в Сан-Франциско, в журнал «Волна». Выбрал он этот журнал лишь потому, что можно было быстро получить ответ: редакция была близко, на другом берегу залива. Недели через две он с радостью увидел свой рассказ напечатанным на видном месте да еще с иллюстрациями. Вернувшись домой со сладко бьющимся сердцем, Мартин старался угадать, сколько заплатят ему за этот лучший его рассказ. Его радовала та быстрота, с которой рассказ был принят и напечатан. Правда, издатель не уведомил его о принятии рукописи, но тем приятнее был неожиданный сюрприз. Прождав неделю, две и еще несколько дней, Мартин, поборов ложный стыд, написал редактору «Волны», высказывая предположение, что его маленький счет был забыт по недосмотру управляющего делами.

«Даже если мне заплатят всего пять долларов,— размышлял Мартин,— и то я смогу купить на эти деньги бобов и гороху и напишу еще с полдюжины таких же рассказов».

Наконец, пришел ответ, который привел Мартина в восторг своей великолепной наглостью:

«Мы очень благодарны вам за ваш прекрасный рассказ. Мы все в редакции с наслаждением читали его и, как видите, напечатали на почетном месте. Надеемся, что вам понравились иллюстрации.

Как видно из вашего письма, вы рассчитываете на авторский гонорар. К сожалению, у нас не принято платить за произведения, написанные не по нашему заказу, а ваш рассказ заказан не был. Принимая его к печати, мы, разумеется, полагали, что это условие вам известно. Нам остается только пожалеть, что произошло такое печальное недоразумение. Еще раз благодарим вас и надеемся получить от вас еще что-нибудь. Примите и проч.».

В постскриптуме было сказано, что хотя, как правило, «Волна» никому бесплатно не высылается, тем не менее редакция считает для себя за честь включить Мартина Идена в число подписчиков на следующий год.

После этого печального опыта Мартин всегда подписывал на первом листе каждой рукописи: «Оплата по вашей обычной ставке».

«Когда-нибудь,— утешал он себя,— они будут мне платить по *моей* обычной ставке!»

Мартина в этот период времени охватила горячка самосовершенствования, и он без конца исправлял и переделывал «Веселую улицу», «Вино жизни», «Радость», «Песни моря» и другие свои ранние произведения. Ему по-прежнему не хватало девятнадцатичасового рабочего дня. Он усердно писал и читал, стараясь трудом заглушить муки курильщика, отказавшегося от долгой привычки. Средство, присланное Руфью, он засунул в самый дальний угол ящика письменного стола. Особенно трудно было обходиться без табака во время голодовок; как он ни старался подавить желание курить, оно не проходило. Мартин считал это своим величайшим подвигом, а Руфь находила, что он поступает правильно, и только. Она купила ему обещанное средство из денег, которые получала на булавки, и через несколько дней совершенно забыла об этом.

Мартин ненавидел свои написанные по схеме рассказы, смеялся над ними, но как раз они-то неизменно находили сбыт. Благодаря им он расплатился с долгами и даже купил новые велосипедные шины. Эти рассказы кормили и поили его, и у него еще оставалось время для серьезной работы. Кроме того, Мартина постоянно окрыляло воспоминание о сорока долларах, полученных от «Белой мыши». Как знать, может быть, и другие первоклассные журналы платят неизвестным авторам столько же, а может быть, и еще больше. Но задача состояла в том, чтобы проникнуть в эти первоклассные журналы. Они последовательно отвергали все его лучшие рассказы и стихи, а между тем из номера в номер печатали десятки безвкусных и пошлых вещей.

«Если бы кто-нибудь из этих важных издателей,— думал иногда Мартин,— снизошел и написал мне хоть одну ободряющую строчку! Может быть, мое творчество слишком необычно, может быть, оно им не подходит по различным соображениям, но неужели нет в моих произведениях ничего, что могло бы хоть вызвать желание ответить!»

И вот Мартин снова брал «Приключение» или другой такой же рассказ и в сотый раз перечитывал его, стараясь угадать причину молчания издателей.

С наступлением теплой калифорнийской весны для Мартина кончился период благоденствия. В течение нескольких недель его тревожило непонятное молчание литературного агентства. Наконец, в один прекрасный день ему вернули сразу десять его сделанных по схеме рассказов. При них было сопрово-

дительное письмо, оповещавшее Мартина о том, что агентство завалено материалом и раньше чем через несколько месяцев не может принять ни одной новой рукописи. А Мартин, рассчитывая на эти десять рассказов, был в последнее время даже расточителен. Агентство обычно платило ему по пять долларов за рассказ и до сих пор не отвергло ни одного; поэтому Мартин вел себя так, как если бы у него на текущем счету уже лежало пятьдесят долларов. Таким образом, для него сразу наступил период тяжелых испытаний, и он снова начал с отчаянием рассылать свои старые рассказы по мелким изданиям, которые их печатали, но не платили, а новые отправлял в солидные журналы, которые и не платили и не печатали. Он возобновил посещения закладной лавки. Несколько шуточных стихотворений, принятые нью-йоркскими еженедельниками, дали ему возможность кое-как перебиться. Тогда он решился и написал во все крупные журналы: почему не печатают его произведения? Ему ответили, что рукописи, поступающие самотеком, обычно не рассматриваются, что большая часть публикуемого материала пишется по заказу журналов авторами, которые уже имеют имя и опыт.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Это было тяжелое лето для Мартина Идена. Редакторы и рецензенты разъехались на отдых, и рукописи, возвращавшиеся обычно через три недели, теперь валялись в редакциях по три месяца. Единственным утешением было то, что не приходилось тратиться на марки. Только пиратские журнальчики продолжали жить интенсивной жизнью. И Мартин послал им все свои ранние произведения: «Ловцов жемчуга», «Профессию моряка», «Ловлю черепах», «Северо-восточный пассат». Ни за одну из этих рукописей ему не было уплачено. Правда, после шестимесячной переписки Мартин получил в качестве гонорара за «Ловлю черепах» безопасную бритву, а за «Северо-восточный пассат» «Акрополь» обещал ему пять долларов и пять годовых подписок, но исполнил лишь вторую часть обещания.

За сонет о Стивенсоне Мартину удалось выжать два доллара из тощего кошелька одного бостонского издателя с утонченным вкусом, но ограниченными возможностями. «Пери и жемчуг», остроумная сатирическая поэма в двести строк, только что законченная Мартином, очень понравилась редактору одного журнала в Сан-Франциско, издававшегося на средства крупной железнодорожной компании. Редактор предложил Мартину в

уплату за поэму даровой проезд по железной дороге. Мартин запросил, может ли он передать это право другому лицу. Узнав, что передавать право на даровой проезд нельзя и, следовательно, нет надежды заработать на этом, Мартин потребовал возврата рукописи. Он ее вскоре получил вместе с письменными сожалениями редактора по поводу того, что поэму не пришлось напечатать. Мартин снова отправил ее в Сан-Франциско, на этот раз в журнал под названием «Шершень», когда-то основанный блестящим журналистом, сумевшим быстро раздуть его популярность. К несчастью, звезда «Шершня» начала меркнуть еще задолго до рождения Мартина. Редактор предложил Мартину за поэму пятнадцать долларов, но когда поэма была напечатана, по-видимому, забыл о своем обещании. Не получив ответа на многие запросы, Мартин написал, наконец, резкое письмо и получил от нового редактора холодное извещение, что он не отвечает за ошибки своего предшественника и что сам он весьма невысокого мнения о поэме «Пери и жемчуг».

Но хуже всего поступил с Мартином чикагский журнал «Глобус». После долгих колебаний Мартин все-таки решил напечатать «Песни моря», чтобы не умереть с голоду. Отвергнутые десятком журналов, стихи эти обрели наконец тихую пристань в редакции «Глобуса». В цикле было тридцать стихотворений, и Мартин должен был получить по доллару за каждое. В первый же месяц были напечатаны четыре стихотворения, и Мартин незамедлительно получил чек на четыре доллара; но, заглянув в журнал, он ужаснулся. Заглавия стихотворений были изменены: вместо «Finis» было напечатано «Финиш» [1], вместо «Песня одинокого утеса» стояло «Песня кораллового утеса». Одно заглавие было просто заменено другим, совершенно неподходящим: вместо «Свет медузы» редактор написал «Обратный путь». Самые стихи подверглись еще большим искажениям. Мартин скрежетал зубами и рвал на себе волосы. Фразы, строчки, целые строфы были выпущены, спутаны, переставлены так, что иногда ничего нельзя было понять. Некоторые строчки были просто заменены чужими. Мартин не мог представить себе, что здравомыслящий редактор может быть повинен в подобных злодействах, и решил, что это проделки какого-либо типографского курьера или переписчика. Мартин немедленно потребовал прекратить печатание и вернуть ему рукопись, он писал письмо за письмом, умоляя, требуя, угрожая. Но все его письма были

[1] Finis *(лат.)* — конец; финиш *(англ.)* — конечный пункт пробега в спорте.

оставлены без внимания. Ежемесячно появлялись эти исковерканные стихи, и ежемесячно Мартин получал чек.

Во всех этих неудачах Мартина утешало воспоминание о сорока долларах «Белой мыши», но он все больше и больше времени отдавал сочинению доходных мелочей. Он неожиданно нашел «хлебное место» в сельскохозяйственных и торговых журналах, попробовал даже иметь дело с религиозным еженедельником, но понял, что тут ему обеспечена голодная смерть.

В самый критический момент, когда снова был заложен черный костюм, Мартину вдруг повезло на конкурсе, объявленном окружным комитетом республиканской партии. Собственно, это был даже не один конкурс, а три, и Мартин во всех трех оказался победителем. Он горько смеялся над самим собою, над тем, что ему приходится выкручиваться подобными способами. Его поэма удостоилась первой премии в десять долларов, его агитационная песня получила вторую премию в пять долларов и, наконец, статья о задачах республиканской партии получила опять-таки первую премию в двадцать пять долларов. Он радовался, пока не пришло время получать деньги. Что-то, видно, случилось в комитете, и хотя среди его членов был один банкир и один сенатор, денег у комитета не оказалось. Пока продолжалась волокита, Мартин доказал, что не хуже разбирается в задачах демократической партии, получив первую премию за статью, написанную для такого же конкурса. Мало того, здесь он даже получил свои двадцать пять долларов. Сорока долларов, следуемых по республиканскому конкурсу, он так и не увидел.

Чтобы встречаться с Руфью, Мартин вынужден был пуститься на хитрость. Так как путь пешком от Северного Окленда до дома Морзов и обратно отнимал слишком много времени, то Мартин решил выкупить велосипед, а черный костюм оставить в закладе. Поездки к Руфи на велосипеде сберегали время и служили прекрасным физическим упражнением. Кроме того, короткие парусиновые брюки и старый свитер могли отлично сойти за велосипедный костюм. Мартин стал снова совершать послеобеденные прогулки вдвоем с Руфью. У них дома ему теперь почти не удавалось перемолвиться с нею словом, ибо миссис Морз продолжала осуществлять свой план светских развлечений. Избранное общество, которое Мартин встречал в гостиной Морзов и на представителей которого он еще недавно смотрел с уважением, теперь раздражало его. Оно уже не казалось ему избранным. Тяжелая жизнь, напряженная работа и постоянные неудачи сделали Мартина нервным и раздражительным,

и болтовня этих людей приводила его в бешенство. Это не было чрезмерное самомнение. Людей он судил, сравнивая их с великими мыслителями, чьи книги читал с таким благоговением. В доме Руфи он не встретил пока ни одного по-настоящему умного человека, за исключением профессора Колдуэлла, который, впрочем, больше там не показывался. Все остальные были жалкие догматики, ничтожные людишки с ничтожными мыслями. Их невежество поражало Мартина. Почему они все так невежественны? Где они растеряли свои знания? Ведь они читали те же книги, что и он. Как могло случиться, что эти книги ничему не научили их?

Мартин знал, что великие умы, настоящие, глубокие мыслители существуют. Лучшим тому доказательством были книги, которые помогли ему возвыситься над средою Морзов. И он знал, что даже в так называемом «обществе» можно встретить людей умней и куда интересней всех тех, которые заполняли гостиную Морзов. Мартин читал английские романы, персонажи которых спорили в светских гостиных на политические и философские темы. Он знал, что в больших городах, не только английских, но даже американских, существуют салоны, где сходятся представители искусства и научной мысли. Раньше он по глупости воображал, что каждый хорошо одетый человек, не принадлежавший к рабочему сословию, обладает тонким умом и чувством прекрасного. Крахмальный воротничок казался ему признаком культуры, и он не знал, что университетский диплом и истинное образование далеко не одно и то же.

Ну что ж! Он будет прокладывать себе дорогу наверх. И Руфь он поведет за собою. Мартин горячо любил ее и был уверен, что она повсюду будет блистать. Он теперь понимал, что среда, в которой Руфь выросла, во многом мешала ей, так же как ему, Мартину, мешала в свое время его среда. До сих пор у нее не было возможности по-настоящему расширить свой кругозор. Книги в кабинете ее отца, картины на стенах, ноты на рояле — все это было лишь показное, внешнее. К настоящей литературе, настоящей живописи, настоящей музыке Морзы и все их знакомые были слепы и глухи. Но еще важнее была жизнь, о которой они и вовсе не имели никакого представления. Они называли себя унитариями, носили маску умеренного вольнодумства и при всем том отстали, по крайней мере, на два века от позитивной науки; они мыслили по-средневековому, а их взгляды на мироздание и на происхождение жизни представляли собой чистейшую метафизику, столь же древнюю, как пещерный век, и даже древнее. Это была та самая метафизика, которая за-

«Мартин Иден»

ставляла первого, обезьяноподобного человека бояться темноты, первых иудеев привела к мысли о происхождении Евы из Адамова ребра, Декарту внушила идеалистическое представление о мире как проекции его собственного ничтожного «я», а одного знаменитого английского священника побудила осмеять эволюцию в уничтожающей сатире, которая вызвала бури восторга и запечатлела его имя в виде жирной каракули на страницах истории.

Чем больше Мартин размышлял, тем сильнее крепло в нем убеждение, что вся разница между этими адвокатами, офицерами, дельцами, банкирами, с одной стороны, и людьми рабочего сословия — с другой, основана на том, что они по-разному живут, едят и одеваются. Им одинаково не хватало того самого главного, что он находил в книгах и чувствовал в себе. Морзы показали Мартину сливки своего общества, и он не пришел от них в восхищение. Нищий раб ростовщика, он все же был на голову выше тех, кого встречал в гостиной у Морзов. А когда Мартин выкупил из заклада свой единственный костюм, в обществе этих людей он стал неизменно испытывать чувство оскорбленного достоинства, точно принц, вынужденный жить среди пастухов.

— Вы ненавидите и боитесь социалистов,— сказал он однажды за обедом мистеру Морзу,— но почему? Вы ведь не знаете ни их самих, ни их взглядов.

Разговор о социализме возник после того, как миссис Морз пропела очередной дифирамб мистеру Хэпгуду. Мартин не выносил этого самодовольного пошляка, и всякое упоминание о нем выводило его из равновесия.

— Да,— сказал Мартин,— Чарли Хэпгуд подает большие надежды, об этом все говорят, и это правда. Я думаю, что он еще задолго до смерти сядет в губернаторское кресло, а то и сенатором Соединенных Штатов сделается.

— Почему вы так думаете? — спросила миссис Морз.

— Я слушал его речь во время предвыборной кампании. Она была так умно-глупа и банальна и в то же время так убедительна, что лидеры должны считать его абсолютно надежным и безопасным человеком, а пошлости, которые он говорит, вполне соответствуют пошлости рядового избирателя. Всякому лестно услышать с трибуны свои собственные мысли, приглаженные и приукрашенные.

— Мне положительно кажется, что вы завидуете мистеру Хэпгуду,— сказала Руфь.

— Боже меня упаси!

На лице у Мартина был написан такой ужас, что миссис Морз настроилась на воинственный лад.

— Не хотите же вы сказать, что мистер Хэпгуд глуп? — спросила она ледяным тоном.

— Не глупее рядового республиканца,— возразил Мартин,— или рядового демократа. Они все или хитры, или глупы, причем хитрых меньшинство. Единственные умные республиканцы — это миллионеры и их сознательные прислужники. Этито отлично знают, где жареным пахнет.

— Вот я республиканец,— сказал с улыбкой мистер Морз,— интересно, как вы меня классифицируете?

— Вы бессознательный прислужник.

— Прислужник?!

— Ну, разумеется. Вы ведь работаете на корпорацию. У вас нет клиентуры среди рабочих, и уголовных дел вы тоже не ведете. Ваш доход не зависит от мужей, избивающих своих жен, или от карманных воров. Вы питаетесь за счет людей, играющих главную роль в обществе; а всякий человек служит тому, кто его кормит. Конечно, вы прислужник! Вы заинтересованы в защите интересов тех капиталистических организаций, которым вы служите.

Мистер Морз слегка покраснел.

— Должен вам заметить, сэр,— сказал он,— что вы говорите, как самый заядлый социалист.

Вот тогда-то Мартин и сделал свое замечание по поводу социализма.

— Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы не знаете ни их самих, ни их взглядов.

— Ну, ваши взгляды во всяком случае совпадают со взглядами социалистов,— возразил мистер Морз.

Руфь с тревогой поглядывала на собеседников, а миссис Морз радовалась в душе, что Мартин навлекает на себя немилость главы дома.

— Если я называю республиканцев глупыми и говорю, что свобода, равенство и братство — лопнувшие мыльные пузыри, то из этого еще не следует, что я социалист,— сказал Мартин, улыбаясь.— Если я не согласен с Джефферсоном и с тем ненаучно мыслившим французом, который влиял на его мировоззрение, то опять-таки этого недостаточно, чтобы называться социалистом. Уверяю вас, мистер Морз, что вы гораздо ближе меня к социализму; я ему, в сущности, заклятый враг.

— Вы, конечно, изволите шутить? — холодно спросил мистер Морз.

— Ничуть. Я говорю совершенно серьезно. Вы верите в равенство, а сами служите капиталистическим корпорациям, которые только и думают о том, как бы похоронить это равенство. А меня вы называете социалистом только потому, что я отрицаю равенство и утверждаю как раз тот принцип, который вы, в сущности говоря, доказываете всей своей деятельностью. Республиканцы — самые лютые враги равенства, хотя они и провозглашают его где только возможно. Во имя равенства они уничтожают равенство. Поэтому-то я говорю, что они глупы. А я индивидуалист. Я верю, что в беге побеждает быстрейший, а в борьбе сильнейший. Эту истину я почерпнул из биологии, или, по крайней мере, мне так кажется. Повторяю, что я индивидуалист, а индивидуалисты — вечные, исконные враги социалистов.

— Однако вы бываете на социалистических митингах,— раздраженно произнес мистер Морз.

— Конечно. Так же, как лазутчик бывает во вражеском лагере. Как же иначе изучить противника? А кроме того, мне очень весело на этих митингах. Социалисты — прекрасные спорщики, и хорошо ли, плохо ли, но они многое читали. Любой из них знает о социологии и о всяких других «логиях» гораздо больше, чем рядовой капиталист. Да, я раз десять бывал на социалистических митингах, но от этого не стал социалистом, так же как от разглагольствований Чарли Хэпгуда не стал республиканцем.

— Не знаю, не знаю,— нерешительно сказал мистер Морз,— но мне почему-то кажется, что вы все-таки склоняетесь к социализму.

«Черт побери,— подумал Мартин,— он не понял ни одного слова! Точно я говорил с каменной стеной! Куда же делось все его образование?»

Так на своем пути Мартин столкнулся лицом к лицу с моралью, основанной на экономике,— классовой моралью; и вскоре она сделалась для него настоящим пугалом. Его собственная мораль опиралась на интеллект, и моральный кодекс окружающих его людей раздражал его даже больше, чем их напыщенная пошлость; это была какая-то удивительная смесь экономики, метафизики, сентиментальности и подражательности.

Образчик этой курьезной смеси Мартину неожиданно пришлось встретить в поведении своих близких. Его сестра Мэриен познакомилась с одним трудолюбивым молодым немцем, механиком, который, основательно изучив свое ремесло, открыл велосипедную мастерскую; кроме того, он взял представительство

по продаже дешевых велосипедов и зажил очень недурно. Мэриен, зайдя к Мартину, сообщила ему о своей помолвке, а потом шутя взяла его за руку и стала по линиям ладони предсказывать его судьбу.

В следующий раз она привела с собою и Германа Шмидта. Мартин поздравил обоих в самых изысканных выражениях, что, по-видимому, не слишком понравилось туповатому жениху. Дурное впечатление еще усилилось, когда Мартин прочел стихи, написанные им после прошлого посещения Мэриен. Это было изящное стихотворение, посвященное сестре и названное «Гадалка». Прочтя его вслух, Мартин был очень удивлен, что гости не выразили никакого удовольствия. Напротив, глаза сестры с тревогой устремились на жениха, на топорной физиономии которого были ясно написаны досада и раздражение. Инцидент, впрочем, был этим исчерпан, гости скоро ушли, и Мартин забыл о нем, хотя ему было непонятно, как могла женщина, хотя бы и из рабочего сословия, не почувствовать себя польщенной, что в ее честь написаны стихи.

Через несколько дней Мэриен снова зашла к Мартину, на этот раз одна. Едва успела она войти, как начала горько упрекать его за неуместный поступок.

— В чем дело, Мэриен? — спросил Мартин с удивлением.— Ты говоришь таким тоном, словно стыдишься своих родных или, по крайней мере, своего брата!

— Конечно, стыжусь,— объявила она.

Мартин был окончательно сбит с толку, увидев слезы обиды в ее глазах. Обида, во всяком случае, была искренняя.

— Неужели твой Герман ревнует из-за того, что брат написал о сестре стихи?

— Он вовсе не ревнует,— всхлипнула она,— он говорит, что это неприлично, непри... непристойно.

Мартин недоверчиво свистнул, полез в ящик и достал экземпляр «Гадалки».

— Не понимаю,— сказал он, передавая листок сестре,— прочти сама и скажи, что тут непристойного? Ведь ты так сказала?

— Раз он говорит, значит есть,— возразила Мэриен, с отвращением отстраняя бумагу.— Он требует, чтобы ты разорвал это. Он не хочет, чтобы про его жену писали подобные вещи, и так, чтоб всякий мог прочитать. Он говорит, что это срам... и он этого не потерпит.

— Но послушай, Мэриен, это же просто глупо,— начал было Мартин, но передумал.

Перед ним сидела несчастная девушка, которую невозможно было переубедить так же, как и ее жениха. Сознавая всю нелепость случившегося, Мартин тем не менее решил покориться.

— Ладно,— сказал он и, разорвав рукопись на мелкие кусочки, бросил их в корзинку.

Его утешала мысль, что оригинал «Гадалки» уже лежит в редакции одного из нью-йоркских журналов. Мэриен и ее супруг никогда не узнают этого, и ни они, ни он, ни мир не пострадают от того, что невинное маленькое стихотворение будет напечатано.

Мэриен нерешительно потянулась к корзине.

— Можно? — спросила она.

Мартин кивнул головой и молча глядел, как сестра собирала и прятала в карман кусочки разорванной рукописи — вещественное доказательство удачно выполненной миссии. Мэриен чем-то напоминала Мартину Лиззи Конолли, хотя ей не хватало того огня и жизненного задора, которыми полна была молоденькая работница, встреченная им в театре. Но у них было много общего — в одежде, в манерах, в поведении. Мартин не мог удержаться от улыбки, представив себе вдруг этих девушек в гостиной Морзов. Но забавная картина исчезла, и чувство бесконечного одиночества охватило Мартина. И его сестра, и гостиная Морзов были только вехами на его пути. Все это уже осталось позади. Мартин с любовью поглядел на свои книги. Это были его единственные, всегда верные товарищи.

— Как? Что ты сказала? — вдруг переспросил он в изумлении.

Мэриен повторила свой вопрос.

— Почему я не работаю? — Мартин засмеялся, но смех его звучал не слишком искренне.— Это твой Герман велел спросить?

Мэриен отрицательно покачала головой.

— Не лги,— строго сказал Мартин, и она смущенно опустила голову.— Так скажи своему Герману, чтобы он не лез не в свои дела. Еще когда я пишу стихи, посвященные его невесте, это, пожалуй, его касается, но дальше пусть он не сует своего носа. Поняла? Ты думаешь, стало быть, что из меня не выйдет писателя? — продолжал он.— Ты считаешь, что я сбился с пути, что я позорю свою семью? Да?

— Я считаю, что тебе бы лучше подыскать себе какую-нибудь работу,— твердо сказала Мэриен, и Мартин видел, что она говорит искренне.— Герман находит...

— К черту Германа! — добродушно прервал ее Мартин.— Ты мне лучше скажи, когда ваша свадьба. И спроси своего Гер-

мана, соблаговолит ли он разрешить тебе принять от меня свадебный подарок.

После ее ухода Мартин долго думал об этом инциденте, горько усмехаясь. Да, все они — его сестра и ее жених, люди его круга и люди, окружающие Руфь,— все они одинаково приспособляются к общим меркам, все строят свою убогую жизнь по готовому, убогому образцу. И, постоянно оглядываясь друг на друга, подражая друг другу, эти жалкие существа готовы стереть свои индивидуальные особенности, отказаться от живой жизни, чтоб только не нарушить нелепых правил, у которых они с детства в плену. Вереница знакомых образов потянулась перед мысленным взором Мартина: Бернард Хиггинботам под руку с мистером Бэтлером, Герман Шмидт, обнявшись с Чарли Хэпгудом. Всех их попарно и поодиночке внимательно оглядел Мартин, всех меряя той мерой интеллектуальной и моральной ценности, которую почерпнул из книг, и ни один не выдержал испытания. Напрасно спрашивал он: где же великие сердца, великие умы? Их не было видно среди толпы пошлых, тупых и вульгарных призраков, заполнивших его тесную каморку. А к этой толпе он чувствовал такое же презрение, какое, вероятно, чувствовала Цирцея к своим свиньям.

Когда последний из призраков исчез, явился вдруг еще один, нежданный и незваный,— гуляка-парень в шляпе с огромными полями, в двубортной куртке, раскачивающийся на ходу — Мартин Иден далекого прошлого.

— И ты был не лучше, приятель,— насмешливо сказал ему Мартин.— У тебя были такие же моральные представления, и знал ты не больше остальных. Ты ни о чем не задумывался и не заботился. Взгляды ты приобретал готовыми, как и платья. Ты делал то, что одобряли другие. Ты стал коноводом своей шайки, потому что тебя сочли подходящим для этого. Ты дрался и командовал шайкой не потому, что тебе так нравилось,— на самом деле тебе это было противно,— а потому, что другие поощрительно похлопывали тебя по плечу. Ты побил Масляную Рожу потому, что не хотел уступить ему, а уступить не хотел потому, что в тебе сидел первобытный зверь и вдобавок тебе прожужжали уши, что мужчина должен быть свиреп, кровожаден и безжалостен, что бить и калечить — достойно мужчины. А зачем ты, щенок, отбивал подружек у своих товарищей? Вовсе не потому, что они тебе нравились, а просто потому, что в тех, кто тебя окружал, определял твое поведение, сильней всего были инстинкты жеребца и дикого козла! Ну вот, с тех пор прошло немало времени. Что же ты теперь обо всем этом думаешь?

И, как бы в ответ на это, в видении стала совершаться быстрая перемена. Грубая куртка и широкополая шляпа исчезли, их заменил простой скромный костюм; лицо утратило жестокое выражение и озарилось внутренним светом, одухотворенное общением с истиной и красотой. Видение теперь было очень похоже на нынешнего Мартина; оно стояло у стола, склонясь над раскрытой книгой, на которую падал свет лампы. Мартин взглянул на заголовок. Это были «Основы эстетики». И тотчас же Мартин вошел в видение, слился с ним и, сев за стол, погрузился в чтение.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В солнечный осенний день, такой же прекрасный день бабьего лета, как год назад, когда они впервые признались, что любят друг друга, Мартин читал Руфи свои «Сонеты о любви». Так же, как и тогда, они сидели на своем любимом месте, среди холмов. Руфь то и дело прерывала чтение восторженными возгласами, и Мартин, отложив последний лист рукописи, с волнением ждал, что она скажет.

Руфь долго молчала, потом, наконец, начала с запинкой, словно не решаясь облечь в слова то, что решила сказать.

— Эти стихи прекрасны,— сказала она,— да, конечно, они прекрасны. Но ведь вы не можете получить за них деньги. То есть, вы понимаете, что я хочу сказать,— она произнесла это почти умоляюще,— все, что вы пишете, не имеет практической ценности. Я не знаю, в чем тут причина,— вероятно, виноваты условия спроса,— но вы не можете заработать на жизнь своими произведениями. Поймите меня правильно, дорогой мой. Я очень горжусь — иначе я не была бы женщиной,— я горжусь и радуюсь, что эти чудесные стихи посвящены мне. Но ведь дня нашей свадьбы они не приближают, правда, Мартин? Не сочтите меня корыстолюбивой. Я вас люблю и постоянно думаю о нашем будущем. Ведь целый год прошел с тех пор, как мы поведали друг другу о нашей любви, а до свадьбы так же далеко, как и раньше. Пусть вам не покажется нескромным этот разговор: вспомните, что речь идет о моем сердце, обо всей моей жизни. Уж если вам непременно хочется писать — ну, найдите работу в какой-нибудь газете. Почему бы вам не сделаться репортером? Хотя бы ненадолго?

— Я испорчу свой стиль,— глухо отвечал Мартин,— вы не представляете, сколько труда я положил, чтобы выработать этот стиль.

— Но писали же вы газетные фельетоны ради денег? Они вам не испортили стиля?

— Это совсем другое дело. Я их вымучивал, выжимал из себя после целого дня серьезной работы. А стать репортером — это значит заниматься ремесленничеством с утра до ночи, отдать ему всего себя! Жизнь превратится в какой-то вихрь, придется жить минутой, без прошлого и без будущего. Репортеру и думать некогда ни о каком стиле, кроме репортерского. А это не литература. Сделаться репортером именно теперь, когда стиль у меня только что начал складываться,— да это значило бы убить в себе писателя. И сейчас каждый фельетон, каждое слово в нем для меня мука, насилие над собой, над чувством прекрасного. Вы не представляете, как мне тяжело. Я чувствовал себя преступником. Я даже радовался втайне, когда мои «ремесленные» рассказы перестали покупать, хотя из-за этого мне пришлось заложить костюм. Но зато какое наслаждение я испытал, когда писал «Сонеты о любви»! Ведь радость творчества — благороднейшая радость на земле. Она меня вознаградила за все лишения.

Мартин не знал, что для Руфи «радость творчества» пустой звук. Она, правда, часто употребляла эти слова в беседе, и впервые Мартин услыхал о радости творчества из ее уст. Она читала об этом, слышала на лекциях университетских профессоров, даже упоминала, сдавая экзамен на степень бакалавра искусств. Но сама она была лишена всякой оригинальности мысли, всякого творческого порыва и могла лишь повторять то, что заучила с чужих слов.

— А может быть, редактор был прав, исправляя ваши «Песни моря»? — спросила Руфь.— Если бы редактор не умел правильно оценивать литературное произведение, он не был бы редактором.

— Вот еще одно доказательство устойчивости общепринятых мнений,— запальчиво возразил Мартин, раздраженный упоминанием о ненавистном ему племени редакторов.— То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим. Самый факт существования какого-нибудь явления рассматривается как доказательство правомерности этого явления, и заметьте, не только при данных условиях, а на веки вечные. Конечно, рядовой человек верит в эту чепуху только из-за своего закоснелого невежества. Мыслительный процесс таких людей превосходно описал Вейнингер. Не умеющие мыслить воображают, что они

мыслят, и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле.

Мартин вдруг остановился, испуганный догадкой, что Руфь еще не доросла до всего этого.

— Я не знаю, кто такой Вейнингер,— возразила она,— вы так ужасно склонны все обобщать, что я перестаю понимать ваши мысли. Я говорю, что если редактор...

— А я вам говорю,— перебил он,— что, по крайней мере, девяносто девять процентов редакторов — это просто неудачники. Неудавшиеся писатели. Не думайте, что им приятнее тянуть лямку в редакции и сознавать свою рабскую зависимость от распространения журнала и от оборотливости издателя, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс: все двери к литературному успеху охраняются этими сторожевыми собаками, литературными неудачниками. Редакторы, их помощники, рецензенты, вообще все те, кто читает рукописи,— это люди, которые некогда сами хотели стать писателями, но не смогли. И вот они-то, казалось бы, последние, кто имеет право вершить судьбы литературы, решают, что нужно и что не нужно печатать. Они, заурядные и бесталанные, судят об оригинальности и таланте. А за ними следуют критики, обычно такие же неудачники. Не говорите мне, что они никогда не мечтали и не пробовали писать стихи или прозу,— пробовали, только у них ни черта не вышло. От журнальных критических статей тошнит, как от рыбьего жира. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на всех этих рецензентов и так называемых критиков. Есть, конечно, великие критики, но они редки, как кометы. Если из меня не выйдет писателя, пойду в редакторы. В конце концов, это кусок хлеба. И даже с маслом.

Однако быстрый ум Руфи тотчас подметил противоречие в рассуждениях ее возлюбленного.

— Ну, хорошо, Мартин, если это так, и для талантливых людей все двери закрыты, то как же выдвинулись великие писатели?

— Они совершили невозможное,— ответил он,— они создали такие пламенные, блестящие произведения, что их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов Карлейля, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же. Я добьюсь невозможного.

— А если вы потерпите неудачу? Вы должны подумать и обо мне, Мартин!

— Если я потерплю неудачу? — Он поглядел на нее с минуту, словно она сказала нечто немыслимое. Затем глаза его лукаво блеснули.— Тогда я стану редактором, и вы будете редакторской женой!

Руфь состроила недовольную, очаровательную гримасу, которую Мартин тут же согнал поцелуями.

— Ну, ну, довольно,— протестовала Руфь, стараясь напряжением воли освободиться от обаяния его силы.— Я говорила с папой и с мамой. Я никогда так с ними не воевала. Я требовала, я была непочтительна и непослушна. Они оба настроены против вас, но я так твердо говорила им о моей любви к вам, что папа наконец согласился принять вас к себе в контору. Он даже решил положить вам сразу приличное жалованье, чтобы мы могли пожениться и жить самостоятельно где-нибудь в маленьком коттедже. Это очень великодушно с его стороны, не правда ли, Мартин?

Мартин почувствовал, как тупое отчаяние сдавило ему сердце. Он машинально полез в карман за табаком и бумагой (которых давно уже не носил при себе) и пробормотал что-то невнятное.

Руфь продолжала:

— Откровенно говоря,— только, пожалуйста, не обижайтесь, я просто хочу, чтобы вы знали, как обстоит дело,— папе очень не нравятся ваши радикальные взгляды, и, кроме того, он считает вас лентяем. Я-то знаю, конечно, что вы не лентяй. Я знаю, как вы много работаете.

«Нет, этого даже и она не знает»,— подумал Мартин, но вслух спросил:

— Ну, а вы как думаете? Вам тоже мои взгляды кажутся чересчур радикальными? — Он смотрел ей прямо в глаза и ждал ответа.

— Мне они кажутся... сомнительными,— ответила она наконец.

Этим было все сказано, и жизнь вдруг показалась Мартину такой унылой, что он совсем забыл об осторожно сделанном Руфью предложении — поступить на службу в контору ее отца. А она, чувствуя, что не надо пока настаивать, готова была терпеливо ждать удобного случая, чтобы вернуться к этому вопросу.

Но ждать пришлось недолго: Мартин, в свою очередь, решил кое-что спросить у Руфи. Ему хотелось испытать, насколько сильна ее вера в него. И через неделю каждый получил ответ на свой вопрос.

Мартин ускорил дело, прочтя Руфи «Позор солнца».

— Почему вы не хотите заняться репортерской работой? — воскликнула Руфь, когда Мартин кончил читать.— Вы так любите писать, и вы, наверное, добились бы успеха, могли бы выдвинуться, стать журналистом с именем, специальным корреспондентом какой-нибудь газеты. Ведь некоторые специальные корреспонденты зарабатывают огромные деньги, и, кроме того, они ездят по всему миру. Их посылают в Африку,— вот как Стэнли,— они интервьюируют папу в Ватикане, исследуют таинственные уголки Тибета.

— Значит, вам не нравится моя статья? — спросил Мартин.— Вы, стало быть, предполагаете, что я мог бы стать журналистом, но никак не писателем?

— О, нет! Мне очень понравилась ваша статья. Она прекрасно написана. Но только я боюсь, что все это не по плечу публике. По крайней мере, для меня это слишком трудно. Звучит очень хорошо, но я почти ничего не поняла. Слишком много специальной научной терминологии прежде всего. Вы любите крайности, дорогой мой, и то, что вам кажется понятным, совершенно непонятно для всех нас.

— Да, в статье много философских терминов,— пробормотал Мартин.

Он еще был взволнован — ведь он только что читал вслух самые свои зрелые мысли,— и ее суждение ошеломило его.

— Ну, пусть это неудачно по форме,— пытался настаивать Мартин,— но неужели сами мысли в вас не встречают сочувствия?

Руфь покачала головой.

— Нет. Это так не похоже на все, что я читала раньше... Я читала Метерлинка, и он был мне вполне понятен.

— Вам понятен его мистицизм? — вскричал Мартин.

— Да. А вот ваша статья, где вы на него нападаете, мне совершенно непонятна. Конечно, если говорить об оригинальности...

Мартин сделал нетерпеливое движение, но промолчал. Потом вдруг до его сознания дошли слова Руфи.

— В конце концов творчество было для вас игрушкой,— говорила она,— вы достаточно долго забавлялись ею. Пора теперь отнестись серьезно к жизни, к *нашей* жизни, Мартин. До сих пор вы жили только для себя.

— Вы хотите, чтобы я поступил на службу?

— Да. Папа предлагает вам...

— Знаю, знаю,— прервал он резко,— но скажите мне прямо: вы в меня больше не верите?

Руфь молча сжала ему руку. Глаза ее затуманились.

— Не в вас... в ваше сочинительство, мой милый,— почти шепотом сказала она.

— Вы прочли почти все мои произведения,— с той же беспощадной прямотой продолжал Мартин,— что вы о них думаете? Вам кажется, что это очень плохо? Хуже того, что пишут другие?

— Другие получают деньги за свои произведения.

— Это не ответ. Итак, вы считаете, что литература не мое призвание?

— Ну, хорошо, я вам отвечу.— Руфь сделала над собой усилие.— Я не думаю, что вы можете стать писателем. Не сердитесь на меня, дорогой! Вы же сами меня спросили. Вы знаете, что я больше вашего понимаю в литературе.

— Да, вы бакалавр искусств,— проговорил Мартин задумчиво,— вы должны понимать... Но это еще не все,— продолжал он после мучительной для обоих паузы.— Я знаю, в чем моя сила. Никто не может знать этого лучше меня. Я знаю, что добьюсь успеха. Я преодолею все препятствия. Во мне так и кипит все то, что должно найти отражение в стихах, статьях, рассказах. Но я вас не прошу верить в это. Не верьте ни в меня, ни в мой литературный талант. Единственное, о чем я вас прошу,— это верить в мою любовь и любить меня по-прежнему. Год тому назад я умолял дать мне два года сроку. Один год уже прошел, но я твердо верю, что, прежде чем пройдет второй год, я добьюсь успеха. Помните, когда-то вы сказали мне: чтобы стать писателем, нужно пройти ученичество. Что ж, я прошел его. Я спешил, я уложился в короткий срок. Вы были конечной целью всех моих стремлений, и мысль о вас поддерживала мою энергию. Знаете ли вы, что я давно забыл, что значит уснуть спокойно и безмятежно? Мне иногда кажется, что миллионы лет прошли с той поры, когда я спал столько, сколько мне нужно, и просыпался просто оттого, что выспался. Теперь меня поднимает будильник. Я ставлю его на определенный час, в зависимости от того, когда я разрешаю себе уснуть. Это — последнее сознательное усилие, которое я делаю перед сном: завожу будильник и гашу свет. Когда я чувствую, что меня клонит ко сну, я заменяю трудную книгу более легкой. А если я и над этой книгой начинаю клевать носом, то бью себя кулаком по голове, чтобы прогнать сон. Помните, у Киплинга — о человеке, который боялся спать? Он пристраивал в постели шпору так, что,

если он засыпал, стальной шип вонзался ему в тело. Я делал то же самое. Я решал, что не должен заснуть до полуночи, до часу, до двух... И шпора не давала мне засыпать до положенного времени. Я не расставался с этой шпорой в течение многих месяцев. Я дошел до того, что сон в пять с половиной часов стал уже для меня недопустимой роскошью. Теперь я сплю всего четыре часа. Я весь извелся от постоянного недосыпания. Иногда у меня кружится голова и путаются мысли — до такой степени хочется мне уснуть; могильный покой кажется мне иногда блаженством. Мне вспоминаются стихи Лонгфелло:

В морской холодной глубине
Все спит в спокойном, тихом сне.
Один лишь шаг — плеснет вода,
И все исчезнет навсегда.

Конечно, это вздор. Это от усталости, от нервного переутомления. Но вот вопрос: ради чего я старался? Ради вас. Чтобы сократить срок ученичества, чтобы поторопить Успех. И теперь мое ученичество позади. Я знаю, на что я способен. Уверяю вас, ни один студент в год не выучит того, что я выучиваю в один месяц. Я знаю. Вы уж мне поверьте. Я бы не стал говорить об этом, если бы мне так страстно не хотелось, чтобы вы меня поняли. Тут нет хвастовства. Я сужу по книгам, которые я прочел. Ваши братья — невежественные дикари в сравнении со мной, со всем тем, что я узнал из книг в те часы, когда они мирно спали. Когда-то я хотел прославиться. Теперь слава для меня ничего не значит. Я хочу только вас. Вы мне нужны больше пищи, больше одежды, больше признания. Я мечтаю только о том, чтоб уснуть наконец, положив голову к вам на грудь. Не пройдет и года, как мечта эта сбудется.

Опять ощущение его силы захлестнуло Руфь; и чем упорнее она противилась, тем больше ее влекло к Мартину. Эта покорявшая ее сила теперь сверкала в его взгляде, слышалась в его страстной речи, бурлила и клокотала во всем его существе. И вот на один миг, на один только миг, прочный, устойчивый, мир Руфи заколебался, и она вдруг увидела перед собой настоящего Мартина Идена, великолепного и непобедимого! И как на укротителей зверей минутами находит сомнение, так и она усомнилась в возможности смирить непокорный дух этого человека.

— И вот ведь еще что,— продолжал он.— Вы меня любите. Но почему вы меня любите? Ведь именно то, что заставляет меня писать, заставляет вас любить меня. Вы любите меня

потому, что я не похож на людей, которые вас окружают и одному из которых вы могли бы подарить свою любовь. Я не создан для конторы, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом, разделять их взгляды,— и вы уничтожите разницу между мною и ими, уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите. Самое живое, что только есть во мне,— это страсть к творчеству. Будь я какой-нибудь заурядный олух, я не мечтал бы стать писателем, но и вы вряд ли захотели бы стать моей женой.

— Но почему же,— прервала его Руфь, поверхностный, но живой ум которой сразу усмотрел возможность параллели.— Ведь бывали и раньше чудаки, которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя, обрекая свою семью на нужду и лишения. Их жены, разумеется, страдали вместе с ними и любили их, но не за их чудачества, а скорее несмотря на эти чудачества.

— Верно,— возразил он.— Но ведь были и другие изобретатели, не чудаки, те, что всю жизнь бились над изобретением вполне реальных и полезных вещей и в конце концов добивались своего. Я ведь не хочу ничего невозможного...

— Вы сами сказали, что хотите «добиться невозможного».

— Я выразился фигурально. Я стремлюсь, в сущности говоря, достичь того, чего достигли до меня очень и очень многие: писать и жить литературным трудом.

Молчание Руфи раздражало Мартина.

— Стало быть, вы считаете, что это такая же химера, как вечный двигатель? — спросил он.

Ответом послужило пожатие ее руки, нежное материнское пожатие, словно мать успокаивала капризного ребенка. Для нее Мартин и в самом деле был только капризный ребенок, чудак, желающий добиться невозможного.

Руфь еще раз напомнила Мартину о том, как враждебно относятся к нему ее родители.

— Но ведь вы-то меня любите? — спросил он.

— Люблю, люблю! — воскликнула она.

— И я вас люблю, и ничего они мне не могут сделать.— Голос его звучал торжествующе.— Раз я верю в вашу любовь, то мне нет дела до их ненависти. Все в мире непрочно, кроме любви. Любовь не может сбиться с пути, если только это настоящая любовь, а не хилый уродец, спотыкающийся и падающий на каждом шагу.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Как-то раз случай свел Мартина на Бродвее с его сестрой Гертрудой — случай, несомненно, счастливый, несмотря на возникшую при этом неловкость. Ожидая на углу трамвая, Гертруда первая увидела Мартина, и ей сразу бросилось в глаза мрачное выражение его изможденного, осунувшегося лица. Мартин и в самом деле был мрачен. Он возвращался после неудачной беседы с ростовщиком, у которого хотел выторговать добавочную ссуду под велосипед. Наступила осенняя распутица, и поэтому Мартин давно уже заложил велосипед, но черный костюм он непременно хотел сохранить.

— Ведь у вас есть черный костюм,— сказал ростовщик, знавший наперечет все имущество Мартина.— Уж не заложили ли вы его у этого еврея Липке? Ну, если только...

Он так грозно посмотрел на Мартина, что тот поспешил воскликнуть:

— Нет, нет! Я не закладывал костюма. Просто я не могу без него обойтись.

— Отлично,— сказал ростовщик, смягчившись немного.— Но я тоже не могу без него обойтись, если вы хотите, чтобы я дал вам еще денег. Ведь я занимаюсь этим делом не ради развлечения.

— Мой велосипед стоит, по крайней мере, сорок долларов, и к тому же он в полной исправности,— возразил Мартин.— А вы мне дали за него только семь долларов! И даже не семь! Шесть с четвертью! Ведь вы берете вперед проценты!

— Хотите получить еще денег, так принесите костюм,— последовал хладнокровный ответ, и Мартин в полном отчаянии выбежал из душной, тесной лавчонки. Вот откуда взялось мрачное выражение его лица, которое так огорчило Гертруду.

Не успели они поздороваться, как подошел трамвай, идущий на Телеграф-авеню. Мартин поддержал сестру под локоть, чтобы помочь ей сесть, и та поняла, что сам он хочет идти пешком. Стоя на ступеньке, Гертруда обернулась к нему, и сердце ее сжалось, когда она увидела его ввалившиеся глаза.

— А ты разве не поедешь? — спросила она.

И тотчас же сошла с трамвая и очутилась рядом с ним.

— Я всегда хожу пешком, для моциона,— объяснил он.

— Ну что ж, я тоже пройдусь немножко,— сказала Гертруда,— мне это полезно. Я что-то себя плохо чувствую последнее время.

Мартин взглянул на сестру, и только сейчас заметил происшедшую в ней перемену. Вид у нее был утомленный и какой-то неряшливый, лицо безобразили отечные складки, и вся она как-то обрюзгла, расплылась, а тяжелая, неуклюжая походка была словно карикатурой на эластичную, бодрую поступь здоровой и веселой женщины.

— Уж лучше подожди трамвая,— сказал Мартин, когда они дошли до следующей остановки. Он заметил, что Гертруда начала задыхаться.

— Господи помилуй! И верно, ведь я устала,— сказала она.— Но и тебе тоже не мешало бы сесть на трамвай. Подошвы у твоих башмаков такие, что, пожалуй, протрутся, прежде чем ты дойдешь до Северного Окленда.

— У меня дома есть еще одна пара башмаков,— отвечал Мартин.

— Приходи завтра обедать,— сказала Гертруда неожиданно.— Бернарда не будет, он едет по делам в Сан-Леандро.

Мартин отрицательно покачал головой, но не сумел скрыть жадный огонек, сверкнувший у него в глазах при упоминании об обеде.

— У тебя нет ни пенса, Март, вот отчего ты ходишь пешком. Моцион, как же!

Она хотела презрительно фыркнуть, но из этого ничего не вышло.

— Погоди-ка...

И, порывшись в сумочке, Гертруда сунула Мартину в руку пятидолларовую монету.

— Я забыла, что на днях было твое рождение,— пробормотала она.

Мартин инстинктивно зажал в руке монету и тут же понял, что не должен принимать этого подарка, но заколебался. Ведь этот золотой кружочек означал пищу, жизнь, возвращение сил духовных и телесных, новый прилив творческой энергии, и — как знать! — может быть, он напишет что-нибудь такое, что принесет ему много таких же золотых монет. Ему ясно представились две его последние статьи, которые валялись под столом среди груды рукописей, так как не на что было купить марок. Печатные заголовки так и горели у него перед глазами. Статьи назывались «Жрецы чудесного» и «Колыбель красоты». Он еще никуда не посылал их, но знал, что это — лучшее из всего написанного им в этом роде. Только бы купить марки. Уверенность в успехе вдруг возникла в нем и довершила то, что начал голод: быстрым движением он сунул в карман монету.

— Я тебе верну в сто раз больше, Гертруда,— проговорил он с трудом, потому что судорога сдавила ему горло, и на глазах у него блеснули слезы.— Запомни мои слова! — воскликнул он твердо и убежденно.— Не пройдет года, как я принесу тебе ровно сотню таких золотых кругляков. Я не прошу тебя верить мне. Ты должна только ждать. А там увидишь!

Она и не верила. Но ей самой почему-то стало неловко от этого, и, не зная, как выйти из положения, она сказала:

— Я знаю, что ты голодаешь, Март. У тебя на лице написано. Приходи обедать в любое время. Когда Хиггинботам уйдет из дому по делам, я сумею известить тебя. Кто-нибудь из ребят всегда может сбегать. А что, Март...

Мартин наперед знал, что скажет сестра, так как ход ее мыслей был достаточно ясен.

— Не пора ли тебе поступить на какое-нибудь место?

— Ты думаешь, что я ничего не добьюсь? — спросил он.

Гертруда покачала головой.

— Никто в меня не верит, Гертруда, кроме меня самого.— Он сказал это с каким-то страстным задором.— Я написал уже очень много хороших вещей и рано или поздно получу за них деньги.

— А почему ты знаешь, что они хороши?

— Да потому, что...— Все его познания по литературе, по истории литературы вдруг ожили в его мозгу, и он понял, что сестре не объяснишь, на чем основывается его вера в себя.— Да потому, что мои рассказы лучше, чем девяносто девять процентов всего того, что печатается в журналах.

— А все-таки послушай разумного совета,— сказала Гертруда, твердо уверенная в своей правоте.— Да, послушай разумного совета,— повторила она,— а завтра приходи обедать.

Мартин усадил ее в трамвай, а сам побежал на почту и на три доллара из пяти накупил марок. Позднее, по дороге к Морзам, он зашел в почтовое отделение и отправил множество толстых пакетов, на что ушли все его марки, за исключением трех двухцентовых.

Это был памятный вечер для Мартина, ибо он познакомился с Рэссом Бриссенденом. Как Бриссенден попал к Морзам, кто его привел туда, Мартин так и не узнал. Он даже не полюбопытствовал спросить об этом Руфь, так как Бриссенден показался ему человеком бледным и неинтересным. Час спустя Мартин решил, что он еще и невежа: уж очень бесцеремонно слонялся он из одной комнаты в другую, глазел на картины и совал

нос в книги и журналы, лежавшие на столах или стоявшие на полках. Наконец, не обращая внимания на прочее общество, он, точно у себя дома, удобно устроился в моррисовском кресле, вытащил из кармана какую-то книжку и принялся читать. Читая, он то и дело рассеянно проводил рукою по волосам. Потом Мартин забыл о нем и вспомнил только в конце вечера, когда увидел его в кружке молодых женщин, которые явно наслаждались беседой с ним.

По дороге домой Мартин случайно нагнал Бриссендена.

— А, это вы,— сказал он.

Тот что-то не очень любезно проворчал в ответ, но все же пошел рядом. Мартин больше не делал попыток завязать беседу, и так они, молча, прошли несколько кварталов.

— Старый самодовольный осел!

Неожиданность и энергичность этого возгласа поразила Мартина. Ему стало смешно, но в то же время он почувствовал растущую неприязнь к Бриссендену.

— Какого черта вы туда таскаетесь? — услышал Мартин, после того как они прошли еще квартал в молчании.

— А вы? — спросил Мартин в свою очередь.

— Убейте меня, если я знаю,— отвечал Бриссенден.— Впрочем, я там был в первый раз. В конце концов в сутках двадцать четыре часа. Надо же их как-нибудь проводить. Пойдемте выпьем.

— Пойдемте,— отвечал Мартин.

Он тут же мысленно выругал себя за свою сговорчивость. Дома его ждала «ремесленная» работа; кроме того, на ночь он решил почитать томик Вейсмана, не говоря уже об автобиографии Герберта Спенсера, которая для него была увлекательнее любого романа. Зачем тратить время на этого вовсе не симпатичного человека, думал Мартин. Но его привлек не спутник и не выпивка, а все то, что было связано с этим: яркий свет, зеркала, звон и блеск бокалов, разгоревшиеся лица и громкие голоса. Да, да, голоса людей веселых и беззаботных, которые добились жизненного успеха и могли с легким сердцем пропивать свои деньги. Мартин был одинок — вот в чем заключалась его беда. Потому-то он и принял с такой охотой приглашение Бриссендена. С тех пор как Мартин покинул «Горячие Ключи» и расстался с Джо, он ни разу не был в питейном заведении, за исключением того случая, когда его угостил португалец-лавочник. Умственное утомление не вызывает такой тяги к алкоголю, как физическая усталость, и Мартина не тянуло к вину. Но сейчас ему захотелось выпить, вернее, очутиться в шумном ка-

бачке, где пьют, кричат и хохочут. Таким именно кабачком оказалась «Пещера». Бриссенден и Мартин, развалившись в удобных кожаных креслах, принялись потягивать шотландское виски с содовой.

Они разговорились: говорили о разных вещах и прерывали беседу для того, чтобы по очереди заказывать новые порции. Мартин, обладавший необычайно крепкой головой, все же не мог не удивляться выносливости своего собутыльника. Но еще больше он удивлялся мыслям, которые тот высказывал. Вскоре Мартин пришел к убеждению, что Бриссенден все знает и что это вообще второй настоящий интеллигент, повстречавшийся ему на пути.

Но Бриссенден к тому же обладал тем, чего не хватало профессору Колдуэллу. В нем был огонь, необычайная проницательность и восприимчивость, какая-то особая свобода полета мысли. Говорил он превосходно. С его тонких губ срывались острые, словно на станке отточенные слова. Они кололи и резали. А в следующий миг их сменяли плавные, льющиеся фразы, расцвеченные яркими пленительными образами, словно бы таившими в себе отблеск непостижимой красоты бытия. Иногда его речь звучала, как боевой рог, зовущий к буре и грохоту космической борьбы, звенела, как серебро, сверкала холодным блеском звездных пространств. В ней кратко и четко формулировались последние завоевания науки. И в то же время это была речь поэта, проникнутая тем высоким и неуловимым, чего нельзя выразить словами, но можно только дать почувствовать в тех тонких и сложных ассоциациях, которые эти слова порождают. Его умственный взор проникал словно чудом в какие-то далекие, недоступные человеческому опыту области, о которых, казалось, нельзя было рассказывать обыкновенным языком. Но поистине магическое искусство речи помогало ему вкладывать в обычные слова необычные значения, которых не уловил бы заурядный ум, но которые, однако, были близки и понятны Мартину.

Мартин быстро забыл о своей неприязни к Бриссендену. Перед ним было то, о чем до сих пор он только читал в книгах. Перед ним был воплощенный идеал мыслителя, человек, достойный поклонения. «Я должен повергнуться в прах перед ним»,— повторял он самому себе, с восторгом слушая своего собеседника.

— Вы, очевидно, изучали биологию! — воскликнул наконец Мартин, многозначительно намекая, что и он кое в чем разбирается.

К его удивлению, Бриссенден отрицательно покачал головой.

— Но ведь вы высказываете положения, к которым немыслимо прийти без знания биологии,— продолжал Мартин, заметив удивленный взгляд Бриссендена.— Ваши выводы совпадают со всем ходом рассуждения великих ученых. Не может быть, чтобы вы не читали их трудов!

— Очень рад это слышать,— отвечал тот,— очень рад, что мои поверхностные познания открыли мне кратчайший путь к постижению истины. Но мне в конце концов безразлично, прав я или нет. Это не имеет никакого значения. Ведь абсолютной истины человек никогда не постигнет.

— Вы ученик и последователь Спенсера! — с торжеством воскликнул Мартин.

— Я с юных лет не заглядывал в Спенсера. Да и тогда-то читал только «Воспитание».

— Хотел бы я приобретать знания с такой же легкостью,— говорил Мартин полчаса спустя, подвергнув тщательному анализу весь умственный багаж Бриссендена.— Вы не допускаете возражений — вот что самое удивительное. Вы категорически утверждаете то, что наука могла установить только a posteriori [1]. Вы как-то сразу делаете правильные выводы. Вам и в самом деле посчастливилось найти кратчайший путь к истине, и вы пролетаете этот путь со скоростью света. Это какая-то сверхъестественная способность.

— Да, это всегда смущало моих учителей, отца Джозефа и брата Дэттона,— заметил Бриссенден.— Но тут никаких чудес нет. Благодаря счастливой случайности я попал с ранних лет в католический колледж. А вы-то сами где получили образование?

Рассказывая ему о себе, Мартин в то же время внимательно рассматривал Бриссендена, аристократически тонкие черты его лица, покатые плечи, брошенное им на соседний стул пальто, из карманов которого торчали книги. Лицо Бриссендена и тонкие руки были покрыты темным загаром, и это удивило Мартина. Едва ли Бриссенден любитель прогулок на свежем воздухе. Где же он так загорел? Что-то болезненное, противоестественное чудилось Мартину в его загаре, и он все время думал об этом, вглядываясь в лицо Бриссендена — узкое, худощавое лицо, со впалыми щеками и красивым орлиным носом. В разрезе его глаз не было ничего замечательного. Они были

[1] Исходя из опыта *(лат.)*.

не слишком велики и не слишком малы, карие, неопределенного оттенка; но в них горел затаенный огонь, и выражение было какое-то странное, двойственное и противоречивое. Они смотрели гордо, вызывающе, подчас даже сердито и в то же время почему-то вызывали жалость. Мартину было безотчетно жаль Бриссендена, и он скоро понял, откуда возникло это чувство.

— Ведь у меня чахотка,— объявил Бриссенден, после того как сказал, что недавно приехал из Аризоны.— Я жил там около двух лет; провел курс климатического лечения.

— А вам не боязно возвращаться теперь в наш климат?

— Боязно?

Он просто повторил слово, сказанное Мартином, но тот сразу понял, что Бриссенден ничего на свете не боится. Глаза его сузились, ноздри раздулись, в лице появилось что-то орлиное, гордое и решительное. У Мартина сердце забилось от восхищения этим человеком. «До чего хорош»,— подумал он и затем вслух продекламировал:

Под гнетом яростного рока
Окровавленного я не склоню чела.

— Вы любите Хенли? — спросил Бриссенден, и выражение его глаз сразу сделалось нежным и ласковым.— Ну, конечно, разве можно не любить его. Ах, Хенли! Великий дух! Он высится среди современных журнальных рифмоплетов, как гладиатор среди евнухов.

— Вам не нравится то, что печатают в журналах? — осторожно спросил Мартин.

— А вам нравится? — рявкнул Бриссенден, так что Мартин даже вздрогнул.

— Я... я пишу, или, вернее, пробую писать для журналов,— пробормотал Мартин.

— Ну, это еще туда-сюда,— более миролюбиво сказал Бриссенден.— Вы пробуете писать, но вам это не удается. Я ценю и уважаю ваши неудачи. Я представляю себе, что вы пишете. Для этого мне не нужно даже читать ваши произведения. В них есть один недостаток, который закрывает перед вами все двери. В них есть глубина, а это не требуется журналам. Журналам нужен всякий хлам, и они его получают в изобилии — только не от вас, конечно.

— Я не чуждаюсь ремесленной работы,— возразил Мартин.

— Напротив...— Бриссенден замолчал на мгновение и дерзко оглядел Мартина, его поношенный галстук, лоснящиеся

рукава, обтрепанные манжеты — красноречивые свидетельства нищеты; затем долго созерцал его впалые, худые щеки.— Напротив, ремесленная работа чуждается вас, и так упорно, что вам ни за что не преуспеть в этой области. Слушайте, дорогой мой, вы, наверно, обиделись бы, если б я предложил вам поесть?

Мартин почувствовал, что неудержимо краснеет, а Бриссенден торжествующе расхохотался.

— Сытый человек не обижается на такие предложения,— заявил он.

— Вы дьявол! — раздраженно вскричал Мартин.

— Да ведь я вам и не предлагал!

— Еще бы вы посмели!

— Вот как? В таком случае приглашаю вас поужинать со мною.

Бриссенден, говоря это, привстал, как бы намереваясь тотчас же идти в ресторан.

Мартин сжал кулаки, кровь застучала у него в висках.

— Знаменитый пожиратель змей! Глотает их живьем! Глотает их живьем! — воскликнул Бриссенден, подражая зазывале в ярмарочном балагане.

— Вас я и в самом деле мог бы проглотить живьем,— сказал Мартин, в свою очередь дерзко оглядев истощенного болезнью Бриссендена.

— Только я того не стою.

— Не вы, а дело того не стоит,— произнес Мартин и тут же рассмеялся от всего сердца.— Признаюсь, Бриссенден, вы оставили меня в дураках. То, что я голоден, явление естественное, и ничего тут для меня постыдного нет. Вот видите — я презираю мелкие условности и предрассудки, но стоило вам сказать самые простые слова, назвать вещи своими именами, и я мгновенно превратился в раба этих самых предрассудков.

— Да, вы обиделись,— подтвердил Бриссенден.

— Обиделся, сознаюсь. Есть предрассудки, впитанные с детства. Хоть я многому успел научиться, а все-таки иногда срываюсь. У каждого свое слабое место — свой, как говорится, скелет в шкафу.

— Но сейчас вы уже заперли дверцы шкафа?

— Ну, конечно.

— Наверное?

— Наверное.

— Тогда идемте ужинать.

— Идемте.

Мартин хотел заплатить за виски и вытащил свои последние два доллара, но Бриссенден не позволил официанту взять их и заплатил сам.

Мартин состроил было недовольную гримасу, но Бриссенден мягко и дружелюбно положил ему руку на плечо, и он покорно положил деньги в карман.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

На следующий день Марии пришлось испытать новое потрясение: к Мартину опять явился необычайный гость. Но на этот раз она настолько сохранила самообладание, что даже чинно пригласила гостя подождать в гостиной.

— Вы не возражаете, что я вторгся к вам? — спросил Бриссенден.

— Нет, нет, что вы! — воскликнул Мартин, крепко пожимая ему руку, и, подвинув гостю единственный стул, сам сел на кровать.— Но как вы узнали мой адрес?

— Позвонил к Морзам. Мисс Морз сама подошла к телефону. И вот я здесь.

Бриссенден запустил руку в карман пальто и вытащил небольшой томик.

— Вот вам книжка стихов одного поэта,— сказал он, кладя книгу на стол,— прочтите и оставьте себе. Берите! — вскричал он в ответ на протестующий жест Мартина.— На что мне книги? У меня сегодня утром опять шла горлом кровь. Есть у вас виски? Ну, конечно, нет! Подождите минутку.

Он быстро встал и вышел. Мартин посмотрел ему вслед и с грустью увидел, как сутулятся над впалой грудью его когда-то, должно быть, могучие плечи. Достав два стакана, Мартин углубился в подаренную книгу. Это был последний сборник стихов Генри Вогана Марло.

— Шотландского нет,— объявил вернувшийся Бриссенден,— каналья торгует только американским. Но я все-таки взял бутылку.

— Я сейчас пошлю кого-нибудь из ребятишек за лимонами, и мы сделаем грог,— предложил Мартин.— Интересно, сколько получает Марло за такую книгу?

— Долларов пятьдесят,— отвечал Бриссенден,— и это еще хорошо. Пусть скажет спасибо, что ему удалось найти издателя, который захотел рискнуть.

— Значит, поэзией нельзя прожить?

В голосе Мартина прозвучало глубокое огорчение.

— Конечно, нет! Какой же дурак на это рассчитывает? Рифмоплетство — другое дело. Вот такие, как Брюс, Виржиния Спринг или Седжвик, делают хорошие дела. Но настоящие поэты... Вы знаете, чем живет Марло? Преподает в Пенсильвании, в школе для отсталых учеников, а из всех филиалов ада на земле это, несомненно, самый мрачный. Я бы не поменялся с ним, даже если бы он предложил мне за это пятьдесят лет жизни. А ведь его стихи блещут среди виршей современных стихотворцев, как рубины среди стекляшек. А что о нем пишут критики! Черт бы побрал этих критиков, эти надутые ничтожества!

— Вообще люди, неспособные сами стать писателями, слишком много судят о настоящих писателях,— воскликнул Мартин.— Чего, например, не плели про Стивенсона!

— Болотные ехидны! — проговорил Бриссенден, с презрением стиснув зубы.— Я знаю эту породу. Всю жизнь они клевали Стивенсона за его письмо в защиту отца Дамьена, разбирали его по косточкам, и взвешивали, и...

— И мерили его меркой собственного жалкого «я»,— вставил Мартин.

— Хорошо сказано. Ну, конечно! Трепали и поганили все прекрасное, истинное и доброе в нем, а потом поощрительно похлопывали его по плечу и говорили: «Хороший пес Фидо!» Тьфу! «Жалкие сороки человеческого рода»,— сказал про них на смертном одре Ричард Рилф.

— Они клюют звездную пыль,— страстно подхватил Мартин,— хотят ухватить мысль гения в ее метеорическом полете. Я как-то написал статью о критиках,— вернее, о рецензентах.

— Давайте ее сюда! — быстро сказал Бриссенден.

Мартин вытащил из-под стола экземпляр «Звездной пыли», и Бриссенден тотчас начал читать, то и дело фыркая, потирая руки и забыв даже про свой грог.

— Да ведь вы сами частица звездной пыли, залетевшая в страну слепых карликов! — закричал Бриссенден, дочитав статью.— Разумеется, в первом же журнале ухватились за это руками и ногами?

Мартин заглянул в свою записную книжку.

— Эту статью отвергли двадцать семь журналов.

Бриссенден начал было хохотать, но тотчас закашлялся.

— А скажите,— прохрипел он наконец,— вы, наверное, пишете стихи? Дайте мне почитать.

— Только не читайте здесь,— попросил его Мартин,— мне хочется поговорить с вами. А стихи я вам дам, и вы их прочтете дома.

Бриссенден ушел, захватив с собою «Сонеты о любви» и «Пери и жемчуг». На следующий день он снова пришел к Мартину и сказал только:

— Давайте еще.

Прочтя все, он заявил, что Мартин настоящий поэт. Оказалось, что он и сам пишет стихи.

Мартин пришел в восторг от стихов Бриссендена и очень удивился, узнав, что тот ни разу не сделал даже попытки напечатать их.

— Чума на все ваши журналы! — сказал Бриссенден в ответ на предложение Мартина послать стихи в какую-нибудь редакцию.— Любите красоту ради самой красоты, а о журналах бросьте думать. Ах, Мартин Иден! Возвращайтесь-ка вы снова к кораблям, к морю — вот вам мой совет. Чего вам здесь нужно, в этой городской клоаке? Ведь вы каждый день совершаете самоубийство, проституируя красотой на потребу журналам! Как это вы на днях сказали? Да... «Человек — последняя из эфемерид». Ведь слава для вас яд. Вы слишком самобытны, слишком непосредственны и слишком умны, чтобы питаться манной кашкой похвал. Надеюсь, что вы никогда не продадите журналам ни одной строчки. Нужно служить только Красоте. Служите ей — и к черту толпу! Успех? Какого вам еще надо успеха! Ведь вы же достигли его и в вашем сонете о Стивенсоне,— который, кстати сказать, много выше «Видения» Хенли,— и в «Сонетах о любви», и в морских стихах! Радость поэта в самом творчестве, а не в достигнутом успехе. Не спорьте со мной. Я знаю, что говорю. Вы и сами это понимаете. Вы ранены красотой. Это незаживающая рана, неизлечимая болезнь, раскаленный нож в сердце. К чему заигрывать с журналами? Пусть вашей целью будет только одна Красота. Зачем вы стараетесь чеканить из нее монету? Впрочем, все равно из этого ничего не выйдет. Можно не беспокоиться. Прочитайте журналы хоть за тысячу лет, и вы не найдете в них ничего равного хотя бы одной строке Китса. Забудьте о славе и золоте и завтра же отправляйтесь в плавание.

— Я тружусь не ради славы, а ради любви,— засмеялся Мартин.— В вашем мироздании для любви нет, как видно, места. А в моем красота — прислужница любви.

Бриссенден посмотрел на него с восторгом и жалостью.

— Как вы еще молоды, Мартин! Ах, как вы еще молоды! Вы высоко залетите, но смотрите — крылья у вас уж очень нежные. Не опалите их. Впрочем, вы их уже опалили. И эти «Сонеты о любви» воспевают какую-то юбчонку... Позор!

— Они воспевают любовь, а не просто юбчонку,— возразил Мартин и опять засмеялся.

— Философия безумия! — горячился Бриссенден.— Я убедился в этом, когда предавался грезам после хорошей дозы гашиша. Берегитесь! Эти буржуазные города погубят вас. Возьмите для примера тот притон торгашей, где мы с вами познакомились. Ей-богу, это хуже мусорной ямы. В такой атмосфере нельзя оставаться здоровым. Там невольно задохнешься. И ведь никто — ни один мужчина, ни одна женщина — не возвышается над всей этой мерзостью. Все это ходячие утробы, утробы с идейными и художественными запросами моллюсков...

Он вдруг остановился и взглянул на Мартина. Внезапная догадка, как молния, озарила его. И лицо выразило ужас и удивление.

— И вы написали свои изумительные «Сонеты о любви» в честь этой бледной и ничтожной самочки?

В ту же минуту правой рукой Мартин схватил Бриссендена за горло и встряхнул так, что у того застучали зубы. Однако в глазах его Мартин не увидел страха: только какое-то любопытство и дьявольскую насмешку. И тогда, опомнившись, Мартин разжал пальцы и швырнул Бриссендена на постель.

Бриссенден долго не мог отдышаться. Отдышавшись, он засмеялся.

— Вы бы сделали меня своим вечным должником, если бы вытряхнули из меня остатки жизни,— сказал он.

— У меня последнее время что-то нервы не в порядке,— оправдывался Мартин,— надеюсь, я не сделал вам очень больно? Сейчас приготовлю свежий грог.

— Ах вы, юный эллин! — воскликнул Бриссенден.— Вы недостаточно цените свое тело. Вы невероятно сильны. Прямо молодая пантера! Львенок! Ну, ну! Это вам дорого обойдется в жизни.

— Как так? — с любопытством спросил Мартин, подавая ему стакан.— Выпейте и не сердитесь.

— А очень просто,— Бриссенден стал потягивать грог, одобрительно улыбаясь,— все из-за женщин. Они вам не дадут покоя до самой смерти, как не дают и сейчас. Я ведь не вчера родился. И не вздумайте опять душить меня. Я все равно выскажусь до конца. Понимаю, что это ваша первая любовь, но

ради Красоты будьте в следующий раз разборчивее. Ну, на кой черт вам эти буржуазные девицы? Бросьте, не путайтесь с ними. Найдите себе настоящую женщину, пылкую, страстную,— знаете, из тех, что «над жизнью и смертью смеются и любят, пока есть любовь». Есть на свете подобные женщины, и они, поверьте, полюбят вас так же охотно, как и эта убогая душонка, порождение сытой буржуазной жизни.

— Убогая душонка? — вскричал Мартин с негодованием.

— Именно, убогая душонка! Она будет лепетать вам прописные истины, которые ей вдолбили с детства, и будет бояться настоящей жизни. Она будет по-своему любить вас, Мартин, но свою жалкую мораль она будет любить еще больше. А вам нужна великая, самозабвенная любовь, вам нужна свободная душа, сверкающий красками мотылек, а не серая моль. А впрочем, в конце концов вам все женщины наскучат, если только, на свое несчастье, вы заживетесь на этом свете. Но вы не заживетесь! Вы ведь не захотите вернуться к морю! Будете таскаться по этим гнилым городам, пока не сгниете сами.

— Говорите, что хотите,— сказал Мартин,— вам все равно не удастся меня переубедить! В конце концов у вас своя мудрость, а у меня своя, и каждый из нас по-своему прав.

Они не сходились во взглядах на любовь, на журналы и на многое другое, но тем не менее их влекло друг к другу, и Мартин чувствовал к Бриссендену нечто большее, нежели простую привязанность. Они стали видеться ежедневно, хотя Бриссенден не мог и часа высидеть в душной комнате Мартина.

Бриссенден никогда не забывал захватить с собою бутылку виски, а когда они обедали в каком-нибудь ресторанчике, он заказывал шотландское виски с содовой водой. Он неизменно платил за обоих, и благодаря ему Мартин познакомился со многими тонкими блюдами, впервые изведал прелесть шампанского и букет рейнвейна.

И все же Бриссенден оставался загадкой для Мартина. Аскет с виду, он, несмотря на свою болезнь, знал цену жизненным наслаждениям. Он не боялся смерти, с горькой насмешкой относился ко всем формам человеческого существования, но в то же время страстно любил жизнь до самых мельчайших ее проявлений. Он был одержим жаждой жизни, стремлением ощущать ее трепет, «шевелиться крохотным комочком среди космической пыли, из которой возник»,— сказал он однажды. Бриссенден пробовал на себе действие наркотиков и проделывал странные вещи только ради того, чтобы изведать новые

ощущения. Он рассказал Мартину, как три дня подряд не пил воды, чтобы на четвертый насладиться утолением жажды. Мартин так никогда и не узнал, кто он и откуда. Это был человек без прошлого, его будущее обрывалось близкой могилой, а в настоящем его сжигала горячка жизни.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Мартину приходилось туго. Как ни старался он экономить, заработка от его литературных поделок не хватало даже на насущные расходы. В конце концов он вынужден был заложить черный костюм, тем самым лишив себя возможности принять приглашение Морзов к обеду в День благодарения. Руфь очень огорчилась, узнав причину отказа, и это толкнуло его на отчаянный шаг. Он пообещал ей прийти, сказав, что сам отправится в редакцию «Трансконтинентального ежемесячника» за своими пятью долларами и выкупит костюм.

Утром он занял у Марии десять центов. Он предпочел бы занять у Бриссендена, но этот чудак внезапно куда-то исчез: уже две недели он не появлялся у Мартина, и тот тщетно ломал голову, стараясь припомнить, не дал ли он ему повода для обиды. Десять центов нужны были Мартину, чтобы переправиться на пароме через залив, и вскоре он уже шагал по Маркет-стрит, раздумывая, как быть, если не удастся получить деньги. Даже возвращение в Окленд грозило стать проблемой в этом случае, так как в Сан-Франциско ему не у кого было занять десять центов на переправу.

Дверь редакции «Трансконтинентального ежемесячника» была приотворена, и Мартин невольно остановился, услыхав следующий разговор:

— Да не в этом дело, мистер Форд. (Мартин знал, что Форд — фамилия редактора.) Дело в том, в состоянии ли вы мне уплатить? То есть, разумеется, уплатить наличными деньгами. Мне наплевать, какие виды у вашего журнала на будущий год. Я требую, чтобы вы мне заплатили за мою работу, и ничего больше. Предупреждаю, что, пока вы мне не заплатите все до цента, рождественский номер не будет пущен в машину. До свидания! Когда у вас появятся деньги, заходите.

Дверь распахнулась, и мимо Мартина промчался какой-то человек, сжимая кулаки и бормоча ругательства. Мартин почел за благо выждать минут пятнадцать. Побродив немного по улице, он вернулся, толкнул дверь и первый раз в жизни пересту-

пил порог редакционного помещения. Визитных карточек здесь явно не требовалось — мальчик просто-напросто пошел за перегородку и сказал, что кто-то спрашивает мистера Форда. Вернувшись, он провел Мартина в кабинет редактора. Первое, что поразило Мартина, был необыкновенный беспорядок, царивший в комнате. Затем он увидел сидевшего за столом моложавого господина с бакенбардами, который смотрел на него с любопытством. Мартин был поражен невозмутимым выражением его лица. Ссора с типографом, очевидно, нисколько не повлияла на его настроение.

— Я... я — Мартин Иден,— начал Мартин («и я пришел получить свои пять долларов»,— хотел он сказать).

Но это был первый редактор, с которым ему довелось столкнуться лицом к лицу, и он решил, что не стоит начинать с резкостей. К его изумлению, мистер Форд вскочил с возгласом:

— Да что вы говорите! — и в следующий миг уже восторженно тряс его руку.— Если бы вы знали, как я рад с вами познакомиться, мистер Иден. Я так часто о вас думал, старался вообразить себе, какой вы.

Отступив немного, мистер Форд с восхищением оглядел будничный и в данное время единственный костюм Мартина, который уже явно не поддавался штопке и чинке,— правда, складка на брюках была старательно отглажена утюгами Марии Сильвы.

— Я полагал, что вы много старше. Ваш рассказ полон таких зрелых мыслей и так крепко написан. Это настоящий шедевр,— я понял это, прочтя первые три-четыре строчки. Хотите, я расскажу вам, как я прочел в первый раз ваш рассказ? Нет! Я хочу сначала познакомить вас с нашими сотрудниками.

Продолжая говорить, мистер Форд провел его в общую комнату, где представил своему заместителю, мистеру Уайту, маленькому худенькому человечку с ледяными руками, имевшему такой вид, словно его трясла лихорадка.

— А это мистер Эндс. Мистер Эндс — наш управляющий делами.

Мартин пожал руку плешивому господину с блуждающим взглядом, еще не старому, хотя лицо его было украшено белоснежной бородою, которую его супруга аккуратно подстригала по воскресеньям, заодно брея ему затылок.

Все трое обступили Мартина и затараторили наперебой, осыпая его похвалами, так что в конце концов у него явилась мысль, что они просто стараются заговорить ему зубы.

— Мы часто удивлялись, почему вы не показываетесь в редакции! — воскликнул мистер Уайт.

— У меня не было денег на паром,— отвечал Мартин, решив таким образом дать им понять, насколько остро он нуждается в деньгах.

«Мой «парадный» костюм,— подумал он при этом,— достаточно красноречиво свидетельствует о моей нужде».

Во время дальнейшего разговора он то и дело намекал на цель своего посещения. Но почитатели его таланта оказались глухи ко всем намекам. Они продолжали рассказывать ему о том, как они восхищались рассказом, как восхищались их жены и родственники. Но ни один из троих не выказал ни малейшего намерения заплатить ему причитающиеся деньги.

— Я так и не рассказал вам, при каких обстоятельствах я впервые прочел ваш рассказ? — говорил мистер Форд.— Я ехал из Нью-Йорка, и когда поезд остановился в Огдене, в вагон вошел газетчик, и у него оказался последний номер «Трансконтинентального ежемесячника».

«Боже мой,— подумал Мартин,— эта каналья разъезжает в пульмановских вагонах, а я голодаю и не могу выудить у него своих кровных пяти долларов!» Ярость охватила его. Обида, нанесенная «Трансконтинентальным ежемесячником», вдруг выросла до чудовищных размеров; он вспомнил долгие месяцы томительного ожидания, лишений и голодовок, вспомнил, что и вчера он лег полуголодным, а сегодня и вовсе крошки во рту не было. Гнев ударил ему в голову. Это даже не разбойники; просто мелкие жулики! Они выманили у него рассказ лживыми обещаниями и прямым надувательством. Ну, хорошо! Он им покажет!

И Мартин мысленно поклялся не выходить из редакции, пока не получит все, что ему причитается. Тем более что ему все равно не на что вернуться в Окленд. Мартин все еще сдерживался, но в его лице появилось хищное выражение, которое смутило и даже испугало собеседников.

Они стали расточать похвалы с еще большим рвением. Мистер Форд опять начал рассказывать о том, как он впервые прочел «Колокольный звон», а мистер Эндс сообщил, что его племянница без ума от этого рассказа, а его племянница не кто-нибудь,— школьная учительница в Аламеде!

— Я пришел получить с вас деньги,— вдруг выпалил Мартин,— за этот рассказ, который вам всем так нравится, вы должны были заплатить мне по напечатании пять долларов.

Мистер Форд изобразил на своем лице полную готовность уплатить немедленно, ощупал карманы и, повернувшись к мистеру Эндсу, объявил, что забыл деньги дома. Мистер Эндс с досадой взглянул на него, и по тому, как он инстинктивно защитил рукою карман брюк, Мартин понял, что там лежат деньги.

— Очень сожалею,— произнес мистер Эндс,— но я только что расплатился с типографией, и на это ушла вся моя наличность. Конечно, было очень необдуманно с моей стороны захватить с собой так мало денег, но... вы понимаете, вдруг пришел типограф и попросил в виде одолжения выдать ему аванс, хотя срок уплаты еще не наступил.

Оба посмотрели на мистера Уайта, но тот рассмеялся и пожал плечами. Его совесть во всяком случае чиста. Он поступил в «Трансконтинентальный ежемесячник», чтобы изучить журнальное дело, а изучать ему приходилось преимущественно финансовую политику. «Ежемесячник» четыре месяца не платил ему жалованья, но он успел узнать, что важнее умиротворить типографию, чем расплатиться с заместителем редактора.

— Досадно, что так получилось,— развязно сказал мистер Форд.— Вы, мистер Иден, застали нас врасплох. Но мы вот что сделаем. Завтра же утром пошлем чек по почте. Мистер Эндс, у вас записан адрес мистера Идена?

О, разумеется, адрес мистера Идена был записан, и чек будет выслан завтра утром. Мартин плохо разбирался в финансовых и банковских делах, но он решил, что если они собираются дать ему чек завтра, то отлично могут сделать это и сегодня.

— Итак, решено, мистер Иден, завтра вам будет выслан чек.

— Деньги мне нужны сегодня, а не завтра,— твердо сказал Мартин.

— Несчастное стечение обстоятельств! Если бы вы попали к нам в любой другой день...— начал было мистер Форд, но мистер Эндс, обладавший, по-видимому, более нетерпеливым характером, внезапно прервал его.

— Мистер Форд уже объяснил вам, как обстоит дело,— резко сказал он,— и я тоже. Чек будет вам выслан завтра.

— Я тоже объяснил вам,— сказал Мартин,— что деньги нужны мне сегодня.

Грубый тон управляющего делами задел Мартина за живое; он решил не спускать с него глаз, тем более что касса «Ежемесячника», несомненно, находилась у него в кармане.

— Я в отчаянии...— начал было опять мистер Форд.

Мистер Эндс нетерпеливым движением повернулся на каблуках и, по-видимому, возымел намерение уйти из комнаты. В то же мгновение Мартин бросился на него и схватил за горло, так что белоснежная борода, не теряя своей безукоризненной формы, задралась кверху под углом в сорок пять градусов. Мистер Форд и мистер Уайт, онемев от ужаса, глядели, как Мартин трясет управляющего делами, точно персидский ковер.

— Эй вы, почтенный эксплуататор молодых талантов,— орал Мартин,— раскошеливайтесь, а не то я сам из вас повытрясу все до последнего цента!

Затем, обращаясь к испуганным зрителям, он прибавил:

— А вы лучше не суйтесь... не то и вам влетит так, что своих не узнаете.

Мистер Эндс задыхался, и Мартину пришлось слегка разжать пальцы, чтобы дать ему возможность изъявить согласие на предложенные условия. После исследования собственного кармана управляющий делами извлек, наконец, четыре доллара и пятнадцать центов.

— Выворачивайте карман! — приказал ему Мартин.

Появились еще десять центов, Мартин для верности дважды пересчитал добычу.

— Теперь за вами дело! — крикнул он мистеру Форду.— Мне следует еще семьдесят пять центов!

Мистер Форд с готовностью выложил содержимое своих карманов, но у него набралось лишь шестьдесят центов.

— Ищите лучше,— сказал ему Мартин с угрозой,— что у вас там торчит из жилетного кармана?

В доказательство своей добросовестности мистер Форд вывернул оба кармана наизнанку. Из одного выпал картонный квадратик. Мистер Форд поднял его и хотел сунуть обратно в карман, но Мартин воскликнул:

— Что это? Билет на паром? Давайте сюда. Он стоит десять центов. Значит, теперь у меня, если считать вместе с билетом, четыре доллара девяносто пять центов. Ну, еще пять центов!

Он так посмотрел на мистера Уайта, что этот субтильный джентльмен мгновенно извлек из кармана никелевую монетку.

— Благодарю вас,— произнес Мартин, обращаясь ко всей компании,— всего хорошего!

— Грабитель! — прошипел ему вслед мистер Эндс.

— Жулик! — ответил Мартин, захлопывая за собою дверь.

Мартин был упоен своей победой, до такой степени упоен, что, вспомнив о пятнадцати долларах, которые ему должен был

«Шершень» за «Пери и жемчуг», решил незамедлительно взыскать и этот долг. Но в редакции «Шершня» сидели какие-то гладко выбритые молодые люди, сущие разбойники, которые, видно, привыкли грабить всех и каждого, в том числе и друг друга. Мартин, правда, успел поломать кое-что из мебели, но в конце концов редактор (в студенческие годы бравший призы по атлетике) с помощью управляющего делами, агента по сбору объявлений и швейцара выставил Мартина за дверь и даже помог ему очень быстро спуститься с лестницы.

— Заходите, мистер Иден, всегда рады вас видеть! — весело кричали ему вдогонку.

Мартин поднялся с земли, тоже улыбаясь.

— Фу,— пробормотал он,— ну и молодцы ребята! Не то что эти трансконтинентальные гниды!

В ответ снова послышался хохот.

— Нужно вам сказать, мистер Иден,— сказал редактор «Шершня»,— что для поэта вы недурно умеете постоять за себя. Где это вы научились этому бра руле?

— Там же, где вы научились двойному нельсону,— отвечал Мартин.— Во всяком случае синяк под глазом вам обеспечен!

— Надеюсь, что и у вас почешется шея,— любезно возразил редактор.— А знаете что, не выпить ли нам в честь этого? Разумеется, не в честь поврежденной шеи, а в честь нашего знакомства.

— Я побежден — стало быть, надо соглашаться,— ответил Мартин.

И все вместе, грабители и ограбленный, распили бутылочку, дружески согласившись, что битва выиграна сильнейшими, а потому пятнадцать долларов за «Пери и жемчуг» по праву принадлежат «Шершню».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Артур остался у калитки, а Руфь быстро взбежала по ступенькам крыльца Марии Сильвы. Она услышала торопливый стрекот пишущей машинки и, войдя, застала Мартина дописывающим последнюю страницу какой-то рукописи. Руфь специально приехала узнать, придет ли Мартин к обеду в День благодарения, но Мартин, в творческом порыве, не дал ей рта раскрыть.

— Позвольте прочесть вам это! — воскликнул он, вынимая из машинки страницу и откладывая копии.— Это мой послед-

ний рассказ. Он до того не похож на все другие, что мне даже страшно немного, но почему-то мне кажется, что это хорошо. Вот, судите сами. Рассказ из гавайской жизни. Я назвал его «Вики-Вики».

Лицо Мартина пылало от возбуждения, хотя Руфь дрожала в его холодной каморке и у него самого руки были ледяные.

Руфь внимательно слушала, но на лице ее все время было написано явное неодобрение. Кончив читать, Мартин спросил ее:

— Скажите откровенно, нравится вам или нет?

— Н-не знаю,— отвечала она,— по-вашему, это можно будет пристроить?

— Думаю, что нет,— сознался он.— Это не по плечу журналам. Но зато это чистая правда.

— Зачем же вы упорно пишете такие вещи, которые невозможно продать? — безжалостно настаивала Руфь.— Ведь вы же пишете ради того, чтобы зарабатывать на жизнь?

— Да, конечно. Но мой герой оказался сильнее меня. Я ничего не мог поделать. Он требовал, чтобы история кончилась так, а не иначе.

— Но почему ваш Вики-Вики так ужасно выражается? Ведь всякий, кто прочтет это, будет шокирован его лексиконом, и, конечно, редакторы будут правы, если отвергнут рассказ.

— Потому, что настоящий Вики-Вики говорил бы именно так.

— Это дурной вкус.

— Это жизнь! — воскликнул Мартин.— Это реально. Это правда. Я должен описывать жизнь такой, как я ее вижу.

Руфь ничего не ответила, и на секунду воцарилось неловкое молчание. Мартин слишком любил ее и потому не понимал, а она не понимала его потому, что он не умещался в ограниченном круге ее представлений о людях.

— А вы знаете, я получил деньги с «Трансконтинентального ежемесячника»,— сказал Мартин, желая перевести разговор на более безобидную тему, и весело расхохотался, вспомнив о том, как он изъял у редакционного трио четыре доллара девяносто центов и билет на паром.

— Чудесно! Значит, вы придете? — радостно воскликнула Руфь.— Я ведь это и хотела узнать.

— Приду? — переспросил он недоуменно.— Куда?

— К нам на обед завтра. Вы ведь сказали, что выкупите костюм, как только получите деньги.

— Я совсем забыл об этом,— смущенно проговорил Мартин.— Видите ли, в чем дело... Сегодня утром полисмен забрал двух коров Марии и теленка за потраву, а у нее как раз не было денег на уплату штрафа... Ну, я за нее и заплатил. Так что весь мой гонорар за «Колокольный звон» ушел на выкуп коров Марии.

— Значит, вы не придете?

Мартин оглядел свою поношенную одежду.

— Не могу.

Голубые глаза Руфи наполнились слезами, она укоризненно посмотрела на него, но ничего не сказала.

— На будущий год мы с вами отпразднуем День благодарения у Дельмонико, или в Лондоне, или в Париже, или где вам захочется. Я в этом уверен.

— Я читала на днях в газетах,— заметила Руфь вместо ответа,— что в почтовом ведомстве открываются вакансии. Ведь вы у них числились первым на очереди?

Мартин принужден был сознаться, что получил повестку, но не пошел.

— Я так уверен в себе, в своем успехе,— оправдывался он.— Через год я буду зарабатывать в десять раз больше, чем любой почтовик. Вот увидите.

— Ах! — только и сказала Руфь. Она встала и принялась натягивать перчатки.— Мне пора уходить, Мартин. Артур ждет меня.

Мартин крепко обнял ее и поцеловал, но Руфь безучастно приняла его ласку. Дрожь не прошла по ее телу, как обычно, она не обхватила руками его шею и не прижалась губами к его губам.

«Рассердилась,— подумал Мартин, проводив ее и возвращаясь домой.— Но почему? Конечно, жаль, что полисмен именно сегодня поймал коров, но ведь это просто досадная случайность. Никто не виноват в этом». Мартину не пришло в голову, что он мог бы поступить иначе, чем поступил. «Ну, конечно,— решил он наконец,— я в ее глазах немножко виноват и потому, что отказался от места на почте. И потом ей не понравился «Вики-Вики».

Сзади послышались шаги. Мартин обернулся и увидел подходившего к крыльцу почтальона. С привычным волнением Мартин принял от него стопку больших продолговатых конвертов. Среди них был один маленький. На нем стоял штамп «Нью-йоркского обозрения». Мартин немного помедлил, прежде чем решился распечатать его. Это не могло быть извещение о при-

нятии материала. Он не посылал ни одной рукописи в этот журнал. «Может быть,— он весь замер при этой мысли,— они хотят заказать мне статью?» Но тотчас отогнал от себя эту дерзкую, несбыточную надежду.

В конверте было коротенькое официальное письмо редактора, извещавшее его о получении прилагаемого анонимного письма, причем редактор просил Мартина не беспокоиться, ибо никаким анонимным письмам редакция не придает значения.

Прилагаемое анонимное письмо было написано от руки печатными буквами. Это был нелепый, безграмотный донос, где говорилось, что «так называемый Мартин Иден», посылающий в журналы свои рассказы и стихи, вовсе не писатель, что он просто крадет рассказы из старых журналов, перепечатывает на машинке и отправляет от своего имени. На конверте был штемпель «Сан-Леандро». Мартин сразу угадал автора. Грамматика Хиггинботама, словечки Хиггинботама, мысли Хиггинботама сквозили в каждой строчке. Письмо явно было сработано грубыми руками его любезного свойственника.

Но зачем это ему понадобилось? — спрашивал он себя. Что сделал он дурного Бернарду Хиггинботаму? Это было так нелепо, так бессмысленно. Нельзя было найти этому никакого здравого объяснения. В течение недели пришло еще с десяток подобных же писем из разных журналов восточных штатов. Очень благородно со стороны редакторов, решил Мартин. Совершенно его не зная, многие из них даже выражали ему сочувствие. Было очевидно, что к анонимным доносам они относятся с отвращением. Глупая попытка повредить ему явно не удалась. Напротив, это могло даже пойти на пользу, так как привлекло внимание редакторов к его имени. Иной из них, читая теперь его рассказ, вспомнит, что его написал тот самый Мартин Иден, о котором говорилось в анонимном письме. И — как знать — может быть, это благоприятно повлияет на судьбу его произведений!

Приблизительно тогда же произошел случай, после которого Мартин значительно упал в глазах Марии Сильвы. Однажды он застал ее на кухне в слезах, стонущую от боли; она была не в силах ворочать тяжелыми утюгами. Он тотчас же решил, что у нее грипп, дал ей хлебнуть виски, оставшегося на дне одной из бутылок, принесенных Бриссенденом, и велел лечь в постель. Но Мария ни за что не соглашалась. Она упрямо твердила, что ей необходимо догладить белье и сдать его сегодня же вечером, иначе завтра ее семерым ребятишкам нечего будет есть.

К своему великому удивлению (она не переставала рассказывать об этом до самой своей смерти), она увидела, как Мартин схватил утюг и швырнул на гладильную доску тонкую батистовую кофточку. Это была лучшая праздничная кофточка Кэт Фленаган, самой большой франтихи в квартале. Мисс Фленаган требовала, чтобы кофточка во что бы то ни стало была доставлена к вечеру. Все знали, что она водит дружбу с кузнецом Джоном Коллинзом, и, по частным сведениям Марии, они собирались завтра на прогулку в парк Золотых Ворот. Напрасно хотела Мария спасти кофточку. Мартин силою усадил ее на стул, и Мария, выпучив глаза от ужаса, следила за тем, как он яростно работает утюгами. Через десять минут Мартин подал Марии кофточку, выглаженную так, как самой Марии никогда не выгладить,— в этом Мартин заставил ее признаться.

— Я бы мог справиться еще быстрее, если бы утюги были погорячей,— объяснил он.

Но, по мнению Марии, он и так уже раскалил утюги до последней возможности.

— Вы неправильно сбрызгиваете,— сказал он ей в довершение всего,— давайте-ка я вам покажу, как это делается. Если хотите гладить быстро, надо держать сбрызнутое белье под прессом.

Мартин притащил из погреба ящик, приладил к нему крышку и запасся кусками железного лома, который ребятишки собирали для сдачи. Сбрызнутое белье было уложено в ящик и накрыто крышкой с грузом железа. На этом приготовления закончились.

— А теперь смотрите,— воскликнул Мартин, раздевшись до пояса, и схватил утюг, накаленный чуть не докрасна.

Мария потом всем рассказывала, как, кончив гладить, Мартин учил ее стирать шерстяные вещи.

— Он говорит: «Мария, больша дура, я буду учити вас». И он учил. В дэсят минута он строил уна машина. Бочка, два палка и колесна ступица. Вот!

Это приспособление Мартин заимствовал у Джо, в прачечной «Горячих Ключей». Ступица от старого колеса, приделанная к палке, служила поршнем. К другому концу была привязана веревка, пропущенная через стропило кухонного потолка, что давало возможность приводить поршень в движение одной рукой; шерстяные вещи положенные в бочку, прекрасно выколачивались с помощью этого устройства. Мария даже приспособила одного из мальчиков дергать веревку и только удивлялась хитроумию Мартина Идена.

Тем не менее, показав свое искусство и облегчив своими усовершенствованиями труд Марии, Мартин сильно упал в ее мнении. Романтический ореол, окружавший его, развеялся, как дым, после того как выяснилось, что он бывшая прачка. Его книги, важные посетители, являвшиеся в колясках или оставлявшие после себя бутылки из-под виски,— все сразу потеряло в глазах Марии всякое очарование. Он, оказывается, был простой рабочий, такой же рабочий, как и она сама, и они оба принадлежали к одному классу. От этого Мартин стал ей ближе, понятнее, но обаяние тайны рассеялось.

От своих родных Мартин отходил все дальше и дальше. После неудачного выступления мистера Хиггинботама показал себя и будущий зять — Герман Шмидт. Мартину удалось однажды пристроить несколько стишков и рассказиков и отчасти восстановить свое благосостояние. Он расплатился кое с кем из кредиторов, выкупил костюм и велосипед. Убедившись, что велосипед нуждается в починке, Мартин решил в знак дружелюбного отношения к будущему родственнику отправить его в мастерскую Германа Шмидта.

В тот же вечер Мартин, к своему удивлению и удовольствию, получил велосипед обратно. Очевидно, Шмидт решил проявить такое же дружеское расположение и починил велосипед вне очереди, да вдобавок еще прислал его на дом, чего обычно не делает ни одна мастерская. Но, осмотрев велосипед, Мартин убедился, что никакой починки произведено не было. Он позвонил в мастерскую по телефону и узнал, что Герман Шмидт «не желает с ним иметь никакого дела».

— Господин Герман Шмидт,— спокойно сказал Мартин,— я, пожалуй, зайду к вам, чтобы разочек дернуть вас хорошенько за нос.

— Если вы придете ко мне в мастерскую,— был ответ,— я пошлю за полицией! Я вам покажу! Не беспокойтесь, вам со мной не удастся затеять драку. С такими, как вы, мне не по дороге. Вы лодырь, вот вы кто, но только меня вы не проведете. Если я женюсь на вашей сестре, то из этого еще не следует, что вы можете обдирать меня. Почему вы не хотите заняться делом и честно зарабатывать себе на хлеб? А? Ну-ка, ответьте!

Мартин, как истинный философ, сдержал свой гнев и повесил трубку, только свистнув в ответ. Сначала ему было смешно, но постепенно чувство одиночества больно сдавило ему сердце.

Никто не понимал его, никому не был он нужен, кроме разве только Бриссендена, но и Бриссенден исчез бог знает куда.

Уже смеркалось, когда Мартин вышел из овощной лавки с покупками в руках. На углу остановился трамвай, и знакомая долговязая фигура соскочила с подножки. Сердце Мартина встрепенулось от радости. Это был Бриссенден собственной персоной, и при свете, падавшем из освещенных окон, Мартин успел разглядеть оттопыренные карманы его пальто. В одном были книги, а в другом бутылка.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Бриссенден не дал Мартину никаких объяснений по поводу своего долгого отсутствия, да Мартин и не расспрашивал его. Сквозь пар, клубившийся над стаканами с грогом, он с удовольствием созерцал бледное и худое лицо своего друга.

— Я тоже не сидел сложа руки,— объявил Бриссенден, после того как Мартин рассказал ему о своих последних работах.

Он вынул из кармана рукопись и передал ее Мартину, который, прочтя заглавие, вопросительно взглянул на Бриссендена.

— Да, да,— усмехнулся Бриссенден,— недурное заглавие, не правда ли? «Эфемерида» — лучше не скажешь. А слово это ваше,— помните, как вы говорили о человеке как о «последней из эфемерид», ожившей материи, теплом комочке, борющемся за свое место под солнцем. Мне это засело в голову, и я должен был написать целую поэму, чтобы наконец освободиться! Ну-ка, прочтите и скажите, что вы об этом думаете?

Читая, Мартин то краснел, то бледнел от волнения. Это было совершеннейшее художественное произведение. Здесь форма торжествовала над содержанием, если можно было говорить о торжестве там, где каждый тончайший оттенок мысли находил словесное выражение, настолько совершенное, что у Мартина перехватывало дыхание от восторга и слезы закипали на глазах. Это была длинная поэма в шестьсот или семьсот стихов. Поэма странная, фантастическая, пугающая. Казалось, невозможно, немыслимо создать нечто подобное, и все же это существовало и было написано черным по белому. В поэме изображался человек со всеми его исканиями, с его неутолимым стремлением преодолеть бесконечное пространство, приблизиться к сферам отдаленнейших солнц. Это был сумасшедший разгул фантазии в черепе умирающего, который еще жил и сердце которого билось последними слабеющими ударами. В торжест-

венном ритме поэмы слышался гул планет, треск сталкивающихся метеоров, шум битвы звездных ратей среди мрачных пространств, озаряемых светом огневых облаков, а сквозь все это слышался слабый человеческий голос, как неумолчная тихая жалоба в грозном грохоте рушащихся миров.

— Ничего подобного еще не было написано,— вымолвил Мартин, когда наконец в состоянии был заговорить.— Это изумительно! Изумительно! Я ошеломлен! Этот великий вечный вопрос не выходит у меня из головы. В моих ушах всегда будет звучать слабый, незатихающий голос человека, пытающегося постичь непостижимое! Точно предсмертный писк комара среди мощного рева слонов и рыканья львов. Но в этом писке звучит ненасытная страсть. Я, вероятно, говорю глупости, но ваша вещь совершенно завладела мною. Вы... Я не знаю, что сказать, вы просто гениальны. Но как вы это создали? Как могли вы это создать?

Мартин прервал свой панегирик только для того, чтобы перевести дух.

— Я больше не пишу. Я просто жалкий пачкун. Вы мне показали, что такое настоящее мастерство. Вы гений! Нет, больше, чем гений! Это истина, рожденная безумием. Это истина в самой своей сокровенной сущности. Вы создатель догматов, понимаете ли вы это? Даже наука не может опровергнуть вас. Это истина провидца, выкованная из черноты космоса мощным ритмом стиха, превращенная в чудо красоты и величия. Больше я ничего не скажу! Я подавлен, уничтожен! Нет, я все-таки скажу еще кое-что: позвольте мне устроить поэму в какой-нибудь журнал.

Бриссенден расхохотался.

— Да ведь во всем христианском мире не найдется журнала, который решится напечатать такую штуку! Вы сами прекрасно это знаете!

— Нет, не знаю! Я убежден, что во всем мире не найдется журнала, который бы не ухватился за это. Ведь такие произведения рождаются раз в сто лет. Это поэма не на день и не на год. Это поэма века.

— Вот именно — века!

— Не разыгрывайте циника! — возразил Мартин.— Редакторы не совсем уж кретины. Я знаю это. Хотите держать пари, что «Эфемериду» возьмут если не в первом же, то во втором месте, куда я ее предложу?

— Есть одно обстоятельство, мешающее мне принять ваше пари,— произнес Бриссенден и, немного помолчав, добавил: —

Это лучшее из всего, что я написал. Я отлично это знаю. Это моя лебединая песня. Я чрезвычайно горжусь этой поэмой. Я преклоняюсь перед ней. Она мне милее виски. Это то совершенное творение, о котором я мечтал в дни своей юности, когда человек еще стремится к идеалам и строит иллюзии. И вот я осуществил свою мечту, осуществил ее на краю могилы. Так неужели я отдам ее на поругание свиньям! Я не стану с вами держать пари! Это мое! Я создал это и делюсь им только с вами.

— Но подумайте об остальном мире! — воскликнул Мартин.— Ведь цель красоты — радовать и услаждать!

— Вот пусть это радует и услаждает меня.

— Не будьте эгоистом!

— Я вовсе не эгоист! — Бриссенден усмехнулся, словно заранее смакуя то, что он собирался сказать.— Я альтруистичен, как голодная свинья.

Напрасно Мартин пытался поколебать его в принятом решении. Мартин уверял Бриссендена, что его ненависть к журналам нелепа и фанатична и что он поступает в тысячу раз бессмысленнее Герострата, сжегшего храм Дианы Эфесской. Бриссенден слушал, попивая грог, кивал головой и даже соглашался, что его собеседник прав во всем — за исключением того, что касалось журналов. Его ненависть к редакторам не знала границ, и он ругал их гораздо ожесточеннее, чем Мартин.

— Пожалуйста, перепечатайте мне поэму,— сказал он,— вы сделаете это в тысячу раз лучше любой машинистки. А теперь я хочу дать вам один полезный совет.— Бриссенден вытащил из кармана объемистую рукопись.— Вот ваш «Позор солнца». Я три раза перечитывал его! Это самая большая похвала, на которую я способен. После того, что вы наговорили про «Эфемериду», я, разумеется, должен молчать. Но вот что я вам скажу: если «Позор солнца» будет напечатан, он наделает невероятного шуму. Из-за него поднимется жесточайшая полемика, и это будет для вас лучше всякой рекламы.

Мартин расхохотался.

— Уж не посоветуете ли вы мне послать эту статью в какой-нибудь журнал?

— Ни в коем случае, если только хотите, чтобы ее напечатали. Предложите ее одному из крупных издательств. Может быть, ее прочтет там какой-нибудь сумасшедший или основательно пьяный рецензент и даст о ней благоприятный отзыв. Да, видно, что вы читали книги! Все они переварились в мозгу Мартина Идена и излились в «Позоре солнца». Когда-нибудь

Мартин Иден станет знаменит, и немалая доля его славы будет создана этой вещью. Ищите издателя, и чем скорее вы его найдете, тем лучше!

Бриссенден поздно засиделся у Мартина в этот вечер. Мартин проводил его до трамвая, и когда Бриссенден садился в вагон, то неожиданно сунул своему другу измятую бумажку.

— Возьмите это,— сказал он,— мне сегодня повезло на скачках!

Прозвенел звонок, и трамвай тронулся, оставив Мартина в полном недоумении, с измятой бумажкой в руках. Возвратившись к себе в комнату, он развернул бумажку — это был банковский билет в сто долларов.

Мартин воспользовался им без всякого стеснения. Он отлично знал, что у его друга много денег, а кроме того, был уверен, что сможет отдать долг в очень скором времени. На следующее утро он расплатился с долгами, заплатил Марии вперед за три месяца и выкупил из заклада все свои вещи. Он купил свадебный подарок для Мэриен, рождественские подарки для Руфи и Гертруды. В довершение всего он отправился со всем семейством Сильва в Окленд и, во исполнение своего обещания (правда, опоздав на год), купил башмаки и Марии, и всем ее ребятишкам. Мало того, он накупил им игрушек и сластей, так что свертки едва помещались в детских ручонках.

Входя в кондитерскую во главе этой необыкновенной процессии, Мартин случайно повстречал Руфь и ее мать. Миссис Морз была чрезвычайно шокирована, и даже Руфь смутилась. Она придавала большое значение внешним приличиям, и ей было не очень приятно видеть своего возлюбленного в обществе целой оравы португальских оборвышей. Такое отсутствие гордости и самоуважения задело ее. И что самое скверное — Руфь увидела в этом инциденте лишнее доказательство того, что Мартин не в состоянии подняться над своей средою. Это было достаточно неприятно само по себе, и совсем уж не следовало хвастать этим перед всем миром — ее миром. Хотя помолвка Руфи с Мартином до сих пор держалась в тайне, их отношения ни для кого не составляли секрета, а в кондитерской, как нарочно, было много знакомых, и все они с любопытством поглядывали на удивительное окружение нареченного мисс Морз. Руфь, верная дочь своей среды, не умела понять широкую натуру Мартина. Со свойственной ей чувствительностью она восприняла этот случай как нечно позорное. Мартин, придя к Морзам, в тот же день, застал Руфь в таком волнении, что даже не решился вытащить из кармана свой подарок. Он в первый раз видел ее в

слезах — слезах гнева и обиды, и зрелище это так потрясло его, что он мысленно назвал себя скотиной, хотя не вполне ясно понимал, в чем его вина. Мартину и в голову не приходило стыдиться людей своего круга, и он не видел ничего унизительного для Руфи в том, что ходил покупать рождественские подарки детям Марии Сильвы. Но он готов был понять обиду Руфи, выслушав ее объяснения и истолковав весь эпизод как проявление женской слабости, которая, очевидно, свойственна даже самым лучшим женщинам.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

— Пойдемте, я покажу вам «настоящих людей»,— сказал Мартину Бриссенден в один январский вечер.

Они пообедали в Сан-Франциско и собирались уже садиться на оклендский паром, когда Бриссендену пришла фантазия показать Мартину «настоящих людей». Он повернул назад и зашагал от пристани, похожий на тень в своем развевающемся плаще; Мартин едва поспевал за ним. По дороге Бриссенден купил два галлона старого портвейна в оплетенных флягах и, держа их в руках, вскочил в трамвай, идущий по Митчен-стрит; то же сделал и Мартин, нагруженный несколькими бутылками виски. «Что бы сказала Руфь, если бы увидела меня сейчас»,— на мгновение мелькнуло у Мартина в голове, но мысли его были заняты иным: что же это за «настоящие люди»?

— Может быть, сегодня там никого не будет,— сказал Бриссенден, когда они сошли с трамвая и нырнули в темный переулок рабочего квартала к югу от Маркет-стрит.— Тогда вам не придется увидеть то, что вы давно ищете!

— А что же это такое? — спросил Мартин.

— Люди, настоящие умные люди, а не болтуны, вроде тех, которые толкутся в торгашеском логове, где я вас встретил. Вы читали книги и страдали от одиночества! Ну вот, я познакомлю вас с людьми, которые тоже кое-что читали, и вы больше не будете так одиноки.

— Я не очень интересуюсь их бесконечными спорами,— прибавил Бриссенден, пройдя один квартал,— я вообще терпеть не могу книжной философии, но зато это, несомненно, настоящие интеллигенты, а не буржуазные свиньи! Но смотрите, они вас заговорят насмерть, о чем бы ни зашла речь!

— Надеюсь, мы застанем Нортона,— продолжал он немного спустя, задыхаясь от ходьбы, но не позволяя Мартину

взять у него из рук фляги с портвейном.— Нортон — идеалист. Он кончил Гарвардский университет! Изумительная память! Идеализм привел его к философскому анархизму, и семья отреклась от него. Его папаша — президент железнодорожной компании, сверхмиллионер, а сын влачит во Фриско полуголодное существование, редактируя анархический журнальчик за двадцать пять долларов в месяц.

Мартин плохо знал Сан-Франциско, в особенности эту часть города, а потому никак не мог сообразить, куда, собственно, Бриссенден ведет его.

— Расскажите мне о них еще,— говорил он,— я хочу знать, что это за люди. Чем они живут? Как сюда попали?

— Хорошо бы застать и Гамильтона,— сказал Бриссенден, останавливаясь, чтобы перевести дух.— Собственно, у него двойная фамилия: Страун-Гамильтон; он из старинной семьи южан, но по характеру бродяга и лентяй, каких свет не видел, хоть и служит — вернее, пытается служить — в каком-то кооперативе за шесть долларов в неделю. Неисправимый бродяга! Он и в Сан-Франциско-то попал, бродяжничая. Как-то раз он целый день просидел на скамье в парке, причем у него с утра куска во рту не было, а когда я предложил ему пойти пообедать в ресторан, который находился за два квартала,— знаете, что он на это ответил? «Слишком много беспокойства, старина. Купите мне лучше пачку папирос!» Он был спенсерианец, как и вы, пока Крейс не обратил его на стезю материалистического монизма. Надо попытаться вызвать его на разговор о монизме. Нортон тоже монист, но его монизм идеалистический. У него вечные схватки с Гамильтоном и с Крейсом.

— А кто такой Крейс? — спросил Мартин.

— А вот к нему мы и идем. Бывший профессор... выгнали из университета,— самая обычная история. Ум острый, как бритва. Зарабатывает себе пропитание чем придется. Был даже уличным разносчиком. Абсолютно без предрассудков. Без зазрения совести снимет саван с покойника. Разница между ним и буржуа та, что он ворует, не занимаясь при этом самообманом. Он может говорить о Ницше, о Шопенгауэре, о Канте, о чем угодно, но интересуется он, в сущности говоря, только монизмом. Даже о своей Мэри он думает гораздо меньше, чем о монизме. Геккель для него божество. Единственный способ оскорбить его — это задеть Геккеля. Ну, вот мы и пришли.

Бриссенден поставил фляги на ступеньку лестницы, чтобы отдышаться перед подъемом. Дом был самый обыкновенный,

угловой двухэтажный дом, с салуном и бакалейной лавкой в первом этаже.

— Вся компания здесь и живет, занимает весь второй этаж,— сказал Бриссенден,— но только один Крейс имеет две комнаты. Идемте!

Наверху не горела лампочка, но Бриссенден ориентировался в темноте, словно домовой. Он остановился, чтобы сказать Мартину:

— Есть тут еще Стивенс, теософ. Когда разойдется, такого хочешь собьет с толку. Недавно устроился мыть посуду в ресторане. Любитель хороших сигар, может пообедать в обжорке за десять центов, а потом купить сигару за пятьдесят. Я на всякий случай захватил для него парочку. А еще есть австралиец по фамилии Парри,— это статистик и ходячая спортивная энциклопедия. Спросите его, какой был урожай зерна в Парагвае в тысяча девятьсот третьем году, или сколько английского холста ввезено в Китай в тысяча восемьсот девяностом году, или сколько весил Джимми Брайт, когда побил Баттлинга-Нельсона, или кто был чемпион Соединенных Штатов в среднем весе в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году, он на все вам ответит с быстротой и точностью автомата. Есть некий Энди, каменщик,— имеет на все свои взгляды и прекрасно играет в шахматы; затем — Гарри, пекарь, ярый социалист и профсоюзный деятель. Кстати, помните стачку поваров и официантов? Ее устроил Гамильтон. Он организовал союз и выработал план стачки, сидя здесь в комнате Крейса. Сделал это для собственного развлечения и больше не принимал никакого участия в делах союза из-за лени. Если бы он хотел, он бы давно занимал видный пост. В этом человеке заложены бесконечные возможности, но ленив он невообразимо.

Бриссенден продолжал продвигаться в темноте, пока не показалась полоска света из-под двери. Стук, ответное «войдите!» — и Мартин уже пожимал руку Крейсу, красивому белозубому брюнету с черными усами и большими выразительными черными глазами. Мэри, степенная молодая блондинка, мыла посуду в небольшой комнатке, служившей одновременно кухней и столовой. Первая комната была спальней и гостиной. Через всю комнату протянуты были веревки с выстиранным бельем, так что Мартин в первую минуту не заметил двух людей, о чем-то беседовавших в углу. Бриссендена и его фляги они встретили радостными восклицаниями, и Мартин, знакомясь с ними, узнал, что это Энди и Парри. Мартин с любопыт-

ством стал слушать рассказ Парри о вчерашнем боксе. А Бриссенден с азартом занялся раскупориванием бутылок и приготовлением пунша. По его команде «собрать всех сюда» Энди отправился по комнатам созывать жильцов.

— Нам повезло, почти все в сборе,— шепнул Бриссенден Мартину.— Вот Нортон и Гамильтон. Пойдемте, я вас познакомлю. Стивенса, к сожалению, пока нет. Я попробую затеять разговор о монизме. Нужно только дать им немного разойтись.

Сначала разговор не вязался, но Мартин сразу же мог оценить своеобразие и живость ума этих людей. У каждого были свои определенные взгляды, иногда противоречивые, и, несмотря на царивший здесь юмор, эти люди отнюдь не были поверхностны. Мартин заметил, что они (о чем бы ни шла беседа) обнаруживали большие научные познания и имели свои твердые и ясные воззрения на мир и на общество. Они не заимствовали готовых мнений: это были настоящие мятежники духа, и им чужда была всякая пошлость. Никогда у Морзов не встречался Мартин с таким разнообразием тем и интересов. Казалось, не было в мире вещи, о которой здесь не могли бы рассуждать без конца. Разговор перескакивал с последней книги миссис Хэмфри Уорд на новую комедию Шоу, с будущего драмы на воспоминания о Мэнсфилде. Они хвалили или высмеивали утренние передовицы, говорили о положении рабочих в Новой Зеландии, о Генри Джеймсе и Брэндере Мэтьюзе, рассуждали о политике Германии на Дальнем Востоке и экономических последствиях Желтой Опасности, спорили о выборах в Германии и о последней речи Бебеля, толковали о местной политике, о последних разногласиях в руководстве социалистической партии и о том, что послужило поводом к забастовке портовых грузчиков.

Мартин был поражен их необыкновенной осведомленностью во всех делах. Им было известно то, что никогда не печаталось в газетах, они знали все тайные пружины, все нити. К удивлению Мартина, Мэри тоже принимала участие в этих беседах и при этом показала такой ум и знания, каких Мартин не встречал ни у одной знакомой ему женщины.

Они поговорили о Суинберне и Россетти, после чего перешли на французскую литературу. И Мэри завела его сразу в такие дебри, где он оказался профаном. Зато Мартин, узнав, что она любит Метерлинка, двинул против нее продуманную аргументацию, послужившую основой «Позора солнца».

Пришло еще несколько человек, и в комнате было уже темно от табачного дыма, когда Бриссенден решил наконец начать битву.

— Тут есть свежий материал для обработки, Крейс,— сказал он,— зеленый юноша, со всем пылом молодости влюбленный в Герберта Спенсера. Ну-ка, попробуйте сделать из него геккельянца!

Крейс внезапно встрепенулся, словно сквозь него пропустили электрический ток, а Нортон сочувственно посмотрел на Мартина и ободряюще улыбнулся ему, как бы обещая свою защиту.

Крейс сразу напустился на Мартина, но постепенно и Нортон начал вставлять словечки, и, наконец, разговор превратился в настоящее единоборство между ним и Крейсом. Мартин слушал, не веря своим ушам, ему казалось просто немыслимым, что все это происходит наяву, да еще где — в рабочем квартале, к югу от Маркет-стрит. В этих людях словно ожили все книги, которые он читал. Они говорили с жаром и увлечением, игра ума возбуждала их так, как других возбуждает гнев или спиртное. Это не была сухая философия печатного слова, созданная мифическими полубогами вроде Канта и Спенсера. Это была живая философия, она вошла в плоть и кровь спорщиков, кипела и бушевала в их речах. Постепенно и другие втянулись в спор и следили за ним с напряженным вниманием, дымя папиросами.

Мартин никогда не увлекался идеализмом, но в изложении Нортона он явился для него откровением. Однако Крейса и Гамильтона не убеждала та логика, которая Мартину казалась неопровержимой, они смеялись над Нортоном, называя его метафизиком, а тот, в свою очередь, называл метафизиками их самих.

«Феномены» и «ноумены» так и носились в воздухе. Крейс и Гамильтон обвиняли Нортона в попытках объяснить сознание из самого сознания. А тот, в свою очередь, обвинял их в том, что они жонглируют словами и строят обобщения не на основе фактов, а на основе понятий. Это их бесило. Их основной принцип к тому и сводился, что следует начинать с фактов и фактам давать наименование.

Когда Нортон углубился в сложные построения Канта, Крейс сказал, что всякий добропорядочный немецкий философ старой школы после смерти попадает в Оксфорд. Когда Нортон упомянул о гамильтоновском законе условного, его противники немедленно объявили, что именно они основываются на этом

законе. А Мартин слушал, обхватив колени руками и дрожа от восторга. Нортон не был истинным сторонником Спенсера, и потому он часто в разгаре спора обращался к Мартину, полемизируя с ним так же, как и с другими противниками.

— Вы знаете, что Беркли еще никто по-настоящему не ответил,— говорил он, обращаясь к Мартину.— Герберт Спенсер подошел ближе других, но и он, в сущности говоря, не дал исчерпывающего ответа. Самые смелые из его последователей не могут пойти дальше. Я читал статью Салиби о Спенсере. Даже он говорит, что Спенсеру «почти» удалось ответить Беркли.

— А вы помните, что сказал Юм?! — воскликнул Гамильтон.

Нортон кивнул головой, но Гамильтон счел нужным пояснить остальным:

— Юм сказал, что аргументы Беркли не допускают никакого ответа и совершенно неубедительны.

— Неубедительны для Юма,— возразил Нортон.— А Юм мыслил точно так же, как и вы, с одной только разницей: у него хватало ума признать, что Беркли ответить невозможно.

Нортон был очень горяч и вспыльчив, хотя не терял самообладания, а Крейс и Гамильтон напоминали хладнокровных дикарей, которые спокойно и неторопливо изучают слабые места противника. Под конец вечера Нортон, обозленный непрестанными упреками в том, что он метафизик, вцепился обеими руками в стул, чтобы не вскочить на ноги в пылу спора, и, сверкая глазами, предпринял решительный натиск на своих противников.

— Ладно, геккельянцы,— закричал он,— может быть, я рассуждаю, как колдун и знахарь, но хотел бы я знать, вы-то как рассуждаете? Ведь вам же не на что опереться, хотя вы и кричите о позитивной науке где надо и где не надо. Вы невежественные догматики! Ведь еще задолго до возникновения школы материалистического монизма вся почва была до того перерыта, что никакого фундамента уже нельзя было заложить. Локк — вот кто сделал это! Джон Локк! Двести лет назад, даже больше, он в своем «Опыте о человеческом разуме» доказал нелепость понятия врожденной идеи. А вы этим занимаетесь до сих пор. Доказываете мне сегодня в продолжение целого вечера, что никаких врожденных идей не существует. А что это значит? Это значит, что человек не может постичь высшей реальности. Когда вы рождаетесь, у вас в мозгу нет ничего. Все дальнейшее познание зиждется только на феноменах, на восприятиях, получаемых вами с помощью пяти чувств. Ноу-

мены, которых не было у вас в мозгу при рождении, не могут никак попасть туда и после.

— Неверно...— перебил его Крейс.

— Дайте мне договорить! — воскликнул Нортон.— Вашему познанию доступны только те проявления взаимодействия силы и материи, которые так или иначе влияют на ваши чувства. Видите, ради удобства спора я готов даже признать, что материя существует! Но я вас сейчас уничтожу вашим же собственным аргументом. Другого пути у меня нет, так как, к сожалению, вам обоим недоступно абстрактное мышление. Так вот, скажите, исходя из положений высшей позитивной науки, что вы знаете о материи? Вы знаете только то, что воспринимаете, то есть опять-таки только феномены. Вам доступны только изменения материи, вернее, даже только то, что воспринимается вами как ее изменение. Позитивная наука имеет дело только с феноменами, а вы, безумцы, воображаете, что имеете дело с ноуменами, и считаете себя онтологами. Да, позитивная наука оперирует только с внешними явлениями. Кто-то уже сказал однажды, что наука о явлениях не может возвыситься над явлениями. Вы не можете ответить Беркли, даже если сумеете опровергнуть Канта; однако вы утверждаете, что Беркли не прав, ибо ваша наука, отрицая существование бога, не сомневается в существовании материи. Я признал сейчас существование материи только для того, чтобы вы поняли ход моих мыслей. Сделайте одолжение, будьте позитивистами, но онтологии нет места среди позитивных наук. Стало быть, оставьте ее в покое. Спенсер прав, как агностик, но если Спенсер...

Однако приближалось время отхода последнего окленд-ского парома, и Бриссенден с Мартином вынуждены были уйти. Они выскользнули незамеченными, пока Нортон продолжал говорить, а Крейс и Гамильтон ждали случая, чтобы наброситься на него, как пара разъяренных гончих.

— Вы открыли мне волшебную страну,— сказал Мартин Бриссендену, когда они оба взошли на паром.— Поговорив с такими людьми, чувствуешь, что жить стоит! У меня голова идет кругом! Я до сих пор не понимал толком, что такое идеализм. Я и теперь не могу принять его. Я знаю, что всегда останусь реалистом,— так уж создан, должно быть. Но я охотно поспорил бы с Крейсом и Гамильтоном, и для Нортона у меня тоже нашлось бы два-три словечка. Не вижу, чтобы Спенсеру были сделаны серьезные возражения. Я взволнован, как ребенок, впервые побывавший в цирке. Теперь я вижу, что мне еще

очень многое нужно прочитать. Надо будет достать книгу Салиби! Я убежден, что Спенсер неуязвим. В следующий раз я тоже приму участие в споре...

Но Бриссенден дремал, тяжело дыша, уткнувшись худым подбородком в теплый шарф, и его тощее тело вздрагивало при каждом обороте винта.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

На следующее утро Мартин, вопреки советам Бриссендена, отправил в «Акрополь» «Позор солнца». Он не терял надежды на то, что какой-нибудь журнал напечатает статью, а добившись успеха в журналах, ему легче будет пробивать себе дорогу в книгоиздательства. «Эфемериду» он также переписал на машинке и отправил. Несмотря на почти маниакальную ненависть Бриссендена к редакторам и журналам, Мартин твердо решил, что поэма должна увидеть свет. Он, конечно, не предполагал печатать ее без разрешения автора. Ему хотелось, чтобы какой-нибудь крупный журнал принял ее, а тогда, думал Мартин, можно будет добиться согласия Бриссендена.

И в то же утро Мартин начал писать повесть, которую задумал уже недели три тому назад и которая с тех самых пор настойчиво просилась на бумагу. Это должна быть повесть из морской жизни, образец романтики двадцатого века, с увлекательным сюжетом, с реальными характерами и реальной обстановкой. Но под занимательной фабулой должно было скрываться нечто такое, чего поверхностный читатель не мог заметить, но что, впрочем, не мешало бы и такому читателю получать удовольствие при чтении. Именно это «что-то», а не перипетии сюжета, было для Мартина самым главным в повести. Его всегда увлекала в произведении идея, и сюжет зависел от нее. Определив для себя эту идею, он искал такие образы и такие ситуации, в которых она могла получить наиболее яркое выражение. Повесть должна была называться «Запоздалый» и по объему не превышать шестидесяти тысяч слов,— а при работоспособности и творческой энергии Мартина это были, разумеется, сущие пустяки. В первый же день, начав писать, он испытал глубокое наслаждение мастера. Он уже не опасался, что неловкость, беспомощность литературной формы обеднит его мысль. Долгие месяцы упорного, напряженного труда принесли, наконец, желанные плоды. Теперь он мог идти твердо и неуклонно к своей цели, и, самозабвенно отдаваясь работе,

он чувствовал, как никогда прежде, что правильно понимает жизнь и умеет показать ее. В «Запоздалом» Мартину хотелось изобразить действительные происшествия и вывести реальных людей, реально мыслящих и чувствующих. Но, кроме того, в повести должен был заключаться великий тайный смысл, идея, равно справедливая для всех стран, всех времен и народов. «И все это благодаря Герберту Спенсеру,— подумал Мартин, откинувшись на спинку стула.— Да, благодаря Герберту Спенсеру и тому великому ключу к мирозданию, который он дал мне в руки и который зовется эволюцией!»

Мартин отчетливо сознавал значительность того, что он создавал сейчас. «Дело пойдет! Пойдет!» — мысленно твердил он себе. Да, дело пошло. Наконец-то он напишет такую вещь, за которую тотчас же ухватится любой журнал. Вся повесть целиком словно горела перед ним огненными буквами. Мартин оторвался от работы и набросал в записной книжке заключительный отрывок. Вся композиция вещи была настолько ясна ему, что он вполне мог написать конец задолго до того, как подошло время его написания. Он сравнивал свою еще не законченную повесть с морскими рассказами других писателей и пришел к убеждению, что его произведение неизмеримо выше.

— Только один человек мог бы написать нечто подобное,— пробормотал Мартин,— это Конрад. Но и Конрад вполне бы мог пожать мне руку за эту повесть и сказать: «Хорошо сработано, Мартин, дружище!»

Проработав почти весь день, Мартин вдруг вспомнил, что приглашен обедать к Морзам. Благодаря Бриссендену его черный костюм был выкуплен из заклада, и Мартин мог теперь снова появляться в обществе. По дороге он забежал в библиотеку и взял там книгу Салиби «Цикл жизни». Он решил еще в трамвае прочесть ту статью, о которой упоминал Нортон. Читая, Мартин пришел в ярость. Лицо его пылало, глаза сверкали, он бессознательно сжимал кулаки, словно угрожая кому-то. Выйдя из трамвая, он зашагал по улице торопливым шагом человека, доведенного до последней степени неистовства, и с такой злостью надавил звонок у двери Морзов, что тут же опомнился и добродушно расхохотался. Но как только он вошел в дом, его тотчас охватила глубокая тоска. У него словно подломились крылья, и он сразу упал с тех высот, на которые занесло его вдохновение.

«Буржуа! Торгаши!» — вспомнил он любимые выражения Бриссендена. «Ну и что же? — сердито перебил он сам себя.— Ведь я женюсь на Руфи, а не на ее семье!»

Казалось, Руфь никогда еще не была такой прекрасной, такой одухотворенной и в то же время такой здоровой и свежей. Ее щеки слегка зарумянились, и Мартин не мог отвести взгляда от ее глаз — синих глаз, в которых он впервые увидел отблеск бессмертия. Правда, за последнее время он забыл о бессмертии, увлеченный чтением научной литературы, но теперь в глазах Руфи он прочел безмолвный аргумент, который был убедительнее всех словесных аргументов. Мартин прочел в них любовь. Та же любовь сияла и в его глазах, а любовь бесспорна. Таково было его глубочайшее пламенное убеждение.

Те полчаса, которые он провел с Руфью перед обедом, сделали его опять счастливым и довольным жизнью. Но во время обеда Мартин почувствовал необычайное утомление — оно явилось как естественная реакция после дня напряженной работы. Глаза у него устали и болели, все вызывало раздражение. Мартину вспомнилось, как за этим самым столом, где теперь ему не раз бывало смешно и скучно, он впервые оказался в обществе цивилизованных людей, в атмосфере высокой, как ему представлялось, и утонченной культуры. Должно быть, он являл тогда собой забавное и трогательное зрелище. Полудикарь, обливающийся потом от страха и смущения, сбитый с толку сложностью обеденного ритуала, угнетаемый величественным лакеем, мучительно старающийся оказаться на высоте того положения, в которое его поставил случай, пока, наконец, он не пришел к отчаянному решению: быть самим собой, не пытаясь блеснуть ни знаниями, ни изысканными манерами, которых у него не было.

Мартин бросил на Руфь мимолетный взгляд; таким взглядом пассажир на судне при мысли о возможной опасности проверяет, на месте ли спасательный круг. Да! Только это и выдержало испытание временем: любовь и Руфь. Все остальное развеялось, как мираж, едва он начал читать книги. Но Руфь и любовь не были миражем. Для них он нашел биологическое оправдание. Любовь была высшим проявлением жизни. Природа предписывала ему любить и готовила его для этого, как и всякого нормального человека. Десятки тысяч, сотни тысяч — нет! — миллионы веков она билась над совершенствованием человеческой породы для этой цели, и он, Мартин, несомненно, явился венцом ее творения. Она вдохнула в Мартина любовь, в мириады раз увеличила ее силу, наделив его даром фантазии, и послала его в мир, чтобы он изведал волнение, и трепет, и радость свершений. Он пожал под столом руку Руфи. Ответом было такое же жаркое пожатие. Они быстро перегля-

нулись, и ее глаза блеснули любовно и ласково. Глаза Мартина тоже блестели, и он даже не подозревал, что блеск в глазах Руфи был, в сущности говоря, лишь отражением того огня, который горел в его взоре.

Наискосок от него, по правую руку мистера Морза, сидел судья Блоунт, член верховного суда штата. Мартин уже не раз встречался с ним и, по правде говоря, не чувствовал к нему особенного расположения. Судья беседовал с отцом Руфи о профсоюзах, о политическом положении и о социализме. Мистер Морз, стараясь втянуть Мартина в разговор, назвал его сторонником социалистического учения. Судья Блоунт посмотрел на него с отеческим состраданием. Мартин усмехнулся про себя.

— Это у вас пройдет, молодой человек,— сказал судья ласково,— детские болезни лучше всего излечиваются временем! (Говоря так, судья повернулся к мистеру Морзу.) Я никогда не спорю в таких случаях: это только возбуждает в пациенте упрямство.

— Совершенно справедливо,— важно ответил мистер Морз,— но иногда все же полезно бывает предупредить пациента о возможных последствиях болезни.

Мартин засмеялся, хотя не без некоторого усилия. День был таким долгим, работа такой напряженной, что усталость давала себя знать.

— Несомненно, вы превосходные доктора,— сказал он,— но, если вы хоть немножко интересуетесь мнением пациента, позвольте ему сказать, что вы ошиблись в диагнозе. На самом деле это вы оба страдаете той болезнью, которую приписываете мне. Я же совершенно невосприимчив к ней. Социалистическая философия, которая вас так волнует, меня ничуть не затронула.

— Ловко, ловко,— пробормотал судья,— прекрасный прием в споре — обращать обвинение против обвинителя.

— А я говорю на основании ваших слов! — сказал Мартин. Глаза его сверкнули, но он пока сдерживался.— Видите ли, господин судья, я слышал ваши предвыборные речи. Благодаря особой мыслительной передержке,— это мое любимое выражение, хотя оно не всем понятно,— вы убедили себя в том, что вы сторонник принципов конкуренции и выживания сильнейшего, но в то же время вы принимаете все меры к тому, чтобы обессилить сильного.

— Молодой человек!..

— Не забудьте, что я слышал ваши речи! — перебил Мартин.— Ваша позиция в вопросе о регламентации торговли между штатами, об урегулировании деятельности компании

«Стандард Ойл» и железнодорожного треста, о планомерной эксплуатации лесов и так далее и тому подобное сводится к требованию ограничительных мер, то есть по существу совпадает с позицией социалистов.

— Но разве, по-вашему, не следует обуздывать все эти непомерные притязания на власть?

— Не о том речь. Я хочу только доказать вам, что вы ошиблись в диагнозе и что я нисколько не заражен бактерией социализма. Я хочу доказать вам, что вы сами, именно вы, заражены этой вредоносной бактерией! Что касается меня, то я исконный враг социализма так же, впрочем, как и вашей ублюдочной демократии, которая, в сущности говоря, есть псевдосоциализм, только прячущийся под сложной игрой пустых слов. Я реакционер, настолько убежденный реакционер, что вам, живущим под колпаком фальшивых общественных отношений, никогда не понять моих взглядов, ибо вы слишком близоруки, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь этот колпак. Вы делаете вид, что вы верите в победу сильнейшего, а я действительно в это верю. Вот в чем разница. Когда я был чуть моложе — всего несколько месяцев тому назад,— я думал так же, как и вы. Понимаете, в свое время ваши идеи произвели на меня известное впечатление. Но торгаши и лавочники — трусливые правители; их стремления не идут дальше наживы, и мне оказалась больше по душе аристократия, если уж на то пошло. В этой комнате я единственный индивидуалист. Я ничего не жду от государства. Только сильная личность, всадник на коне может спасти государство от неизбежного разложения. Ницше был прав. Я не буду терять время и объяснять вам, кто такой Ницше, но он был прав! Мир принадлежит сильным, которые так же благородны, как и могучи, и они не барахтаются в болоте купли и продажи. Мир принадлежит истинным аристократам, белокурым бестиям, тем, кто не идет ни на какие компромиссы и всегда говорит жизни только «да». И они поглотят вас — вас, социалистов, боящихся социализма и воображающих себя индивидуалистами. Ваша рабья мораль золотой середины не спасет вас! Ну, конечно, все это для вас китайская грамота, и я не буду больше надоедать вам. Но помните одно! В Окленде не наберется и полдюжины настоящих индивидуалистов, но один из них — ваш покорный слуга Мартин Иден.

И Мартин повернулся к Руфи, как бы давая понять, что он считает спор законченным.

— Я сегодня устал,— сказал он,— мне хочется любви, а не разговоров.

Он оставил без ответа замечание мистера Морза, который сказал:

— Вы меня не убедили. Все социалисты — иезуиты. Это их отличительный признак.

— Ничего! Мы еще сделаем из вас доброго республиканца,— сказал судья Блоунт.

— Всадник на коне явится раньше, чем это случится,— добродушно возразил Мартин и опять повернулся к Руфи.

Но мистер Морз был недоволен. Ему не нравились леность и презрение к нормальным, разумным видам деятельности, проявляемые его будущим зятем, образ мыслей которого был ему чужд, а натура — непонятна. И мистер Морз решил направить беседу на учение Герберта Спенсера. Мистер Блоунт поддержал этот разговор, и Мартин, навостривший уши, как только было произнесено имя философа, услыхал, что судья с самодовольной важностью критикует идеи Спенсера. Мистер Морз временами поглядывал на Мартина, словно желая сказать: «Слышите, дитя мое?»

— Болтливая сорока,— проворчал Мартин и продолжал говорить с Руфью и Артуром.

Но дневная усталость и вчерашние споры с «настоящими людьми» взяли свое; к тому же он еще не излил вполне раздражения, которое вызвала в нем статья, прочитанная в трамвае.

— В чем дело? — встревоженно спросила Руфь, заметив, с каким усилием Мартин пытается сдержать себя.

— «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его»,— произнес судья.

Мартин тотчас же повернулся к нему.

— Дешевая острота,— заметил он спокойно,— впервые я услыхал ее в Сити-Холл-парке из уст одного рабочего, которому следовало, пожалуй, быть умнее. С тех пор я часто слышал эти слова, и всякий раз меня тошнило от их пошлости. Как вам не стыдно! Имя великого и благородного человека в ваших словоизлияниях — словно капля росы в стоячей луже. Вы внушаете мне отвращение!

Слова Мартина поразили присутствующих, точно удар грома. Судья Блоунт побагровел, и за столом воцарилось зловещее молчание. Мистер Морз втайне радовался. Он видел, что его дочь шокирована. Он добился своего: вызвал вспышку природной грубости у этого ненавистного ему человека.

Руфь с мольбой сжала под столом руку Мартина, но в нем уже закипела кровь. Его возмущали самомнение и тупость

людей, занимающих высокое положение. Член верховного суда! Подумать только, каких-нибудь два-три года назад он готов был преклонятся перед такими людьми, видя в них существа чуть ли не божественной породы.

Судья Блоунт пришел в себя и даже попытался продолжать разговор, обращаясь к Мартину с нарочитой вежливостью, но тот понял, что это делается исключительно ради присутствующих дам. Это окончательно взбесило Мартина. Неужели в мире вовсе нет честности?

— Не вам спорить со мной о Спенсере! — крикнул он.— Вы так же мало знаете Спенсера, как и его соотечественники. Я знаю, это не ваша вина! В этом виновато всеобщее современное невежество. С образчиком такого невежества я имел случай познакомиться только что, когда ехал сюда! Я читал труд Салиби о Герберте Спенсере. Вам бы следовало его прочесть. Книга доступна для всех. Вы можете найти ее в любом магазине и в любой библиотеке. Когда вы прочтете то, что написал Салиби про этого великого человека, даже вам, я уверен, станет неловко. Это такой рекорд пошлости, перед которым ваша пошлость бледнеет. Академический философ, недостойный дышать одним воздухом со Спенсером, называет его «философом недоучек». Я уверен, что вы не прочли и десяти страниц из сочинений Спенсера, но были критики и поумнее вас, которые читали не больше, однако имели наглость во всеуслышание указывать последователям Спенсера на ложность его идей! Понимаете? Идей человека, гений которого охватил все стороны научного познания; он был отцом психологии; он произвел целый переворот в области педагогики, так что деревенские ребята где-нибудь во Франции теперь учатся читать, писать и считать по методам, предложенным Спенсером. Жалкие людишки, оскорбляющие его память, добывают себе в то же время кусок хлеба практическим применением его идей. Ведь если у них есть хоть что-нибудь в голове, то этим они обязаны ему! Ведь если бы его не было, они не имели бы и тех ничтожных знаний, которые они затвердили, как попугаи. А какой-нибудь господин вроде оксфордского ректора Фэрбэнкса, который занимает место повыше вашего, судья Блоунт, смеет говорить, что потомство назовет Спенсера скорее поэтом и мечтателем, нежели мыслителем. Тявкающие шавки — вот это кто! Один изрек, что «Основные начала» не лишены литературных красот». Другие кричат, что он труженик ума, но не оригинальный мыслитель. Тявкающие шавки! Свора тявкающих шавок!

Мартин умолк среди гробовой тишины. В семье Руфи уважали судью Блоунта как человека почтенного и заслуженного, и выходка Мартина повергла всех в ужас. Конец обеда прошел в самом погребальном настроении. Судья и мистер Морз вполголоса беседовали между собой; у других разговор вовсе не клеился.

Когда Мартин и Руфь после обеда остались вдвоем, произошла бурная сцена.

— Вы невозможный человек,— говорила Руфь, вся в слезах.

Но его гнев еще не утих, и он грозно бормотал:

— Скоты! Какие скоты!..

Когда Руфь сказала, что Мартин оскорбил судью, он возразил:

— Чем же я его, по-вашему, оскорбил? Тем, что сказал правду?

— Мне все равно, правда это или нет,— продолжала Руфь,— есть известные границы приличий, и вам никто не давал права оскорблять людей!

— А кто дал судье Блоунту право оскорблять истину? — воскликнул Мартин.— Оскорбить истину гораздо хуже, чем оскорбить какого-то жалкого человечишку. Но он сделал еще хуже! Он очернил имя величайшего и благороднейшего мыслителя, которого уже нет в живых. Ах, скоты! Ах, скоты!

Ярость Мартина испугала Руфь. Она впервые видела его в таком неистовстве и не могла понять причины этого беззассудного, с ее точки зрения, гнева. И в то же время Руфь попрежнему неотразимо влекло к нему, так что она не удержалась и в самый неожиданный момент обхватила руками его шею. Она была оскорблена и возмущена всем, что случилось, и тем не менее голова ее лежала у него на груди, и, прижимаясь к нему, она слушала, как он бормотал:

— Скоты, ах, скоты!

И не подняла головы, даже когда он сказал:

— Я больше не буду портить вам званых обедов, дорогая. Ваши друзья не любят меня, и я не хочу им навязываться. Они так же противны мне, как я им. Фу! Они просто отвратительны! Подумать только, что я когда-то смотрел снизу вверх на людей, которые занимают важные посты, живут в роскошных домах, имеют университетский диплом и банковский счет! Я по своей наивности воображал, что они в самом деле достойны уважения.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

— Пойдемте в социалистический клуб! — сказал Бриссенден, едва оправившись после кровохарканья, которое случилось у него полчаса назад — второе за последние три дня. В дрожащих руках он держал неизменный стакан виски.

— А что мне там делать? — спросил Мартин.

— Посторонним разрешается брать слово на пять минут,— сказал больной,— вот вы и выступите. Скажите им, почему вы против социализма. Скажите им, что вы думаете о них и об их трущобной этике. Бросьте им в лицо Ницше, пусть заварится каша. Им полезны такие споры, да и вам тоже! Мне бы очень хотелось, чтобы вы стали социалистом, прежде чем я умру. Это придаст смысл вашей жизни и спасет в час разочарования, который, несомненно, наступит.

— Не понимаю, как вы, именно вы, можете быть социалистом,— заметил Мартин,— ведь вы ненавидите толпу. И правда, какое дело вам, эстету, до ее интересов и стремлений? — Мартин с укоризной показал на виски: — Вас, по-видимому, социализм не спасает.

— Я очень болен,— отвечал Бриссенден.— Вы другое дело. Вы человек здоровый, у вас все впереди, и вам надо иметь какую-нибудь цель в жизни. Вы удивляетесь, почему я социалист? Ну что ж, скажу. Потому что социализм неизбежен; потому что современный строй прогнил и не может продержаться долго; потому что время вашего всадника на коне прошло. Рабы не пойдут за ним. Рабов слишком много, и они стащат его на землю, едва он успеет занести ногу в стремя. От этого не уйти, вам придется проглотить их мораль. Конечно, это не очень сладко. Но тут уже ничего не поделаешь. Вы с вашими ницшеанскими идеями просто троглодит, Мартин. Что прошло — прошло, и тот, кто говорит, что история повторяется, лжет. Вы правы, я не люблю толпу, но как же быть? Всадника на коне не дождаться, а я предпочту что угодно, только не власть трусливых буржуазных свиней. Идемте. Если я останусь здесь хоть ненадолго, я напьюсь вдребезги! А вы знаете, что говорит доктор? Впрочем, к черту доктора! Мне ужасно хочется оставить его в дураках.

Был воскресный вечер, и небольшой зал оклендского социалистического клуба был битком набит, главным образом рабочими. Оратор, умный еврей, понравился Мартину, хоть своими речами сразу вызвал в нем чувство протеста. Узкие плечи и впалая грудь оратора изобличали истинного сына гетто,

и, глядя на него, Мартин ясно представил себе вечную войну жалких и слабых рабов против горсточки сильных мира сего, которые правили ими искони и всегда будут править. Для Мартина в этом тщедушном человеке заключался символ. Он был воплощением массы хилых и неприспособленных людей, гибнущих по неизбежному биологическому закону на тернистых путях жизни. Они были обречены. Несмотря на хитроумную философию и муравьиную склонность к коллективизму, природа отвергла их ради могучих и сильных людей. Природа отбирала лучшие свои создания, и люди стали подражать ей, разводя сортовые овощи и породистых лошадей. Конечно, творец мира мог придумать кое-что получше, но людям приходится считаться с принятым порядком вещей. Разумеется, перед гибелью они могут извиваться и корчиться, как это делают социалисты, могут собираться и толковать о том, как уменьшить тяготы земного существования и перехитрить вселенную.

Так думал Мартин, и эти свои соображения он высказал, когда Бриссенден, наконец, убедил его выступить и задать жару присутствующим. Он взошел на трибуну и, как полагалось, обратился к председателю. Он заговорил сначала очень тихо, слегка запинаясь, стараясь привести в порядок мысли, которые нахлынули на него во время речи того еврея. Каждому оратору на таких митингах предоставлялось пять минут. Но когда истекли положенные пять минут, Мартин только еще успел войти во вкус своей речи, только развертывал критику социалистических доктрин, а так как он возбудил в слушателях большой интерес, то они единогласно потребовали у председателя продлить время. Они увидели в этом неизвестном молодом человеке достойного противника и напряженно следили за каждым его словом. Мартин говорил с необычайным увлечением, не прибегая к околичностям, и, нападая на рабскую мораль, прямо указывал, что под рабами он разумеет именно своих слушателей. Он цитпровал Спенсера и Мальтуса и прославлял биологический закон мирового развития.

— Итак,— резюмировал он свою речь,— не может существовать государство, состоящее только из рабов! Основной закон эволюции действует и здесь! В жизненной борьбе, как я уже показал, побеждает сильный и потомство сильного, а слабый и его потомство обречены на гибель. И в результате этого процесса сила сильных увеличивается с каждым поколением. Вот что такое эволюция! А вы, рабы,— сознавать себя рабом неприятно, согласен,— вы, рабы, мечтаете об обществе,

не подчиняющемся великому закону эволюции. Вы хотите, чтобы хилые и неприспособленные не погибали. Вы хотите, чтобы слабые ели так же, как и сильные, и столько, сколько им хочется. Вы хотите, чтобы слабые наравне с сильными вступали в брак и производили потомство. Каков же будет результат? Сила и жизнеспособность человечества не будет возрастать с каждым поколением. Напротив. Она будет уменьшаться. Вот Немезида вашей «рабской философии». Ваше общество — общество, созданное рабами, для рабов, именем рабов,— начнет постепенно слабеть и разрушаться, пока наконец совсем не погибнет. Помните, я исхожу из биологических законов, а не сентиментальной морали. Государство рабов существовать не может.

— Ну, а Соединенные Штаты? — крикнул кто-то.

— Соединенные Штаты? — возразил Мартин.— Тринадцать колоний изгнали своих правителей и образовали так называемую республику. Рабы стали сами себе господами. Господ, правящих с помощью меча, больше не было. Но рабы не могли оставаться без господ, и вот возник новый вид правителей — не смелые, благородные и сильные люди, а жалкие пауки, торгаши и ростовщики! И они поработили вас снова, но не открыто, по праву сильного, а незаметно, разными махинациями, хитростью, обманом и ложью. Они подкупили ваших судей, извратили ваши законы и держат ваших сыновей и дочерей под гнетом, перед которым побледнели все ужасы узаконенного рабства. Два миллиона ваших детей трудятся сейчас под игом промышленной олигархии Соединенных Штатов. Десять миллионов рабов живут, не имея ни крова, ни хлеба. Нет, государство рабов не может существовать, ибо это противоречит биологическому закону эволюции. Как только организуется общество рабов, немедленно наступает упадок и вырождение. Вы отрицаете законы эволюции? Хорошо! Где же тот новый, другой закон, на который вы рассчитываете опереться? Формулируйте его. Или это уже сделано? Ну, тогда скажите мне его.

Мартин сел на свое место под оглушительный шум всей аудитории. Человек двадцать повскакало с мест, требуя слова. Один за другим, с жаром и воодушевлением, усиленно жестикулируя, они под аплодисменты отражали атаку Мартина. Это было настоящее побоище, ожесточенная схватка идей. Многие из ораторов сбивались на общие темы, но большинство непосредственно возражало Мартину. Они кидали ему новые для него мысли; открывали перед ним новые возможности применения старых биологических законов. Они слишком были увлечены,

чтобы помнить о вежливости, и председателю несколько раз пришлось призывать их к порядку.

Случилось, что на собрании присутствовал молодой репортер из начинающих, истомившийся в погоне за сенсацией. Он не обладал ни умом, ни опытом. Он обладал только развязностью газетчика. Он был слишком невежествен, чтобы следить за смыслом спора. Но в нем жила приятная уверенность, что он гораздо выше всех этих болтливых маньяков из рабочего класса. К тому же он весьма уважал сильных мира сего, занимающих высокие посты и определяющих политику наций и газет. У него был даже свой идеал: он мечтал стать первоклассным репортером, таким, который умеет из ничего создавать очень многое.

Он так и не понял, о чем, в сущности, шел разговор. Да ему и не нужно было знать этого. Он руководствовался отдельными словами, вроде «революция». Как палеонтолог по одной найденной кости восстанавливает целый скелет, так и этот репортер надеялся воспроизвести целую речь по одному только запомнившемуся слову «революция». Этим он и занялся в тот же вечер, и занялся весьма успешно, а так как выступление Мартина вызвало больше всего шума, то репортер решил вложить эту речь ему в уста, изобразив его анархистом, а его реакционный индивидуализм превратив в самый крайний красный социализм. Молодой репортер был не лишен литературного дара и очень живописно изобразил свирепых длинноволосых людей, неврастеников и дегенератов, потрясающих кулаками и издающих злобные возгласы под нестройный гул разъяренной толпы.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

На следующий день, за утренним кофе, Мартин по обыкновению читал газету. В первый раз в жизни увидал он свое имя, напечатанное крупным шрифтом на первой странице. С изумлением он узнал, что является одним из виднейших лидеров оклендских социалистов. Он пробежал глазами пламенную речь, сочиненную за него молодым репортером, и сначала был возмущен этим бесстыдным измышлением, но в конце концов со смехом отшвырнул газету.

— Или это писал пьяный, или за этим скрывается какой-то преступный умысел,— сказал он Бриссендену, который пришел к нему после обеда и устало опустился на единственный стул. Сам Мартин, по обыкновению, сидел на кровати.

— А вам не все ли равно? — сказал Бриссенден.— Неужели вы придаете значение мнению буржуазных свиней, которые читают газеты?

Мартин на минуту задумался.

— Конечно, мне нет до них никакого дела. Я только боюсь, как бы это не осложнило моих отношений с семьею Руфи. Ее отец уверен, что я социалист, а эта писанина послужит подтверждением. Мне наплевать, что он думает, но все-таки... А впрочем, какая разница? Я хочу прочесть вам то, что я сегодня написал. Все тот же «Запоздалый», конечно. Уже около половины готово.

Мартин только что начал читать, как вдруг Мария отворила дверь и впустила прилично одетого молодого человека, который быстро огляделся по сторонам, задержал взгляд на керосинке и кухонном ящике и наконец обратил его на Мартина.

— Садитесь! — сказал Бриссенден.

Мартин подвинулся, чтобы дать гостю место, и вопросительно посмотрел на него.

— Я слышал вашу вчерашнюю речь, мистер Иден,— начал молодой человек после непродолжительного молчания.— Я бы хотел проинтервьюировать вас.

Бриссенден разразился хохотом.

— Собрат-социалист? — спросил репортер, кидая быстрый взгляд на Бриссендена и словно мысленно прикидывая, какой эффект будет иметь описание этого живого мертвеца.

— И он написал этот отчет,— задумчиво произнес Мартин,— такой мальчишка?

— Почему бы вам не вздуть его? — спросил Бриссенден.— Я бы отдал сейчас тысячу долларов за то, чтобы на пять минут вернуть себе здоровые легкие.

Юный журналист был несколько ошеломлен этим разговором, который велся так, будто его тут не было. Но он только что удостоился похвалы редактора за блестящий отчет о социалистическом митинге и получил задание проинтервьюировать Мартина Идена, лидера организованных врагов существующего порядка.

— Вы не возражаете, если мы вас сфотографируем, мистер Иден? — спросил он.— Я захватил с собою фотографа, и он говорит, что нужно поторопиться. А то солнце сядет. Мы можем побеседовать с вами после.

— Фотограф? — протянул Бриссенден.— Ну, что же вы, Мартин? Вздуйте его!

— Старею я, видно,— отвечал Мартин.— Вот знаю, что его нужно вздуть, но как-то энергии не хватает. Да и ради чего?

— Ради его бедной матери,— возразил Бриссенден.

— Пожалуй, это веское соображение,— согласился Мартин,— но все равно оно не вызывает у меня прилива энергии. Ведь для того, чтобы вздуть кого-нибудь, необходимо затратить энергию. Да и стоит ли?

— Вот именно, не стоит,— веселым тоном подхватил репортер, хотя опасливо оглянулся на дверь.

— Конечно, в том, что он написал, не было ни слова правды,— продолжал Мартин, обращаясь к Бриссендену.

— Видите ли, это было как бы описание в общих чертах...— рискнул объяснить юноша.— Но для вас это, между прочим, великолепная реклама... Согласитесь сами.

— Учтите, Мартин, это для вас реклама! — торжественно провозгласил Бриссенден.

— Да, да!.. И я должен с этим согласиться.

— Разрешите узнать, мистер Иден, где вы родились? — спросил репортер, изображая на своем лице напряженное внимание.

— Заметьте, он ничего не записывает,— ввернул Бриссенден,— он все запоминает.

— Для меня этого вполне достаточно.— Юноша всячески старался скрыть свою тревогу.— Опытный репортер обходится без всяких записей.

— Это сразу видно... по вашему вчерашнему отчету.

Бриссенден не был сторонником идеи непротивления злу, а потому вскричал вдруг, сразу переменив тон:

— Мартин! Если вы не изобьете его, то я изобью! Умру, но изобью!

— Отшлепать, пожалуй, будет достаточно? — спросил Мартин.

Бриссенден подумал, затем кивнул головой.

В следующий миг репортер уже лежал лицом вниз на коленях у Мартина.

— Только не кусаться,— предупредил Мартин,— не то я должен буду разбить вашу симпатичную мордочку. А это будет жаль.

Его правая рука стала мерно подниматься и опускаться. Юноша визжал, вырывался, ругался, но кусаться не смел. Бриссенден спокойно наблюдал эту сцену. Только один раз он не выдержал, схватил пустую бутылку и воскликнул:

— Дайте мне тоже разок ударить!

— К сожалению, я больше не в состоянии,— сказал наконец Мартин.— Рука совсем онемела.

Он схватил репортера за шиворот, встряхнул и посадил на кровать.

— Я заявлю в полицию! Вас арестуют! — кричал тот. Слезы негодования текли по его горящим щекам.— Вы ответите за это. Берегитесь!

— Вот тебе и раз,— сказал Мартин,— он так и не понимает, что пошел по скользкой дорожке. Он почему-то не понимает, что нечестно, неприлично, недостойно мужчины лгать про своего ближнего так, как он это сделал.

— Ну что ж, вот он и пришел, чтобы вы ему это объяснили,— вставил Бриссенден.

— Да, он пришел ко мне, оклеветав и осрамив меня предварительно. Теперь мой лавочник наверняка откажет мне в кредите. Но хуже всего, что бедный мальчик никогда уже не сойдет с этого пути, пока из него не выработается первоклассный журналист и первоклассный негодяй.

— Еще есть время,— возразил Бриссенден.— Может быть, именно вам суждено обратить его на путь истинный. Ах, почему вы мне не дали ударить его хоть разочек. Мне так хотелось принять участие в этом добром деле!

— Вас обоих посадят в тюрьму! —всхлипывала заблудшая душа.— С-с-скоты!

— У него слишком смазливая рожица,— произнес Мартин, покачав головой,— боюсь, что я зря натрудил себе руку. Этого молодого человека не исправишь. Он, несомненно, станет первоклассным журналистом. У него совершенно нет совести! Одно это поможет ему выдвинуться.

Тут молодой человек стремительно вылетел из компаты, со страхом прошмыгнув мимо Бриссендена, который продолжал держать в руке бутылку.

На следующий день Мартин узнал о себе много нового и интересного. «Да, мы враги общества,— оказывается, сказал он в беседе с представителем прессы,— но мы не анархисты! Мы социалисты!» Когда репортер заметил ему, что между двумя этими школами нет особенной разницы, Мартин пожал плечами в знак молчаливого согласия. Выяснилось, что лицо у него резко асимметричное и носит все признаки вырождения. Особенно характерны узловатые руки и кровожадно сверкающие глаза.

Мартин прочел также, что почти каждый вечер он выступает на рабочих митингах в Сити-Холл-парке и из всех анар-

«Сын Волка»

хистов и агитаторов, отравляющих там умы народа, пользуется наибольшим успехом и произносит наиболее революционные речи. Репортер подробно живописал его каморку, не забыл упомянуть о керосинке, об единственном стуле и изобразил также в ярких красках его приятеля — бродягу с лицом мертвеца, весь вид которого наводил на мысль, что его только что выпустили из тюрьмы после двадцатилетнего заключения.

Молодой репортер проявил большую расторопность. Он разнюхал всю семейную историю Мартина Идена и сумел добыть фотографию лавки мистера Хиггинботама и самого мистера Бернарда Хиггинботама, стоящего у дверей. Упомянутый джентльмен был описан как почтенный и здравомыслящий коммерсант, который не только не разделяет социалистических взглядов своего шурина, но и вообще не желает иметь с этим шурином ничего общего. По его словам, Мартин Иден был просто лентяй, бездельник, который не хотел работать, хотя ему не раз делали выгодные предложения, и, без сомнения, должен был рано или поздно угодить в тюрьму. Был проинтервьюирован и Герман фон Шмидт. Он назвал Мартина «уродом в семье» и тоже отказался от всякой родственной связи с ним. «Он хотел было сесть мне на шею,— сказал между прочим Герман фон Шмидт,— но этот номер не прошел. Я отучил его шляться сюда. От такого бездельника нельзя ожидать ничего путного!»

На этот раз Мартин рассердился всерьез. Бриссенден смотрел на происшествие как на забавную шутку, но не мог успокоить Мартина. Мартин знал, что объяснение с Руфью будет нелегким делом. Что же до ее отца, так тот, наверное, постарается воспользоваться этой нелепой выдумкой, чтобы расстроить помолвку. Мрачные предположения Мартина не замедлили подтвердиться. На другой день почтальон принес письмо от Руфи. Мартин, предчувствуя недоброе, тут же вскрыл конверт и начал читать, даже не затворив дверь за почтальоном.

Читая, Мартин машинально шарил рукою в кармане, ища табак и курительную бумагу, которые прежде всегда носил при себе. Он не сознавал, что карман его давно уже пуст, не отдавал себе даже отчета в том, чего он там ищет.

Письмо было выдержано в спокойном тоне. Никаких следов гнева в нем не было, но от первой до последней строчки оно дышало обидой и разочарованием. Он не оправдал ее надежд, писала Руфь. Она думала, что он покончит со своими ужасными замашками, что ради любви к ней он в самом деле готов зажить скромной и благопристойной жизнью. А теперь папа и

мама решительно потребовали, чтобы помолвка была расторгнута. И она не могла не признать их доводов основательными. Ничего хорошего из их отношений не получится. Это с самого начала было ошибкой. В письме был только один упрек, и он показался Мартину особенно горьким. «Если бы вы захотели поступить на службу, постарались найти себе какое-то место в жизни! — писала Руфь.— Но это невозможно. Вы слишком привыкли к разгульной и беспорядочной жизни. Я понимаю, что вы не виноваты. Вы действовали согласно своей природе и своему воспитанию. Я и не виню вас, Мартин, помните это. Папа и мама оказались правы: мы не подходим друг другу, и надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно... Не пытайтесь увидеться со мной,— заканчивала она,— это свидание было бы тяжело и для нас обоих, и для моей мамы. Я и так чувствую, что причинила ей немало огорчений, и не скоро удастся мне загладить свою вину».

Мартин дочитал письмо до конца, внимательно перечел еще раз. Затем он сел и стал писать ответ. Он изложил все то, что говорил на социалистическом митинге, обвиняя газету в самой бессовестной клевете. В конце письма объяснения и оправдания переходили в страстную речь влюбленного, молящего о любви. «Ответьте мне непременно,— писал он,— напишите только одно — любите вы меня или нет? Это — самое главное».

Но прошел день, другой, ответа не было. «Запоздалый» лежал раскрытым все на той же странице, а груда возвращенных рукописей под столом продолжала расти. Впервые за всю свою жизнь испытал Мартин муки бессонницы. Три раза приходил он к Морзам, но все три раза лакей не пускал его дальше двери. Бриссенден лежал больной, и Мартин, навещая его, не решался посвятить его в свои горести.

А горестей у Мартина было немало. Последствия репортерской проделки превзошли все его ожидания. Португалец-бакалейщик отказал ему в кредите, а зеленщик, любивший похваляться своим чисто американским происхождением, объявил Мартина изменником родины и в припадке патриотизма даже уничтожил его счет, запретив ему являться для уплаты долга. Соседи были настроены против Мартина, и негодование их с каждым днем возрастало. Никто не желал поддерживать отношения с предателем-социалистом. Бедную Марию терзали страхи и сомнения, но она оставалась верна Мартину. Соседские ребятишки, у которых уже изгладилось впечатление от роскошной коляски, некогда привозившей гостей к Мартину, теперь кричали ему издали «лодырь!» и «бродяга!». Только детвора

Марии держалась твердо, защищала Мартина, не раз вступала в битвы из-за него, а Мария, видя синяки и разбитые носы своих детишек, приходила в еще большее отчаяние.

Встретив однажды на улице Гертруду, Мартин узнал от нее то, в чем и раньше не сомневался: что Бернард Хиггинботам вне себя от возмущения, считает, что Мартин опозорил всю семью, и запретил ему бывать у них в доме.

— Уехал бы ты куда-нибудь, Мартин,— просила Гертруда.— Уезжай и постарайся устроиться на какое-нибудь приличное место. А там, когда все уляжется, можешь и вернуться.

Мартин покачал головой и не стал вдаваться в объяснения. Да и как мог он объяснить! Между ним и его родными зияла пропасть. Он уже не способен перескочить через нее! Смешно объяснять Гертруде свое отношение к социализму — отношение ницшеанца! Не было таких слов в языке, которыми он мог бы растолковать этим людям свои взгляды и свои поступки. Все их рассуждения сводились к одному: найти себе место. Это было первое и последнее слово. Этим исчерпывался их кругозор. Найди себе место! Поступи на службу! Бедные, тупые рабы, думал Мартин, слушая Гертруду. Не удивительно, что сильные завладели миром! Рабы не могли вырваться из круга своих рабских представлений. «Служба» была для них золотым фетишем, предметом обожествления, перед которым они смиренно повергались ниц.

Гертруда предложила ему денег, но Мартин отрицательно покачал головою, хотя знал, что через несколько дней ему опять придется закладывать костюм.

— Бернарду ты пока на глаза не попадайся,— наставляла его Гертруда.— Пройдет месяц-другой, он успокоится, и тогда можешь даже попроситься к нему возчиком, если захочешь. А если я тебе понадоблюсь, присылай за мной в любое время, и я к тебе приду. Слышишь?

Гертруда расплакалась и пошла прочь, а Мартин, видя ее тяжелую, усталую походку, чувствовал, как сжалось у него сердце от невыносимой тоски. И когда он глядел вслед сестре, здание ницшеанства вдруг дрогнуло и зашаталось. Хорошо было рассуждать о какой-то абстрактной категории рабов, но не так-то легко оказалось прилагать теории к своим близким. А между тем, если нужен пример слабого, угнетаемого сильным существа, то лучше Гертруды не найти. Мартин даже угрюмо усмехнулся этому парадоксу. Хорош же он ницшеанец, если начинает колебаться в своих взглядах, как только у него дрогнет серд-

це; да в конце концов разве в данную минуту не та же рабская мораль сказывается в нем, разве его жалость к сестре не рабское чувство? Настоящий сильный человек должен быть выше жалости и сострадания. Эти чувства родились в подземельях, где обитали рабы, и были лишь жалким уделом слабых и несчастных.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Работа над «Запоздалым» не двигалась. Рукописи, которые Мартин посылал в редакции, валялись под столом. Только одна рукопись еще продолжала странствовать. То была «Эфемерида» Бриссендена. Велосипед и черный костюм Мартина снова отправились в заклад, а за пишущую машинку, по обыкновению, был просрочен платеж. Но это уже нисколько не тревожило Мартина. Он должен был найти себе новую цель в жизни, и пока эта опора не была найдена, жизнь как будто остановилась.

Прошло несколько недель, и вот однажды случилось то, чего Мартин давно ожидал. Он встретил на улице Руфь. Правда, она шла не одна, а со своим братом Норманом; правда, они оба сделали вид, что не узнали Мартина, а когда он хотел подойти, Норман попытался не подпустить его.

— Если вы осмелитесь приставать к моей сестре,— сказал он,— я позову полисмена; она не желает с вами разговаривать, и ваша навязчивость оскорбительна.

— Лучше не затевайте ссоры,— мрачно ответил Мартин,— не то вам в самом деле придется звать полисмена, и тогда ваше имя попадет в газеты. Посторонитесь и не мешайте. Мне нужно поговорить с Руфью.

— Я хочу слышать это из ваших уст,— сказал он ей.

Она побледнела и задрожала, но остановилась и взглянула на него вопросительно.

— Ответьте мне на вопрос, который я задал вам в письме,— настаивал он.

Норман сделал было нетерпеливое движение, но Мартин взглядом смирил его.

Руфь покачала головой.

— Вы действовали по доброй воле? — спросил Мартин.

— Да,— проговорила она тихо, но твердо,— действовала по доброй воле. Вы опозорили меня, мне стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам сказать. Вы сделали меня несчастной, и я больше не хочу вас видеть.

— Знакомые! Сплетни! Газетное вранье! Такие вещи не могут оказаться сильнее любви! Значит, вы никогда не любили меня.

Бледное лицо Руфи вспыхнуло.

— После всего того, что произошло? — произнесла она.— Мартин, вы сами не знаете, что говорите! За кого вы меня принимаете?

— Вы видите, она не хочет с вами разговаривать! — воскликнул Норман, взяв сестру под руку, чтобы увести ее.

Мартин поглядел им вслед и машинально полез в карман за папиросной бумагой и табаком, которых там не было.

До Северного Окленда путь был не близок; но Мартин не заметил, как прошел этот путь. Опомнился он в своей комнате на кровати и огляделся растерянно, как проснувшийся лунатик. В глаза бросилась рукопись «Запоздалого», лежавшая на столе; он придвинул стул и взялся за перо. Его натуре свойственно было стремление доводить начатое до конца. А тут перед ним была неоконченная работа. В свое время он отложил ее, чтобы заняться другим делом. Теперь это другое дело было кончено, и надо было опять вернуться к «Запоздалому». Что будет он делать потом, Мартин не знал. Он знал только одно: какой-то этап в его жизни пришел к концу и нужно было закруглить фразу, прежде чем поставить точку. Будущее не интересовало его. Вероятно, он скоро узнает, что ждет его. Но это было не так уж важно. Все было неважно.

Пять дней Мартин работал над «Запоздалым», никуда не выходя, никого не видя и едва отрываясь, чтобы кое-как поесть. На шестой день утром почтальон принес ему письмо от редактора «Парфенона». Вскрыв конверт, он сразу увидел, что «Эфемерида» принята.

«Мы дали поэму для прочтения мистеру Картрайту Брюсу,— писал редактор,— и он так благоприятно отозвался о ней, что мы сочтем за удовольствие напечатать ее в нашем журнале. Если мы откладываем печатание поэмы до августовского номера, то только потому, что июльский уже набран. Передайте мистеру Бриссендену нашу глубочайшую признательность и наше восхищение. Не откажите прислать его портрет и биографические данные. Если предлагаемый нами гонорар покажется недостаточным, благоволите телеграфировать, какие условия вы сочли бы приемлемыми».

Так как предложенный гонорар составлял триста пятьдесят долларов, то Мартин решил, что телеграфировать не стоит. Оставалось лишь добиться согласия Бриссендена. В конце концов

Мартин оказался прав. Нашелся редактор, который понимал кое-что в истинной поэзии. И гонорар был блестящий, даже для «поэмы века». Кроме того, Мартин знал, что Бриссенден считал Картрайта Брюса единственным из всех критиков, заслуживающим уважения.

Мартин вышел из дому, сел в трамвай и, глядя на мелькавшие мимо дома и перекрестки, с грустью думал о том, что его не волнует ни успех друга, ни одержанная победа. Лучший критик в Соединенных Штатах оценил поэму по достоинству, и, следовательно, Мартин не ошибался, утверждая, что настоящее произведение искусства в конечном счете пробьет себе дорогу в печать. Но прежнего энтузиазма не было, и Мартин отлично сознавал, что ему скорее хотелось просто повидать Бриссендена, чем сообщить радостную новость. Только теперь Мартину пришло в голову, что за все пять дней, проведенных в работе над «Запоздалым», он не имел от Бриссендена никаких известий и даже ни разу не вспомнил о нем. Мартин понял, что находится в состоянии какого-то духовного оцепенения, и ему стало стыдно перед другом. Но и стыд он ощущал как-то вяло. Ничто не волновало его, кроме творческого подъема, который он испытывал над рукописью «Запоздалого». Все остальное было ему безразлично. Он находился словно в каком-то трансе. Жизнь, кипевшая на улицах, по которым бежал трамвай, казалась ему далекой и призрачной, и он не очень бы удивился, если бы церковная колокольня вдруг рассыпалась у него на глазах.

Войдя в гостиницу, он торопливо поднялся в номер Бриссендена и через минуту так же торопливо спустился вниз. Комната была пуста. Все вещи были вынесены.

— Разве мистер Бриссенден уехал? — спросил Мартин у портье.— Он не оставил своего адреса?

Тот как-то странно посмотрел на него.

— Да разве вы ничего не слыхали? — сказал он.

Мартин отрицательно покачал головой.

— Все газеты писали об этом. Его нашли мертвым в постели. Самоубийство! Выстрелил себе в голову.

— Его уже похоронили?

Мартину показалось, что этот вопрос задал чей-то чужой, незнакомый голос.

— Нет. После следствия тело было отправлено на Восток. Адвокаты, приглашенные его родными, уладили все это дело.

— А почему они так спешили? — проговорил Мартин.

— Как спешили? Да ведь это произошло пять дней тому назад!

— Пять дней тому назад?

— Да, пять дней.

— Ах, вот оно что! — пробормотал Мартин и вышел из гостиницы.

По дороге он зашел на телеграф и известил издателя «Парфенона», что он может печатать поэму. Телеграмму он послал наложенным платежом, потому что в кармане у него оставалось всего пять центов на обратный проезд.

Вернувшись к себе, Мартин опять принялся за работу. Шли дни и ночи, а он все сидел за столом и писал. Он почти не выходил из дому, равнодушно ел, если было из чего сварить похлебку или кашу, и так же равнодушно обходился без еды, когда варить было нечего. Хотя вся повесть была заранее продумана во всех подробностях, он решил по-иному строить экспозицию, что удлинило ее на двадцать тысяч слов. Не было, казалось, никакой необходимости так тщательно отделывать рукопись, но иначе он работать уже не мог. Он писал, словно в оцепенении, перестав воспринимать окружающий мир, он обращался к творческим навыкам своей прошлой жизни, подобно тому как привидение бродит среди знакомых мест. Ему вспомнились чьи-то слова о том, что привидение — это дух человека, который умер, хотя сам не сознает этого. И на какое-то мгновение Мартин задумался: не происходит ли и с ним нечто подобное?

Наконец пришел день, когда «Запоздалый» был окончен. Агент прокатной конторы пришел за пишущей машинкой и, сидя на кровати Мартина, дожидался, когда он допишет последнюю страницу. «Конец» — выстукал на машинке Мартин, и для него это был в самом деле конец. С чувством некоторого облегчения он смотрел, как агент взял машинку и унес ее. После этого он упал на кровать. Он совершенно ослаб от голода. Он не ел уже тридцать шесть часов и даже ни разу не вспомнил о пище. Он лежал на спине, закрыв глаза, и какой-то туман постепенно заволакивал его сознание. В полусне он бормотал какое-то стихотворение, которое часто читал Бриссенден. Мария, стоя за дверью, с тревогой прислушивалась к монотонному бормотанию своего жильца. Слова стихотворения не имели для нее никакого смысла, но ее пугало, что Мартин говорит сам с собой.

Лира, прочь!
Я песню спел!
Тихо песни отзвучали,
Словно призраки печали,
Утонули в светлой дали.
Лира, прочь!

Я песню спел!
Я когда-то пел под кленом,
Пел в лесу темно-зеленом,
Я был счастлив, юн и смел.
А теперь я петь бессилен,
Слезы горло мне сдавили,
Молча я бреду к могиле.
Лира, прочь!
Я песню спел!

Мария не выдержала; она кинулась к печке, налила полную миску супа, щедро зачерпнув со дна кастрюли крошеного мяса и овощей, и побежала к Мартину. Приподнявшись на локте, он начал есть, уверяя ее, что вовсе не бредит и что совершенно здоров.

Когда Мария ушла, Мартин сел на кровать и долго сидел так, сгорбившись и бессмысленно глядя в одну точку, пока не заметил, что перед ним лежит номер журнала, присланный с утренней почтой. «Это «Парфенон»,— подумал он,— августовский «Парфенон», и в нем должна быть напечатана «Эфемерида». Ах, если бы Бриссенден был жив!»

Он стал перелистывать страницы журнала и вдруг остолбенел: «Эфемерида» была украшена пышным заголовком и заставками в стиле Бердслея; с одной стороны заголовка находился портрет Бриссендена, а с другой — сэра Джона Вэлью, британского посла. В предисловии от редакции сообщалось, что сэр Джон Вэлью недавно сказал, будто в Америке нет поэтов, и, печатая «Эфемериду», «Парфенон» как бы отвечает ему: «На-те-ка, получите, сэр Джон Вэлью!» О Картрайте Брюсе говорилось как о величайшем американском критике и приводились его слова: «Эфемерида» — величайшее произведение американской поэзии». Заканчивалось предисловие так: «Мы еще не можем оценить все красоты «Эфемериды»; быть может, нам никогда не удастся вполне оценить ее. Но, читая и перечитывая поэму, мы изумлялись необычайному словесному богатству мистера Бриссендена и не раз спрашивали себя, как и откуда мог мистер Бриссенден почерпнуть такое сокровище слов и так искусно скомпоновать их».

Затем следовала сама поэма.

«Хорошо, что ты умер, бедный Брис!» — подумал Мартин, уронив журнал на пол.

Все было пошло и мерзко до тошноты, но настоящего омерзения Мартин не почувствовал. Ему хотелось рассердиться, но не хватало энергии. Он словно отупел. Кровь застыла в его жилах и не могла бурлить от возмущения. В конце концов что тут

особенного? Вполне в духе буржуазного общества, которое так глубоко ненавидел Бриссенден.

— Бедный Брис! — пробормотал Мартин.— Он никогда бы не простил мне этого!

С усилием поднявшись, Мартин выдвинул ящик, где прежде у него хранилась бумага для машинки. Порывшись в нем, он извлек одиннадцать стихотворений, написанных его другом. Он медленно разорвал их одно за другим и бросил в корзинку. Потом опять сел на кровать и невидящим взглядом уставился в пустоту.

Сколько времени просидел он так, он не знал; наконец из туманного пространства возникла перед ним длинная ярко-белая полоса. Это было очень странно. Но, вглядевшись, Мартин увидел, что это линия прибоя у кораллового рифа где-то в Тихом океане. Мгновение спустя он разглядел в белой пене челнок, маленький, утлый челнок. Молодой бронзовокожий бог, опоясанный пурпурной тканью, сидел на корме, погружая в волны сверкающее весло. Мартин узнал его. Это был Моти, младший сын вождя Тами,— стало быть, это происходило у берегов Таити, и за коралловым рифом лежала чудесная страна Папара, где возле самого устья реки стояла тростниковая хижина вождя.

Наступил вечер, и Моти возвращался с рыбной ловли. Он ждал большой волны, которая перенесла бы его через риф. Мартин увидел и самого себя сидящим в челноке, как бывало не раз, и готовым, по сигналу Моти, бешено заработать веслами, как только встанет над ними бирюзовая громада волны. В следующий миг он перестал быть зрителем; он на самом деле сидел в челноке и с ожесточением греб под дикие возгласы Моти. Они пронеслись вперед, среди грохота и шипения, обдаваемые брызгами, и вдруг очутились в тихой, неподвижной лагуне. Моти, смеясь, протирал глаза, залитые соленой водой, а челнок скользил к коралловому берегу, где среди стройных кокосовых пальм видна была хижина Тами, вся золотая в лучах заходящего солнца.

Но видение вдруг затуманилось, и перед глазами Мартина возник опять беспорядок его тесной каморки. Напрасно силился он снова увидеть Таити. Он знал, что теперь в пальмовой роще звучат песни и девушки пляшут при лунном свете. Но он ничего не видел больше, кроме стола, заваленного бумагами, и тусклого, давно не мытого окна. Он со стоном закрыл глаза и погрузился в сонное забытье.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Всю ночь Мартин проспал тяжелым сном, а утром его разбудил стук почтальона. Усталый и безучастный ко всему Мартин вскрывал полученные письма. В одном из них, со штампом известного «пиратского» журнала на конверте, оказался чек на двадцать два доллара. Этих денег он добивался почти полтора года. Но теперь, получив их, он остался равнодушным. Он уже неспособен был замирать от восторга при виде издательских чеков. Прежде чеки казались ему залогом будущих великих успехов, а сейчас перед ним лежали просто двадцать два доллара, на которые можно было купить чего-нибудь поесть. Вот и все.

С этой же почтой пришел еще чек на десять долларов — от одного нью-йоркского журнала за юмористические стишки, принятые уже давно. Мартину пришла в голову идея, которую он тут же хладнокровно обдумал. Он не знал, что будет делать дальше, и не испытывал желания что-нибудь делать. А между тем надо было жить, надо было платить долги. Не выгоднее ли истратить эти десять долларов на марки и вновь отправить в путешествие валявшуюся под столом груду рукописей? Может быть, одну или две где-нибудь примут. А это даст ему возможность просуществовать. Мартин так и сделал. Получив по чекам в оклендском банке, он купил марок. Но мысль вернуться в свою каморку и приняться за стряпню показалась ему невыносимой. В первый раз он решил пренебречь долгами. Он отлично знал, что дома можно сытно пообедать за пятнадцать — двадцать центов. Но вместо этого отправился в кафе «Форум» и заказал обед, обошедшийся в два доллара. Он дал двадцать пять центов на чай и пятьдесят истратил на египетские папиросы. Он не курил с тех пор, как Руфь запретила ему. Но теперь у него не было никаких причин отказывать себе в удовольствии, а курить очень хотелось. И стоит ли беречь деньги? Конечно, за пять центов он мог купить табаку и бумаги на сорок самокруток, но какой смысл? Деньги не имели для него никакого значения, кроме того, что на них сейчас, сегодня можно было что-то купить! Он остался без руля и без компаса, и торопиться ему было некуда. Плывя по течению, он меньше ощущал жизнь; а ощущение жизни причиняло боль.

Дни проходили за днями, похожие один на другой; спал Мартин теперь по восемь часов в сутки. Хотя в ожидании новых чеков он кормился в японских ресторанчиках, где можно поесть за десять центов, он даже пополнел. Щеки его округли-

лись, потому что он не изнурял себя недосыпанием и напряженной работой. Он ничего не писал, его книги мирно отдыхали на полке. Мартин часто уходил за город на холмы, долгие часы проводил в парке. У него не было ни друзей, ни знакомых, да и не хотелось их заводить. К чему? Он безотчетно ожидал какого-нибудь толчка извне, который вновь привел бы в движение его остановившуюся жизнь. А пока существование оставалось томительным, однообразным, пустым и лишенным всякого смысла.

Однажды он вздумал съездить в Сан-Франциско, повидаться с «настоящими людьми». Но у самых дверей он вдруг круто повернулся и торопливо пошел назад по людным улицам гетто. Мысль, что он услышит сейчас философские споры, так испугала его, что он почти бежал, боясь, как бы не повстречался ему кто-нибудь из «настоящих людей» и не признал его.

Иногда он просматривал журналы и газеты, чтобы осведомиться, что пишут об «Эфемериде». Поэма наделала шуму. Но какого шуму! Все прочли, и все спорили о том, поэзия это или нет. Местные газеты были полны ученых статей, иронических рецензий, взволнованных читательских писем — все по поводу этой поэмы. Элен Делла Дельмар (под звуки труб и бой барабанов провозглашенная величайшей поэтессой Соединенных Штатов) не пожелала освободить для Бриссендена место рядом с собой на Пегасе и писала многословные письма к читающей публике, доказывая, что он вовсе не поэт.

«Парфенон» в очередном номере самодовольно пожинал плоды поднятого им шума, издевался над сэром Джоном Вэлью и бессовестно использовал смерть Бриссендена в целях рекламы. Одна газета, имевшая будто бы больше полумиллиона подписчиков, напечатала поэму Элен Деллы Дельмар, где высмеивался Бриссенден. Не успокоившись на этом, поэтесса написала еще и пародию на «Эфемериду».

Мартин не раз радовался, что друг его не дожил до этого часа. Он ненавидел толпу, а теперь толпе было брошено на поругание самое для него святое и сокровенное. Созданная им красота ежедневно подвергалась вивисекции. Каждый ничтожный щелкопер радовался случаю покрасоваться перед публикой в лучах величия Бриссендена. Одна газета писала: «Мы получили письмо от одного джентльмена, который сообщает, что сочинил в точности такую же поэму, только лучше, уже несколько лет тому назад». Другая газета совершенно серьезно замечала, упрекая Элен Деллу Дельмар за ее пародию: «Мисс Дельмар, написав эту пародию, очевидно, забыла о том, что

великий поэт всегда должен уважать другого, быть может, еще более великого. Но несомненно одно: хотя мисс Дельмар несколько ревниво относится к успеху «Эфемериды», она, как и все, находится под впечатлением этого произведения, и, быть может, настанет день, когда она сама попробует написать нечто подобное».

Проповедники избрали «Эфемериду» темою для своих проповедей, и один из них, пытавшийся защищать ее, был обвинен в ереси. Великая поэма послужила увеселению почтеннейшей публики. Поставщики комических стишков и карикатуристы наперебой старались рассмешить читателей, фельетонисты тоже упражнялись в остроумии, рассказывая, как некий Чарли Френшэм по секрету сказал Арчи Дженнингсу, что от пяти строк из «Эфемериды» человек способен прибить калеку, а от десяти — броситься в реку вниз головой.

Мартин не смеялся, но и не скрежетал зубами от ярости. Ему было лишь невыносимо грустно. После того как рухнул его мир, увенчанный любовью, крушение веры в печать и в публику уже не казалось катастрофой. Бриссенден был прав в своем мнении о журналах, и Мартин зря потратил столько времени, пытаясь разубедить своего друга. Журналы не только подтвердили опасения Бриссендена, они их превзошли. Ну что ж, это конец, мрачно утешал себя Мартин. Он хотел взлететь в заоблачную высь, а свалился в зловонное болото.

И опять перед ним возникли прекрасные, светлые картины далекого Таити! Вот равнинные Паумоту, вот гористые Маркизские острова. Мартину часто казалось, что он стоит на палубе торговой шхуны или на маленьком, хрупком катере, плывущем мимо рифов Папеэты или вдоль жемчужных отмелей Нукухивы к бухте Тайохаэ, где, он знал, Тамари заколет кабана в честь его прибытия, а дочери Тамари окружат его со смехом и песнями и украсят цветочными гирляндами. Тихий океан настойчиво звал его, и Мартин знал, что рано или поздно он откликнется на этот зов. А пока он продолжал плыть по течению, отдыхая после своего долгого утомительного путешествия по великому царству знания.

Получив от «Парфенона» чек на триста пятьдесят долларов, Мартин передал его под расписку душеприказчику Бриссендена и, в свою очередь, дал ему расписку в том, что остался должен Бриссендену сто долларов.

Однако время японских ресторанчиков уже кончалось для Мартина. Как раз в тот миг, когда он прекратил борьбу, колесо фортуны повернулось. Но оно повернулось слишком поздно. Без

всякого волнения он вскрыл конверт «Миллениума», из которого выпал чек на триста долларов. Это был гонорар за «Приключение». Долги Мартина, включая ссуду под заклад со всеми процентами, не достигали и ста долларов. Уплатив их и переслав сто долларов душеприказчику Бриссендена, Мартин оказался обладателем огромной для него суммы в сто долларов. Он заказал себе хороший костюм и начал обедать в лучших кафе города. Жил он в той же маленькой комнатке у Марии, но его новый костюм произвел на соседей столь сильное впечатление, что мальчишки больше не решались кричать ему с крыш и заборов, что он бродяга и лодырь.

«Вики-Вики», его «гавайский» рассказ, был куплен «Ежемесячником Уоррена» за двести пятьдесят долларов. «Северное обозрение» напечатало «Колыбель красоты», а «Журнал Макинтоша» принял «Гадалку» — стихотворение, написанное им в честь Мэриен. Редакторы и рецензенты вернулись после летнего отдыха, и рукописи оборачивались необыкновенно быстро. Мартин никак не мог понять, почему все то, что так упорно отвергалось в продолжении двух лет, теперь принималось почти без разбора. Ведь ни одна из его вещей не успела пока увидеть света. Он по-прежнему не был известен за пределами Окленда, а те немногие жители Окленда, которые о нем слыхали, считали его ярым социалистом из «красных». Ничем нельзя было объяснить такую внезапную перемену. Это была просто прихоть судьбы.

После того как несколько журналов подряд отвергли «Позор солнца», Мартин, памятуя совет своего покойного друга, решил предложить его какому-нибудь книгоиздательству. После нескольких неудач рукопись была наконец принята к изданию одной из крупнейших фирм — «Синглтри, Дарнлей и К°». В ответ на просьбу Мартина об авансе издатель написал ему, что это у них не принято, что подобного рода книги обычно не окупаются и вряд ли удастся продать более тысячи экземпляров. Мартин вычислил, что если книга будет продаваться по цене один доллар, то, считая из пятнадцати процентов, он получит сто пятьдесят долларов. После этого он решил, что если будет когда-нибудь писать, то только беллетристику. «Приключение» было в четыре раза короче «Позора солнца», а принесло ему вдвое больше. В конце концов вычитанные когда-то из газет сведения о писательских гонорарах оказались верными. Первоклассные журналы действительно платили по принятии рукописи, и платили очень хорошо. «Миллениум» заплатил ему даже не по два, а по четыре цента за слово. А кроме того,

настоящая литература все-таки находила сбыт,— ведь купили же его произведения. При этой мысли Мартин печально усмехнулся.

Он написал «Синглтри, Дарнлею и К°», что согласен продать им «Позор солнца» в полную собственность за сто долларов, но издательство не пожелало рискнуть. Впрочем, Мартин не нуждался в деньгах, так как за последнее время были приняты к печати и оплачены еще пять или шесть его рассказов. Мартин даже открыл в банке текущий счет на несколько сот долларов. «Запоздалый» после недолгого путешествия обрел пристанище в издательстве Мередит-Лоуэлл. Вспомнив о своем обещании возвратить Гертруде пять долларов сторицею, Мартин написал в издательство письмо с просьбой выслать аванс в размере пятисот долларов. К его удивлению, чек на эту сумму был немедленно выслан. Мартин разменял его на золото и позвонил Гертруде, что хотел бы повидать ее.

Гертруда пришла запыхавшись, так как очень торопилась. Предчувствуя недоброе, она положила в сумочку весь свой скудный наличный капитал; она была настолько уверена, что с Мартином стряслась беда, что сразу же расплакалась у него на груди и стала совать ему в руку принесенные деньги.

— Я бы сам пришел к тебе,— сказал Мартин,— но я не хотел ругаться с мистером Хиггинботамом! А без ссоры, наверное, не обошлось бы!

— Ничего, он скоро успокоится,— уверяла его сестра, стараясь угадать, что именно случилось с Мартином.— Но только ты поскорей поступай на службу. Бернард любит, чтобы люди занимались честным трудом. Эта статья в газете совсем взбесила его. Я никогда не видела его в таком остервенении.

— Я не хочу поступать на службу,— с улыбкой сказал ей Мартин,— можешь передать ему это от моего имени. Мне никакая служба не нужна. Вот тебе доказательство.

И он высыпал ей на колени сто сверкающих и звенящих золотых пятидолларовых монет.

— Помнишь, ты мне дала пять долларов, когда у меня не было на трамвай? Вот тебе эти пять долларов и еще девяносто девять братьев, разного возраста, но одинакового достоинства.

Если Гертруда спешила к Мартину в тревоге, то теперь ею овладел панический ужас. Сомнениям не оставалось места. Она не подозревала, она была уверена. В страхе она смотрела на Мартина, дрожа всем телом, словно эти золотые кружочки жгли ее адским огнем.

— Это все твое! — сказал Мартин со смехом.

Гертруда разразилась громкими рыданиями.

— Бедный мой мальчик! Бедный мой мальчик! — запричитала она.

На мгновение Мартин опешил. Но тут же он понял причину волнения сестры и показал ей письмо книгоиздательства. Гертруда с трудом прочла его, вытерла глаза и наконец неуверенно спросила:

— Значит, ты получил эти деньги честным путем?

— Еще бы! Я даже не выиграл их, а заработал.

Сестрин взгляд понемногу прояснился, и она внимательно перечла письмо. Мартин не без труда объяснил ей, за что он получил такую большую сумму денег. Еще трудней было объяснить, что деньги эти принадлежат ей, что он в них не нуждается.

— Я положу их в банк на твое имя,— решила Гертруда.

— Нет! Если ты не возьмешь их, я отдам их Марии. Она сумеет их использовать. Я требую, чтобы ты наняла служанку и отдохнула как следует.

— Пойду расскажу Бернарду,— сказала Гертруда, вставая.

Мартин слегка нахмурился, но тотчас же рассмеялся.

— Расскажи, расскажи,— сказал он.— Может быть, теперь он пригласит меня обедать.

— Конечно, пригласит! То есть я просто уверена в этом! — с жаром воскликнула сестра, бросаясь ему на шею.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Прошло некоторое время, и Мартин затосковал. Он был здоровый и сильный мужчина, а делать ему было решительно нечего. После того как он перестал писать и забросил книги, после смерти Бриссендена и разрыва с Руфью в жизни его образовалась зияющая пустота. Напрасно пытался он заполнить эту пустоту ресторанами и египетскими папиросами. Правда, его неодолимо влекли к себе южные моря, но ему казалось, что здесь, в Соединенных Штатах, игра еще не закончена. Скоро будут напечатаны две его книги, может быть, и другие найдут себе издателей. А это означало — деньги; стоило подождать, чтобы отправиться в южные моря с полным мешком золота. Он знал на Маркизских островах одну прелестную долину, которую можно было купить за тысячу чилийских долларов. Долина тянулась от подковообразного заливчика до высоких гор,

вершинами уткнувшихся в облака. Там цвели тропические цветы, в диких зарослях водились куропатки и кабаны, а на горах паслись стада диких коз, преследуемые стаями диких собак. Это был уголок девственной природы. Ни единая человеческая душа не обитала там. И все — долину вместе с заливом — можно было купить за тысячу чилийских долларов.

Залив, помнилось ему, был хорошо защищен от ветров и глубоководен, в нем могли бросать якорь большие океанские суда, и Тихоокеанский маршрутный справочник рекомендовал его как лучшую гавань в той части океана. Мартин купит шхуну, быстроходное суденышко типа яхты, и будет заниматься ловлей жемчуга и торговать копрой. В долине будет его база. Там он построит себе тростниковую хижину, вроде той, в которой жил вождь Тами, и наймет к себе на службу черных туземцев. Он будет принимать у себя факторов из Тайохаэ, капитанов торговых судов, контрабандистов и благородных морских бродяг. Он будет жить открыто и по-королевски принимать гостей. И, быть может, там он забудет читанные когда-то книги и мир, который оказался сплошной иллюзией.

Но для этого нужно было сидеть в Калифорнии и ждать, пока мешок наполнится золотом. Деньги уже начали стекаться к нему. Если пойдет хотя бы одна книга, то он легко продаст остальные рукописи. Можно составить сборники из мелких рассказов и стихов, чтобы скорей стали доступными и долина, и залив, и шхуна. Писать он больше никогда не будет. Это Мартин решил твердо и бесповоротно. Но пока книги печатаются, надо что-нибудь придумать. Нельзя жить в таком оцепенении и равнодушии.

Как-то раз он узнал, что в воскресенье должно состояться в Шелл-Моунд-парке гулянье каменщиков, и решил отправиться туда. В прежние годы он частенько бывал на подобных гуляньях, отлично знал, что они собой представляют, и теперь, войдя в парк, почувствовал, как проснулись в нем давно забытые ощущения. В конце концов он был своим среди рабочего люда. Он родился и вырос в этой среде и был рад после недолгого отчуждения снова в нее вернуться.

— Да ведь это Март! — услыхал он вдруг, и чья-то рука дружески легла ему на плечо.— Где тебя носило, старина? В плаванье ты был, что ли? Ну, садись, разопьем бутылочку!

Тут оказалась вся его старая компания, только кое-где мелькали новые лица да кой-кого из прежних не хватало. К каменщикам они не имели никакого отношения, но, как и встарь, не пропускали ни одного воскресного гулянья, где можно было

потанцевать, погалдеть и помериться силами. Мартин выпил с ними и сразу ожил. Дурак он был, что отстал от них! Он твердо верил в эту минуту, что был бы гораздо счастливее, если б не уходил из своей среды, не гнался бы за книжными знаниями и обществом людей, которые считали себя выше него. Однако пиво было не так вкусно, как в былые годы! Вкус был совсем не тот. Видно, Бриссенден отучил его от простого пива; может быть, книги отучили его от дружбы с веселыми товарищами его юности? Решив доказать самому себе, что это не так, он отправился танцевать в павильон. Тут он наткнулся на жильца своей сестры, водопроводчика Джимми, в обществе какой-то высокой блондинки, которая не замедлила оказать предпочтение Мартину.

— А с ним всегда так! — сказал Джим в ответ на поддразнивания приятелей, когда Мартин и блондинка закружились в вальсе.— Я даже и не сержусь. Уж очень рад опять его повидать! Ну и ловко же танцует, черт его побери! Тут никакая девчонка не устоит!

Но Мартин честно возвратил блондинку Джимми, и все трое продолжали хохотать и веселиться вместе с полдюжиной друзей. Все были рады возвращению Мартина. Еще ни одна его книга не вышла в свет, и, стало быть, он еще не имел в их глазах никакой ложной ценности. Они любили его ради него самого. Он чувствовал себя, словно принц, вернувшийся из изгнания, и его одинокое сердце отогревалось среди этого искреннего и непосредственного веселья. Он разошелся вовсю. В карманах у него звенели доллары, и он тратил их щедрой рукой, совсем как в прежние времена, вернувшись из плавания.

Вдруг среди танцующих Мартин заметил Лиззи Конолли: она кружилась в объятиях какого-то рабочего парня. Несколько позже, бродя по павильону, он увидел ее за столиком, где пили прохладительные напитки, и подошел. Лиззи Конолли очень удивилась и обрадовалась встрече. После первых приветствий они пошли в парк, где можно было поговорить, не стараясь перекричать музыку. С первой же минуты Мартин понял, что она в его власти. Об этом можно было догадаться и по влажному блеску ее глаз, и по горделивой покорности движений, и по тому, как жадно ловила она каждое его слово. Перед Мартином была не та молоденькая девчонка, которую он когда-то повстречал в театре. Лиззи Конолли стала женщиной, и Мартин сразу отметил, как расцвела ее живая, задорная красота; живость была все та же, но задор она, видимо, научилась умерять.

— Красавица, настоящая красавица,— про себя шептал Мартин с невольным восхищением. И он знал, что стоит ему только позвать, и она пойдет с ним хоть на край света.

В этот самый миг он получил вдруг такой удар по голове, что едва устоял на месте. Удар был нанесен кулаком, и человек целил, должно быть, в челюсть, но в спешке и ярости промахнулся. Мартин повернулся как раз в то время, когда нападавший занес кулак для второго удара. Он ловко уклонился, удар не попал в цель, и Мартин левой сбил противника с ног. Но тот сейчас же вскочил. Мартин увидел перед собой перекошенное от бешенства лицо и удивился: чем он мог так рассердить этого человека? Однако удивление не помешало ему снова отразить атаку и сильным ударом свалить нападавшего на землю. Джим и другие уже бежали к месту драки.

Мартин дрожал от упоения. Вернулись былые счастливые деньки: танцы, веселье, драки! Не теряя из виду своего противника, он кинул быстрый взгляд на Лиззи Конолли. Обычно девушки принимались визжать, когда случались подобные схватки, но эта не завизжала. Она смотрела, затаив дыхание, наклонившись вперед всем телом, прижав руку к груди, щеки ее горели и в глазах светилось восхищение.

Человек, напавший на Мартина, между тем вскочил на ноги и старался вырваться из рук Джима и его приятелей.

— Она дожидалась меня! — кричал он гневно.— Она дожидалась меня, а этот нахал увел ее! Пустите! Я покажу ему, где раки зимуют!

— Да ты спятил! — говорил Джимми, удерживая юношу.— Ведь это же Март Иден! Ты лучше с ним не связывайся. Он тебе так всыплет, что от тебя мокрое место останется.

— А зачем он увел ее? — кричал тот.

— Он побил Летучего Голландца, а ты помнишь, что это был за парень! И он побил его на пятом раунде! Ты и минуты не выстоишь против него. Понял?

Это сообщение, по-видимому, немного утихомирило парня; он смерил Мартина внимательным взглядом и произнес, все еще хорохорясь, но уже без прежней запальчивости:

— Что-то не верится.

— Вот и Летучему Голландцу не верилось,— возразил Джимми.— Пойдем! Брось это дело! Что, других девчонок здесь нет, что ли?

Тот наконец послушался, и вся компания двинулась по направлению к павильону.

— Кто это? — спросил Мартин у Лиззи.— И чего он разбушевался?

Пыл драки не в пример прежним дням уже остывал в нем, и он с грустью убеждался, что привычка к самоанализу лишила его непосредственности чувств и мыслей.

Лиззи тряхнула головой.

— Да так, один парень,— сказала она,— я с ним гуляла последнее время.

Помолчав немного, она прибавила:

— Просто мне скучно было... но я никогда не забывала...— Она понизила голос и устремила взгляд в пространство.— Я бы на него и не взглянула при вас!..

Мартин смотрел на нее и понимал, что ему сейчас нужно только протянуть руку; но, слушая ее простые слова, он задумался над тем, стоит ли придавать такое большое значение изысканной книжной речи, и... забыл ей ответить.

— Вы здорово отделали его,— сказала она со смехом.

— Он парень крепкий,— великодушно возразил Мартин.— Если бы его не увели, мне бы, пожалуй, пришлось с ним повозиться.

— Кто была та молодая дама, с которой я вас встретила? — спросила вдруг Лиззи.

— Так, одна знакомая,— ответил он.

— Давно это было,— задумчиво произнесла девушка,— как будто тысячу лет тому назад!

Мартин ничего не ответил и переменил тему разговора. Они пошли в ресторан, Мартин заказал вина и дорогих закусок, потом он танцевал с ней, только с ней, до тех пор, пока она, наконец, не устала. Мартин был прекрасный танцор, и девушка кружилась, не чуя под собой ног от блаженства; она склонила голову к нему на плечо, и ей хотелось, чтобы так продолжалось вечно. Потом они пошли снова в парк, где, по старому доброму обычаю, она села на траву, а Мартин лег и положил голову ей на колени. Он скоро задремал, а она нежно поглаживала его волосы, всей душой отдаваясь охватившему ее чувству.

Мартин вдруг открыл глаза и прочел в ее взгляде нежное признание. Она было смутилась, но тотчас оправилась и посмотрела на него решительно и смело.

— Я ждала все эти годы,— сказала она чуть слышно.

И Мартин почувствовал, что это правда, удивительная, чудесная правда. Великое искушение овладело им; в его власти было сделать эту девушку счастливой. Если самому ему не суждено счастье, почему не дать счастье другому человеку? Он мог

бы жениться на ней и увезти ее с собою на Маркизские острова. Ему очень хотелось поддаться искушению, но какой-то внутренний голос приказывал не делать этого. Наперекор самому себе, он оставался верен своей Любви. Дни вольностей и легкомыслия миновали. Вернуть их было невозможно. Он изменился и только сейчас понял, насколько он изменился.

— Я не гожусь в мужья, Лиззи,— сказал он, улыбаясь.

Ее рука на мгновение остановилась, но потом пальцы ее снова стали нежно перебирать его волосы. Мартин заметил, что ее лицо вдруг приняло суровое, решительное выражение, которое, впрочем, быстро исчезло, и опять щеки ее нежно зарумянились, а глаза смотрели мягко и ласково.

— Я не то хотела сказать...— начала она и запнулась.— Во всяком случае, мне это все равно. Да, да, мне все равно,— повторила она.— Я горжусь вашей дружбой. Я на все готова для вас. Такая уж я, верно, уродилась.

Мартин сел. Он взял ее руку и тепло пожал ее, но в его пожатии не было страсти,— от этого тепла на Лиззи повеяло холодом.

— Не будем говорить об этом,— сказала она.

— Вы хорошая, благородная девушка,— произнес Мартин,— это я должен гордиться вашей дружбой. Я и горжусь, да, да! Вы для меня точно луч света в темном и мрачном мире, и я буду с вами так же честен, как и вы были со мною.

— Мне все равно, честны вы со мной или нет. Вы можете делать со мной, что хотите. Можете швырнуть меня в грязь и растоптать, если хотите. Но это можете только вы,— сказала она, гордо вскинув голову,— недаром я с детских лет привыкла сама собой распоряжаться!

— Вот потому-то я и должен быть честен с вами,— ласково сказал он.— Вы такая славная и благородная, что и я должен поступить с вами благородно. Я не могу жениться и не могу... ну да, и не могу любить просто так, хотя прежде это со мной бывало. Я очень жалею, что повстречал вас сегодня. Но теперь ничего не поделаешь. Не думал я, что все так получится. Я ведь к вам очень хорошо отношусь, Лиззи, вы даже не представляете, как хорошо. Больше того, я восхищаюсь вами, преклоняюсь перед вами. Вы замечательная, поистине замечательная девушка! Но что пользы говорить вам об этом? Мне бы хотелось сделать только одно. Ваша жизнь была тяжела. Позвольте мне облегчить ее! — Радостный блеск вспыхнул в ее глазах и тотчас же угас.— Я скоро получу много денег! Очень много!

И в этот миг он забыл о долине и о заливе, о тростниковой хижине и о белой яхте. В конце концов зачем все это? Ведь он отлично может отправиться в плавание на любом судне и куда ему вздумается.

— Мне бы хотелось отдать эти деньги вам. Вы можете поступить на курсы, изучить какую-нибудь профессию. Можете стать стенографисткой. Я помогу вам в этом. А может быть, у вас еще живы родители? Я бы мог, например, купить им бакалейную лавку. Скажите только, чего вы хотите, и я все для вас сделаю.

Лиззи сидела неподвижно, глядя перед собой сухими глазами, и ничего не отвечала. Какой-то ком в горле мешал ей дышать, и Мартин вдруг ясно понял, что́ она чувствует, и у него самого болезненно сдавило горло. Не надо было заводить этот разговор. То, что он предлагал ей, было ничтожно в сравнении с тем, что она готова была отдать ему. Он предлагал ей то, что у него было лишним, без чего он мог обойтись,— а она отдавала ему всю себя, не боясь ни позора, ни греха, ни вечных мук.

— Не будем говорить об этом,— сказала она и кашлянула, словно стараясь освободиться от этого мешавшего ей комка в горле.— Пора идти! Я устала!

Гулянье кончилось, и публика почти уже разошлась. Но когда Мартин и Лиззи вышли из-за деревьев, то они увидели поджидавшую их кучку людей. Мартин сразу понял, в чем дело. Готовилась потасовка. Это были их телохранители. Все вместе они пошли к воротам парка, а в некотором отдалении двигалась туда же другая компания — это незадачливый поклонник Лиззи, готовясь отомстить за обиду, уже успел собрать своих сторонников. Несколько полисменов, предвидя столкновение, проводили обе компании до поезда, идущего в Сан-Франциско. Мартин предупредил Джимми, что сойдет на остановке Шестнадцатой улицы и пересядет в оклендский трамвай. Лиззи оставалась безучастной к происходящему.

Поезд остановился у Шестнадцатой улицы. Кондуктор трамвая, дожидавшегося на остановке, нетерпеливо бил в гонг.

— Ну, бери ее и давай ходу! — крикнул Джимми.— Живо! А мы тут их задержим.

Враждебная партия была в первую минуту озадачена этим маневром, но тотчас, выскочив из вагона, пустилась вдогонку убегавшим.

Сидевшие в трамвае пассажиры не обратили особого внимания на молодого человека и девушку, которые быстро подбежали к трамваю и заняли два свободных места в углу. Никто

не подозревал, что эта парочка имела какое-то отношение к Джимми, который, вскочив на ступеньку, закричал вагоновожатому:

— Давай, давай, приятель, жарь что есть силы!

В следующий момент Джимми уже отбивался от первого преследователя, пытавшегося вскочить в трамвай. Кулаки заработали вовсю: товарищи Джимми заняли длинную ступеньку открытого вагона и геройски отбивали атаку. Трамвай тронулся под громкие удары гонга, и друзья Джимми соскочили со ступеньки. Поле сражения осталось далеко позади, и пассажирам даже в голову не пришло, что сидевшие в уголке элегантный молодой человек и хорошенькая работница были причиной происшедшего скандала.

Стычка взволновала Мартина, в нем проснулся былой воинственный задор. Но вскоре им снова овладела привычная тоска. Он был стар, на целые века старше беззаботных товарищей своей беззаботной юности. Слишком большой путь он прошел, и о возвращении назад нельзя было и думать. Его не привлекал тот образ жизни, который он некогда вел. Прежние друзья стали чужими. Их жизнь была ему противна, как вкус дешевого пива, от которого он отвык. Он слишком далеко ушел. Тысячи прочитанных книг, как стена, разделяли их. Он добровольно обрек себя на изгнание. Его увлекло путешествие по безграничным просторам разума, откуда не было возврата к тому, что осталось позади. Однако человеком он не перестал быть, и его по-прежнему тянуло к людям.

Но новой родины он пока еще не обрел. Ни друзья, ни родные, ни новые знакомые из буржуазного круга, ни даже эта девушка, которую он высоко ценил и уважал, не могли понять его. Он думал об этом с грустью и с горечью.

— Помиритесь с ним,— посоветовал Мартин на прощание Лиззи, проводив ее до рабочего квартала, где она жила, между Шестой и Маркет-стрит.

Он имел в виду того молодого парня, чье место он сегодня невольно занял.

— Не могу... теперь,— отвечала она.

— Пустяки! — весело воскликнул он.— Вам стоит только свистнуть, и он прибежит.

— Не в этом дело,— просто сказала она.

И Мартин понял, что хотела она сказать.

Лиззи вдруг потянулась к нему. В этом движении не было ничего властного и вызывающего. Оно было робко и смиренно и тронуло Мартина до глубины души. Природная доброта за-

говорила в нем. Он обнял Лиззи и крепко поцеловал, и не было в мире поцелуя чище и целомудреннее, чем тот, которым ответили ее губы.

— Боже мой,— всхлипнула она.— Я с радостью умерла бы за вас!.. Умерла бы за вас!

Она вдруг вырвалась от него и исчезла в воротах. Слезы выступили у него на глазах.

— Мартин Иден,— пробормотал он,— ты никакой не зверь и никудышный ницшеанец. Ты бы должен жениться на этой девушке и дать ей то счастье, к которому она так рвется. Но ты не можешь. И это стыд и позор! «Старик бродяга жалуется горько»,— пробормотал он, вспоминая Хенли: — «Вся наша жизнь — ошибка и позор!» Да, наша жизнь — ошибка и позор!

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

«Позор солнца» вышел в октябре. Когда Мартин вскрывал почтовую бандероль с шестью авторскими экземплярами, присланными ему издателем, на душе у него было тяжело и грустно. Он думал о том, какой огромной радостью явилось бы для него это событие несколько месяцев назад и как не похоже на ту радость холодное равнодушие, которое он испытывал сейчас. Его книга, его первая книга, лежала перед ним на столе, а сердце его билось ровно, и он не чувствовал ничего, кроме тоски. Теперь это уже не имело значения. В лучшем случае это означало, что он получит деньги, но зачем ему теперь деньги?..

Взяв один экземпляр, он вышел на кухню и преподнес его Марии.

— Эту книгу сочинил я,— объяснил он, видя ее изумление.— Я написал ее вот в этой каморке и думаю, что ваш суп сыграл тут немаловажную роль. Возьмите ее и сохраните. Будете смотреть на нее и вспоминать меня.

У Мартина и в мыслях не было хвастаться перед Марией. Ему просто хотелось доставить ей удовольствие, оправдать ее долголетнюю веру в него. Мария положила книгу в гостиной рядом с семейной Библией. Эта книга, написанная ее жильцом, была для нее священной реликвией, символом дружбы. Теперь Мария примирилась даже с тем, что Мартин прежде был простым рабочим в прачечной. Хотя она не могла понять в книге ни одной строчки, она была твердо убеждена, что каждая строчка в ней замечательна. Простая, неискушенная, привыкшая к

тяжелому труду женщина обладала одной драгоценной способностью — верить.

Так же равнодушно, как и к авторским экземплярам, относился Мартин к отзывам, которые ему каждую неделю присылали из бюро вырезок. Книга наделала много шуму, это было очевидно. Ну что ж, значит, его мешок с золотом наполнится быстрее. Можно будет устроить Лиззи, исполнить все обещания и поселиться наконец в тростниковом дворце.

Издательство «Синглтри, Дарнлей и К⁰» из осторожности напечатало всего тысячу пятьсот экземпляров, но первые же рецензии побудили его выпустить второй тираж — в три тысячи; а вскоре последовал и третий,— на этот раз в пять тысяч. Одна лондонская фирма начала переговоры об английском издании, а из Франции, Германии и Скандинавских стран приходили запросы об условиях перевода. Критика школы Метерлинка оказалась как нельзя более своевременной. Началась ожесточенная полемика. Салиби и Геккель поддерживали и защищали «Позор солнца», впервые оказавшись единомышленниками. Крукс и Уоллес выступили против, а сэр Оливер Лодж пытался найти компромисс в пользу собственной космической философии. Сторонники Метерлинка сплотились под знаменем мистицизма. Честертон заставил смеяться весь мир серией статей, якобы беспристрастно трактовавших модную тему, а Бернард Шоу обрушил на публику лавину своего остроумия, которая едва не погребла под собой и споривших, и самый предмет спора. Нечего и говорить, что, кроме этих великих светил, на сцену выступили и менее крупные звезды,— словом, шум принял грандиозные размеры.

«Это совершенно небывалое событие,— писала Мартину фирма «Синглтри, Дарнлей и К⁰»,— критико-философская книга расходится, как роман. Трудно было удачнее выбрать тему, к тому же успеху способствует необычайно благоприятное стечение обстоятельств. Можете быть уверены, что мы стараемся как можно лучше использовать момент. В Соединенных Штатах и Канаде разошлось сорок тысяч экземпляров вашей книги, и в настоящее время уже печатается новое издание, тиражом в двадцать тысяч. Мы едва успеваем удовлетворить спрос. С другой стороны, мы немало способствовали увеличению этого спроса. Мы истратили на рекламу более пяти тысяч долларов. Книга эта побьет все рекорды.

При сем имеем честь препроводить проект договора на вашу следующую книгу. Заметьте, что мы увеличили ваш гонорар до двадцати процентов,— это высшая ставка, возможная для

такой солидной фирмы, как наша. Если вы находите условия подходящими, благоволите проставить на бланке договора заглавие книги. Мы не выдвигаем никаких условий относительно ее содержания. Любая книга, на любую тему. Если у вас уже есть что-либо готовое, тем лучше. Не следует медлить. «Куй железо, пока горячо».

Тотчас же по получении подписанного вами договора вам будет выслан аванс в размере пяти тысяч долларов. Как видите, мы верим в вас и не боимся риска. Может быть, мы договорились бы с вами относительно исключительного права издания всех ваших сочинений на известный срок — ну, скажем, на десять лет. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся».

Отложив письмо, Мартин занялся арифметикой и, помножив пятнадцать центов на шестьдесят тысяч, получил результат — девять тысяч долларов. Он подписал договор, проставив заглавие новой книги — «Дым радости», и отправил его издателю вместе с двадцатью небольшими рассказами, написанными еще до того, как он нашел рецепт сочинения газетных фельетонов. И со всей быстротой, на которую только способна американская почта, пришел чек на пять тысяч долларов.

— Я бы хотел, чтобы вы сегодня пошли со мною в город, Мария, часа в два,— сказал Мартин, получив чек,— или лучше так: встретимся с вами ровно в два часа на углу Четырнадцатой улицы и Бродвея.

Мария явилась в назначенное время; она была очень заинтересована, но ее догадки дальше новых башмаков не шли. Поэтому она испытала даже некоторое разочарование, когда Мартин, миновав обувной магазин, привел ее в какую-то контору.

То, что случилось потом, навсегда осталось у нее в памяти, как чудесный сон. Элегантные джентльмены, вежливо улыбаясь ей, беседовали с Мартином и друг с другом. Стучала машинка. Была подписана какая-то важная на вид бумага. Тут же был и домохозяин Марии, и он тоже поставил свою подпись.

Когда они вышли на улицу, домохозяин сказал ей:

— Ну, Мария, в этом месяце вам уже не придется платить мне семь с половиной долларов.

Мария онемела от удивления.

— Да и в следующие месяцы тоже,— продолжал он.

Мария стала благодарить его, словно он оказал ей милость. И только вернувшись домой и потолковав с соседями, в первую очередь с лавочником-португальцем, она поняла, что этот ма-

ленький домик, в котором она прожила столько лет, платя за наем, отныне стал ее собственностью.

— Почему вы теперь ничего не покупаете у меня? — дружелюбно окликнул португалец Мартина, когда тот, сойдя с трамвая, шел домой.

Мартин объяснил ему, что он уже не стрижет сам, и тогда лавочник пригласил его распить с ним бутылочку. Он угостил его самым лучшим вином, какое только нашлось в лавке.

— Мария,— объявил Мартин в тот же вечер,— я уезжаю от вас. Да вы и сами скоро отсюда уедете. Можете теперь сдать кому-нибудь дом и получать за него помесячную плату. У вас, кажется, есть брат в Сан-Леандро или Хэйуордсе, который занимается молочным хозяйством? Так вот, верните клиентам белье нестираным — понимаете? нестираным! — и поезжайте в Сан-Леандро или в Хэйуордс,— одним словом, к вашему брату... Скажите ему, что мне надо поговорить с ним. Я буду жить в Окленде, в «Метрополе». Может быть, у него есть на примете подходящая молочная ферма.

И вот Мария сделалась домовладелицей и хозяйкой фермы; у нее было два работника, исполнявшие тяжелую работу, а ее текущий счет в банке все возрастал, несмотря на то, что дети были теперь обуты и ходили в школу. Редко кому удается встретить в жизни сказочного принца. Но Мария, отупевшая от тяжкой работы и никогда не мечтавшая ни о каких принцах, встретила такого принца в лице бывшего рабочего из прачечной.

Между тем публика начала интересоваться, кто же такой этот Мартин Иден. Он отказался дать издателям биографические сведения о себе, но от газет было не так-то легко отделаться. Он был уроженцем Окленда, и репортеры разыскали достаточно людей, знавших Мартина Идена с детства. Таким образом, в газетах появились подробные описания, кем он был и кем он не был, чем он занимался и чем не занимался. Статьи иллюстрировались рисунками и фотографиями — нашелся предприимчивый фотограф, у которого Мартин когда-то снимался, и теперь он бойко вел торговлю его карточками. Сначала Мартин боролся с этой шумихой: в нем еще сильна была неприязнь к журналам и к буржуазному обществу. Но в конце концов он примирился — так было спокойнее. Ему неловко было отказывать в интервью корреспондентам, специально приехавшим издалека. Кроме того, с тех пор, как он перестал писать и забросил книги, дни стали тянуться невыносимо медленно и надо было чем-нибудь заполнить время. Поэтому он разрешил себе эту маленькую прихоть: беседовал с журналистами, излагал свои литературные и фило-

софские взгляды и даже принимал приглашения в богатые буржуазные дома. Он обрел вдруг необычайное спокойствие. Ничто не трогало его. Он простил всем и все — простил даже молодому репортеру, некогда изобразившему его в виде опасного социалиста, и дал ему интервью на целую полосу с приложением фотографического снимка.

Время от времени Мартин виделся с Лиззи и понимал, что она жалеет о его возвеличении. Пропасть между ними теперь стала еще больше. Может быть, в надежде перебросить мостик через эту пропасть, Лиззи согласилась на его уговоры, стала посещать вечернюю школу и курсы стенографии и сшила платье у лучшей портнихи, содравшей огромные деньги. Ее быстрые успехи заставили наконец Мартина призадуматься над тем, правильно ли он поступает. Все, что делала Лиззи, она делала ради него, и он знал это. И ей хотелось подняться в его глазах, приобрести те качества, которые, как ей казалось, он особенно ценит. А он между тем не давал ей никакой надежды, виделся с ней редко и обращался всегда только как брат с сестрой.

«Запоздалый» был выпущен издательством Мередит-Лоуэлл, когда Мартин находился в зените славы, а так как это была беллетристика, то повесть имела даже больший успех, чем «Позор солнца». Обе книги Мартина занимали первое место в списке бестселлеров — факт почти небывалый. И любители занимательного чтения, и серьезные читатели, поклонники «Позора солнца», зачитывались повестью, восхищались ее силою и необычайным мастерством автора. Мартин Иден только что с успехом атаковал мистицизм теоретически; теперь он и на практике доказал, что такое настоящая литература. В нем, таким образом, счастливо сочетался талант критический с талантом художественным.

Мартин, словно комета, проносился по горизонтам большой литературы. Деньги так и текли к нему, слава росла непомерно, но это скорее забавляло его, нежели радовало. Один ничтожный факт привел его в полное недоумение, и факт этот, наверное, немало удивил бы и публику. Впрочем, публика удивилась бы не самому факту, а скорее тому, что он привел Мартина в недоумение... Судья Блоунт пригласил Мартина к себе обедать! Это событие, само по себе ничтожное, должно было вскоре приобрести для Мартина огромное значение. Ведь он оскорбил судью Блоунта, разговаривал с ним непозволительным образом, а теперь судья Блоунт, встретившись с ним на улице, пригласил его обедать. Мартин вспомнил, как часто встречался он с судьею в доме Морзов и тот ни разу не подумал пригласить его обедать.

«Почему же он тогда не приглашал меня?» — спрашивал себя Мартин. Ведь он ничуть не изменился. Он все тот же Мартин Иден. В чем же дело? Только в том, что его произведения теперь напечатаны? Но ведь написал он их давно. И с тех пор ничего не написал. Все лучшее было создано им именно тогда, когда судья Блоунт, присоединяясь к общему мнению, высмеивал его взгляды и его увлечение Спенсером. Значит, судья Блоунт пригласил его не ради настоящих его заслуг, а ради того, что было, в сущности, только их отражением.

Мартин с улыбкой принял приглашение, сам изумляясь своей сговорчивости. За обедом, где присутствовало шесть или семь важных особ с женами и дочерьми, Мартин сразу же почувствовал себя центром внимания. Судья Блоунт, которого горячо поддержал судья Хэнуэлл, просил у Мартина разрешения записать его в члены своего клуба «Стикс»: доступ туда был открыт только людям не просто богатым, но чем-либо выдающимся.

Мартин еще больше удивился, но предложение отклонил.

Он по-прежнему был занят распределением своих рукописей. Издатели положительно осаждали его письмами. Все единогласно решили, что он превосходный стилист и что под красотою формы у него скрывается богатое содержание. «Северное обозрение», напечатав «Колыбель красоты», обратилось к нему с просьбой прислать еще несколько подобных статей, и Мартин собирался уже исполнить эту просьбу, переворошив свой запас, как тут «Журнал Бэртона», войдя в азарт, предложил напечатать пять его статей с оплатой по пятьсот долларов за каждую.

Мартин написал, что согласен, но не по пятьсот, а по тысяче. Он очень хорошо помнил, что рукописи были в свое время отвергнуты теми самыми журналами, которые теперь спорили из-за них. Он помнил их равнодушные, стандартные отказы. Они немало помучили его, и теперь ему хотелось помучить их. «Журнал Бэртона» уплатил ему назначенную цену за пять статей, а оставшиеся четыре были подхвачены на тех же условиях «Ежемесячником Макинтоша». «Северное обозрение» было слишком бедно и не могло тягаться с ними. Так увидели свет: «Жрецы чудесного», «Мечтатели», «Мерило нашего «я», «Философия иллюзий», «Бог и зверь», «Искусство и биология», «Критики и пробирки», «Звездная пыль», «Сила ростовщичества». Все эти вещи вызвали надолго шум.

Издатели просили Мартина самого назначать условия, что он охотно делал. Но печатал он только то, что было написано

раньше. От всякой новой работы он категорически отказывался. Мысль снова взяться за перо казалась ему невыносимой. Он слишком хорошо помнил Бриссендена, который пал жертвой толпы, и потому он продолжал презирать и ненавидеть толпу, хотя она и рукоплескала ему. Даже популярность Мартин считал оскорблением памяти Бриссендена. Он морщился, но не отступал, твердо решив наполнить свой мешок золотом.

Неоднократно приходилось Мартину получать от издателей письма такого содержания:

«Около года тому назад мы имели несчастье отказаться от цикла ваших лирических стихотворений. Они и тогда произвели на нас огромное впечатление, но некоторые обстоятельства помешали нам в то время их использовать. Если стихи эти еще не напечатаны и вы будете настолько добры, что согласитесь прислать их нам, то мы немедленно напечатаем весь цикл, уплатив вам гонорар, который вы сами соблаговолите назначить. Мы согласны были бы издать их и отдельной книгой на выгоднейших для вас условиях».

Мартин вспомнил про свою стихотворную трагедию и послал ее вместо стихов. Перечитав это произведение перед отправкой, он был поражен его слабостью и напыщенностью. Однако он все-таки послал трагедию, а журнал напечатал, в чем потом немало раскаивался. Публика была возмущена и отказывалась верить, что прославленный Мартин Иден написал такую чушь. Стали кричать, что это грубая подделка или же Мартин Иден, подражая Дюма-отцу, поручает другим писать за себя. Но когда Мартин разъяснил, что произведение это было, что называется, грехом его литературной юности и появилось в печати только потому, что к нему очень уж приставали, поднялся общий хохот, и журналу пришлось переменить редактора. Трагедия не вышла отдельным изданием, но Мартин Иден, без всякого сострадания к издателю, оставил у себя полученный аванс.

«Еженедельник Колмэна» прислал Мартину длиннейшую телеграмму, которая обошлась по меньшей мере в триста долларов, предлагая написать двадцать очерков, по тысяче долларов за каждый. Для этого Мартин должен был за счет издательства совершить путешествие по Соединенным Штатам и выбрать темы, которые покажутся ему интересными. В телеграмме было перечислено несколько примерных тем, чтобы показать наглядно, насколько широки и разнообразны замыслы издательства. Единственное условие, которое ставилось Мартину,— писать на материале Соединенных Штатов.

Мартин в телеграмме, посланной наложенным платежом, выразил свое глубокое сожаление, что не может воспользоваться этим лестным предложением.

Повесть «Вики-Вики», напечатанная в «Ежемесячнике Уоррена», имела необычайный успех. Выпущенная вскоре отдельным роскошным изданием, она разошлась чуть ли не в несколько дней. Все критики единогласно признали, что это произведение может стать в ряд с такими классическими шедеврами, как «Дух в бутылке» и «Шагреневая кожа».

Однако сборник «Дым радости» был встречен с некоторым недоумением и даже холодком. Буржуазное общество было шокировано слишком смелой моралью и полным пренебрежением к предрассудкам. Но когда Париж положительно сошел с ума по только что выпущенному французскому переводу книги, то Англия и Америка тоже набросились на сборник, и Мартин потребовал с издательства «Синглтри, Дарнлей и К⁰» за третью книгу двадцать пять, а за четвертую — тридцать процентов. В эти две книги вошли все рассказы Мартина, напечатанные в различных журналах. «Колокольный звон» и все «страшные» рассказы составили первый том. Во второй том вошли: «Приключение», «Котел», «Вино жизни», «Водоворот», «Веселая улица» и еще несколько рассказов. Кроме того, вышел сборник всех его статей, а также том стихотворений, куда вошли «Песни моря» и «Сонеты о любви»,— последние были предварительно напечатаны в «Спутнике женщин», заплатившем Мартину неслыханный гонорар.

Мартин вздохнул с облегчением, когда последняя рукопись была, наконец, пристроена. И тростниковый дворец, и белая шхуна стали вполне досягаемы. В конце концов он все-таки опроверг мнение Бриссендена, будто ни одно истинно художественное произведение не попадает в журналы. Его собственный пример блестяще доказал, что Бриссенден ошибался. И все-таки втайне Мартин чувствовал, что друг его был прав. Ведь главной причиной его успехов был «Позор солнца», остальное пошло в ход чисто случайно. Ведь эти самые вещи много лет подряд отвергались всеми журналами. Но появление «Позора солнца» вызвало сенсацию и оживленную полемику, что и создало ему имя. Не появись «Позор солнца», не возникла бы полемика; успех книги был, в сущности говоря, чудом. Это признавали даже «Синглтри, Дарнлей и К⁰». Они не решились на первый раз выпустить больше тысячи пятисот экземпляров; опытные издатели, они сами были изумлены успехом книги. Им этот

успех действительно казался чудом. Они и впоследствии не могли отделаться от этого ощущения, и в каждом их письме сквозило благоговейное удивление перед таинственной удачей. Они и не пытались объяснить ее себе. Объяснения тут быть не могло. Уж так случилось, вот и все. Случилось вопреки всем вероятиям и расчетам.

Мартин не слишком обольщался своей популярностью. Книги его читала буржуазия, и это она набивала его мешок золотом, а Мартин знал буржуазию и не понимал, что может ее привлекать в его произведениях. Для тех сотен тысяч, которые прославляли его и нарасхват покупали его книги, красота их и смысл не имели решительно никакой ценности. Он был просто баловнем судьбы, выскочкой, который вторгся на Парнас, воспользовавшись тем, что боги зазевались. Эти сотни тысяч читают его и восхищаются им с тем же скотским непониманием, с каким они накинулись на «Эфемериду» Бриссендена и растерзали ее в клочки,— подлая стая волков, которые перед одним виляют хвостом, а другому вонзают клыки в горло. Все дело случая! Мартин по-прежнему был твердо уверен, что «Эфемерида» неизмеримо выше всего созданного им. Она была выше всего того, что он мог создать,— это была поэма, делающая эпоху. Так многого ли стоило преклонение толпы, той самой толпы, которая еще так недавно втоптала в грязь «Эфемериду»? Мартин вздохнул с облегчением и удовлетворением. Последняя рукопись продана, и скоро можно будет покончить со всем этим.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Мистер Морз повстречался с Мартином в вестибюле гостиницы «Метрополь». Случайно ли он пришел туда, или он втайне надеялся встретить Мартина Идена,— Мартин склонялся в пользу второго предположения,— но, как бы то ни было, мистер Морз пригласил его обедать — мистер Морз, отец Руфи, который отказал ему от дома и расстроил его помолвку!

Мартин не рассердился. Он даже не чувствовал себя задетым. Он терпеливо выслушал мистера Морза, думая, что тому не сладко, должно быть, идти на такое унижение. Он не отклонил приглашения, но ограничился тем, что поблагодарил довольно неопределенно и справился о здоровье всей семьи, в первую очередь миссис Морз и Руфи. Мартин произнес это имя спокойно, без запинки и втайне изумился, что кровь не бросилась ему в голову, а сердце не забилось быстрее.

Приглашения сыпались со всех сторон. Искали случая познакомиться с Мартином только для того, чтобы пригласить его к обеду. И Мартин продолжал недоумевать по поводу ничтожного обстоятельства, которое постепенно приобретало, казалось, огромное значение. Даже Бернард Хиггинботам вдруг пригласил его. Это озадачило Мартина еще больше. Он вспоминал время, когда он едва не умирал с голоду, и никто не приглашал его обедать. А тогда ему так пригодилось бы такое приглашение, ведь он с каждым днем худел, бледнел, терял последние силы от голода! Тут был какой-то глупейший парадокс. Когда он неделями сидел без обеда, никому в голову не приходило приглашать его, а теперь, когда у него хватило бы денег на сто тысяч обедов и к тому же он вовсе потерял аппетит, его звали обедать направо и налево. Почему? В том не было ни справедливости, ни его заслуги. Он остался тем же Мартином Иденом. Все его произведения были написаны давным-давно, в те голодные дни, когда мистер и миссис Морз называли его лентяем и бездельником и через Руфь предлагали ему поступить клерком в контору. А ведь они и тогда знали о его работе. Руфь показывала им каждую рукопись, которую он давал ей читать. И они сами читали эти рукописи. А теперь благодаря тем же самым произведениям его имя попало в газеты, и благодаря тому, что его имя попало в газеты, он стал для них желанным гостем.

Одно было совершенно очевидно: Морзам не было никакого дела ни до самого Мартина Идена, ни до его творчества. И если они искали его общества, то не ради него самого и не ради его произведений, а ради славы, которая теперь окружила ореолом его имя,— а может быть, и ради тех ста тысяч долларов, которые лежали у него на текущем счету в банке. Что ж, это была обычная оценка человека в буржуазном обществе, и странно было бы ожидать от этих людей другого. Но Мартин был горд. Ему не нужно было такой оценки. Он хотел, чтобы ценили его самого или его творчество, что было, в сущности, одно и то же. Так именно ценила его Лиззи. Даже его произведения не имели для нее особого значения; все дело было в нем самом. Так же относились к нему и Джимми, и вся его старая компания. Они не раз доказывали ему свою бескорыстную преданность в былые дни, доказали ее и теперь, на воскресном гулянье в Шелл-Моунд-парке. На все его писания им было наплевать. Они любили его, Марта Идена, славного малого и своего парня, и за него были готовы пойти в огонь и в воду.

«Северная Одиссея»

Иное дело — Руфь. Она полюбила его ради него самого, это было вне всякого сомнения. Но как ни дорог был он ей, буржуазные предрассудки оказались сильнее. Она не одобряла его занятий главным образом потому, что они не приносили ему дохода. С этой точки зрения она отнеслась к его «Сонетам о любви». И она тоже требовала, чтобы он поступил на службу. Правда, на ее языке это называлось «занять положение», но ведь сущность от этого не меняется, а слово «служба» было для Мартина более привычным. Мартин читал ей все свои вещи: читал поэмы, рассказы, статьи, «Вики-Вики», «Позор солнца»,— все. А она с неизменным упорством советовала ему поступить на службу, найти себе работу. Всемогущий боже! Как будто он не работал, как вол, лишая себя сна, перенапрягая силы только для того, чтобы стать, наконец, достойным ее!

Так ничтожное обстоятельство превращалось в большое и значительное. Мартин чувствовал себя здоровым и бодрым, ел вовремя, спал вволю, но ничтожное обстоятельство не давало ему покоя. *Давным-давно!* Эта мысль сверлила его мозг. Сидя напротив Бернарда Хиггинботама за одним из воскресных обедов, Мартин едва удерживался, чтобы не закричать:

«Ведь все это было написано давным-давно! Вот ты теперь угощаешь меня, а когда-то предоставлял мне умирать с голоду, отказывал от дома, знать меня не хотел только за то, что я не шел служить. А все мои вещи уже тогда были написаны. Теперь, когда я говорю, ты почтительно молчишь, не спускаешь с меня благоговейного взора, ловишь каждое мое слово. Я говорю тебе, что твоя партия состоит из взяточников и проходимцев, а ты, вместо того чтобы возмутиться, сочувственно киваешь головой и чуть ли не поддакиваешь мне. А почему? Потому что я знаменит! Потому что у меня много денег! А вовсе не потому, что я Мартин Иден, славный малый и не совсем дурак! Если бы я сказал, что луна сделана из зеленого сыра, ты немедленно согласился бы с этим, во всяком случае, не стал бы противоречить, потому что у меня есть груда золота. А ведь работа, за которую я их получил, была сделана давным-давно, в те самые дни, когда ты не ставил меня ни в грош и плевал на меня».

Но Мартин не выкрикнул этого. Тоска грызла его, но с губ не сходила терпеливая улыбка. Видя, что он молчит, Хиггинботам заговорил. Он, Бернард Хиггинботам, добился всего сам и гордится этим. Никто не помогал ему, и он никому не обязан. Он добропорядочный гражданин, содержит большую семью. А эта лавка, «Розничная торговля Хиггинботама» — венец его усилий и добродетелей. Он любил «Розничную торговлю Хиггин-

ботама», как иной муж любит свою жену. Он разоткровенничался с Мартином, стал рассказывать, чего ему стоило оборудовать лавку и поставить дело. А кроме того, у него есть планы, широкие планы. Население в квартале увеличивается. Лавка не может обслуживать всех. Будь у него побольше помещение, он мог бы ввести некоторые новшества и увеличить доход. И он это сделает, но прежде всего ему необходимо купить соседний участок и построить еще один двухэтажный дом. Верхний этаж он будет сдавать, а нижний присоединит к лавке. Даже глаза у него заблестели, когда он заговорил о новой вывеске, которая протянется по фасаду обоих домов.

Мартин почти не слушал. Слова «давным-давно» продолжали звенеть у него в ушах. Этот припев положительно сводил его с ума, необходимо было от него отделаться.

— Сколько, ты сказал, это должно стоить? — спросил он вдруг.

Зять прервал свои разглагольствования о коммерческих перспективах квартала и выпучил на него глаза. Он вовсе и не говорил о том, сколько это будет стоить, но если Мартину интересно, он может сказать. У него все высчитано.

— По теперешним ценам,— сказал он,— это обошлось бы тысячи в четыре.

— Включая вывеску?

— Вывески я не считал. Был бы дом, а вывеска будет!

— А земля?

— Еще тысячи три.

Облизывая пересохшие губы и нервно шевеля пальцами, смотрел Бернард Хиггинботам, как Мартин писал чек. Написав, Мартин передал его Хиггинботаму. Чек был на семь тысяч долларов.

— Я... я могу предложить тебе не более шести процентов,— пробормотал Хиггинботам хриплым от волнения голосом.

Мартин хотел рассмеяться, но вместо этого спросил:

— А сколько это будет?

— А вот сейчас подсчитаем. Шесть процентов... шестью семь — четыреста двадцать.

— Значит, в месяц придется тридцать пять долларов?

Хиггинботам кивнул утвердительно.

— Ну-с, если ты не возражаешь, то мы сделаем так.— Мартин при этих словах взглянул на Гертруду.— Можешь оставить себе основную сумму безвозвратно, но с условием тратить тридцать пять долларов в месяц на кухарку и прачку. Одним словом, семь тысяч твои, если ты гарантируешь мне, что Гер-

труда не будет больше делать всю грязную работу в доме. Согласен?

Мистер Хиггинботам с шумом перевел дух. Требование, чтобы его жена не занималась черным трудом, показалось ему оскорбительным. Великолепный подарок был только средством позолотить пилюлю, и горькую пилюлю! Чтобы жена не работала! Это его взбесило.

— Как хочешь,— сказал Мартин.— Тогда эти тридцать пять долларов в месяц буду платить я, но...

Он потянулся за чеком, но Бернард Хиггинботам поспешно накрыл его рукой и воскликнул:

— Я согласен! Согласен!

Садясь в трамвай, Мартин чувствовал усталость и отвращение. Он оглянулся на крикливую вывеску. «Свинья,— пробормотал он,— какая свинья!»

Когда в «Журнале Макинтоша» появилась «Гадалка», украшенная рисунками первоклассных художников, то Герман Шмидт вдруг забыл, что он назвал некогда это стихотворение непристойным. Он рассказывал всем и каждому, что стихотворение было написано в честь его жены, и постарался, чтобы слух этот не миновал ушей газетного репортера. Репортер не замедлил явиться в сопровождении фотографа и зарисовщика. В результате на одной из страниц воскресного приложения появился значительно приукрашенный портрет Мэриен, множество интимных подробностей из жизни Мартина Идена и его семьи и с полным текстом «Гадалки», перепечатанным с особого разрешения журнала. Это произвело фурор во всей округе, и окрестные домохозяйки гордились знакомством с сестрой великого писателя, а те, которые до сих пор не удостоились такого знакомства, торопились восполнить этот пробел. Герман Шмидт довольно потирал руки и даже заказал новый станок для мастерской.

— Это лучше всякой рекламы,— говорил он,— и денег не стоит.

— Надо бы пригласить его обедать,— предложила Мэриен.

Мартин пришел к обеду и старался быть любезным с жирным мясоторговцем-оптовиком и с его еще более жирной супругой,— это были важные люди и могли оказаться очень полезными молодому человеку, пробивающему себе дорогу, каким был, например, Герман Шмидт. Конечно, они бы никогда не удостоили последнего визитом, если бы им не обещали, что на обеде будет присутствовать знаменитый писатель. На ту же приманку попался и главный управляющий агентством Тихоокеан-

ской велосипедной компании. Герман Шмидт заискивал перед ним, так как надеялся получить от него представительство в Окленде. Одним словом, Герман готов был занести родство с Мартином Иденом в свой жизненный актив, но в глубине души он решительно не понимал, как все это случилось. Очень часто середь ночи он вставал и, стараясь не разбудить жену, читал сочинения Мартина, и всякий раз убеждался, что только дураки могут платить за них деньги.

Мартин отлично понимал, что думал о нем свойственник: откинувшись на спинку стула и рассматривая Германа Шмидта, он мысленно награждал его здоровыми подзатыльниками — ах, самодовольная немецкая рожа! И все-таки кое-что Мартину в нем нравилось. Как он ни был беден, как ни хотел поскорее разбогатеть, он все же нанимал служанку, чтобы облегчить Мэриен домашнюю работу. Переговорив после обеда с управляющим велосипедной компании, Мартин отозвал Германа в сторону и предложил финансировать оборудование лучшего в Окленде магазина по продаже велосипедов и принадлежностей к ним. Он до того расщедрился, что велел Герману присмотреть заодно гараж и автомобильную мастерскую, так как Герман, несомненно, отлично справится и с двумя предприятиями.

Обняв Мартина, со слезами на глазах, Мэриен на прощание шепнула ему о том, как она его любит и как всегда любила. Правда, при последних словах она слегка запнулась, слезы и поцелуи стали обильнее, и Мартин понял, что она просит прощения за то, что когда-то сомневалась в нем и убеждала поступить на службу.

— Ну, у него деньги долго не удержатся,— сказал вечером жене Герман Шмидт.— Он так и вскипел, когда я заговорил о процентах! Знаешь, что он мне сказал? Ему и капитала не нужно, не то что процентов. И если я еще раз заговорю об этом, он расшибет мою немецкую башку. Так и сказал: «немецкую башку». Но он все-таки молодец, хотя и не деловой человек. А главное — он здорово выручил меня!

Приглашения к обеду сыпались со всех сторон, и чем больше их было, тем больше недоумевал Мартин. Он был почетным гостем на банкете одного старейшего клуба, сидел в окружении людей, о которых слыхал и читал почти всю свою жизнь. Эти люди говорили ему, что, прочитав в «Трансконтинентальном ежемесячнике» «Колокольный звон», а в «Шершне» «Пери и жемчуг», они сразу поняли, что появился великий писатель. «Боже мой,— думал Мартин,— а я голодал и ходил оборванцем!

Почему они меня в то время ни разу не пригласили обедать? Тогда это пришлось бы кстати. Ведь обе вещи написаны давным-давно. Если вы теперь кормите меня обедами за то, что я сделал прежде, то почему вы не кормили меня тогда, когда я действительно в этом нуждался? Ведь ни в «Колокольном звоне», ни в «Пери и жемчуге» я не изменил ни одного слова. Нет, вы меня угощаете вовсе не за мою работу, а потому, что меня угощают все, и потому, что угощать меня почитаете теперь за честь. Вы меня угощаете потому, что вы животные, стадные животные! Потому, что вы повинуетесь слепому и тупому стадному чувству, а это чувство сейчас подсказывает одно: надо угостить обедом Мартина Идена. Но никому из вас нет дела ни до самого Мартина Идена, ни до его работы»,— печально говорил он себе и вставал, чтобы остроумно и эффектно ответить на остроумный и эффектный тост.

И так было везде. Где бы он ни был: в фешенебельных клубах, в светских гостиных и на литературных вечерах,— всюду ему говорили одно и то же: когда вышли из печати «Колокольный звон» и «Пери и жемчуг», сразу стало ясно, что появился великий писатель. И всегда в глубине души Мартина копошился все тот же неотвязный вопрос: «Почему же вы меня тогда не кормили обедами? Ведь эти вещи написаны давным-давно. «Колокольный звон», «Пери и жемчуг» не изменились ни на йоту. Они тогда были так же хороши, так же мастерски написаны, как и теперь. Но вы угощаете меня не за эти и не за другие мои произведения. Вы меня угощаете потому, что это теперь в моде, потому что все стадо помешалось на одном: угощать Мартина Идена».

И часто в такие минуты среди блестящего общества перед ним вдруг вырастал гуляка-парень в двубортной куртке и надвинутом стетсоне. Так случилось однажды в Окленде, на литературном утреннике в дамском клубе. Выходя на эстраду, Мартин вдруг увидел вдали, в глубине зала, гуляку-парня в знакомой куртке и шляпе. Пятьсот разодетых дам разом оглянулись, чтобы посмотреть, на что устремил свой пристальный взгляд Мартин Иден. Но они ничего не увидели в пустом проходе. А Мартин смотрел и думал, догадается ли парень снять шляпу, которая словно приросла к его голове. Призрак направился к эстраде и взошел на нее. Мартин чуть не расплакался от тоски, глядя на тень своей юности, думая о том, чем он мог стать и чем стал. Призрак прошел по эстраде, подошел вплотную к Мартину и исчез, словно растворился в нем. Все пятьсот дам зааплодировали своими изящными, затянутыми в перчатки ручками.

Они хотели подбодрить знаменитого гостя, вдруг проявившего такую застенчивость. Мартин усилием воли отогнал от себя видение, улыбнулся и начал говорить.

Директор школы, почтенный добродушный человек, встретив однажды Мартина на улице, напомнил ему, какие сцены происходили в его канцелярии, когда Мартина выгнали из школы за буйство и драки.

— Я читал ваш «Колокольный звон»,— сказал он,— еще когда он первый раз был напечатан. Прекрасно! Это не хуже Эдгара По! Я тогда, прочтя, сказал: прекрасно!

«Да? А вы в ту пору два раза встретились со мною на улице и даже не узнали меня,— чуть-чуть не сказал Мартин.— Оба раза я, голодный, бежал закладывать свой единственный костюм! Вы меня не узнавали! А все мои вещи были написаны уже тогда. Почему же вы теперь узнали меня?»

— Я как раз на днях говорил жене, что было бы очень хорошо, если бы вы как-нибудь пришли к нам,— продолжал директор,— и она очень просила меня пригласить вас. Да, очень, очень просила.

— Обедать! — неожиданно резко выкрикнул Мартин.

— Да... да... обедать,— забормотал тот растерянно,— запросто, знаете... со старым учителем... Ах вы плут этакий! — Он похлопал Мартина по плечу, стараясь скрыть робость под шутливой фамильярностью.

Мартин сделал несколько шагов, остановился и поглядел вслед старику.

— Черт знает что! — пробормотал он.— Я, кажется, здорово напугал его!

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Однажды к Мартину пришел Крейс — тот самый Крейс, из числа «настоящих людей». Мартин искренне обрадовался ему и выслушал проект необычайного по фантастичности предприятия, которое могло заинтересовать его как писателя, но отнюдь не как финансиста. Посреди изложения проекта Крейс вдруг заговорил о «Позоре солнца» и сказал, что это бред сумасшедшего.

— Впрочем, я пришел сюда не философствовать,— прервал он сам себя.— Все, что я хочу знать, это — вложите вы тысячу долларов в мое предприятие или нет?

— Нет, для этого я недостаточно сумасшедший,— сказал Мартин,— но я сделаю другое. Вы дали мне возможность про-

вести интереснейший вечер в моей жизни. Вы дали мне то, чего нельзя купить ни за какие деньги. Теперь деньги для меня ничего не значат. Я с удовольствием дам вам тысячу долларов просто так, в благодарность за тот незабываемый вечер. Вам нужны деньги, а у меня их слишком много. Вы хотите их получить? Не нужно никаких ухищрений. Получайте!

Крейс не проявил ни малейшего удивления. Он взял чек и сунул его в карман.

— На таких условиях я готов вам устраивать подобные вечера каждую неделю.

— Слишком поздно,— покачал головой Мартин,— это был для меня первый и последний такой вечер. Я словно очутился в другом мире. Для вас там не было ничего особенного, я знаю. Но для меня все было особенное. Это уже не повторится. Я покончил с философией. Я больше не желаю о ней слышать.

— Первый раз в жизни я нажил деньги на философии,— заметил Крейс, направляясь к двери, и то акции сразу упали.

Однажды на улице мимо Мартина проехала в коляске миссис Морз и с улыбкой кивнула ему. Он тоже улыбнулся и снял шляпу. Случай этот не произвел на него никакого впечатления. Еще месяц тому назад ему стало бы неприятно, а может быть, смешно, и он постарался бы представить, что чувствовала при этом миссис Морз. Но теперь эта встреча прошла мимо его сознания. Он сейчас же забыл о ней, как забыл бы, например, о том, что проходил мимо здания центрального банка или ратуши. А между тем в его мозгу шла непрерывная, сверхнапряженная работа. Все та же неотступная мысль сверлила его: «давным-давно». С этой мыслью Мартин просыпался по утрам, эта мысль преследовала его во сне. Все, что он видел, слышал, чувствовал, тотчас же связывалось в его сознании с этим «давным-давно». Логически рассуждая, Мартин пришел к беспощадному выводу, что теперь он никто, ничто. Март Иден-гуляка и Март Иден-моряк были реальными лицами, они существовали на самом деле. Но Мартин Иден — великий писатель никогда не существовал. Мартин Иден — великий писатель был измышлением толпы, и толпа воплотила его в телесной оболочке Марта Идена, гуляки и моряка. Но он-то знал, что это все обман. Он совсем не был тем легендарным героем, перед которым преклонялась толпа, изощряясь в служении его желудку. Ему-то было виднее.

Мартин читал о себе в журналах, рассматривал свои портреты, которые постоянно печатались в них, и не узнавал себя. Это он вырос в рабочем предместье, жил, любил и радовался жизни. Это он хорошо относился к людям и с легким сердцем встречал

превратности судьбы. Это он странствовал в чужих краях, стоял на вахте в любую погоду и предводительствовал шайкой таких же, как он, сорванцов. Это он был ошеломлен и подавлен бесконечными рядами книг, когда впервые пришел в библиотеку, а потом прочел эти книги и научился понимать их. Это он до глубокой ночи не гасил лампы, клал гвозди в постель, чтобы не спать, и сам писал книги. Но тот ненасытный обжора, которого люди наперерыв спешили теперь накормить, был не он.

Некоторые вещи все же забавляли его. Все журналы оспаривали честь открытия Мартина Идена. «Ежемесячник Уоррена» уверял своих подписчиков, что, постоянно ища новые таланты, он первый набрел на Мартина Идена. «Белая мышь» приписывала эту заслугу себе; то же делали «Северное обозрение» и «Журнал Макинтоша», пока, наконец, не выступил «Глобус» и не указал с торжеством на изувеченные «Песни моря», которые впервые были напечатаны на его страницах. Журнал «Юность и зрелость», который, ухитрившись отделаться от кредиторов, снова начал выходить, тоже предъявил свои права на Мартина Идена. Впрочем, кроме фермерских ребятишек, никто этого журнала не читал. «Трансконтинентальный ежемесячник» опубликовал статью, в которой рассказывалось, как журнал открыл знаменитого автора. Редакция «Шершня» выступила с горячим опровержением, ссылаясь на то, что именно она напечатала «Пери и жемчуг». Скромный голос «Синглтри, Дарнлея и К°» вовсе не был слышен за шумом. У издательства не было своего журнала, в котором оно могло бы громко заявить о своих правах.

Газеты подсчитывали гонорары Мартина. Каким-то образом щедрые условия, предложенные ему некоторыми журналами, сделались достоянием гласности; оклендские проповедники взывали к его милосердию, а разные мелкие вымогатели осаждали его устными и письменными просьбами. Но хуже всего были женщины. Фотографии Мартина Идена расходились по всей стране, а репортеры старались поярче расписать его «бронзовое лицо», «могучие плечи», «ясный, спокойный взгляд», «впалые щеки аскета». Эти «щеки аскета» особенно рассмешили Мартина, когда он припомнил бурные годы своей юности. Очень часто, бывая в обществе женщин, он ловил их красноречивые, оценивающие, одобряющие взгляды. Мартин смеялся, вспоминая предостережения Бриссендена. Нет, женщины не причинят ему страданий. С этим покончено.

Однажды, когда Мартин провожал Лиззи в вечернюю школу, Лиззи перехватила взгляд, брошенный на него проходившей

мимо красивой, хорошо одетой дамой. Этот взгляд был чуть-чуть более пристальным, чуть-чуть дольше на нем задержался, чем положено, и Лиззи затрепетала от гнева, так как сразу поняла, что значит этот взгляд. Мартин, узнав причину ее гнева, сказал ей, что он давно привык уже к таким взглядам и они его не трогают.

— Этого быть не может! — вскричала она, сверкнув глазами.— Значит, вы больны!

— Я здоров, как никогда. Даже прибавил в весе на пять фунтов.

— Я не говорю, что вы телом больны; я говорю про вашу душу. У вас внутри что-то неладно! Я и то вижу! А что я такое!

Мартин задумчиво шел рядом.

— Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло! — воскликнула она вдруг.— Не может этого быть, чтобы такого мужчину, как вы, не трогало, когда женщины на него так смотрят. Это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик. Честное слово, я была бы рада, если бы явилась наконец женщина, которая расшевелила бы вас.

Проводив Лиззи, Мартин вернулся в «Метрополь».

Он сидел в кресле, уставясь перед собой, не двигаясь и ни о чем не думая. Только время от времени в памяти вдруг возникали какие-то видения далекого прошлого. Он созерцал эти видения без участия мысли, как бывает во сне. Но он не спал. Вдруг он встрепенулся и посмотрел на часы. Было ровно восемь. Делать было нечего, а ложиться спать рано. И опять мысли его смешались, и видения опять поплыли перед ним, сменяя друг друга. Ничего примечательного в этих видениях не было. Постоянно повторялся один образ: густая листва, пронизанная солнечными лучами.

Стук в дверь заставил его очнуться. Он не спал, и стук тотчас вызвал в его мозгу представление о телеграмме, письме, слуге, принесшем белье из прачечной. Ему почему-то вспомнился Джо, и, спрашивая себя, где сейчас может быть Джо, Мартин крикнул:

— Войдите!

Продолжая думать о Джо, он даже не оглянулся на дверь. Она тихо отворилась, но Мартин словно забыл о стуке и по-прежнему смотрел в пространство невидящим взглядом. Вдруг сзади явственно послышалось короткое подавленное женское рыдание. Мартин мгновенно вскочил на ноги.

— Руфь! — воскликнул он с удивлением и почти с испугом.

Лицо ее было бледно и печально. Она стояла на пороге, одной рукой держалась за дверь, а другую прижимала к груди. Потом она с мольбой протянула обе руки к нему и шагнула вперед. Усаживая Руфь в кресло, Мартин заметил, как холодны ее пальцы. Себе он подвинул другое кресло и присел на ручку. От смятения он не мог говорить. Роман с Руфью был давно уже похоронен в его сердце. Он испытывал такое же чувство, как если бы вдруг на месте отеля «Метрополь» оказалась прачечная «Горячих Ключей» с кучей белья, скопившегося за неделю. Несколько раз он хотел заговорить, но никак не мог решиться.

— Никто не знает, что я здесь,— сказала Руфь тихо, с молящей улыбкой.

— Что вы сказали? — спросил он.

Его удивил звук собственного голоса.

Руфь повторила свои слова.

— О! — сказал он; это было все, что он нашелся сказать.

— Я видела, как вы вошли в гостиницу; я подождала немного и вошла тоже.

— О! — повторил он.

Никогда еще язык его не был таким скованным. Положительно все мысли сразу выскочили у него из головы. Он чувствовал, что молчание начинает становиться неловким, но даже под угрозой смерти он не мог придумать, с чего начать разговор. Уж лучше бы в самом деле он очутился в прачечной «Горячих Ключей»,— он бы молча засучил рукава и принялся за работу.

— Значит, немного подождали и вошли,— наконец проговорил он.

Руфь кивнула головой с некоторым лукавством и развязала на груди шарф.

— Я сначала видела вас на улице с той девушкой...

— Да,— сказал он просто,— я провожал ее в вечернюю школу.

— Разве вы не рады меня видеть? — спросила она после новой паузы.

— Рад, конечно, рад,— отвечал он поспешно,— но благоразумно ли, что вы пришли сюда одна?

— Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь. Мне очень хотелось вас видеть. Я пришла сказать вам, что понимаю, как я была глупа. Я пришла, потому что я не могла больше, потому что мое сердце приказывало мне прийти... потому что я хотела прийти!

Руфь встала и подошла к Мартину. Она положила ему руку на плечо и мгновение стояла так, глубоко и часто дыша, потом

быстрым движением склонилась к нему. Добрый и отзывчивый по природе, Мартин понял, что оттолкнуть ее невозможно, что, не ответив на ее порыв, он оскорбит ее так глубоко, как только может мужчина оскорбить женщину. Он обнял ее, но в его объятиях не было ни теплоты, ни ласки. Он просто обхватил ее руками, и все. Она торопливо прижалась к нему, и ладони ее легли ему на шею, но от этого прикосновения горячая волна не прошла по его телу, как бывало прежде, и ему было неловко и стыдно.

— Почему вы так дрожите? — спросил он.— Вам холодно? Не затопить ли камин?

Мартин сделал движение, как бы желая освободиться, но она еще крепче прильнула к нему.

— Это нервное,— отвечала она, стуча зубами,— сейчас все пройдет. Мне уже лучше.

Ее дрожь мало-помалу унялась. Он продолжал держать ее в объятиях, но больше не удивлялся. Он уже знал, для чего она пришла.

— Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хэпгуда,— объявила она.

— Чарли Хэпгуд? Это тот молодой человек, который всегда говорит пошлости? — пробормотал Мартин. Помолчав, он прибавил: — А теперь ваша мама хочет, чтобы вы вышли за меня.

Он сказал это без вопросительной интонации. Он сказал это совершенно уверенно, и перед его глазами заплясали многозначные цифры полученных им гонораров.

— Мама не будет теперь противиться,— сказала Руфь.

— Она считает меня подходящим мужем для вас?

Руфь наклонила голову.

— А ведь я не стал лучше с тех пор, как она расторгла нашу помолвку,— задумчиво проговорил он.— Я не переменился. Я все тот же Мартин Иден. Я даже стал хуже, я теперь опять курю. Вы чувствуете, как от меня пахнет дымом?

Вместо ответа она кокетливо приложила ладонь к его губам, ожидая привычного поцелуя. Но губы Мартина не шевелились. Он подождал, пока Руфь опустила руку, и потом продолжал:

— Я не переменился. Я не поступил на службу. Я и не ищу службы. И даже не намерен ее искать. И я по-прежнему утверждаю, что Герберт Спенсер — великий и благородный человек, а судья Блоунт — пошлый осел. Я вчера обедал у него, так что имел случай убедиться еще раз.

— А почему вы не приняли папиного приглашения? — укоризненно спросила Руфь.

— Откуда вы знаете? Кто подослал его? Ваша мать?

Руфь молчала.

— Ну, конечно, она! Я так и думал. Да и вы теперь, наверно, пришли по ее настоянию.

— Никто не знает, что я здесь,— горячо возразила Руфь.— Неужели вы думаете, что моя мать позволила бы мне такую вещь?

— Ну, что она позволила бы вам выйти за меня замуж, в этом я не сомневаюсь.

Руфь жалобно вскрикнула:

— О Мартин, не будьте жестоким! Вы даже ни разу не поцеловали меня. Вы точно камень. Только подумайте, на что я решилась! — Она оглянулась со страхом, но в то же время с любопытством.— Подумайте, куда я пришла!

«Я с радостью умерла бы за вас! Умерла бы за вас!» — вспомнились ему слова Лиззи.

— Отчего же вы раньше на это не решились? — спросил он сурово.— Когда я жил в каморке. Когда я голодал. Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом — и как человек, и как писатель. Этот вопрос я очень часто задаю себе последнее время, и не только по отношению к вам, но и по отношению ко всем. Вы видите, я не переменился, хотя мое внезапное возвышение заставляет подчас меня самого сомневаться в этом. Но я тот же! У меня та же голова, плечи, те же десять пальцев на руках и на ногах. Никакими новыми талантами или добродетелями я не могу похвалиться. Мой мозг остался таким же, как был. У меня даже не появилось никаких новых литературных или философских взглядов. Ценность моей личности не увеличилась с тех пор, как я жил безвестным и одиноким. Так почему же теперь я вдруг стал всюду желанным гостем? Несомненно, что нужен людям не я сам по себе,— потому что я тот же Мартин Иден, которого они прежде знать не хотели. Значит, они ценят во мне нечто другое, что вовсе не относится к моим личным качествам, что не имеет со мной ничего общего. Сказать вам, что во мне ценится? То, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание вне меня. Оно существует в чужих умах. Кроме того, меня уважают за деньги, которые у меня теперь есть. Но и деньги эти тоже вне меня. Они лежат в банках, в карманах всяких Джонов, Томов и Джеков. Так что же, вам я тоже стал нужен из-за этого, из-за славы и денег?

— Вы разбиваете мне сердце,— простонала Руфь.— Вы знаете, что я люблю вас, что я пришла сюда только потому, что люблю вас!

— Я боюсь, что вы меня не совсем поняли,— мягко заметил Мартин.— Скажите мне вот что: почему вы любите меня теперь сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться?

— Простите и забудьте! — пылко вскричала она.— Я все время любила вас! Слышите: все время! Вот почему я здесь, в ваших объятиях.

— Я теперь стал очень недоверчив, все словно взвешиваю на весах. Вот и вашу любовь я хочу взвесить и узнать, что это такое.

Руфь освободилась из его объятий, выпрямилась и внимательно посмотрела на него. Она хотела что-то сказать, но промолчала.

— Хотите знать, что я об этом думаю? — продолжал он.— Когда я уже стал тем, что я есть теперь, никто не хотел знать меня, кроме людей моего класса. Когда книги мои были уже написаны, никто из читавших рукописи не сказал мне ни единого слова одобрения. Наоборот, меня бранили за то, что я вообще пишу, как будто я занимался чем-то постыдным по меньшей мере. Все твердили только одно: «Иди работать».

Руфь сделала протестующее движение.

— Да, да,— продолжал он,— только вы говорили не о работе, а о положении в обществе. Слово «работа», так же как и то, что я писал, не нравилось вам. Оно, правда, грубовато! Но, уверяю вас, еще грубее было, с моей точки зрения, то, что все убеждали меня идти работать, словно хотели наставить на путь истинный какого-то закоренелого преступника. И что же? Появление моих книг в печати и признание публики вызвали перемену в ваших чувствах. Тогда вы отказались выйти замуж за Мартина Идена, хотя все его произведения уже были написаны. Ваша любовь к нему была недостаточно сильна, и вы не решились стать его женой! А теперь ваша любовь оказалась достаточно сильна, и очевидно, объяснения этому удивительному факту надо искать именно в пришедшей ко мне славе. О моих доходах в данном случае я не говорю, вы, может быть, не думали о них, хотя для ваших родителей, вероятно, это главное. Все это не слишком для меня лестно! Но хуже всего, что это заставляет меня усомниться в любви, в священной любви! Неужели любовь должна питаться славой и признанием толпы? Очевидно, да! Я так много думал об этом, что у меня наконец голова закружилась.

— Бедная голова! — Руфь нежно провела рукой по его волосам.— Пусть она больше не кружится. Начнем сначала,

Мартин! Я знаю, что проявила слабость, уступив настояниям мамы. Я не должна была уступать. Но ведь вы так часто говорили о снисхождении к человеческим слабостям. Будьте же ко мне снисходительны. Я совершила ошибку. Простите меня!

— О, я прощаю! — воскликнул он нетерпеливо.— Легко простить, когда нечего прощать! Ваш поступок не нуждается в прощении. Каждый поступает, как ему кажется лучше. Ведь не стану же я просить у вас прощения за то, что не захотел поступать на службу.

— Я ведь желала вам добра,— возразила она с живостью.— Я не могла не желать вам добра, раз я любила вас!

— Верно, но вы чуть не погубили меня, желая мне добра. Да, да! Чуть не погубили мое творчество, мое будущее! Я по натуре реалист, а буржуазная культура не выносит реализма. Буржуазия труслива. Она боится жизни. И вы хотели и меня заставить бояться жизни. Вы стремились запереть меня в тесную клетку, навязать мне неверный, ограниченный, пошлый взгляд на жизнь.— Она хотела возразить, но он остановил ее жестом.— Пошлость — пусть вполне искренняя, но все же пошлость есть основа буржуазной культуры, буржуазной утонченной цивилизации. А вы хотели вытравить из меня живую душу, сделать меня одним из своих, внушить мне ваши классовые идеалы, классовую мораль, классовые предрассудки.

Он печально покачал головой.

— Вы и теперь меня не понимаете. Вы придаете моим словам совсем не тот смысл, который я в них вкладываю. Для вас все, что я говорю,— чистая фантазия. А для меня это реальность. В лучшем случае вас забавляет и изумляет, что вот неотесанный малый, вылезший из грязи, из низов, осмеливается критиковать ваш класс и называть его пошлым.

Руфь устало прислонилась головой к его плечу, и ее опять охватила нервная дрожь. Он выждал минуту, не заговорит ли она, и затем продолжал:

— А теперь вы хотите возродить нашу любовь! Вы хотите, чтобы мы стали мужем и женой. Вы хотите меня! А ведь могло случиться так — постарайтесь понять меня,— могло случиться, что мои книги не увидели бы света и не заслужили бы признания, и тем не менее я был бы тем, что я есть! Но вы бы никогда не пришли ко мне! Только эти книги... чтоб их черт...

— Не бранитесь,— прервала она его.

Мартин язвительно рассмеялся.

— Вот, вот! — сказал он.— В тот миг, когда на карту по-

ставлено все счастье вашей жизни, вы боитесь услышать грубое слово. Вы по-прежнему боитесь жизни.

Руфь вздрогнула при этих словах, как бы обесценивавших ее решимость прийти сюда; ей казалось, что Мартин несправедлив к ней, и она почувствовала обиду.

Некоторое время они сидели молча: она — мучительно соображая, что ей делать; а он — раздумывая о своей ушедшей любви. Он теперь ясно понял, что никогда не любил Руфь на самом деле. Он любил некую идеальную Руфь, небесное существо, созданное его воображением, светлый и лучезарный образ, вдохновлявший его поэзию. Настоящую Руфь, буржуазную девушку с буржуазной психологией и ограниченным буржуазным кругозором, он не любил никогда.

Внезапно она заговорила:

— Я признаю, что многое из того, что вы говорите, верно. Я действительно боялась жизни. Я недостаточно сильно любила вас. Но теперь я научилась сильнее любить. Я люблю вас за то, что вы есть, за то, чем вы были, за то, что вас сделало таким, какой вы есть. Я люблю вас за все то, чем вы отличаетесь от людей моего класса. Пусть ваши взгляды иногда непонятны мне. Я научусь их понимать. Я сделаю все, чтобы научиться их понимать! Ваше курение, ваша брань — все это часть вашего существа, и я люблю вас и за это. Я многому научусь. За последние десять минут я уже многому научилась. Разве когда-нибудь раньше я решилась бы прийти сюда к вам? О Мартин!..

Руфь заплакала, спрятав лицо у него на груди. Он ласково обнял ее, первый раз за весь вечер. Она почувствовала это и подняла на него просиявшие глаза.

— Слишком поздно,— сказал он. Он вспомнил слова Лизи.— Я болен, Руфь... Нет, не телом. Душа у меня больна, мозг. Все для меня потеряло ценность. Я ничего не хочу. Если бы вы пришли полгода тому назад, все могло быть по-другому. Но теперь уже поздно, слишком поздно!

— Нет, не поздно! — вскричала она.— Я докажу вам это. Я докажу, что моя любовь теперь крепка, что она мне дороже всего, что мне до сих пор было дорого в жизни. Я готова отречься от всего, чему поклоняется буржуазия. Я больше не боюсь жизни. Я покину отца и мать, отдам свое имя на поношение. Я готова остаться с вами здесь, сейчас же, и пусть это будет свободный союз любви, если вы хотите, и я сумею найти в этом гордость и радость. Если я раньше изменила своей любви, сейчас я готова ради любви изменить всему, что тогда толкнуло меня на измену.

Руфь стояла перед Мартином, глаза ее сверкали.

— Я жду! — прошептала она.— Я жду, Мартин, чтобы вы сказали «да». Взгляните на меня.

«Как это прекрасно,— думал он, глядя на нее,— она искупила свои прежние ошибки, она сделалась настоящей женщиной, сорвала с себя наконец железные цепи буржуазных условностей. Все это прекрасно, великолепно, благородно... Но что же такое со мной?»

Ее решимость не взволновала, не потрясла его. Он только умом отдавал ей должное. Вместо пожара — холодное одобрение. Сердце его не забилось сильнее, желание не загорелось в крови. Ему снова вспомнились слова Лиззи.

— Я болен, очень болен,— сказал Мартин, безнадежно махнув рукой.— Я даже не подозревал до сих пор, что так сильно болен. Что-то во мне ушло. Я никогда не боялся жизни, но не мог себе представить, что потерял вкус к ней. А теперь я оказался пресыщен жизнью. У меня не осталось никаких желаний. Я даже вас не хочу! Видите, как я болен!

Он откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза; и подобно тому, как плачущий ребенок сразу забывает все свои горести, глядя на солнце сквозь радужную завесу слез, так забыл Мартин и болезнь, и присутствие Руфи, и все на свете, созерцая внезапно возникшее видение — густую листву, пронизанную солнечными лучами. Она была слишком зелена и слепила глаза, эта листва. Ему было больно смотреть на нее, но он, сам не зная почему, смотрел.

Скрип дверной ручки заставил его опомниться. Руфь стояла у двери.

— Как мне выйти отсюда? — жалобно спросила она.— Я боюсь.

— О, простите меня! — вскричал он, вскакивая.— Я сам не знаю, что со мною! Я забыл, что вы здесь.

Он провел рукою по лбу.

— Вы видите, я совсем нездоров. Я вас провожу домой. Мы можем пройти черным ходом. Никто не заметит. Только опустите вуаль.

Руфь крепко держалась за его руку, пока они шли по узким коридорам и полутемным лестницам.

— Ну, теперь я в безопасности,— сказала она, выйдя на улицу, и хотела высвободить руку.

— Я провожу вас до дому,— сказал он.

— Нет, нет,— возразила она,— не нужно!

Она снова сделала попытку высвободить руку. Это сразу возбудило его любопытство. Казалось, она боится чего-то именно теперь, когда всякая опасность миновала. Ей словно хотелось поскорее отделаться от него, и Мартин приписывал это просто расстроенным нервам. Поэтому он удержал ее руку и повернул по направлению к ее дому. Когда они подходили к углу, Мартин вдруг увидел какого-то человека в длинном пальто, который поспешно нырнул в подъезд. Проходя мимо, Мартин заглянул туда и, несмотря на то, что воротник у незнакомца был поднят, узнал брата Руфи — Нормана.

По дороге Мартин и Руфь почти не разговаривали. Она была грустна, а он безучастен ко всему. Он сказал ей, что уезжает на острова Тихого океана, а она попросила у него прощения за свой неожиданный приход. Вот и все. Они расстались у дверей ее дома, как будто ничего не произошло. Пожали друг другу руки, пожелали спокойной ночи, причем он церемонно приподнял шляпу. Дверь захлопнулась. Мартин закурил папиросу и пошел обратно в гостиницу. Проходя мимо того подъезда, в котором прятался Норман, Мартин остановился и с минуту постоял в раздумье.

— Она солгала,— сказал он вслух.— Она хотела уверить меня, что поступила решительно и смело, а между тем брат все время ожидал ее, чтобы отвести обратно домой.— Он расхохотался.— Ах, эти буржуа! Когда я был беден, я не смел даже приблизиться к его сестре. А когда у меня завелся текущий счет в банке, он сам приводит ее ко мне!

Мартин хотел продолжать свой путь, как вдруг какой-то бродяга, поравнявшись с ним, тронул его за локоть.

— Одолжите четвертак, хозяин! За ночлег заплатить,— сказал он.

Голос заставил Мартина мгновенно оглянуться. В следующий миг он уже крепко пожимал руку Джо.

— Помнишь, я тебе сказал, что мы встретимся,— говорил Джо.— Я предчувствовал это. Вот мы и встретились!

— Ты смотришь молодцом! — сказал Мартин с восхищением.— Даже как будто пополнел.

— Так оно и есть,— подтвердил Джо, сияя.— С тех пор как я стал бродягой, я понял, что значит жить! Тридцать фунтов прибавил и чувствую себя великолепно! Ведь в прежние времена я до того доработался, что кожа да кости остались. Видно, бродячая жизнь по мне!

— Однако ты просишь на ночлег,— поддразнил его Мартин,— а ночь не очень теплая!

— Гм! Прошу на ночлег! — Джо вытащил из кармана горсть мелочи.— Мне бы этого хватило,— признался он,— да у тебя был очень уж располагающий вид. Вот я тебя и взял на прицел.

Мартин расхохотался.

— Да тут у тебя еще и на выпивку хватит,— заметил он.

Джо важно спрятал деньги в карман.

— Не по моей части! — объявил он.— Я теперь не пью. Нет охоты. Я только раз напился после того, как мы с тобой расстались, да и то потому, что сдуру хлебнул на пустой желудок. Когда я зверски работал, я и пил зверски. Теперь, когда живу по-человечески, то и пью по-человечески! Иногда перехвачу стаканчик — и баста!

Мартин условился встретиться с ним на другой день и пошел в гостиницу. В вестибюле он взглянул на расписание пароходов. Через пять дней на Таити отправлялась «Марипоза».

— Закажите мне по телефону каюту,— сказал он портье,— но не наверху, а внизу, с левого борта. Запомните. Вы лучше запишите: с левого борта.

Придя к себе в комнату, он лег в постель и заснул мгновенно, как ребенок. События вечера не оставили в нем никакого следа. Его мозг уже не воспринимал впечатлений. Даже порыв радости, вызванный встречей с Джо, оказался мимолетным. Он продолжался один миг, а в следующий миг Мартин уже сожалел, что встретил своего бывшего товарища, так как ему не хотелось даже разговаривать. То, что через пять дней он уплывет в свой милый океан, тоже не радовало его. Он с наслаждением сомкнул глаза и спокойно спал восемь часов. Он не метался, не видел снов. Сон помогал забыться, и, просыпаясь, Мартин неизменно испытывал сожаление. Жизнь томила и угнетала его, а время стало настоящей пыткой.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

— Так вот какое дело, Джо,— начал Мартин разговор на следующий день,— есть тут один француз на Двадцать восьмой улице. Он сколотил деньжонок и собирается возвращаться во Францию. У него маленькая, отлично оборудованная паровая прачечная. Для тебя это просто находка, если только ты хочешь вернуться к оседлому образу жизни. Вот тебе деньги; купи себе приличный костюм и ступай вот по этому адресу. Это комиссио-

нер, которому я поручил подыскать для тебя что-нибудь подходящее. Он с тобой пойдет и все покажет. Если прачечная тебе понравится и ты найдешь, что она стоит того, что за нее просят,— двенадцать тысяч,— скажи мне, и она твоя. А теперь проваливай! Я занят. Мы с тобой после потолкуем.

— Вот что, Март,— медленно проговорил Джо, сдерживая закипавший в нем гнев,— я пришел сюда для того, чтобы с тобой повидаться. Понял? А вовсе не за тем, чтобы получать от тебя в подарок прачечную! Я к тебе как к другу, по старой памяти, а ты мне прачечную суешь! Я тебе на это вот что скажу. Возьми свою прачечную и катись вместе с ней к дьяволу!

Он встал и хотел выйти, но Мартин схватил его за плечи и повернул лицом к себе.

— Знаешь, Джо,— сказал он,— если ты мне будешь откалывать такие штуки, я тебя так вздую по старой памяти, что своих не узнаешь! Понял? Ну! Хочешь?

Джо рванулся и хотел оттолкнуть Мартина, но руки, схватившие его, были слишком сильны. Вцепившись друг в друга, они закружили по комнате, сломали по дороге стул, обрушившись на него всей тяжестью, и свалились наконец на пол. Джо лежал на спине, а Мартин сидел на нем, упираясь ему в грудь коленом. Он едва отдышался, когда Мартин отпустил его.

— Ну вот, теперь можно разговаривать,— сказал Мартин.— Как видишь, со мной лучше не связываться. Я хочу в первую голову покончить с прачечной. А потом уж придешь, и мы поговорим о чем-нибудь другом, по старой памяти. Я же тебе сказал, сейчас я занят. Посмотри сам.

Как раз в этот миг лакей принес утреннюю почту: целую кипу писем и журналов.

— Разве можно читать все это и разговаривать? Пойди выясни дело с прачечной и возвращайся сюда.

— Ладно,— неохотно согласился Джо.— Я думал, что ты просто от меня откупиться хочешь, но теперь вижу, что ошибся. Только в боксе тебе меня не побить, Март. Ставлю что угодно.

— Хорошо, мы потом наденем перчатки и попробуем,— со смехом сказал Мартин.

— Непременно! Как только я куплю прачечную.— Джо протянул кулак.— Видал? Я тебя уложу в два счета.

Когда он наконец ушел, Мартин вздохнул с облегчением. Он становился нелюдим. Ему с каждым днем было все труднее и труднее общаться с людьми. Присутствие их тяготило, а необходимость поддерживать разговор раздражала его. Люди

раздражали его, и, не успев встретиться с человеком, он уже искал предлога от него отделаться.

После ухода Джо Мартин не сразу принялся за почту. Около получаса сидел он в кресле, ничего не делая, и в голове у него лишь изредка проносились какие-то обрывки мыслей, короткие проблески погруженного в сон ума.

Наконец он встал и начал разбирать почту. Около дюжины писем заключали в себе просьбы о присылке автографа,— он узнавал такие письма с первого взгляда; далее шли стандартные просьбы о вспомоществовании, письма разных чудаков и прожектеров, начиная от изобретателя, построившего модель вечного двигателя, и математика, доказывавшего, что земная поверхность есть внутренняя часть полого шара, и кончая человеком, просившим финансовой поддержки на предмет приобретения полуострова Калифорния в Мексике, где он хотел устроить коммунистическую колонию. Были письма от женщин, желавших с ним познакомиться; одно из писем вызвало у него улыбку: корреспондентка, желая доказать свою добропорядочность и благочестие, приложила к письму квитанцию об уплате за постоянное место в церкви.

Издатели и редакторы заваливали его письмами: журналы выпрашивали у него статьи, книгоиздательства молили о новых книгах,— все жаждали его рукописей, бедных рукописей, для рассылки которых он некогда закладывал все свои пожитки. Были тут неожиданные чеки — плата за английские издания, авансы от заграничных издательств. Его английский агент сообщал ему, что в Германии приобретено право перевода на три его книги; его произведения переводились и в Швеции, но Швеция не участвовала в Бернской конвенции, и за эти переводы ничего нельзя было получить. Был запрос и из России, тоже чисто формальный, так как и эта страна не участвовала в Бернской конвенции.

Мартин вскрыл кучу пакетов, доставленных из бюро газетных вырезок, и стал читать то, что говорилось о нем и о его славе, возраставшей с непомерной быстротой. Великолепным жестом он выбросил толпе сразу все свои сочинения. Очевидно, этим и объяснялась такая внезапная слава. Он взял толпу натиском, как было с Киплингом, когда тот лежал при смерти и толпа, повинуясь стадному чувству, вдруг начала запоем читать его книги. Тут Мартин вспомнил, что та же толпа полгода спустя, не поняв ничего из прочитанного, втоптала Киплинга в грязь. Он усмехнулся этой мысли. Как знать! Может быть, и его через полгода ждет такая же участь. Но он пере-

хитрит толпу. Он будет тогда далеко в южных морях, будет строить свою тростниковую хижину, торговать жемчугом и копрой, перелетать на волне через подводные рифы, ловить акул, охотиться на диких коз в долине, что лежит рядом с долиной Тайохаэ.

И в эту минуту вся безнадежность его положения ясно открылась ему. Он вдруг понял, что находится в Долине Теней, теней смерти. Жизнь его прошла; она угасала, меркла и склонялась к закату. Он подумал о том, как много он теперь спит и как хочется ему все время спать. А недавно еще он ненавидел сон. Сон похищал у него драгоценнейшие часы жизни. Спать четыре часа из двадцати четырех значило на четыре часа меньше жить. Как он тогда тяготился сном! И как он теперь тяготится жизнью! Жизнь была томительна и горька. Вот где таилась его гибель. Человек, не стремящийся к жизни, ищет путей к смерти. Старый инстинкт самосохранения пробудился в Мартине. Да, ему надо поторопиться с отъездом. Он оглядел комнату и расстроился от мысли, что нужно укладывать вещи. А впрочем, это не к спеху. Пока можно заняться покупками.

Надев шляпу, он вышел и все утро провел в оружейном магазине, выбирая ружья, патроны и рыболовную снасть. Что касается товаров для торговли, то он решил выписать их по приезде на Таити, так как спрос на товары часто меняется. Их можно будет выписать также из Австралии. Эта мысль обрадовала его. Сознание, что нужно что-то делать и предпринимать, было теперь нестерпимо. Возвращаясь в гостиницу, он с наслаждением думал о своем покойном кресле, готовом принять его, и чуть не завыл от злости, увидев, что в этом кресле расположился Джо.

Джо был в восторге от прачечной. Обо всем было договорено, и с завтрашнего дня он становился ее полноправным владельцем. Мартин лег на кровать и с полузакрытыми глазами слушал Джо. Мысли Мартина витали далеко, почти за пределами сознания. Время от времени он делал над собой усилие, чтобы хоть что-нибудь ответить Джо. А ведь он любил Джо. Но Джо был слишком полон жизни, и это болезненно действовало на Мартина, чересчур большим грузом ложилось на его усталую душу. Когда Джо сказал, что когда-нибудь они еще наденут перчатки и побоксируют, Мартин чуть не вскрикнул от боли.

— Помни, Джо! Ты должен завести в своей прачечной такие порядки, о которых говорил в «Горячих Ключах»,— ска-

зал он.— Никаких сверхурочных. Никакой работы по ночам. И ни в коем случае не нанимай детей! Ни под каким видом!

Джо кивнул головой и вынул записную книжку.

— Я сегодня перед завтраком набросал правила. Вот, слушай.

Он стал читать, а Мартин одобрительно мычал, все время думая об одном: когда наконец Джо уберется?

Было уже довольно поздно, когда Мартин проснулся. Постепенно его сознание вернулось к фактам действительной жизни. Комната была пуста. Очевидно, Джо ушел незаметно, увидав, что Мартин уснул. «Очень деликатно с его стороны»,— подумал Мартин. Потом он закрыл глаза и снова заснул.

В следующие дни Джо был занят устройством своих дел и не слишком надоедал ему. Накануне отъезда в газетах появилось сообщение, что Мартин Иден отплывает на «Марипозе». Повинуясь все тому же инстинкту самосохранения, он отправился к доктору, и тот тщательно осмотрел его. Все оказалось в полном порядке. Легкие и сердце были великолепны. С медицинской точки зрения все органы были совершенно здоровы и функционировали вполне нормально.

— У вас нет никакой болезни, мистер Иден,— сказал врач,— положительно никакой. Ваш организм изумителен. Я вам просто завидую. У вас великолепное здоровье. Какая грудная клетка! При вашем могучем желудке — это залог несокрушимого здоровья и силы. Такой человеческий экземпляр попадается один на тысячу, даже на десять тысяч. Вы можете прожить до ста лет, если не какой-нибудь несчастный случай.

Мартин убедился, что диагноз Лиззи был правилен. Физически он совершенно здоров. Но внутри у него что-то неладно, и только в южных морях он мог надеяться обрести исцеление. Хуже всего было то, что теперь, перед самым отъездом, у Мартина вдруг пропала всякая охота ехать. Тихий океан казался ему ничуть не лучше буржуазной цивилизации. Никакого подъема при мысли о путешествии он не испытывал,— напротив, его угнетал предстоящий отъезд, и он предпочел бы уже находитья на судне и ни о чем более не хлопотать и не думать.

Последний день был поистине мучением для Мартина. Прочтя в газетах о его отъезде, Бернард Хиггинботам и Гертруда со всем семейством, а также Герман Шмидт и Мэриен пришли с ним проститься. Потом пришлось закончить некоторые дела, уплатить по счетам, удовлетворить назойливых репортеров. С Лиззи Конолли он коротко простился у дверей

вечерней школы. Вернувшись в гостиницу, он застал там Джо, который весь день возился в прачечной и только к вечеру освободился и забежал к нему. Это переполнило чашу терпения, но Мартин все же заставил себя полчаса слушать болтовню приятеля, нервно стискивая ручки кресла.

— Имей в виду, Джо,— сказал он, между прочим,— тебя ничто не привязывает к этой прачечной. В любой момент можешь продать ее и развеять деньги по ветру. Как только тебе все это надоест и захочется опять бродяжничать, собирайся и уходи. Старайся жить так, как тебе нравится!

Джо покачал головой:

— Нет уж, больше я не стану колесить по большим дорогам. Бродягой быть хорошо во всех отношениях, за исключением одного — это я насчет девушек. Не могу без них! Что хочешь, то и делай. А бродить, сам понимаешь, надо одному. Иногда проходишь мимо дома, где играет музыка; заглянешь в окошко — барышни танцуют, хорошенькие, в белых платьях, улыбаются! Ах, чтоб тебе! Прямо жизнь не мила становится. Я ведь люблю пикники, танцы, прогулки под луной и все прочее. То ли дело прачечная, приличный костюм, горсточка долларов в кармане на всякий случай! Я тут повстречал вчера одну девицу. Вот, кажется, так бы сейчас и женился, честное слово. Целый день, как вспомню, на душе веселей становится. Глаза такие ласковые, а голос — просто музыка. Ах, Март, ну какого черта ты не женишься? С такими-то деньгами — да ты можешь жениться на первейшей красавице!

Мартин усмехнулся и в глубине души удивился, почему вообще человеку приходит желание жениться? Это казалось ему странным и непонятным.

Стоя на палубе «Марипозы» перед самым отплытием, Мартин заметил в толпе провожающих Лиззи Конолли. «Возьми ее с собою»,— шептал ему внутренний голос. «Ведь так легко быть великодушным, а она была бы безмерно счастлива». На секунду он почувствовал искушение, но тотчас оно сменилось паническим ужасом. Усталая душа громко протестовала. Он отошел от борта парохода и прошептал: «Нет, мой милый, ты слишком тяжко болен».

Мартин заперся в своей каюте и сидел там, пока пароход не вышел в открытое море. За обедом в кают-компании ему отвели почетное место, по правую руку от капитана; и он тут же убедился, что все пассажиры «Марипозы» смотрят на него, как полагается смотреть на путешествующую знаменитость. Но ни одна знаменитость так не разочаровывала окружающую

публику. Большую часть времени великий человек лежал на палубе с полузакрытыми глазами, а вечером первый уходил спать.

Дня через два пассажиры оправились от морской болезни и с утра до вечера толклись в салонах и на палубе. Чем больше времени Мартин проводил в их обществе, тем больше они раздражали его. Впрочем, он понимал, что несправедлив. В конце концов это были милые и добродушные люди, он заставлял себя признать это и все-таки мысленно прибавлял: как и все буржуа с их душевной ограниченностью и интеллектуальным убожеством. Мартину становилось скучно от разговоров с этими людьми,— они казались глупыми и пустыми. А шумное веселье молодежи действовало ему на нервы. Молодые люди не могли сидеть спокойно: они носились по палубе, играли в серсо, восхищались дельфинами, приветствовали восторженными криками стаи летучих рыб.

Мартин много спал. После утреннего завтрака он устраивался в шезлонге с журналом, которого никак не мог дочитать до конца. Печатные строки утомляли его. Он удивлялся, как это люди находят, о чем писать, и, удивляясь, мирно засыпал в своем кресле. Гонг, звавший ко второму завтраку, будил его, и он сердился, что нужно просыпаться.

Однажды, пытаясь стряхнуть с себя это сонное оцепенение, Мартин пошел в кубрик к матросам. Но и матросы, казалось, изменились с тех времен, когда он сам спал на матросской койке. Он не мог найти в себе ничего общего с этими тупыми, скучными, скотоподобными людьми. Он был в отчаянии. Там, наверху, Мартин Иден сам по себе никому не был нужен, а вернуться к людям своего класса, которых он знал и которых некогда любил, он тоже не мог. Они были не нужны ему. Они раздражали его так же, как и безмозглые пассажиры первого класса!

Жизнь стала мучительна, как яркий свет для человека с больными глазами. Она сверкала перед ним и переливалась всеми цветами радуги, и ему было больно. Нестерпимо больно.

В первый раз за всю свою жизнь Мартин Иден путешествовал в первом классе. Прежде во время плаваний на таких судах он или стоял на вахте, или обливался потом в кочегарке. В те дни он нередко высовывал голову из люка и смотрел на толпу разодетых пассажиров, которые гуляли по палубе, смеялись, разговаривали, бездельничали; натянутый над палубой тент защищал их от солнца и ветра, а малейшее их желание мгновенно исполнялось расторопными стюардами. Ему, вылезавшему из душной угольной ямы, все это представлялось ка-

ким-то раем. А вот теперь он сам в качестве почетного пассажира сидит за столом по правую руку от капитана, все смотрят на него с благоговением, а между тем он тоскует о кубрике и кочегарке, как о потерянном рае. Нового рая он не нашел, а старый был безвозвратно утрачен.

В поисках чего-нибудь, что хоть немного заинтересовало бы его, Мартин решил попытать счастья в среде пароходных служащих. Он заговорил с помощником механика, интеллигентным человеком, который сразу накинулся на него с социалистической пропагандой и набил ему карманы памфлетами и листовками. Мартин лениво слушал его рассуждения о рабской морали и вспоминал ницшеанскую философию, которую когда-то сам исповедовал. В конце концов какой во всем этом толк? Он вспомнил одно из безумнейших положений безумца Ницше, которым тот подвергал сомнению все, даже саму истину. Что ж, может быть, Ницше и прав. Может быть, самое понятие истины нелепо. Но его мозг быстро утомился, и он рад был снова улечься в кресло и подремать.

Как ни тягостно было его существование на пароходе, впереди ожидали еще большие тяготы. Что будет, когда пароход придет на Таити? Сколько хлопот, сколько усилий воли! Надо будет позаботиться о товарах, найти шхуну, идущую на Маркизские острова, проделать тысячу разных необходимых и утомительных вещей. И каждый раз, заставляя себя думать о делах, он начинал ясно понимать, что ему угрожает. Да, он уже находился в Долине Теней, и самое ужасно было, что он не чувствовал страха. Если бы он хоть немного боялся, он мог бы вернуться к жизни, но он не боялся и потому все глубже погружался во мрак. Ничто уже не радовало его, даже то, что он так любил когда-то. Вот навстречу «Марипозе» подул давно знакомый северо-восточный пассат, но этот ветер, некогда пьянивший его, как вино, теперь только раздражал. Он велел передвинуть свое кресло, чтобы избежать непрошеных ласк этого доброго товарища былых дней и ночей.

Но особенно несчастным почувствовал себя Мартин в тот день, когда «Марипоза» вступила в тропики. Сон покинул его. Он слишком много спал и теперь поневоле должен был бодрствовать, глядеть на жизнь и жмуриться от ее невыносимого блеска. Он беспокойно метался по палубе. Воздух был влажен и горяч, и частые ливни не освежали. Мартину было больно жить. Иногда в изнеможении он падал в кресло, но, отдохнув немного, вставал и снова начинал бродить взад и вперед. Он заставил себя дочитать наконец журнал и взял в библиотеке

несколько томиков стихов. Но не мог сосредоточиться и предпочел продолжать свои прогулки.

Вечером Мартин спустился к себе в каюту последним, но, несмотря на поздний час, не мог уснуть. Единственное средство отдохнуть от жизни перестало действовать. Это было уж слишком! Он зажег свет и взял книги. То был томик стихотворений Суинберна. Мартин некоторое время перелистывал страницы и вдруг заметил, что читает с интересом. Он дочитал стихотворение, начал читать дальше, но опять вернулся к прочитанному. Уронив наконец книгу к себе на грудь, он задумался. Да! Вот оно! То самое! Как странно, что он сразу не подумал об этом раньше. Это был ключ ко всему; он все время бессознательно плутал, а теперь Суинберн указал ему самый лучший выход. Ему нужен покой, а покой был здесь, рядом. Мартин взглянул на иллюминатор. Да, он достаточно широк. В первый раз за много-много дней сердце его радостно забилось. Наконец-то он нашел средство от своего недуга. Он поднял книжку и медленно прочел вслух:

Устав от вечных упований,
Устав от радостных пиров,
Не зная страхов и желаний,
Благословляем мы богов
За то, что сердце в человеке
Не вечно будет трепетать,
За то, что все вольются реки
Когда-нибудь в морскую гладь.

Мартин снова поглядел на иллюминатор. Суинберн указал ему выход. Жизнь томительна, вернее, она стала невыносимо томительна и скучна.

За то, что сердце в человеке
Не вечно будет трепетать!..

Да, за это стоит поблагодарить богов. Это их единственное благодеяние в мире. Когда жизнь стала мучительной и невыносимой, как просто избавиться от нее, забывшись в вечном сне.

Чего он ждет? Пора.

Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. «Марипоза» сидела очень глубоко, и, повиснув на руках, он может ногами коснуться воды. Всплеска не будет. Никто не услышит. Водяные брызги смочили ему лицо. Он с удовольствием почувствовал на губах соленый привкус. Он даже подумал, не написать ли свою лебединую пес-

ню! Но тут же высмеял себя за это. Да и времени не было. Так хотелось покончить поскорее.

Погасив свет в каюте для большей безопасности, Мартин пролез в иллюминатор ногами вперед. Плечи его застряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему, он выскользнул и повис на руках. В тот миг, когда ноги его коснулись воды, он разжал руки. Белая теплая вода подхватила его. «Марипоза» прошла мимо, как огромная черная стена, кое-где прорезанная освещенными дисками иллюминаторов. Пароход шел быстро. И едва Мартин успел опомниться, как очутился далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана.

Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его, и Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он в воде. В своих стараниях выбраться он совсем было забыл о главной цели. Огни «Марипозы» уже терялись вдали, а он все плыл и плыл, словно хотел доплыть до ближайшего берега, который был за сотни миль отсюда.

Это был бессознательный инстинкт жизни. Мартин перестал плыть, но, как только вода стала заливать рот, он снова заработал руками. «Воля к жизни»,— подумал он и презрительно усмехнулся. Да, у него есть воля, и воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие.

Мартин принял вертикальное положение. Он взглянул на тихие звезды и в ту же минуту выдохнул из легких весь воздух. Быстрым, могучим движением ног и рук он наполовину высунулся из воды, чтобы сильнее и быстрее погрузиться. Он должен скользнуть в глубину без единого движения, как белая статуя. Погрузившись, он начал вдыхать воду, как больной вдыхает наркотическое средство, чтобы скорей забыться. Но когда вода хлынула в горло и стала душить его, он непроизвольно, инстинктивным усилием вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды.

«Воля к жизни»,— думал он с презрением, тщетно стараясь не вдыхать свежий ночной воздух наболевшими легкими. Хорошо, он попробует по-другому! Он глубоко вздохнул несколько раз. Набрав как можно больше воздуха, он нырнул, нырнул головою вниз, со всею силою, на какую только был способен. Он плыл ко дну, погружаясь все глубже и глубже. Он видел голубоватый фосфорический свет. Бониты, как привидения, проносились мимо. Он надеялся, что они не тронут его, потому что это могло разрядить напряжение его воли. Они

не тронули, и он мысленно поблагодарил жизнь за эту последнюю милость.

Все глубже и глубже погружался он, чувствуя, как немеют руки и ноги. Он понимал, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки становилось нестерпимым, и голова, казалось, раскалывалась на части. Невероятным усилием воли он заставил себя погрузиться еще глубже, но тут остатки воздуха вырвались вдруг из его легких. Пузырьки скользнули у него по щекам и по глазам и быстро помчались кверху. Начались муки удушья. Но своим угасающим сознанием он понял, что эти муки еще не смерть. Смерть не причиняет боли. Это была еще жизнь, последнее содрогание, последние муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь.

Его руки и ноги начали делать судорожные, слабые движения. Поздно! Он перехитрил волю к жизни! Он был слишком глубоко. Ему уже не выплыть на поверхность. Казалось, он спокойно и мерно скользит по безбрежному морю каких-то видений. А это что? Словно маяк! И он горел в его мозгу — яркий, белый свет. Он сверкал ярче и ярче. Где-то страшный гул прокатился, и Мартину показалось, что он летит стремглав с крутой гигантской лестницы вниз, в темную бездну. Это он ясно понял! Он летит в темную бездну, и в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его.

РАССКАЗЫ

СЫН ВОЛКА

Мужчина редко понимает, как много значит для него близкая женщина,— во всяком случае, он не ценит ее по-настоящему, пока не лишится семьи. Он не замечает тончайшего, неуловимого тепла, создаваемого присутствием женщины в доме; но едва оно исчезнет, в жизни его образуется пустота, и он смутно тоскует о чем-то, сам не зная, чего же ему недостает. Если его товарищи не более умудрены опытом, чем он сам, они с сомнением покачают головами и начнут пичкать его сильно действующими лекарствами. Но голод не отпускает — напротив, мучит все сильней; человек теряет вкус к обычному, повседневному существованию, становится мрачен и угрюм; и вот в один прекрасный день, когда сосущая пустота внутри становится нестерпимой, его наконец осеняет.

Когда такое случается с человеком на Юконе, он обычно снаряжает лодку, если дело происходит летом, а зимою запрягает своих собак — и устремляется на юг. Несколько месяцев спустя, если он одержим Севером, он возвращается сюда вместе с женою, которой придется разделить с ним любовь к этому холодному краю, а заодно все труды и тяготы. Вот лишнее доказательство чисто мужского эгоизма! И тут поневоле вспоминается история, приключившаяся с Бирюком Маккензи в те далекие времена, когда Клондайк еще не испытал золотой лихорадки и нашествия чечако и славился только как место, где отлично ловится лосось.

В Бирюке Маккензи с первого взгляда можно было узнать пионера, осваивателя земель. На лицо его наложили отпечаток двадцать пять лет непрерывной борьбы с грозными силами природы; и самыми тяжкими были последние два года, прове-

денные в поисках золота, что таится под сенью Полярного круга. Когда щемящее чувство пустоты овладело Бирюком, он не удивился, так как был человек практический и уже встречал на своем веку людей, пораженных тем же недугом. Но он ничем не обнаружил своей болезни, только стал работать еще яростнее. Все лето он воевал с комарами и, разжившись снаряжением под долю в будущей добыче, занимался промывкой песка в низовьях реки Стюарт. Потом связал плот из солидных бревен, спустился по Юкону до Сороковой Мили и построил себе отличную хижину. Это было такое прочное и уютное жилище, что немало нашлось охотников разделить его с Бирюком. Но он несколькими словами, на удивление краткими и выразительными, разбил вдребезги все их надежды и закупил в ближайшей фактории двойной запас провизии.

Как уже сказано, Маккензи был человек практический. Обычно, чего-нибудь захотев, он добивался желаемого и при этом по возможности не изменял своим привычкам и не уклонялся от своего пути. Тяжкий труд и испытания были Бирюку не в новинку, однако ему ничуть не улыбалось проделать шестьсот миль по льду на собаках, потом плыть за две тысячи миль через океан и наконец еще ехать добрую тысячу миль до мест, где он жил прежде,— и все это лишь затем, чтоб найти себе жену. Жизнь слишком коротка. А потому он запряг своих собак, привязал к нартам несколько необычный груз и двинулся по направлению к горному хребту, на западных склонах которого берет начало река Танана.

Он был неутомим в пути, а его собаки считались самой выносливой, быстроногой и неприхотливой упряжкой на Юконе. И три недели спустя он появился в становище племени стиксов с верховий Тананы. Все племя пришло в изумление, увидев его. О стиксах с верховий Тананы шла дурная слава; им не раз случалось убивать белых из-за такого пустяка, как острый топор или сломанное ружье. Но Бирюк Маккензи пришел к ним один, и во всей его повадке была неотразимая смесь смирения, непринужденности, хладнокровия и нахальства. Нужно большое искусство и глубокое знание психологии дикаря, чтобы успешно пользоваться столь разнообразным оружием; но Маккензи был великий мастер в этих делах и хорошо знал, когда надо подольститься, а когда метать громы и молнии.

Прежде всего он засвидетельствовал свое почтение вождю племени Тлинг-Тиннеху, преподнес ему несколько фунтов черного чаю и табаку и тем завоевал его благосклонность. Затем

«Закон жизни»

свел знакомство с мужчинами и девушками племени и в тот же вечер задал им потлач. В снегу была вытоптана овальная площадка около ста футов в длину и двадцать пять в ширину. Посередине развели огромный костер, по обе его стороны настлали еловых веток. Все племя высыпало из вигвамов, и добрая сотня глоток затянула в честь гостя индейскую песню.

За эти два года Бирюк Маккензи выучился языку индейцев — запомнил несколько сот слов, одолел гортанные звуки, затейливые формы и обороты, выражения почтительности, частицы и приставки. И вот он стал ораторствовать, подделываясь под их речь, полную первобытной поэзии, не скупясь на аляповатые красоты и корявые метафоры. Тлинг-Тиннех и шаман отвечали ему в том же духе, потом он оделил мужчин мелкими подарками, вместе с ними распевал песни и показал себя искусным игроком в их любимой азартной игре «пятьдесят два».

Итак, они курили его табак и были очень довольны. Однако молодежь племени держалась по-иному — тут чувствовались и вызов и похвальба; и нетрудно было понять, в чем дело,— стоило прислушаться к хихиканью молодых девушек и грубым намекам беззубых старух. Они знавали не так уж много белых людей — Сыновей Волка, но эти немногие преподали им кое-какие уроки.

При всей своей кажущейся беззаботности Бирюк Маккензи отлично это замечал. По правде сказать, забравшись на ночь в спальный мешок, он все обдумал еще раз, обдумал с величайшей серьезностью и немало трубок выкурил, разрабатывая план кампании. Из всех девушек только одна привлекла его внимание, и не кто-нибудь, а сама Заринка, дочь вождя. Она резко выделялась среди своих соплеменниц; черты ее лица, фигура, осанка больше отвечали представлениям белого человека о красоте. Он добьется этой девушки, он возьмет ее в жены и назовет... да, он будет звать ее Гертрудой! Придя к этому решению, Маккензи повернулся на бок и уснул — истинный сын рода победителей.

Это была нелегкая задача, она требовала времени и труда, но Бирюк Маккензи действовал хитро, и вид у него при этом был самый беспечный, что совсем сбивало индейцев с толку. Он постарался доказать мужчинам, что он превосходный стрелок и бесподобный охотник, и все становище рукоплескало ему, когда он уложил лося выстрелом с шестисот ярдов. Однажды вечером он посетил вождя Тлинг-Тиннеха в его вигваме из лосиных и оленьих шкур; он хвастал без удержу и не скупился

на табак. Не упустил он случая оказать ту же честь и шаману: он ведь хорошо понимал, как прислушивается племя к слову колдуна, и хотел непременно заручиться его поддержкой. Но сей почтенный муж был с ним холоден и неприступен, не пожелал сменить гнев на милость, и Маккензи уверенно занес его в список будущих противников.

Случая поговорить с Заринкой не представлялось, но Маккензи то и дело поглядывал на нее, давая понять, каковы его намерения. И она, разумеется, отлично поняла его, но из кокетства окружала себя целой толпой женщин всякий раз, как мужчины были далеко и Бирюк мог бы к ней подойти. Но он не торопился; притом он знал, что она поневоле думает о нем,— так пусть подумает еще денек-другой, это ему только на руку.

Наконец однажды вечером он решил, что настало время действовать; внезапно поднявшись, он вышел из душного, прокуренного жилища вождя и быстро прошел в соседний вигвам. Заринка, по обыкновению, сидела окруженная женщинами и молодыми девушками; все они были заняты делом: шили мокасины или расшивали бисером одежду. Маккензи встретили взрывом смеха, посыпались шуточки по адресу его и Заринки; но он без церемоний, одну за другой, вышвырнул женщин из вигвама прямо на снег, и они разбежались по становищу, чтобы всем рассказать о случившемся.

Он весьма убедительно изложил Заринке все, что хотел сказать, на ее родном языке (его языка она не знала) и часа через два собрался уходить.

— Так, значит, Заринка пойдет жить в вигвам белого человека? Хорошо! Сейчас я поговорю с твоим отцом, может быть, он еще и не согласен. Я дам ему много даров, но пусть он не спрашивает лишнего. А вдруг он скажет «нет», говоришь ты? Что ж, хорошо! Заринка все равно пойдет в вигвам белого человека.

Он уже поднял шкуру, которой был завешен вход, но тут девушка негромко окликнула его, и он тотчас вернулся. Она опустилась на колени на застланный медвежьими шкурами пол; лицо ее сияло тем светом, каким светятся лица истинных дочерей Евы; она робко расстегнула тяжелый пояс Маккензи. Он смотрел на нее с недоумением, опасливо прислушиваясь к каждому шороху снаружи. Но следующий жест девушки рассеял его подозрения, и он улыбнулся, польщенный. Она достала из мешка, где лежало ее рукоделие, ножны из шкуры лося; на них были вышиты бисером яркие фантастические узоры. Вытащила

большой охотничий нож Маккензи, почтительно поглядела на острое лезвие, осторожно потрогала его пальцем и вложила в новые ножны. Потом надела их на пояс и сдвинула на обычное место — у левого бедра.

Право же, это было совсем как сцена из далекой старины: дама и ее рыцарь. Маккензи поднял девушку на ноги и коснулся усами ее алых губ — для нее это была незнакомая, чуждая ласка, ласка Волка. Так встретился каменный век с веком стали.

Когда Бирюк Маккензи с объемистым свертком под мышкой вновь появился на пороге шатра Тлинг-Тиннеха, вокруг чувствовалось необычайное оживление. Дети бегали по становищу, стаскивали сучья и хворост для потлача, болтовня женщин стала громче, молодые охотники сходились кучками и мрачно переговаривались, а из жилища шамана доносились зловещие звуки заклинаний.

Вождь сидел один со своей женой, смотревшей прямо перед собою тусклыми, остановившимися глазами, но Маккензи тотчас понял, что то, о чем он собирается говорить, тут уже известно. Он передвинул вышитые бисером ножны на самое видное место — в знак того, что обручение совершилось, и немедля приступил к делу.

— О Тлинг-Тиннех, могучий повелитель племени стиксов и всей страны Танана, властелин лосося и медведя, лося и оленя! Белого человека привела к тебе великая цель. Уже много лун жилище его пусто, и он одинок. Сердце его тоскует в тиши и томится о женщине — пусть сидит рядом с ним в его жилище, пусть встречает его, когда он возвращается с охоты, разводит огонь в очаге и готовит пищу. Белому человеку чудились странные вещи, он слышал топот маленьких мокасин и детские голоса. И однажды ночью ему было видение. Ворон — твой предок, великий Ворон, отец племени стиксов — явился ему и заговорил с ним. И вот что сказал Ворон одинокому белому человеку: «Надень мокасины, и стань на лыжи, и нагрузи свои нарты припасами для многих переходов и богатыми дарами, предназначенными вождю Тлинг-Тиннеху, ибо ты должен обратиться лицом в ту сторону, где прячется за край земли весеннее солнце, и держать путь в края, где охотится великий Тлинг-Тиннех. Туда привезешь ты щедрые подарки, и сын мой — Тлинг-Тиннех — станет тебе отцом. В его вигваме есть девушка, в которую я для тебя вдохнул дыхание жизни. Эту

девушку возьмешь ты в жены». Так говорил великий Ворон, о вождь. Вот почему я кладу эти дары к твоим ногам. Вот почему я пришел взять в жены твою дочь.

Старый вождь царственным жестом плотнее завернулся в свою меховую одежду, но медлил с ответом. В это время в шатер проскользнул мальчишка, сообщил, что вождя ждут на совет племени, и тотчас исчез.

— О белый человек, которого мы назвали Грозой Лосей, известный также под именем Волка и Сына Волка! Мы знаем, ты происходишь из великого племени; мы горды тем, что ты был нашим гостем; но кета не пара лососю. Так и Волк не пара Ворону.

— Неверно! — воскликнул Маккензи.— Я встречал дочерей Ворона в лагерях Волка — у Мортимера, у Треджидго, у Бэрнеби, — в его жилище скво вошла два ледохода назад; и я слышал, что есть еще и другие, хоть и не видел их собственными глазами.

— Ты говоришь правду, мой сын, но это дурные браки: все равно что брак воды с песком, снежинки с солнцем. А встречал ли ты человека по имени Мэйсон и его скво? Нет? Он первым из Волков пришел сюда десять ледоходов тому назад. С ним был великан, могучий, как медведь гризли, и стройный, как побег ивы, с сердцем, точно полная луна летом. Так вот, его...

— Да это Мэйлмют Кид! — прервал Маккензи, узнав по описанию личность, хорошо известную всем на Севере.

— Это он, великан. Но видел ли ты когда-нибудь скво Мэйсона? Она родная сестра Заринки.

— Нет, вождь, я не видал ее, но слышал о ней. Далеко-далеко на Севере обрушилась под тяжестью лет вековая сосна и, падая, убила Мэйсона. Но любовь его была велика, и у него было много золота. Женщина взяла золото, взяла сына, которого оставил он ей, и пустилась в долгий путь, и через несчетное множество переходов прибыла в страну, где и зимой светит солнце... Там она живет до сих пор, там нет свирепых морозов, нет снега, летом в полночь не светит солнце, а зимой в полдень не царит мрак.

Тут их прервал второй гонец и сказал, что вождя требуют в совет. Маккензи вышвырнул гонца в снег, мельком увидел раскачивающиеся фигуры вокруг огня, где собрался совет племени, услышал размеренное пение низких мужских голосов и понял, что шаман раздувает гнев в людях племени. Время не ждало. Маккензи обернулся к вождю.

— Слушай! — сказал он.— Я хочу взять твою дочь в жены. Смотри: вот табак, вот чай, много чашек сахару, вот теплые одеяла и большие, крепкие платки, а вот настоящее ружье и к нему много патронов и много пороха.

— Нет,— возразил старик, силясь не поддаться соблазну огромного богатства, разложенного перед ним.— Сейчас собралось на совет мое племя. Оно не захочет, чтоб я отдал тебе Заринку.

— Но ведь ты вождь.

— Да, но юноши наши разгневаны, потому что Волки отнимают у них невест.

— Слушай, Тлинг-Тиннех! Прежде чем эта ночь перейдет в день, Волк погонит своих собак к Восточным Горам и дальше — на далекий Юкон. И Заринка будет прокладывать путь его собакам.

— А может быть, прежде чем эта ночь достигнет середины, мои юноши бросят мясо Волка собакам, и кости его будут валяться под снегом, пока снег не растает под весенним солнцем.

Угроза в ответ на угрозу. Бронзово-смуглое лицо Маккензи залилось краской. Он возвысил голос. Старуха, жена вождя, до этой минуты остававшаяся бесстрастной зрительницей, попыталась проскользнуть мимо него к выходу. Пение оборвалось, послышался гул множества голосов; Маккензи грубо отбросил старуху на ее ложе из шкур.

— Снова я взываю к тебе — слушай, о Тлинг-Тиннех! Волк умирает, сомкнув челюсти, и вместе с ним навсегда уснут десять сильнейших мужчин твоего племени,— а в мужчинах будет нужда, время охоты только начинается, и до начала рыбной ловли осталось не так уж много лун. И что пользы тебе от того, что я умру? Я знаю обычаи твоего народа: не много из моих богатств придется на твою долю. Отдай мне твою дочь — и все достанется тебе одному. И еще скажу тебе: сюда придут мои братья — их много, и они ненасытны,— и дочери Ворона станут рождать детей в жилищах Волка. Мое племя сильнее твоего. Такова судьба. Отдай мне дочь, и все эти богатства твои.

Снаружи заскрипел под мокасинами снег. Маккензи вскинул ружье и расстегнул кобуры обоих револьверов на поясе.

— Отдай, о Тлинг-Тиннех!

— Но мой народ скажет «нет»!

— Отдай, и это богатство — твое. А с твоим народом я поговорю потом.

— Пусть будет, как хочет Волк. Я возьму дары, но помни, я тебя предупреждал.

Маккензи передал ему подарки, не забыв поднять предохранитель ружья, и дал в придачу ослепительно пестрый шелковый платок. Тут вошел шаман в сопровождении пяти или шести молодых воинов, но Маккензи дерзко растолкал их и вышел из шатра.

— Собирайся! — вместо приветствия коротко бросил он Заринке, проходя мимо ее вигвама, и поспешно стал запрягать собак.

Через несколько минут он явился на совет, ведя за собой свою упряжку; девушка шла бок о бок с ним. Он занял место в верхнем конце утоптанной площадки, рядом с вождем. Заринке он указал место слева от себя, на шаг позади, как ей и подобало. Притом в час, когда можно ждать недоброго, надо, чтобы кто-нибудь охранял тебя с тыла.

Справа и слева склонились к огню мужчины, голоса их слились в древней, полузабытой песне. Нельзя сказать, чтобы она была красива, эта песня,— вся из странных, неожиданных переходов, внезапных пауз, навязчивых повторений. Вернее всего, пожалуй, назвать ее страшной. В дальнем конце площадки с десяток женщин кружились перед шаманом в обрядовой пляске. И шаман гневно выговаривал тем, кто недостаточно самозабвенно отдавался исполнению обряда. Наполовину окутанные распущенными черными, как вороново крыло, волосами, женщины медленно раскачивались взад и вперед, и тела их изгибались, покорные непрестанно меняющемуся ритму.

Странное это было зрелище, чистейший анахронизм. Дальше к югу был на исходе девятнадцатый век, истекали последние годы его последнего десятилетия,— а здесь процветал первобытный человек, тень доисторического пещерного жителя, забытый обломок Древности. Большие рыжие псы сидели рядом с хозяевами, облаченными в звериные шкуры, или дрались из-за места у огня, и отблески костра играли в их налитых кровью глазах, на влажных клыках. Дремучий лес, окутанный призрачным снежным покровом, спал непробудно, не тревожимый происходящим. Белое Безмолвие, на краткий миг отброшенное к дебрям, обступившим становище, словно готовилось вновь заполонить все; звезды дрожали и плясали в небе, как всегда в пору Великого Холода, и Полярные Духи раскинули по всему небосклону свои сияющие огненные одежды.

Бирюк Маккензи, смутно сознавая дикое величие этой картины, обвел взглядом ряды неподвижных фигур в меховых одеждах, высматривая, кого не хватает. На мгновение глаза его остановились на новорожденном младенце, мирно сосавшем обнаженную грудь матери. Было сорок градусов ниже нуля — семьдесят с лишним градусов мороза. Маккензи подумал о нежных женщинах своего народа и хмуро улыбнулся. И, однако, он, рожденный одною из тех нежных женщин, унаследовал то, что давало ему и его сородичам власть над сушей и морем, над животными и людьми во всех краях земли. Один против ста, в недрах арктической зимы, вдалеке от родных мест, чувствовал он зов этого наследия — волю к власти, безрассудную любовь к опасностям, боевой пыл, решимость победить или умереть.

Пение и пляски прекратились, и шаман разразился речью. Сложными и запутанными примерами из богатой мифологии индейцев он умело действовал на легковерных слушателей. Он говорил сильно и убедительно. Воплощению мирного созидательного начала — Ворону — он противопоставил Волка-Маккензи, заклеймив его как воплощение начала воинственного и разрушительного. Борьба этих начал не только духовная, борются и люди — каждый во имя своего тотема. Племя стиксов — дети Джелкса, Ворона, носителя Прометеева огня; Маккензи — сын Волка, иными словами — дьявола. Пытаться приостановить эту извечную войну двух начал, отдавать дочерей племени в жены заклятому врагу — значит совершать величайшее предательство и кощунство. Самые резкие слова, самые гнусные оскорбления еще слишком мягки для Маккензи — ядовитого змея, коварно пытающегося вкрасться к ним в доверие, посланника самого сатаны. Тут слушатели глухо, грозно заворчали, а шаман продолжал:

— Джелкс всемогущ, братья мои! Не он ли принес на землю небесный огонь, чтобы мы могли согреться? Не он ли извлек солнце, месяц и звезды из их небесных нор, чтобы мы могли видеть? Не он ли научил нас бороться с духами Голода и Мороза? А ныне Джелкс разгневался на своих детей, и от племени осталась жалкая горсточка, и Джелкс не поможет им. Ибо они забыли его, они дурно поступают, и идут по дурным тропам, и вводят его врагов в свои вигвамы, и сажают у своего очага. И Ворон скорбит о злонравии своих детей. Но, когда они поймут глубину своего падения и докажут, что они вернулись к Джелксу, он выйдет из мрака им на помощь. О братья! Носитель Огня поведал шаману свою волю,— теперь выслушайте ее

вы. Пусть юноши отведут девушек в свои вигвамы, а сами рпнутся на Волка, и пусть их ненависть не ослабевает! Тогда женщины будут рождать детей, и народ Ворона станет многочисленным и могущественным. И Ворон выведет великие племена их отцов и дедов с Севера, и они будут сражаться с Волками, пока не превратят их в ничто, в пепел прошлогоднего костра, а сами снова станут властелинами всей страны. Так сказал Джелкс, Ворон!

Услышав эту весть о близком пришествии мессии, стиксы с хриплым воплем вскочили на ноги. Маккензи высвободил большие пальцы из рукавиц и ждал. Раздались крики: «Лис! Лис!» Они становились все громче; наконец один из молодых охотников выступил вперед и заговорил:

— Братья! Шаман сказал мудрые слова. Волки отнимают наших женщин, и некому рождать нам детей. Нас осталась горсточка. Волки отнимают у нас теплые меха и взамен дают нам злого духа, живущего в бутылке, и одежды, сделанные не из шкуры бобра или рыси, но из травы. И эти одежды не дают тепла, и наши люди умирают от непонятных болезней. У меня, Лиса, нет жены. А почему? Дважды девушки, которые нравились мне, уходили в становище Волка. Вот и сейчас отложил я шкуры бобра, лося, оленя, чтобы завоевать благосклонность Тлинг-Тиннеха и взять в жены его дочь Заринку. И вот, смотрите, она встала на лыжи и готова прокладывать путь собакам Волка. И я говорю не за себя одного. То же самое мог бы сказать Медведь. Он тоже пожелал стать отцом детей Заринки и тоже приготовил много шкур, чтобы отдать Тлинг-Тиннеху. Я говорю за всех молодых охотников, у которых нет жен. Волки вечно голодны. И всегда они берут себе лучшие куски, а Воронам достаются жалкие остатки.

— Посмотрите, вот Гукла! — И Лис бесцеремонно указал на одну из женщин; она была хромая.— Ноги ее искривлены, точно борта лодки. Она не может собирать дрова и хворост, не может носить за охотниками убитую дичь. Выбрали ее Волки?

— О! О! — вскричали собратья Лиса.

— Вот Мойри,— продолжал он.— Злой дух перекосил ей глаза. Даже младенцы пугаются, глядя на нее, и, говорят, сам гризли уступает ей дорогу. Выбрали ее Волки?

И снова грозный гул одобрения.

— А вот сидит Писчет. Она не слышит моих слов. Никогда она не слышала ни веселой беседы, ни голоса своего мужа, ни лепета своего ребенка. Она живет в Белом Безмолвии. Разве

Волки хотя бы взглянули на нее? Нет! Им достается отборная добыча, нам — остатки. Братья, больше так быть не должно! Довольно Волкам рыскать у наших костров! Время настало!

Гигантское огненное полотнище северного сияния — пурпурное, зеленое, желтое пламя — затрепетало в небе, охватив его от края до края. И Лис, запрокинув голову и воздев руки к небесам, воскликнул:

— Смотрите! Духи наших предков восстали! Великие дела совершатся в эту ночь!

Он отступил, и другой молодой охотник нерешительно вышел вперед, подталкиваемый товарищами. Он был на голову выше всех остальных, широкая грудь обнажена, точно назло морозу. Он переминался с ноги на ногу, слова не шли у него с языка, он был застенчив и неловок. Страшно было смотреть на его лицо: когда-то его, видимо, изорвало, исковеркало каким-то чудовищной силы ударом. Наконец он гулко ударил себя кулаком в грудь, точно в барабан, и заговорил; голос его звучал глухо, как шум прибоя в пещере на берегу океана.

— Я Медведь, Серебряное Копье и сын Серебряного Копья. Когда мой голос был еще звонок, как голос девушки, я убивал рысь, лося и оленя; когда он зазвучал, как крик росомахи в ловушке, я пересек Южные Горы и убил троих из племени Белой реки; когда он стал, как рев Чинука, я встретил медведя гризли — и не уступил ему дороги.

Он помедлил, многозначительно провел ладонью по страшным шрамам на лице. Потом продолжал:

— Я не Лис. Язык мой замерз, как река. Я не умею красно говорить. Слов у меня немного. Лис говорит: «Великие дела совершатся в эту ночь». Хорошо! Речь его бежит с языка, точно река в половодье, но на дела он совсем не так щедр. Сегодня ночью я буду сражаться с Волком. Я убью его, и Заринка сядет у моего очага. Я, Медведь, сказал.

Настоящий ад бушевал вокруг, но Маккензи был тверд. Хорошо понимая, что ружье на таком близком расстоянии бесполезно, он незаметно передвинул вперед на поясе обе кобуры, готовясь пустить в дело револьверы, и спустил рукавицы так низко, что они теперь висели у него на пальцах. Он знал, что, если на него нападут все разом, ему не на что надеяться, но, верный своей недавней похвальбе, намеревался умереть, сомкнув челюсти на горле врага. Но Медведь сдержал своих собратьев, отбросил самых пылких назад ударом страшного кулака. Буря начала стихать, и Маккензи мельком взглянул на

Заринку. Это было великолепное зрелище. Стоя на лыжах, она вся подалась вперед, губы ее приоткрылись, ноздри трепетали — ни дать ни взять, тигрица перед прыжком. В больших черных глазах ее, устремленных на сородичей, был и страх и вызов. Все ее существо напряглось, как натянутая тетива, она даже дышать забывала. Она так и застыла, судорожно прижав одну руку к груди, стиснув в другой длинный бич. Но как только Маккензи взглянул на нее, Заринку словно отпустило. Напряженные мышцы ослабли, она глубоко вздохнула, выпрямилась и ответила ему взглядом, полным безграничной преданности.

Тлинг-Тиннех пытался заговорить, но голос его утонул в общем крике. И тут Маккензи выступил вперед. Лис открыл было рот, но тотчас пугливо отпрянул, и пронзительный вопль застрял у него в глотке — с таким бешенством обернулся к нему Маккензи. Поражение Лиса было встречено взрывами хохота — теперь его соплеменники готовы были слушать.

— Братья! — начал Маккензи.— Белый человек, которого вы называете Волком, пришел к вам с открытой душой. Он не станет лгать, подобно иннуиту. Он пришел как друг, как тот, кто хочет стать вам братом. Но ваши мужчины сказали свое слово, и время мирных речей прошло. Так слушайте: прежде всего ваш шаман — злой болтун и лживый прорицатель, и воля, которую он передал вам,— не воля Носителя Огня. Уши его глухи к голосу Ворона, он сам сочиняет коварные небылицы, и он вас обманул. Он бессилен. Когда вам пришлось убить и съесть своих собак и на желудке у вас была тяжесть от сыромятной кожи мокасин; когда умирали старики, и умирали старухи, и младенцы умирали у иссохшей груди матери; когда ваша земля была окутана тьмою и все живое гибло, точно лосось в осеннюю пору; да, когда голод обрушился на вас,— разве ваш шаман принес удачу охотникам? Разве он наполнил мясом ваши желудки? Опять скажу вам: шаман бессилен. Вот, я плюю ему в лицо!

Все были поражены этим кощунством, но никто не крикнул. Иные женщины перепугались, мужчины же в волнении ждали чуда. Все взоры обратились на двух главных героев происходящего. Жрец понял, что настала решающая минута, почувствовал, что власть его колеблется, и уже готов был разразиться угрозами, но передумал: Маккензи занес кулак и шагнул к нему — свирепый, со сверкающими глазами. Шаман злобно усмехнулся и отступил.

— Что ж, поразила меня внезапная смерть? Сожгло меня молнией? Или, может, звезды упали с неба и раздавили меня?

Тьфу! Я покончил с этим псом. Теперь я скажу вам о моем племени, могущественнейшем из племен, которое владычествует во всех землях. Сначала мы охотимся, как я, в одиночку. Потом охотимся стаями и, наконец, как оленьи стада, заполняем весь край. Те, кого мы берем в свои вигвамы, остаются в живых, остальных ждет смерть. Заринка красивая девушка, крепкая и сильная, она будет хорошей матерью Волков. Вы можете убить меня, но она все равно станет матерью Волков, ибо мои братья многочисленны и они придут по следу моих собак. Слушайте, вот Закон Волка: если ты отнимешь жизнь у одного Волка, десятеро из твоего племени заплатят за это своей жизнью. Эту цену платили уже во многих землях, во многих землях еще ее будут платить.

Теперь я буду говорить с Лисом и с Медведем. Видно, им приглянулась эта девушка. Так? Но смотрите — я купил ее! Тлинг-Тиннех опирается на мое ружье, и еще я дал за нее другие товары, которые лежат у его очага. И все-таки я буду справедлив к молодым охотникам. Лису, у которого язык пересох от долгих речей, я дам табаку — пять больших пачек. Пусть рот его вновь увлажнится, чтоб он мог всласть шуметь на совете. Медведю же — я горжусь знакомством с ним — я дам два одеяла, двадцать чашек муки, табаку вдвое больше, чем Лису; а если он пойдет со мной к Восточным Горам, я дам ему еще и ружье, такое же, как у Тлинг-Тиннеха. А если он не хочет? Что ж, хорошо! Волк устал говорить. Но он еще раз повторит вам Закон: если ты отнимешь жизнь у одного Волка, десятеро из твоего племени заплатят за это своей жизнью.

Маккензи улыбнулся и отступил на прежнее место, но на душе у него было неспокойно. Ночь была еще совсем темна. Девушка стала рядом с Маккензи и наскоро рассказывала, какие хитрости пускает в ход Медведь, когда дерется на ножах, и Маккензи внимательно слушал.

Итак, решено — они будут биться. Мигом десятки мокасин расширили утоптанную площадку вокруг огня. Немало тут было и разговоров о поражении, которое у всех на глазах потерпел шаман; некоторые уверяли, что он еще покажет свою силу, другие вспоминали разные события минувшего и соглашались с Волком. Медведь выступил вперед, в руке у него был обнаженный охотничий нож русской работы. Лис обратил общее внимание на револьверы Маккензи, и тот, сняв свой пояс, надел его на Заринку и передал ей свое ружье. Она покачала головой в знак того, что не умеет стрелять: откуда женщине знать, как обращаться со столь драгоценным оружием.

— Тогда, если опасность придет сзади, крикни громко: «Муж мой!» Нет, вот так: «Муж мой!»

Он рассмеялся, когда она повторила незнакомое английское слово, ущипнул ее за щеку и вернулся в круг. Медведь превосходил его не только ростом, у него и руки были длиннее, и нож длиннее на добрых два дюйма. Бирюку Маккензи случалось и прежде смотреть в глаза противнику, и он сразу понял, что перед ним настоящий мужчина; и, однако, он весь ожил при виде сверкнувшей стали, и, послушная зову предков, кровь быстрей побежала в его жилах.

Снова и снова противник отбрасывал его то к самому костру, то в глубокий снег, но снова и снова, шаг за шагом, как опытный боксер, Маккензи отжимал его к центру. Никто не крикнул ему ни единого слова одобрения, тогда как его соперника подбадривали похвалами, советовали, предостерегали. Но Маккензи только крепче стискивал зубы, когда со звоном сталкивались лезвия ножей, и нападал или отступал с хладнокровием, которое рождается из сознания своей силы. Сперва он ощущал невольную симпатию к врагу, но это чувство исчезло перед инстинктом самосохранения, который, в свою очередь, уступил место жажде убийства. Десять тысяч лет цивилизации слетели с Маккензи, как шелуха, и он стал просто пещерным жителем, сражающимся из-за самки.

Дважды он достал Медведя ножом и ускользнул невредимый; но на третий раз, чтобы избежать удара, ему пришлось схватиться с Медведем вплотную — каждый свободной рукой стиснул руку другого, вооруженную ножом. И тут Маккензи почувствовал всю ужасающую силу соперника. Мышцы его мучительно свело, все связки и сухожилия готовы были лопнуть от напряжения... а лезвие русской стали все ближе, ближе... Он попытался оторваться от противника, но только ослабил свою позицию. Кольцо людей в меховых одеждах сомкнулось теснее,— никто не сомневался, что близок последний удар, и всем не терпелось его увидеть. Но приемом опытного борца Маккензи откачнулся в сторону и ударил противника головой. Медведь невольно попятился, потерял равновесие. Маккензи мгновенно воспользовался этим и, всей тяжестью обрушившись на Медведя, отшвырнул его за круг зрителей, в глубокий, неутоптанный снег. Медведь с трудом выбрался оттуда и ринулся на Маккензи.

— О муж мой! — зазвенел голос Зарянки, предупреждая о близкой опасности.

Загудела тетива, но Маккензи уже успел пригнуться,— стрела с костяным наконечником, пролетев над ним, вонзилась в грудь Медведя, и тот тяжело упал, подминая под себя противника. Секунду спустя Маккензи был снова на ногах. Медведь лежал без движения, но по ту сторону костра шаман готовился пустить вторую стрелу.

Маккензи схватил тяжелый нож за конец лезвия, коротко взмахнул им. Сверкнув, как молния, нож пролетел над костром. Лезвие вонзилось шаману в горло по самую рукоятку, он зашатался и рухнул на пылающие уголья.

Клик! Клик! — Лис завладел ружьем Тлинг-Тиннеха и тщетно пытался загнать патрон в ствол, но тотчас выронил ружье, услышав хохот Бирюка.

— Так, значит, Лис еще не научился обращаться с этой игрушкой? Стало быть, Лис пока еще женщина? Поди сюда! Дай ружье, я покажу тебе, что надо делать.

Лис колебался.

— Поди сюда, говорят тебе!

И Лис подошел, неловкий, как побитый щенок.

— Вот так и так — и все в порядке.

Патрон скользнул на место, щелкнул курок. Маккензи вскинул ружье к плечу.

— Лис сказал, что великие дела совершатся в эту ночь, и он говорил правду. Великие дела совершились, но их совершил не Лис. Что же, он все еще намерен взять Заринку в свой вигвам? Он желает пойти той тропой, которую проложили шаман и Медведь? Нет? Хорошо!

Маккензи презрительно отвернулся и вытащил свой нож из горла шамана.

— Может быть, кто-нибудь другой из молодых охотников этого хочет? Если так, Волк отправит их той же дорогой — по двое, по трое, пока ни одного не останется. Никто не хочет? Хорошо. Тлинг-Тиннех, второй раз я отдаю тебе это ружье. Если когда-нибудь ты отправишься на Юкон, знай, что в жилище Волка тебя всегда ждет место у очага и вдоволь еды. А теперь ночь переходит в день. Я ухожу, но, возможно, я еще вернусь. И в последний раз говорю: помните Закон Волка!

Он подошел к Заринке, а они смотрели на него, как на какое-то сверхъестественное существо. Заринка заняла свое место впереди упряжки, и собаки пошли. Несколько минут спустя призрачный снежный лес поглотил их. И тогда стоявший неподвижно Маккензи, в свою очередь, стал на лыжи, готовый двинуться следом.

— Разве Волк забыл про пять больших пачек табаку?

Маккензи гневно обернулся к Лису, но тут же ему стало смешно.

— Я дам тебе одну маленькую пачку.

— Как будет угодно Волку,— скромно сказал Лис и протянул руку.

СЕВЕРНАЯ ОДИССЕЯ

I

Полозья пели свою бесконечную унылую песню, поскрипывала упряжь, позвякивали колокольчики на вожаках; но собаки и люди устали и двигались молча. Они шли издалека, тропа была не утоптана после недавнего снегопада, и нарты, груженные мороженой олениной, с трудом двигались по рыхлому снегу, сопротивляясь с настойчивостью почти человеческой. Темнота сгущалась, но в этот вечер путники уже не собирались делать привал. Снег мягко падал в неподвижном воздухе — не хлопьями, а маленькими снежинками тонкого рисунка. Было совсем тепло, каких-нибудь десять градусов ниже нуля, Майерс и Беттлз подняли наушники, а Мэйлмют Кид даже снял рукавицы.

Собаки устали еще с полудня, но теперь они как будто набирались новых сил. Самые чуткие из них стали проявлять беспокойство, нетерпеливо дергали постромки, принюхивались к воздуху и поводили ушами. Они злились на своих более флегматичных товарищей и подгоняли их, покусывая сзади за ноги. И те, в свою очередь, тоже заражались беспокойством и передавали его другим. Наконец вожак передней упряжки радостно завизжал и, глубже забирая по снегу, рванулся вперед. Остальные последовали за ним. Постромки натянулись, нарты помчались веселее, и люди, хватаясь за поворотные шесты, изо всех сил ускоряли шаг, чтобы не попасть под полозья. Дневной усталости как не бывало; они криками подбодряли собак, и те отвечали им радостным лаем, во весь опор мчась в сгущающихся сумерках.

— Гей! Гей! — наперебой кричали люди, когда нарты круто сворачивали с дороги и накренялись набок, словно парусное суденышко под ветром.

И вот уже осталось каких-нибудь сто ярдов до освещенного, затянутого промасленной бумагой окошка, которое говорило об

уюте жилья, пылающей юконской печке и дымящемся котелке с чаем. Но хижина оказалась занятой. С полсотни эскимосских псов угрожающе залаяли и бросились на собак первой упряжки. Дверь распахнулась, и человек в красном мундире северо-западной полиции, по колено утопая в снегу, водворил порядок среди разъяренных животных, хладнокровно и бесстрастно орудуя своим бичом. Мужчины обменялись рукопожатиями; вышло так, что чужой человек приветствовал Мэйлмюта Кида в его же собственной хижине.

Стэнли Принс, который должен был встретить его и позаботиться о вышеупомянутой юконской печке и горячем чае, был занят гостями. Их было человек десять — двенадцать, самая разношерстная компания, и все они состояли на службе у королевы — одни в качестве блюстителей ее законов, другие в качестве почтальонов и курьеров. Они были разных национальностей, но жизнь, которую они вели, выковала из них определенный тип людей — худощавых, выносливых, с крепкими мускулами, бронзовыми от загара лицами, с бесстрашной душой и невозмутимым взглядом ясных, спокойных глаз. Эти люди ездили на собаках, принадлежащих королеве, вселяли страх в сердца ее врагов, кормились ее скудными милостями и были довольны своей судьбой. Они видели многое, совершали подвиги, жизнь их была полна приключений, но никто из них даже не подозревал об этом.

Они чувствовали себя здесь как дома. Двое из них растянулись на койке Мэйлмюта Кида и распевали песни, которые пели еще их предки-французы, когда впервые появились в этих местах и стали брать в жены индейских женщин. Койка Беттлза подверглась такому же нашествию: трое или четверо voyageurs [1], закутав ноги одеялом, слушали рассказы одного из своих спутников, служившего под командой Вулзли, когда тот пробивался к Хартуму. А когда он кончил, какой-то ковбой стал рассказывать о королях и дворцах, о лордах и леди, которых он видел, когда Буффало Билл совершал турне по столицам Европы. В углу два метиса, старые товарищи по оружию, чинили упряжь и вспоминали дни, когда на Северо-Западе полыхал огонь восстания и Луи Рейл был королем.

То и дело слышались грубые шутки и еще более грубые остроты; о необыкновенных приключениях на суше и на воде говорилось как о чем-то повседневном и заслуживающем воспоминания только ради какого-нибудь острого словца или смешного происшествия. Принс был совершенно увлечен этими не увен-

[1] Путешественников *(франц.)*.

чанными славой героями, которые видели, как творится история, но относились к великому и романтичному, как к обыкновенным будням. Он с небрежной расточительностью угощал их своим драгоценным табаком, и, в благодарность за такую щедрость, разматывались ржавые цепи памяти и воскресали преданные забвению одиссеи.

Когда разговоры смолкли и путники, набив по последней трубке, стали развязывать спальные мешки, Принс обратился к своему приятелю, чтобы тот рассказал ему об этих людях.

— Ну, ты сам знаешь, что такое ковбой,— ответил Мэйлмют Кид, стаскивая мокасины,— а в жилах его товарища по койке течет кровь британца, это сразу заметно. Что касается остальных, то все они потомки coureurs du bois [1], и один бог ведает, какая там еще была примесь. Те двое, что улеглись в дверях, чистокровные bois brûlés [2]. Обрати внимание на брови и нижнюю челюсть вон того юнца с шерстяным шарфом — сразу видно, что в дымном вигваме у его матери побывал шотландец. А этот красивый парень, который подкладывает себе под голову шинель,— француз-метис. Ты слышал, какой у него выговор? Он без особой симпатии относится к тем индейцам, что лежат с ним рядом. Дело в том, что когда метисы восстали под предводительством Рейла, чистокровные индейцы не поддержали их, и с тех пор они недолюбливают друг друга.

— Ну, а вон та мрачная личность у печки, кто это? Клянусь, он не говорит по-английски, за весь вечер не проронил ни слова.

— Ошибаешься. Английский он знает отлично. Ты обратил внимание на его глаза, когда он слушал? Я следил за ним. Но он здесь, видно, чужой. Когда разговор шел на диалекте, было ясно, что он не понимает. Я и сам не разберу, кто он такой. Давай попробуем доискаться... Подбрось-ка дров в печку,— громко сказал Мэйлмют Кид, в упор глядя на незнакомца.

Тот сразу повиновался.

— К дисциплине его где-то приучили,— вполголоса заметил Принс.

Мэйлмют Кид кивнул, снял носки и стал пробираться к печке, между растянувшимися на полу людьми; там он разве-

---

[1] Трапперы, охотники *(франц.)*.

[2] Буквально: горелое дерево *(франц.)*; название первых французских поселенцев в Канаде, которые, особенно после перехода Канады к Англии, промышляли охотою в лесах.

сил свои мокрые носки среди двух десятков таких же промокших насквозь.

— Когда вы думаете попасть в Доусон? — спросил он, чтобы завязать разговор с незнакомцем.

Тот внимательно посмотрел на него, потом ответил:

— Туда, говорят, семьдесят пять миль? Если так, дня через два.

Он говорил с едва заметным акцентом, но свободно, не подыскивая слов.

— Бывали здесь раньше?

— Нет.

— Вы с северо-западных территорий?

— Да.

— Тамошний уроженец?

— Нет.

— Так откуда же вы родом, черт возьми? Видно, что вы не из этих.— Мэйлмют Кид кивнул в сторону всех расположившихся в хижине, включая и тех двух полисменов, что растянулись на койке Принса.— Откуда вы? Я видел раньше такие лица, как ваше, но никак не припомню, где именно.

— А я знаю вас,— неожиданно сказал незнакомец, сразу же обрывая поток вопросов Мэйлмюта Кида.

— Откуда? Разве мы встречались?

— Нет. Мне говорил о вас священник в Пастилике, ваш компаньон. Это было давно. Спрашивал, знаю ли я Мэйлмюта Кида. Дал мне провизии. Я был там недолго. Он не рассказывал вам обо мне?

— Ах, так вы тот самый человек, который менял выдру на собак?

Незнакомец кивнул, выбил трубку и завернулся в меховое одеяло, дав понять, что он не расположен продолжать разговор. Мэйлмют Кид погасил светильник, и они с Принсом залезли под одеяло.

— Ну, кто же он?

— Не знаю. Не захотел разговаривать и ушел в себя, как улитка. Любопытнейший субъект. Я о нем кое-что слышал. Восемь лет тому назад он удивил все побережье. Какая-то загадка, честное слово! Приехал с Севера в самые лютые морозы и так спешил, точно за ним сам черт гнался. Было это за много тысяч миль отсюда, у самого Берингова моря. Никто не знал, откуда он, но, судя по всему, его принесло издалека. Когда он брал провизию у шведа-миссионера в бухте Головина, вид у него был здорово измученный. А потом узнали, что он спраши-

вал, как проехать на Юг. Из бухты он двинулся прямо через пролив Нортона. Погода была ужасная, пурга, буря, а ему хоть бы что. На его месте другой давно отправился бы на тот свет. В форт Сент-Майкл он не попал, а выбрался на берег у Пастилики, всего-навсего с двумя собаками и полумертвый от голода.

Он так торопился в путь, что отец Рубо снабдил его провизией, но собак не мог дать, потому что ждал моего приезда и должен был сам отправиться в путь. Наш Улисс знал, что значит путешествовать по Северу без собак, и несколько дней он рвал и метал. На нартах у него лежала груда отлично выделанных шкурок морской выдры — а мех ее, как известно, ценится на вес золота. В это время в Пастилике жил русский купец, скупой, как Шейлок, собак у него хоть отбавляй. Торговались они недолго, и когда наш чудак отправился на Юг, в упряжке у него бежал десяток свежих собак, а мистер Шейлок получил, разумеется, выдру. Я видел эти шкуры — великолепные! Мы подсчитали, и вышло, что каждая собака принесла тому купцу, по крайней мере, пятьсот долларов чистой прибыли. Не думай, что мистер Улисс не знал цен на морскую выдру. Хоть он из индейцев, но по выговору видно, что жил среди белых.

Когда море очистилось от льда, мы узнали, что этот чудак запасается провизией на острове Нунивак. Потом он совсем исчез, и восемь лет о нем ничего не было слышно. Из каких краев теперь он явился, чем занимался и зачем пришел? Индеец неизвестно где побывал. Привык, видно, к дисциплине. А это для индейца не совсем обычно. Еще одна загадка Севера, попробуй ее раскусить, Принс.

— Благодарю покорно! У меня и своих много,— ответил тот.

Мэйлмют Кид уже начал похрапывать, но молодой горный инженер лежал с открытыми глазами, всматриваясь в густой мрак и ожидая, когда утихнет охватившее его непонятное волнение. Потом он заснул, но его мозг продолжал работать, и всю ночь он блуждал по неведомым снежным просторам, вместе с собаками преодолевал бесконечные переходы и видел во сне людей, которые жили, трудились и умирали так, как подобает настоящим людям.

На следующее утро, задолго до рассвета, курьеры и полисмены выехали на Доусон. Но силы, которые стояли на страже интересов ее величества и распоряжались судьбами ее поддан-

ных, не давали курьерам отдыха. Неделю спустя они снова появились у реки Стюарт с грузом почты, которую нужно было доставить к Соленой Воде. Правда, собаки были заменены свежими, но ведь на то они и собаки.

Люди мечтали хотя бы о небольшой передышке. Кроме того, Клондайк был новым северным центром, и им хотелось пожить немного в этом Золотом городе, где золотой песок льется, как вода, а в танцевальных залах никогда не прекращается веселье. Но, как и в первое свое посещение, они сушили носки и с удовольствием курили трубки. И лишь несколько смельчаков строили планы, как можно дезертировать, пробравшись через неисследованные Скалистые горы на восток, а оттуда по долине Маккензи двинуться в знакомые места, в страну индейцев чиппева. Двое-трое даже решили по окончании срока службы тем же путем возвращаться домой, заранее радуясь этому рискованному предприятию, примерно так, как горожанин радуется воскресной прогулке в лес.

Странный незнакомец был, казалось, чем-то встревожен и не принимал участия в разговорах. Наконец он отозвал в сторону Мэйлмюта Кида и некоторое время вполголоса с ним разговаривал. Принс с любопытством наблюдал за ними; и загадка стала для него еще неразрешимее, когда оба надели шапки и рукавицы и вышли наружу. Вернувшись, Мэйлмют Кид поставил на стол весы для золота, отвесил шестьдесят унций золотого песка и пересыпал его в мешок незнакомца. Потом к совету был привлечен старший погонщик, и с ним тоже была заключена какая-то сделка. На следующий день вся компания отправилась вверх по реке, а владелец выдровых шкур взял с собою немного провизии и повернул обратно, по направлению к Доусону.

— Я положительно не понимаю, что все это значит,— сказал Мэйлмют Кид в ответ на вопросы Принса.— Бедняга твердо решил освободиться от службы. По-видимому, для него это очень важно, но причин он не объяснил. У них, как в армии: он обязался служить два года, а если хочешь уйти раньше срока, надо откупиться. Дезертировать и оставаться в здешних краях нельзя, а остаться ему почему-то необходимо. Он это еще в Доусоне надумал, но денег у него не было ни цента, а там его никто не знал. Я единственный человек, который перекинулся с ним несколькими словами. Он поговорил с начальством и добился увольнения, в случае если я дам ему денег — в долг, разумеется. Обещал вернуть в течение года и, если я захочу,

показать местечко, где уйма золота. Сам он и в глаза его не видел, но твердо уверен, что оно существует.

Когда мы вышли, он чуть не плакал. Просил, умолял, валялся передо мной на коленях, пока я не поднял его. Болтал какую-то чепуху, как сумасшедший. Клялся, что работал годами, чтобы дожить до этой минуты, и не перенесет разочарования. Я спросил, до какой минуты, но он не ответил. Сказал только, что боится, как бы его не послали на другой участок, откуда он только года через два попадет в Доусон, а тогда будет слишком поздно. Я в жизни не видал, чтобы человек так убивался. А когда я согласился дать ему взаймы, мне опять пришлось вытаскивать его из снега. Говорю: «Считайте, что вы меня взяли в долю». Куда там! И слышать не хочет! Стал клясться, что отдаст мне всю свою добычу, сулил такие сокровища, которые не снились и скупцу, и все такое прочее. А когда человек берет кого-нибудь в долю, потом ему бывает жалко поделиться даже половиной добычи. Нет, Принс, здесь что-то кроется, помяни мое слово. Мы еще услышим о нем, если он останется в наших краях.

— А если нет?

— Тогда великодушию моему будет нанесен удар и плакали мои шестьдесят унций.

Уже снова настали холода и с ними долгие ночи. Уже солнце начало свою извечную игру в прятки у снежной линии горизонта на юге, а должник Мэйлмюта Кида все не объявлялся. Но однажды в тусклое январское утро перед хижиной Кида у реки Стюарт остановилось несколько тяжело нагруженных нарт. То был владелец выдровых шкур, а с ним человек той породы, которую боги теперь уже почти разучились создавать. Когда речь заходила об удаче, отваге, о сказочных россыпях, люди всегда вспоминали Акселя Гундерсона. Он незримо присутствовал на ночных стоянках, у костра, когда велись долгие беседы о мужестве, силе и смелости. А если разговор уже не клеился, то, чтобы оживить его, достаточно было назвать имя той, которая делила с Акселем Гундерсоном его судьбу.

Как уже было сказано, при сотворении Акселя Гундерсона боги вспомнили свое былое искусство и создали его по образу и подобию тех, кто рождался, когда мир был еще молод. Семи футов росту, грудь, шея, руки и ноги великана. Лыжи его были длиннее обычных на добрый ярд, иначе им бы не выдержать эти триста фунтов мускулов и костей, облаченных в живописный

костюм короля Эльдорадо. Его суровое, словно высеченное из камня лицо с нависшими бровями, тяжелым подбородком и немигающими светло-голубыми глазами говорило о том, что этот человек признает только один закон — закон силы. Заиндевевшие, золотистые, как спелая рожь, волосы, сверкая, словно свет во тьме, спадали на куртку из медвежьего меха. Когда Аксель Гундерсон шагал по узкой тропе вперед собак, в нем было что-то от древних мореплавателей. Он так властно постучал рукояткой бича в дверь Мэйлмюта Кида, как во время набега стучал некогда в запертые ворота замка какой-нибудь скандинавский викинг.

Обнажив свои белые, как у женщины, руки, Принс месил тесто, бросая время от времени взгляды на троих гостей — трех людей, каких не часто встретишь под одной крышей. Чудак, которого Мэйлмют Кид прозвал Улиссом, все еще интересовал молодого инженера; но еще больший интерес возбуждали в нем Аксель Гундерсон и его жена. Путешествие ее утомило, потому что, с тех пор как ее муж наткнулся на золото в этой ледяной пустыне, она спокойно жила в уютном домике и эта жизнь изнежила ее. Теперь она отдыхала, прислонившись к широкой груди мужа, словно нежный цветок к стене, и лениво отвечала на добродушные шутки Мэйлмюта Кида. Мимолетные взгляды глубоких черных глаз этой женщины странно волновали Принса, ибо Принс был мужчина, здоровый мужчина, и в течение многих месяцев почти не видел женщин. Она была старше его, к тому же индианка. Но он не находил в ней ничего общего с теми скво, которых ему доводилось встречать. Она много путешествовала, побывала, как выяснилось из разговора, и на его родине, знала то, что знали женщины белой расы, и еще многое, чего им не дано знать. Она умела приготовить кушанье из вяленой рыбы и устроить постель в снегу; однако сейчас она дразнила их мучительно подробным описанием изысканных обедов и волновала воспоминаниями о всевозможных блюдах, о которых они уже успели забыть. Она знала повадки лося, медведя, голубого песца и земноводных обитателей северных морей, ей были известны тайны лесов и потоков, и она читала, как открытую книгу, следы, оставленные человеком, птицей или зверем на тонком насте. Однако сейчас Принс заметил, как лукаво сверкнули ее глаза, когда она увидела на стене правила стоянки. Эти правила, составленные неисправимым Беттлзом в те времена, когда молодая кровь играла в его жилах, были замечательны выразительным грубоватым юмором. Перед приездом женщин Принс обычно поворачивал надпись к стене. Но кто бы

подумал, что эта индианка... Ну, теперь уж ничего не поделаешь.

Так вот какая она, жена Акселя Гундерсона, женщина, чье имя и слава облетели весь Север наравне с именем и славой ее мужа! За столом Мэйлмют Кид на правах старого друга поддразнивал ее, и Принс, преодолев смущение первого знакомства, тоже присоединился к нему. Но она ловко защищалась в этой словесной перепалке, а муж ее, не отличавшийся остроумием, только одобрительно улыбался. Он гордился ею. Каждый его взгляд, каждое движение красноречиво говорили о том, какое большое место она занимает в его жизни. Владелец выдровых шкур ел молча, всеми забытый в этой оживленной беседе; он встал из-за стола прежде, чем остальные кончили есть, и вышел к собакам. Впрочем, и его спутникам пришлось вскоре надеть рукавицы и парки и последовать за ним.

Уже несколько дней не было снегопада, и нарты легко, как по льду, скользили по накатанной юконской тропе. Улисс вел первую упряжку, со второй шли Принс и жена Акселя Гундерсона, а Мэйлмют Кид и златокудрый гигант вели третью.

— Мы идем наудачу, Кид,— сказал Аксель Гундерсон,— но я думаю, что дело верное. Сам он никогда там не был, но рассказывает много интересного. Показал мне карту, о которой я слышал в Кутнэе несколько лет тому назад. Мне бы очень хотелось взять тебя с собой. Да он какой-то странный, клянется, что бросит все, если к нам кто-нибудь присоединится. Но дай мне только вернуться, и я выделю тебе лучший участок рядом со своим и, кроме того, возьму тебя в половинную долю, когда начнет строиться город... Нет! Нет! — воскликнул он, не давая Киду перебить себя.— Это мое дело. Ум хорошо, а два лучше. Если все удастся, это будет второй Криппл. Понимаешь, второй Криппл! Ведь там не россыпь, а кварцевая жила. И если взяться за дело как следует, все достанется нам — миллионы и миллионы! Я слышал об этом месте раньше, да и ты тоже. Мы построим город... тысячи рабочих, прекрасные водные пути, пароходные линии... Займемся фрахтовым делом, пустим в верховья легкие суда... Может быть, проложим железную дорогу... Потом построим лесопильные заводы, электростанцию... будет у нас собственный банк, акционерное общество, синдикат... Только держи язык за зубами, пока я не вернусь!

Нарты остановились в том месте, где тропа пересекала устье реки Стюарт. Сплошное море льда тянулось к далекому неведомому востоку. От нарт отвязали лыжи. Аксель Гундерсон попрощался и двинулся вперед первым; его огромные канадские

лыжи уходили на пол-ярда в рыхлый снег и умина́ли его, чтобы собаки не проваливались. Жена Акселя Гундерсона шла за последними нартами, искусно справляясь с неудобными лыжами. Прощальные крики нарушили тишину, собаки взвизгнули, и владелец выдровых шкур вытянул бичом непокорного вожака.

Час спустя санный поезд казался издали черным карандашиком, медленно ползущим по огромному листу белой бумаги.

II

Как-то вечером, несколько недель спустя, Мэйлмют Кид и Принс решали шахматные задачи из какого-то старого журнала. Кид только что вернулся со своего участка на Бонанзе и отдыхал, готовясь к бо́льшой охоте на лосей. Принс тоже скитался почти всю зиму и теперь с наслаждением вкушал блаженный отдых в хижине.

— Загородись черным конем и дай шах королю... Нет, так не годится. Смотри, следующий ход...

— Зачем двигать пешку на две клетки? Ее можно взять на проходе, а слон вне игры.

— Нет, постой! Тут не защищено, и...

— Нет, защищено. Валяй дальше! Вот увидишь, что получится.

Задача была интересная. В дверь постучались дважды, и только тогда Мэйлмют Кид сказал: «Войдите!» Дверь распахнулась. Кто-то, пошатываясь, ввалился в комнату. Принс посмотрел на вошедшего и вскочил на ноги. Ужас, отразившийся на его лице, заставил Мэйлмюта Кида круто повернуться, и он, в свою очередь, тоже испугался, хотя видывал виды на своем веку. Странное существо, ковыляя, приближалось к ним. Принс стал пятиться до тех пор, пока не нащупал гвоздь на стене, где висел его смит-и-вессон.

— Господи боже, кто это? — прошептал он.

— Не знаю. Верно, обмороженный и голодный,— ответил Кид, отступая в противоположную сторону.— Берегись! Может быть, он даже сумасшедший,— предостерег он Принса, закрыв дверь.

Странное существо подошло к столу. Яркий свет ударил ему прямо в глаза, и раздалось жуткое хихиканье, по-видимому, от удовольствия. Потом вдруг человек — потому что это все-таки был человек — отпрянул от стола, подтянул свои кожаные шта-

ны и затянул песенку — ту, что поют матросы на корабле, вращая рукоятку ворота и прислушиваясь к гулу моря:

Корабль плывет вниз по реке.
Налегай, молодцы, налегай!
Хочешь знать, как зовут капитана?
Налегай, молодцы, налегай!
Джонатан Джонс из Южной Каролины,
Налегай, молодцы...

Песня оборвалась на полуслове, человек со звериным рычанием бросился к полке с припасами и, прежде чем они успели его остановить, впился зубами в кусок сырого сала. Он отчаянно сопротивлялся Мэйлмюту Киду, но силы быстро оставили его, и он выпустил добычу. Друзья усадили его на табурет, он упал лицом на стол. Несколько глотков виски вернули ему силы, и он запустил ложку в сахарницу, которую Мэйлмют Кид поставил перед ним. После того как он пресытился сладким, Принс, содрогаясь, подал ему чашку слабого мясного бульона.

Глаза этого существа светились мрачным безумием; оно то разгоралось, то гасло с каждым глотком. В сущности говоря, в его изможденном лице не осталось ничего человеческого. Оно было обморожено, и виднелись еще не зажившие старые рубцы. Сухая, потемневшая кожа потрескалась и кровоточила. Его меховая одежда была грязная и вся в лохмотьях, мех с одной стороны подпален, а местами даже выжжен — видно, человек заснул у горящего костра.

Мэйлмют Кид показал на то место, где дубленую кожу срезали полосками,— ужасный знак голода.

— Кто вы такой? — медленно, отчетливо проговорил Кид.

Человек будто не слышал вопроса.

— Откуда вы пришли?

— Корабль плывет вниз по реке,— дрожащим голосом затянул незнакомец.

— Плывет, и черт с ним! — Кид тряхнул человека за плечи, пытаясь заставить его говорить.

Но человек вскрикнул, видимо, от боли, и схватился рукой за бок, потом с усилием поднялся, опираясь на стол.

— Она смеялась... и в глазах у нее была ненависть... Она... она не пошла со мной.

Он умолк и зашатался. Мэйлмют Кид крикнул, схватив его за руку.

— Кто? Кто не пошел?

— Она, Унга. Она засмеялась и ударила меня — вот так... А потом...

— Ну?

— А потом...

— Что потом?

— Потом он лежал на снегу тихо-тихо, долго лежал. Он и сейчас там.

Друзья растерянно переглянулись.

— Кто лежал на снегу?

— Она, Унга. Она смотрела на меня, и в глазах у нее была ненависть, а потом...

— Ну? Ну?

— Потом она взяла нож и вот так — раз-два. Она была слабая. Я шел очень медленно. А там много золота, в этом месте очень много золота...

— Где Унга?

Может быть, эта Унга умирала где-нибудь совсем близко, в миле от них. Мэйлмют Кид грубо тряс несчастного за плечи, повторяя без конца:

— Где Унга? Кто такая Унга?

— Она там... в снегу.

— Говори же! — И Кид крепко сжал ему руку.

— Я тоже... остался бы... в снегу... но мне... надо уплатить долг... Надо уплатить... Тяжело нести... надо уплатить... долг...— Оборвав свою бессвязную речь, он сунул руку в карман и вытащил оттуда мешочек из оленьей кожи.

— Уплатить долг... пять фунтов золотом... Мэйлмюту Киду... Я...

Он упал головой на стол, и Мэйлмют Кид уже не мог поднять его.

— Это Улисс,— сказал он спокойно, бросив на стол мешок с золотым песком.— Видимо, Акселю Гундерсону и его жене пришел конец. Давай положим его на койку, под одеяло. Он индеец, выживет и кое-что нам порасскажет.

Разрезая на нем одежду, они увидели с правой стороны груди две ножевые раны.

III

— Я расскажу вам обо всем, как умею, но вы поймете. Я начну с самого начала и расскажу о себе и о ней, а потом уже о нем.

Человек подвинулся ближе к печке, словно боясь, что огонь, этот дар Прометея, вдруг исчезнет,— так делают те, которые долго были лишены тепла. Мэйлмют Кид оправил светильник и

поставил его поближе, чтобы свет падал на лицо рассказчика. Принс уселся на койку и приготовился слушать.

— Меня зовут Наас, я вождь и сын вождя, родился между закатом и восходом солнца на бурном море, в умиаке моего отца. Мужчины всю ночь работали веслами, а женщины выкачивали воду, которая заливала нас. Мы боролись с бурей. Соленые брызги замерзали на груди моей матери, и ее дыхание ушло вместе с приливом. А я, я присоединил свой голос к голосу бури и остался жить. Наше становище было на Акатане...

— Где, где? — спросил Мэйлмют Кид.

— Акатан — это Алеутские острова. Акатан далеко за Чигником, за Кардалаком, за Унимаком. Как я уже сказал, наше становище было на Акатане, который лежит посреди моря на самом краю света. Мы добывали в соленой воде тюленей, рыбу и выдр; и наши хижины жались одна к другой на скалистом берегу, между опушкой леса и желтой отмелью, где лежали наши каяки. Нас было немного, и наш мир был очень мал. На востоке были чужие земли — острова вроде Акатана; и нам казалось, что мир — это острова, и мы привыкли к этой мысли.

Я отличался от людей моего племени. На песчаной отмели валялись гнутые брусья и покоробившиеся доски от большой лодки. Мой народ не умел делать таких лодок. И я помню, что на краю острова, там, где с трех сторон виден океан, стояла сосна — гладкая, прямая и высокая. Такие сосны редко растут в наших местах. Рассказывали, что как-то раз в этом месте высадились два человека и пробыли там много дней. Эти двое приехали из-за моря на той лодке, обломки которой я видел на берегу. Они были белые, как вы, и слабые, точно малые дети в голодные дни, когда тюлени уходят и охотники возвращаются домой с пустыми руками. Я слышал этот рассказ от стариков и старух, а они от своих отцов и матерей. Вначале белым чужеземцам не нравились наши обычаи, но потом они привыкли к ним и окрепли, питаясь рыбой и жиром, и стали свирепыми. Они построили себе по хижине, и они взяли себе в жены лучших женщин нашего племени, а потом у них появились дети. Так родился тот, кто стал отцом моего деда.

Я уже сказал, что был не такой, как другие люди моего племени, ибо в моих жилах текла сильная кровь белого человека, который появился из-за моря. Говорят, что до прихода этих людей у нас были другие законы. Но белые были свирепы и драчливы. Они сражались с нашими мужчинами, пока не осталось ни одного, кто осмелился бы вступить с ними в бой. Потом они стали нашими вождями, уничтожили наши старые

законы и дали нам новые, по которым мужчина был сыном отца, а не матери, как было раньше. Они установили, что первенец получает все, что принадлежало его отцу, а младшие братья и сестры должны сами заботиться о себе. И они дали нам много других законов. Показали, как лучше ловить рыбу и охотиться на медведей, которых так много в наших лесах, и научили нас делать большие запасы на случай голода. И это было хорошо.

Но когда эти белые люди стали нашими вождями и не осталось среди нас людей, которые могли бы им противиться, они начали ссориться между собой. И тот, чья кровь течет в моих жилах, пронзил своим копьем тело другого. Дети их продолжали борьбу, а потом дети их детей. Они враждовали между собой и творили черные дела и тогда, когда родился я, и наконец в обеих семьях осталось только по одному человеку, которые могли передать потомству кровь тех, кто был до нас. В моей семье остался я, в другой — девочка Унга, которая жила со своей матерью. Как-то ночью наши отцы не вернулись с рыбной ловли, но потом, во время большого прилива, их тела прибило к берегу, и они, мертвые, лежали на отмели, крепко сцепившись друг с другом.

И люди дивились на эту вражду, а старики говорили, что вражда эта будет продолжаться и тогда, когда и у Унги и у меня родятся дети. Мне говорили об этом, когда я был еще мальчишкой, и под конец я стал видеть в Унге врага, ту, чьи дети будут врагами моих детей. Я думал об этом целыми днями, а став юношей, спросил, почему так должно быть, и мне отвечали: «Мы не знаем, но так было при ваших отцах». И я дивился, почему те, которые придут за нами, обречены продолжать борьбу тех, кто уже ушел, и не видел в этом справедливости. Но люди племени говорили, что так должно быть, а я был тогда еще юношей.

Мне говорили, что я должен спешить, чтобы дети мои были старше детей Унги и успели раньше возмужать. Это было легко, ибо я возглавлял племя и люди уважали меня за подвиги и обычаи моих отцов и за богатство. Любая девушка охотно пришла бы в мою хижину, но я ни одной не находил себе по сердцу. А старики и матери девушек торопили меня, говоря, что многие охотники предлагают большой выкуп матери Унги, и если ее дети вырастут раньше, они убьют моих детей.

Но я все не находил себе девушки по сердцу. И вот как-то вечером я возвращался с рыбной ловли. Солнце стояло низко, лучи его били прямо мне в глаза. Дул свежий ветер, и каяки

неслись по белым волнам. И вдруг мимо меня пронесся каяк Унги, и она взглянула мне в лицо. Ее волосы, черные, как туча, развевались, на щеках блестели брызги. Как я уже сказал, солнце било мне в глаза, и я был еще юношей, но тут я почувствовал, как кровь во мне заговорила, и мне все стало ясно. Унга обогнала мой каяк и опять посмотрела на меня — так смотреть могла одна Унга,— и я опять почувствовал, как кровь говорит во мне. Люди кричали нам, когда мы проносились мимо неповоротливых умиаков, оставляя их далеко позади. Унга быстро работала веслами, мое сердце было словно поднятый парус, но я не мог ее догнать. Ветер крепчал, море покрылось белой пеной, и, прыгая, словно тюлени по волнам, наши каяки скользили по золотой солнечной дороге.

Наас сгорбился на стуле, словно он опять, работая веслами, гнался по морю в своем каяке. Быть может, там, за печкой, виделся ему несущийся каяк и развевающиеся волосы Унги. Ветер свистел у него в ушах, и в ноздри бил соленый запах моря.

— Она причалила к берегу и, смеясь, побежала по песку к хижине своей матери. И в ту ночь великая мысль посетила меня — мысль, достойная того, кто был вождем народа Акатана. И вот, когда взошла луна, я направился к хижине ее матери и посмотрел на дары Яш-Нуша, сложенные у дверей,— дары Яш-Нуша, отважного охотника, который хотел стать отцом детей Унги. Были и другие, которые тоже складывали свои дары грудой у этих дверей, а потом уносили их назад нетронутыми, и каждый старался, чтобы его груда была больше чужой.

Я посмотрел на луну и звезды, засмеялся и пошел к своей хижине, где хранились мои богатства. И много раз я ходил туда и обратно, пока моя груда не стала выше груды Яш-Нуша на целую ладонь. Там была копченая и вяленая рыба, и сорок тюленьих шкур, и двадцать котиковых, причем каждая шкура была перевязана и наполнена жиром, и десять шкур медведей, которых я убил в лесу, когда они выходили весной из своих берлог. И еще там были бусы, и одеяла, и пунцовые ткани, которые я выменял у людей, живущих на востоке, а те, в свою очередь, выменяли их у людей, живущих еще дальше на востоке. Я посмотрел на дары Яш-Нуша и засмеялся, ибо я был вождем Акатана, и мое богатство было больше богатства всех остальных юношей, и мои отцы совершали подвиги и устанавливали законы, навсегда оставив свои имена в памяти людей.

А когда наступило утро, я спустился на берег и краешком глаза стал наблюдать за хижиной матери Унги. Дары мои стоя-

ли нетронутыми. И женщины хитро улыбались и тихонько переговаривались между собой. Я не знал, что подумать: ведь никто прежде не предлагал такого большого выкупа. И в ту ночь я прибавил много вещей, и среди них был каяк из дубленой кожи, который еще не спускали на воду. Но и на следующий день все оставалось нетронутым, на посмешище людям. Мать Унги была хитра, а я разгневался за то, что она позорила меня в глазах моего народа. И в ту ночь я принес к дверям хижины много других даров, и среди них был мой умиак, который один стоил двадцати каяков. Наутро все мои дары исчезли.

И тогда я начал готовиться к свадьбе, и на потлач к нам пришли за угощением и подарками даже люди, жившие далеко на востоке. Унга была старше меня на четыре солнца,— так считаем мы годы. Я в ту пору еще не вышел из юношеских лет, но я был вождем и сыном вождя, и молодость не была помехой.

Но вот в океане показалось парусное судно, и оно приближалось с каждым порывом ветра. В нем, как видно, была течь — матросы торопливо откачивали воду насосами. На носу стоял человек огромного роста; он смотрел, как измеряли глубину, и отдавал приказания громовым голосом. У него были синие глаза — цвета глубоких вод, и грива, как у льва. Волосы у этого великана были желтые, словно пшеница, растущая на юге, или манильская пенька, из которой матросы плетут канаты.

В последние годы мы не раз видели проплывающие вдали корабли, но этот корабль первый пристал к берегу Акатана. Пир наш был прерван, дети и женщины разбежались по домам, а мы, мужчины, схватились за луки и копья. Нос судна врезался в берег, но чужестранцы, занятые своим делом, не обращали на нас никакого внимания. Как только прилив спал, они накренили шхуну и стали чинить большую пробоину в днище. Тогда женщины опять выползли из хижин, и наше пиршество продолжалось.

С началом прилива мореплаватели отвели свою шхуну на глубокое место и пришли к нам. Они принесли с собой подарки и были дружелюбны. Я усадил их у костра и щедро преподнес им такие же подарки, как и другим гостям, ибо это был день моей свадьбы, а я был первым человеком на Акатане. Человек с львиной гривой тоже пришел к нам. Он был такой высокий и сильный, что, казалось, земля дрожит под тяжестью его шагов. Он долго и пристально смотрел на Унгу, сложив руки на груди — вот так, и не уходил, пока не зашло солнце и не зажглись звезды. Тогда он вернулся на свой корабль. А я взял Унгу за руку и повел ее к себе в дом. И все вокруг пели и смеялись,

а женщины подшучивали над нами, как это всегда бывает на свадьбах. Но мы ни на кого не обращали внимания. Потом все разошлись по домам и оставили нас вдвоем.

Шум голосов еще не успел затихнуть, как в дверях появился вождь мореплавателей. Он принес с собой черные бутылки, мы пили из них и развеселились. Ведь я был еще совсем юношей и все свои годы прожил на краю света. Кровь моя стала как огонь, а сердце — легким, как пена, которая во время прибоя летит на прибрежные скалы. Унга молча сидела в углу на шкурах, и глаза ее были широко раскрыты от страха. Человек с гривой пристально и долго смотрел на нее. Потом пришли его люди с тюками и разложили передо мной богатства, равных которым не было на всем Акатане. Там были ружья, большие и маленькие, порох, патроны и пули, блестящие топоры, стальные ножи и хитроумные орудия и другие необыкновенные вещи, которых я никогда не видел. Когда он показал мне знаками, что все это — мое, я подумал, что это великий человек, если он так щедр. Но он показал мне также, что Унга должна пойти с ним на его корабль. Понимаете? Унга должна пойти с ним на его корабль! Кровь моих отцов закипела во мне, и я бросился на него с копьем. Но дух, заключенный в бутылках, отнял силу у моей руки, и человек с львиной гривой схватил меня за горло — вот так, и ударил головой об стену. И я ослабел, как новорожденный младенец, и ноги мои подкосились. Тогда тот человек потащил Унгу к двери, а она кричала и цеплялась за все, что попадалось ей на пути. Потом он подхватил ее своими могучими руками, и когда она вцепилась ему в волосы, он загоготал, как большой тюлень-самец во время случки.

Я дополз до берега и стал кричать, сзывая своих, но никто не решался выйти. Один Яш-Нуш оказался мужчиной. Но его ударили веслом по голове, и он упал лицом в песок и замер. Чужестранцы под звуки песни подняли паруса, и корабль их понесся, подгоняемый ветром.

Народ говорил, что это к добру, что не будет больше кровной вражды на Акатане. Но я молчал и стал ждать полнолуния. Когда оно наступило, я положил в свой каяк запас рыбы и жира и отплыл на восток. По пути мне попадалось много островов и много людей; и я, который жил на краю света, понял, что мир очень велик. Я объяснялся знаками. Но никто не видел ни шхуны, ни человека с львиною гривой, и все показывали дальше на восток. И я спал где придется, ел непривычную мне пищу, видел странные лица. Многие смеялись надо мной, принимали за сумасшедшего, но иногда старики повертывали лицо

мое к свету и благословляли, а глаза молодых женщин увлажнялись, когда я рассказывал о загадочном корабле, об Унге, о людях с моря.

И вот через суровые моря и бушующие волны я добрался до Уналяшки. Там стояли две шхуны, но ни одна из них не была той, которую я искал. И я поехал дальше на восток, и мир становился все больше, но никто не слышал о том корабле ни на острове Унимаке, ни на Кадиаке, ни на Атоньяке. И вот однажды я прибыл в скалистую страну, где люди рыли большие ямы на склонах гор. Там стояла шхуна, но не та, что я искал, и люди грузили ее камнями, добытыми в горах. Это показалось мне детской забавой,— ведь камни повсюду можно найти; но меня накормили и заставили работать. Когда шхуна глубоко осела в воду, капитан дал мне денег и отпустил. Но я спросил его, куда она держит путь, и он указал на юг. Я объяснил ему знаками, что хочу ехать с ним; сначала он рассмеялся, но потом оставил меня на шхуне, так как у него не хватало матросов. Там я научился говорить на их языке, и тянуть канаты, и брать рифы на парусах во время шквала, и стоять на вахте. И в этом не было ничего удивительного, ибо в жилах моих отцов текла кровь мореплавателей.

Я думал, что теперь, когда я живу среди белых людей, мне будет легко найти того, кого я искал. Когда мы достигли земли и вошли через пролив в порт, я ждал, что вот сейчас увижу много шхун — ну, столько, сколько у меня пальцев на руках. Но их оказалось гораздо больше,— как рыб в стае, и они растянулись на много миль вдоль берега. Я ходил с одного корабля на другой и всюду спрашивал о человеке с львиной гривой, но надо мной смеялись и отвечали мне на языках многих народов. И я узнал, что эти корабли пришли сюда со всех концов света.

Тогда я отправился в город и стал заглядывать в лицо каждому встречному. Но людей в городе было не счесть,— как трески, когда она густо идет вдоль берега. Шум оглушил меня, и я уже ничего не слышал, и голова моя кружилась от сутолоки. Но я продолжал свой путь — через страны, звеневшие песней под горячим солнцем, страны, где на полях созревал богатый урожай, где большие города были полны мужчин, изнеженных, как женщины, лживых и жадных до золота. А тем временем на Акатане мой народ охотился, ловил рыбу и думал, что мир мал, и был счастлив в своем неведении.

Но взгляд, который бросила Унга, возвращаясь с рыбной ловли, преследовал меня, и я знал, что найду ее, когда настанет час. Она шла по тихим переулкам в вечерние сумерки и следо-

вала за мной по тучным полям, влажным от утренней росы, и глаза ее обещали то, что могла дать только Унга.

Я прошел тысячи городов. И люди, жившие в этих городах, то жалели меня и давали пищу, то смеялись, а некоторые встречали бранью. Но я, стиснув зубы, жил по чужим обычаям и видел многое, что было чуждо мне. Часто я, вождь и сын вождя, работал на людей грубых и жестких, как железо,— людей, которые добывали золото потом и кровью своих братьев. Но нигде я не получал ответа на свой вопрос о людях, которых искал, до тех пор, пока не вернулся к морю, как морж на лежбище. Это было уже в другом порту, в другой стране, которая лежит на Севере. И там я услышал рассказы о желтоволосом морском бродяге и узнал, что сейчас он в океане охотится за тюленями.

Я сел на охотничье судно вместе с ленивыми сивашами, и мы пустились по пути, не оставляющему следов, на север, где в то время шла охота на тюленей. Мы провели не один томительный месяц на море и всюду расспрашивали о том, кого я искал, и слышали многое о нем, но самого его не встретили нигде.

Мы отправились дальше на север, к островам Прибылова, и били тюленей стадами на берегу, и приносили их еще теплыми на борт; и наконец на палубе стало так скользко от жира и крови, что нельзя было удержаться на ногах. За нами погнался корабль, который обстрелял нас из больших пушек. Мы подняли все паруса, так что наша шхуна стала зарываться носом в волны, и быстро скрылись в тумане.

Потом я слышал, что, пока мы в страхе спасались от преследования, желтоволосый морской бродяга высадился на островах Прибылова, пришел в факторию, и, в то время как часть его команды держала служащих взаперти, остальные вытащили из склада десять тысяч сырых шкур и погрузили на свой корабль. Это слухи, но я им верю. В своих скитаниях я никогда не встречал этого человека, но слава о нем и о его жестокости и отваге гремела по северным морям, так что наконец три народа, владевшие землями в тех краях, снарядили корабли в погоню за ним. Я слышал и об Унге, многие капитаны пели ей хвалу, прославляя ее в своих рассказах. Она была всегда с ним. Говорили, что она переняла обычаи его народа и теперь счастлива. Но я знал, что это не так,— я знал, что сердце Унги рвется назад к ее народу, к песчаным берегам Акатана.

Прошло много времени, и я вернулся в гавань, которая служит воротами в океан, и там я узнал, что желтоволосый ушел

«Лига стариков»

охотиться на котиков к берегам теплой страны, которая лежит южнее русских морей. И я, ставший к тому времени настоящим моряком, сел на корабль вместе с людьми его крови и понесся следом за ним на охоту за котиками.

Немногие корабли отправлялись туда, но мы напали на большое стадо котиков и всю весну гнали его на север. И когда брюхатые самки повернули в русские воды, наши матросы испугались и стали роптать, потому что стоял сильный туман и шлюпки гибли каждый день. Они отказались работать, и капитану пришлось повернуть судно обратно. Но я знал, что желтоволосый бродяга ничего не боится и будет преследовать стадо вплоть до русских островов, куда не многие решаются заходить. И вот темной ночью я взял шлюпку, воспользовавшись тем, что вахтенный задремал, и поплыл один в теплую страну. Я держал курс на юг и вскоре очутился в бухте Иеддо, где встретил много непокорных и отважных людей. Девушки Иошивары были маленькие, красивые и быстрые, как ртуть. Но я не мог там оставаться, зная, что Унга несется по бурным волнам к берегам Севера.

В бухте Иеддо собрались люди со всех концов света; у них не было родины, они не поклонялись никаким богам и плавали под японским флагом. И я отправился с ними к богатым берегам Медного острова, где наши трюмы доверху наполнились шкурами. В этом безлюдном море мы никого не встретили, пока не повернули обратно. Однажды сильный ветер рассеял туман, и мы увидели позади нас шхуну, а в ее кильватере дымящиеся трубы русского военного судна. Мы понеслись вперед на всех парусах, а шхуна нагоняла нас, делая три фута, пока мы делали два. И на корме шхуны стоял человек с львиной гривой и, схватившись за поручни, смеялся, гордясь своей силой. И Унга была с ним — я тотчас же узнал ее,— но когда пушки русских открыли огонь, он послал ее вниз. Как я уже сказал, шхуна делала три фута на два наших, и, когда налетала волна, можно было видеть ее днище. Я с проклятиями ворочал штурвалом, не оглядываясь на грохочущие пушки русских. Мы понимали, что он хочет обогнать наше судно и уйти от погони, пока русские будут возиться с нами. У нас сбили мачты, и мы неслись по ветру, как раненая чайка, а он исчез на горизонте — он и Унга.

Что нам было делать? Свежие шкуры говорили сами за себя. Нас отвели в русскую гавань, а оттуда послали в пустынную страну, где заставили работать в соляных копях. И некоторые умерли там, а некоторые... остались жить.

Наас сбросил одеяло с плеч и обнажил тело, исполосованное страшными рубцами. То были, несомненно, следы кнута. Принс торопливо прикрыл его вновь: зрелище было не из приятных.

— Долго мы томились там. Иногда люди убегали на юг, но их неизменно возвращали назад. И вот однажды ночью мы — те, кто был из бухты Иеддо,— отняли ружья у стражи и двинулись на север. Кругом тянулись непроходимые болота и дремучие леса, и конца им не было видно. Настали холода, земля покрылась снегом, а куда нам идти, никто не знал. Долгие месяцы бродили мы по необъятным лесам — я всего не помню, потому что у нас было мало пищи и часто мы ложились и ждали смерти. Наконец трое из нас достигли холодного моря. Один из троих был капитан из Иеддо. Он знал, где лежат большие страны, и помнил место, где можно перейти по льду из одной страны в другую. И капитан повел нас туда. Сколько мы шли, не знаю, но это было очень долго, и под конец нас осталось двое. Мы дошли до места, о котором он говорил, и встретили там пятерых людей из того народа, что живет в этой стране; и у них были собаки и шкуры, а у нас не было ничего. Мы бились с ними на снегу, и ни один не остался в живых, и капитан тоже был убит, а собаки и шкуры достались мне. Тогда я пошел по льду, покрытому трещинами, и меня унесло на льдине и носило до тех пор, пока западный ветер не прибил ее к берегу. Потом была бухта Головина, Пастилик и священник. Потом — на юг, на юг, в теплые страны, где я уже был раньше.

Но море уже не давало большой добычи, и те, кто отправлялся на охоту за котиками, многим рисковали, а выгоды получали мало. Суда попадались редко, и ни капитаны, ни матросы ничего не могли сказать мне о тех, кого я искал. Тогда я ушел от беспокойного океана и пустился в путь по суше, где растут деревья, стоят дома и горы и ничто не меняет своих мест. Я много где побывал и научился многому, даже читать книги и писать. И это было хорошо, ибо я думал, что Унга тоже, верно, научилась этому и что когда-нибудь, когда придет наш час, мы... вы понимаете?.. когда придет наш час...

Так я скитался по свету, словно маленькая рыбачья лодка, которая, поднимая парус, оказывается во власти ветров. Но глаза и уши мои были всегда открыты, и я держался поближе к людям, которые много путешествовали, ибо, думалось мне, нельзя забыть тех, кого я искал. Наконец я встретил человека, только что спустившегося с гор. Он принес с собой камни, в которых блестели кусочки золота — большие, как горошины. Он

слышал о них, он встречал их, он знал их. Они богаты, рассказывал этот человек, и живут там, где добывают золото.

Это была далекая дикая страна, но я добрался и туда и увидел лагерь в горах, где люди работали день и ночь, не видя солнца. Но час мой еще не настал. Я прислушивался к тому, что говорят люди. Он уехал — они оба уехали в Англию, говорили кругом, и будут искать там богатых людей, чтобы образовать компанию. Я видел дом, в котором они жили; он был похож на те дворцы, какие бывают в Старом Свете. Ночью я забрался в дом через окно: мне хотелось посмотреть, что тот человек дал ей. Я бродил из комнаты в комнату и думал, что так, должно быть, живут только короли и королевы,— так хорошо там было! И все говорили, что он обращался с ней, как с королевой, хотя и недоумевали, откуда эта женщина родом,— в ней всегда чувствовалась иная кровь, и она была не похожа на женщин Акатана. Да, она была королева. Но я был вождь и сын вождя, и я дал за нее неслыханный выкуп мехами, лодками и бусами.

Но зачем так много слов? Я стал моряком, и мне были ведомы пути кораблей. И я отправился в Англию, а потом в другие страны. Мне часто приходилось слышать рассказы о тех, кого я искал, и читать о них в газетах, но догнать их я не мог, потому что они были богаты и быстро переезжали с места на место, а я был беден. Но вот их настигла беда, и богатство рассеялось, как дым. Сначала газеты много писали об этом, а потом перестали; и я понял, что они вернулись обратно, туда, где много золота в земле.

Обеднев, они скрылись куда-то, и я скитался из поселка в поселок и наконец добрался до Кутнэя, где напал на их след. Они были здесь и ушли, но куда? Мне называли то одно место, то другое, а некоторые говорили, что они отправились на Юкон. И я побывал во всех этих местах и под конец почувствовал великую усталость оттого, что мир так велик.

В Кутнэе мне пришлось долго идти по тяжелой тропе, пришлось и голодать, и мой проводник — метис с Северо-запада — не вынес голода. Этот метис незадолго до того побывал на Юконе, пробравшись туда никому не ведомым путем через горы, и теперь, почувствовав, что час его близок, он дал мне карту и рассказал о некоем тайном месте, поклявшись своими богами, что там много золота.

В то время люди ринулись на Север. Я был беден. Я нанялся погонщиком собак. Остальное вы знаете. Я встретил их в Доусоне. Она не узнала меня. Ведь там, на Акатане, я был еще

юношей, а она с тех пор прожила большую жизнь! Где ей было вспомнить того, кто заплатил за нее неслыханный выкуп.

Дальше? Дальше ты помог мне откупиться от службы. Я решил сделать все по-своему. Долго пришлось мне ждать, но теперь, когда он был у меня в руках, я не спешил. Говорю вам, я хотел сделать все по-своему, ибо я вспомнил всю свою жизнь, все, что видел и выстрадал, вспомнил холод и голод в бесконечных лесах у русских морей.

Как вы знаете, я повел Гундерсона и Унгу на восток, куда многие уходили и откуда не многие возвращались. Я повел их туда, где вперемешку с костями, осыпанное проклятиями, лежит золото, которое людям не суждено было унести. Путь был долгий, и идти по неутоптанной тропе было нелегко. Собак у нас было много, и ели они много. Нарты не могли поднять всего, что нам требовалось до наступления весны. А вернуться назад мы должны были прежде, чем вскроется река. По дороге мы устраивали хранилища и оставляли там часть припасов, чтобы уменьшить поклажу и не умереть с голоду на обратном пути. В Мак-Квесчене жили трое людей, и одно хранилище мы устроили неподалеку от их жилья, другое — в Мэйо, где была разбита стоянка охотников из племени пелли, пришедших сюда с юга через горный перевал. Потом мы уже не встречали людей; перед нашими глазами была только спящая река, недвижный лес и Белое Безмолвие Севера.

Как я уже сказал, путь наш был долгий и дорога трудная. Случалось, что, прокладывая тропу для собак, мы за день делали не больше восьми — десяти миль, а ночью засыпали как убитые. И ни разу спутникам моим не пришло в голову, что я Наас, вождь Акатана, решивший отомстить за обиду.

Теперь мы оставляли уже немного запасов, а ночью я возвращался назад по укатанной тропе и прятал их в другое место, так, чтобы можно было подумать, будто хранилища разорили росомахи. К тому же на реке много порогов, и бурный поток подмывает снизу лед. И вот на одном таком месте у нас провалилась упряжка, которую я вел, но он и Унга решили, что это несчастный случай. А на провалившихся нартах было много припасов, и везли их самые сильные собаки.

Но он смеялся, потому что жизнь била в нем через край. Уцелевшим собакам мы давали теперь очень мало пищи, а затем стали выпрягать их одну за другой и бросать на съедение остальным.

— Возвращаться будем налегке, без нарт и собак,— говорил он,— и станем делать переходы от хранилища к хранилищу.

И это было правильно, ибо провизии у нас осталось мало; и последняя собака издохла в ту ночь, когда мы добрались до места, где были кости и проклятое людьми золото.

Чтобы попасть в то место, находящееся среди высоких гор — карта оказалась верной,— нам пришлось вырубать ступени в обледенелых скалах. Мы думали, что за горами будет спуск в долину, но кругом расстилалось беспредельное заснеженное плоскогорье, а над ним поднимались к звездам белые скалистые вершины. А посреди плоскогорья был провал, казалось, до самого сердца земли. Не будь мы моряками, у нас закружилась бы голова. Мы стояли на краю пропасти и смотрели, где можно спуститься вниз. С одной стороны — только с одной стороны — скала уходила вниз не отвесно, а с наклоном, точно палуба, накренившаяся на волне. Я не знаю, как это получилось, но это было так.

— Это преддверие ада,— сказал он.— Сойдем вниз.

И мы спустились.

На дне провала стояла хижина, построенная кем-то из бревен, сброшенных сверху. Это была очень старая хижина; люди умирали здесь в одиночестве, и мы прочли их последние проклятия, в разное время нацарапанные на кусках бересты. Один умер от цинги; у другого компаньон отнял последние припасы и порох и скрылся; третьего задрал медведь; четвертый пробовал охотиться и все же умер от голода.

Так кончали все, они не могли расстаться с золотом и умирали. И пол хижины был усыпан не нужным никому золотом, как в сказке!

Но у человека, которого я завел так далеко, была бесстрашная душа и трезвая голова.

— Нам нечего есть,— сказал он.— Мы только посмотрим на это золото, увидим, откуда оно и много ли его здесь. И сейчас же уйдем отсюда, пока оно не ослепило нас и не лишило рассудка. А потом мы вернемся, захватив с собою побольше припасов, и все золото будет нашим.

И мы осмотрели мощную золотоносную жилу, которая прорезывала скалу сверху донизу, измерили ее, вбили заявочные столбы и сделали зарубки на деревьях в знак наших прав. Ноги у нас подгибались от голода, к горлу подступала тошнота, сердце колотилось, но мы все-таки вскарабкались по громадной скале наверх и двинулись в обратный путь.

Последнюю часть пути нам пришлось нести Унгу. Мы сами то и дело падали, но в конце концов добрались до первого хранилища. Увы — припасов там не было. Я так ловко сделал, что

он подумал, будто всему виной росомахи, и обрушился на них и на своих богов с проклятиями. Но Унга не теряла мужества, она улыбалась, взяв его за руку, и я должен был отвернуться, чтобы овладеть собой.

— Мы проведем ночь у костра,— сказала она,— и подкрепимся мокасинами.

И мы отрезали по нескольку полос от мокасин и варили эти полосы чуть ли не всю ночь,— иначе их было бы не разжевать. Утром мы стали думать, как быть дальше. До следующего хранилища было пять дней пути, но у нас не хватило бы сил добраться до него. Нужно было найти дичь.

— Мы пойдем вперед и будем охотиться,— сказал он.

— Да,— повторил я,— мы пойдем вперед и будем охотиться.

И он приказал Унге остаться у костра, чтобы не ослабеть совсем. И мы пошли. Он на поиски лося, а я туда, где у меня была спрятана провизия. Но съел я немного, боясь, как бы они не заметили, что у меня прибавилось сил. Возвращаясь ночью к костру, он то и дело падал. Я тоже притворялся, что очень ослабел, и шел, спотыкаясь, на своих лыжах, словно каждый мой шаг был последним. У костра мы опять подкрепились мокасинами.

Он был выносливый человек. Дух его до конца поддерживал тело. Он не жаловался и думал только об Унге. На второй день я пошел за ним, чтобы не пропустить его последней минуты. Он часто ложился отдыхать. В ту ночь он был близок к смерти. Но наутро он опять пошел дальше, бормоча проклятия. Он был как пьяный, и несколько раз мне казалось, что он не сможет идти. Но он был сильным из сильных, и душа его была душой великана, ибо она поддерживала его тело весь день. Он застрелил двух белых куропаток, но не стал их есть. Куропаток можно было бы съесть сырыми, не разводя костра, и они сохранили бы ему жизнь. Но его мысли были с Унгой, и он пошел обратно к стоянке. Вернее, не пошел, а пополз на четвереньках по снегу. Я приблизился к нему и прочел смерть в его глазах. Он мог бы еще спастись, съев куропаток. Но он отшвырнул ружье и понес птиц в зубах, как собака. Я пошел рядом с ним. И в минуты отдыха он смотрел на меня и удивлялся, что я так легко иду. Я понимал это, хотя он не мог выговорить ни слова,— его губы шевелились беззвучно. Как я уже сказал, он был сильный человек, и в сердце моем проснулась жалость. Но я вспомнил всю свою жизнь, вспомнил голод и холод в бесконечных лесах у русских морей. Кроме того, Унга была моя: я

заплатил за нее неслыханный выкуп шкурами, лодками и бусами.

Так мы пробирались через белый лес, и безмолвие угнетало нас, как тяжелый морской туман. И вокруг носились призраки прошлого. Мне виделся желтый берег Акатана, каяки, возвращающиеся домой с рыбной ловли, и хижины на опушке леса. Я видел людей, которые дали законы моему народу и были его вождями,— людей, чья кровь текла в моих жилах и в жилах жены моей, Унги. И Яш-Нуш шел рядом со мной, в волосах у него был мокрый песок, и он все еще не выпускал из рук сломанного боевого копья. Я знал, что решительная минута близка, и словно видел обещание в глазах Унги.

Как я сказал, мы пробирались через лес, и наконец дым костра защекотал нам ноздри. Тогда я наклонился над Гундерсоном и вырвал куропаток у него из зубов. Он повернулся на бок, глядя на меня удивленными глазами, и рука его медленно потянулась к ножу, который висел у него на поясе. Но я отнял нож, смеясь ему прямо в лицо. И даже тогда он ничего не понял. А я показал ему, как я пил из черных бутылок, показал, как я складывал груду даров на снегу, и все, что случилось в ночь моей свадьбы. Я не произнес ни слова, но он все понял и не испугался. Губы его насмешливо улыбались, а в глазах была холодная злоба, у него, казалось, прибавилось сил, когда он узнал меня. Идти нам оставалось недолго, но снег был глубокий, и он едва тащился. Раз он так долго лежал без движения, что я перевернул его и посмотрел ему в глаза. Жизнь то угасала в них, то снова возвращалась. Но когда я отпустил его, он снова пополз. Так мы добрались до костра. Унга бросилась к нему. Его губы беззвучно зашевелились! Он показывал на меня. Потом вытянулся на снегу... Он и сейчас лежит там.

Я не сказал ни слова до тех пор, пока не изжарил куропаток. А потом заговорил с Унгой на ее языке, которого она не слышала много лет. Унга выпрямилась — вот так, глядя на меня широко открытыми глазами,— и спросила, кто я и откуда знаю этот язык.

— Я Наас,— сказал я.

— Наас? — крикнула она.— Это ты? — И подползла ко мне ближе.

— Да,— ответил я.— Я Наас, вождь Акатана, последний из моего рода, как и ты — последняя из своего рода.

И она засмеялась. Да не услышать мне еще раз такого смеха! Душа моя сжалась от ужаса, и я сидел среди Белого

Безмолвия, наедине со смертью и с этой женщиной, которая смеялась надо мной.

— Успокойся,— сказал я, думая, что она бредит.— Подкрепись, и пойдем. Путь до Акатана долог.

Но Унга спрятала лицо в его желтую гриву и смеялась так, что, казалось, еще немного, и само небо обрушится на нас. Я думал, что она обрадуется мне и сразу вернется памятью к прежним временам, но таким смехом никто не выражает свою радость.

— Идем! — крикнул я, крепко беря ее за руку.— Нам предстоит долгий путь во мраке. Надо торопиться!

— Куда? — спросила она, приподнявшись, и перестала смеяться.

— На Акатан,— ответил я, надеясь, что при этих словах лицо ее сразу просветлеет.

Но оно стало похожим на его лицо: та же насмешливая улыбка, та же холодная злоба в глазах.

— Да,— сказала она,— мы возьмемся за руки и пойдем на Акатан. Ты и я. И мы будем жить в грязных хижинах, питаться рыбой и тюленьим жиром, и наплодим себе подобных, и будем гордиться ими всю жизнь! Мы забудем о большом мире. Мы будем счастливы, очень счастливы! Как это хорошо! Идем! Надо спешить. Вернемся на Акатан.

И она провела рукой по его желтым волосам и засмеялась недобрым смехом. И обещания не было в ее глазах.

Я сидел молча и дивился нраву женщин. Я вспомнил, как он тащил ее в ночь нашей свадьбы и как она рвала ему волосы — волосы, от которых теперь не могла отнять руки. Потом я вспомнил выкуп и долгие годы ожидания. И я сделал так же, как сделал тогда он, поднял ее и понес. Как и в ту ночь, она отбивалась, словно кошка, у которой отнимают котят. Я обошел костер и отпустил ее. И она стала слушать меня. Я рассказал ей обо всем, что случилось со мной в чужих землях, о моих неустанных поисках, о голодных годах и о том обещании, которое она дала мне первому. Да, я рассказал обо всем, даже о том, что случилось между мной и им в этот день. И, рассказывая, я видел, как в ее глазах росло обещание, манящее, как утренняя заря. И я прочел в них жалость, женскую нежность, любовь, сердце и душу Унги. И я снова стал юношей, ибо взгляд ее стал взглядом той Унги, которая смеялась и бежала вдоль берега к материнскому дому. Исчезли мучительная усталость, и голод, и томительное ожидание. Час настал. Я почувствовал, что Унга зовет меня склонить голову ей на грудь и

забыть все. Она раскрыла мне объятия, и я бросился к ней. Но вдруг ненависть зажглась у нее в глазах, и рука потянулась к моему поясу. И она ударила меня ножом, вот так — раз, два.

— Собака! — крикнула Унга, толкая меня в снег.— Собака! — Ее смех звенел в тишине, когда она ползла к мертвецу.

Как я уже сказал, Унга два раза ударила меня ножом, но рука ее ослабела от голода, а мне не суждено было умереть. И все же я хотел остаться там и закрыть глаза в последнем долгом сне рядом с теми, чьи жизни сплелись с моей и кто вел меня по неведомым тропам. Но надо было вернуть долг, и я не мог думать о покое.

А путь был долгий, холод свирепый, и пищи у меня было мало. Охотники из племени пелли, не напав на лосей, наткнулись на мои запасы. То же самое сделали трое белых в Мак-Квесчене, но они лежали бездыханные в своей хижине, когда я проходил мимо. Что было потом, как я добрался сюда, нашел пищу, тепло — не помню, ничего не помню.

Замолчав, он жадно потянулся к печке. Светильник отбрасывал на стену страшные блуждающие тени.

— Но как же Унга? — воскликнул Принс, потрясенный рассказом.

— Унга? Она не стала есть куропатку. Она лежала, обняв мертвеца за шею и зарывшись лицом ему в волосы. Я придвинул горячие сучья ближе, чтобы ей было теплее, но она отползла. Я развел еще один костер, с другой стороны, но и это ничему не помогло,— ведь она отказывалась от еды. И вот так они лежат там на снегу.

— А ты? — спросил Мэйлмют Кид.

— Я не знаю, что мне делать. Акатан мал, я не хочу возвращаться туда и жить на краю света. Да и зачем мне жить? Пойду к капитану Констэнтайну, и он наденет на меня наручники. А потом мне набросят веревку на шею — вот так, и я крепко усну, крепко... А впрочем... не знаю.

— Послушай, Кид! — возмутился Принс.— Ведь это же убийство!

— Молчи! — строго сказал Мэйлмют Кид.— Есть вещи выше нашего понимания. Как знать, кто прав, кто виноват? Не нам судить.

Наас подвинулся к огню еще ближе. Наступила глубокая тишина, и в этой тишине перед мысленным взором каждого из них пестрой чередой проносились далекие видения.

— Будь я мужчиной...— В ее словах не было ничего обидного, но двое мужчин в палатке успели заметить жгучее презрение, сверкнувшее в черных глазах.

Томми, моряк-англичанин, был явно задет, но старый рыцарь Дик Хамфриз, рыбак из Корнуэлла и одно время американский лососевый магнат, улыбнулся ей с обычным добродушием. Женщины занимали слишком большое место в его грубоватом сердце, и он не придавал значения их, как он выражался, «фокусам» и не сердился, когда узость умственного кругозора мешала им охватить всю картину в целом. Как бы то ни было, оба они ничего не ответили, эти двое мужчин, которые три дня назад приютили у себя в палатке полузамерзшую женщину, отогрели ее, накормили и заставили индейцев-носильщиков вернуть ей вещи. Для этого пришлось заплатить немало долларов и сверх того прибегнуть к демонстрации силы: Дик Хамфриз, прищурясь, держал их на мушке винчестера, пока Томми распределял между ними плату, руководствуясь собственными соображениями. Вообще-то говоря, случай был пустячный, но он много значил для женщины, которая пыталась — и это было безумием — проявлять самостоятельность в Клондайке, обезумевшем от золотой лихорадки 1897 года. Мужчинам хватало собственных забот, и к тому же они не одобряли женщин, пытавшихся самостоятельно справиться с трудностями арктической зимы.

— Будь я мужчиной, я бы знала, что делать,— повторила Молли — та, чьи глаза сверкали жгучим презрением; и в голосе ее прозвучало все упорство, накопленное пятью поколениями американцев.

Наступило молчание. Томми сунул сковороду с сухарями в юконскую печку и подбросил дров. Под его загаром разливалась алая волна, и, когда он нагнулся, можно было заметить, что шея его побагровела. Дик, как ни в чем не бывало, продолжал сшивать трехгранной парусной иглой разорвавшиеся ремни — он был слишком добродушен, чтобы его могла смутить буря женского гнева, грозившая вот-вот разразиться в палатке, содрогавшейся под напором ветра.

— Ну, и будь вы мужчиной, так что? — ласково спросил он. Игла застряла в сырой коже, и он на мгновение прервал работу.

— Будь я мужчиной, я надела бы ремни и пошла бы за багажом. Я бы не стала валяться в палатке, когда Юкон, того

и гляди, замерзнет, а вещи еще на перевале. А вы... вы, мужчины, сидите здесь сложа руки и боитесь какого-то дождика. Я вам прямо скажу: янки скроены из другого материала. Они пробивались бы сейчас в Доусон, даже если бы им пришлось идти по колено в адском пламени. Ну, а вы, вы... Ах, будь я мужчиной!

— А я рад, милочка, что вы не мужчина,— заметил Дик Хамфриз, обмотав суровой ниткой кончик иглы и несколькими ловкими рывками протащив ее сквозь ремень.

Порыв ураганного ветра звучно шлепнул по палатке, и по тонкому брезенту с веселой злостью забарабанила ледяная крупа. Дым не смог вырваться наружу и повалил из печки, заполнив палатку едким запахом сырых еловых дров.

— О, черт! Почему женщина не может быть благоразумной? — Томми вынырнул из дымных глубин и поглядел на Молли покрасневшими, слезящимися глазами.

— А почему мужчина не может доказать, что он мужчина?

Томми вскочил на ноги с ругательством, которое привело бы в ужас более изнеженную женщину, рывком развязал узлы и откинул дверь палатки.

Все трое выглянули наружу. Открывшееся перед ними зрелище никак нельзя было назвать веселым. На переднем плане ютилось несколько промокших насквозь палаток, а за ними потоки воды неслись со склона к бурлящему пеной ущелью. По нему стремительно мчалась вздувшаяся горная речка. Карликовые ели, тут и там цепляющиеся корнями за тонкий слой почвы, говорили о близости леса. На противоположном склоне за косой сеткой ливня можно было различить смутные очертания свинцово-белого ледника. И у них на глазах под действием какого-то подземного толчка огромная глыба медленно отделилась от него и обрушилась в долину; этот тяжелый рокот на мгновение заглушил вой бури. Молли невольно попятилась.

— Смотри ты, женщина! Смотри хорошенько! Три мили против ураганного ветра до Кратерного озера, через два ледника, по скользким уступам, по колено в воде... Смотри же ты, женщина-янки! Смотри: вон они, твои мужчины-янки.— Томми яростно махнул рукой в сторону жмущихся к земле палаток.— Они там все янки, все до единого. Так что же, идут они к Доусону? Хоть один из них надел ремни? И ты хочешь учить нас, мужчин, нашему делу? Смотри, говорю тебе!

Еще одна гигантская ледяная глыба с грохотом скатилась в долину. Ветер бил внутрь палатки, надувал ее, и, казалось,

она вот-вот оборвет веревки и, как огромный пузырь, взлетит в воздух. Вокруг них завивались струи дыма, а ледяная крупа впивалась им в лицо. Томми поспешно застегнул дверь и снова принялся возиться с печкой. Дик Хамфриз бросил починенные ремни в угол и закурил трубку. Даже Молли была не несколько минут укрощена.

— Но ведь там мои платья! — всхлипнула она, поддаваясь женской слабости.— Они лежат сверху и будут испорчены. Вот увидите!

— Не надо расстраиваться,— вмешался Дик, когда последнее жалобное слово замерло в воздухе,— не надо расстраиваться, милочка! Я так стар, что гожусь вам в дяди. У меня дочка постарше вас. Когда мы доберемся до Доусона, я накуплю вам тряпок, сколько захотите. Даже если мне придется потратить на них последний доллар.

— Когда мы доберемся до Доусона? — Ее голос снова стал ядовито-насмешливым.— Да вы заживо сгниете по дороге или утонете в грязной луже. Эх, вы... англичане!

В последнее слово она вложила всю свою злость. Если уж оно не подействует на этих мужчин, значит, их вообще ничем не проймешь. Шея у Томми вновь побагровела, но он только крепче стиснул зубы. В глазах Дика появилось мечтательное выражение. Он имел перед товарищем то преимущество, что когда-то был женат на белой женщине.

При некоторых обстоятельствах кровь пяти поколений коренных американцев оказывается не таким уж удобным наследием: например, когда приходится жить под одной крышей с представителями родственной нации. Эти люди были англичанами. На море и на суше поколения ее предков в течение двух веков били поколения их предков, и так будет всегда. Традиции расы требовали, чтобы их поддержали. Правда, она была лишь современной женщиной, но в ней жило великое прошлое. Не просто Молли Трэвис надевала сейчас резиновые сапоги, плащ и багажные ремни — призрачные руки десятков тысяч предков затягивали ремни и застегивали пряжки, воля этих предков заставила ее решительно сжать губы и сдвинуть брови. Она, Молли Трэвис, собиралась посрамить этих англичан. Они, эти бесчисленные тени, утверждали их общее первенство в мире.

Мужчины ее не удерживали. Дик предложил было ей взять его зюйдвестку, потому что ее плащ промокнет под этим ливнем, как бумажный. Но она, отстаивая свою независимость, так презрительно фыркнула, что он больше не вынимал трубки изо

рта, пока Молли не застегнула дверь палатки снаружи и не зашлепала по залитой водой тропе.

— Как по-твоему, получится у нее что-нибудь? — Выражение лица Дика никак не вязалось с его равнодушным тоном.

— Получится? Если у нее и хватит сил добраться до склада, все равно она ошалеет от холода и боли. Да еще в такой ветер! Ты же сам знаешь, каково это, Дик. Ведь тебе приходилось огибать мыс Горн против ветра. Ты знаешь, каково это — лежать на бом-брам-рее в самую бурю, когда по тебе хлещет град, снег, замерзшая парусина, так что хочется бросить все и разреветься в голос. До платьев ли тут? Да она не отличит узла с юбками от промывочного таза или от чайника.

— Ты, значит, думаешь, что нам не надо было ее пускать?

— Ну уж нет! Черт возьми, Дик, если бы мы ее задержали, у нас до самого Доусона была бы не жизнь, а сущий ад! Беда в том, что больно уж она смела. Это немножко пособьет с нее спесь.

— Да,— согласился Дик,— гордости у нее хоть отбавляй. Ну а все-таки она молодец. Дура, конечно, что отправилась в такой путь, но куда лучше этих баб, которые сами шагу ступить не могут. Она той же породы, что и наши матери, Томми, и нечего попрекать ее смелостью. Вскормить настоящего мужчину может лишь настоящая женщина. А для того, чтобы быть настоящей женщиной, не только юбка нужна. Тигры родятся у тигриц, а не у коров.

— Так что же, значит, потакать им, когда на них дурь находит?

— А почему бы и нет? Острый нож, когда сорвется, поранит глубже, чем тупой, но это еще не значит, что надо затупить его острие о кабестан.

— Нож-то ножом, но если говорить о женщинах, я их предпочитаю без такого острия.

— А ты-то что об этом знаешь? — спросил Дик.

— Кое-что.— И Томми, пододвинувшись ближе к огню, взял мокрые чулки Молли, растянул их на своих коленях и начал сушить.

Дик с досадой взглянул на небо, порылся в ее сумке и тоже уселся перед печкой, подставив теплому воздуху мокрые юбки и кофты.

— А ведь ты говорил, что никогда не был женат,— сказал он.

— Разве? Да я и не был женат... то есть... нет, черт побери, я был женат! И лучшей жены ни у кого в мире не было!

— Сорвалась с причала? — Дик взмахнул рукой, подразумевая бесконечность.

— Да,— отозвался Томми и, помолчав, добавил: — От родов.

Бобы на передней конфорке забурлили, и Томми отодвинул кастрюлю в сторону. Затем он занялся сухарями, потыкал в них щепкой и тоже отставил, накрыв сырой тряпкой. Дик, как свойственно людям такого закала, ничем не выдавал своего любопытства и молча ждал.

— Совсем не такая, как Молли. Сивашка.

Дик понимающе кивнул.

— Не такая заносчивая и своевольная, но уж не бросит тебя ни в какой беде. Веслом работала не хуже мужчины и голодала терпеливо, как Иов. Проберется на нос шлюпа, когда его волной заливает, и спустит парус, точно заправский матрос. Мы как-то отправились искать золото к Теслину. За озером Серпрайз и Литл-Йеллоу-Хэд. Провиант кончился, и мы ели собак. Собаки кончились, и мы ели постромки, мокасины и шкуры. И хоть бы раз пожаловалась, хоть бы раз захныкала! Она меня предупреждала: «Береги провиант!», но когда он кончился, никаких «я же говорила». «Ничего, Томми,— повторяет она изо дня в день, а сама от слабости едва может лыжу поднять, и ноги у нее стерты в кровь.— Ничего, лучше голодать и быть твоей женщиной, Томми, чем каждый день пировать на потлаче и быть женой вождя Джорджа». Джордж, он был вождем чилкутов и очень на нее зарился.

Хорошие это были деньки. Я, когда сюда попал, видный был парень. Смылся с китобоя «Полярная звезда» в Уналяшке и добрался до Ситхи на шлюпе охотника за выдрами, с отработкой за проезд. Сдружился там со Счастливчиком Джеком. Знаешь его?

— Он присматривал в Колумбии за моими лососевыми ловушками,— ответил Дик.— Бесшабашный такой парень, не дурак выпить и за красоткой ухлестнуть?

— Он самый. Года два я был его компаньоном — торговали мы спиртом, одеялами и всяким таким товаром. Ну, а потом я купил себе шлюп и, чтобы не подрывать ему торговлю, перебрался в Джуно. Там я и встретил Киллисну — сам-то я ее Тилли называл. Увидел ее на празднике, когда скво плясали на берегу. Вождь Джордж уже скупил все шкуры у стиксов за перевалом и вернулся из Дайи с половиной своего племени. Сивашей собралось на пляску видимо-невидимо, а я был единственным белым. Меня почти никто не знал, кроме тех, с кем я встре-

чался около Ситхи, но я много про них наслышался от Счастливчика Джека.

Разговаривали они на чинукском наречии, не знали, что я его очень даже хорошо понимаю; особенно старались две девчонки, которые сбежали из миссии Хейнса, на том конце Линн-канала. Смазливые девчонки, и я уж подумывал к ним пришвартоваться, да только бойки они были на язык, что твои сороки. Уж такое острие — дальше некуда! Как я был там человек новый, начали они перемывать мне косточки, не соображая, что я понимаю каждое их словечко.

Ну, я виду не подал, а стал плясать с Тилли, и чем больше мы плясали, тем больше друг другу нравились. «Ищет себе женщину»,— говорит одна девчонка, а другая задрала нос и отвечает: «Найдет он, как же! Женщины сами ищут мужчин!» И тут все охотники и скво, которые кругом стояли, давай ухмыляться, и хихикать, и повторять ихние шуточки. «А он мальчик хорошенький»,— говорит первая. Оно, конечно, был я тогда совсем мальчишка на вид, но уж давно работал наравне с мужчинами, и очень эти ее слова меня задели. «Пляшет с девушкой вождя Джорджа,— верещит вторая.— Вот сейчас Джордж отшлепает его веслом и заставит убраться подальше». Вождь Джордж до тех пор все хмурился, а тут засмеялся и стал хлопать себя по коленям. Он был мужик дюжий и пустить в ход весло не постеснялся бы.

«Кто они такие?» — спрашиваю я Тилли, пока мы вертелись в джиге. Только она мне их назвала, я вспомнил все, что мне говорил о них Счастливчик Джек. Я знал о них всю подноготную, даже такие вещи, о которых их собственное племя не слышало. Однако я держу язык за зубами и все пляшу с Тилли. А они отпускают свои шуточки, и кругом стоит хохот. «Погоди чуток, Томми,— говорю я себе,— погоди чуток».

Вот я и выжидал до конца пляски, а вождь Джордж уже притащил весло, чтобы со мной расправиться. Когда мы остановились, гляжу, они ждут, что вот начнется потеха. Но я взял да и пошел прямо в толпу. Тут девчонки из миссии такое отпустили, что я, хоть и зол был, еле-еле удержался от смеха. А потом как дам им жару! «Кончили?» — спрашиваю. Видел бы ты, какие у них сделались рожи, когда я пошел чесать на чинукском наречии! Я уж не останавливался. Я им все рассказал: и они кто такие, и вся их родня — папаши, мамаши, сестры, братья — никого и ничего не забыл. Все их грязные делишки, и какие они подлости устраивали, и как в дурах оставались. Ну и хлестал я их — без всякой пощады! Вся команда

сгрудилась вокруг. Им еще не приходилось слышать, чтобы белый вот так ругался на их языке. Все хохотали, кроме девчонок из миссии. Даже вождь Джордж забыл про весло. А может, просто опасался пустить его в ход — как бы тоже чего не услышать!

А девчонки: «Ох, не надо, Томми,— кричат, а у самих слезы по щекам льются.— Пожалуйста, не надо! Мы будем хорошими. Правда, Томми, правда!» Но я-то их знал и спуску им не дал. И только тогда замолчал, когда они уж на коленях стали меня просить. Я поглядел на вождя Джорджа, но он все не мог решить, связываться со мной или нет, и просто засмеялся, хоть и не больно весело.

Ну, ладно. Когда я в тот вечер прощался с Тилли, я ей сказал, что пробуду здесь еще с недельку и хотел бы почаще с ней видеться. Они там в этих делах притворяться не умеют, и по лицу было видно, как она обрадовалась, потому что была она во всем честная. Да, такую девушку поискать! И понятно, почему она так понравилась вождю Джорджу. Ну, только со мной он тягаться не мог, и я перебежал ему дорогу. Я-то хотел сразу забрать ее на шлюп и уплыть на юг, к Врангелю, пока дело не забудется, а он пусть себе посвистывает. Но так просто это не вышло. Жила она с дядей. Был он ей вроде опекун и совсем помирал от чахотки или еще какой-то грудной болезни. То ему становилось лучше, то хуже, а она его бросать не хотела, пока он жив. Ну, я перед отъездом пошел в ихний вигвам посмотреть, долго ли он протянет, но старикан уже давно обещал ее вождю Джорджу, и как он меня увидел, у него сразу горлом кровь пошла от злости.

«Приезжай за мной, Томми»,— сказала она, когда мы прощались на берегу. «Ладно,— отвечаю,— как только позовешь». И стал я ее целовать по-нашему, по-белому, пока она вся не затряслась, как осиновый лист. А я до того голову потерял, что чуть было не пошел своими руками отправить ее дядюшку в дальний путь.

Ну, поплыл я к Врангелю, мимо бухты Святой Марии, добрался даже до островов Королевы Шарлотты: торговал, возил виски — и чем только не занимался! Подходила зима, начинались морозы, и я уже вернулся в Джуно, когда получил от нее весточку. «Приходи,— говорит мне парень, которого она послала.— Киллисну говорит: приходи сейчас». «Что там еще приключилось?» — спрашиваю. «Вождь Джордж,— говорит он,— потлач. Киллисну делать свой жена».

Эх, и погодка же была! С севера во всю мочь дует таку, вода замерзает, чуть попадет на палубу, а мы со старым шлю-

пом прем против ветра сто миль до Дайи. Когда я отчалил, со мной был матрос — индеец с Дугласа. Но на полдороге его смыло за борт. Я повернул оверштаг и три раза прошел по этому месту — никаких следов.

— Наверное, его сразу скрутило от холода,— заметил Дик, прерывая рассказ и вешая одну из юбок Молли поближе к печке.— Он и утонул, как свинцовое грузило.

— Я тоже так подумал. Дальше я, значит, поплыл один и добрался до Дайи поздним вечером, чуть не помирая от усталости и голода. Был прилив, и я подвел шлюп к самому берегу в устье. А по реке нельзя было продвинуться ни на дюйм, потому как пресная вода уже замерзла. Фалы и блоки совсем оледенели, так что я побоялся спускать грот и кливер. Ну, сперва проглотил я пинту своего груза, а потом бросил все как есть, чтобы легче отчалить было, закутался в одеяло и пошел прямо к становищу. Гляжу, устраивают они большой праздник. Чилкуты явились все до одного, со всеми собаками, младенцами и лодками. А еще Собачьи уши, Малые лососи и индейцы из миссий. Чуть не полтысячи собралось их праздновать свадьбу Тилли — и на двадцать миль кругом ни одного белого.

Никто меня не узнал, потому что у меня голова была закутана в одеяло. Шагая через кучи собак и малышей, я пробрался в первые ряды. На большой поляне уже разгребли сугробы, разожгли костры, а снег утоптали так, что он стал крепче портландского цемента. Совсем рядом, вижу, стоит Тилли, вся в красном сукне и бусах, а против нее — вождь Джордж и его старейшины. Ихнему шаману помогали колдуны других племен, и такую они чертовщину развели, что меня мороз по коже подирал. И тут я вдруг подумал: «Посмотрела бы на меня сейчас моя ливерпульская родня!» А потом вспомнил белокурую Гусси: когда я вернулся из первого плавания, пришлось мне вздуть ее брата, потому что он не хотел, чтобы за его сестрой увивался простой матрос. И вот так, вспоминая Гусси, смотрел я на Тилли. «До чего же странно свет устроен,— думаю.— Попадает человек в такие передряги, какие его матери и не снились, когда он ей грудь сосал».

Ну, ладно. Когда они совсем расшумелись, забили в барабаны из моржовой шкуры, а шаманы начали вопить вовсю, я, значит, шепчу: «Ты готова?» Черт! Не вздрогнула, не посмотрела на меня, даже бровью не повела! «Я знала,— отвечает тихо, не торопясь, как спокойный весенний прилив.— Где?» — «Под обрывом, у края льда,— шепчу.— Беги, когда скажу».

Я тебе говорил, что собак там было — не сосчитать? Ну, так их было — не сосчитать. Куда ни глянь — всюду лежат. А ведь что они такое — ручные волки, и больше ничего. Когда порода ухудшается, они их случают с дикими в лесу. А уж дерутся эти псы! Рядом с носком моего мокасина лежал один такой зверюга, а у пятки — другой. Я схватил одного за хвост и разом так крутанул, что только хрустнуло. Пес — лязг зубами, да только я на то место, где была моя рука, бросил за шиворот второго, и прямо ему в пасть. «Беги!» — кричу я Тилли. Ну, ты знаешь, как они дерутся. И минуты не прошло, их уже целая сотня по земле катается, рычат, рвут друг друга зубами; ребятишки и скво бегут кто куда, и все становище словно взбесилось! Тилли незаметно улизнула, и я за ней. Но тут я оглянулся, и дьявол подбил меня на одну штуку: бросил я одеяло и пошел назад.

К этому времени собак уже растащили, толпа помаленьку приходила в себя. Только все, конечно, перемешались и потому еще не заметили, что Тилли нет. «Здорово,— говорю я и трясу вождя Джорджа за руку.— Пусть чаще подымается дым от твоих потлачей, а стиксы к весне добудут много мехов».

Разрази меня бог, Дик, до чего же он обрадовался, когда меня увидел,— ведь его взяла, и он женится на Тилли. Как тут не похвастать? На всех становищах уже слышали, что она мне нравилась, ну, и ему, конечно, лестно: пусть все видят, как он меня побил. Без одеяла меня сразу узнали, и вся команда начала скалить зубы и хихикать. Весело им было, но я их еще больше развеселил — притворился, будто ничего не знаю.

«Что за шум? — спрашиваю.— Кто тут женится?»

«Вождь Джордж»,— говорит шаман, а сам ему кланяется.

«Да ведь у него уже есть две жены».

«А он еще одну берет. Три будет».— И снова ему кланяется.

«А!» — говорю и отворачиваюсь, будто мне совсем не интересно.

Но это им пришлось не по вкусу, и они давай кричать: «Киллисну! Киллисну!»

«Ну и что — Киллисну?» — спрашиваю.

«Киллисну — жена вождя Джорджа,— вопят.— Киллисну — жена!»

Я подпрыгнул и посмотрел на вождя Джорджа. А он кивнул головой и весь напыжился.

«Не быть ей твоей женой,— говорю я грозно и повторяю: —

Не быть твоей женой». А он прямо почернел от злости и начал нащупывать свой нож.

«Эй,— кричу и становлюсь в позу,— большое колдовство! Глядите на меня, глядите!»

Тут я стянул свои рукавицы, засучил рукава и давай пальцами по-всякому шевелить!

«Киллисну! — кричу.— Киллисну! Киллисну!»

Я, значит, колдую, и стало им не по себе. Смотрят на меня во все глаза: где уж тут заметить, что Тилли-то давно упорхнула! Я еще три раза позвал Киллисну, потом подождал и еще три раза позвал. Таинственно так, чтобы совсем их напугать. Вождь Джордж никак не мог понять, что я задумал, и хотел было все дело прекратить, но шаманы ему вроде сказали: вот, мол, мы посмотрим, что он сделает, а потом побьем его своим колдовством. А кроме того, был он суеверен не хуже остальных и тоже, верно, побаивался волшебства белых.

Тут я опять стал звать Киллисну, да так тонко и так долго, словно волк завыл,— все женщины прямо затряслись, и мужчины тоже.

«Смотрите,— я прыгнул вперед и ткнул пальцем в кучку скво (женщин-то всегда провести легче),— смотрите!..» А потом стал палец поднимать, будто слежу за летящей птицей. И поднимаю его все выше, выше и слежу взглядом, пока не исчезла она в небе.

«Киллисну,— говорю, а сам смотрю на вождя Джорджа и опять на небо указываю: — Киллисну».

Провалиться мне на этом месте, Дик, ведь они поверили! Чуть не половина своими глазами видела, как Тилли исчезала в воздухе. Те, кто пил мое виски в Джуно, небось видывали вещи и почуднее! Почему бы мне и не сотворить такой штуки, раз уж я продаю злых духов, закупоренных в бутылки? Тут бабы как завизжат! И все стали перешептываться. Я скрестил руки на груди, задрал голову, и они все от меня попятились. Чувствую, пора уходить. «Хватайте его!» — вопит вождь Джордж. Человека три бросилось ко мне, но я повернулся и давай пальцами шевелить, будто собираюсь послать их за Тилли, а потом показал на небо. Тут уж никто из них не согласился бы до меня дотронуться ни за какое богатство. Вождь Джордж им приказывает, а они ни с места. Тогда он сам на меня бросился, но я опять стал колдовать, и у него тоже духу не хватило.

«Ну-ка, пускай ваши шаманы сотворят такое чудо, как я сейчас,— говорю,— пусть снимут Киллисну с неба, куда я ее

послал». Но колдуны знали, что они могут, а что нет. «Пусть ваши женщины приносят вам сыновей столько, сколько лососи мечут икры,— говорю, а сам поворачиваюсь, чтобы уйти,— и пусть ваш тотем никогда не упадет, и пусть дым ваших костров подымается вечно».

Но если бы они видели, как я рванулся к шлюпу, едва отошел подальше, они бы подумали, что мое колдовство гонится за мной по пятам. Тилли, чтобы согреться, обколола лед, и можно было отплыть сию же минуту. Черт! Ну, и неслись же мы! А таку воет нам в спину, а ледяные волны то и дело перекатываются через борт. Все люки задраены, я за штурвалом, Тилли скалывает лед,— плыли мы так чуть не до рассвета. Наконец я выбросил шлюп на отмель у острова Поркьюпайн. Выбрались мы на берег. От холода зуб на зуб не попадает, одеяла промокли насквозь, а Тилли сушит спичку у себя на груди.

Так что я, пожалуй, кое-что об этом знаю, Дик. Семь лет были мы мужем и женой, и в бурю, и в штиль. А потом она умерла в самый разгар зимы. Умерла от родов на чилкутской фактории. Она держала мою руку до самого конца, а иней полз вверх по двери и густо ложился на окно. Снаружи волк воет и Безмолвие. Внутри смерть и Безмолвие. Ты никогда не слышал Безмолвия, Дик? И не дай тебе бог услышать его, когда ты будешь сидеть рядом с умирающим. А я слышал. Когда дыхание ревет, как пароходный гудок в тумане, а сердце гремит, словно прибой на камнях...

Сивашкой была она, Дик, но настоящей женщиной. Стойкой и честной, Дик, стойкой и честной. А перед смертью она сказала: «Береги мою перину, Томми, хорошенько береги». Я говорю: ладно. Тогда она открыла глаза, и видно, что больно ей невыносимо. «Я была тебе хорошей женой, Томми, и ты обещай... обещай мне...— у нее точно слова в горле застревали,— что второй раз женишься на белой. Только не на сивашке, Томми. Теперь в Джуно много белых женщин. Я знаю. Твои люди зовут тебя «мужем скво», твои женщины отворачиваются от тебя на улице, и ты не ходишь к ним в дом, как другие мужчины. А почему? Твоя жена — сивашка. Разве не так? А это нехорошо. Вот почему я умираю. Обещай мне. Поцелуй меня в знак, что ты обещаешь».

Я ее поцеловал, и она задремала, а сама шепчет: «Это хорошо». А в последнюю минуту, когда я ухо прямо ей к губам прижал, чтобы расслышать, она сказала: «Береги, Томми, береги мою перину...» Вот так она умирала от родов, там, на чилкутской фактории.

Палатка дрогнула и вся прогнулась под напором урагана. Дик снова набил трубку, а Томми заварил чай и отставил его в сторону до возвращения Молли.

А как же та, в чьих глазах сверкало презрение, в чьих жилах струилась кровь янки? Ничего не видя, падая, карабкаясь на четвереньках, задыхаясь от ветра, она возвращалась к палатке. Буря рвала и трепала большой мешок на ее плечах. Непослушными руками она стала дергать завязки, но открыли дверь Томми и Дик. Тогда она собрала всю свою гордость для последнего усилия, шатаясь, вошла в палатку и тут же в полуобмороке повалилась на пол.

Томми расстегнул ремни и оттащил мешок в угол. Когда он взялся за него, раздалось звяканье кастрюль и сковородок. Дик, наливавший в кружку виски, остановился и подмигнул ему. Томми подмигнул в ответ. Он одними губами произнес слово «платья», но Дик предостерегающе помотал головой.

— Вот что, милочка,— сказал он после того, как Молли выпила виски и немного пришла в себя.— Это все высохло. Переоденьтесь-ка. Мы пойдем укрепим палатку. Потом крикните нам, мы вернемся и будем обедать. Позовите, когда будете готовы.

— Разрази меня бог, Дик, это затупит ей острие до самого Доусона,— пробормотал сквозь смех Томми, когда они, скорчившись, прижались к подветренной стене палатки.

— Но это — лучшее, что в ней есть,— ответил Дик, втягивая голову в плечи, потому что из-за угла вылетел настоящий залп ледяной крупы.— Это есть и в тебе, и во мне, Томми, и это — наследие наших матерей.

ЗАКОН ЖИЗНИ

Старый Коскуш жадно прислушивался. Его зрение давно угасло, но слух оставался по-прежнему острым, улавливая малейший звук, а мерцающее под высохшим лбом сознание было безучастным к грядущему. А, это пронзительный голос Сит-Кум-То-Ха; она кричит на собак и бьет их, надевая на них упряжь. Сит-Кум-То-Ха — дочь его дочери, но она слишком занята, чтобы попусту тратить время на дряхлого деда, одиноко сидящего на снегу, всеми забытого и беспомощного. Пора сниматься со стоянки. Предстоит далекий путь, а короткий день не

хочет помедлить. Жизнь зовет ее, зовут заботы, которых требует жизнь, а не смерть. А он так близок теперь к смерти.

Мысль эта на минуту ужаснула старика, и он протянул руку, нащупывая дрожащими пальцами небольшую кучку хвороста возле себя. Убедившись, что хворост здесь, он снова спрятал руку под изношенный мех и опять стал вслушиваться.

Сухое потрескивание полузамерзшей оленьей шкуры сказало ему, что вигвам вождя уже убран, и теперь его уминают и скатывают в удобный тюк. Вождь приходился ему сыном, он был рослый и сильный, глава племени и могучий охотник. Вот его голос, понукающий медлительных женщин, которые собирают пожитки. Старый Коскуш напряг слух. В последний раз он слышит этот голос. Сложен вигвам Джихоу и вигвам Тускена! Семь, восемь, десять... Остался, верно, только вигвам шамана. Вот теперь принялись и за него. Коскуш слышал бормотание шамана, укладывавшего свой вигвам на нарты. Захныкал ребенок; женщина стала утешать его, напевая что-то тихим гортанным голосом. Это маленький Ку-Ти, подумал старик, капризный ребенок и слабый здоровьем. Может быть, он скоро умрет, и тогда в мерзлой земле тундры выжгут яму и набросают сверху камней для защиты от росомах. А впрочем, не все ли равно? В лучшем случае проживет еще несколько лет и будет ходить чаще с пустым желудком, чем с полным. А в конце концов смерть все равно дождется его — вечно голодная и самая голодная из всех.

Что там такое? А, это мужчины увязывают нарты и туго затягивают ремни. Он слушал,— он, который скоро ничего не будет слышать. Удары бича со свистом сыпались на собак. Слышишь, завыли! Как им ненавистен трудный путь! Уходят! Нарты за нартами медленно скользят в тишину. Ушли. Они исчезли из его жизни, и он один встретит последний, тяжкий час. Нет, вот захрустел снег под мокасинами. Рядом стоял человек; на его голову тихо легла рука. Как добр к нему сын! Он вспомнил других стариков, их сыновья уходили вместе с племенем. Его сын не таков. Старик унесся мыслями в прошлое, но голос молодого человека вернул его к действительности.

— Тебе хорошо? — спросил сын.

И старик ответил:

— Да, мне хорошо.

— Около тебя есть хворост,— продолжал молодой,— костер горит ярко. Утро серое, мороз спадает. Скоро пойдет снег. Вот он уже идет.

— Да, он уже идет.

— Люди спешат. Их тюки тяжелы, а животы подтянуло от голода. Путь далек, и они идут быстро. Я ухожу. Тебе хорошо?

— Мне хорошо. Я словно осенний лист, который еле держится на ветке. Первое дуновение ветра — и я упаду. Мой голос стал как у старухи. Мои глаза больше не показывают дорогу ногам, а ноги отяжелели, и я устал. Все хорошо.

Довольный Коскуш склонил голову и сидел так, пока не замер вдали жалобный скрип снега; теперь он знал, что сын уже не услышит его призыва. И тогда рука его поспешно протянулась за хворостом. Только эта вязанка отделяла его от зияющей перед ним вечности. Охапка сухих сучьев была мерой его жизни. Один за другим сучья будут поддерживать огонь, и так же, шаг за шагом, будет подползать к нему смерть. Когда последняя ветка отдаст свое тепло, мороз примется за дело. Сперва сдадутся ноги, потом руки, и под конец оцепенеет тело. Голова его упадет на колени, и он успокоится. Это легко. Умереть суждено всем.

Коскуш не жаловался. Такова жизнь, и она справедлива. Он родился и жил близко к земле, и ее закон для него не нов. Это закон всего живого. Природа немилостива к отдельным живым существам. Ее внимание направлено на виды, расы. На бóльшие обобщения примитивный ум старого Коскуша был не способен, но это он усвоил твердо. Примеры этому он видел повсюду в жизни. Дерево наливается соками, распускаются зеленые почки, падает желтый лист — и круг завершен. Но каждому живому существу природа ставит задачу. Не выполнив ее, оно умрет. Выполнит — все равно умрет. Природа безучастна: покорных ей много, но вечность суждена не покорным, а покорности. Племя Коскуша очень старо. Старики, которых он помнил, еще когда был мальчиком, помнили стариков до себя. Следовательно, племя живет, оно олицетворяет покорность всех своих предков, самые могилы которых уже давно забыты. Умершие не в счет; они только единицы. Они ушли, как тучи с летнего неба. И он тоже уйдет. Природа безучастна. Она поставила жизни одну задачу, дала один закон. Задача жизни — продолжение рода, закон ее — смерть. Девушка — существо, на которое приятно посмотреть. Она сильная, у нее высокая грудь, упругая походка, блестящие глаза. Но задача этой девушки еще впереди. Блеск в ее глазах разгорается, походка становится быстрее, она то смела с юношами, то робка и заражает их своим беспокойством. И она хорошеет день ото дня; и, наконец, какой-

нибудь охотник берет ее в свое жилище, чтобы она работала и стряпала на него и стала матерью его детей. Но с рождением первенца красота начинает покидать женщину, ее походка становится тяжелой и медленной, глаза тускнеют и меркнут, и одни лишь маленькие дети с радостью прижимаются к морщинистой щеке старухи, сидящей у костра. Ее задача выполнена. И при первой угрозе голода или при первом длинном переходе ее оставят, как оставили его,— на снегу, подле маленькой охапки хвороста. Таков закон жизни.

Коскуш осторожно положил в огонь сухую ветку и вернулся к своим размышлениям. Так бывает повсюду и во всем. Комары исчезают при первых заморозках. Маленькая белка уползает умирать в чащу. С годами заяц тяжелеет и не может с прежней быстротой ускакать от врага. Даже медведь слепнет к старости, становится неуклюжим, и в конце концов свора визгливых собак одолевает его. Коскуш вспомнил, как он сам бросил своего отца в верховьях Клондайка,— это было той зимой, когда к ним пришел миссионер со своими молитвенниками и ящиком лекарств. Не раз облизывал Коскуш губы при воспоминании об этом ящике, но сейчас у него во рту уже не было слюны. В особенности вспоминался ему «болеутолитель». Но миссионер был обузой для племени, он не приносил дичи, а сам ел много, и охотники ворчали на него. В конце концов он простудился на реке около Мэйо, а потом собаки разбросали камни и подрались из-за его костей.

Коскуш снова подложил хворосту в костер и еще глубже погрузился в мысли о прошлом. Во время Великого Голода старики жались к огню и роняли с уст туманные предания старины о том, как Юкон целых три зимы мчался, свободный ото льда, а потом стоял замерзший три лета. В этот голод Коскуш потерял свою мать. Летом не было хода лосося, и племя с нетерпением дожидалось зимы и оленей. Зима наступила, но олени не пришли вместе с ней. Такое никогда не бывало даже на памяти стариков. Олени не пришли, и это был седьмой голодный год. Зайцы не плодились, а от собак остались только кожа да кости. И дети плакали и умирали в долгой зимней тьме, умирали женщины и старики, и из каждых десяти человек только один дожил до весны и возвращения солнца. Да, вот это был голод!

Но он видел и времена изобилия, когда мяса было столько, что оно портилось, и разжиревшие собаки совсем обленились,— времена, когда мужчины смотрели на убегающую дичь и не убивали ее, а женщины были плодовиты, и в вигвамах возились

и ползали мальчики и девочки. Мужчины стали тогда заносчивы и, чуть что, вспоминали прежние ссоры. Они перевалили через горы на юг, чтобы истребить племя пелли, и на запад, чтобы полюбоваться на потухшие огни племени танана. Старик вспомнил, что еще мальчиком он видел в год изобилия, как волки задрали лося. Зинг-Ха лежал тогда вместе с ним на снегу,— Зинг-Ха, который стал потом искусным охотником, а кончил тем, что провалился в полынью на Юконе. Ему удалось выбраться из нее только до половины — так его и нашли через месяц примерзшим ко льду.

Так вот — лось. Он и Зинг-Ха пошли в тот день поиграть в охоту, подражая своим отцам. На замерзшей реке они наткнулись на свежий след лося и на следы гнавшихся за ним волков.

— Старый, — сказал Зинг-Ха, умевший лучше разбирать следы.— Старый. Отбился от стада. Волки отрезали его от братьев и теперь не выпустят.

Так оно и было. Таков волчий обычай. Днем и ночью, без отдыха, они будут с рычаньем преследовать его по пятам, щелкать зубами у самой его морды и не отстанут от него до конца. Кровь закипела у обоих мальчиков. Конец охоты — на это стоит посмотреть.

Сгорая от нетерпения, они шли все дальше и дальше, и даже он, Коскуш, не обладавший острым зрением и навыками следопыта, мог бы идти вперед с закрытыми глазами — так четок был след. Он был совсем свежий, и они на каждом шагу читали только что написанную мрачную трагедию погони. Вот здесь лось остановился. Во все стороны на расстоянии в три человеческих роста снег был истоптан и взрыт. Посредине глубокие отпечатки разлатых копыт лося, а вокруг более легкие следы волков. Некоторые, пока их собратья бросались на жертву, видимо, отдыхали, лежа на снегу. Отпечатки их туловищ были так ясны, словно это происходило всего лишь минуту тому назад. Один волк попался под ноги обезумевшей жертве и был затоптан насмерть. Куча костей, чисто обглоданных, подтверждала это.

Они снова замедлили ход своих лыж. Вот здесь тоже происходила отчаянная борьба. Дважды опрокидывали лося наземь,— как свидетельствовал снег,— и дважды он сбрасывал своих противников и снова поднимался на ноги. Он уже давно выполнил свою задачу, но жизнь была дорога ему. Зинг-Ха сказал: «Никогда не бывало, чтобы раз опрокинутый лось снова встал на ноги». Но этот встал.

Когда потом они рассказывали об этом шаману, он счел это чудом и каким-то предзнаменованием.

Наконец они подошли к тому месту, где лось хотел подняться на берег и скрыться в лесу. Но враги насели на него сзади, и он стал на дыбы и опрокинулся навзничь, придавив двух из них. Они так и остались лежать в снегу, не тронутые своими собратьями, ибо погоня близилась к концу. Еще два места битвы мелькнули мимо, одно вслед за другим. Теперь след покраснел от крови и плавный шаг крупного зверя стал неровным и спотыкающимся. И вот они услышали первые звуки битвы — не громогласный хор охоты, а короткий отрывистый лай, говоривший о близости волчьих зубов к бокам лося. Держась против ветра, Зинг-Ха полз на животе по снегу, а за ним полз Коскуш — тот, кому предстояло с годами стать вождем своего племени. Они отвели в сторону ветви молодой ели и выглянули из-за них. И увидели самый конец битвы.

Зрелище это, подобно всем впечатлениям юности, до сих пор было еще свежо в памяти Коскуша, и конец погони стал перед его потускневшим взором так же ярко, как в те далекие времена. Коскуш изумился этому, ибо в последующие дни, будучи вождем мужей и главой совета, он совершил много великих деяний — даже если не говорить о чужом белом человеке, которого он убил ножом в рукопашной схватке,— и имя его стало проклятием в устах людей племени пелли.

Долго еще Коскуш размышлял о днях своей юности, и наконец костер стал потухать, и мороз усилился. На этот раз он подбросил в огонь сразу две ветки, и теми, что остались, точно измерил свою власть над смертью. Если бы Сит-Кум-То-Ха подумала о деде и собрала охапку побольше, часы его жизни продлились бы. Разве это так трудно? Но ведь Сит-Кум-То-Ха всегда была беззаботная, а с тех пор как Бобр, сын сына Зинг-Ха, впервые бросил на нее взгляд, она совсем перестала чтить своих предков. А впрочем, не все ли равно? Разве он в дни своей резвой юности поступал по-иному?

С минуту Коскуш вслушивался в тишину. Может быть, сердце его сына смягчится и он вернется назад с собаками и возьмет своего старика отца вместе со всем племенем туда, где много оленей с тучными от жира боками?

Коскуш напряг слух, его мозг на мгновение приостановил свою напряженную работу. Ни звука — тишина. Посреди полного безмолвия слышно лишь его дыхание. Какое одиночество! Чу! Что это? Дрожь пошла у него по телу. Знакомый протяжный вой прорезал безмолвие. Он раздался где-то близко. И пе-

ред незрячими глазами Коскуша предстало видение: лось, старый самец, с истерзанными, окровавленными боками и взъерошенной гривой, гнет книзу большие ветвистые рога и отбивается ими из последних сил. Он видел мелькающие серые тела, горящие глаза, клыки, слюну, стекающую с языков. И он видел, как круг неумолимо сжимается, все тесней и тесней, малопомалу сливаясь в черное пятно посреди истоптанного снега.

Холодная морда ткнулась ему в щеку, и от этого прикосновения мысли его перенеслись в настоящее. Он протянул руку к огню и вытащил головешку. Уступая наследственному страху перед человеком, зверь отступил с протяжным воем, обращенным к собратьям. И они тут же ответили ему, и брызжущие слюной волчьи пасти кольцом сомкнулись вокруг костра. Старик прислушался, потом взмахнул головешкой, и фырканье сразу перешло в рычанье; звери не хотели отступать. Вот один подался грудью вперед, подтягивая за туловищем и задние лапы, потом второй, третий; но ни один не отступил назад. Зачем цепляться за́ жизнь? — спросил Коскуш самого себя и уронил пылающую головню на снег. Она зашипела и потухла. Волки тревожно зарычали, но не двигались с места. Снова Коскуш увидел последнюю битву старого лося и тяжело опустил голову на колени. В конце концов не все ли равно? Разве не таков закон жизни?

ЛИГА СТАРИКОВ

В Казармах судили человека, речь шла о его жизни и смерти. Это был старик индеец с реки Белая Рыба, впадающей в Юкон пониже озера Ла-Барж. Его дело взволновало весь Доусон, и не только Доусон, но и весь Юконский край на тысячу миль в обе стороны по течению. Пираты на море и грабители на земле, англосаксы издавна несли закон покоренным народам, и закон этот подчас был суров. Но тут, в деле Имбера, закон впервые показался и мягким и снисходительным. Он не предусматривал такой кары, которая с точки зрения простой арифметики соответствовала бы совершенным преступлениям. Что преступник заслуживает высшей меры наказания, в этом не могло быть никаких сомнений; но, хотя такой мерой была смертная казнь, Имбер мог поплатиться лишь одной своей жизнью, в то время как на его совести было множество жизней.

В самом деле, руки Имбера были обагрены кровью стольких людей, что точно сосчитать его жертвы оказалось невозможно. Покуривая трубку на привале в пути или бездельничая у печки, жители края прикидывали, сколько же приблизительно людей загубил этот старик. Все, буквально все эти несчастные жертвы были белыми,— они гибли и поодиночке, и по двое, и целыми группами. Убийства были так бессмысленны и беспричинны, что долгое время они оставались загадкой для королевской конной полиции, даже тогда, когда на реках стали добывать золото и правительство доминиона прислало сюда губернатора, чтобы заставить край платить за свое богатство.

Но еще большей загадкой казалось то, что Имбер сам пришел в Доусон, чтобы отдать себя в руки правосудия. Поздней весной, когда Юкон ревел и метался в своих ледяных оковах, старый индеец свернул с тропы, проложенной по льду, с трудом поднялся по береговому откосу и, растерянно мигая, остановился на главной улице. Все, кто видел его появление, заметили, что он был очень слаб. Пошатываясь, он добрался до кучи бревен и сел. Он сидел здесь весь день, пристально глядя на бесконечный поток проходивших мимо белых людей. Многие с любопытством оглядывались, чтобы еще раз посмотреть на него, а кой у кого этот старый сиваш со странным выражением лица вызывал даже громкие замечания. Впоследствии десятки людей вспоминали, что необыкновенный облик индейца поразил их, и они до конца дней гордились своей проницательностью и чутьем на все необыкновенное.

Однако настоящим героем дня оказался Маленький Диккенсен. Маленький Диккенсен явился в эти края с радужными надеждами и с пачкой долларов в кармане; но вместе с содержимым кармана растаяли и надежды, и, чтобы заработать на обратный путь в Штаты, он занял должность счетовода в маклерской конторе «Холбрук и Мэйсон». Как раз напротив конторы «Холбрук и Мэйсон» и лежала куча бревен, на которой уселся Имбер. Диккенсен заметил его, глянув в окно, перед тем как отправиться завтракать, а позавтракав и вернувшись в контору, он опять глянул в окно: старый сиваш по-прежнему сидел на том же месте.

Диккенсен то и дело поглядывал в окно,— потом он тоже гордился своей проницательностью и чутьем на необыкновенное. Маленький Диккенсен был склонен к романтике, и в неподвижном старом язычнике он увидел некое олицетворение народа сивашей, с непроницаемым спокойствием взирающего на полчища англосаксонских захватчиков.

Часы шли за часами, а Имбер сидел все в той же позе, ни разу не пошевельнувшись, и Диккенсен вспомнил, как однажды посреди главной улицы остановились нарты, на которых вот так же неподвижно сидел человек; мимо него взад и вперед сновали прохожие, и все думали, что человек просто отдыхает, а потом, когда его тронули, оказалось, что он мертв и уже успел окоченеть — замерз посреди уличной толчеи. Чтобы труп выпрямить — иначе он не влез бы в гроб,— его пришлось тащить к костру и оттаивать. Диккенсена передернуло при этом воспоминании.

Немного погодя Диккенсен вышел на улицу выкурить сигару и проветриться, и тут-то через минуту появилась Эмили Трэвис. Эмили Трэвис была особой изысканной, утонченной, хрупкой, и одевалась она — будь это в Лондоне или в Клондайке — так, как подобало дочери горного инженера, обладателя миллионов. Маленький Диккенсен положил свою сигару на выступ окна и приподнял над головой шляпу.

Минут десять они спокойно болтали, но вдруг Эмили Трэвис посмотрела через плечо Диккенсена и испуганно вскрикнула. Диккенсен поспешно оглянулся и сам вздрогнул от испуга. Имбер перешел улицу и, точно мрачная тень, стоял совсем близко, впившись недвижными глазами в девушку.

— Чего тебе надо? — храбро спросил Маленький Диккенсен нетвердым голосом.

Имбер, проворчав что-то, подошел вплотную к Эмили Трэвис. Он внимательно оглядел ее всю, с головы до ног, как бы стараясь ничего не пропустить. Особый интерес у него вызвали шелковистые каштановые волосы девушки и румяные щеки, покрытые нежным пушком, точно крыло бабочки. Он обошел ее вокруг, не отрывая от нее оценивающего взгляда, словно изучал стати лошади или устройство лодки. Вдруг он увидел, как лучи заходящего солнца просвечивают сквозь розовое ухо девушки, и остановился, заинтересованный. Потом он снова принялся осматривать ее лицо и долго, пристально вглядывался в ее голубые глаза. Опять проворчав что-то, он положил ладонь на руку девушки чуть пониже плеча, а другой своей рукой согнул ее в локте. Отвращение и удивление отразилось на лице индейца, с презрительным ворчанием он отпустил руку Эмили. Затем издал какие-то гортанные звуки, повернулся к девушке спиной и что-то сказал Диккенсену.

Диккенсен не мог понять, что он говорил, и Эмили Трэвис засмеялась. Имбер, хмуря брови, обращался то к Диккенсену,

то к девушке, но они лишь качали головами. Он уже хотел отойти от них, как девушка крикнула:

— Эй, Джимми! Идите сюда!

Джимми приближался с другой стороны улицы. Это был рослый неуклюжий индеец, одетый по обычаю белых людей, в огромной широкополой шляпе, какие носят короли Эльдорадо. Запинаясь и словно давясь каждым звуком, он стал говорить с Имбером. Джимми был родом ситха; на языке племен, живущих в глубине страны, он знал лишь самые простые слова.

— Он от племя Белая Рыба,— сказал он Эмили Трэвис.— Я понимай его язык не очень хорошо. Он хочет видать главный белый человек.

— Губернатора,— подсказал Диккенсен.

Джимми обменялся с человеком из племени Белая Рыба еще несколькими словами, и лицо его приняло озабоченное и недоуменное выражение.

— Я думаю, ему надо капитан Александер,— заявил Джимми.— Он говорит, он убил белый человек, белый женщина, белый мальчик, убил много-много белый человек. Он хочет умирать.

— Вероятно, сумасшедший,— сказал Диккенсен.

— Это что есть? — спросил Джимми.

Диккенсен, будто протыкая себе череп, приставил ко лбу палец и с силой покрутил им.

— Может быть, может быть,— сказал Джимми, поворачиваясь к Имберу, все еще требовавшему главного белого человека.

Подошел полисмен из королевской конной полиции (в Клондайке она обходилась без коней) и услышал, как Имбер повторил свою просьбу. Полисмен был здоровенный детина, широкий в плечах, с мощной грудью и стройными, крепкими ногами; как ни высок был Имбер, полисмен на полголовы был выше его. Глаза у него были холодные, серые, взгляд твердый, в осанке чувствовалась та особая уверенность в своей силе, которая идет от предков и освящена веками. Великолепная мужественность полисмена еще более выигрывала от его молодости — он был совсем еще мальчик, и румянец на его гладких щеках вспыхивал с такой же быстротой, как на щеках юной девушки.

Лишь на полисмена и смотрел теперь Имбер. Какой-то огонь сверкнул в глазах индейца, как только он заметил на подбородке юноши рубец от удара саблей. Своей высохшей рукой он прикоснулся к бедру полисмена и ласково провел по его

мускулистой ноге. Костяшками пальцев он постучал по его широкой груди, потом ощупал плотные мышцы, покрывавшие плечи юноши, словно кираса. Вокруг них уже толпились любопытные прохожие — золотоискатели, жители гор, пионеры девственных земель — все сыны длинноногой, широкоплечей расы. Имбер переводил взгляд с одного на другого, потом что-то громко сказал на языке племени Белая Рыба.

— Что он говорит? — спросил Диккенсен.

— Он сказал — все эти люди, как один, как эта полисмен,— перевел Джимми.

Маленький Диккенсен был мал ростом, и потому он пожалел, что задал такой вопрос в присутствии мисс Трэвис. Полисмен посочувствовал ему и решил прийти на помощь.

— А пожалуй, у него что-то есть на уме. Я отведу его к капитану. Скажи ему, Джимми, чтобы он шел со мной.

Джимми снова стал давиться, а Имбер заворчал, но вид у него был весьма довольный.

— Спросите-ка его, Джимми, что он говорил и что думал, когда взял меня за руку?

Это сказала Эмили Трэвис, и Джимми перевел вопрос и получил ответ:

— Он говорил, вы не трусливый.

При этих словах Эмили Трэвис не могла скрыть своего удовольствия.

— Он говорил, вы не скукум, совсем не сильный, такой нежный, как маленький ребенок. Он может разорвать вас руками на маленькие куски. Он очень смеялся, очень удивлялся, как вы можете родить такой большой, такой сильный мужчина, как эта полисмен.

Эмили Трэвис нашла в себе мужество не опустить глаз, но щеки ее зарделись. Маленький Диккенсен вспыхнул, как маков цвет, и совершенно смутился. Юное лицо полисмена покраснело до корней волос.

— Эй ты, шагай,— сказал он резко, раздвигая плечом толпу.

Так Имбер попал в Казармы, где он добровольно и полностью признался во всем и откуда больше уже не вышел.

Имбер выглядел очень усталым. Он был стар и ни на что не надеялся, и это было написано на его лице. Он уныло сгорбился, глаза его потускнели; волосы у него должны были быть седыми, но солнце и непогода так выжгли и вытравили их, что они свисали бесцветными, безжизненными космами. К тому, что происходило вокруг, он не проявлял никакого интереса. Ком-

ната была битком набита золотоискателями и охотниками, и зловещие раскаты их низких голосов отдавались у Имбера в ушах, точно рокот моря под сводами береговых пещер.

Он сидел у окна, и его безразличный взгляд то и дело останавливался на расстилавшемся перед ним тоскливом пейзаже. Небо затянуло облаками, сыпалась сизая изморось. На Юконе началось половодье. Лед уже прошел, и река заливала город. По главной улице туда и сюда плыли в лодках никогда не знающие покоя люди. То одна, то другая лодка сворачивала с улицы на залитый водой плац перед Казармами; потом, подплыв ближе, скрывалась из вида, и Имбер слышал, как она с глухим стуком наталкивалась на бревенчатую стену, а люди через окно влезали в дом. Затем было слышно, как эти люди, хлюпая ногами по воде, проходили нижним этажом и поднимались по лестнице. Сняв шляпы, в мокрых тяжелых сапогах, они входили в комнату и смешивались с ожидавшей суда толпой.

И пока все эти люди враждебно разглядывали его, довольные тем, что он понесет свое наказание, Имбер смотрел на них и думал об их обычаях и порядках, об их недремлющем Законе, который был, есть и будет до скончания веков — в хорошие времена и в плохие, в наводнение и в голод, невзирая на беды, и ужас, и смерть. Так казалось Имберу.

Какой-то человек постучал по столу; разговоры прекратились, наступила тишина. Имбер взглянул на того, кто стучал по столу. Казалось, этот человек обладал властью, но Имбер почувствовал, что начальником над всеми и даже над тем, кто постучал по столу, был другой, широколобый человек, сидевший за столом чуть подальше. Из-за стола поднялся еще один человек, взял много тонких бумажных листов и стал их громко читать. Перед тем как начать новый лист, он откашливался, а закончив его, слюнявил пальцы. Имбер не понимал, что говорил этот человек, но все другие понимали, и видно было, что они сердятся. Иногда они очень сердились, а однажды кто-то выругал его, Имбера, коротким гневным словом, но человек за столом, постучав пальцем, приказал ослушнику замолчать.

Человек с бумагами читал бесконечно долго. Под его скучный, монотонный голос Имбер задремал, и, когда чтение кончилось, он спал глубоким сном. Кто-то окликнул его на языке племени Белая Рыба, он проснулся и без всякого удивления увидел перед собой лицо сына своей сестры — молодого индейца, который уже давно ушел из родных мест и жил среди белых людей.

«Любовь к жизни»

— Ты, верно, не помнишь меня,— сказал тот вместо приветствия.

— Нет, помню,— ответил Имбер.— Ты — Хаукан, ты давно ушел от нас. Твоя мать умерла.

— Она была старая женщина,— сказал Хаукан.

Имбер уже не слышал его ответа, но Хаукан потряс его за плечо и разбудил снова.

— Я скажу тебе, что читал этот человек,— он читал обо всех преступлениях, которые ты совершил и в которых, о глупец, ты признался капитану Александеру. Ты должен подумать и сказать, правда это все или неправда. Так тебе приказано.

Хаукан жил у миссионеров и научился у них читать и писать. Сейчас он держал в руках те самые тонкие листы бумаги, которые прочитал вслух человек за столом,— в них было записано все, что сказал Имбер с помощью Джимми на допросе у капитана Александера. Хаукан начал читать. Имбер послушал немного, на лице его выразилось изумление, и он резко прервал его:

— Это мои слова, Хаукан, но они идут с твоих губ, а твои уши не слышали их.

Хаукан самодовольно улыбнулся и пригладил расчесанные на пробор волосы.

— Нет, о Имбер, они идут с бумаги. Мои уши не слыхали их. Слова идут с бумаги и через глаза попадают в мою голову, а потом мои губы передают их тебе. Вот откуда они идут.

— Вот откуда они идут. Значит, они на бумаге? — благоговейным шепотом спросил Имбер и пощупал бумагу, со страхом глядя на покрывавшие ее знаки.— Это великое колдовство, а ты, Хаукан, настоящий кудесник.

— Пустяки, пустяки,— небрежно сказал молодой человек, не скрывая своей гордости.

Он наугад взял один из листов бумаги и стал читать:

— «В тот год, еще до ледохода, появился старик с мальчиком, который хромал на одну ногу. Их я тоже убил, и старик сильно кричал...»

— Это правда,— прервал задыхающимся голосом Имбер.— Он долго, долго кричал и бился, никак не хотел умирать. Но откуда ты это знаешь, Хаукан? Тебе, наверно, сказал начальник белых людей? Никто не видел, как я убил, а рассказывал я только начальнику.

Хаукан с досадой покачал головой.

— Разве я не сказал тебе, о глупец, что все это написано на бумаге?

Имбер внимательно разглядывал испещренный чернильными значками лист.

— Охотник смотрит на снег и говорит: вот тут вчера пробежал заяц, вот здесь, в зарослях ивняка, он присел и прислушался, а потом испугался чего-то и побежал; с этого места он повернул назад, тут побежал быстро-быстро и делал большие скачки, а тут вот еще быстрее бежала рысь; здесь, где ее следы ушли глубоко в снег, рысь сделала большой-большой прыжок, тут она настигла зайца и перевернулась на спину; дальше идут следы одной рыси, а зайца уже нет. Охотник глядит на следы на снегу и говорит, что тут было то, а тут это, а ты глядишь на бумагу и говоришь, что здесь то, а там это и что все это сделал старый Имбер?

— Да, это так,— ответил Хаукан.— А теперь слушай хорошенько и попридержи свой бабий язык, пока тебе не прикажут говорить.

И Хаукан долго читал Имберу его показания, а тот молча сидел, уйдя в свои мысли. Когда Хаукан смолк, Имбер сказал ему:

— Все это мои слова, и верные слова, Хаукан, но я стал очень стар, и только теперь мне вспоминаются давно уже забытые дела, о которых надо знать начальнику. Слушай. Раз из-за Ледяных Гор пришел человек, у него были хитрые железные капканы: он охотился за бобрами на реке Белая Рыба. Я убил его. Потом были еще три человека на реке Белая Рыба, которые искали золото. Их я тоже убил и бросил росомахам. И еще у Файв-Фингерз я убил человека,— он плыл на плоту, и у него было припасено много мяса.

Когда Имбер умолкал на минуту, припоминая, Хаукан переводил его слова, а клерк записывал. Публика довольно равнодушно внимала этим бесхитростным рассказам, из которых каждый представлял собою маленькую трагедию, до тех пор, пока Имбер не рассказал о человеке с рыжими волосами и косым глазом, которого он сразил стрелой издалека.

— Черт побери,— произнес один из слушателей в передних рядах, горе и гнев звучали в его голосе. У него были рыжие волосы.— Черт побери,— повторил он,— да это же мой брат Билл!

И пока шел суд, в комнате время от времени раздавалось гневное «черт побери»,— ни уговоры товарищей, ни замечания человека за столом не могли заставить рыжеволосого замолчать.

Голова Имбера опять склонилась на грудь, а глаза словно подернулись пеленой и перестали видеть окружающий мир. Он

ушел в свои размышления, как может размышлять лишь старость о беспредельной тщете порывов юности.

Хаукан растолкал его снова.

— Встань, о Имбер. Тебе приказано сказать, почему ты совершил такие преступления и убил этих людей, а потом пришел сюда в поисках Закона.

Имбер с трудом поднялся на ноги и, шатаясь от слабости, заговорил низким, чуть дрожащим голосом, но Хаукан остановил его.

— Этот старик совсем помешался,— обратился он по-английски к широколобому человеку.— Он, как ребенок, ведет глупые речи.

— Мы хотим выслушать его глупые речи,— заявил широколобый человек.— Мы хотим выслушать их до конца, слово за словом. Ясно тебе?

Хаукану было ясно. Имбер сверкнул глазами — он догадался, о чем говорил сын его сестры с начальником белых людей. И он начал свою исповедь — необычайную историю темнокожего патриота, которая заслуживала того, чтобы ее начертали на бронзовых скрижалях для будущих поколений. Толпа затихла, как завороженная, а широколобый судья, подперев голову рукой, слушал будто самую душу индейца, душу всей его расы. В тишине звучала лишь гортанная речь Имбера, прерываемая резким голосом переводчика, да время от времени раздавался, подобно господнему колоколу, удивленный возглас рыжеволосого: «Черт побери!»

— Я — Имбер, из племени Белая Рыба,— переводил слова старика Хаукан; дикарь проснулся в нем, и налет цивилизации, привитой миссионерским воспитанием, сразу рассеялся, как только ухо его уловило в речи Имбера знакомый ритм и распев.— Мой отец был Отсбаок, могучий воин. Когда я был маленьким мальчиком, теплое солнце грело нашу землю и радость согревала сердце. Люди не гнались за тем, чего не знали, не слушали чужих голосов, обычаи отцов были их обычаями. Юноши с удовольствием глядели на девушек, а девушек тешили их взгляды. Женщины кормили грудью младенцев, и чресла их были отягчены обильным приплодом. Племя росло, и мужчины в те дни были мужчинами. Они были мужчинами в дни мира и изобилия, мужчинами оставались в дни войны и голода.

В те времена было больше рыбы в воде, чем ныне, и больше дичи в лесу. Наши собаки были волчьей породы, им было тепло под толстой шкурой, и они не страшились ни стужи, ни урагана. И мы сами были такими же, как собаки,— мы тоже не

страшились ни стужи, ни урагана. А когда люди племени пелли пришли на нашу землю, мы убивали их, и они убивали нас. Ибо мы были мужчинами, мы, люди племени Белая Рыба; наши отцы и отцы наших отцов сражались с племенем пелли и установили границы нашей земли.

Я сказал: бесстрашны были наши собаки, бесстрашны были и мы сами. Но однажды пришел к нам первый белый человек. Он полз по снегу на четвереньках — вот так. Кожа его была туго натянута, под кожей торчали кости. Мы никогда не видали такого человека, и мы удивлялись и гадали, из какого он племени и откуда пришел. Он был слаб, очень слаб, как маленький ребенок, и мы дали ему место у очага, подостлали ему теплые шкуры и накормили его, как кормят маленьких детей.

С ним пришла собака величиной с трех наших собак, она была тоже очень слаба. Шерсть у этой собаки была короткая и плохо грела, а хвост обморожен, так что конец у него отвалился. Мы накормили эту странную собаку, обогрели ее у очага и отогнали наших собак, иначе те разорвали бы ее.

От оленьего мяса и вяленой лососины к человеку и собаке понемногу вернулись силы, а набравшись сил, они растолстели и осмелели. Человек стал говорить громким голосом и смеяться над стариками и юношами и дерзко смотрел на девушек. А его собака дралась с нашими собаками, и, хотя шерсть у нее была мягкая и короткая, однажды она загрызла трех наших собак.

Когда мы спрашивали у этого человека, из какого он племени, он говорил: «У меня много братьев»,— и смеялся нехорошим смехом. А когда он совсем окреп, он ушел от нас, и с ним ушла Нода, дочь вождя. Вскоре после этого у нас ощенилась одна сука. Никогда мы не видали таких щенков — они были большеголовые, с сильными челюстями, с короткой шерстью и совсем беспомощные. Мой отец Отсбаок был могучий воин; и я помню, что, когда он увидел этих беспомощных щенков, лицо его потемнело от гнева, он схватил камень — вот так, а потом так — и щенков не стало. А через два лета после этого вернулась Нода и принесла на руках маленького мальчика.

Так оно и началось. Потом пришел второй белый человек с короткошерстыми собаками, он ушел, а собак оставил. Но он увел шесть самых сильных наших собак, за которых дал Ку-Со-Ти, брату моей матери, удивительный пистолет — шесть раз подряд и очень быстро стрелял этот пистолет. Ку-Со-Ти был горд таким пистолетом и смеялся над нашими луками и стрелами, он называл их женскими игрушками. С пистолетом в руке

он пошел на медведя. Теперь все знают, что не годится идти на медведя с пистолетом, но откуда нам было знать это тогда? И откуда мог знать это Ку-Со-Ти? Он очень смело пошел на медведя и быстро выстрелил в него из пистолета шесть раз подряд, а медведь только зарычал и раздавил грудь Ку-Со-Ти, как будто это было яйцо, и, как будто мед из пчелиного гнезда, растекся на земле его мозг. Он был умелый охотник, а теперь некому стало убивать дичь для его скво и детей. И мы все горевали, и мы сказали так: «Что хорошо для белых людей, то для нас плохо». И это правда. Белых людей много, белые люди толстые, а нас из-за них стало мало, и мы отощали.

И пришел третий белый человек, у него было много-много всякой удивительной пищи и всякого добра. Он сторговал у нас в обмен на эти богатства двадцать самых сильных наших собак. Он увел за собой, сманив подарками и обещаниями, десять наших молодых охотников, и никто не мог сказать, куда они ушли. Говорят, они погибли в снегах Ледяных Гор, где не бывал ни один человек, или на Холмах Безмолвия,— за краем земли. Так это или не так, но племя Белой Рыбы никогда не видало больше этих собак и молодых охотников.

Еще и еще приходили белые люди, приносили подарки и уводили с собой наших юношей. Иногда юноши возвращались назад, и мы слушали их удивительные рассказы о тяготах и опасностях, которые им пришлось испытать в далеких землях, что лежат за землей племени пелли, а иногда юноши и не возвращались. И мы сказали тогда: «Если белые люди ничего не боятся, так это потому, что их много, а нас, людей Белой Рыбы, мало, и наши юноши не должны больше уходить от нас». Но юноши все-таки уходили, уходили и девушки, и гнев наш рос.

Правда, мы ели муку и соленую свинину и очень любили пить чай; но если у нас недоставало чаю, это было очень плохо,— мы становились скупы на беседу и скоры на гнев. Так мы начали тосковать о вещах, которые белые люди привозили, чтобы торговать с нами. Торговать! Торговать! Мы только и думали, что о торговле! Однажды зимой мы отдали всю убитую дичь за часы, которые не шли, за тупые пилы и пистолеты без патронов. А потом наступил голод, у нас не было мяса, и четыре десятка людей умерло, не дождавшись весны.

«Теперь мы ослабели,— говорили мы,— племя пелли нападет на нас и захватит нашу землю». Но беда пришла не только к нам, пришла она и к племени пелли — там тоже люди ослабели и не могли воевать с нами.

Мой отец Отсбаок, могучий воин, был тогда очень стар и очень мудр. И он сказал вождю такие слова: «Посмотри, наши собаки никуда не годятся. У них уже нет густой шерсти, они утратили свою силу, они не могут ходить в упряжке и околевают от мороза. Давай убьем их, оставим одних только сук волчьей породы, а их отвяжем и отпустим на ночь в лес, чтобы они там спарились с дикими волками. И у нас опять будут сильные собаки с теплой шкурой».

И вождь послушался этих слов, и скоро племя Белой Рыбы прославилось своими собаками, лучшими во всем крае. Но только собаками — не людьми. Лучшие наши юноши и девушки уходили от нас с белыми людьми неведомо куда по дальним тропам и рекам. Девушки возвращались, как возвратилась Нода, хворыми и состарившимися, или не возвращались вовсе. А если возвращались юноши, то они недолго сидели у наших очагов. В своих странствиях они научались дурным речам и дерзким замашкам, пили дьявольское питье и день и ночь играли в карты; и по первому зову белого человека они вновь уходили в неведомые страны. Они забыли о долге уважения к старшим, никому не оказывали почета, они глумились над нашими старыми обычаями и смеялись в лицо и вождю и шаманам.

Я сказал, что мы, люди племени Белая Рыба, стали слабыми и немощными. Меха и теплые шкуры мы отдавали за табак, виски и одежду из тонкой бумажной ткани, в которой мы дрожали от холода. На нас напал кашель, болели мужчины и женщины, они кашляли и обливались потом всю ночь напролет, а охотники, выйдя в лес, харкали на снег кровью. То у одного, то у другого шла горлом кровь, и от этого люди быстро умирали. Детей женщины рождали редко, и дети рождались хилые и хворые. Белые люди принесли нам и другие непонятные болезни, о которых мы никогда не слыхали. Мне говорили, что эти болезни называются оспой и корью,— мы гибли от них, как гибнут в тихих протоках лососи, когда они осенью кончат метать икру и им больше незачем жить.

И вот самое удивительное: белые люди приносили нам смерть, все их обычаи вели к смерти, смертельно было дыхание их ноздрей, а сами они не знали смерти. У них и виски, и табак, и собаки с короткой шерстью; у них множество болезней, и оспа, и корь, и кашель, и кровохарканье; у них белая кожа, и они боятся стужи и урагана; у них глупые пистолеты, стреляющие шесть раз подряд. И, несмотря на все свои болезни, они жиреют и процветают, они наложили свою тяжелую руку

на весь мир и попирают все народы. А их женщины, нежные, как маленькие дети, такие хрупкие на вид и такие крепкие на самом деле,— матери больших и сильных мужчин. И выходит, что изнеженность, и болезни, и слабость обертываются силой, могуществом и властью. Белые люди либо боги, либо дьяволы— я не знаю. Да и что могу я знать, я, старый Имбер из племени Белая Рыба? Я знаю одно: их невозможно понять, этих белых людей, землепроходцев и воинов.

Я сказал, что дичи в лесах становилось меньше и меньше. Это правда, что ружье белого человека — очень хорошее ружье и бьет далеко, но какая польза в ружье, если нет дичи? Когда я был мальчиком, на земле племени Белая Рыба лось попадался на каждом холме, а сколько каждый год приходило оленей-карибу — этого не сосчитать. Теперь же охотник может идти по тропе десять дней, и ни один лось не порадует его глаз, а оленей-карибу, которых раньше было не сосчитать, теперь не стало вовсе. Я говорю: хоть ружье и бьет далеко, но мало от него пользы, если нечего бить.

И я, Имбер, думал об этом, видя, как погибает племя Белая Рыба, погибает племя пелли и все остальные племена края,— они погибали, как погибла в лесах дичь. Я думал долго. Я беседовал с шаманами и мудрыми стариками. Чтобы людской шум не мешал мне думать, я уходил из селения подальше в лес, а чтобы тяжесть желудка не давила на меня и не притупляла мое зрение и слух, я перестал есть мясо. Долго я просиживал в лесу, забывая о сне, мои глаза ожидали знака, а мои чуткие уши старались уловить слово, которое должно было все разрешить. Один я выходил темной ночью на берег реки, где стонал ветер и плакала вода,— там, среди деревьев, я хотел встретить тени старых мудрецов, умерших шаманов, и просить у них совета.

И в конце концов мне явилось видение — отвратительные собаки с короткой шерстью,— и я понял, что́ мне делать. По мудрости Отсбаока, моего отца и могучего воина, наши собаки сохранили в чистоте свою волчью породу, и у них были теплые шкуры и хватало силы для того, чтобы ходить в упряжке. И вот я вернулся в селение и сказал свое слово воинам. «Белые люди — это племя, очень большое племя,— сказал я.— В их земле не стало больше дичи, и они пришли на нашу землю, чтобы присвоить ее. Они сделали нас слабыми, и мы гибнем. Они очень жадные люди. И вот на нашей земле уже не стало дичи, и, если мы хотим жить, нам надо сделать с ними то же, что мы сделали с их собаками».

И я сказал еще много слов, я предлагал драться. А люди Белой Рыбы слушали меня, и один сказал одно, а другой другое, кое-кто говорил совсем глупые слова, и ни от одного воина не услышал я слов отваги и войны. Юноши были трусливы и слабы, как вода, но я заметил, что в глазах молчаливо сидящих стариков вспыхнул огонь. И вечером, когда селение уснуло, тайком я позвал стариков в лес и там снова беседовал с ними. И мы пришли к согласию, мы вспомнили дни нашей юности, дни изобилия, и радости, и солнца, когда наша земля была свободна. Мы назвали друг друга братьями, мы дали слово строго хранить тайну и великой клятвой поклялись очистить нашу землю от злого племени, которое пришло к нам. Теперь ясно, что это было глупо, но как мы могли это знать тогда — мы, старики племени Белая Рыба?

И чтобы подать пример другим и воодушевить их, я совершил первое убийство. Я залег на берегу Юкона и дождался там каноэ с белыми людьми. В нем сидели двое, и, когда они увидели, что я встал и поднял руку, они изменили направление и стали грести к берегу. Но как только человек, сидевший на носу, поднял голову, чтобы узнать, чего мне нужно от него, моя стрела пронеслась по воздуху и впилась ему прямо в горло, и он узнал тогда, чего мне от него нужно. Другой человек, тот, что сидел на корме и правил, не успел приложить к плечу ружье, как я пронзил его своим копьем, два копья у меня еще оставалось.

«Это первые,— сказал я подошедшим ко мне старикам.— Немного погодя мы объединим всех стариков всех племен, а потом и тех юношей, у которых есть еще в руках сила, и дело пойдет быстрее».

Потом мы бросили убитых белых людей в реку. А их каноэ — это было очень хорошее каноэ — мы сожгли, сожгли и все вещи, какие были в каноэ. Но прежде мы осмотрели эти вещи, а они были в кожаных сумках, и нам пришлось их распарывать ножами. В сумках было очень много бумаг — вроде тех, которые ты читал, о Хаукан,— и все они покрыты знаками; мы дивились на эти знаки и не могли понять их. Теперь я стал мудрее и понимаю их: это, как ты сказал мне,— слова человека...

Едва Хаукан перевел рассказ об убийстве двух человек в каноэ, как наполнявшая комнату толпа заволновалась и зажужжала.

— Это почта, которая пропала в девяносто первом году! — раздался чей-то голос.— Ее везли Питер Джеймс и Дилэни; их обоих в последний раз видел Мэттьюз у озера Ла-Барж.

Клерк усердно записывал, и к истории Севера прибавилась новая глава.

— Мне осталось сказать немного,— медленно произнёс Имбер.— На бумаге есть все, что мы совершили. Мы, старики,— мы не понимали, что делали. Храня тайну, мы убивали и убивали; мы убивали хитро, ибо прожитые годы научили нас делать свое дело не спеша, но быстро. Однажды пришли к нам белые люди, они глядели на нас сердитыми глазами и говорили нам бранные слова, шести нашим юношам они заковали руки в железо и увели с собой. Тогда мы поняли, что мы должны убивать еще хитрее и еще больше. И мы, старики, один за другим уходили вверх и вниз по реке в неведомые края. Для такого дела требовалась смелость. Хотя мы были стары и уже ничего не боялись, все же страх перед далекими, чужими краями — великий страх для стариков.

Так мы убивали — не торопясь и с большой хитростью. Мы убивали и на Чилкуте, и у Дельты, на горных перевалах, и на морском берегу — везде, где только разбивал свою стоянку или прокладывал тропу белый человек. Да, белые люди умирали, но для нас это было бесполезно. Они все приходили и приходили из-за гор, их становилось все больше и больше, а нас, стариков, оставалось все меньше. Я помню, у Оленьего перевала разбил стоянку один белый человек. Этот человек был очень маленького роста, и три наших старика напали на него, когда он спал. На следующий день я наткнулся и на этого белого, и на стариков. Из всех четверых еще дышал один лишь белый человек, и у него даже хватило силы, пока он не умер, изругать и проклясть меня.

Так вот и было: сегодня погибнет один старик, а завтра другой. Иногда, уже спустя много времени, к нам доходила весть о смерти кого-нибудь из наших, а иногда и не доходила. А старики других племен были слабы и трусливы и не хотели помогать нам. Итак, сегодня погибал один старик, завтра другой,— и вот остался только я. Я, Имбер, из племени Белая Рыба. Мой отец был Отсбаок, могучий воин. Теперь уже нет племени Белая Рыба. Я последний старик этого племени. А юноши и молодые женщины ушли с нашей земли — кто к племени пелли, кто к племени Лососей, а больше всего — к белым людям. Я очень стар и очень устал, я напрасно боролся с Законом, и ты прав, Хаукан,— я пришел сюда в поисках Закона.

— Ты поистине глупец, о Имбер,— сказал Хаукан.

Но Имбер уже не слышал, погрузившись в свои видения. Широколобый судья тоже был погружен в видения: перед его

взором величественно проходила вся его раса — закованная в сталь, одетая в броню, устанавливающая законы и определяющая судьбы других народов. Он видел зарю ее истории, встающую багровыми отсветами над темными лесами и простором угрюмых морей. Он видел, как эта заря разгорается кроваво-красным пламенем, переходя в торжественный, сияющий полдень, видел, как за склоном, тронутым тенью, уходят в ночь багряные, словно кровью пропитанные пески... И за всем этим ему мерещился Закон, могучий и беспощадный, непреложный и грозный, более сильный, чем те ничтожные человеческие существа, которые действуют его именем или погибают под его тяжестью,— более сильный, чем он, судья, чье сердце просило о снисхождении.

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз.

— Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике,— сказал один.

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего ему не ответил.

Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная, как лед,— такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору.

Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова,— он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего спутника: тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь.

Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул:

— Слушай, Билл, я вывихнул ногу!

Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя.

Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка.

— Билл! — крикнул он.

Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованной гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остался один после ухода Билла.

Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видное сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал часы. Было уже четыре. Последние недели две он сбился со счета; так как стоял конец июля или начало августа, то он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными холмами, лежит Большое Медвежье озеро и что в том же направлении проходит по канадской равнине страшный путь Полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн, а Коппермайн течет также на север и впадает в залив Коронации, в Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел однажды эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни,— и в его глазах появилось выражение страха.

— Билл! — прошептал он и повторил опять: — Билл!

Он присел на корточки посреди мутного ручья, словно бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило

его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье, потом передвинул тюк ближе к левому плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно пошел к берегу, морщась от боли.

Он шел не останавливаясь. Не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью, он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл,— и сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем хромой, едва ковылявший Билл. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет! На него снова напал страх, и, снова поборов его, он передвинул тюк еще дальше к левому плечу и, хромая, стал спускаться вниз.

Дно долины было болотистое, вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлюпаньем отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озерка к озерку, по камням, торчавшим во мху, как островки.

Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного — и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озеро Титчинничили, что на местном языке означает: «Страна Маленьких Палок». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш — это он хорошо помнил,— но деревьев там нет, и он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От водораздела начинается другой ручей, текущий на запад; он спустится по нему до реки Диз и там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть — все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука — правда, немного, и кусок грудинки, и бобы.

Билл подождет его там, и они вдвоем спустятся по реке Диз до Большого Медвежьего озера, а потом переправятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, пока не доберутся до реки Маккензи. На юг, все на юг,— а зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней,— на юг, к какой-нибудь фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья и где сколько хочешь еды.

Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь вперед. Но как ни трудно было ему идти, еще труднее было уверить себя в том, что Билл его не бросил, что Билл, конечно, ждет его у тайника. Он должен был так думать, иначе не имело никакого смысла бороться дальше,— оставалось только лечь на землю и

умереть. И пока тусклый диск солнца медленно скрывался на северо-западе, он успел рассчитать — и не один раз — каждый шаг того пути, который предстоит проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем тайнике и запасы на складе Компании Гудзонова залива. Он ничего не ел уже два дня, но еще дольше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту,— оставалось только горькое жесткое семя. Он знал, что ими не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что надежда не хочет считаться с опытом.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о камень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Довольно долго он лежал на боку, не шевелясь: потом высвободился из ремней, неловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в сумеречном свете он стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охапку, он развел костер — тлеющий, дымный костер — и поставил на него котелок с водой.

Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не ошибиться, он пересчитывал три раза. Он разделил их на три кучки и каждую завернул в пергамент; один сверток он положил в пустой кисет, другой — за подкладку изношенной шапки, а третий — за пазуху. Когда он проделал все это, ему вдруг стало страшно; он развернул все три свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему шестьдесят семь.

Он просушил мокрую обувь у костра. От мокасин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки прохудились насквозь, и ноги у него были стерты до крови. Лодыжка сильно болела, и он осмотрел ее: она распухла, стала почти такой же толстой, как колено. Он оторвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку, оторвал еще несколько полос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины, потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись одеялом.

Он спал как убитый. К полуночи стемнело, но ненадолго. Солнце взошло на северо-востоке — вернее, в той стороне начало светать, потому что солнце скрывалось за серыми тучами.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел на серое небо и почувствовал, что голоден. Повернувшись и приподнявшись на локте, он услышал громкое фырканье и увидел большого оленя, который настороженно и с любопытством смотрел на него. Олень стоял от него шагах в пятидесяти, не

больше, и ему сразу представился запах и вкус оленины, шипящей на сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье, прицелился и нажал курок. Олень всхрапнул и бросился прочь, стуча копытами по камням.

Он выругался, отшвырнул ружье и со стоном попытался встать на ноги. Это удалось ему с большим трудом и не скоро. Суставы у него словно заржавели, и согнуться или разогнуться стоило каждый раз большого усилия воли. Когда он наконец поднялся на ноги, ему понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и стать прямо, как полагается человеку.

Он взобрался на небольшой холмик и осмотрелся кругом. Ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны, серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое. Ни солнечного луча, ни проблеска солнца! Он потерял представление, где находится север, и забыл, с какой стороны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути. Это он знал. Скоро он придет в Страну Маленьких Палок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда — быть может, за следующим пологим холмом.

Он вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному; проверил, целы ли его три свертка со спичками, но не стал их пересчитывать. Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком из оленьей кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между ладонями, но весил пятнадцать фунтов — столько же, сколько все остальное,— и это его тревожило. Наконец он отложил мешочек в сторону и стал свертывать тюк; потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и вызывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела отнять у него золото. И когда он поднялся на ноги и поплелся дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной.

Он свернул налево и пошел, время от времени останавливаясь и срывая болотные ягоды. Нога у него одеревенела, он стал хромать сильнее, но эта боль ничего не значила по сравнению с болью в желудке. Голод мучил его невыносимо. Боль все грызла и грызла его, и он уже не понимал, в какую сторону надо идти, чтобы добраться до Страны Маленьких Палок. Ягоды не утоляли грызущей боли, от них только щипало язык и нёбо.

Когда он дошел до небольшой ложбины, навстречу ему с камней и кочек поднялись белые куропатки, шелестя крыльями и крича: кр, кр, кр... Он бросил в них камнем, но промахнулся. Потом, положив тюк на землю, стал подкрадываться к ним ползком, как кошка подкрадывается к воробьям. Штаны у него

порвались об острые камни, от колен тянулся кровавый след, но он не чувствовал этой боли,— голод заглушал ее. Он полз по мокрому мху; одежда его намокла, тело зябло, но он не замечал ничего, так сильно терзал его голод. А белые куропатки все вспархивали вокруг него, и наконец это «кр, кр» стало казаться ему насмешкой; он выругал куропаток и начал громко передразнивать их крик.

Один раз он чуть не наткнулся на куропатку, которая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока она не вспорхнула ему прямо в лицо из своего убежища среди камней. Как ни быстро вспорхнула куропатка, он успел схватить ее таким же быстрым движением — и в руке у него осталось три хвостовых пера. Глядя, как улетает куропатка, он чувствовал к ней такую ненависть, будто она причинила ему страшное зло. Потом он вернулся к своему тюку и взвалил его на спину.

К середине дня он дошел до болота, где дичи было больше. Словно дразня его, мимо прошло стадо оленей, голов в двадцать,— так близко, что их можно было подстрелить из ружья. Его охватило дикое желание бежать за ними, он был уверен, что догонит стадо. Навстречу ему попалась черно-бурая лисица с куропаткой в зубах. Он закричал. Крик был страшен, но лисица, отскочив в испуге, все же не выпустила добычи.

Вечером он шел по берегу мутного от извести ручья, поросшего редким камышом. Крепко ухватившись за стебель камыша у самого корня, он выдернул что-то вроде луковицы, не крупнее обойного гвоздя. Луковица оказалась съедобная и аппетитно хрустела на зубах. Но волокна были жесткие, такие же водянистые, как ягоды, и не насыщали. Он сбросил свою поклажу и на четвереньках пополз в камыши, хрустя и чавкая, словно жвачное животное.

Он очень устал, и его часто тянуло лечь на землю и уснуть; но желание дойти до Страны Маленьких Палок, а еще больше голод не давали ему покоя. Он искал лягушек в озерах, копал руками землю в надежде найти червей, хотя знал, что так далеко на Севере не бывает ни червей, ни лягушек.

Он заглядывал в каждую лужу и наконец с наступлением сумерек увидел в луже одну-единственную рыбку величиной с пескаря. Он опустил в воду правую руку по самое плечо, но рыба от него ускользнула. Тогда он стал ловить ее обеими руками, поднял всю муть со дна. От волнения он оступился, упал в воду и вымок до пояса. Он так замутил воду, что рыбку нельзя было разглядеть, и ему пришлось дожидаться, пока муть осядет на дно.

Он опять принялся за ловлю и ловил, пока вода опять не замутилась. Больше ждать он не мог. Отвязав жестяное ведерко, он начал вычерпывать воду. Сначала он вычерпывал с яростью, весь облился и выплескивал воду так близко к луже, что она стекала обратно. Потом стал черпать осторожнее, стараясь быть спокойным, хотя сердце у него сильно билось и руки дрожали. Через полчаса в луже почти не осталось воды. Со дна уже ничего нельзя было зачерпнуть. Но рыба исчезла. Он увидел незаметную расщелину среди камней, через которую рыбка проскользнула в соседнюю лужу, такую большую, что ее нельзя было вычерпать и за сутки. Если б он заметил эту щель раньше, он с самого начала заложил бы ее камнем, и рыба досталась бы ему.

В отчаянии он опустился на мокрую землю и заплакал. Сначала он плакал тихо, потом стал громко рыдать, будя безжалостную пустыню, которая окружала его; и долго еще он плакал без слез, сотрясаясь от рыданий.

Он развел костер и согрелся, выпив много кипятку, потом устроил себе ночлег на каменистом выступе, так же как и в прошлую ночь. Перед сном он проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одеяла были сырые и холодные на ощупь. Вся нога горела от боли, как в огне. Но он чувствовал только голод, и ночью ему снились пиры, званые обеды и столы, заставленные едой.

Он проснулся озябший и больной. Солнца не было. Серые краски земли и неба стали темней и глубже. Дул резкий ветер, и первый снегопад выбелил холмы. Воздух словно сгустился и побелел, пока он разводил костер и кипятил воду. Это повалил мокрый снег большими влажными хлопьями. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая землю, и наконец весь собранный им мох отсырел и костер погас.

Это было ему сигналом снова взвалить тюк на спину и брести вперед, неизвестно куда. Он уже не думал ни о Стране Маленьких Палок, ни о Билле, ни о тайнике у реки Диз. Им владело только одно желание: есть! Он помешался от голода. Ему было все равно, куда идти, лишь бы идти по ровному месту. Под мокрым снегом он ощупью искал водянистые ягоды, выдергивал стебли камыша с корнями. Но все это было пресно и не насыщало. Дальше ему попалась какая-то кислая на вкус травка, и он съел, сколько нашел, но этого было очень мало, потому что травка стлалась по земле и ее нелегко было найти под снегом.

В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды, и он залез под одеяло и уснул тревожным от голода сном. Снег превратился в холодный дождь. Он то и дело просыпался, чувствуя, что дождь мочит ему лицо. Наступил день — серый день без солнца. Дождь перестал. Теперь чувство голода у путника притупилось. Осталась тупая, ноющая боль в желудке, но это его не очень мучило. Мысли у него прояснились, и он опять думал о Стране Маленьких Палок и о своем тайнике у реки Диз.

Он разорвал остаток одного одеяла на полосы и обмотал стертые до крови ноги, потом перевязал больную ногу и приготовился к дневному переходу. Когда дело дошло до тюка, он долго глядел на мешочек из оленьей кожи, но в конце концов захватил его.

Дождь растопил снег, и только верхушки холмов оставались белыми. Проглянуло солнце, и путнику удалось определить стороны света, хотя теперь он знал, что сбился с пути. Должно быть, блуждая в эти последние дни, он отклонился слишком далеко влево. Теперь он свернул вправо, чтобы выйти на правильный путь.

Муки голода уже притупились, но он чувствовал, что ослаб. Ему приходилось часто останавливаться и отдыхать, собирая болотные ягоды и луковицы камыша. Язык у него распух, стал сухим, словно шерстистым, и во рту был горький вкус. А больше всего его донимало сердце. После нескольких минут пути оно начинало безжалостно стучать, а потом словно подскакивало и мучительно трепетало, доводя его до удушья и головокружения, чуть не до обморока.

Около полудня он увидел двух пескарей в большой луже. Вычерпать воду было немыслимо, но теперь он стал спокойнее и ухитрился поймать их жестяным ведерком. Они были с мизинец длиной, не больше, но ему не особенно хотелось есть. Боль в желудке все слабела, становилась все менее острой, как будто желудок дремал. Он съел рыбок сырыми, старательно их разжевывая, и это было чисто рассудочным действием. Есть ему не хотелось, но он знал, что это нужно, чтобы остаться в живых.

Вечером он поймал еще трех пескарей, двух съел, а третьего оставил на завтрак. Солнце высушило изредка попадавшиеся клочки мха, и он согрелся, вскипятив себе воды. В этот день он прошел не больше десяти миль, а на следующий, двигаясь, только когда позволяло сердце,— не больше пяти. Но боли в желудке уже не беспокоили его; желудок словно уснул.

Местность была ему теперь незнакома, олени попадались все чаще и волки тоже. Очень часто их вой доносился до него из пустынной дали, а один раз он видел трех волков, которые, крадучись, перебегали ему дорогу.

Еще одна ночь, и наутро, образумившись наконец, он развязал ремешок, стягивавший кожаный мешочек. Из него желтой струйкой посыпался крупный золотой песок и самородки. Он разделил золото пополам, одну половину спрятал на видном издалека выступе скалы, завернув в кусок одеяла, а другую всыпал обратно в мешок. Свое последнее одеяло он тоже пустил на обмотки для ног. Но ружье он все еще не бросал, потому что в тайнике у реки Диз лежали патроны.

День выдался туманный. В этот день в нем снова пробудился голод. Путник очень ослабел, и голова у него кружилась так, что по временам он ничего не видел. Теперь он постоянно спотыкался и падал и однажды свалился прямо на гнездо куропатки. Там было четыре только что вылупившихся птенца, не старше одного дня; каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с жадностью, запихивая в рот живыми: они хрустели у него на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать с громким криком летала вокруг него. Он хотел подшибить ее прикладом ружья, но она увернулась. Тогда он стал бросать в нее камнями и перебил ей крыло. Куропатка бросилась от него прочь, вспархивая и волоча перебитое крыло, но он не отставал.

Птенцы только раздразнили его голод. Неуклюже подскакивая и припадая на больную ногу, он то бросал в куропатку камнями и хрипло вскрикивал, то шел молча, угрюмо и терпеливо поднимаясь после каждого падения, и тер рукой глаза, чтобы отогнать головокружение, грозившее обмороком.

Погоня за куропаткой привела его в болотистую низину, и там он заметил — человеческие следы на мокром мху. Следы были не его — это он видел. Должно быть, следы Билла. Но он не мог остановиться, потому что белая куропатка убегала все дальше. Сначала он поймает ее, а потом уже вернется рассмотрит следы.

Он загнал куропатку, но и сам обессилел. Она лежала на боку, тяжело дыша, и он тоже, тяжело дыша, лежал в десяти шагах от нее, не в силах подползти ближе. А когда он отдохнул, она тоже собралась с силами и упорхнула от его жадно протянутой руки. Погоня началась снова. Но тут стемнело, и птица скрылась. Споткнувшись от усталости, он упал с тюком

на спине и поранил себе щеку. Он долго не двигался, потом повернулся на бок, завел часы и пролежал так до утра.

Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на обмотки. Следы Билла ему не удалось найти, но теперь это было неважно. Голод упорно гнал его вперед. Но что, если... если Билл тоже заблудился? К полудню он совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру он выбросил и другую половину, оставив себе только обрывок одеяла, жестяное ведерко и ружье.

Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он был уверен, что у него остался один патрон,— ружье заряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно преследовала его. Он боролся с ней часами, потом осмотрел магазин и убедился, что никакого патрона в нем нет. Разочарование было так сильно, словно он и в самом деле ожидал найти там патрон.

Прошло около получаса, потом навязчивая мысль вернулась к нему снова. Он боролся с ней, и не мог побороть, и, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмотрел ружье. По временам рассудок его мутился, и он продолжал брести дальше бессознательно, как автомат; странные мысли и нелепые представления точили его мозг, как черви. Но он быстро приходил в сознание,— муки голода постоянно возвращали его к действительности. Однажды его привело в себя зрелище, от которого он тут же едва не упал без чувств. Он покачнулся и зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах. Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он не верил своим глазам. Их заволакивал густой туман, пронизанный яркими точками света. Он стал яростно тереть глаза и, когда зрение прояснилось, увидел перед собой не лошадь, а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с недружелюбным любопытством.

Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился. Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из шитых бисером ножен. Перед ним было мясо и — жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится на медведя и убьет его. Но сердце заколотилось, словно предостерегая: тук, тук, тук,— потом бешено подскочило кверху и дробно затрепетало; лоб сдавило, словно железным обручем, и в глазах потемнело.

Отчаянную храбрость смыло волной страха. Он так слаб — что будет, если медведь нападет на него? Он выпрямился во весь рост как можно внушительнее, выхватил нож и посмотрел

медведю прямо в глаза. Зверь неуклюже шагнул вперед, поднялся на дыбы и зарычал. Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы за ним. Но человек не двинулся с места, осмелев от страха; он тоже зарычал, свирепо, как дикий зверь, выражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями.

Медведь отступил в сторону, угрожающе рыча, в испуге перед этим таинственным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался. Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала, а потом, весь дрожа, словно в лихорадке, повалился на мокрый мох.

Собравшись с силами, он пошел дальше, терзаясь новым страхом. Это был уже не страх голодной смерти: теперь он боялся умереть насильственной смертью, прежде чем последнее стремление сохранить жизнь заглохнет в нем от голода. Кругом были волки. Со всех сторон в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух вокруг дышал угрозой так неотступно, что он невольно поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище колеблемой ветром палатки.

Волки по двое и по трое то и дело перебегали ему дорогу. Но они не подходили близко. Их было не так много; кроме того, они привыкли охотиться за оленями, которые не сопротивлялись им, а это странное животное ходило на двух ногах и, должно быть, царапалось и кусалось.

К вечеру он набрел на кости, разбросанные там, где волки настигли свою добычу. Час тому назад это был живой олененок, он резво бегал и мычал. Человек смотрел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розовые, оттого что в их клетках еще не угасла жизнь. Может быть, к концу дня и от него останется не больше? Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть — уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать?

Но он не долго рассуждал. Вскоре он уже сидел на корточках, держа кость в зубах и высасывая из нее последние частицы жизни, которые еще окрашивали ее в розовый цвет. Сладкий вкус мяса, еле слышный, неуловимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его зубы. Потом он стал дробить кости камнем, размалывая их в кашу, и глотать с жадностью. Второпях он попадал себе по пальцам и все-таки, несмотря на спешку, находил время удивляться, почему он не чувствует боли от ударов.

Наступили страшные дни дождей и снега. Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди. Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше. Нервы его притупились, словно оцепенели, в мозгу теснились странные видения, радужные сны.

Он, не переставая, сосал и жевал раздробленные кости, которые подобрал до последней крошки и унес с собой. Больше он уже не поднимался на холмы, не пересекал водоразделов, а брел по отлогому берегу большой реки, которая текла по широкой долине. Перед его глазами были только видения. Его душа и тело шли рядом и все же порознь — такой тонкой стала нить, связывающая их.

Он пришел в сознание однажды утром, лежа на плоском камне. Ярко светило и пригревало солнце. Издали ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил дождь, ветер и снег, но сколько времени его преследовала непогода — два дня или две недели,— он не знал.

Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце лило на него свои лучи, напитывая теплом его жалкое тело. «Хороший день»,— подумал он. Быть может, ему удастся определить направление по солнцу. Сделав мучительное усилие, он повернулся на бок. Там, внизу, текла широкая, медлительная река. Она была ему незнакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее течением, смотрел, как она вьется среди голых, угрюмых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, которые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без всякого интереса он проследил за течением незнакомой реки почти до самого горизонта и увидел, что она вливается в светлое блистающее море. И все же это его не взволновало. «Очень странно,— подумал он,— это или мираж, или видение, плод расстроенного воображения». Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль, стоящий на якоре посреди блистающего моря. Он закрыл глаза на секунду и снова открыл их. Странно, что видение не исчезает! А впрочем, нет ничего странного. Он знал, что в сердце этой бесплодной земли нет ни моря, ни кораблей, так же как нет патронов в его незаряженном ружье.

Он услышал за своей спиной какое-то сопение — не то вздох, не то кашель. Очень медленно, преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на другой бок. Поблизо-

сти он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышались сопение и кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше чем шагах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. Уши не торчали кверху, как это ему приходилось видеть у других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк, верно, был болен: он все время чихал и кашлял.

«Вот это, по крайней мере, не кажется»,— подумал он и опять повернулся на другой бок, чтобы увидеть настоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но море все так же сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он закрыл глаза и стал думать — и в конце концов понял, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Эта широкая, медлительная река и была Коппермайн. Это блистающее море — Ледовитый океан. Этот корабль — китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Маккензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую видел когда-то, и все стало ясно и понятно.

Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. Ружье и нож он потерял. Шапка тоже пропала и вместе с ней спички, спрятанные за подкладку, но спички в кисете и за пазухой, завернутые в пергамент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они все еще шли и показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их.

Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал никакой боли. Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он ни делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими ступни. Ведерко он почему-то не бросил: надо будет выпить кипятку, прежде чем начать путь к кораблю — очень тяжелый, как он предвидел.

Все его движения были медленны. Он дрожал, как в параличе. Он хотел набрать сухого мха, но не смог подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и в конце концов пополз на четвереньках. Один раз он подполз очень близко к больному волку. Зверь неохотно посторонился и облизнул морду, насилу двигая языком. Человек заметил, что язык был не здорового, красного цвета, а желтовато-бурый, покрытый полузасохшей слизью.

Выпив кипятку, он почувствовал, что может подняться на ноги и даже идти, хотя силы его были почти на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими же слабыми, неверными шагами тащился за ним волк.

И в эту ночь, когда блистающее море скрылось во тьме, человек понял, что приблизился к нему не больше чем на четыре мили.

Ночью он все время слышал кашель больного волка, а иногда крики оленят. Вокруг была жизнь, но жизнь, полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк тащился по следам больного человека в надежде, что этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на заморенную унылую собаку, стоял, понурив голову и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота.

Взошло яркое солнце, и все утро путник, спотыкаясь и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра.

После полудня он напал на след. Это был след другого человека, который не шел, а тащился на четвереньках. Он подумал, что это, возможно, след Билла, но подумал вяло и равнодушно. Ему было все равно. В сущности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться. Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела гибнуть; и потому, что она не хотела гибнуть, человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз.

Он шел по следам другого человека, того, который тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его пути: обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из оленьей кожи — такой же, какой был у него,— разорванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую тяжесть. Билл не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще посмеется над Биллом. Он останется жив и возьмет мешочек на корабль, который стоит посреди блистающего моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье ворона, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Человек

сразу замолчал. Как же он будет смеяться над Биллом, если это Билл, если эти бело-розовые, чистые кости — все, что осталось от Билла?

Он отвернулся. Да, Билл его бросил, но он не возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше.

Он набрел на маленькое озерко. И, наклонившись над ним в поисках пескарей, отшатнулся, словно ужаленный. Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение было так страшно, что пробудило даже его отупевшую душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было велико, и он не мог вычерпать его до дна; он попробовал поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и утонет. По этой же причине он не отважился плыть по реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных отмелях.

В этот день он сократил на три мили расстояние между собой и кораблем, а на следующий день — на две мили; теперь он полз на четвереньках, как Билл. К концу пятого дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабье лето еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал без чувств, и по его следам все так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до живого мяса и ступни тоже, и хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, что волк с жадностью лижет этот кровавый след, и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни: больной человек на четвереньках и больной волк, ковылявший за ним,— оба они, полумертвые, тащились через пустыню, подстерегая друг друга.

Будь то здоровый волк, человек не стал бы так сопротивляться, но ему было неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали. Ему стало противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые промежутки становились все короче и реже.

Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым ухом. Волк отпрыгнул назад, споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на минуту прояснились, и он лежал, раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его

совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком много. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней.

Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чувству дурноты, затопившему, словно прилив, все его существо. Это чувство поднималось волной и мутило сознание. Временами он словно тонул, погружаясь в забытье и силясь выплыть, но каким-то необъяснимым образом остатки воли помогали ему снова выбраться на поверхность.

Он лежал на спине неподвижно и слышал, как хриплое дыхание волка приближается к нему. Оно ощущалось все ближе и ближе, время тянулось без конца, но человек не пошевельнулся ни разу. Вот дыхание слышно над самым ухом. Жесткий сухой язык царапнул его щеку, словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись кверху — по крайней мере, он хотел их вскинуть,— пальцы согнулись, как когти, но схватили пустоту. Для быстрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него не было.

Волк был терпелив, но и человек был терпелив не меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с забытьем и сторожа волка, который хотел его съесть и которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени волна забытья захлестывала его, и он видел долгие сны; но все время, и во сне и наяву, он ждал, что вот-вот услышит хриплое дыхание и его лизнет шершавый язык.

Дыхания он не услышал, но проснулся оттого, что шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее — волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и человек ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью челюсть. И в то время как волк слабо отбивался, а рука так же слабо сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хватало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и человек

почувствовал что в горло ему сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек перекатился на спину и уснул.

На китобойном судне «Бедфорд» ехало несколько человек из научной экспедиции. С палубы они заметили какое-то странное существо на берегу. Оно ползло к морю, едва передвигаясь по песку. Ученые не могли понять, что это такое, и, как подобает естествоиспытателям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели живое существо, но вряд ли его можно было назвать человеком. Оно ничего не слышало, ничего не понимало и корчилось на песке, словно гигантский червяк. Ему почти не удавалось продвинуться вперед, но оно не отступало и, корчась и извиваясь, продвигалось вперед шагов на двадцать в час.

Через три недели, лежа на койке китобойного судна «Бедфорд», человек со слезами рассказывал, кто он такой и что ему пришлось вынести. Он бормотал что-то бессвязное о своей матери, о Южной Калифорнии, о домике среди цветов и апельсинных деревьев.

Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом вместе с учеными и капитаном в кают-компании корабля. Он радовался изобилию пищи, тревожно провожал взглядом каждый кусок, исчезавший в чужом рту, и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в здравом уме, но чувствовал ненависть ко всем сидевшим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он расспрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого капитана. Они без конца успокаивали его, но он никому не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы убедиться собственными глазами.

Стали замечать, что он поправляется. Он толстел с каждым днем. Ученые качали головой и строили разные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все раздавался в ширину, особенно в поясе.

Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело. А когда ученые стали следить за ним, им тоже стало все ясно. После завтрака он прокрадывался на бак и, словно нищий, протягивал руку кому-нибудь из матросов. Тот ухмылялся и подавал ему кусок морского сухаря. Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга на золото, и прятал за пазуху. Такие же подачки, ухмыляясь, давали ему и другие матросы.

Ученые промолчали и оставили его в покое. Но они осмотрели потихоньку его койку. Она была набита сухарями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только принимал меры на случай голодовки — вот и все. Ученые сказали, что это должно пройти. И это действительно прошло, прежде чем «Бедфорд» стал на якорь в гавани Сан-Франциско.

ОТСТУПНИК

Вот я на работу дневную иду.
Господь, укрепи мои мышцы к труду.
А если мне смерть суждена, я творца
Молю дать работу свершить до конца.
Аминь.

— Джонни, вставай сейчас же, а то есть не дам!

Угроза не возымела действия на мальчика. Он упорно не хотел просыпаться, цепляясь за сонное забытье, как мечтатель цепляется за свою мечту. Руки его пытались сжаться в кулаки, и он наносил по воздуху слабые, беспорядочные удары. Удары предназначались матери, но она с привычной ловкостью уклонялась от них и сильно трясла его за плечо.

— Н-ну тебя!..

Сдавленный крик, начавшись в глубинах сна, быстро вырос в яростный вопль, потом замер и перешел в невнятное хныканье. Это был звериный крик, крик души, терзаемой в аду, полный бесконечного возмущения и муки.

Но мать не обращала на него внимания. Эта женщина с печальными глазами и усталым лицом привыкла к своей ежедневной обязанности. Она ухватилась за одеяло и попыталась стянуть его с мальчика, но он, перестав колотить кулаками, отчаянно вцепился в него. Сжавшись в комок в ногах кровати, он не желал расставаться с одеялом. Тогда мать попробовала стащить всю постель на пол. Мальчик сопротивлялся. Она тянула изо всех сил. Перевес был на ее стороне, постель поползла на пол вместе с мальчиком, который инстинктивно держался за нее, спасаясь от холода нетопленной комнаты.

Он повис на краю кровати и, казалось, вот-вот свалится на пол головой вперед. Но сознание его уже пробудилось. Он выпрямился и сохранил равновесие, потом спустил ноги на пол. Тут он снова выбросил кулаки, на этот раз с большей силой и

меткостью. Глаза мальчика открылись. Мать отпустила его,— он проснулся.

— Ладно,— пробормотал он.

Мать взяла лампу и поспешно вышла, оставив его в темноте.

— Вычтут, будешь знать! — бросила она, уходя.

Темнота ему не мешала. Одевшись, он вышел на кухню. Поступь у него была слишком грузная для такого худого, щуплого тела. Ноги тяжело волочились, и это казалось странным: очень уж они были тоненькие и костлявые. Он придвинул к столу продавленный стул.

— Джонни! — резко окликнула его мать.

Он так же резко поднялся и молча пошел к раковине. Она была грязная и сальная, из отверстия шел скверный запах. Мальчик не замечал этого. Зловонная раковина была для него в порядке вещей, так же как и то, что в мыло въелась грязь от кухонной посуды и оно плохо мылилось. Да он и не очень-то старался намылиться. Несколько пригоршней холодной воды из-под крана довершили умывание. Зубов он не чистил. Он даже никогда не видал зубной щетки и не подозревал, что существуют на свете люди, способные на такую глупость, как чистка зубов.

— Хоть бы раз в день сам догадался помыться,— упрекнула его мать.

Придерживая на кофейнике разбитую крышку, она налила две чашки кофе. Джонни не отвечал на ее упрек, ибо это являлось вечной темой разговоров и единственным, в чем мать была тверда, как кремень. «Хоть раз в день» умыть лицо считалось обязательным. Джонни утерся засаленным, рваным полотенцем, от которого на лице у него остались волокна.

— Уж очень мы далеко живем,— сказала мать, когда он сел к столу.— Да все ведь думаешь, как лучше. Сам знаешь. Зато тут попросторней и на доллар дешевле, а он тоже на улице не валяется. Сам знаешь.

Он едва слушал ее. Все это говорилось уже много раз. Круг ее мыслей был ограничен, и она вечно возвращалась к тому, как неудобно им жить так далеко от фабрики.

— Доллар — это, значит, еды прибавится,— заметил он рассудительно.— Лучше пройтись, да зато поесть побольше.

Он торопливо ел хлеб, запивая непрожеванные куски горячим кофе. За кофе сходила горячая мутная жидкость, но Джонни считал, что это кофе — и превосходный. Это была одна из немногих сохранившихся у него иллюзий. Настоящего кофе он не пил ни разу в жизни.

В добавление к хлебу он получил еще кусочек холодной свинины. Мать налила ему вторую чашку. Доедая хлеб, он зорко следил, не дадут ли еще. Мать перехватила его выжидающий взгляд.

— Не будь обжорой,— сказала она.— Ты свою долю получил. А что младшим останется?

Джонни ничего не ответил на ее упрек. Он вообще не отличался словоохотливостью. Но его голодный взгляд больше не выпрашивал добавки. Мальчик не жаловался, и эта покорность была так же страшна, как и школа, где его этому обучили. Он допил кофе, вытер рот и встал со стула.

— Погоди-ка,— поспешно сказала мать.— Еще один тоненький ломтик, пожалуй, можно отрезать от краюхи.

Это была просто ловкость рук. Делая вид, что отрезает ломоть от краюхи, мать убрала ее в хлебную корзинку, а ему подсунула один из своих двух кусков. Она думала, что обманула сына, но он заметил ее хитрость и все же без зазрения совести взял хлеб. Он считал, что мать, при ее болезненности, все равно много не съест.

Мать, увидев, что он жует сухой хлеб, потянулась через стол и вылила ему кофе из своей чашки.

— Что-то мутит меня сегодня от него,— пояснила она.

Отдаленный гудок, пронзительный и протяжный, заставил обоих вскочить. Мать взглянула на жестяной будильник, стоявший на полке. Стрелки показывали половину шестого. Весь фабричный люд сейчас еще только пробуждался от сна. Она накинула на плечи шаль и надела старую, помятую, засаленную шляпку.

— Придется бегом,— сказала она, прикручивая фитиль и задувая огонь.

Они ощупью вышли из комнаты и спустились по лестнице. День был ясный, морозный, и Джонни поежился, когда его охватило холодным воздухом. Звезды еще не начали бледнеть, и город был погружен во тьму. Джонни и его мать тащились пешком, тяжело волоча ноги. Чтобы твердо ступать по земле, им не хватало сил.

Минут пятнадцать они шли молча, потом мать свернула вправо.

— Смотри не опоздай! — донеслось из темноты ее последнее предостережение.

Он не ответил, продолжая идти своей дорогой. Во всех домах фабричного квартала отворялись двери, и скоро Джонни влился в толпу, двигавшуюся в темноте. Когда он входил в фабричные ворота, раздался второй гудок. Он взглянул на восток.

Над ломаной линией крыш небо начало слегка светлеть. Вот и весь дневной свет, который доставался на его долю. Он повернулся к нему спиной и вошел в цех вместе со всеми.

Там он занял свое место в длинном ряду станков. Перед ним, над ящиком с мелкими шпульками, быстро вращались шпульки более крупные. На них он наматывал джутовую нить с маленьких шпулек. Работа была несложная, требовалась только быстрота. Нить так стремительно перематывалась с маленьких шпулек на большие, что зевать было некогда.

Джонни работал машинально. Когда пустела одна из маленьких шпулек, он, действуя левой рукой, как тормозом, останавливал большую шпульку и одновременно большим и указательным пальцами ловил свободный конец нити. Правой рукой он в это время захватывал конец с новой маленькой шпульки. Все действия производились обеими руками одновременно и быстро. Затем молниеносным движением Джонни завязывал узел и отпускал шпульку. Вязать ткацкие узлы было просто. Он как-то похвалился, что мог бы делать это во сне. В сущности, так оно и было, ибо сплошь и рядом он всю долгую ночь вязал во сне бесконечные вереницы ткацких узлов.

Кое-кто из мальчиков отлынивал от дела, не заменял мелкие шпульки, когда они кончались, и оставлял станок работать вхолостую. Но мастер следил за этим. Однажды он накрыл соседа Джонни и влепил ему затрещину.

— Погляди на Джонни! Почему ты не работаешь, как он? — грозно спросил мастер.

Шпульки у Джонни вертелись вовсю, но его не порадовала эта косвенная похвала. Было время... но то было давно, очень давно. Ничто не отразилось на равнодушном лице мальчика, когда он услышал, что его ставят в пример. Да, он был образцовым рабочим. Он знал это. Ему говорили об этом не раз. Похвала стала привычной и уже ничего для него не значила. Из образцового рабочего он превратился в образцовую машину. Если работа у него не ладилась, это, как и у станка, обычно вызывалось плохим качеством сырья. Ошибиться было для него так же невозможно, как для усовершенствованного гвоздильного станка неточно штамповать гвозди.

И не удивительно. Не было в его жизни времени, когда бы он не имел тесного общения с машинами. Машины, можно сказать, вросли в него, и во всяком случае он вырос среди них. Двенадцать лет назад в ткацком цеху этой же фабрики произошло некоторое смятение. Матери Джонни стало дурно. Ее уложили на полу между скрежещущими станками. Позвали двух пожи-

лых ткачих. Им помогал мастер. Через несколько минут в ткацкой стало на одну душу больше. Эта новая душа был Джонни, родившийся под стук, треск и грохот ткацких станков и втянувший с первым дыханием теплый, влажный воздух, полный хлопковой пыли. Он кашлял уже в первые часы своей жизни, стараясь освободить легкие от пыли, и по той же причине кашлял и по сей день.

Мальчик, работавший рядом с Джонни, хныкал и шмыгал носом. На лице его была написана ненависть к мастеру, который продолжал бросать на него издали грозные взгляды; но пустых шпулек уже не было. Мальчик выкрикивал отчаянные ругательства вертевшимся перед ним шпулькам, но звук не шел дальше: его задерживал и замыкал, как в стенах, грохот, стоявший в цеху.

Джонни ни на что не обращал внимания. В нем выработалось бесстрастное отношение к вещам. К тому же от повторения все приедается, а подобные происшествия он наблюдал много раз. Ему казалось столь же бесполезным перечить мастеру, как сопротивляться машине. Машины устроены, чтобы действовать определенным образом и выполнять определенную работу. Так же и мастер.

Но в одиннадцать часов в цеху началось волнение. Какими-то таинственными путями оно мгновенно передалось всем. Одноногий мальчонка, работавший рядом с Джонни по другую сторону, быстро заковылял к порожней вагонетке, нырнул в нее и скрылся там вместе с костылем. В цех входил управляющий в сопровождении какого-то молодого человека. Последний был хорошо одет, в крахмальной сорочке — джентльмен, согласно той классификации людей, которой придерживался Джонни; кроме того, это был инспектор.

Проходя по цеху, инспектор зорко поглядывал на мальчиков. Иногда он останавливался и задавал вопросы. Ему приходилось кричать во всю мочь, и лицо его нелепо искажалось от натуги. Инспектор сразу заметил пустой станок возле Джонни, но ничего не сказал. Джонни также обратил на себя его внимание. Внезапно остановившись, он схватил Джонни за руку повыше локтя, оттащил на шаг от машины и тотчас же отпустил с удивленным восклицанием.

— Худощав немного,— тревожно хихикнул управляющий.

— Одни кости! — последовал ответ.— А посмотрите на его ноги! У мальчишки явный рахит, в начальной стадии, но несомненный. Если его не доконает эпилепсия, то лишь потому, что еще раньше прикончит туберкулез.

Джонни слушал, но не понимал. К тому же его не пугали грядущие бедствия. В лице инспектора ему угрожало бедствие более близкое и более страшное.

— Ну, мальчик, отвечай правду,— сказал, вернее, прокричал инспектор, наклоняясь к его уху.— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать,— солгал Джонни и солгал во всю силу своих легких. Он так громко солгал, что это вызвало у него сухой, судорожный кашель, поднявший всю пыль, которая осела в его легких за утро.

— На вид все шестнадцать,— сказал управляющий.

— Или все шестьдесят,— отрезал инспектор.

— Он всегда был такой.

— С каких пор? — быстро спросил инспектор.

— Да уж сколько лет. И все не взрослеет.

— Не молодеет, я бы сказал. И все эти годы он проработал здесь?

— С перерывами. Но это было до введения нового закона,— поспешил добавить управляющий.

— А этот станок пустует? — спросил инспектор, указывая на незанятое место рядом с Джонни, где вихрем вертелись полусмотанные шпульки.

— Похоже на то.— Управляющий знаком подозвал мастера и прокричал ему что-то в ухо, указывая на станок.— Пустует,— доложил он инспектору.

Они прошли дальше, а Джонни вернулся к работе, радуясь, что беда миновала. Но одноногий мальчишка был менее удачлив. Зоркий инспектор заметил его и вытащил из вагонетки. Губы у мальчика дрожали, а в глазах было такое отчаяние, словно его постигло страшное, непоправимое бедствие. Мастер недоуменно развел руками, словно видел калеку впервые в жизни, а лицо управляющего изобразило удивление и недовольство.

— Я знаю этого мальчика,— сказал инспектор.— Ему двенадцать лет. За этот год по моему распоряжению он был уволен с трех фабрик. Ваша четвертая.

Он обернулся к одноногому.

— Ты ведь обещал мне, что будешь ходить в школу, дал честное слово!

Мальчик залился слезами.

— Простите, господин инспектор! У нас уже померло двое маленьких, в доме такая нужда.

— А отчего ты так кашляешь? — громко спросил инспектор, словно обвиняя его в тяжком преступлении.

И, точно оправдываясь, одноногий ответил:

«Отступник»

— Это ничего. Это я простудился на прошлой неделе, господин инспектор, только и всего.

Кончилось тем, что одноногий вышел из цеха вместе с инспектором, за которым следовал встревоженный и смущенный управляющий. После этого все вошло в обычную колею. Наконец долгое утро и еще более долгий день пришли к концу, раздался гудок к окончанию работы. Было уже темно, когда Джонни вышел из фабричных ворот. За это время солнце успело взойти по золотой лестнице небес, залить мир благодатным теплом, спуститься к западу и исчезнуть за ломаной линией крыш.

Ужин был семейным сбором — единственной трапезой, за которой Джонни сталкивался с младшими братьями и сестрами. Это поистине было столкновением, ибо он был очень стар, а они оскорбительно молоды. Его раздражала эта чрезмерная и непостижимая молодость. Он не понимал ее. Его собственное детство было слишком далеко позади. Как брюзгливому старику, Джонни претило их буйное озорство, казавшееся ему отъявленной глупостью. Он молча хмурился над тарелкой, утешаясь мыслью, что и им тоже скоро придется пойти на работу. Это их обломает, сделает степенными и солидными, как он сам. Так, подобно всем смертным, Джонни мерил все своей меркой.

За ужином мать на разные лады, с бесконечными повторениями, объясняла, как она для них старается; поэтому, когда кончилась скудная трапеза, Джонни с облегчением отодвинул стул и встал. Мгновение он колебался — лечь ли ему спать или выйти на улицу — и наконец выбрал последнее. Но далеко он не пошел, а уселся на крыльце, ссутулив узкие плечи, уперев локти в колени, уткнувшись подбородком в ладони.

Он сидел и ни о чем не думал. Он просто отдыхал. Сознание его дремало. Его братья и сестры тоже вышли на улицу и вместе с другими ребятами затеяли шумную игру. Электрический фонарь на углу бросал яркий свет на дурачившихся детей. Они знали, что Джонни сердитый и всегда злится, но словно какой-то бесенок подстрекал их дразнить его. Они взялись за руки и, отбивая ногами такт, пели ему в лицо бессмысленные и обидные песенки. Сначала Джонни огрызался и осыпал их ругательствами, которым научился от мастеров. Увидя, что это бесполезно, и вспомнив о своем достоинстве взрослого, он вновь погрузился в угрюмое молчание.

Заводилой был его десятилетний брат Вилли, второй после него в семье. Джонни не питал к нему особо нежных чувств. Его жизнь была рано омрачена необходимостью постоянно в чем-нибудь уступать Вилли и от чего-то ради него отказываться. Он

считал, что Вилли в большом долгу перед ним и что он неблагодарный мальчишка. В ту отдаленную пору, когда Джонни сам мог бы играть, необходимость нянчить Вилли отняла у него бóльшую часть детства. Вилли тогда был младенцем, а мать, как и сейчас, целыми днями работала на фабрике. На Джонни ложились обязанности и отца и матери.

И то, что Джонни уступал и отказывался, видимо, пошло Вилли впрок. Он был розовощекий, крепкого сложения, ростом со старшего брата и даже плотнее его. Казалось, вся жизненная сила одного перешла в тело другого. И не только в тело. Джонни был измотанным, апатичным, вялым, а младший брат кипел избытком энергии.

Дурацкая песенка звучала все громче и громче. Вилли, приплясывая, сунулся ближе и показал язык. Джонни выбросил вперед левую руку, обхватил брата за шею и стукнул его кулаком по носу. Кулачок был жалкий и костлявый, но о том, что он бил больно, красноречиво свидетельствовал отчаянный вопль, который за этим последовал. Дети подняли испуганный визг, а Дженни — сестра Джонни и Вилли — кинулась в дом.

Джонни оттолкнул от себя Вилли, свирепо лягнул его, потом сбил с ног и несколько раз ткнул лицом в землю. Тут подоспела мать, обрушив на Джонни вихрь бессильных упреков и материнского гнева.

— А чего он пристает! — отвечал Джонни.— Не видит разве, что я устал?

— Я с тебя ростом! — кричал Вилли, извиваясь в материнских объятиях и обратив к брату лицо, залитое слезами, перепачканное грязью и кровью.— Я уже с тебя ростом и вырасту еще больше! Достанется тебе тогда! Еще как достанется!

— А ты бы шел работать, раз вырос такой большой,— огрызнулся Джонни.— Вот чего тебе не хватает — работать пора. Пусть мать пристроит тебя на работу.

— Да ведь он еще мал,— запротестовала она.— Куда ему работать, такому малышу.

— Я был меньше, когда начинал.

Джонни открыл уже было рот, собираясь дальше изливать свою обиду, но передумал. Он мрачно повернулся и вошел в дом. Дверь его комнаты была открыта, чтобы шло тепло из кухни. Раздеваясь в полутьме, он слышал, как мать разговаривает с соседкой. Мать плакала, и слова ее перемежались жалкими всхлипываниями.

— Не пойму я, что делается с Джонни,— слышал он.— Никогда я его таким не видела. Всегда был смирный, терпеливый,

как ангелочек. Да он и сейчас хороший,— поспешила она оправдать его.— От работы не отлынивает; а на фабрику, верно ведь, пошел слишком рано. Да разве я виновата? Все ведь думаешь, как лучше.

Снова послышались всхлипывания. А Джонни пробормотал, закрывая глаза:

— Вот именно, не отлынивал.

На следующее утро мать снова вырвала его из цепких объятий сна. Затем опять последовал скудный завтрак, выход из дома в темноте и бледный проблеск утра, к которому он повернулся спиной, входя в фабричные ворота. Еще один день из множества дней — и все одинаковые.

Но в жизни Джонни бывало и разнообразие: когда его ставили на другую работу или когда он заболевал. В шесть лет он нянчил Вилли и других младших ребят. В семь пошел на фабрику наматывать шпульки. В восемь получил работу на другой фабрике. Новая работа была удивительно легкая. Надо было только сидеть с палочкой в руке и направлять поток ткани, текущей мимо. Поток этот струился из пасти машины, поступал на горячий барабан и шел куда-то дальше. А Джонни все сидел на одном месте, под слепящим газовым рожком, не видя дневного света, и сам становился частью механизма.

На этой работе Джонни чувствовал себя счастливым, несмотря на влажную жару цеха, ибо он был еще молод и мог мечтать и тешить себя иллюзиями. Чудесные мечты сплетал он, наблюдая, как дымящаяся ткань безостановочно плывет мимо. Но работа не требовала ни движений, ни умственных усилий, и он мечтал все меньше и меньше, а ум его тупел и цепенел. Все же он зарабатывал два доллара в неделю, а два доллара как раз составляли разницу между голодом и хроническим недоеданием.

Но когда ему исполнилось девять, он потерял эту работу. Виною была корь. Поправившись, он поступил на стекольный завод. Здесь платили больше, зато требовалось умение. Работали сдельно, и чем проворней он был, тем больше получал. Тут была заинтересованность, и под влиянием ее Джонни стал замечательным работником.

Ничего сложного тут тоже не было: привязывать стеклянные пробки к маленьким бутылочкам. На поясе у Джонни висел пучок веревок, а бутылки он зажимал между колен, чтобы действовать обеими руками. От сидячего и сгорбленного положения его узкие плечи сутулились, а грудная клетка была сжата в течение десяти часов подряд. Это вредно сказывалось на легких, но зато он перевязывал триста дюжин бутылок в день.

Управляющий очень им гордился и приводил посетителей поглядеть на него. За десять часов через руки Джонни проходило триста дюжин бутылок. Это означало, что он достиг совершенства машины. Все лишние движения были устранены. Каждый взмах его тощих рук, каждое движение костлявых пальцев было быстро и точно. Такая работа требовала огромного напряжения, и нервы Джонни начали сдавать. По ночам он вздрагивал во сне, а днем тоже не мог ни отвлечься, ни отдохнуть. Он был все время взвинчен, и руки у него судорожно подергивались. Лицо его стало землистым, а кашель усилился. Кончилось тем, что Джонни заболел воспалением легких и потерял работу на стекольном заводе.

Теперь он вернулся на джутовую фабрику, с которой в свое время начал. Здесь он мог рассчитывать на повышение. Он был хороший работник. Со временем его переведут в крахмальный цех, а потом в ткацкую. Дальше останется лишь увеличивать производительность.

За эти годы машины стали работать быстрее, а ум Джонни — медленнее. Он уже больше не мечтал, как, бывало, в прежние годы. Однажды он был влюблен. Это случилось в тот год, когда его поставили направлять поток ткани, текущей на барабан. Предметом его любви была дочь управляющего, взрослая девушка, и он видел ее только издали, и всего каких-нибудь пять-шесть раз. Но это не имело значения. На поверхности ткани, которая текла мимо него, он рисовал себе светлое будущее,— он совершал чудеса производительности, изобретал диковинные машины, становился директором фабрики и в конце концов заключал свою возлюбленную в объятия и скромно целовал в лоб.

Все это относилось к давним временам, когда он не был таким старым и утомленным и еще мог любить. К тому же девушка вышла замуж и уехала, а его чувства притупились. Да, то было чудесное время, и он частенько вспоминал его, как другие вспоминают детство, когда они верили в добрых фей. Джонни никогда не верил в добрых фей и в Санта-Клауса; он простодушно верил в те картины счастливого будущего, которыми его воображение расписывало дымящуюся ткань.

Он очень рано стал взрослым. В семь лет, когда он получил первое жалованье, началась его юность. У него появилось известное ощущение независимости, и отношения между матерью и сыном изменились. Он зарабатывал свой хлеб, жил своим трудом и тем как бы становился с нею на равную ногу. Взрослым, по-настоящему взрослым, он стал в одиннадцать лет, после того,

как полгода проработал в ночной смене. Ни один ребенок, работающий в ночной смене, не может остаться ребенком.

В жизни его насчитывалось несколько важных событий. Однажды мать купила немного калифорнийского чернослива. Два раза она делала заварной крем. Это были очень важные события. Он вспоминал о них с нежностью. Тогда же мать рассказала ему об одном диковинном кушанье и пообещала когда-нибудь приготовить его; кушанье называлось «плавучий остров». «Это будет получше заварного крема»,— сказала она. Джонни годами ждал того дня, когда он сядет к столу и будет есть «плавучий остров», пока и эта надежда не отошла в область несбыточных мечтаний.

Другой раз он нашел на улице двадцатипятицентовую монету. Это было тоже крупное, даже трагическое событие в его жизни. Он знал, как должен поступить, еще раньше, чем подобрал монету. Дома, как всегда, было нечего есть — домой ему и следовало принести ее, как он приносил по субботам получку. Правильный путь был ясен, но Джонни никогда не имел карманных денег, и его мучила тоска по сладкому. Он изголодался по конфетам, которые доставались ему лишь в особо торжественные дни.

Джонни не пытался себя обманывать. Он знал, что совершает грех, и, пустившись в разгул на свои пятнадцать центов, грешил сознательно. Десять он отложил на вторую оргию, но, не имея привычки хранить деньги, потерял их. Это несчастье словно нарочно случилось как раз в то время, когда угрызения совести особенно жестоко терзали его, и оно представилось ему возмездием свыше. Он с ужасом ощутил близость грозного и разгневанного божества. Бог видел — и бог немедленно покарал его, лишив его даже плодов содеянного им греха.

Мысленно Джонни всегда оглядывался на это событие, как на единственное свое преступление, и всякий раз при этом заново испытывал угрызения совести. То была его греховная тайна. Вместе с тем обстоятельства сложились так, что он не мог не испытывать сожалений. Он был недоволен тем, как употребил найденные деньги. На них можно было купить больше; знай он быстроту божьего возмездия, он обошел бы бога, потратив все двадцать пять центов сразу. Он тысячу раз мысленно распоряжался этими двадцатью пятью центами, и с каждым разом все выгоднее.

Было еще одно воспоминание, далекое и туманное, но навеки втоптанное в его душу безжалостными ногами отца. Это был скорей кошмар, чем воспоминание о действительном собы-

тии,— нечто вроде той атавистической памяти, которая заставляет человека падать во сне и восходит ко временам, когда предки его жили на деревьях.

Воспоминание это никогда не посещало Джонни при дневном свете, когда он бодрствовал. Оно являлось ночью, в тот момент, когда сознание его гасло, погружаясь в сон. Он просыпался в испуге, и в первую страшную минуту ему казалось, что он лежит поперек кровати, в ногах. На кровати — смутные очертания отца и матери. Он не мог припомнить, как выглядел отец. Об отце он знал лишь одно: у него были грубые, безжалостные ноги.

Ранние воспоминания еще сохранились в его мозгу, но более поздних не существовало. Все дни были одинаковы. Вчерашний день или прошлый год были равны тысячелетию — или минуте. Ничего никогда не случалось. Не было событий, отмечающих ход времени. Время не шло, оно стояло на месте. Двигались лишь неугомонные машины,— да и они никуда не шли, хотя и вертелись все быстрее.

Когда ему минуло четырнадцать, он перешел в крахмальный цех. Это было громадным событием. Случилось наконец нечто такое, что не забудется за одну ночь и даже за неделю. Наступила новая эра. Это было для Джонни как бы олимпиадой, началом летоисчисления. «Когда я стал работать в крахмальном», или «до», или «после того как я перешел в крахмальный»,— вот слова, которые не сходили у него с уст.

Свое шестнадцатилетие Джонни отметил переходом в ткацкую, к ткацкому станку. Здесь снова была заинтересованность, так как платили сдельно. Он и тут отличился, ибо фабричный горн давно переплавил его плоть в идеальную машину. Через три месяца Джонни работал на двух станках, а затем на трех и на четырех.

После двух лет, проведенных в этом цехе, он вырабатывал больше ярдов ткани, чем любой другой ткач, и вдвое больше, чем многие из его менее проворных товарищей. Теперь, когда он начал работать в полную силу, дома зажили лучше. Впрочем, нельзя сказать, чтоб его заработок перекрывал потребности семьи. Дети подрастали. Они больше ели. Они пошли в школу, а учебники стоят денег. И почему-то чем быстрее Джонни работал, тем быстрее подымались цены. Повысилась даже квартирная плата, хотя дом разваливался на глазах.

Джонни вырос и казался от этого еще более тощим. Нервы его совсем расшатались, он стал еще более раздражителен и брюзглив. Дети на горьком опыте научились сторониться стар-

шего брата. Мать уважала его как кормильца семьи, но к этому уважению примешивался страх.

В жизни Джонни не было радостей. Дней он не видел. Ночи проходили в беспокойном забытьи. Остальное время он работал, и сознание его было сознанием машины. Вне этого была пустота. Он ни к чему не стремился и сохранил только одну иллюзию: что он пьет превосходный кофе. Это была рабочая скотинка, лишенная всякой духовной жизни. Но где-то глубоко в подсознании, неведомо для него самого, откладывался каждый час работы, каждое движение рук, каждое сокращение мускулов,— и все это подготовило развязку, которая повергла в изумление и его самого, и весь его маленький мирок.

Однажды, поздней весной, Джонни вернулся с работы еще более усталым, чем обычно. За столом царило приподнятое настроение, но он этого не замечал. Он ел в угрюмом молчании, машинально уничтожая то, что стояло перед ним. Дети охали, ахали и причмокивали губами. Но Джонни был глух ко всему.

— Да знаешь ли ты, что ты ешь? — не выдержала наконец мать.

Он рассеянно поглядел в тарелку, потом на мать.

— «Плавучий остров»,— объявила она с торжеством.

— А-а,— сказал Джонни.

— «Плавучий остров»! — хором подхватили дети.

— А-а,— повторил он и после двух-трех глотков добавил: — Мне сегодня что-то не хочется есть.

Он положил ложку, отодвинул стул и устало поднялся.

— Я, пожалуй, лягу.

Проходя через кухню, он волочил ноги тяжелее обычного. Раздевание потребовало титанических усилий и показалось таким ненужным, что он заплакал от слабости и полез в постель, не сняв второго башмака. Он чувствовал, как в голове у него словно растет какая-то опухоль, и от этого мысли становились расплывчатыми. Его худые пальцы, казалось, стали в толщину запястий, а кончики — ватными и такими же непослушными, как его мысли. Невыносимо ломило поясницу. Болели все кости. Болело все. А в мозгу начался стук, свист, грохот миллиона ткацких станков. Мировое пространство заполнилось снующими челноками. Они метались взад и вперед, петляя среди звезд. Джонни работал на тысяче станков, и они все ускоряли ход, челноки сновали все быстрее и быстрее, а мозг его все быстрее разматывался и превращался в нить, которую тянула тысяча снующих челноков.

На следующее утро он не вышел на работу. Он был занят другой работой — на тысяче ткацких станков, стучавших в его голове. Мать ушла на фабрику, но прежде послала за врачом. «Тяжелая форма гриппа»,— сказал тот. Дженни ухаживала за братом и выполняла все предписания врача.

Болезнь протекала тяжело, и только через неделю Джонни смог одеться и с трудом проковылять по комнате. «Еще неделя,— сказал врач,— и он вернется на работу». Мастер ткацкого цеха посетил их в воскресенье, в первый день, когда Джонни полегчало.

— Лучший ткач в цеху,— сказал он матери.— Место за ним сохранят. Может встать на работу через неделю, в тот понедельник.

— Ты бы хоть поблагодарил, Джонни,— озабоченно сказала мать.— Он так был плох, до сих пор в себя не пришел,— виновато объяснила она гостю.

Джонни сидел сгорбившись, пристально глядя в пол. Он оставался в этой позе еще долго после ухода мастера. На дворе было тепло, и после обеда он вышел посидеть на крыльце. Иногда губы его шевелились. Казалось, он был погружен в какие-то бесконечные вычисления.

На следующий день, когда в воздухе потеплело, Джонни снова уселся на крыльце. В руках у него был карандаш и бумага, и он долго с натугой и поразительным старанием высчитывал что-то.

— Что идет после миллионов? — спросил он в полдень, когда Вилли вернулся из школы.— И как их считают?

К вечеру вычисления были закончены. Каждый день, уже без карандаша и бумаги, Джонни выходил на крыльцо. Он пристально смотрел на одинокое дерево, которое росло на другой стороне улицы. Он разглядывал это дерево часами; оно особенно занимало его, когда ветер раскачивал ветви и шевелил листья. Всю эту неделю Джонни словно вел долгую беседу с самим собой. В воскресенье, все так же сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся, к великому смятению матери, которая уже много лет не слыхала его смеха.

На следующее утро, в предрассветной тьме, она подошла к кровати, чтобы разбудить его. Он успел выспаться за неделю и проснулся без труда. Он не сопротивлялся, не тянул на себя одеяло, а лежал спокойно и спокойно заговорил:

— Ни к чему это, мама.

— Опоздаешь,— сказала она, думая, что он еще не проснулся.

— Я не сплю, мама, но все равно — ни к чему это. Ты лучше уйди. Я не встану.

— Да ведь работу потеряешь! — вскричала она.

— Сказал — не встану,— повторил он каким-то чужим, бесстрастным голосом.

В то утро мать сама не пошла на работу. Эта болезнь была похуже всех, дотоле ей известных. Лихорадку и бред она могла понять, но тут было явное помешательство. Она накрыла сына одеялом и послала Дженни за врачом.

Когда тот явился, Джонни мирно спал и так же мирно проснулся и дал пощупать свой пульс.

— Ничего особенного,— сказал доктор,— очень ослабел, конечно. Кожа да кости!

— Да он всегда был такой,— сказала мать.

— Теперь уйди, мама, дай мне поспать.

Джонни сказал это кротко и спокойно, так же спокойно повернулся на другой бок и заснул.

В десять часов он проснулся, встал с постели и вышел на кухню. Мать с испугом посмотрела на него.

— Я ухожу, мама,— объявил он.— Давай простимся.

Она закрыла лицо передником, опустилась на стул и заплакала. Джонни терпеливо ждал.

— Вот, дожила! — проговорила она сквозь слезы; потом, отняв передник от лица, подняла на Джонни испуганные глаза, не выражавшие даже любопытства.— Да куда же ты пойдешь?

— Не знаю... куда-нибудь.

Перед внутренним взором Джонни ярким видением возникло дерево, которое росло на другой стороне улицы. Оно так запечатлелось в его сознании, что он мог увидеть его в любую минуту.

— А как же работа? — дрожащим голосом проговорила мать.

— Не буду я больше работать.

— Господь с тобой, Джонни! — заголосила она.— Что ты говоришь!

Это казалось ей кощунством. Слова Джонни потрясли ее, как хула на бога в устах сына потрясает набожную мать.

— Да что на тебя нашло? — спросила она, делая слабую попытку проявить строгость.

— Цифры,— ответил он.— Цифры, только и всего. Я за эту неделю подсчитал и просто сам удивился.

— Не пойму, при чем тут цифры? — всхлипнула она.

Джонни терпеливо улыбнулся, а мать со страхом заметила, что его обычная раздражительность бесследно исчезла.

— Сейчас объясню,— сказал он.— Я вымотался. А отчего? От движений. Я их делал с тех самых пор, как родился. Я устал двигаться, хватит с меня. Помнишь, когда я работал на стекольном заводе? Пропускал триста дюжин в день. На каждую бутылку приходилось не меньше десяти движений. Это будет тридцать шесть тысяч движений в день. В десять дней — триста шестьдесят тысяч. В месяц — миллион восемьдесят тысяч. Отбросим даже восемьдесят тысяч,— он сказал это с великодушием щедрого филантропа,— отбросим даже восемьдесят тысяч, и то останется миллион в месяц, двенадцать миллионов в год! За ткацкими станками я делаю вдвое больше движений. Это будет двадцать пять миллионов в год. И мне кажется, я уже миллион лет их делаю. А эту неделю я совсем не двигался. Ни одного движения по нескольку часов подряд. До чего ж хорошо было сидеть, просто сидеть и ничего не делать! Никогда мне не было счастья. Никогда у меня не было свободного времени. Все время двигайся! А какая в этом радость? Не буду я больше ничего делать. Буду все сидеть да сидеть, все отдыхать да отдыхать... а потом опять отдыхать.

— А что будет с Вилли и с ребятишками? — в отчаянии спросила мать.

— Ну, конечно, Вилли и ребятишки...— повторил он.

Но в голосе его не было горечи. Он давно знал, какие честолюбивые мечты лелеяла мать в отношении младшего сына, но уже не чувствовал обиды. Ему теперь все было безразлично. Даже это.

— Я знаю, мама, что ты задумала для Вилли — чтобы он окончил школу и стал бухгалтером. Да нет, будет с меня. Придется ему работать.

— А я-то тебя растила,— заплакала она и опять подняла передник, но так и не донесла его до лица.

— Ты меня не растила,— сказал он кротко и грустно.— Я сам себя растил, мама! И Вилли я вырастил. Он крепче меня, плотнее и выше. Я, должно быть, недоедал с малых лет. А пока он подрастал, я работал и добывал для него хлеб. Теперь с этим кончено. Пусть Вилли идет работать, как я, или пусть пропадает, мне все равно. Хватит с меня. Я ухожу...

Мать не отвечала. Она снова заплакала, уткнув лицо в передник. Джонни приостановился в дверях.

— Я ведь делала все, что могла,— всхлипывала мать.

Джонни вышел из дому и зашагал по улице. Слабая улыбка осветила его лицо, когда он взглянул на одинокое дерево.

— Теперь я ничего не буду делать,— сказал он самому себе негромко и нараспев; потом задумчиво поглядел на небо и зажмурился: яркое солнце ослепило его.

Ему предстояла долгая дорога, и он шел не спеша. Вот джутовая фабрика. До ушей его донесся приглушенный грохот ткацкого цеха, и он улыбнулся. Это была кроткая, тихая улыбка. Он ни к кому не чувствовал ненависти, даже к стучащим, скрежещущим машинам. В душе у него не было горечи — одна безграничная жажда покоя.

Чем дальше он шел, тем реже попадались дома и фабрики, тем шире раскрывались просторы полей. Наконец город остался позади, и Джонни вышел к тенистой аллее, тянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Он шел не как человек и не был похож на человека. Это была пародия на человека: заморенное, искалеченное существо ковыляло, свесив плети рук, сгорбившись, как больная обезьяна, узкогрудая, нелепая и страшная.

Он миновал маленькую станцию и повалился в траву под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, и мускулы его подергивались во сне. Проснувшись, он лежал без движения, следя глазами за птицами или глядя в небо сквозь ветви над головой. Раз или два он громко рассмеялся, видимо, без всякой причины.

Когда сумерки сгустились в ночную тьму, к станции с грохотом подкатил товарный состав. Пока паровоз перегонял часть вагонов на запасной путь, Джонни подкрался к поезду. Он открыл дверь пустого товарного вагона и неуклюже, с трудом забрался туда. Потом закрыл за собой дверь. Паровоз дал свисток. Джонни лежал в темноте и улыбался.

СТРАШНЫЕ СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

Вряд ли кто станет утверждать, что Соломоновы острова — райское местечко, хотя, с другой стороны, на свете есть места и похуже. Но новичку, незнакомому с жизнью вдали от цивилизации, Соломоновы острова могут показаться сущим адом.

Сущая правда, что там свирепствует тропическая лихорадка, и дизентерия, и всякие кожные болезни; воздух там насквозь пропитан ядом, который, просачиваясь в каждую цара-

пину и ссадину, превращает их в гноящиеся язвы, так что редко кому удается выбраться оттуда живым, и даже самые крепкие и здоровые люди зачастую возвращаются на родину жалкими развалинами. Правда и то, что туземные обитатели Соломоновых островов до сих пор еще пребывают в довольно диком состоянии; они с большой охотой едят человечину и одержимы страстью коллекционировать человеческие головы. Подкрасться к своей жертве сзади и одним ударом дубины перебить ей позвонки у основания черепа считается там верхом охотничьего искусства. До сих пор на некоторых островах, как, например, на Малаите, вес человека в обществе зависит от числа убитых им, как у нас — от текущего счета в банке; человеческие головы являются самым ходким предметом обмена, причем особенно ценятся головы белых. Очень часто несколько деревень складываются и заводят общий котел, который пополняется из месяца в месяц, пока какой-нибудь смелый воин не представит свеженькую голову белого, с еще не запекшейся на ней кровью, и не потребует в обмен все накопленное добро.

Все это правда, и, однако, немало белых людей десятками лет живут на Соломоновых островах и тоскуют, когда приходится их покинуть. Белый может долго прожить на Соломоновых островах,— для этого ему нужна только осторожность и удача, а кроме того, надо, чтобы он был неукротимым. Печатью неукротимости должны быть отмечены его мысли и поступки. Он должен уметь с великолепным равнодушием встречать неудачи, должен обладать колоссальным самомнением, уверенностью, что все, что бы он ни сделал, правильно; должен, наконец, непоколебимо верить в свое расовое превосходство и никогда не сомневаться в том, что один белый в любое время может справиться с тысячью черных, а по воскресным дням — и с двумя тысячами. Именно это и сделало белого неукротимым. Да, и еще одно обстоятельство: белый, который желает быть неукротимым, не только должен глубоко презирать все другие расы и превыше всех ставить самого себя, но и должен быть лишен всяких фантазий. Не следует ему также вникать в побуждения, мысли и обычаи черно-, желто- и краснокожих, ибо отнюдь не этим руководствовалась белая раса, совершая свое триумфальное шествие вокруг всего земного шара.

Берти Аркрайт не принадлежал к числу таких белых. Для этого он был чересчур нервным и чувствительным, с излишне развитым воображением. Слишком болезненно воспринимал он все впечатления, слишком остро реагировал на окружающее. Поэтому Соломоновы острова были для него самым неподходящим

местом. Правда, он и не собирался долго там задерживаться. Пяти недель, пока не придет следующий пароход, было, по его мнению, вполне достаточно, чтобы удовлетворить тягу к первобытному, столь приятно щекотавшему его нервы. По крайней мере, так — хотя и в несколько иных выражениях — он излагал свои планы попутчицам по «Макембо», а те смотрели на него как на героя, ибо сами они, как и подобает путешествующим дамам, намеревались знакомиться с Соломоновыми островами, не покидая безопасной пароходной палубы.

На борту парохода находился еще один пассажир, который, впрочем, не пользовался вниманием прекрасного пола. Это был маленький сморщенный человечек с загорелым дочерна лицом, иссушенным ветрами и солнцем. Имя его — то, под которым он значился в списке пассажиров,— никому ничего не говорило. Зато его прозвище — капитан Малу — было хорошо известно всем туземцам от Нового Ганновера до Новых Гебридов; они даже пугали им непослушных детей. Используя все — труд дикарей, самые варварские меры, лихорадку и голод, пули и бичи надсмотрщиков,— он нажил состояние в пять миллионов, выражавшееся в обширных запасах трепанга и сандалового дерева, перламутра и черепаховой кости, пальмовых орехов и копры, в земельных участках, факториях и плантациях.

В одном покалеченном мизинце капитана Малу было больше неукротимости, чем во всем существе Берти Аркрайта. Но что поделаешь! Путешествующие дамы судят главным образом по внешности, а внешность Берти всегда завоевывала ему симпатии дам.

Разговаривая как-то с капитаном Малу в курительной комнате, Берти открыл ему свое твердое намерение изведать «бурную и полную опасностей жизнь на Соломоновых островах»,— так он при этом случае выразился. Капитан Малу согласился с тем, что это весьма смелое и достойное мужчины намерение. Но настоящий интерес к Берти появился у него лишь несколькими днями позже, когда тот вздумал показать ему свой автоматический пистолет 44-го калибра. Объяснив систему заряжения, Берти для наглядности вставил снаряженный магазин в рукоятку.

— Видите, как просто,— сказал он, отводя ствол назад.— Теперь пистолет заряжен и курок взведен. Остается только нажимать на спусковой крючок, до восьми раз, с любой желательной вам скоростью. А посмотрите сюда, на защелку предохранителя. Вот что мне больше всего нравится в этой системе. Полная безопасность! Возможность несчастного случая абсолютно

исключена! — Он вытащил магазин и продолжал: — Вот! Видите, насколько эта система безопасна?

Пока Берти производил свои манипуляции, выцветшие глаза капитана Малу пристально следили за пистолетом, особенно под конец, когда дуло пришлось как раз в направлении его живота.

— Будьте любезны, направьте ваш пистолет на что-нибудь другое,— попросил он.

— Он не заряжен,— успокоил его Берти.— Я же вытащил магазин. А незаряженные пистолеты не стреляют, как вам известно.

— Бывает, что и палка стреляет.

— Эта система не выстрелит.

— А вы все-таки поверните его в другую сторону.

Капитан Малу говорил негромко и спокойно, с металлическими нотками в голосе, но глаза его ни на миг не отрывались от дула пистолета, пока Берти не отвернул его наконец в сторону.

— Хотите пари на пять фунтов, что пистолет не заряжен? — с жаром воскликнул Берти.

Его собеседник отрицательно покачал головой.

— Хорошо же, я докажу вам...

И Берти приставил пистолет к виску с очевидным намерением спустить курок.

— Подождите минутку,— спокойно сказал капитан Малу, протягивая руку.— Дайте, я еще разок на него взгляну.

Он направил пистолет в море и нажал спуск. Раздался оглушительный выстрел, механизм щелкнул и выбросил на палубу дымящуюся гильзу. Берти застыл с открытым ртом.

— Я, кажется, отводил назад ствол, да? — пробормотал он.— Как глупо...

Он жалко улыбнулся и тяжело опустился в кресло. В лице у него не было ни кровинки, под глазами обозначились темные круги, руки так тряслись, что он не мог донести до рта дрожащую сигарету. У него было слишком богатое воображение: он уже видел себя распростертым на палубе с простреленной головой.

— В-в-вот история! — пролепетал он.

— Ничего, хорошая штучка,— сказал капитан Малу, возвращая пистолет.

На борту «Макембо» находился правительственный резидент, возвращающийся из Сиднея, и с его разрешения пароход зашел в Уги, чтобы высадить на берег миссионера. В Уги стояло

небольшое двухмачтовое суденышко «Арла» под командованием шкипера Гансена. «Арла», как и многое другое, тоже принадлежала капитану Малу, и по его приглашению Берти перешел на нее, чтобы погостить там несколько дней и принять участие в вербовочном рейсе вдоль берегов Малаиты. Через четыре дня его должны были ссадить на плантации Реминдж (тоже собственность капитана Малу), где он мог пожить недельку, а затем отправиться на Тулаги — местопребывание резидента — и остановиться у него в доме. Остается еще упомянуть о двух предложениях капитана Малу, сделанных им шкиперу Гансену и мистеру Гаривелу, управляющему плантацией, после чего он надолго исчезает из нашего повествования. Сущность обоих предложений сводилась к одному и тому же — показать мистеру Бертраму Аркрайту «бурную и полную опасностей жизнь на Соломоновых островах». Говорят также, будто капитан Малу намекнул, что тот, кто доставит мистеру Аркрайту наиболее яркие переживания, получит премию в виде ящика шотландского виски.

— Между нами, Сварц всегда был порядочным идиотом. Как-то повез он четверых своих гребцов на Тулаги, чтобы их там высекли — конечно, совершенно официально. И с ними же отправился на вельботе обратно. В море немного штормило, и вельбот перевернулся. Все спаслись, ну, а Сварц — Сварц-то утонул. Разумеется, это был несчастный случай.

— Вот как? Очень интересно,— рассеянно заметил Берти, так как все его внимание было поглощено чернокожим гигантом, стоявшим у штурвала.

Уги остался за кормой, и «Арла» легко скользила по сверкающей глади моря, направляясь к густо поросшим лесом берегам Малаиты. Сквозь кончик носа у рулевого, так занимавшего внимание Берти, был щегольски продет большой гвоздь, на шее красовалось ожерелье из брючных пуговиц, в ушах висели консервный нож, сломанная зубная щетка, глиняная трубка, медное колесико будильника и несколько гильз от винчестерных патронов; на груди болталась половинка фарфоровой тарелки. По палубе в разных местах разлеглось около сорока чернокожих, разукрашенных примерно таким же образом. Пятнадцать человек из них составляли экипаж судна, остальные были завербованные рабочие.

— Конечно, несчастный случай,— заговорил опять помощник шкипера «Арлы» Джекобс, худощавый, с темными глазами, похожий скорее на профессора, чем на моряка.— С Джонни

Бедилом тоже чуть было не приключился такой же несчастный случай. Он тоже вез домой нескольких высеченных, и они перевернули ему лодку. Но он плавал не хуже их и спасся с помощью багра и револьвера, а двое черных утонули. Тоже несчастный случай.

— Это здесь частенько бывает,— заметил шкипер.— Взгляните вон на того парня у руля, мистер Аркрайт! Ведь самый настоящий людоед. Полгода назад он вместе с остальной командой утопил тогдашнего шкипера «Арлы». Прямо на палубе, сэр, вон там, у бизань-мачты.

— А уж в какой вид палубу привели,— смотреть было страшно,— проговорил помощник.

— Позвольте, вы хотите сказать?..— начал Берти.

— Вот, вот,— прервал его шкипер Гансен.— Несчастный случай. Утонул человек.

— Но как же — на палубе?

— Да уж вот так. Между нами говоря, они воспользовались топором.

— И это — теперешний ваш экипаж?!

Шкипер Гансен кивнул.

— Тот шкипер был уж очень неосторожен,— объяснил помощник.— Повернулся к ним спиной, ну... и пострадал.

— Нам приходится избегать лишнего шума,— пожаловался шкипер.— Правительство всегда стоит за черномазых. Мы не можем стрелять первыми, а должны ждать, пока выстрелит черный. Не то правительство объявит это убийством, и вас отправят на Фиджи. Вот почему так много несчастных случаев. Тонут, что поделаешь.

Подали обед, и Берти со шкипером спустились вниз, оставив помощника на палубе.

— Смотрите в оба за этим чертом Ауки,— предупредил шкипер на прощание.— Что-то не нравится мне последнее время его рожа.

— Ладно,— ответил помощник.

Обед еще не закончился, и шкипер дошел как раз до середины своего рассказа о том, как была вырезана команда на судне «Вожди Шотландии».

— Да,— говорил он,— отличное было судно, одно из лучших на побережье. Не успели вовремя повернуть, ну и напоролись на риф, а тут сразу же на них набросилась целая флотилия челнов. На борту было пятеро белых и двадцать человек команды с Самоа и Санта-Крус, а спасся один второй помощник. Кроме того, погибло шестьдесят человек завербованных. Всех их

дикари — кай-кай. Что такое кай-кай? Прошу прощения, я хотел сказать — всех их съели. Потом еще «Джеймс Эдвардс», прекрасно оснащенный...

Громкая брань помощника прервала шкипера. На палубе раздались дикие крики, затем прогремели три выстрела, и что-то тяжелое упало в воду. Одним прыжком шкипер Гансен взлетел по трапу, ведущему на палубу, на ходу вытаскивая револьвер. Берти тоже полез наверх, хотя и не столь быстро, и с осторожностью высунул голову из люка. Но ничего не случилось. На палубе стоял помощник с револьвером в руке, трясясь, как в лихорадке. Вдруг он вздрогнул и отскочил в сторону, как будто сзади ему угрожала опасность.

— Туземец упал за борт,— доложил он каким-то странным, звенящим голосом.— Он не умел плавать.

— Кто это был? — строго спросил шкипер.

— Ауки!

— Позвольте, мне кажется, я слышал выстрелы,— вмешался Берти, испытывая приятный трепет от сознания опасности — тем более приятный, что опасность уже миновала.

Помощник круто повернулся к нему и прорычал:

— Вранье! Никто не стрелял. Черномазый просто упал за борт.

Гансен посмотрел на Берти немигающим, невидящим взглядом.

— Мне показалось...— начал было Берти.

— Выстрелы? — задумчиво проговорил шкипер.— Вы слышали выстрелы, мистер Джекобс?

— Ни единого,— отвечал помощник.

Шкипер с торжествующим видом повернулся к своему гостю.

— Очевидно, несчастный случай. Спустимся вниз, мистер Аркрайт, и закончим обед.

В эту ночь Берти спал в крошечной каюте, отгороженной от кают-компании и важно именовавшейся капитанской каютой. У носовой переборки красовалась ружейная пирамида. Над изголовьем койки висело еще три ружья. Под койкой стоял большой ящик, в котором Берти обнаружил патроны, динамит и несколько коробок с бикфордовым шнуром. Берти предпочел перейти на диванчик у противоположной стены, и тут его взгляд упал на судовой журнал «Арлы», лежавший на столике. Ему и в голову не приходило, что этот журнал был изготовлен капитаном Малу специально для него. Из журнала Берти узнал, что двадцать первого сентября двое матросов упали за борт и утонули.

Но теперь Берти уже научился читать между строк и знал, как это надо понимать. Далее он прочитал о том, как в зарослях на Суу вельбот с «Арлы» попал в засаду и потерял трех человек убитыми; как шкипер обнаружил в котле у повара человечье мясо, которое команда купила, сойдя на берег в Фуи, как во время сигнализации случайным взрывом динамита были перебиты все гребцы в шлюпке. Он прочитал также о ночных нападениях на шхуну, о ее спешном бегстве со стоянок под покровом ночной темноты, о нападениях лесных жителей на команду в мангровых зарослях и о сражениях с дикарями в лагунах и бухтах. То и дело Берти натыкался на случаи смерти от дизентерии. Со страхом он заметил, что так умерли двое белых, подобно ему гостивших на «Арле».

— Послушайте, э-э!..— обратился на другой день Берти к шкиперу Гансену.— Я заглянул в ваш судовой журнал...

Шкипер был, по-видимому, крайне раздосадован тем, что судовой журнал попался на глаза постороннему человеку.

— Так вот эта дизентерия — это такая же ерунда, как и все ваши несчастные случаи,— продолжал Берти.— Что на самом деле имеется в виду под дизентерией?

Шкипер изумился проницательности своего гостя, сделал было попытку все отрицать, потом сознался.

— Видите ли, мистер Аркрайт, дело вот в чем. Эти острова и так уже имеют печальную славу. С каждым днем становится все труднее вербовать белых для здешней работы. Предположим, белого убили — Компании придется платить бешеные деньги, чтобы заманить сюда другого. А если он умер от болезни,— ну, тогда ничего. Против болезней новички не возражают, они только не согласны, чтобы их убивали. Когда я поступал сюда, на «Арлу», я был уверен, что ее прежний шкипер умер от дизентерии. Потом я узнал правду, но было уже поздно: я подписал контракт.

— Кроме того,— добавил мистер Джекобс,— слишком уж много получается несчастных случаев. Это может вызвать ненужные разговоры. А во всем виновато правительство. Что еще остается делать, если белый не имеет возможности защитить себя от черномазых?

— Правильно,— подтвердил шкипер Гансен.— Возьмите хотя бы случай с «Принцессой» и этим янки, который служил на ней помощником. Кроме него, на судне было еще пятеро белых, в том числе правительственный агент. Шкипер, агент и второй помощник съехали на берег в двух шлюпках. Их всех перебили до одного. На судне оставались помощник, боцман и пятнадцать

человек команды, уроженцев Самоа и Тонга. С берега явилась толпа дикарей. Помощник и оглянуться не успел, как боцман и экипаж были перебиты. Тогда он схватил три патронташа и два винчестера, влез на мачту и стал оттуда стрелять. Он словно взбесился при мысли, что все его товарищи погибли. Палил из одного ружья, пока оно не раскалилось. Потом взялся за другое. На палубе было черно от дикарей — ну, он всех их прикончил. Бил их влет, когда они прыгали за борт, бил в лодках, прежде чем они успевали схватиться за весла. Тогда они стали кидаться в воду, думали добраться до берега вплавь, а он уже так рассвирепел, что и в воде перестрелял еще в полдесятка. И что же он получил в награду?

— Семь лет каторги на Фиджи,— угрюмо бросил помощник.

— Да, правительство заявило, что он не имел права стрелять дикарей в воде,— пояснил шкипер.

— Вот почему они теперь умирают от дизентерии,— закончил Джекобс.

— Подумать только,— заметил Берти, чувствуя острое желание, чтобы эта поездка скорее кончилась.

В этот же день он имел беседу с туземцем, который, как ему сказали, был людоедом. Звали туземца Сумазаи. Три года он проработал на плантации в Квинсленде, побывал и в Сиднее, и на Самоа, и на Фиджи. В качестве матроса на вербовочной шхуне он объездил почти все острова — Новую Британию и Новую Ирландию, Новую Гвинею и Адмиралтейские острова. Он был большой шутник и в разговоре с Берти следовал примеру шкипера. Ел ли он человечину? Случалось. Сколько раз? Ну, разве запомнишь. Едал и белых. Очень вкусные, только не тогда, когда они больные. Раз как-то случилось ему попробовать больного.

— Фу! Плохой! — воскликнул он с отвращением, вспоминая об этой трапезе.— Я потом сам очень больной, чуть кишки наружу не вылазил.

Берти передернуло, но он мужественно продолжал расспросы. Есть ли у Сумазаи головы убитых? Да, несколько голов он припрятал на берегу, все они в хорошем состоянии — высушенные и прокопченные. Одна с длинными бакенбардами — голова шкипера шхуны. Ее он согласен продать за два фунта, головы черных — по фунту за каждую. Еще у него есть несколько детских голов, но они плохо сохранились. За них он просит всего по десять шиллингов.

Немного погодя, присев в раздумье на трапе, Берти вдруг обнаружил рядом с собой туземца с какой-то ужасной кожной

болезнью. Он вскочил и поспешно удалился. Когда он спросил, что у этого парня, ему ответили — проказа. Как молния, влетел он в свою каюту и тщательно вымылся антисептическим мылом. За день ему пришлось еще несколько раз мыться, так как оказалось, что все туземцы на борту больны той или другой заразной болезнью.

Когда «Арла» бросила якорь среди мангровых болот, над бортом протянули двойной ряд колючей проволоки. Это выглядело весьма внушительно, а когда вблизи показалось множество челнов, в которых сидели туземцы, вооруженные копьями, луками и ружьями, Берти еще раз подумал, что хорошо бы, поездка скорее кончалась.

В этот вечер туземцы не спешили покинуть судно, хотя им не разрешалось оставаться на борту после заката солнца. Они даже стали дерзить, когда помощник приказал им убираться восвояси.

— Ничего, сейчас они запоют у меня по-другому,— заявил шкипер Гансен, ныряя в люк.

Вернувшись, он украдкой показал Берти палочку с прикрепленным к ней рыболовным крючком. Простая аптечная склянка из-под хлородина, обернутая в бумагу, с привязанным к ней куском бикфордова шнура может вполне сойти за динамитную шашку. И Берти и туземцы были введены в заблуждение. Стоило шкиперу Гансену поджечь шнур и прицепить крючок к набедренной повязке первого попавшегося дикаря, как того сразу охватило страстное желание очутиться как можно скорее на берегу. Забыв все на свете и не догадываясь сбросить с себя повязку, несчастный рванулся к борту. За ним, шипя и дымя, волочился шнур, и туземцы стали очертя голову бросаться через колючую проволоку в море. Берти был в ужасе. Шкипер Гансен тоже. Еще бы! Двадцать пять завербованных им туземцев — за каждого он уплатил по тридцать шиллингов вперед — попрыгали за борт вместе с местными жителями. За ними последовал и тот, с дымящейся склянкой.

Что было дальше с этой склянкой, Берти не видел, но так как в это самое время помощник взорвал на корме настоящую динамитную шашку, не причинившую, конечно, никому никакого вреда, то Берти с чистой совестью присягнул бы на суде, что туземца у него на глазах разорвало в клочья.

Бегство двадцати пяти завербованных обошлось капитану «Арлы» в сорок фунтов стерлингов, так как не было, конечно, никакой надежды разыскать беглецов в густых зарослях и вернуть их на судно. Шкипер и помощник решили утопить свое

горе в холодном чае. А так как этот чай был разлит в бутылки из-под виски, то Берти и в голову не пришло, что они поглощают столь невинный напиток. Он видел только, что они очень быстро упились до положения риз и стали ожесточенно спорить о том, как сообщить о взорванном туземце — как об утопленнике или умершем от дизентерии. Затем оба захрапели, а Берти, видя, что, кроме него, на борту не осталось ни одного белого в трезвом состоянии, до самой зари неусыпно нес вахту, ежеминутно ожидая нападения с берега или бунта команды.

Еще три дня простояла «Арла» у берегов Малаиты, и еще три томительных ночи Берти провел на вахте, в то время как шкипер и помощник накачивались с вечера холодным чаем и мирно спали до утра, вполне полагаясь на его бдительность. Берти твердо решил, что если он останется жив, то обстоятельно сообщит капитану Малу об их пьянстве.

Наконец «Арла» бросила якорь у плантации Реминдж на Гвадлканаре. Со вздохом облегчения сошел Берти на берег и крепко пожал руку управляющему. У мистера Гаривела все было готово к приему гостя.

— Вы только не беспокойтесь, пожалуйста, если заметите, что мои подчиненные настроены невесело,— шепнул по секрету мистер Гаривел, отводя Берти в сторону.— Ходят слухи, что у нас готовится бунт, и нельзя не признать, что кое-какие основания к тому есть, но лично я уверен, что все это сплошной вздор.

— И-и... много туземцев у вас на плантации? — спросил Берти упавшим голосом.

— Сейчас человек четыреста,— с готовностью сообщил мистер Гаривел,— но нас-то ведь трое, да еще вы, конечно, да шкипер «Арлы» с помощником — мы легко с ними управимся.

В эту минуту подошел некто Мак-Тэвиш, кладовщик на плантации, и, еле поздоровавшись с Берти, взволнованно обратился к мистеру Гаривелу с просьбой немедленно его уволить.

— У меня семья, дети, мистер Гаривел! Я не имею права рисковать жизнью! Беда на носу, это и слепому видно. Черные, того и гляди, взбунтуются, и здесь повторятся все ужасы Хохоно!

— А что это за ужасы Хохоно? — поинтересовался Берти, когда кладовщик после долгих уговоров согласился остаться еще до конца месяца.

— Это он о плантации Хохоно на острове Изабель,— отвечал управляющий.— Там дикари перебили пятерых белых на берегу, захватили шхуну, зарезали капитана и помощника и все скопом сбежали на Малаиту. Я всегда говорил, что тамошнее

начальство слишком беспечно. Нас-то они не застанут врасплох!.. Пожалуйте сюда, на веранду, мистер Аркрайт. Посмотрите, какой вид на окрестности!

Но Берти было не до видов. Он придумывал, как бы ему поскорее добраться до Тулаги, под крылышко резидента. И пока он был занят размышлениями на эту тему, за спиной у него вдруг грянул выстрел. В тот же миг мистер Гаривел стремительно втащил его в дом, чуть не вывернув ему при этом руку.

— Ну, дружище, вам повезло. Капельку бы левее — и... — говорил управляющий, ощупывая Берти и постепенно убеждаясь, что тот цел и невредим.— Простите, ради бога, все по моей вине, но кто бы мог подумать — среди бела дня...

Берти побледнел.

— Вот так же убили прежнего управляющего,— снисходительно заметил Мак-Тэвиш.— Хороший был парень, жалко! Всю веранду тогда мозгами забрызгало. Вы обратили внимание — вон там темное пятнышко, во-он, между крыльцом и дверью.

Берти пришел в такое расстройство, что коктейль, приготовленный и поднесенный ему мистером Гаривелом, оказался для него как нельзя более кстати. Но не успел он поднести стакан к губам, как вошел человек в бриджах и крагах.

— Что там еще стряслось? — спросил управляющий, взглянув на вошедшего.— Река, что ли, опять разлилась?

— Какая, к черту, река,— дикари. В десяти шагах отсюда вылезли из тростника и пальнули по мне. Хорошо еще, что у них была снайдеровская винтовка, а не винчестер, да и стреляли с бедра... Но хотел бы я знать, откуда у них этот снайдер?.. Ах, простите, мистер Аркрайт. Рад вас приветствовать.

— Мистер Браун, мой помощник,— представил его мистер Гаривел.— А теперь давайте выпьем.

— Но где они достали оружие? — допытывался мистер Браун.— Говорил я вам, что нельзя хранить ружья в доме.

— Но они же никуда не делись,— уже с раздражением возразил мистер Гаривел.

Мистер Браун недоверчиво усмехнулся.

— Пойдем посмотрим! — потребовал управляющий.

Берти тоже отправился в контору вместе с остальными. Войдя туда, мистер Гаривел торжествующе указал на большой ящик, стоявший в темном пыльном углу.

— Прекрасно, но откуда же тогда у негодяев ружья? — в который раз повторил мистер Браун.

Но тут Мак-Тэвиш потрогал ящик и, ко всеобщему изумлению, без труда приподнял его. Управляющий бросился к ящику

и сорвал крышку — ящик был пуст. Молча и со страхом они посмотрели друг на друга. Гаривел устало опустил голову. Мак-Тэвиш выругался.

— Черт побери! Я всегда говорил, что слугам нельзя доверять.

— Да, положение серьезное,— признался Гаривел.— Ну, ничего, как-нибудь выкрутимся. Нужно задать им острастку, вот и все. Джентльмены, захватите с собой к обеду винтовки, а вы, мистер Браун, пожалуйста, приготовьте штук сорок — пятьдесят динамитных шашек. Шнуры сделайте покороче. Мы им покажем, канальям! А сейчас, джентльмены, прошу к столу.

Берти терпеть не мог риса с пряностями по-индийски, поэтому он, опережая остальных, сразу приступил к заманчивому на вид омлету. Он успел уже разделаться со своей порцией, когда Гаривел тоже потянулся за омлетом. Но, взяв кусочек в рот, управляющий тут же с проклятиями его выплюнул.

— Это уже второй раз,— зловеще процедил Мак-Тэвиш.

Гаривел все еще харкал и плевался.

— Что второй раз? — дрожащим голосом спросил Берти.

— Яд,— последовал ответ.— Этому повару не миновать виселицы!

— Вот так же отправился на тот свет счетовод с мыса Марш,— заговорил Браун.— Он умер в ужасных мучениях. Люди с «Джесси» рассказывали, что за три мили слышно было, как он кричал.

— В кандалы закую мерзавца,— прошипел Гаривел.— Хорошо еще, что мы вовремя заметили.

Берти сидел белый, как полотно, не шевелясь и не дыша. Он попытался что-то сказать, но только слабый хрип вылетел из его горла. Все с тревогой посмотрели на него.

— Неужели вы?..— испуганно воскликнул Мак-Тэвиш.

— Да, да, я съел его! Много! Целую тарелку! — возопил Берти, внезапно обретая дыхание, как пловец, вынырнувший на поверхность.

Наступило ужасное молчание. В глазах сотрапезников Берти прочитал свой приговор.

— Может, это еще и не яд,— мрачно заметил Гаривел.

— Спросим повара,— посоветовал Браун.

Весело улыбаясь, в комнату вошел повар, молодой туземец, с гвоздем в носу и продырявленными ушами.

— Слушай, ты, Ви-Ви! Что это такое? — прорычал Гаривел, угрожающе ткнув пальцем в яичницу.

Такой вопрос, естественно, озадачил и испугал Ви-Ви.

— Хороший еда, можно кушать,— пробормотал он извиняющимся тоном.

— Пускай сам попробует,— предложил Мак-Тэвиш.— Это лучший способ узнать правду.

Гаривел схватил ложку омлета и подскочил к повару. Тот в страхе бросился вон из комнаты.

— Все ясно,— торжественно объявил Браун.— Не станет есть, хоть ты его режь.

— Мистер Браун, прошу вас надеть на него кандалы! — приказал Гаривел и затем ободряюще обратился к Берти: — Не беспокойтесь, дружище, резидент разберет это дело, и, если вы умрете, негодяй будет повешен.

— Вряд ли правительство решится на это,— возразил Мак-Тэвиш.

— Но, господа, господа,— чуть не плача закричал Берти,— вы забываете обо мне!

Гаривел с прискорбием развел руками.

— К сожалению, дорогой мой, это туземный яд и противоядие пока еще не известно. Соберитесь с духом, и если...

Два резких винтовочных выстрела прервали его. Вошел Браун, перезарядил винтовку и сел к столу.

— Повар умер,— сообщил он.— Внезапный приступ лихорадки.

— Мы тут говорили, что против местных ядов нет противоядия.

— Кроме джина,— заметил Браун.

Назвав себя безмозглым идиотом, Гаривел бросился за джином.

— Только не разбавляйте,— предупредил он, и Берти, хватив разом чуть не стакан неразбавленного спирта, поперхнулся, задохся и так раскашлялся, что на глазах у него выступили слезы.

Гаривел пощупал у него пульс и смерил температуру; он всячески ухаживал за Берти, приговаривая, что, может, еще омлет и не был отравлен. Браун и Мак-Тэвиш тоже высказали сомнение на этот счет, но Берти уловил в их тоне неискреннюю нотку. Есть ему уже ничего не хотелось, и он, тайком от остальных, щупал под столом свой пульс. Пульс все учащался, в этом не было сомнений, Берти только не сообразил, что это от выпитого им джина. Мак-Тэвиш взял винтовку и вышел на веранду посмотреть, что делается вокруг дома.

— Они собираются около кухни,— доложил он, вернувшись.— И все со снайдерами. Я предлагаю подкрасться с другой

стороны и ударить им во фланг. Нападение — лучший способ защиты, так? Вы пойдете со мной, Браун?

Гаривел как ни в чем не бывало продолжал есть, а Берти с трепетом обнаружил, что пульс у него участился еще на пять ударов. Тем не менее и он невольно вскочил, когда началась стрельба. Сквозь частую трескотню снайдеров слышались гулкие выстрелы винчестеров Брауна и Мак-Тэвиша. Все это сопровождалось демоническими воплями и криками.

— Наши обратили их в бегство,— заметил Гаривел, когда крики и выстрелы стали удаляться.

Браун и Мак-Тэвиш вернулись к столу, но последний тут же снова отправился на разведку.

— Они достали динамит,— сообщил он по возвращении.

— Что же, пустим в ход динамит и мы,— предложил Гаривел.

Засунув в карманы по пять, шесть штук динамитных шашек, с зажженными сигарами во рту, они устремились к выходу. И вдруг!.. Позже они обвиняли Мак-Тэвиша в неосторожности, и тот признал, что заряд, пожалуй, и правда был великоват. Так или иначе, страшный взрыв потряс стены, дом одним углом поднялся на воздух, потом снова сел на свое основание. Со стола на пол полетела посуда, стенные часы с восьмидневным заводом остановились. Взывая о мести, вся троица кинулась в темноту, и началась бомбардировка.

Когда они вернулись в столовую, Берти и след простыл. Дотащившись до конторы и забаррикадировав дверь, он почил на полу, переживая в пьяных кошмарах сотни всевозможных смертей, пока вокруг него кипел бой. Наутро, разбитый, с отчаянной головной болью от джина, он выполз на воздух и с изумлением обнаружил, что солнце по-прежнему сияет на небе и бог, очевидно, правит миром, ибо гостеприимные хозяева Берти разгуливали по плантации живые и невредимые.

Гаривел уговаривал его погостить еще, но Берти был непоколебим и отплыл на «Арле» к Тулаги, где до прибытия парохода не покидал дома резидента. На пароходе в Сидней опять были путешествующие дамы, и опять они смотрели на Берти как на героя, а капитана Малу не замечали. Но по прибытии в Сидней капитан Малу отправил на острова не один, а два ящика первосортного шотландского виски, ибо никак не мог решить, кто — шкипер Гансен или мистер Гаривел — лучше показал Берти Аркрайту «бурную и полную опасностей жизнь на страшных Соломоновых островах».

— Оттого что мы больны, у нас отнимают свободу. Мы слушались закона. Мы никого не обижали. А нас хотят запереть в тюрьму. Молокаи — тюрьма. Вы это знаете. Вот Ниули,— его сестру семь лет как услали на Молокаи. С тех пор он ее не видел. И не увидит. Она останется на Молокаи до самой смерти. Она не хотела туда ехать. Ниули тоже этого не хотел. Это была воля белых людей, которые правят нашей страной. А кто они, эти белые люди?

Мы это знаем. Нам рассказывали о них отцы и деды. Они пришли смирные, как ягнята, с ласковыми словами. Оно и понятно: ведь нас было много, мы были сильны, и все острова принадлежали нам. Да, они пришли с ласковыми словами. Они разговаривали с нами по-разному. Одни просили разрешить им, милостиво разрешить им проповедовать нам слово божие. Другие просили разрешить им, милостиво разрешить им торговать с нами. Но это было только начало. А теперь они все забрали себе — все острова, всю землю, весь скот. Слуги господа бога и слуги господа рома действовали заодно и стали большими начальниками. Они живут, как цари, в домах о многих комнатах, и у них толпы слуг. У них ничего не было, а теперь они завладели всем. И если вы, или я, или другие канаки голодают, они смеются и говорят: «А ты работай. На то и плантации».

Кулау замолчал. Он поднял руку и скрюченными, узловатыми пальцами снял с черноволосой головы сверкающий венок из цветов мальвы. Лунный свет заливал ущелье серебром. Ночь дышала мирным покоем. Но те, кто слушал Кулау, казались воинами, пострадавшими в жестоком бою. Их лица напоминали львиные морды. У одного на месте носа зияла дыра, у другого с плеча свисала култышка — остаток сгнившей руки. Их было тридцать человек, мужчин и женщин,— тридцать отверженных, ибо на них лежала печать зверя.

Они сидели, увенчанные цветами, в душистой, пронизанной светом мгле, выражая свое одобрение речи Кулау нечленораздельными хриплыми криками. Когда-то они были людьми, но теперь это были чудовища, изувеченные и обезображенные, словно их веками пытали в аду,— страшная карикатура на человека. Пальцы — у кого они еще сохранились — напоминали когти гарпий; лица были как неудавшиеся, забракованные слепки, которые какой-то сумасшедший бог, играя, разбил и расплющил в машине жизни. Кое у кого этот сумасшедший бог

попросту стер половину лица, а у одной женщины жгучие слезы текли из черных впадин, в которых когда-то были глаза. Некоторые мучились и громко стонали от боли. Другие кашляли, и кашель их походил на треск рвущейся материи. Двое были идиотами, похожими на огромных обезьян, созданных так неудачно, что по сравнению с ними обезьяна показалась бы ангелом. Они кривлялись и бормотали что-то, освещенные луной, в венках из тяжелых золотистых цветов. Один из них, у которого раздувшееся ухо свисало до плеча, сорвал яркий оранжево-алый цветок и украсил им свое страшное ухо, колыхавшееся при каждом его движении.

И над этими существами Кулау был царем. А это захлебнувшееся цветами ущелье, зажатое между зубчатых скал и утесов, откуда доносилось блеяние диких коз, было его царством. С трех сторон поднимались мрачные стены, увешанные причудливыми занавесями из тропической зелени и чернеющие входами в пещеры — горные берлоги его подданных. С четвертой стороны долина обрывалась в глубочайшую пропасть, и там, вдалеке, виднелись вершины более низких гор и хребтов, у подножия которых гудел и пенился океанский прибой. В тихую погоду к каменистому берегу у входа в долину Калалау можно было подойти на лодке, но только в очень тихую погоду. И смелый горец мог проникнуть с берега в верхнюю часть долины, в зажатое скалами ущелье, где царствовал Кулау; но такой человек должен был обладать большой смелостью и к тому же знать еле видные глазу козьи тропы. Казалось невероятным, что жалкие, беспомощные калеки, составлявшие племя Кулау, сумели пробраться по головокружительным тропинкам в это неприступное место.

— Братья,— начал Кулау.

Но тут один из косноязычных, обезьяноподобных уродов издал безумный, звериный крик, и Кулау замолчал, дожидаясь, когда отзвуки этого пронзительного вопля, перекатившись между скалистыми стенами, замрут вдали, в неподвижном ночном воздухе.

— Братья, не удивительно ли? Нашей была эта земля, а теперь она не наша. Что дали нам за нашу землю эти слуги господа бога и господа рома? Получил ли кто из вас за нее хоть доллар, хоть один доллар? А они стали хозяевами и теперь говорят нам, что мы можем работать на земле — на их земле, и что плоды наших трудов тоже достанутся им. В прежние дни нам не нужно было трудиться. И ко всему этому теперь, когда нас поразила болезнь, они отнимают у нас свободу.

— А кто принес нам эту болезнь, Кулау? — спросил сухопарый, жилистый Килолиана, который лицом так напоминал смеющегося фавна, что, казалось, вместо ног у него должны быть копыта. Но это были не копыта, а ноги, только все в крупных язвах и лиловых пятнах гниения. А когда-то Килолиана смелее всех карабкался по горам и знал все козьи тропинки, он-то и привел Кулау и его несчастный народ в безопасные верховья Калалау.

— Это правильный вопрос,— ответил Кулау.— Оттого что мы не хотели работать на их сахарных плантациях, где раньше паслись наши кони, они привезли из-за моря рабов-китайцев. А с ними пришла китайская болезнь — та самая, которой мы болеем и за которую нас хотят заточить на Молокаи. Мы родились на Кауаи. Мы бывали и на других островах, кто где: на Оаху, Мауи, Гавайи, в Гонолулу. Но всегда мы возвращались на Кауаи. Почему мы возвращались? Как вы думаете? Потому что мы любим Кауаи. Мы здесь родились, здесь жили. И здесь мы умрем, если... если среди нас нет трусливых душ. Таких нам не нужно. Таким место на Молокаи. И если они есть среди нас, пускай уходят. Завтра на берег высадятся солдаты. Пусть трусливые души спустятся к ним. Их живо отправят на Молокаи. А мы, мы останемся и будем бороться. Но не бойтесь, мы не умрем. У нас есть винтовки. Вы ведь знаете, как узка тропа, двоим на ней не разойтись. Я, Кулау, который ловил когда-то диких быков на Ниихау, один могу защищать эту тропу от тысячи врагов. Вот Капалеи, он раньше был судьей над людьми, почтенным человеком, а теперь он — затравленная крыса, как и мы с вами. Он мудрый, послушайте его.

Капалеи поднялся. Когда-то он был судьей. Он учился в колледже в Пунахоу. Он сидел за одним столом с господами и начальниками и с высокими представителями иностранных держав, охраняющими интересы торговцев и миссионеров. Вот каков был Капалеи в прошлом. А сейчас, как и сказал Кулау, это была затравленная крыса, человек вне закона, превратившийся в нечто столь страшное, что он был теперь и ниже закона и выше его. Вместо носа и щек у него остались только черные ямы, глаза без век горели под голыми надбровными дугами.

— Мы не затеваем раздоров,— начал он.— Мы просим, чтобы нас оставили в покое. Но если они не оставляют нас в покое — значит, они и затевают раздоры и пусть понесут за это наказание. Вы видите, у меня нет пальцев.— Он поднял свои культышки, чтобы все могли их увидеть.— Но вот от этого

большого пальца еще сохранился сустав, и я могу нажать им на спуск так же крепко, как в былые дни — указательным пальцем, которого нет. Мы любим Кауаи. Так давайте жить здесь или умрем здесь, но не пойдем в тюрьму на Молокаи. Болезнь эта не наша. На нас нет греха. Слуги господа бога и слуги господа рома привезли сюда болезнь вместе с китайскими кули, которые работают на украденной у нас земле. Я был судьей. Я знаю закон и порядок. И я говорю вам: не разрешает закон украсть у человека землю, заразить его китайской болезнью, а потом заточить в тюрьму на всю жизнь.

— Жизнь коротка, и дни наши наполнены страданиями,— сказал Кулау.— Давайте петь и танцевать, и будем счастливы, как можем.

Из пещеры в скале принесли калабаши и пустили их вкруговую. Они были наполнены крепчайшей настойкой из корней растения ти; и когда жидкий огонь ударил этим людям в мозг и разлился по телу, они забыли все и снова стали людьми. В женщине, проливавшей жгучие слезы из пустых глазниц, проснулись прежние чувства, и она, перебирая струны своей гитары, запела любовную песню дикарки — песню, что родилась в темных лесных чащах первобытного мира. Воздух дрожал от ее голоса, властного и зовущего. На циновке, подчиняясь ритму песни, плясал Килолиана. Каждое его движение излучало любовь, и рядом с ним на циновке плясала женщина, чьи пышные бедра и высокая грудь странно не вязались с изъеденным болезнью лицом. То была пляска живых мертвецов, ибо в их разлагающихся телах еще таились и любовь и желания. Все громче звучала любовная песня женщины, проливавшей жгучие слезы из невидящих глаз, все упоеннее плясали танцоры пляску любви в теплой ночной тишине, все быстрее ходили по рукам калабаши, и упорным огнем тлели у всех в мозгу воспоминания и страсть.

Рядом с женщиной на циновке плясала тоненькая девушка; лицо у нее было красивое и чистое, но на скрюченных руках, поднимавшихся и падавших в пляске, болезнь уже оставила свой разрушительный след. А оба идиота — страшная, отвратительная пародия на человека — плясали поодаль, бормоча и хрипя что-то невнятное, пародируя любовь.

Но вот любовная песня женщины оборвалась на полуслове, опустились на землю калабаши, и кончилась пляска. Взгляды всех устремились в пропасть, к морю, над которым в залитом луною воздухе призрачным огнем сверкнула ракета.

— Это солдаты,— сказал Кулау.— Завтра будет бой. Нужно подкрепиться сном и подготовиться.

Прокаженные повиновались и уползли в свои норы, и скоро Кулау остался один. Он сидел неподвижно в свете луны, положив на колени винтовку и глядя вниз на далекий берег, к которому приставали лодки.

Здесь, наверху, долина Калалау была надежным убежищем. Если не считать Килолианы, знавшего обходные тропы в отвесных стенах ущелья, никто не мог добраться сюда, кроме как по острому горному гребню. Гребень этот тянулся на сотню ярдов в длину; в ширину он был не больше двенадцати дюймов. По обе стороны его зияли пропасти. Стоило поскользнуться — и справа и слева человека ждала верная смерть. Но в конце пути перед ним открывался земной рай. Море зелени омывало ущелье, заливая его от стены до стены зелеными волнами, стекая со скалистых уступов обильными струями лоз и разбрызгивая по всем расщелинам пену папоротников и воздушных корней. Долгие месяцы Кулау и его подданные вели борьбу с этим морем растительности. Им удалось оттеснить буйные цветущие заросли, и теперь бананам, апельсинным и манговым деревьям стало свободнее. На небольших полянках рос дикий аррорут; на каменных террасах, покрытых слоем земли, они развели таро и дыни; и на всех открытых местах, куда проникало солнце, поднимались деревья папайя, отягченные золотыми плодами.

В это убежище Кулау ушел из низовьев долины, от моря. Если бы пришлось уходить и отсюда, у него были на примете другие ущелья, еще выше, среди громоздящихся горных вершин. И теперь он сидел, положив рядом с собою винтовку, и вглядывался сквозь завесу листвы в солдат на далеком берегу. Он разглядел, что они привезли с собой тяжелые пушки, отражавшие солнце, как зеркала. Прямо перед ним тянулся острый гребень. По тропинке, ведущей к нему снизу, ползли крошечные точки — люди. Кулау знал, что это не солдаты, а полиция. У этих ничего не выйдет, и вот тогда за дело возьмутся солдаты.

Он любовно провел искалеченной рукой по стволу винтовки и проверил прицел. Стрелять он научился давно, когда охотился на острове Ниихау, где до сих пор не забыли его меткой стрельбы.

По мере того как движущиеся точки приближались и увеличивались, Кулау определял дистанцию с поправкой на ветер,

дувший сбоку, и учитывая возможность перелета по таким низко расположенным целям. Но стрелять он не стал. Он дал им добраться до начала острого гребня и только тогда обнаружил свое присутствие. Он спросил, не выходя из зарослей:

— Что вам нужно?

— Нам нужен Кулау-прокаженный,— ответил начальник отряда туземной полиции, голубоглазый американец.

— Уходите обратно,— сказал Кулау.

Он знал этого человека: это был шериф,— тот, кто не дал ему жить на Ниихау и прогнал его через весь Кауаи в долину Калалау, а оттуда вверх, в ущелье.

— Кто ты? — спросил шериф.

— Я Кулау-прокаженный,— послышалось в ответ.

— Тогда выходи. Ты нам нужен, живой или мертвый. Твоя голова оценена в тысячу долларов. Тебе не уйти.

Кулау громко рассмеялся в своем тайнике.

— Выходи! — скомандовал шериф, но ответом ему было молчание.

Он посовещался с полицейскими, и Кулау понял, что они решили взять его штурмом.

— Кулау! — крикнул шериф.— Кулау, я иду к тебе.

— Тогда погляди сначала на солнце, и небо, и море, потому что больше ты их никогда не увидишь.

— Хорошо, хорошо, Кулау,— сказал шериф примирительным тоном.— Я знаю, что ты стреляешь без промаха. Но в меня ты не станешь стрелять. Я ничем тебя не обидел.

Кулау проворчал что-то.

— Право же,— настаивал шериф,— я ведь ничем тебя не обидел, разве не так?

— Ты обижаешь меня тем, что пытаешься засадить в тюрьму,— прозвучал ответ.— И ты обижаешь меня тем, что пытаешься получить за мою голову тысячу долларов. Если тебе дорога жизнь, стой на месте.

— Я должен до тебя добраться. Что поделаешь, это мой долг.

— Ты умрешь раньше, чем доберешься до меня.

Шериф был не трус, но тут он заколебался. Он посмотрел вниз, в пропасть, окинул взглядом острый, как нож, гребень и решился.

— Кулау! — крикнул он.

Заросли молчали.

— Кулау, не стреляй. Я иду.

Шериф повернулся к полицейским, отдал им какое-то приказание и пустился в свой опасный путь. Он шел медленно. Это напоминало ходьбу по канату. Кроме воздуха, ему не за что было ухватиться. Камни сыпались у него из-под ног и стремительно летели в пропасть. Солнце палило, и по лицу у него катился пот. Но он все шел и наконец достиг половины пути.

— Стой! — скомандовал Кулау из зарослей.— Еще шаг, и я стреляю.

Шериф остановился, покачиваясь над бездной, чтобы удержать равновесие. Он побледнел, но во взгляде его была решимость. Он облизал пересохшие губы и заговорил:

— Кулау, ты не убьешь меня. Я знаю, что не убьешь.

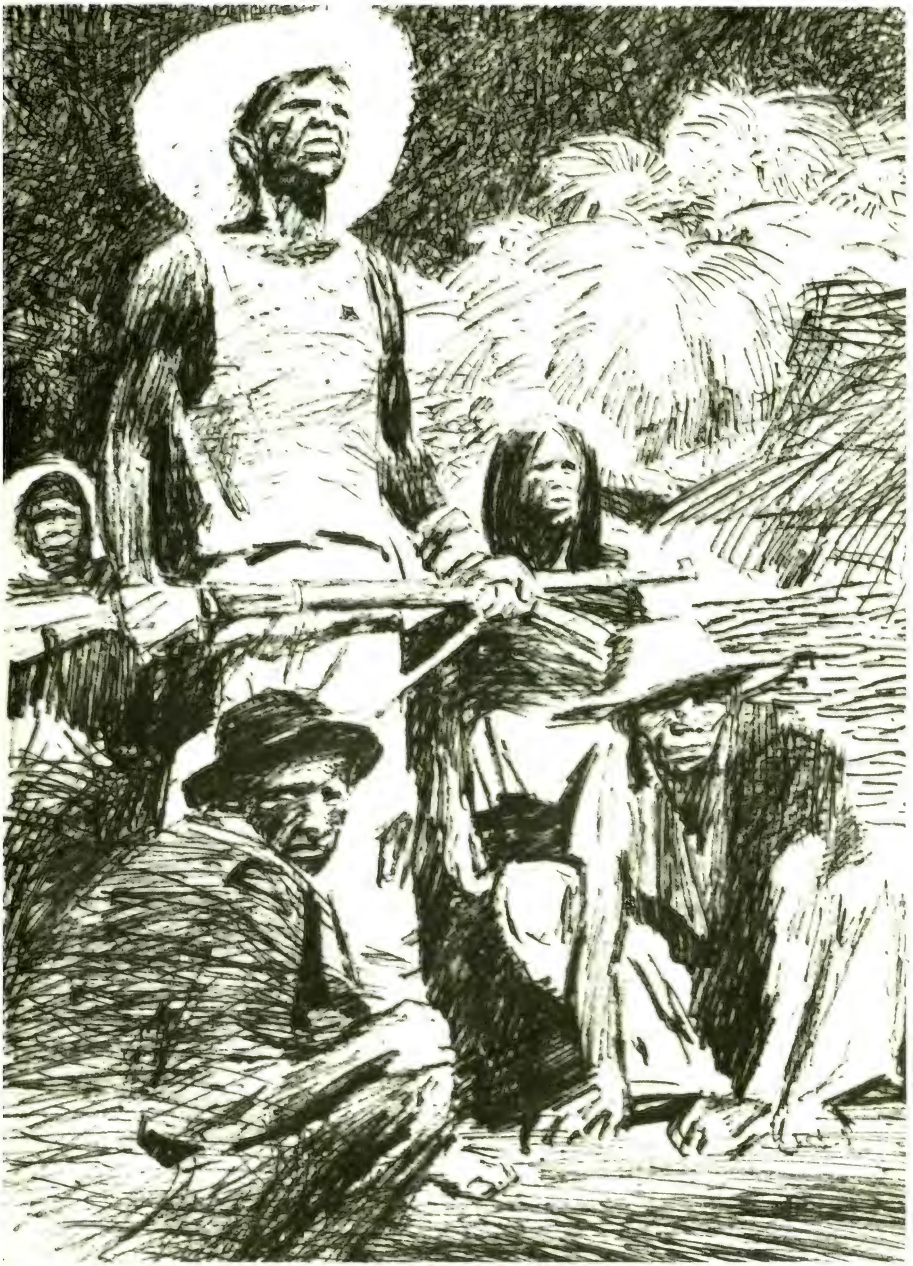
Он снова двинулся вперед. Пуля заставила его перевернуться волчком. Когда он падал, на лице его промелькнуло сердитое недоумение. Он успел подумать, что если упасть на острый гребень, то еще можно спастись,— но тут смерть настигла его. Секунда — и гребень был пуст. И тогда пятеро полицейских один за другим смело пустились бегом по острому гребню, а остальные тут же открыли огонь по зарослям. Это было безумием. Кулау нажимал курок так быстро, что пять выстрелов прогремели почти непрерывной очередью. Пригнувшись к самой земле от пуль, со свистом прорезавших кусты, он выглянул из зарослей. Четверо полицейских исчезли так же, как их начальник. Пятый, еще живой, лежал поперек гребня. На дальнем конце толпились остальные полицейские, уже переставшие стрелять. Положение их на этой голой скале было безнадежным: Кулау мог снять их всех до последнего, не дав им спуститься. Но он не стрелял. И после короткого совещания один из полицейских снял с себя белую рубашку и помахал ею, как флагом. Потом он, а за ним и другой пошли по гребню к раненому товарищу. Не выдавая себя ни одним движением, Кулау смотрел, как они медленно отступали и, спустившись вниз, в долину, снова превратились в темные точки.

Два часа спустя Кулау заметил из другого укрытия, что группа полицейских пробует подняться по противоположному склону долины. Дикие козы разбегались от них, а они лезли все выше и выше. И наконец, не доверяя самому себе, Кулау послал за Килолианой.

— Нет, здесь им не пройти,— сказал Килолиана.

— А козы? — спросил Кулау.

— Козы пришли из соседней долины, а сюда им не попасть. Дороги нет. Эти люди не умнее коз. Они упадут и разобьются насмерть. Давай посмотрим.



«Кулау-прокаженный»

— Они смелые,— сказал Кулау.— Давай посмотрим.

Лежа рядом на ковре из лиан, под свисающими сверху желтыми цветами хау, они смотрели, как крошечные человечки карабкаются вверх,— и то, чего они ждали, случилось: трое полицейских оступились, упали и, докатившись до выступа, камнем полетели вниз.

Килолиана усмехнулся.

— Больше нас не будут тревожить,— сказал он.

— У них есть пушки,— возразил Кулау.— Солдаты еще не сказали своего слова.

Разморенные жарой, прокаженные спали в пещерах. Кулау тоже дремал у своего логовища, держа на коленях начищенную, заряженную винтовку. Девушка с искалеченными руками лежала в зарослях, наблюдая за острым гребнем. Вдруг Кулау вскочил, забыв про сон: на берегу раздался взрыв. В следующее мгновение воздух словно разодрало на части. Этот немыслимый звук испугал его. Казалось, боги схватили небесный покров и рвут его, как женщины рвут на полосы ткань. Страшный звук быстро приближался. Кулау с опаской поднял глаза. И вот снаряд разорвался высоко в горах, и столб черного дыма вырос над ущельем. Утес дал трещину, и обломки полетели к его подножию.

Кулау провел рукой по взмокшему лбу. Он был потрясен. Он еще никогда не слышал орудийной стрельбы и даже не мог себе представить, как это страшно.

— Раз,— сказал Капалеи, решив почему-то вести счет выстрелам.

Второй и третий снаряд с визгом пролетели над ущельем и разорвались за ближним хребтом. Капалеи считал. Прокаженные высыпали на открытое место перед пещерами. Вначале стрельба испугала их, но снаряды перелетали через ущелье, и скоро они успокоились и стали любоваться новым для них зрелищем. Оба идиота визжали от восторга и принимались кривляться и прыгать всякий раз, как воздух раздирало снарядом. Кулау почти успокоился. Пушки не причиняли вреда. Наверно, такими большими снарядами и на таком расстоянии невозможно стрелять метко, как из винтовки.

Но вот что-то изменилось. Теперь снаряды не долетали до них. Один разорвался в зарослях у острого гребня. Кулау вспомнил про девушку, которая была там на страже, и побежал туда. Кусты еще дымились, когда он заполз в чащу. Изумление охватило его. Ветки были поломаны, расщеплены. Там, где он

оставил девушку, в земле была яма. Девушку разорвало в клочья. Снаряд попал прямо в нее.

Выглянув из кустов и убедившись, что на гребне нет солдат, Кулау пустился бегом обратно к пещерам. Снаряды летели над ним с воем, свистом, стоном, и вся долина гудела и сотрясалась от взрывов. Перед пещерами весело скакали оба идиота, вцепившись друг в друга полусгнившими пальцами. И вдруг Кулау увидел, как рядом с ними из земли поднялся столб черного дыма. Взрывом их отшвырнуло в разные стороны. Один лежал неподвижно, другой на руках пополз к пещере. Ноги его волочились по земле, из ран хлестала кровь. Он был весь в крови и скулил, как собачонка. Все остальные, кроме Капалеи, попрятались в пещеры.

— Семнадцать,— сказал Капалеи и тут же добавил: — Восемнадцать.

Восемнадцатый снаряд упал у самого входа в одну из пещер. Прокаженные высыпали на волю, но из этой пещеры никто не показывался. Кулау вполз в нее, задыхаясь от едкого, вонючего дыма. На земле лежали четыре изуродованных трупа. Среди них была женщина с невидящими глазами, у которой только теперь иссякли слезы.

Подданных Кулау охватила паника, и они уже двинулись по тропе, уводившей из ущелья вверх, в хаос вершин и обрывов. Раненый идиот, тихо подвывая, тащился по земле, стараясь поспеть за остальными. Но у самого начала подъема силы изменили ему, и он скорчился и затих.

— Его нужно убить,— сказал Кулау, обращаясь к Капалеи, который сидел там же, где и раньше.

— Двадцать два,— ответил Капалеи.— Да, лучше убить его. Двадцать три... двадцать четыре.

Увидев направленное на него дуло, идиот громко взвизгнул. Кулау заколебался и опустил винтовку.

— Это не легко,— сказал он.

— Ты дурак. Двадцать шесть, двадцать семь,— сказал Капалеи.— Дай я тебя научу.

Он встал и, подняв с земли тяжелый камень, пошел к раненому. В ту минуту, когда он замахнулся, новый снаряд попал прямо в него, тем самым избавив его от необходимости действовать и подведя итог его счету.

Кулау остался один в ущелье. Он провожал глазами своих подданных, пока последние скрюченные фигуры не исчезли за выступом горы. Потом повернулся и пошел вниз, к зарослям, где убило девушку. Стрельба продолжалась, но он не уходил,

так как заметил, что далеко внизу к подъему двинулись солдаты. Один снаряд разорвался в десяти шагах от него. Распластавшись на земле, Кулау слышал, как осколки пролетели над ним. Цветы хау посыпались на него дождем. Он поднял голову, посмотрел на тропинку и вздохнул. Ему было очень страшно. Пули не смутили бы его, но орудийный огонь вселял в него ужас. При каждом выстреле он, дрожа, припадал к земле, но всякий раз опять поднимал голову и следил за тропинкой.

Наконец стрельба прекратилась. Верно, потому, решил он, что солдаты уже близко. Они ползли по тропинке гуськом, и он стал было считать их, но сбился со счета. Их было не меньше сотни, и все они пришли за ним — Кулау-прокаженным. На мгновение в нем вспыхнула гордость. С винтовками и пушками, с полицией и солдатами они идут за ним, а он — один, да еще больной, калека. За него, живого или мертвого, обещана тысяча долларов. Во всю свою жизнь он не имел столько денег. Это была горькая мысль. Капалеи сказал правду. Он, Кулау, никому не сделал зла. Просто белым людям нужны были рабочие руки на краденой земле, и они привезли китайских кули, а с ними пришла болезнь. И теперь, оттого что его заразили этой болезнью, он стоит тысячу долларов, но ему-то их не получить! Его труп, сгнивший от болезни или разорванный снарядом,— вот за что будут выплачены эти огромные деньги.

Когда солдаты добрались до острого гребня, Кулау хотел было предупредить их, но взгляд его упал на убитую девушку, и он смолчал. Когда на тропинке показался шестой солдат, он открыл огонь и стрелял до тех пор, пока тропинка не опустела. Он выпускал пули, снова заряжал винтовку и снова стрелял не переставая. Все старые обиды огнем горели у него в мозгу, им овладела ярость и жажда мщения. Растянувшись по всей тропе, солдаты тоже стреляли, и хотя они залегли, стараясь укрыться в неглубоких выемках, целиться по ним было легко. Пули свистели и ударялись вокруг Кулау, со звоном отскакивая от камней. Одна пуля царапнула его по черепу, другая обожгла лопатку, не оцарапав кожи.

Это было настоящее побоище, и учинил его один человек. Солдаты стали отступать, унося раненых. Снимая их выстрелами одного за другим, Кулау вдруг почуял запах горелого мяса. Он огляделся по сторонам, но потом понял, что это его пальцы горят от накалившейся винтовки. Проказа разрушила нервы рук. Мясо горело, и он слышал запах, а боли не чувствовал.

Он лежал в зарослях и улыбался, но вдруг вспомнил о пушках. Они, вероятно, замолчали ненадолго и теперь уже будут стрелять прямо по зарослям, откуда он вел огонь. Не успел он отодвинуться за выступ скалы, куда, по его наблюдениям, снаряды не попадали, как обстрел возобновился. Кулау считал: еще шестьдесят снарядов выпустили пушки по ущелью, а потом замолчали. Небольшая площадь была так изрыта воронками, что, казалось, ничего живого там не могло остаться. Солдаты так и решили и под палящими лучами послеполуденного солнца опять полезли вверх по тропе. И снова им не удалось пройти по гребню, и снова они отступили к морю.

Еще два дня Кулау удерживал тропу, хотя солдаты продолжали обстреливать его укрытие из пушек. На третий день на скалистой гряде, нависавшей над ущельем, появился один из прокаженных, мальчик Пахау, и прокричал ему, что Килолиана, охотясь на коз, чтобы им всем не умереть с голода, упал и разбился и что женщины перепуганы и не знают, что делать. Кулау велел мальчику спуститься и, дав ему запасную винтовку, оставил его сторожить тропу, а сам поднялся к своим подданным. Они совсем пали духом. Большинство из них были слишком слабы, чтобы добывать себе пищу в таких тяжких условиях, поэтому все они голодали. Кулау выбрал двух женщин и мужчину, у которых болезнь зашла еще не слишком далеко, и послал их в ущелье за едой и циновками. Остальных он постарался утешить и подбодрить, так что даже самые слабые стали помогать в постройке шалашей.

Но посланные за едой не вернулись, и Кулау пошел назад, в ущелье. Когда он появился над обрывом, одновременно щелкнуло пять-шесть затворов. Одна пуля пробила ему мякоть плеча, другая ударилась о скалу, и отлетевшим осколком ему порезало щеку. Он отпрянул назад, но успел заметить, что ущелье кишит солдатами. Его подданные предали его. Они не выдержали ужаса канонады и предпочли ей Молокаи — тюрьму.

Отступив на несколько шагов, Кулау снял с пояса тяжелую патронную сумку. Он залег среди скал и, когда над обрывом поднялась голова и плечи первого солдата, спустил курок. Так повторилось два раза, а потом, после паузы, из-за края обрыва вместо головы и плеч высунулся белый флаг.

— Что вам нужно? — спросил Кулау.

— Мне нужно тебя, если ты — Кулау-прокаженный,— раздался ответ.

Кулау забыл об опасности, забыл обо всем,— он лежал и дивился необычайному упорству этих хаоле — белых людей,

которые добиваются своего, несмотря ни на что. Да, они добиваются своего, подчиняют себе все и вся, даже если это стоит им жизни. Он почувствовал восхищение этой их волей, которая сильнее жизни и покоряет все на свете. Он понял, что дело его безнадежно. С волей белого человека спорить нельзя. Убей он их тысячу, они все равно подымутся, как песок морской, и умножатся, и доконают его. Они никогда не признают себя побежденными. В этом их ошибка и их сила. У его народа этого нет. Теперь ему стало понятно, как ничтожная горсть посланцев господа бога и господа рома сумела поработить его землю. Это случилось потому...

— Ну, что же? Пойдешь ты со мной? — Это был голос невидимого человека, державшего белый флаг. Ну да, он настоящий хаоле, идет напролом к своей цели.

— Давай поговорим,— сказал Кулау.

Над обрывом поднялась голова и плечи, а потом и весь человек. Это был молоденький капитан с нежным лицом и голубыми глазами, стройный, подтянутый. Он двинулся вперед, потом, по знаку Кулау, остановился и сел шагах в пяти от него.

— Ты храбрый,— сказал Кулау задумчиво.— Я могу убить тебя, как муху.

— Нет, не можешь,— ответил тот.

— Почему?

— Потому что ты — человек, Кулау, хоть и скверный. Я знаю твою историю. Убивать ты умеешь.

Кулау проворчал что-то, но в душе он был польщен.

— Что ты сделал с моими людьми? — спросил он.— Где мальчик, две женщины и мужчина?

— Они сдались нам. А теперь твоя очередь,— я пришел за тобой.

Кулау недоверчиво рассмеялся.

— Я свободный человек,— заявил он.— Я никого не обижал. Одного я прошу: чтобы меня оставили в покое. Я жил свободным и свободным умру. Я никогда не сдамся.

— Значит, твои люди умнее тебя,— сказал молодой капитан.— Смотри, вот они идут.

Кулау обернулся. Сверху двигалась страшная процессия: остатки его племени со вздохами и стонами тащились мимо него во всем своем жалком уродстве.

Но Кулау суждено было изведать еще большую горечь, ибо, поравнявшись с ним, они осыпали его оскорбительной бранью, а старуха, замыкавшая шествие, остановилась и, вытя-

нув костлявую руку с когтями гарпии, оскалив зубы и тряся головой, прокляла его. Один за другим прокаженные перебирались через скалистую гряду и сдавались притаившимся в засаде солдатам.

— Теперь ты можешь идти,— сказал Кулау капитану.— Я никогда не сдамся. Это мое последнее слово. Прощай.

Капитан соскользнул вниз, к своим солдатам. В следующую минуту он поднял надетый на ножны шлем, и пуля, выпущенная Кулау, пробила его насквозь. До вечера они стреляли по нему с берега, и когда он ушел выше, в неприступные скалы, солдаты двинулись за ним следом.

Шесть недель гонялись они за Кулау среди острых вершин и по козьим тропам. Когда он скрывался в зарослях лантаны, они расставляли цепи загонщиков и гнали его, как кролика, сквозь лантановые джунгли и кусты гуава. Но всякий раз он путал следы и ускользал от них. Настигнуть его не было возможности. Если преследователи наседали вплотную, Кулау пускал в дело винтовку, и они уносили своих раненых по горным тропинкам к морю. Случалось, что солдаты тоже стреляли, заметив, как мелькает в чаще его коричневое тело. Однажды они нагнали его впятером на открытом участке тропы и выпустили в него все заряды. Но он, хромая, ушел от них по краю головокружительной пропасти. Позже они нашли на земле пятна крови и поняли, что он ранен. Через шесть недель на него махнули рукой. Солдаты и полицейские возвратились в Гонолулу, предоставив ему долину Калалау в безраздельное пользование, хотя время от времени охотники-одиночки пытались изловить его... на свою же погибель.

Два года спустя Кулау в последний раз заполз в заросли и растянулся на земле среди листьев ти и цветов дикого имбиря. Свободным он прожил жизнь и свободным умирал. Стал накрапывать дождь, и он закрыл свои изуродованные ноги рваным одеялом. Тело его защищал клеенчатый плащ. Маузер он положил себе на грудь, заботливо стерев со ствола дождевые капли. На руке, вытиравшей винтовку, уже не было пальцев; он не мог бы теперь нажать на спуск.

Он закрыл глаза, слабость заливала тело, в голове стоял туман, и он понял, что конец его близок. Как дикий зверь, он заполз в чащу умирать. В полусознании, в бреду он возвращался мыслью к дням своей юности на Ниихау. Жизнь угасала, все тише стучал по листьям дождь, а ему казалось, что он снова объезжает диких лошадей и строптивый двухлеток пляшет под ним и встает на дыбы; а вот он бешено мчится по

корралю, и подручные конюхи разбегаются в стороны и перемахивают через загородку. Минуту спустя, совсем не удивившись этой внезапной перемене, он гнался за дикими быками по горным пастбищам и, набросив на них лассо, вел их вниз, в долину. А в загоне, где шло клеймение, от пота и пыли ело глаза и щипало в носу.

Вся его здоровая, вольная молодость грезилась ему, пока острая боль наступающего конца не вернула его к действительности. Он поднял свои обезображенные руки и в изумлении посмотрел на них. Почему? Как? Как мог он, молодой, свободный, превратиться вот в это? Потом он вспомнил все и на мгновение снова стал Кулау-прокаженным. Веки его устало опустились, шум дождя затих. Томительная дрожь прошла по телу. Потом и это кончилось. Он приподнял голову, но сейчас же снова уронил ее на траву. Глаза его открылись и уже не закрывались больше. Последняя мысль его была о винтовке, и, обхватив ее беспалыми руками, он крепко прижал ее к груди.

ПОД ПАЛУБНЫМ ТЕНТОМ

— Может ли мужчина — я имею в виду джентльмена — назвать женщину свиньей?

Бросив этот вызов всем присутствующим, маленький человечек вытянулся в шезлонге и медленно допил свой лимонад с видом самоуверенным и настороженно-воинственным. Никто не ответил. Все давно привыкли к маленькому человечку, к его вспыльчивости и к высокопарности его речей.

— Повторяю, я своими ушами слышал, как он сказал, что некая дама, которую никто из вас не знает,— свинья. Он не сказал «поступила по-свински», а грубо заявил, что она свинья. А я утверждаю, что ни один порядочный человек не может так назвать женщину.

Доктор Доусон невозмутимо попыхивал черной трубкой. Мэтьюз, обхватив руками согнутые колени, внимательно следил за полетом чайки. Суит, допив виски, искал глазами палубного стюарда.

— Я спрашиваю вас, мистер Трелор, позволительно ли мужчине назвать женщину свиньей?

Трелор, сидевший рядом с ним, растерялся при этой внезапной атаке; он не понимал, почему именно его заподозрили в том, что он способен назвать женщину свиньей.

— Я бы сказал,— пробормотал он неуверенно,— что это... э... зависит от... того, какая... женщина.

Маленький человечек был ошеломлен.

— Вы хотите сказать, что...— начал он дрожащим голосом.

— ...что я встречал женщин, которые были не лучше свиней, а иногда и хуже.

Наступило долгое напряженное молчание. Маленький человечек, видимо, был потрясен откровенной грубостью этого ответа. На его лице отразились неописуемые боль и обида.

— Вы рассказали о человеке, который употребил не совсем деликатное выражение, и высказали свое мнение о нем,— продолжал Трелор спокойным, ровным тоном.— Теперь я расскажу вам об одной женщине — нет, извините, о даме — и, когда кончу, попрошу вас высказать ваше мнение о ней. Назовем ее хотя бы мисс Кэрьюферз,— просто потому, что ее звали не так. То, о чем я вам расскажу, случилось на одном из пароходов Восточной компании несколько лет тому назад.

Мисс Кэрьюферз была очаровательна. Нет, вернее будет сказать, изумительна. Это была молодая девушка из знатной семьи. Ее отец занимал высокий пост, фамилии его я называть не стану, так как она, несомненно, всем вам знакома. Девушка эта ехала к старику на восток в сопровождении матери и двух горничных.

Она — простите, что я повторяю,— была изумительна! Другого определения не подберешь. Говоря о ней, приходится все прилагательные употреблять в превосходной степени. Она делала все, за что ни бралась, лучше всякой другой женщины и лучше, чем большинство мужчин. Как она играла, как пела! Соперничать с ней было невозможно,— это самое сказал какой-то краснобай о Наполеоне. А как она плавала! Будь она профессиональной спортсменкой, она бы прославилась и разбогатела. Она принадлежала к тем редким женщинам, которые в простом купальном костюме, без всяких финтифлюшек, кажутся еще красивее. А одевалась она со вкусом настоящей художницы.

Но я говорил о том, как она плавала. Сложена она была идеально — вы понимаете, что я хочу сказать: не грубая мускулатура акробатки, а безупречность линий, изящество, хрупкость. И вместе с тем — сила. Сочеталось это в ней чудесно. У нее были прелестные руки: у плеч — только намек на мускул, нежная округлость от локтя до кисти, а кисть крохотная, но сильная. Когда она плыла быстрым английским кролем... Ну,

я разбираюсь и в анатомии и в спорте, но для меня так и осталось тайной, как это у нее получалось.

Она могла оставаться под водой две минуты — я проверял с часами в руках. Никто на пароходе, за исключением Деннитсона, не мог, нырнув, собрать со дна столько монет за раз. На носу был устроен наполнявшийся морской водой парусиновый бассейн в шесть футов глубиной. Мы бросали туда мелкие монеты, и я не раз видел, как она, нырнув с мостика в эту шестифутовую глубину (что само по себе было нелегким делом), собирала до сорока семи монет, разбросанных по всему дну. Деннитсон, хладнокровный и сдержанный молодой англичанин, ни разу не мог ее превзойти и только старался всегда не отставать от нее.

Море казалось ее стихией, но и суша тоже. Она была великолепной наездницей... Она была совершенством! Глядя на нее, такую женственную, окруженную всегда десятком пылких поклонников, томно-небрежную или блистающую остроумием, которым она их покоряла, а иной раз и мучила, вы сказали бы, что только для этого она и создана. В такие минуты мне приходилось напоминать себе о сорока семи монетах, собранных со дна бассейна. Вот какой была эта чудо-женщина, которая все умела делать хорошо. Ни один мужчина не мог остаться к ней равнодушным. Не скрою, я тоже ходил за ней по пятам. И молодые щенята, и старые седые псы, которым следовало бы уже образумиться,— все ходили перед ней на задних лапах, и стоило ей свистнуть, как все до одного, от юнца Ардмора, розовощекого девятнадцатилетнего херувима, будущего чиновника в консульстве, до капитана Бентли, седовласого морского волка, который, казалось, был способен на нежные чувства не более китайского идола, бросались на ее зов. А один приятный и немолодой уже человек, по фамилии, кажется, Перкинс, вспомнил, что с ним едет жена, только тогда, когда мисс Кэрьюферз поставила его на место.

Мужчины были мягким воском в ее руках, и она лепила из них, что хотела, а иногда предоставляла им таять или сгорать, как им вздумается. Со слугами она вела себя сдержанно и надменно, но любой стюард по ее знаку, не колеблясь, облил бы супом самого капитана. Кто из вас не встречал подобных женщин, пленяющих всех мужчин на свете? Мисс Кэрьюферз была великая завоевательница сердец. Она была, как удар хлыста, как жало, как пламя, как электрическая искра. И, поверьте мне, при всей ее обаятельности у нее бывали такие вспышки, что жертва ее гнева трепетала от страха и просто теряла голову.

Притом, чтобы лучше понять то, что я вам расскажу, вам следует помнить, что в ней жила нечеловеческая гордость, соединившая в себе гордость расы, гордость касты, гордость пола, гордость сознания своей власти. Страшная это была гордость, страшная и капризная!

Мисс Кэрьюферз командовала всем и всеми на пароходе и командовала Деннитсоном. Мы признавали, что он намного опередил всю нашу свору. Он нравился девушке все больше и больше, в этом не было сомнения. И я уверен, что она испытывала подобное чувство впервые. А мы продолжали поклоняться ей, были всегда под рукой, хотя и знали, что за Деннитсоном нам не угнаться. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но мы пришли в Коломбо, и кончилось все это иначе.

Вы помните, как в Коломбо туземные ребятишки ныряют за монетами в кишащую акулами бухту? Конечно, они рискуют это проделывать лишь по соседству с береговыми акулами, которые охотятся только за рыбой. У ребят выработалось какое-то сверхъестественное чутье: стоит появиться страшному людоеду — тигровой акуле или серой, которая забредает сюда из австралийских вод,— и, раньше чем пассажиры поймут, в чем дело, мальчишки все уже выбрались на безопасное место!

Дело было после завтрака. Мисс Кэрьюферз, как обычно, царила под палубным тентом. Она улыбнулась капитану Бентли, и он разрешил то, чего никогда до сих пор не разрешал: пустить туземных ребятишек на верхнюю палубу. Мисс Кэрьюферз заинтересовалась ими, ведь она сама была искусным пловцом. Она забрала у нас всю мелочь и принялась бросать монеты за борт, то по одной, то целыми горстями, диктуя условия состязания, подшучивая над неудачниками, награждая отличившихся,— словом, дирижировала всем представлением.

Ее особенно заинтересовали их прыжки. Как вы знаете, центр тяжести у человека расположен высоко, и при прыжке ногами вниз трудно удержать тело в вертикальном положении и не перевернуться. У мальчишек был свой способ, ей незнакомый, и она заявила, что хочет его изучить. Они прыгали со шлюпбалок, согнувшись, и только в последний момент выпрямлялись и вертикально входили в воду.

Красивое это было зрелище! Ныряли они, однако, хуже. Все, кроме одного. Этот мальчуган нырял превосходно. Вероятно, его обучал какой-нибудь белый: он нырял «ласточкой» и притом замечательно красиво. Вы знаете, что это такое: прыгаешь вниз головой с большой высоты, и задача в том, чтобы войти в воду под правильным углом. Стоит ошибиться, и рискуешь

повредить себе позвоночник, остаться на всю жизнь калекой; нередки и смертные случаи. Но этот мальчик знал свое дело. Я сам видел, как он нырял с вант, с семидесятифутовой высоты. Прижав руки к груди, откинув голову, он взлетал, как птица, а потом падал горизонтально, распростершись в воздухе. Если бы он ударился так о воду, его сплющило бы, как селедку. Но над самой водой голова его опускалась, вытянутые руки сходились над ней, и грациозно изогнутое тело правильно входило в воду.

Мальчик снова и снова повторял свой прыжок, восхищая всех нас, а особенно мисс Кэрьюферз. Ему было не больше тринадцати лет, но он был самым ловким из всей ватаги, любимцем и вожаком своих товарищей. Даже ребята постарше охотно ему подчинялись. Он был красив: гибок и строен, как молодой бог, живая фигурка из бронзы, с широко расставленными умными и смелыми глазами — весь, как чудесный яркий огонек жизни. Бывают и среди животных такие удивительные творения природы — леопард, лошадь. Кто из вас не любовался игрой их стальных мускулов, неукротимой порывистостью, грацией и кипучей жизнерадостностью каждого движения! В этом мальчике жизнь била ключом, она таилась в блеске его кожи, горела в глазах. Взгляд на него освежал, как глоток кислорода,— такой он был чудесный, юный, стремительный и дикий.

И этот-то мальчик в самый разгар забавы первый подал сигнал тревоги. Товарищи его изо всех сил поплыли за ним к трапу, вода так и кипела от их беспорядочных движений, фонтаны брызг взлетали к небу. Мальчуганы карабкались на пароход, помогая друг другу скорее выбраться из опасного места. Лица у всех были испуганные. Наконец они все выстроились на сходнях, не отводя глаз от поверхности моря.

— Что случилось? — осведомилась мисс Кэрьюферз.

— Акула, наверное,— ответил капитан Бентли.— Пострелятам повезло, что она никого не сцапала.

— Разве они боятся акул? — спросила она.

— А вы? — спросил он, в свою очередь.

Она вздрогнула, посмотрела на море и сделала гримасу.

— Ни за что в мире я не вошла бы в воду, когда поблизости акула! — Она снова вздрогнула.— Они отвратительны!

Мальчики поднялись на верхнюю палубу и столпились у поручней, с обожанием глядя на мисс Кэрьюферз, бросившую им столько монет. Представление кончилось, и капитан Бентли знаком приказал им убираться. Но мисс Кэрьюферз остановила его:

— Погодите минутку, капитан. Я всегда думала, что туземцы не боятся акул.

Она поманила к себе мальчика, нырявшего «ласточкой», и жестом предложила ему прыгнуть еще раз. Он покачал головой, и вся толпа у поручней рассмеялась, как будто услышала веселую шутку.

— Акула,— пояснил он, указывая на воду.

— Нет,— сказала она,— никакой акулы нет!

Но мальчик решительно кивнул, и его товарищи закивали так же решительно.

— Нет тут никаких акул! — воскликнула она и обратилась к нам: — Кто одолжит мне полкроны и соверен?

Немедленно полдюжины рук протянулись к ней с кронами и соверенами. Она взяла две монеты у Ардмора и показала мальчикам полкроны, но ни один не бросился к поручням. Они стояли, растерянно ухмыляясь. Она стала предлагать монету каждому отдельно, но каждый только качал головой и улыбался, переминаясь с ноги на ногу. Тогда она бросила полукрону за борт. Мальчики провожали сверкавшую в воздухе монету взглядами, полными сожаления, но никто не шевельнулся.

— Только не предлагайте им соверен,— шепнул ей Деннитсон.

Не обращая внимания на его слова, она вертела золотой монетой перед глазами мальчика, который нырял «ласточкой».

— Оставьте! — сказал капитан Бентли.— Я и больную кошку за борт не брошу, если акула близко.

Но мисс Кэрьюферз только рассмеялась, упорствуя в своей затее, и продолжала соблазнять мальчика совереном.

— Не искушайте его,— настаивал Деннитсон.— Это для него целое состояние. Он способен прыгнуть.

— А вы не прыгнули бы? — резко сказала она и добавила мягче: — Если я брошу?

Деннитсон покачал головой.

— Вы дорого себя цените,— заметила она.— Сколько нужно соверенов, чтобы вы прыгнули?

— Столько еще не начеканено,— был ответ.

На мгновение мисс Кэрьюферз задумалась. В стычке с Деннитсоном мальчик был забыт.

— Даже ради меня? — спросила она очень тихо.

— Только чтобы спасти вас.

Она снова обернулась к мальчику и показала ему золотой, прельщая его таким огромным богатством. Затем притворилась, что бросает, и он невольно шагнул к поручням; только резкие

окрики товарищей удержали его. В их голосах звучали злоба и упрек.

— Я знаю, вы только дурачитесь,— сказал Деннитсон.— Дурачьтесь, сколько хотите, только, ради бога, не бросайте!

Был ли это каприз, думала ли она, что мальчик не рискнет прыгнуть в воду, трудно сказать. Для нас всех это явилось полной неожиданностью. Золотая монета вылетела из-под тента, сверкнула в ослепительном солнечном свете и, описав сияющую дугу, упала в море. Никто не успел опомниться, как мальчик был уже за бортом. Он и монета взлетели в воздух одновременно. Красивое было зрелище! Соверен упал в воду ребром, и в ту же секунду в том же месте почти без всплеска вошел в воду мальчик. Раздался общий крик ребятишек, у которых глаза были зорче наших, и мы бросились к поручням. Ерунда, что акуле для нападения нужно перевернуться на спину. Эта не перевернулась. Сквозь прозрачную воду мы сверху видели все. Акула была крупная и сразу перекусила мальчика пополам.

Кто-то из нас шепотом сказал что-то, не знаю, кто,— может быть, и я. Затем наступило молчание. Первой заговорила мисс Кэрьюферз. Лицо ее было смертельно бледно.

— Я... мне и в голову не приходило...— сказала она с коротким истерическим смешком.

Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы сохранить самообладание. Она посмотрела на Деннитсона, словно ища поддержки, потом поочередно на каждого из нас. В ее глазах был ужас, губы дрожали. Да, теперь я думаю, что мы были жестоки тогда: никто из нас не шелохнулся.

— Мистер Деннитсон,— сказала она.— Том! Проводите меня вниз.

Он не повернулся, не взглянул на нее, даже бровью не повел, только достал папиросу и закурил, но в жизни я не видел такого мрачного выражения на человеческом лице. Капитан Бентли что-то буркнул и сплюнул за борт. И все. И кругом молчание.

Она отвернулась и пошла по палубе твердой походкой, но, не пройдя и десяти шагов, пошатнувшись, уперлась рукой в стену каюты, чтобы не упасть. Вот так она и шла — медленно, цепляясь за стену.

Трелор умолк и, повернувшись к маленькому человечку, устремил на него холодный вопросительный взгляд.

— Ну,— спросил он наконец,— что вы скажете о ней?

Человек проглотил слюну.

— Мне нечего сказать,— пробормотал он,— нечего.

МЕКСИКАНЕЦ

I

Никто не знал его прошлого, а люди из Хунты и подавно. Он был их «маленькой загадкой», их «великим патриотом» и по-своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в Хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона — одного из платных агентов Диаса. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов! Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали.

На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет восемнадцати, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Фелипе Ривера и что он хочет работать для революции. Вот и все — ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах — привета. Рослый, стремительный Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное таилось в его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная, сосредоточенная злоба. Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сэтби. Его глаза на мгновение остановились на ней, она поймала этот взгляд и тоже почувствовала безымянное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она печатала, чтобы снова войти в ритм работы.

Паулино Вэра вопросительно взглянул на Ареллано и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький мальчик был Неизвестностью, и Неизвестностью, полной угрозы. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу и его тирании была в конце концов только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое, что — они не знали. Но Вэра, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание.

— Отлично,— холодно произнес он,— ты сказал, что хо-

чешь работать для революции. Сними куртку. Повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить. Потом займешься окнами.

— Это для революции? — спросил мальчик.

— Да, для революции,— отвечал Паулино.

Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку.

— Хорошо,— сказал он.

И ничего больше. День за днем он являлся на работу — подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку.

— Можно мне переночевать здесь? — спросил он однажды.

Ага! Вот они и обнаружились — когти Диаса. Ночевать в помещении Хунты — значит найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике. Просьбу отклонили, и Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали; не знали также, когда и где он ел. Однажды Ареллано предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вэра вмешался и стал уговаривать его, он сказал:

— Я работаю для революции.

Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию, и Хунта постоянно находилась в стесненных обстоятельствах. Члены Хунты голодали, но не жалели сил для дела; самый долгий день был для них недостаточно долог, и все же временами казалось, что быть или не быть революции — вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение двух месяцев и хозяин угрожал выселением, не кто иной, как Фелипе Ривера, поломойка в жалкой, дешевой, изношенной одежде, положил шестьдесят золотых долларов на конторку Мэй Сэтби. Это стало повторяться и впредь. Триста писем, отпечатанных на машинке (воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследований революционеров в Соединенных Штатах), лежали неотосланные, в ожидании марок. Исчезли часы Вэры, старомодные золотые часы с репетиром, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэтби. Положение было отчаянное. Рамос и Ареллано безнадежно

теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу двухцентовых марок.

— Уж не проклятое ли это золото Диаса? — сказал Вэра товарищам.

Они подняли брови и ничего не ответили. И Фелипе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды Хунты.

И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности. Отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его.

— Возможно, великий и одинокий дух... не знаю, не знаю! — Ареллано беспомощно развел руками.

— В нем есть что-то нечеловеческое,— заметил Рамос.

— В его душе все притупилось,— сказала Мэй Сэтби.— Свет и смех словно выжжены в ней. Он мертвец, и вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу.

— Ривера прошел через ад,— сказал Паулино.— Человек, не прошедший через ад, не может быть таким, а ведь он еще мальчик.

И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять не шевелясь — неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем,— покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла, они смущали их и тревожили.

— Он не шпион,— заявил Вэра, обращаясь к Мэй Сэтби.— Он патриот, помяните мое слово! Лучший патриот из всех нас! Я чувствую это сердцем и головой. И все же я его совсем не знаю.

— У него дурной характер,— сказала Мэй Сэтби.

— Да,— ответил Вэра и вздрогнул.— Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить, они угрожают; они злые, как у тигра. Я знаю: измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца. Он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю, боюсь. Он — дыхание смерти.

И, однако, Вэра, а не кто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анжелосом и Нижней Калифорнией была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы, и на краю их были расстреляны. Двое других в Лос-Анжелосе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварадо, командир федеральных войск, оказался негодяем. Он сумел разрушить все их планы. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками.

Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо был мертв: его нашли в постели, с ножом, по рукоятку ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в Хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспрашивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и все поняли.

— Я говорил вам,— сказал Вэра.— Больше чем кого-либо Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим. Он — карающая десница.

Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэтби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными, чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там — во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям, им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который Хунта выпускала еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать: то большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела и лицо искажала мучительная боль.

— Бродяга,— говорил Ареллано.

— Завсегдатай злачных мест,— говорил Рамос.

— Но откуда у него деньги? — спрашивал Вэра.— Сегодня я узнал, что он оплатил счет за бумагу — сто сорок долларов.

— Это результат его отлучек,— заметила Мэй Сэтби.— Он никогда не рассказывает о них.

— Надо его выследить,— предложил Рамос.

— Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит,— сказал Вэра.— Думаю, что вы больше никогда не увидели бы меня,

разве только на моих похоронах. Он предан какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже богу.

— Перед ним я кажусь себе ребенком,— признался Рамос.

— Я чувствую в нем первобытную силу. Это дикий волк, гремучая змея, приготовившаяся к нападению, ядовитая сколопендра! — сказал Ареллано.

— Он сама революция, ее дух, ее пламя,— подхватил Вэра,— он воплощение беспощадной, неслышно разящей мести. Он ангел смерти, неусыпно бодрствующий в ночной тиши.

— Я готова плакать, когда думаю о нем,— сказала Мэй Сэтби.— У него нет друзей. Он всех ненавидит. Нас он терпит лишь потому, что мы — путь к осуществлению его желаний. Он одинок, слишком одинок...— Голос ее прервался сдавленным всхлипыванием, и глаза затуманились.

Времяпрепровождение Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Мэй Сэтби. Потом опять отдавал Хунте все свое время — дни, недели. И снова, через неопределенные промежутки, исчезал на весь день, заходя в помещение Хунты только рано утром и поздно вечером. Однажды Ареллано застал его в полночь за набором; пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила.

II

Решительный час приближался. Так или иначе, но революция зависела от Хунты, а Хунта находилась в крайне стесненных обстоятельствах. Нужда в деньгах ощущалась острее, чем когда-либо, а добывать их стало еще трудней.

Патриоты отдали уже все свои гроши и больше дать не могли. Сезонные рабочие — беглые мексиканские пеоны — жертвовали Хунте половину своего скудного заработка. Но нужно было куда больше. Многолетний тяжкий труд, подпольная подрывная работа готовы были принести плоды. Время пришло. Революция была на чаше весов. Еще один толчок, последнее героическое усилие, и стрелка этих весов покажет победу. Хунта знала свою Мексику. Однажды вспыхнув, революция уже сама о себе позаботится. Вся политическая машина Диаса рассыплется, как карточный домик. Граница готова к восстанию.

Некий янки с сотней товарищей из организации «Индустриальные рабочие мира» только и ждет приказа перейти ее и начать битву за Нижнюю Калифорнию. Но он нуждается в оружии. В оружии нуждались все — социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные горняки Кер-д'Ален и Колорадо, вырвавшиеся из полицейских застенков и жаждавшие только одного — как можно яростнее сражаться, и, наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты,— словом, все отщепенцы, все отбросы дьявольски сложного современного мира. И Хунта держала с ними связь. Винтовок и патронов, патронов и винтовок! — этот несмолкаемый, непрекращающийся вопль несся по всей стране.

Только перекинуть эту разношерстную, горящую местью толпу через границу — и революция вспыхнет. Таможня, северные порты Мексики будут захвачены. Диас не сможет сопротивляться. Он не осмелится бросить свои основные силы против них, потому что ему нужно удерживать юг. Но пламя перекинется и на юг. Народ восстанет. Оборона городов будет сломлена. Штат за штатом начнет переходить в их руки, и, наконец, победоносные армии революции со всех сторон окружат город Мехико, последний оплот Диаса.

Но как достать денег? У них были люди, нетерпеливые и упорные, которые сумеют применить оружие. Они знали торговцев, которые продадут и доставят его. Но долгая подготовка к революции истощила Хунту. Последний доллар был израсходован, последний источник вычерпнут до дна, последний изголодавшийся патриот выжат до отказа, а великое дело по-прежнему колебалось на весах. Винтовок и патронов! Нищие батальоны должны получить вооружение. Но каким образом? Рамос оплакивал свои конфискованные поместья. Ареллано горько сетовал на свою расточительность в юные годы. Мэй Сэтби размышляла, как бы все сложилось, если бы люди Хунты в свое время были экономнее.

— Подумать, что свобода Мексики зависит от нескольких несчастных тысяч долларов! — воскликнул Паулино Вэра.

Отчаяние было написано на всех лицах. Последняя их надежда, новообращенный Хосе Амарильо, обещавший дать деньги, был арестован на своей гасиенде в Чиуауа и расстрелян у стен собственной конюшни. Весть об этом только что дошла до них.

Ривера, на коленях скребший пол, поднял глаза. Щетка застыла в его обнаженных руках, залитых грязной мыльной водой.

— Пять тысяч помогут делу? — спросил он.

На всех лицах изобразилось изумление. Вэра кивнул и с трудом перевел дух. Говорить он не мог, но в этот миг в нем вспыхнула надежда.

— Так заказывайте винтовки,— сказал Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от него слышали: — Время дорого. Через три недели я принесу вам пять тысяч. Это будет хорошо. Станет теплее, и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу.

Вэра пытался подавить вспыхнувшую в нем надежду. Все это было так неправдоподобно. Слишком много заветных чаяний разлетелось в прах с тех пор, как он начал революционную игру. Он верил этому обтрепанному мальчишке, мывшему полы для революции, и в то же время не смел верить.

— Ты сошел с ума! — сказал он.

— Через три недели,— отвечал Ривера.— Заказывайте винтовки.

Он встал, опустил засученные рукава и надел куртку.

— Заказывайте винтовки,— повторил он.— Я ухожу.

III

После спешки, суматохи, бесконечных телефонных разговоров и перебранки в конторе Келли происходило ночное совещание. Дел у Келли было выше головы; к тому же ему не повезло. Три недели назад он привез из Нью-Йорка Дэнни Уорда, чтобы устроить ему встречу с Биллом Карти, но Карти вот уже два дня как лежит со сломанной рукой, что тщательно скрывается от спортивных репортеров. Заменить его некем. Келли засыпал телеграммами легковесов Запада, но все они были связаны выступлениями и контрактами. А сейчас опять вдруг забрезжила надежда, хотя и слабая.

— Ну, ты, видно, не робкого десятка,— едва взглянув на Риверу, сказал Келли.

Злоба и ненависть горели в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Я побью Уорда.— Это было все, что он сказал.

— Откуда ты знаешь? Видел ты когда-нибудь, как он дерется?

Ривера молчал.

— Да он положит тебя одной рукой, с закрытыми глазами!

Ривера пожал плечами.

— Что, у тебя язык присох, что ли? — пробурчал директор конторы.

— Я побью его.

— А ты когда-нибудь с кем-нибудь дрался? — осведомился Майкл Келли.

Майкл, брат директора, держал тотализатор в «Иеллоустоуне» и зарабатывал немало денег на боксерских встречах.

Ривера в ответ удостоил его только злобным взглядом.

Секретарь, молодой человек спортивного вида, громко фыркнул.

— Ладно, ты знаешь Робертса? — Келли первый нарушил неприязненное молчание.— Я за ним послал. Он сейчас придет. Садись и жди, хотя по виду у тебя нет никаких шансов. Я не могу надувать публику. Ведь первые ряды идут по пятнадцати долларов.

Появился Робертс, явно подвыпивший. Это был высокий, тощий человек с несколько развинченной походкой и медлительной речью.

Келли без обиняков приступил к делу.

— Слушайте, Робертс, вы хвастались, что открыли этого маленького мексиканца. Вам известно, что Карти сломал руку. Так вот, этот мексиканский щенок пахально утверждает, что сумеет заменить Карти. Что вы на это скажете?

— Все в порядке, Келли,— последовал неторопливый ответ.— Он может драться.

— Вы, пожалуй, скажете еще, что он побьет Уорда? — съязвил Келли.

Робертс немного поразмыслил.

— Нет, этого я не скажу. Уорд — классный боец, король ринга. Но в два счета расправиться с Риверой он не сможет. Я Риверу знаю. Это человек без нервов, и он одинаково хорошо работает обеими руками. Он может послать вас на пол с любой позиции.

— Все это пустяки. Важно, сможет ли он угодить публике? Вы растили и тренировали боксеров всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед вашим суждением. Но публика за свои деньги хочет получить удовольствие. Сумеет он ей его доставить?

— Безусловно, и вдобавок здорово измотает Уорда. Вы не знаете этого мальчика, а я знаю. Он — мое открытие. Человек без нервов! Сущий дьявол! Уорд еще ахнет, познакомившись с этим самородком, а заодно ахнете и вы все. Я не утверждаю, что он побьет Уорда, но он вам такое покажет! Это восходящая звезда!

— Отлично.— Келли обратился к своему секретарю: — Позвоните Уорду. Я его предупредил, что если найду что-нибудь подходящее, то позову его. Он сейчас недалеко, в «Иеллоустоуне»; щеголяет там перед публикой и зарабатывает себе популярность.— Келли повернулся к тренеру: — Хотите выпить?

Робертс отхлебнул виски и разговорился.

— Я еще не рассказывал вам, как я открыл этого мальца. Года два назад он появился в тренировочных залах. Я готовил Прэйна к встрече с Дилэни. Прэйн — человек злой. Снисхождения ждать от него не приходится. Он изрядно отколошматил своего партнера, и я никак не мог найти человека, который бы по доброй воле согласился работать с ним. Положение было отчаянное. И вдруг попался мне на глаза этот голодный мексиканский парнишка, который вертелся у всех под ногами. Я зацапал его, выдал ему перчатки и пустил в дело. Выносливый — как дубленая кожа, но сил маловато. И ни малейшего понятия о правилах бокса. Прэйн сделал из него котлету. Но он хоть и чуть живой, а продержался два раунда, прежде чем потерять сознание. Голодный — вот и все. Изуродовали его так, что мать родная не узнала бы. Я дал ему полдоллара и накормил сытным обедом. Надо было видеть, как он жрал! Оказывается, у него два дня во рту маковой росинки не было. Ну, думаю, теперь он больше носа не покажет. Не тут-то было. На следующий день явился — весь в синяках, но полный решимости еще раз заработать полдоллара и хороший обед. Со временем он здорово окреп. Прирожденный боец и выносливость невероятно! У него нет сердца. Это кусок льда. Сколько я помню этого мальчишку, он ни разу не произнес десяти слов подряд.

— Я его знаю,— заметил секретарь.— Он немало для вас поработал.

— Все наши знаменитости пробовали себя на нем,— подтвердил Робертс.— И он все у них перенял. Я знаю, что многих из них он мог бы побить. Но сердце его не лежит к боксу. По-моему, он никогда не любил нашу работу. Так мне кажется.

— Последние месяцы он выступал по разным мелким клубам,— сказал Келли.

— Да. Не знаю, что его заставило. Или, может быть, вдруг ретивое заговорило? Он многих за это время побил. Скорей всего, ему нужны деньги; и он неплохо подработал, хотя по его одежде, это и незаметно. Странная личность! Никто не знает, чем он занимается, где проводит время. Даже когда он при деле, и то — кончит работу и сразу исчезнет. Временами пропадает по целым неделям. Советов он не слушает. Тот, кто станет его

менеджером, наживет капитал; да только с ним не столкуешься. Вы увидите, этот мальчишка будет домогаться всей суммы, когда вы заключите с ним договор.

В эту минуту прибыл Дэнни Уорд. Это было торжественно обставленное появление. В сопровождении менеджера и тренера он ворвался, как всепобеждающий вихрь добродушия и веселья. Приветствия, шутки, остроты расточались им направо и налево, улыбка находилась для каждого. Такова уж была его манера — правда, не совсем искренняя. Уорд был превосходный артист и добродушие считал наилучшим приемом в игре преуспеяния. По существу, это был осмотрительный, хладнокровный боксер и бизнесмен. Остальное было маской. Те, кто знал его или имел с ним дело, говорили, что в денежных вопросах этот малый — жох! Он самолично участвовал в обсуждении всех дел, и поговаривали, что его менеджер не более как пешка.

Ривера был иного склада. В жилах его, кроме испанской, текла еще и индейская кровь; он сидел, забившись в угол, молчаливый, неподвижный, и только его черные глаза, перебегая с одного лица на другое, видели решительно всё.

— Так вот он! — сказал Дэнни, окидывая испытующим взглядом своего предполагаемого противника.— Добрый день, старина!

Глаза Риверы пылали злобой, и на приветствие Дэнни он даже не ответил. Он терпеть не мог всех гринго, но этого ненавидел лютой ненавистью.

— Вот это да! — шутливо обратился Дэнни к менеджеру.— Уж не думаете ли вы, что я буду драться с глухонемым? — Когда смех умолк, он сострил еще раз: — Видно, Лос-Анжелос здорово обеднел, если это — лучшее, что вы могли откопать. Из какого детского сада вы его взяли?

— Он славный малый, Дэнни, верь мне! — примирительно сказал Робертс.— И с ним не так легко справиться, как ты думаешь.

— Кроме того, половина билетов уже распродана,— жалобно протянул Келли.— Придется тебе пойти на это, Дэнни. Ничего лучшего мы сыскать не могли.

Дэнни еще раз окинул Риверу пренебрежительным взглядом и вздохнул.

— Придется мне с ним полегче. А то как бы сразу дух из него не вышибить.

Робертс фыркнул.

— Потише, потише,—осадил Дэнни менеджер.—С неизвестным противником всегда можно нарваться на неприятность.

— Ладно, ладно, я это учту,— улыбнулся Дэнни.— Я готов сначала понянчиться с ним для удовольствия почтеннейшей публики. Как насчет пятнадцати раундов, Келли?.. А потом устроить ему нокаут!

— Идет,— последовал ответ.— Только чтобы публика приняла это за чистую монету.

— Тогда перейдем к делу.— Дэнни помолчал, мысленно производя подсчет.— Разумеется, шестьдесят пять процентов валового сбора, как и с Карти. Но делиться будем по-другому. Восемьдесят процентов меня устроят.— Он обратился к менеджеру.— Устраивает?

Тот одобрительно кивнул.

— Ты понял? — обратился Келли к Ривере.

Ривера покачал головой.

— Так вот слушай,— сказал Келли.— Общая сумма составит шестьдесят пять процентов со сбора. Ты начинающий, и никто тебя не знает. С Дэнни будете делиться так: восемьдесят процентов ему, двадцать тебе. Это справедливо. Верно ведь, Робертс?

— Вполне справедливо, Ривера,— подтвердил Робертс.— Ты же еще не составил себе имени.

— Сколько это шестьдесят пять процентов со сбора? — осведомился Ривера.

— Может, пять тысяч, а может — даже и все восемь,— поспешил пояснить Дэнни.— Что-нибудь в этом роде. На твою долю придется от тысячи до тысячи шестисот долларов. Очень недурно за то, что тебя побьет боксер с моей репутацией. Что скажешь на это?

Тогда Ривера их ошарашил.

— Победитель получит все,— решительно сказал он.

Воцарилась мертвая тишина.

— Вот это да! — проговорил наконец менеджер Уорда.

Дэнни покачал головой.

— Я стреляный воробей,— сказал он.— Я не подозреваю судью или кого-нибудь из присутствующих. Я ничего не говорю о букмекерах и о всяких надувательствах, что тоже иногда случается. Одно могу сказать: меня это не устраивает. Я играю наверняка. А кто знает — вдруг я сломаю руку, а? Или кто-нибудь опоит меня? — Он величественно вскинул голову.— Победитель или побежденный — я получаю восемьдесят процентов! Ваше мнение, мексиканец?

Ривера покачал головой.

Дэнни взорвало, и он заговорил уже по-другому:

— Ладно же, мексиканская собака! Теперь-то уж мне захотелось расколотить тебе башку.

Робертс медленно поднялся и стал между ними.

— Победитель получит все,— угрюмо повторил Ривера.

— Почему ты на этом настаиваешь? — спросил Дэнни.

— Я побью вас.

Дэнни начал было снимать пальто. Его менеджер знал, что это только комедия. Пальто почему-то не снималось, и Дэнни милостиво разрешил присутствующим успокоить себя. Все были на его стороне. Ривера остался в полном одиночестве.

— Послушай, дуралей,— начал доказывать Келли.— Кто ты? Никто! Мы знаем, что в последнее время ты побил нескольких местных боксеров — и всё. А Дэнни — классный боец. В следующем выступлении он будет оспаривать звание чемпиона. Тебя публика не знает. За пределами Лос-Анжелоса никто и не слыхал о тебе.

— Еще услышат,— пожав плечами, отвечал Ривера,— после этой встречи.

— Неужели ты хоть на секунду можешь вообразить, что справишься со мной? — не выдержав, заорал Дэнни.

Ривера кивнул.

— Да ты рассуди,— убеждал Келли.— Подумай, какая это для тебя реклама!

— Мне нужны деньги,— отвечал Ривера.

— Ты будешь драться со мной тысячу лет, и то не победишь,— заверил его Дэнни.

— Тогда почему вы не соглашаетесь? — сказал Ривера.— Если деньги сами идут к вам в руки, чего же от них отказываться?

— Хорошо, я согласен! — с внезапной решимостью крикнул Дэнни.— Я тебя до смерти исколочу на ринге, голубчик мой! Нашел с кем шутки шутить! Пишите условия, Келли. Победитель получает всю сумму. Поместите это в газетах. Сообщите также, что здесь дело в личных счетах. Я покажу этому младенцу, где раки зимуют!

Секретарь Келли уже начал писать, когда Дэнни вдруг остановил его.

— Стой! — Он повернулся к Ривере.— Когда взвешиваться?

— Перед выходом,— последовал ответ.

— Ни за что на свете, наглый мальчишка! Если победитель получает все, взвешиваться будем утром, в десять.

— Тогда победитель получит все? — переспросил Ривера.

Дэнни утвердительно кивнул. Вопрос был решен. Он выйдет на ринг в полной форме.

— Взвешиваться здесь, в десять,— продиктовал Ривера.

Перо секретаря снова заскрипело.

— Это, значит, лишних пять фунтов,— недовольно заметил Робертс Ривере.— Ты пошел на слишком большую уступку. Продул бой. Дэнни будет силен, как бык. Дурень ты! Он наверняка побьет тебя. Даже малейшего шанса у тебя не осталось.

Вместо ответа Ривера бросил на него холодный, ненавидящий взгляд. Он презирал даже этого гринго, которого считал лучшим из всех.

IV

Появление Риверы на ринге осталось почти незамеченным. В знак приветствия раздались только отдельные жидкие хлопки. Публика не верила в него. Он был ягненком, отданным на заклание великому Дэнни. Кроме того, публика была разочарована. Она ждала эффектного боя между Дэнни Уордом и Биллом Карти, а теперь ей приходилось довольствоваться этим жалким маленьким новичком. Неодобрение ее выразилось в том, что пари за Дэнни заключались два, даже три против одного. А на кого поставлены деньги, тому отдано и сердце публики.

Юный мексиканец сидел в своем углу и ждал. Медленно тянулись минуты. Дэнни заставлял дожидаться себя. Это был старый трюк, но он неизменно действовал на начинающих бойцов. Новичок терял душевное равновесие, сидя вот так, один на один со своим собственным страхом и равнодушной, утопающей в табачном дыму публикой. Но на этот раз испытанный трюк себя не оправдал. Робертс оказался прав: Ривера не знал страха. Более организованный, более нервный и впечатлительный, чем кто бы то ни было из боксеров, этого чувства он не ведал. Атмосфера заранее предрешенного поражения не влияла на него. Его секундантами были гринго — подонки, грязные отбросы этой кровавой игры, бесчестные и бездарные. И они тоже были уверены, что их сторона обречена на поражение.

— Ну, теперь смотри в оба! — предупредил его Спайдер Хэгерти. Спайдер был главным секундантом.— Старайся продержаться как можно дольше — такова инструкция Келли. Иначе растрезвонят на весь Лос-Анжелос, что это опять фальшивая игра.

Все это не способствовало бодрости духа. Но Ривера ничего не замечал. Он презирал бокс. Это была ненавистная игра нена-

вистных гринго. Начал он ее в роли снаряда для тренировки только потому, что умирал с голоду. То, что он был словно создан для бокса, ничего для него не значило. Он это занятие ненавидел. До своего появления в Хунте Ривера не выступал за деньги, а потом убедился, что это легкий заработок. Не первый из сынов человеческих преуспевал он в профессии, им самим презираемой. Впрочем, Ривера не вдавался в рассуждения. Он твердо знал, что должен выиграть этот бой. Иного выхода не существовало. Тем, кто сидел в этом переполненном зале, в голову не приходило, какие могучие силы стоят за его спиной. Дэнни Уорд дрался за деньги, за легкую жизнь, покупаемую на эти деньги. То же, за что дрался Ривера, пылало в его мозгу, и, пока он ожидал в углу ринга своего хитроумного противника, ослепительные и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами.

Он видел белые стены гидростанции в Рио-Бланко. Видел шесть тысяч рабочих, голодных и изнуренных. Видел ребятишек лет семи-восьми, за десять центов работающих целую смену. Видел мертвенно бледные лица ходячих трупов — рабочих-красильщиков. Он помнил, что его отец называл эти красильни «камерами самоубийц»,— год работы в них означал смерть. Он видел маленькое патио и свою мать, вечно возившуюся со скудным хозяйством и все же находившую время ласкать и любить сына. Видел и отца, могучего, широкоплечего длинноусого человека, который всех любил и чье сердце было так щедро, что избыток этой любви изливался и на мать, и на маленького мучачо, игравшего в углу патио. В те дни его звали не Фелипе Ривера, а Фернандес: он носил фамилию отца и матери. Его имя было Хуан. Впоследствии он переменил и то и другое. Фамилия Фернандес была слишком ненавистна полицейским префектам и жандармам.

Большой добродушный Хоакин Фернандес! Немалое место занимал он в видениях Риверы. В те времена малыш ничего не понимал, но теперь, оглядываясь назад, юноша понимал все. Он словно опять видел отца за наборной кассой в маленькой типографии или за письменным столом — выводящим бесконечные, торопливые, неровные строчки. Он опять переживал те таинственные вечера, когда рабочие под покровом тьмы, точно злодеи, сходились к его отцу и вели долгие, нескончаемые беседы, а он, мучачо, без сна лежал в своем уголке.

Откуда-то издалека до него донесся голос Хэгерти:

— Ни в коем случае сразу не ложиться на пол. Такова инструкция. Получай трепку за свои деньги!

Десять минут прошло, а Ривера все еще сидел в своем углу. Дэнни не показывался: видимо, он хотел выжать все, что можно, из своего трюка.

Новые видения пылали перед внутренним взором Риверы. Забастовка, вернее — локаут, потому что рабочие Рио-Бланко помогали своим бастующим братьям в Пуэбло. Голод, хождение в горы за ягодами, кореньями и травами — все они этим питались и мучались резями в желудке. А затем кошмар: пустырь перед лавкой Компании; тысячи голодных рабочих; генерал Росальо Мартинес и солдаты Порфирио Диаса; и винтовки, изрыгающие смерть... Казалось, они никогда не смолкнут, казалось, прегрешения рабочих вечно будут омываться их собственной кровью! И эта ночь! Трупы, целыми возами отправляемые в Вера-Крус на съедение акулам. Сейчас он снова ползает по этим страшным кучам, ищет отца и мать, находит их, растерзанных, изуродованных. Особенно запомнилась ему мать: виднелась только ее голова, тело было погребено под грудой других тел. Снова затрещали винтовки солдат Порфирио Диаса, снова мальчик пригнулся к земле и пополз прочь, точно затравленный койот.

Рев, похожий на шум моря, донесся до его слуха, и он увидел Дэнни Уорда, выступающего по центральному проходу со свитой тренеров и секундантов. Публика неистовствовала, приветствуя героя и заведомого победителя. У всех на устах было его имя. Все стояли за него. Даже секунданты Риверы повеселели, когда Дэнни ловко нырнул под канат и вышел на ринг. Улыбка сияла на его лице, а когда Дэнни улыбался, то улыбалась каждая его черточка, даже уголки глаз, даже зрачки. Свет не видывал такого благодушного боксера. Лицо его могло бы служить рекламой, образцом хорошего самочувствия, искреннего веселья. Он знал всех. Он шутил, смеялся, посылал с ринга приветы друзьям. Те, что сидели подальше и не могли выказать ему своего восхищения, громко кричали: «О, о, Дэнни!» Бурные овации продолжались не менее пяти минут.

На Риверу никто не обращал внимания. Его словно и не существовало. Одутловатая физиономия Спайдера Хэгерти склонилась над ним.

— Не поддаваться сразу,— предупредил Спайдер.— Помни инструкцию. Держись до последнего. Не ложиться. Если окажешься на полу, нам велено избить тебя в раздевалке. Понятно? Драться — и точка!

Зал разразился аплодисментами: Дэнни шел по направлению к противнику. Он наклонился, обеими руками схватил его

правую руку и сердечно потряс ее. Улыбающееся лицо Дэнни вплотную приблизилось к лицу Риверы. Публика взвыла при этом проявлении истинно спортивного духа: с противником он встретился, как с родным братом. Губы Дэнни шевелились, и публика, истолковывая неслышные ей слова как благожелательное приветствие, снова разразилась восторженными воплями. Только Ривера расслышал сказанное шепотом.

— Ну ты, мексиканский крысенок,— прошипел Дэнни, не переставая улыбаться,— сейчас я вышибу из тебя дух!

Ривера не шевельнулся. Не встал. Его ненависть сосредоточилась во взгляде.

— Встань, собака! — крикнул кто-то с места.

Толпа начала свистеть, осуждая его за неспортивное поведение, но он продолжал сидеть неподвижно. Новый взрыв аплодисментов приветствовал Дэнни, когда тот шел обратно.

Едва Дэнни разделся, послышались восторженные охи и ахи. Тело у него было великолепное — гибкое, дышащее здоровьем и силой. Кожа белая и гладкая, как у женщины. Грация, упругость и мощь были воплощены в нем. Да он и доказал это во множестве боев. Все спортивные журналы пестрели его фотографиями.

Словно стон пронесся по залу, когда Спайдер Хэгерти помог Ривере стащить через голову свитер. Смуглая кожа придавала его телу еще более худосочный вид. Мускулы у него были, но значительно менее эффектные, чем у его противника. Однако публика не разглядела ширины его грудной клетки. Не могла она также угадать, как мгновенно реагирует каждая его мускульная клеточка, не могла угадать неутомимости Риверы, утонченности нервной системы, превращавшей его тело в великолепный боевой механизм. Публика видела только смуглокожего восемнадцатилетнего юношу с еще мальчишеским телом. Дэнни, вот фигура! Дэнни было двадцать четыре года, и его тело было телом мужчины. Контраст этот еще больше бросился в глаза, когда они вместе стали посреди ринга, выслушивая последние инструкции судьи.

Ривера заметил Робертса, сидевшего непосредственно за репортерами. Он был пьянее, чем обычно, и речь его соответственно была еще медлительнее.

— Не робей, Ривера,— тянул Робертс.— Он тебя не убьет, запомни это. Первого натиска нечего пугаться. Защищайся, а потом иди на клинч. Он тебя особенно не изувечит. Представь себе, что это тренировочный зал.

Ривера и виду не подал, что расслышал его слова.

— Вот угрюмый чертенок! — пробормотал Робертс, обращаясь к соседу.— Какой был, такой и остался.

Но Ривера уже не смотрел перед собой обычным, исполненным ненависти взглядом. Бесконечные ряды винтовок мерещились ему и ослепляли его. Каждое лицо в зале до самых верхних мест ценою в доллар превратилось в винтовку. Он видел перед собой мексиканскую границу, бесплодную, выжженную солнцем; вдоль нее двигались оборванные толпы, жаждущие оружия.

Встав, он продолжал ждать в своем углу. Его секунданты уже пролезли под канаты и унесли с собой брезентовый стул. В противоположном углу ринга стоял Дэнни и смотрел на него. Загудел гонг, и бой начался. Публика выла от восторга. Никогда она не видела столь внушительного начала боя. Правильно писали в газетах: тут были личные счеты. Дэнни одним прыжком покрыл три четверти расстояния, отделявшего его от противника, и намерение съесть этого мексиканского мальчишку так и было написано на его лице. Он обрушил на него не один, не два, не десяток, но вихрь ударов, сокрушительных, как ураган. Ривера исчез. Он был погребен под лавиной кулачных ударов, наносимых ему опытным и блестящим мастером со всех углов и со всех позиций. Он был смят, отброшен на канаты; судья разнял бойцов, но Ривера тотчас же был отброшен снова.

Боем это никто бы не назвал. Это было избиение. Любой зритель, за исключением зрителя боксерских состязаний, выдохся бы в первую минуту. Дэнни, несомненно, показал, на что он способен, и сделал это великолепно. Уверенность публики в исходе состязаний, равно как и ее пристрастие к фавориту, была безгранична, она даже не заметила, что мексиканец все еще стоит на ногах. Она позабыла о Ривере. Она едва видела его; так он был заслонен от нее свирепым натиском Дэнни. Прошла минута, другая. В момент, когда бойцы разошлись, публике удалось бросить взгляд на мексиканца. Губа у него была рассечена, из носу лила кровь. Когда он повернулся и вошел в клинч, кровавые полосы — следы канатов — были ясно видны на его спине. Но вот то, что грудь его не волновалась, а глаза горели обычным холодным огнем,— этого публика не заметила. Слишком много будущих претендентов на звание чемпиона практиковали на нем такие сокрушительные удары. Он научился выдерживать их за полдоллара разовых или за пятнадцать долларов в неделю,— тяжелая школа, но она пошла ему на пользу.

Затем случилось нечто поразительное. Ураган комбинированных ударов вдруг стих. Ривера один стоял на ринге. Дэнни,

грозный Дэнни, лежал на спине! Он не пошатнулся, не опустился на пол медленно и постепенно, но грохнулся сразу. Короткий боковой удар левого кулака Риверы поразил его внезапно, как смерть. Судья оттолкнул Риверу и теперь отсчитывал секунды, стоя над павшим гладиатором.

Тело Дэнни затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. В обычае завсегдатаев боксерских состязаний приветствовать удачный нокаут громкими изъявлениями восторга. Но сейчас они молчали. Все произошло слишком неожиданно. В напряженном молчании прислушивался зал к счету секунд, как вдруг торжествующий голос Робертса прорезал тишину:

— Я же говорил вам, что он одинаково владеет обеими руками.

На пятой секунде Дэнни перевернулся лицом вниз; когда судья сосчитал до семи, он уже отдыхал, стоя на одном колене, готовый подняться при счете девять, раньше, чем будет произнесено десять. Если при счете десять колено Дэнни все еще будет касаться пола, его должны признать побежденным и выбывшим из боя. В момент, когда колено отрывается от пола, он считается «на ногах»; и в этот момент Ривера уже вправе снова положить его. Ривера не хотел рисковать. Он приготовился ударить в ту секунду, когда колено Дэнни отделится от пола. Он обошел противника, но судья втиснулся между ними, и Ривера знал, что секунды тот считает слишком медленно. Все гринго были против него, даже судья.

При счете девять судья резко оттолкнул Риверу. Это было неправильно, зато Дэнни успел подняться, и улыбка снова появилась на его губах. Согнувшись почти пополам, защищая руками лицо и живот, он ловко вошел в клинч. По правилам, судья должен был его остановить, но он этого не сделал, и Дэнни буквально прилип к противнику, с каждой секундой восстанавливая свои силы. Последняя минута раунда была на исходе. Если он выдержит до конца, у него будет потом целая минута, чтобы прийти в себя. И он выдержал, продолжая улыбаться, несмотря на отчаянное положение.

— А все ведь улыбается! — крикнул кто-то, и публика облегченно засмеялась.

— Черт знает какой удар у этого мексиканца! — шепнул Дэнни тренеру, покуда секунданты, не щадя сил, трудились над ним.

Второй и третий раунды прошли бледно. Дэнни, хитрый и многоопытный король ринга, только маневрировал, финтил,

стремясь выиграть время и оправиться от страшного удара, полученного им в первом раунде. В четвертом раунде он был уже в форме. Расстроенный и потрясенный, он все же благодаря силе своего тела и духа сумел прийти в себя. Правда, свирепой тактики он уже больше не применял. Мексиканец оказывал потрясающее сопротивление. Теперь Дэнни призвал на помощь весь свой опыт. Этот великий мастер, ловкий и умелый боец, приступил к методическому изматыванию противника, не будучи в силах нанести ему решительный удар. На каждый удар Риверы он отвечал тремя, но этим он скорее мстил противнику, чем приближал его к нокауту. Опасность заключалась в сумме ударов. Дэнни почтительно и с опаской относился к этому мальчишке, обладавшему удивительной способностью обеими руками наносить короткие боковые удары.

В защите Ривера прибег к смутившему противника отбиву левой рукой. Раз за разом пользовался он этим приемом, гибельным для носа и губ Дэнни. Но Дэнни был многообразен в приемах. Поэтому-то его и прочили в чемпионы. Он умел на ходу менять стиль боя. Теперь он перешел к ближнему бою, в котором был особенно страшен, и это дало ему возможность спастись от страшного отбива противника. Несколько раз подряд вызывал он бурные овации великолепным апперкотом, поднимавшим мексиканца на воздух и затем валившим его с ног. Ривера отдыхал на одном колене, сколько позволял счет, зная, что для него судья отсчитывает очень короткие секунды.

В седьмом раунде Дэнни применил поистине дьявольский апперкот, но Ривера только пошатнулся. И тотчас же, не дав ему опомниться, Дэнни нанес противнику второй страшный удар, отбросивший его на канаты. Ривера шлепнулся на сидевших внизу репортеров, и они толкнули его обратно на край платформы. Он отдохнул на одном колене, покуда судья торопливо отсчитывал секунды. По ту сторону каната его дожидался противник. Судья и не думал вмешиваться или отталкивать Дэнни. Публика была вне себя от восторга.

Вдруг раздался крик:

— Прикончи его, Дэнни, прикончи!

Сотни голосов, точно волчья стая, подхватили этот вопль.

Дэнни сделал все от него зависящее, но Ривера при счете восемь, а не девять неожиданно проскочил под канат и вошел в клинч. Судья опять захлопотал, отводя Риверу так, чтобы Дэнни мог ударить его, и предоставляя любимцу все преимущества, какие только может предоставить пристрастный судья.

«Мексиканец»

Но Ривера продолжал держаться, и туман в его мозгу рассеялся. Все было в порядке вещей. Эти ненавистные гринго бесчестны все до одного! Знакомые видения вновь пронеслись перед ним: железнодорожные пути в пустыне; жандармы и американские полисмены; тюрьмы и полицейские застенки; бродяги у водокачек — вся его страшная и горькая одиссея после Рио-Бланко и забастовки. И в блеске и сиянии славы он увидел великую красную Революцию, шествующую по стране. Винтовки! Вот они здесь, перед ним! Каждое ненавистное лицо — винтовка. За винтовки он примет бой. Он сам винтовка! Он сам — Революция! Он бьется за всю Мексику!

Поведение Риверы стало явно раздражать публику. Почему он не принимает предназначенной ему трепки? Ведь все равно он будет побит, зачем же так упрямо оттягивать исход? Очень немногие желали удачи Ривере, хотя были и такие. На каждом состязании немало людей, которые ставят на темную лошадку. Почти уверенные, что победит Дэнни, они все же поставили на мексиканца четыре против десяти и один против трех. Большинство из них, правда, билось об заклад, сколько раундов выдержит Ривера. Бешеные суммы ставились на то, что он не продержится и до шестого или седьмого раунда. Уже выигравшие эти пари теперь, когда их рискованное предприятие окончилось так благополучно, на радостях тоже аплодировали фавориту.

Ривера не желал быть побитым. В восьмом раунде его противник тщетно пытался повторить апперкот. В девятом Ривера снова поверг публику в изумление. Во время клинча он легким быстрым движением отодвинулся от противника, и правая рука его ударила в узкий промежуток между их телами. Дэнни упал, надеясь уже только на спасительный счет. Толпа обомлела. Дэнни стал жертвой своего же собственного приема. Знаменитый апперкот правой теперь обрушился на него самого. Ривера не сделал попытки схватиться с ним, когда он поднялся при счете «девять». Судья явно хотел застопорить схватку, хотя, когда ситуация была обратной и подняться должен был Ривера, он стоял, не вмешиваясь.

В десятом раунде Ривера дважды прибег к апперкоту, то есть нанес удар «правой снизу» от пояса к подбородку противника. Бешенство охватило Дэнни. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица, но он вернулся к своим свирепым приемам. Несмотря на ураганный натиск, ему не удалось вывести Риверу из строя, а Ривера умудрился среди этого вихря, этой бури ударов три раза кряду положить Дэнни. Теперь Дэнни оживал уже не так быстро, и к одиннадцатому раунду положение его стало

очень серьезным. Но с этого момента и до четырнадцатого раунда он демонстрировал все свои боксерские навыки и качества, бережливо расходуя силы. Кроме того, он прибегал к таким подлым приемам, которые известны только опытному боксеру. Все трюки и подвохи были им использованы до отказа: он как бы случайно прижимал локтем к боку перчатку противника, затыкал ему рот, не давая дышать; входя в клинч, шептал своими рассеченными, но улыбающимися губами в ухо Ривере нестерпимые и грязные оскорбления. Все до единого, начиная от судьи и кончая публикой, держали сторону Дэнни, помогали ему, отлично зная, что́ у него на уме.

Нарвавшись на такую неожиданность, он все ставил теперь на один решительный удар. Он открывался, финтил, изворачивался, во имя этой единственной оставшейся ему возможности: нанести удар, вложив в него всю свою силу, и тем самым вырвать у противника инициативу. Как это уже было сделано однажды до него неким еще более известным боксером, он должен нанести удар справа и слева, в солнечное сплетение и челюсть. И Дэнни мог это сделать, ибо, пока он держался на ногах, руки его сохраняли силу.

Секунданты Риверы не очень-то заботились о нем в промежутках между раундами. Они махали полотенцами лишь для виду, почти не подавая воздуха его задыхающимся легким. Спайдер Хэгерти усиленно шептал ему советы, но Ривера знал, что следовать им нельзя. Все были против него. Его окружало предательство. В четырнадцатом раунде он снова положил Дэнни, а сам, бессильно опустив руки, отдыхал, покуда судья отсчитывал секунды. В противоположном углу послышалось подозрительное перешептывание. Ривера увидел, как Майкл Келли направился к Робертсу и, нагнувшись, что-то зашептал. Слух у Риверы был, как у дикой кошки, и он уловил обрывки разговора. Но ему хотелось услышать больше, и, когда его противник поднялся, он сманеврировал так, чтобы схватиться с ним над самыми канатами.

— Придется! — услышал он голос Майкла Келли. И Робертс одобрительно кивнул.— Дэнни должен победить... не то я теряю огромную сумму... я всадил в это дело уйму денег. Если он выдержит пятнадцатый — я пропал... Вас мальчишка послушает. Необходимо что-то предпринять.

С этой минуты никакие видения уже не отвлекали Риверу. Они пытаются надуть его! Он снова положил Дэнни и отдыхал, уронив руки. Робертс встал.

— Ну, готов,— сказал он.— Ступай в свой угол.

Он произнес это повелительным тоном, каким не раз говорил с Риверой на тренировочных занятиях. Но Ривера только с ненавистью взглянул на него, продолжая ждать, когда Дэнни поднимется. В последовавший затем минутный перерыв Келли пробрался в угол Риверы.

— Брось эти шутки, черт тебя побери! — зашептал он.— Ложись, Ривера. Послушай меня, и я устрою твое будущее. В следующий раз я дам тебе побить Дэнни. Но сегодня ты должен лечь.

Ривера взглядом показал, что расслышал, но не подал ни знака согласия, ни отказа.

— Что же ты молчишь? — злобно спросил Келли.

— Так или иначе — ты проиграешь,— поддал жару Спайдер Хэгерти.— Судья не отдаст тебе победы. Послушайся Келли и ложись.

— Ложись, мальчик,— настаивал Келли,— и я сделаю из тебя чемпиона.

Ривера не отвечал.

— Честное слово, сделаю! А сейчас выручи меня.

Удар гонга зловеще прозвучал для Риверы. Публика ничего не замечала. Он и сам еще не знал, в чем опасность, знал только, что она приближается. Былая уверенность, казалось, вернулась к Дэнни. Это испугало Риверу. Ему готовили какой-то подвох. Дэнни ринулся на него, но Ривера ловко уклонился. Его противник жаждал клинча. Видимо, это было необходимо ему для задуманного подвоха. Ривера отступал, увертывался, но знал, что рано или поздно ему не избежать ни клинча, ни подвоха. В отчаянии он решил выиграть время. Он сделал вид, что готов схватиться с Дэнни при первом же его натиске. Вместо этого, когда их тела вот-вот должны были соприкоснуться, Ривера отпрянул. В это мгновение в углу Дэнни завопили: «Нечестно!» Ривера одурачил их. Судья в нерешительности остановился. Слова, уже готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, потому что пронзительный мальчишеский голос крикнул с галерки:

— Грубая работа.

Дэнни вслух обругал Риверу и двинулся на него. Ривера стал пятиться. Мысленно он решил больше не наносить ударов в корпус. Правда, таким образом терялась половина шансов на победу, но он знал, что если победит, то только с дальней дистанции. Все равно теперь по малейшему поводу его станут обвинять в нечестной борьбе. Дэнни уже послал к черту всякую осторожность. Два раунда кряду он беспощадно

дубасил этого мальчишку, не смевшего схватиться с ним вплотную.

Ривера принимал удар за ударом, он принимал их десятками, лишь бы избегнуть гибельного клинча. Во время этого великолепного натиска Дэнни публика вскочила на ноги. Казалось, все сошли с ума. Никто ничего не понимал. Они видели только одно: их любимец побеждает!

— Не уклоняйся от боя! — в бешенстве орали Ривере.— Трус! Раскройся, щенок! Раскройся! Прикончи его, Дэнни! Твое дело верное!

Во всем зале один Ривера сохранял спокойствие. По темпераменту, по крови он был самым горячим, самым страстным из всех, но он закалился в волнениях, настолько бóльших, что эта бурная страсть толпы, нараставшая, как морские волны, для него была не чувствительнее легкого дуновения вечерней прохлады.

На семнадцатом раунде Дэнни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью его удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились. Он отступил шатаясь. Дэнни решил, что счастливый миг настал. Мальчишка был в его власти. Но Ривера этим маневром усыпил бдительность и сам нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Дэнни упал. Три раза он пытался подняться, и три раза Ривера повторил этот удар. Никакой судья не посмел бы назвать его неправильным.

— Билл, Билл! — взмолился Келли, обращаясь к судье.

— Что я могу сделать? — в тон ему отвечал судья.— Мне не к чему придраться.

Дэнни, побитый, но решительный, всякий раз поднимался снова. Келли и другие, сидевшие возле самого ринга, стали звать полицию, чтобы прекратить это избиение, хотя секунданты Дэнни, отказываясь признать поражение, по-прежнему держали наготове полотенца. Ривера видел, как толстый полисмен неуклюже полез под канаты. Что это может значить? Сколько разных надувательств у этих гринго! Дэнни, поднявшись на ноги, как пьяный, бессмысленно топтался перед ним. Судья и полисмен одновременно добежали до Риверы в тот миг, когда он наносил последний удар. Нужды прекращать борьбу уже не было: Дэнни больше не поднялся.

— Считай! — хрипло крикнул Ривера.

Когда судья кончил считать, секунданты подняли Дэнни и оттащил его в угол.

— За кем победа? — спросил Ривера.

Судья неохотно взял его руку в перчатке и высоко поднял ее.

Никто не поздравлял Риверу. Он один прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам и с ненавистью посмотрел на секундантов, затем перевел взгляд дальше и еще дальше, пока не охватил им все десять тысяч гринго. Колени у него дрожали, он всхлипывал в изнеможении. Ненавистные лица плыли и качались перед ним. Но вдруг он вспомнил: это винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться!

КРИС ФАРРИНГТОН — НАСТОЯЩИЙ МОРЯК

— На европейском судне такой юнец, как ты, мог бы быть только юнгой и прислуживать настоящим морякам. Там, если бы моряк крикнул: «Юнга, кувшин воды!» — ты бы пулей помчался за водой. А если бы он крикнул: «Юнга, мои сапоги!» — ты бы принес и сапоги, и был бы вежлив, и отвечал: «Да, сэр», «Нет, сэр». Но ты на американском судне и воображаешь, будто ты настоящий моряк. Крис, мой мальчик, я плаваю уже двадцать два года, так неужели ты думаешь, что можешь сравниться со мной? Я стал моряком задолго до того, как ты родился. Я вязал узлы, брал рифы и сращивал тросы, когда ты еще крутил волчок и запускал змеев.

— Ты несправедлив, Эмиль! — воскликнул Крис Фаррингтон, и его живое лицо, вспыхнув, приняло обиженное выражение. Это был стройный, но крепко скроенный семнадцатилетний паренек, настоящий янки.

— Опять за свое! — взорвался швед.— Меня зовут мистер Иохансен, и такой щенок, как ты, не смеет называть меня «Эмиль»! Подобное издевательство сходит с рук только на американском судне!

— Но ты же называешь меня Крисом! — запротестовал юноша.

— Ты еще мальчишка.

— Который выполняет мужскую работу,— отпарировал Крис.— А раз я работаю, как настоящий мужчина, я имею такое же право называть тебя по имени, как и ты меня. Здесь, на баке, мы все равны, и ты это отлично знаешь. Когда в Сан-Франциско мы нанимались в плавание, нас взяли на «Софи Сэзерленд» простыми матросами, и между нами не делалось

никакого различия. Разве я не справляюсь со своей работой? Или когда-нибудь отлынивал? Разве тебе или кому-либо приходилось стоять вместо меня у штурвала, нести вахту или быть впередсмотрящим?

— Крис прав,— вмешался молодой матрос-англичанин.— Никому из нас не приходилось помогать ему в работе. Он нанялся, как любой из нас, и показал себя не хуже...

— Лучше! — вставил матрос из Новой Шотландии.— Лучше, чем кое-кто из нас. Когда мы наткнулись на лежбище котиков, он оказался одним из лучших рулевых. Только француз Луи, который уже много лет сидит за рулем, смог обойти его. Я простой гребец, но и ты, Эмиль Иохансен, тоже всего лишь гребец, хоть плаваешь двадцать два года. Почему бы тебе не стать рулевым?

— Слишком он медлителен и неповоротлив,— засмеялся англичанин.

— Все это чепуха,— пришел на помощь своему скандинавскому собрату датчанин Юргенсен.— Эмиль — взрослый человек и настоящий моряк, мальчишка же пока еще ничто.

Так с переменным успехом продолжался спор между шведами, норвежцами, датчанами, из солидарности вставшими на сторону своего соотечественника, и англичанами, канадцами, американцами, поддерживавшими Криса. Если судить беспристрастно, то прав был Крис. Он в самом деле работал не хуже других. Но скандинавы были слишком предубеждены, и поэтому спор перерос в длительную ссору, разделившую бак на два лагеря.

«Софи Сэзерленд» была приписанной к Сан-Францисскому порту зверобойной шхуной, охотившейся на морского пушного зверя вдоль берегов Японии в направлении к Берингову морю. Другие суда были двухмачтовые, но «Софи Сэзерленд», самая большая в этой флотилии, несла три мачты. Это была совсем новая шхуна с полной оснасткой.

Хотя Крис и был уверен в своей правоте, часто втайне он мечтал о каком-нибудь непредвиденном событии, благодаря которому ему удалось бы доказать, что он тоже настоящий моряк.

Но однажды ночью во время шторма случайно, не по его вине, при осмотре якорной цепи ему сильно помяло пальцы на левой руке. И надежды его рухнули, потому что он больше не мог охотиться на шлюпке и вынужден был без дела слоняться по шхуне, пока не заживут пальцы. Все еще не оставляя своей мечты, он и не подозревал, что именно этот случай даст ему долгожданную возможность показать себя.

Однажды в конце мая «Софи Сэзерленд» покачивалась в послеполуденном мертвом штиле. Котики были в изобилии, охота велась отлично, и шлюпки были далеко в море. На них ушла вся команда. На шхуне, кроме Криса, остались лишь капитан, штурман и кок-китаец.

Капитан назывался капитаном только из вежливости. Старику перевалило за восемьдесят, и он пребывал в блаженном неведении относительно всего, что касалось моря и его обычаев; но он был хозяином шхуны, что и дало ему право на этот почетный титул. На деле же капитаном был штурман, опытный моряк. Помощник капитана, который должен был оставаться на шхуне, ушел со шлюпками, временно заменив у руля Криса.

Когда хорошая погода и удачная охота приходили вместе, шлюпки уплывали далеко в море, часто возвращаясь на шхуну за полночь. И хотя охота в этот день была особенно удачной, Крис заметил растущее беспокойство штурмана. Он нервно шагал по палубе, все время посматривая на горизонт в морской бинокль. Ни одной шлюпки не было видно. Перед заходом солнца он даже послал Криса на топ мачты, но безрезультатно. Шлюпки едва ли могли вернуться раньше полуночи.

После полудня барометр начал падать с невероятной быстротой. Все свидетельствовало о приближении шторма, силу которого не мог предвидеть даже сам штурман. Он и Крис начали готовиться к шторму. Они наложили штормовые сезни на свернутые марсели, спустили и убрали фок, спенкер и два стаквеля. На оставшихся кливере и гроте они взяли по рифу.

Ночь наступила до того, как они успели кончить свою работу, и вместе с темнотой пришел шторм. Глухой стон пронесся над морем, и удар ветра почти положил «Софи Сэзерленд» на бок. Но она быстро выпрямилась и благодаря усилиям стоявшего на руле штурмана повернулась носом на пять румбов от ветра. Действуя с ловкостью, какую допускала забинтованная рука, Крис бросился вперед и с помощью кока, правда, весьма незначительной, вынес кливер на наветренную сторону. С кливером и гротом на вантах шхуна легла в дрейф.

— Да поможет бог нашим шлюпкам! Это не шторм! Это тайфун! — прокричал штурман в одиннадцать часов.— Слишком много парусов! Придется взять еще два рифа на гроте, и сделать это нужно немедленно.— Он взглянул на полумертвого от страха капитана, который стоял у нактоуза и дрожал, закутавшись в дождевик.— Нас только двое, Крис, ты да я, от кока мало толку.

Чтобы взять риф, необходимо было спустить грот, но так, чтобы в результате давления ветра на кливер шхуна не увалилась под ветер.

— Встань к штурвалу! — приказал штурман.— И по моему сигналу поверни его на наветренный борт. А когда она встанет против ветра, закрепи штурвал. Так и держи. Мы снова ляжем в дрейф, как только я возьму риф.

Крепко сжимая вырывавшийся из рук штурвал, Крис наблюдал, как штурман и по-прежнему не проявляющий энтузиазма кок скрылись в ревущей тьме. «Софи Сэзерленд», отчаянно сопротивляясь, ныряла в огромные встречные валы, и туго натянутые снасти гудели на ветру, как струны арфы. Сдавленный крик донесся до Криса, и он почувствовал, что нос шхуны, не повинуясь управлению, уваливается под ветер. Грот был спущен.

Крис круто повернул штурвал и по тому, как дрейфовало судно, уловил тревожный сигнал изменившегося направления ветра. Это был критический момент. Выполняя маневр, шхуна должна была стать всем бортом к волне, чтобы повернуться прямо против ветра. Ветер дул справа, когда Крис почувствовал, что «Софи Сэзерленд» накренилась и начала подыматься куда-то бесконечно вверх, казалось, прямо в небо. Неужели она проскочит гребень этой гигантской волны?

Вокруг ничего не было видно, почти инстинктивно Крис понял, что стена воды вздымается и изгибается высоко над ним вдоль наветренной стороны. Выросшая стена на мгновение загородила шхуну от ветра. Это было минутное затишье. Шхуна выпрямилась, на секунду, казалось, замерла в абсолютном покое и затем качнулась навстречу обрушившейся стремнине.

Крис крикнул капитану держаться крепче и сам приготовился к удару. Но не было человека, который мог бы выдержать его. Океан воды с силой ударил Криса в спину, и его руки, отчаянно вцепившиеся в штурвал, вдруг ослабели, как у ребенка. Оглушенного, обессилевшего, его, словно соломинку на поверхности бурлящего потока, понесло куда-то вперед. За углом каюты его швырнуло, пронесло футов сто от кормы и с силой ударило об основание фок-мачты. Вторая волна, обрушившаяся на палубу, отнесла его тем же путем обратно и оставила полузахлебнувшегося там, где должен был быть кормовой трап.

Весь в синяках и кровоподтеках, с трудом соображая, что делает, он нащупал поручни и тяжело поднялся на ноги. Он понимал, что, если ничего не предпримет, наступит конец. Он

повернулся к корме и чуть не задохнулся от дующего в лицо ветра. Это сразу привело его в себя. Ветер дул прямо в корму. Шхуна вырвалась из ложбины между валами. Но удары воды могли снова столкнуть ее обратно. Ползком передвигаясь по проходу, он добрался до штурвала как раз вовремя, чтобы успеть предотвратить катастрофу. Огонь на нактоузе еще горел. Они были спасены.

Собственно, спасены были только он и шхуна, судьба его трех товарищей была ему неизвестна. Но он не мог оставить штурвал, чтобы разыскать их, потому что, дабы удержать шхуну на курсе, нельзя было ни на секунду ослаблять внимания. Малейшая неосторожность — и напор воды за кормой мог развернуть шхуну бортом к волне. Так он, мальчишка весом всего в сто сорок фунтов, взвалил на себя геркулесову задачу вести судно водоизмещением в две сотни тонн среди хаоса разбушевавшейся стихии.

Полчаса спустя, охая и всхлипывая, к ногам Криса подполз капитан. Все пропало, хныкал он, измятый до полусмерти. Камбуз, грот, бегучий такелаж — все было смыто за борт.

— Где штурман? — крикнул Крис, передохнув после того, как ему удалось сдержать очередной резкий крен шхуны. Вести в тайфун судно под единственным рифом на кливере — далеко не детская игра.

— На посу,— ответил старик.— Его придавило на полубаке, но он еще дышит. Он говорит, что у него сломаны обе руки и неизвестно, сколько ребер. Ему здорово досталось.

— Он захлебнется там, вон как хлещет вода через клюзы. Отправляйтесь туда! — приказал Крис, взяв на себя командование как нечто само собой разумеющееся.— Скажите ему, пусть не беспокоится: я у штурвала. Помогите ему чем можете и заставьте его...— Он остановился и круто повернул штурвал вправо как раз в тот момент, когда громадная волна поднялась под кормой и положила шхуну на левый борт.— Заставьте его потом самого заботиться о себе. Откройте люк на баке и уложите его на койку. Не забудьте задраить люк судна снова.

Капитан повернул сморщенное лицо в сторону бака и задрожал от страха. Шкафут судна был заполнен водой до фальшборта. Он только что проделал этот путь и знал, что смерть подстерегает его на каждом шагу.

— Отправляйтесь! — свирепо заорал Крис, а когда перепуганный старик двинулся вперед, добавил: — И отыщите кока!

Два часа спустя полумертвый от перенесенных страданий капитан вернулся. Он выполнил приказ. Беспомощный штур-

ман был уже в безопасности, кок исчез. Крис отправил капитана в каюту переодеться.

В напряженном труде шли бесконечные часы, пока наконец не забрезжил серый холодный рассвет. Крис осмотрелся. Подгоняемая тайфуном, «Софи Сэзерленд» неслась вперед, словно одержимая. Дождь перестал, но ветер поднимал морские брызги на высоту мачты, оставляя в поле зрения только то, что находилось в непосредственной близости.

Одновременно Крис мог видеть лишь две волны: одну впереди, другую сзади. Какой маленькой и жалкой выглядела шхуна среди длинных тихоокеанских валов! Взлетев на умопомрачительную высоту, она, подобно скорлупке, замирала на этой неустойчивой вершине, бездыханная и колеблющаяся, с тем, чтобы тотчас вновь, совершив головокружительный прыжок, погрузиться в зияющую бездну, зарываясь в облако пены на дне ее. А потом все сначала: новая гора воды, новый захватывающий дыхание полет вверх, новая остановка и стремительное падение. Впереди, справа по борту, словно тень бушующего шторма, Крис видел летящего рядом со шхуной кока. Очевидно, после того, как его смыло за борт, он ухватился за свисающий фал и запутался в нем.

Еще три часа один на один с этим ужасным компаньоном Крис вел «Софи Сэзерленд», борясь с ветром и океаном. Он уже давно забыл о своих искалеченных пальцах. Повязки были сорваны, и холодная морская пыль въедалась в полузалеченные раны до тех пор, пока они не онемели и не перестали болеть. Ему не было холодно. Нечеловеческое напряжение выжимало пот из каждой его поры. Он пребывал в полуобморочном состоянии, ослабев от голода и истощения, и поэтому с восторгом встретил появление на палубе капитана, который накормил его целым фунтом шоколада. Это сразу восстановило его силы.

Он приказал капитану обрубить фал с телом кока, а потом пройти вперед и освободиться от кливер-фала и шкота. Когда капитан выполнил приказание, кливер еще несколько мгновений трепетал на ветру, как носовой платок, а затем сорвался с ликтроса и исчез. «Софи Сэзерленд» неслась вперед без парусов.

К полудню шторм выдохся, а к вечеру волны улеглись настолько, что Крис смог оставить штурвал. Нечего было мечтать о том, чтобы маленькие шлюпки сумели справиться с тайфуном, но нельзя терять надежды, когда речь идет о спасении человеческой жизни, и Крис сразу же решил лечь на обратный

курс. Ему удалось взять риф на одном из нижних кливеров и двойной риф на бизани, а затем с помощью талей поднять их, несмотря на все еще сильный ветер. И всю ночь напролет, лавируя вперед и назад, он шел обратным курсом, прибавляя парусов, как только позволял ветер.

Искалеченный штурман начал бредить, и Крис занимал капитана то заботой о штурмане, то помощью по управлению судном. «Он научил меня морскому делу больше, чем выучился я сам за всю мою жизнь»,— вспоминал потом капитан. Но на рассвете его слабые силы сдали, и он забылся в тяжелом сне на полуюте.

Крис, который теперь уже мог оставить штурвал, прикрыл старика принесенными снизу одеялами и отправился в кладовую в поисках пищи. Но на следующий день он почувствовал, что сдает, временами впадая в полузабытье и приходя в себя, только чтобы осмотреться.

К полудню третьего дня он наткнулся на шхуну, которая была порядком потрепана и без мачт. Приведя судно в самый крутой бейдевинд и приблизившись к ней, он увидел, что палуба ее заполнена необычайно большой командой, а подойдя еще ближе, узнал в этих людях своих пропавших товарищей. Он пришел как раз вовремя, потому что они вели безнадежную борьбу у помп. Час спустя вместе с командой тонущего судна они были на борту «Софи Сэзерленд».

Далеко уйдя на шлюпках от своей шхуны перед началом шторма, команда «Софи Сэзерленд» нашла убежище на скандинавском судне, для которого этот рейс был первым и, как оказалось, последним.

Капитану «Софи Сэзерленд» было о чем порассказать, и, по-видимому, история его звучала настолько убедительно, что, когда все матросы собрались на палубе во время полувахты, Эмиль Иохансен подошел к Крису и крепко пожал ему руку.

— Крис,— сказал он так громко, чтобы все могли слышать,— Крис, я сдаюсь. Ты оказался таким же хорошим матросом, как и я. Ты крепкий парень и настоящий моряк, и я горжусь тобой! И еще, Крис,— он отвернулся, как будто забыл о чем-то, и затем добавил: — С этого времени всегда называй меня просто Эмиль.

«Фома Гордеев» — большая книга; в ней не только простор России, но и широта жизни. В нашем мире рынков и бирж, в наш век спекуляций и сделок из каждой страны доносятся страстные голоса, требующие жизнь к ответу. В «Фоме Гордееве» свой голос подымает русский, ибо Горький — подлинно русский в своем восприятии и понимании жизни. Характерные для русских самонаблюдение и углубленный самоанализ свойственны и ему. И, как у всех русских собратьев Горького, его творчество насыщено горячим, страстным протестом. И это не случайно. Горький пишет потому, что у него есть что сказать миру, и он хочет, чтобы слово его было услышано. Из его стиснутого могучего кулака выходят не изящные литературные безделушки, приятные, усладительные и лживые, а живая правда,— да, тяжеловесная, грубая, и отталкивающая, но правда.

Он поднял голос в защиту отверженных и презираемых, он обличает мир торгашества и наживы, протестует против социальной несправедливости, против унижения бедных и слабых, против озверения богатых и сильных в бешеной погоне за влиянием и властью. Весьма сомнительно, чтобы средний буржуа, самодовольный и преуспевающий, мог понять Фому Гордеева. Мятежные чувства, владеющие им, не волнуют их кровь. Им не понять, почему этот человек, такой здоровяк и богач, не мог жить так, как живут люди его класса,— деля свое время между конторой и биржей, заключая темные сделки, разоряя конкурентов и радуясь неудачам своих собратьев. Казалось бы, чего легче жить вот так, в полном благополучии, окруженным почетом и уважением, и умереть в положенный час. «Однако зачем наживать и грабить,— как всегда грубо перебьет Фома,— когда все равно умрешь и обратишься в прах, сколько ни

грабь?» Но буржуа не поймет его. Не понял его и Маякин, сокрушаясь о своем заблудшем крестнике.

«Что вы все хвалитесь? — говорит ему в упор Фома.— Чем тебе хвалиться? Сын-то твой где? Дочь-то твоя — что такое? Эх, ты... устроитель жизни! Ну, умен ты, все знаешь; скажи — зачем живешь? Не умрешь, что ли? Что ты сделал за жизнь? Чем тебя помянут?..»

Маякин молчит, не находит ответа, но слова эти не волнуют и не убеждают его.

Унаследовав яростный, бычий нрав отца и кроткое упрямство и беспокойный дух матери, Фома, гордый и мятежный, презирает эгоистическую, корыстолюбивую среду, в которой он родился. Игнат, его отец, Маякин, его крестный, и вся орда преуспевающих торгашей, которые поют гимны силе и прославляют свободу жестокой конкуренции, не могут переубедить его. «Зачем? — спрашивает он.— Это кошмар — не жизнь! К чему она? Что все это значит? А что там, внутри? И зачем оно, то, что там, внутри?»

«Жалеть людей надо... это ты хорошо делаешь! — говорит Игнат юному Фоме.— Только — нужно с разумом жалеть... Сначала посмотри на человека, узнай, какой в нем толк, какая от него может быть польза? И ежели видишь — сильный, способный к делу человек,— пожалей, помоги ему. А ежели который слабый, к делу не склонен — плюнь на него, пройди мимо. Так и знай — который человек много жалуется на все, да охает, да стонет — грош ему цена, не стоит он жалости, и никакой пользы ты ему не принесешь, ежели и поможешь...»

Таков принцип откровенного и воинствующего торгашества, провозглашенный между двумя рюмками водки. Но вот говорит Маякин, вкрадчиво и без издевки:

«А кто есть нищий? Нищий есть человек, вынужденный судьбой напоминать нам о Христе, он брат Христов, он колокол господень и звонит в жизни для того, чтоб будить совесть нашу, тревожить сытость плоти человеческой... Он стоит под окном и поет: «Христа ра-ади!» — и тем пением напоминает нам о Христе, о святом его завете помогать ближнему... Но люди так жизнь свою устроили, что по Христову учению совсем им невозможно поступать, и стал для нас Иисус Христос совсем лишний. Не единожды, а, может, сто тысяч раз отдавали мы его на распятие, но все не можем изгнать его из жизни, зане братия его нищая поет на улицах имя его и напоминает нам о нем... И вот ныне придумали мы: запереть нищих в дома та-

кие особые и чтоб не ходили они по улицам, не будили бы нашей совести».

Но Фома не приемлет ни то, ни другое. Его не обольстишь и не обманешь. Душа его просит света. Ему необходим свет. И, горя негодованием, он разыскивает смысл жизни. «Мысль его вдруг и без усилия обняла собой всех этих маленьких людей, работающих тяжелую работу. Было странно — зачем они живут? Какое удовольствие для них жить на земле? Все только работают свою грязную, трудную работу, едят скверно, одеты плохо, пьянствуют... Иному лет шестьдесят, а он все еще ломается наряду с молодыми парнями... И все они представлялись Фоме большой кучей червей, которые копошатся на земле только для того, чтоб поесть».

Фома настойчиво вопрошает жизнь. Он не может начать жить, не зная смысла жизни, и тщетно ищет он этот смысл. «Я этак жить не могу... Я хочу жить свободно... чтобы самому все знать»,— возражает он, когда Маякин уговаривает его вернуться и снова вести дело. Почему люди должны работать на него? Быть рабами ему и деньгам его?

«Работа — еще не все для человека...— говорит он.— Это неверно, что в трудах — оправдание... Которые люди не работают совсем ничего всю жизнь, а живут они лучше трудящих... это как?.. А я какое оправдание имею? И все люди, которые командуют, чем они оправдаются? Для чего жили? А я так полагаю, что непременно всем надо твердо знать — для чего живешь?.. Неужто затем человек рождается, чтобы поработать, денег зашибить, дом выстроить, детей народить и — умереть? Нет, жизнь что-нибудь означает собой... Человек родился, пожил и помер — зачем? Нужно сообразить — зачем живешь? Толку нет в жизни нашей... Потом не ровно все — это сразу видно! Одни богаты — на тысячу человек денег у себя имеют... и живут без дела... другие — всю жизнь гнут спину на работе, а нет у них ни гроша...»

Но Фома может быть только разрушителем. Он не созидатель. Безотчетно мятущийся пытливый дух его матери и проклятье торгашеского мира тяготеют на нем, доводят его до дебоширства и сумасшествия. Он пьет не потому, что ему приятен вкус вина. Продажные женщины, у которых он ищет удовлетворения низменных склонностей, не привлекают его. Все это грязь и мерзость, но сюда его ведут его искания, и он идет по этому пути. Он знает, что все вокруг — скверна, но не может ни исправить зло, ни объяснить его. Он может лишь обличать и крушить. «Чем вы оправдаетесь? Для чего живете? — вопро-

шает он синклит торгашей, преуспевающих в жизни.— Вы не жизнь строили — вы помойную яму сделали! Грязищу и духоту развели вы делами своими. Есть у вас совесть? Помните вы бога? Пятак — ваш бог! А совесть вы прогнали...»

Словно вопль Исайи: «Идите, богатые и знатные, плачьте и рыдайте о скорби, иже постигнет вас»,— звучат слова Фомы: «Кровопийцы! Чужой силой живете... чужими руками работаете! Сколько народу кровью плакало от великих дел ваших! И в аду вам, сволочам, места нет по заслугам вашим... Не в огне, а в грязи кипящей варить вас будут. Веками не избудете мучений...»

Потрясенный всей этой мерзостью, бессильный понять ее, Фома ищет ответа и не находит его — ни у Софьи Медынской в ее нарядной гостиной, ни у гулящей девки, в темных глубинах ее сердца. Не может помочь ему и Любовь, которая читает книги, противоречащие одна другой, ни странники на забитых людьми пароходах, ни куплетисты и проститутки в притонах и кабаках. И так, недоумевая, раздумывая, терзаясь, теряясь в догадках, вертясь в бешеном водовороте жизни, кружась в пляске смерти, вслепую гоняясь за чем-то безымянным, смутным, в поисках магической формулы, сути вещей, сокровенного смысла, искры света в кромешной тьме — словом, разумного оправдания жизни,— Фома Гордеев идет к безумию и смерти.

Эта книга не из приятных, но это блестящий анализ жизни, не жизни вообще, но жизни современного нам общества, эта книга не радостная, но и в жизни современного общества мало радости. Закрываешь книгу с чувством щемящей тоски, с отвращением к жизни, полной «лжи и разврата». Но это целительная книга. Общественные язвы показаны в ней с таким бесстрашием, намалеванные красоты сдираются с порока с такой беспощадностью, что цель ее не вызывает сомнений — она утверждает добро. Эта книга — действенное средство, чтобы пробудить дремлющую совесть людей и вовлечь их в борьбу за человечество.

Но в этой книге, могут заметить, ни одна история не рассказана до конца, ничто не получает завершения. Ведь когда Саша бросилась с плота и плыла к Фоме — это могло явиться началом каких-то событий. Однако ничего существенного не случилось. Саша оставила Фому и уехала с сыном богатого водочного заводчика. Все лучшее, что было в Софье Медынской, оживало, когда она смотрела на Фому взглядом женщины-матери. Она могла бы стать в его жизни благодетельной силой, могла бы озарить ее светом, пробудить в нем сознание, досто-

инство, оградить его от опасностей. Но она покинула его, и больше он ее не видел. Ни одна история не рассказана до конца, ничто не получает завершения.

Но разве история Фомы Гордеева не рассказана? Разве его жизнь не завершилась, как повседневно завершаются жизни вокруг нас? Это жизненная правда и мастерство Горького — мастерство реалиста. Но его реализм более действен, чем реализм Толстого или Тургенева. Его реализм живет и дышит в таком страстном порыве, какого они редко достигают. Мантия с их плеч упала на его молодые плечи, и он обещает носить ее с истинным величием.

И все же Фома Гордеев так бессилен, жизнь его так страшна и безнадежна, что мы преисполнились бы глубокой скорбью за Горького, если бы не знали, что он вырвался из Долины Мрака. Мы знаем, что надежда живет в нем, иначе он не томился бы теперь в тюрьме за то, что мужественно защищал эту надежду. Он понял жизнь и понял, как и для чего следует жить. И вот еще что важно: Фома Гордеев — это не просто воплощение отвлеченной идеи. Ибо так же, как жил и вопрошал жизнь он, так — в поту, в крови и муках — жил и сам Горький.

Я родился в Сан-Франциско в 1876 году. В пятнадцать лет я был уже взрослым, и если мне удавалось сберечь несколько центов, я тратил их не на леденцы, а на пиво — я считал, что мужчине подобает покупать именно пиво. Теперь, когда я стал вдвое старше, мне так хочется обрести свое отрочество, ибо у меня его не было, и я уже смотрю на вещи отнюдь не столь серьезно, как раньше. И почем знать, вдруг я еще обрету это отрочество! Едва ли не раньше всего в жизни я понял, что такое ответственность. Я совсем не помню, как меня учили грамоте,— читать и писать я умел с пятилетнего возраста,— но знаю, что впервые я пошел в школу в Аламеде, а затем мы переехали на ранчо, и там, с восьми лет, я прилежно работал.

Второй моей школой, где я, сколько мог, старался вкусить науки, было одно беспутное заведение в Сан-Матео. На каждый класс там давалась одна отдельная парта, но очень часто парты нам были совсем не нужны, так как учитель приходил пьяным. Кто-нибудь из мальчиков постарше нередко колотил его, а он, чтобы не остаться в долгу, лупил младших — можете представить себе, что это была за школа. Никто из моих родных и знакомых не питал никакого интереса к литературе — пожалуй, ближе всех к ней стоял мой прадед: этот валлиец был окружным писарем, в глухих лесах он с энтузиазмом проповедовал Евангелие, за что получил прозвище «патер Джонс».

С ранних лет меня поражало невежество людей. На девятом году я с упоением прочитал «Альгамбру» Вашингтона Ирвинга и никак не мог примириться с тем, что никто на ранчо об этой книге ничего не знает. Со временем я уверил себя, что подобное невежество царит лишь у нас в деревне, в городе же все должно быть по-иному. И вот однажды к нам на ранчо

приехал человек из города. Башмаки у него были начищены до блеска, пальто суконное; самый удобный случай, решил я, обменяться мыслями с просвещенным мужем. У меня была выстроена из кирпича от старой, развалившейся дымовой трубы своя собственная Альгамбра — башни, террасы, все размечено и обозначено мелом. Я провел городского гостя к своей крепости и стал расспрашивать его об «Альгамбре». Увы, он оказался столь же темным, как и жители ранчо, и мне пришлось утешиться мыслью, что на свете есть всего два умных человека — Вашингтон Ирвинг и я.

Кроме «Альгамбры», я читал в ту пору главным образом десятицентовые романы (я брал их у батраков) да газеты,— из газет служанки узнавали о захватывающих приключениях бедных, но добродетельных продавщиц. От такого чтения мой ум по необходимости должен был получить весьма своеобразное направление, но, чувствуя себя всегда одиноким, я читал все, что только попадало мне в руки. Огромное впечатление произвела на меня повесть Уида «Сигна», я с жадностью перечитывал ее в течение двух лет. Развязку этой повести я узнал уже взрослым человеком: заключительные главы в моей книге были утеряны, и я вместе с героем повести уносился тогда в мечтах, не подозревая, как и он, что впереди его подстерегает грозная Немезида. Мне поручили в то время караулить пчел; сидя под деревом с восхода солнца до вечера и поджидая, когда пчелы начнут роиться, я вволю и читал и грезил.

Ливерморская долина — плоское, скучное место; не возбуждали во мне любопытства и холмы, окружающие долину. Мои грезы нарушало одно-единственное событие — роение пчел. Я бил тогда тревогу, а все обитатели ранчо выбегали с горшками, кастрюлями и ведрами, наполненными водой. Мне помнится, что первая строка в повести «Сигна» звучала так: «Это был всего-навсего маленький мальчик»; однако этот маленький мальчик мечтал о том, что он сделается великим музыкантом, что к его ногам будет повергнута вся Европа. Маленьким мальчиком был и я... Почему бы и мне не сделаться тем же, чем мечтал стать «Сигна»?

Жизнь на калифорнийском ранчо казалась мне тоскливой до крайности; не было дня, чтобы я не мечтал уйти за черту горизонта и увидеть мир. Уже тогда я слышал шепоты, зовущие в дорогу; я стремился к прекрасному, хотя в окружающей меня обстановке не было ничего красивого. Холмы и долины были как бельмо на глазу, меня тошнило от них — я полюбил их только тогда, когда расстался с ними.

Мне шел одиннадцатый год, когда я покинул ранчо и переехал в Окленд. Много времени провел я в оклендской публичной библиотеке, жадно читая все, что попадало под руку,— от долгого сидения за книгами у меня даже появились признаки пляски святого Витта. По мере того как мир раскрывал передо мной свои тайны, я расставался с иллюзиями. Средства на жизнь я зарабатывал продажей газет на улицах; с той поры и до шестнадцати лет я переменил великое множество занятий — работа у меня чередовалась с учением, учение с работой.

В те годы во мне пылала жажда приключений, и я ушел из дому. Я не бежал, я просто ушел,— выплыл в залив и присоединился к устричным пиратам. Дни устричных пиратов миновали, и если бы меня вздумали судить за пиратство, я сел бы за решетку на пятьсот лет. Позднее я плавал матросом на шхуне и ловил лососей. Почти невероятно, но очередным моим занятием была служба в рыбачьем патруле: я должен был задерживать всякого нарушителя законов рыбной ловли. Немало таких нарушителей — китайцев, греков и итальянцев — занималось тогда противозаконной ловлей, и не один дозорный из охраны поплатился жизнью за попытку призвать их к порядку. При исполнении служебных обязанностей у меня было одноединственное оружие — стальная вилка, но я бесстрашно, как настоящий мужчина, влезал на борт лодки браконьеров и арестовывал ее хозяина.

Затем я нанялся матросом на корабль и уплыл к берегам Японии — это была экспедиция за котиками. Позже мы побывали и в Беринговом море. После семимесячной охоты на котиков я, возвратясь в Калифорнию, брался за разную работу: сгребал уголь, был портовым грузчиком, работал на джутовой фабрике; работать там приходилось с шести часов утра до семи вечера. Я рассчитывал на следующий год снова уплыть на охоту за котиками, но прозевал присоединиться к своим старым товарищам по кораблю. Они уплыли на «Мэри Томас»,— судно это погибло со всей командой.

В те дни, когда я урывками занимался в школе, я писал обычные школьные сочинения и получал за них обычные отметки; пытался я писать, и работая на джутовой фабрике. Работа там занимала тринадцать часов в сутки, но так как я был молод и любил повеселиться, то мне нужен был часок и на себя,— времени на писательство оставалось мало. Сан-францисская газета «Колл» назначила премию за очерк. Мать уговаривала меня рискнуть, я так и сделал и написал очерк под названием «Тайфун у берегов Японии». Очень усталый и сонный,

зная, что завтра в половине пятого надо быть уже на ногах, я в полночь принялся за очерк и писал не отрываясь, пока не написал две тысячи слов — предельный размер очерка,— но тему свою я развил лишь наполовину. На следующую ночь я, такой же усталый и сонный, опять сел за работу и написал еще две тысячи слов, в третью ночь я лишь сокращал и вычеркивал, добиваясь того, чтобы мое сочинение соответствовало условиям конкурса. Первая премия была присуждена мне; вторую и третью получили студенты Стенфордского и Берклейского университетов.

Успех на конкурсе газеты «Колл» заставил меня подумать о том, чтобы всерьез взяться за перо, но я был еще слишком неугомонен, меня все куда-то тянуло, и литературные занятия я откладывал на будущее,— одну статейку, сочиненную тогда для «Колл», газета незамедлительно отвергла.

Я обошел все Соединенные Штаты от Калифорнии до Бостона и возвратился к Тихоокеанскому побережью через Канаду, где мне пришлось отбыть тюремное заключение за бродяжничество. Опыт, приобретенный во время странствий, сделал меня социалистом. Я уже давно осознал, что труд благороден; еще не читая ни Карлейля, ни Киплинга, я начертал собственное евангелие труда, перед которым меркло их евангелие. Труд — это все. Труд — это и оправдание и спасение. Вам не понять того чувства гордости, какое испытывал я после тяжелого дня работы, когда дело спорилось у меня в руках. Я был самым преданным из всех наемных рабов, каких когда-либо эксплуатировали капиталисты. Словом, мой жизнерадостный индивидуализм был в плену у ортодоксальной буржуазной морали. С Запада, где люди в цене и где работа сама ищет человека, я перебрался в перенаселенные рабочие центры Восточных штатов, где люди — что пыль под колесами, где все высунув язык мечутся в поисках работы. Это заставило меня взглянуть на жизнь с другой, совершенно новой точки зрения. Я увидел рабочих на человеческой свалке, на дне социальной пропасти. Я дал себе клятву никогда больше не браться за тяжелый физический труд и работать лишь тогда, когда это абсолютно необходимо. С тех пор я всегда бежал от тяжелого физического труда.

Мне шел девятнадцатый год, когда я вернулся в Окленд и поступил в среднюю школу. Там издавали обычный школьный журнал. Его выпускали раз в неделю — нет, пожалуй, раз в месяц,— и я помещал в нем рассказы: почти ничего не выдумывая, я описывал свои морские плавания и свои странствия.

В школе я пробыл год и, чтобы заработать на жизнь, одновременно служил привратником. Все это требовало такого напряжения сил, что школу пришлось бросить. К тому времени мои социалистические убеждения привлекли ко мне довольно широкое внимание, я был прозван «мальчиком-социалистом» — честь, которая послужила причиной моего ареста за уличные выступления. Оставив школу, я в три месяца самостоятельно прошел трехгодичный школьный курс и поступил в Калифорнийский университет. Прервать учение и лишиться университетского образования я и думать не хотел,— хлеб я добывал работой в прачечной и литературным трудом. Единственный раз я работал из любви к работе, но задача, которую я себе ставил, была чересчур трудна, и через полгода я расстался с университетом.

По-прежнему я утюжил сорочки и прочие вещи в прачечной и каждую свободную минуту писал. Я старался управиться с тем и другим, но нередко засыпал с пером в руке. Я уволился из прачечной и целиком отдался литературным занятиям, вновь почувствовав и прелесть жизни, и прелесть мечты. Просидев три месяца над рукописями, я решил, что писателя из меня не выйдет, и отправился в Клондайк искать золото. Не прошло и года, как я заболел там цингой и вынужден был возвратиться на родину: тысячу девятьсот миль я проплыл по морю в лодке и успел за это время занести на бумагу лишь кое-какие путевые впечатления. В Клондайке я нашел себя. Там все молчат. Все думают. Там обретаешь правильный взгляд на жизнь. Обрел его и я.

Пока я ездил в Клондайк, умер мой отец, и все заботы о семье легли на меня. В Калифорнии наступили плохие времена, я оказался без заработка. Я бродил в поисках работы и писал рассказ «Вниз по реке». Рассказ этот был отвергнут. Пока решалась судьба рассказа, я успел сочинить новый, в двадцать тысяч слов,— его собиралась печатать в нескольких номерах одна газета, но тоже забраковала. Несмотря на отказы, я все писал и писал новые вещи. Я в глаза не видел ни одного живого редактора. Я не встречал человека, у которого была бы хоть единая напечатанная строчка. Наконец калифорнийский журнал принял один мой рассказ и заплатил за него пять долларов. Вскоре после этого «Черный кот» предложил мне сорок долларов за рассказ. Так мои дела пошли полным ходом, и в будущем мне, видимо, не придется сгребать уголь, чтобы прокормиться, хотя прежде я умел держать лопату в руках и могу взять ее снова.

Моя первая книга появилась в 1900 году. Я мог бы прекрасно обеспечить себя газетной работой, но у меня было достаточно здравого смысла, чтобы не поддаться искушению и не стать рабом этой машины, губящей человека: я считаю, что молодых литераторов на первых порах, когда они еще не сложились, губит именно газета. Лишь после того, как я хорошенько зарекомендовал себя в качестве сотрудника журналов, я начал писать для газет. Я верю в необходимость систематической работы и никогда не жду вдохновения. По характеру я не только беспечный и безалаберный человек, но и меланхолик. Но я сумел побороть в себе и то и другое. На мне сильно сказалась дисциплина, которую я познал в бытность мою матросом. Старой матросской привычкой объясняется, вероятно, и то, что сплю я всегда в определенное время и сплю мало. Пять с половиной часов сна — вот норма, которой я обычно придерживаюсь. Еще не было случая, чтобы я почему-либо не лег спать, если время сна уже наступило.

Я большой любитель спорта, с наслаждением занимаюсь боксом, фехтованием, плаванием, верховой ездой, управляю яхтой и даже запускаю бумажных змеев. Хотя я родился в городе, жить мне гораздо больше нравится в предместье. Но лучше всего жить в деревне — только там и соприкасаешься с природой. Из писателей наибольшее влияние с ранних пор оказали на меня Карл Маркс в частности и Спенсер вообще. В дни моего бесплодного отрочества, если бы представился случай, я занялся бы музыкой. Теперь, когда я вступил, можно сказать, в дни своей подлинной молодости, окажись у меня один или два миллиона долларов, я посвятил бы себя писанию стихов и памфлетов. Лучшими своими произведениями я считаю «Лигу стариков» и кой-какие страницы из «Писем Кэмптон-Уэсс». «Лига стариков» некоторым не нравится. Они предпочитают более яркие и жизнерадостные вещи. Когда дни моей юности останутся позади, я, может быть, и соглашусь с ними.

ПРИМЕЧАНИЯ

Произведения Джека Лондона стали достоянием русского читателя вскоре после того, как они начали публиковаться в США. Уже в 1905 году журнал «Детское чтение» напечатал повесть «Зов предков» (под названием «Дикая сила») и в качестве приложения к журналу издал книгу «Северные рассказы». В 1907 году тот же журнал, выходящий под названием «Юная Россия», опубликовал повесть «Белый клык» и в приложении вновь издал книгу рассказов Лондона.

Популярность произведений Джека Лондона в России выросла настолько быстро, что в 1910 году начинает издаваться собрание его сочинений в 22-х томах, а в 1912 году начинает печататься еще одно собрание сочинений с предисловием Л. Андреева. За этим последовало еще два собрания сочинений.

Русская прогрессивная критика высоко оценила творчество Джека Лондона, подчеркивая в нем жизнеутверждающее начало и противопоставляя его упаднической декадентской литературе. Л. Андреев в предисловии к собранию сочинений Лондона писал: «Чувствуешь, как крепчают мускулы, как властно зовет вечно невинная жизнь к работе и борьбе». В откликах прогрессивных журналов не раз отмечалось «горьковское русло» творчества Д. Лондона. А. Куприн в своей «Заметке о Д. Лондоне» писал о произведениях Лондона, что в них «живая, настоящая кровь, громадный личный опыт, следы перенесенных в действительности страданий, трудов и наблюдений».

После Великой Октябрьской социалистической революции интерес широких читательских масс к творчеству Д. Лондона еще более усилился. В 1924 году в издательстве «Земля и фабрика» начинает выходить Собрание сочинений Д. Лондона в 22-х томах. Всего в 20—30-е годы было издано четыре собрания сочинений и множество отдельных изданий Д. Лондона.

В 1954—1956 годах Гослитиздат выпустил Собрание сочинений Д. Лондона в 8-ми томах, в 1961 году Собрание сочинений Д. Лондона в 14-ти томах вышло в Библиотеке «Огонька».

МАРТИН ИДЕН

Роман «Мартин Иден» печатался в журнале «Пасифик мансли» с сентября 1908 года по сентябрь 1909 года и в сентябре 1909 года вышел отдельным изданием (Нью-Йорк). В нашем издании роман печатается по тексту Гослитиздата (1955), с некоторыми исправлениями.

Стр. 29. *Суинберн* Алджернон Чарльз (1837—1909) — английский поэт. В своих сборниках «Песни перед восходом солнца», «Поэмы и баллады», в драматической трилогии, посвященной Марии Стюарт («Шестеляр», «Босуэл», «Мария Стюарт») и других произведениях протестовал против лицемерия и ханжества современной ему действительности викторианской Англии. Однако в своей критике Суинберн не шел дальше мелкобуржуазного радикализма; в последние годы жизни стал петь гимны британскому империализму, прославляя англо-бурскую войну. Произведения Суинберна высоко ценились на рубеже XIX—XX вв. в Англии и США.

Стр. 45. *Браунинг* Роберт (1812—1889) — английский поэт-романтик. Его драматические поэмы «Парацельс», «Сорделло», «Страфорд» и другие отличаются усложненностью формы.

Стр. 60. *Лекки* Уильям (1838—1903) — английский буржуазный историк. Основной его труд «История Англии в XVIII веке» содержит большой фактический материал, но написан с идеалистических позиций.

Маршал Альфред (1842—1924) — английский экономист. Работы Маршала «Начала политической экономии», «Промышленность и торговля», «Деньги, кредит и коммерция» представляют собой эклектическую смесь из положений различных вульгарных школ буржуазной политической экономии.

Стр. 69. *Рикардо* Давид (1772—1823) — английский экономист. Идеолог промышленной буржуазии в ее борьбе с землевладельческой аристократией в период промышленного переворота. Главное произведение Рикардо — «Начала политической экономии и налогового обложения». К. Маркс, дав последовательную и всестороннюю критику взглядов Рикардо, показал историческое значение его теории стоимости.

Смит Адам (1723—1790) — английский экономист. Один из выдающихся представителей классической буржуазной политической экономии. Основное произведение — «Исследование о природе и причинах богатства народов».

Милль Джеймс Стюарт (1773—1836) — английский философ-позитивист, логик и экономист, идеолог либерализма. В работе «Принципы политической экономии» он, выступив в защиту теории Рикардо, вместе с тем вульгаризировал ее, придя к явно апологетическим выводам. Взгляды Милля были подвергнуты критике К. Марксом.

Блаватская Елена Петровна (1831—1891) — писательница (псевдоним Радда-Бай), создательница современной теософии — религиозного учения, признающего источником познания мистическую интуицию, откровение. В 1875 г. основала Теософическое общество с центром в Нью-Йорке, окружала себя таинственностью и производила «феномены», долгое время интересовавшие ученый мир; впоследствии они были разоблачены как самое грубое шарлатанство.

Стр. 77. *«Принцесса»* — поэма Альфреда Теннисона (1809—1892), английского поэта-романтика, пользовавшегося большой популярностью в конце XIX — начале XX в.

Стр. 100. *Хенли* Уильям Эрнест (1849—1903) — английский поэт, влиятельный в свое время критик и издатель.

Стр. 108. *Спенсер* Герберт (1820—1903) — английский философ, социолог и психолог, представитель позитивизма. В философии выступал как агностик, утверждал, что всякая попытка выйти за пределы субъективного человеческого опыта является «метафизикой» и задача исследователя поэтому заключается в положительном описании явлений. В. И. Ленин подверг критике взгляды Спенсера как врага материализма.

Стр. 109. *Роменс* Джорж Джон (1848—1894) — английский биолог, современник и друг Ч. Дарвина.

Стр. 123. *«In Memoriam»* — поэма Альфреда Теннисона. В ней сказалась попытка поэта примирить религию с наукой.

Локсли Холл.— Имеется в виду одноименное стихотворение Теннисона.

Стр. 134. *Фиск* Джон (1842—1901) — американский философ и историк, последователь и популяризатор идей Г. Спенсера.

Стр. 152. *...Элизабет Баррет, которая... не касалась ногами земли...*— Брак поэта Роберта Браунинга (см. прим. к стр. 45) и поэтессы Элизабет Баррет (1806—1861), заключенный тайно и против воли отца поэтессы, оказался весьма счастливым и благотворным для страдавшей туберкулезом и болезнью позвоночника Э. Баррет; как принято считать, он излечил ее и придал ей новых творческих сил.

Стр. 216. *Метерлинк* Морис (1862—1949) — бельгийский писатель-символист.

Стр. 226. *Джефферсон* Томас (1743—1826) — выдающийся американский просветитель XVIII в., идеолог буржуазно-демократического направления во время войны за независимость в Северной Америке 1775—1783 гг. В 1801—1809 гг.— президент США. Общественный идеал Джефферсона был близок к мелкобуржуазному утопическому идеалу Ж.-Ж. Руссо и предусматривал бесплатное наделение землей всех трудящихся. Джефферсон осуждал гигантскую концентрацию собственно-

сти в руках немногих, с одной стороны, и разорение и обнищание трудящегося большинства общества — с другой.

Стр. 230. *Цирцея* — в древнегреческой мифологии дочь Гелиоса и нимфы Персы, волшебница. Цирцея обратила в свиней спутников Одиссея, который вынудил ее, однако, вернуть им человеческий образ.

Стр. 232. *Вейнингер* Отто (1880—1903) — австрийский психолог и философ.

Стр. 233. *...вроде гигантов Карлейля, которых нельзя одолеть.*— Имеется в виду культ героев, проповедовавшийся Томасом Карлейлем (1795—1881), известным английским историком и публицистом, представителем так называемого «феодального социализма».

Стр. 235. *Стэнли* Генри Мортон (настоящие имя и фамилия — Джон Роулендс) (1841—1904) — известный английский путешественник и исследователь Африки.

Стр. 242. *Вейсман* Август (1834—1914) — известный немецкий биолог, один из основателей хромосомной теории наследственности.

Стр. 248. *Всю жизнь они клевали Стивенсона за его письмо в защиту отца Дамьена...*— Имеется в виду «Открытое письмо достопочтенному доктору Хайду из Гонолулу в защиту памяти отца Дамьена», написанное в 1890 г. известным английским поэтом и писателем Робертом Стивенсоном (1850—1894), в котором он защищал от наветов протестантских священников бельгийского миссионера отца Дамьена (1840—1888), в 1873 г. добровольно поселившегося среди прокаженных на острове Молокаи на Гавайях и много сделавшего для облегчения их жизни.

Стр. 249. *Китс* Джон (1795—1821) — английский поэт-романтик. Подобно Шелли и Байрону, критически относился к буржуазному обществу. Идеал общественного устройства видел в античной Греции.

Стр. 268. *Геккель* Эрнст (1834—1919) — немецкий естествоиспытатель, видный последователь Ч. Дарвина. Развил материалистическую теорию Дарвина, используя дарвиновское учение о закономерностях происхождения и исторического развития живой природы.

Стр. 270. *Мэнсфилд* Ричард (1857—1907) — американский актер, одним из первых популяризировал в США творчество Б. Шоу.

Джеймс Генри (1843—1916) — американский писатель. Его произведения были лишены фабульной занимательности, а утонченный анализ человеческой психики, художественная техника и изобразительные приемы оставляли равнодушными его современников. Лондон относился к романам Джеймса критически.

Мэтьюз Брэндер (1852—1929), американский эссеист, критик и театровед, профессор Колумбийского университета. Долгие годы был штатным критиком и театральным рецензентом «Нью-Йорк таймс».

Бебель Август (1840—1913) — один из основателей и выдающихся деятелей немецкой социал-демократии и II Интернационала.

Россетти Данте Габриель (1828—1882) — английский живописец и поэт. Основатель и главный представитель «Братства прерафаэлитов», зачинатель символизма в английском искусстве, в своем творчестве обращался к религиозным и мифологическим темам, средневековым легендам, поэзии Данте.

Стр. 272. *Беркли* Джордж (1685—1735) — английский философ, субъективный идеалист, епископ. Отстаивал взгляд, будто вещи — это лишь совокупность ощущений, что «существовать — значит быть воспринимаемым» и что понятия — лишь условные знаки, не имеющие объективного содержания. Его философия послужила одним из теоретических источников эмпириокритицизма.

Юм Дэвид (1711—1776) — английский философ, психолог, историк и экономист. В философии выступал и как агностик, утверждая непознаваемость сущего, и как идеалист, не признавая существования независимого от человека материального мира; за единственную реальность принимал лишь психические переживания человека. Юм — предшественник психологического направления буржуазной политической экономии.

Локк Джон (1632—1704) — английский философ-деист. Основная заслуга Локка в области философии состоит в том, что он детально, в основном с материалистических позиций, обосновал принцип происхождения знаний и идей из чувственного опыта, отвергая идеалистическую теорию врожденных идей и моральных принципов. Идеи Локка в дальнейшем были использованы представителями как материалистической, так и идеалистической философии. Идеалистические стороны учения Локка, в частности так называемое учение о вторичных качествах, использовали субъективные идеалисты Беркли и Юм.

Стр. 275. *Конрад* Джозеф (1857—1924) — псевдоним Юзефа Конрада Коженевского, английского писателя, автора мастерски написанных приключенческих новелл и романов.

СЫН ВОЛКА

Впервые опубликован в журнале «Оверленд мансли» в апреле 1899 года. Был включен в сборник «Сын Волка» (1900).

Стр. 351. *Клондайк* — приток Юкона, где в 1896 г. были найдены богатейшие россыпи золота.

Чечако — новички (на языках североамериканских индейцев).

Стр. 353. *Потлач* — пиршество, на котором хозяин оделяет гостей подарками.

Стр. 356. *Скво* — женщина.

СЕВЕРНАЯ ОДИССЕЯ

Впервые опубликован в журнале «Атлантик мансли» в январе 1900 года. Был включен в сборник «Сын Волка».

Стр. 367. *Вулзли* Гарнет Джозеф (1833—1913) — английский военачальник, принимавший участие в подавлении народного восстания в Судане в 1884—1885 гг.

Буффало Билл — прозвище американца Уильяма Фредерика Коди (1846—1917), популярного литератора, охотника, наездника, участника войн с индейцами. Буффало Билл организовал зрелищное предприятие вроде цирка, с которым разъезжал по Америке и Европе, давая представления на тему «Дикий Запад».

Рейл Луи (1844—1885) — вождь восстаний метисов в Канаде в 1869 и 1885 гг.

Стр. 374. *Криппл*-Крик — город в штате Колорадо, США. Центр золотоносного района. Здесь в 1891 г. были найдены большие месторождения золота.

Стр. 378. *Каяк* — небольшая кожаная лодка.

Стр. 383. *Уналяшка, Унимак, Кадиак, Атоньяк* — острова, расположенные к юго-западу от Аляски.

СИВАШКА

Впервые опубликован в журнале «Энслис мэгэзин» в марте 1901 года. Был включен в сборник «Бог его отцов» (1901).

Стр. 397. *Кабестан* — вал, на который наматывается канат или цепь, прикрепленные другим концом к грузу.

Стр. 401. *Фал* — веревка, при помощи которой поднимают паруса.

Пинта — мера жидкости, около 0,5 литра.

ЗАКОН ЖИЗНИ

Впервые опубликован в журнале «Мак-Клюрс мэгэзин» в марте 1901 года. Был включен в сборник «Дети мороза» (1902).

ЛИГА СТАРИКОВ

Впервые опубликован в журнале «Брэндер мэгэзин» в октябре 1902 года. Был включен в сборник «Дети мороза».

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Впервые опубликован в журнале «Мак-Клюрс мэгэзин» в декабре 1905 года. Был включен в сборник «Любовь к жизни» (1907).

ОТСТУПНИК

Впервые опубликован в периодическом издании «Спутник домохозяйки» в сентябре 1906 года. Был включен в сборник «Когда боги смеются» (1911).

СТРАШНЫЕ СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

Впервые опубликован в журнале «Хэмптонс мэгэзин» в марте 1910 года. Был включен в сборник «Рассказы Южного моря» (1911).

КУЛАУ-ПРОКАЖЕННЫЙ

Впервые опубликован в журнале «Пасифик мансли» в декабре 1909 года. Был включен в сборник «Храм гордыни» (1912).

ПОД ПАЛУБНЫМ ТЕНТОМ

Впервые опубликован в журнале «Сатэрдэй ивнинг пост» в ноябре 1910 года. Был включен в сборник «Рожденная в ночи» (1913).

МЕКСИКАНЕЦ

Впервые опубликован в журнале «Сатэрдэй ивнинг пост» в августе 1911 года. Был включен в сборник «Рожденная в ночи».

Стр. 494. *Хунта* (и с п.) — комитет, общественно-политическая организация.

Диас Порфирио (1830—1915) — диктатор, в течение долгих лет властвовавший в Мексике. Кровавую диктатуру Диаса разрушила мексиканская революция 1911 г.

Стр. 497. *Связь между Лос-Анжелосом и Нижней Калифорнией...* — Мексиканские эмигранты — противники диктатуры Диаса — пытались найти себе приют на территории США. Постепенно одним из центров деятельности патриотических мексиканских организаций, готовивших революцию и поддерживавших из США революционное движение в Мексике, стал город Лос-Анжелос, неподалеку от границы мексиканского штата Нижняя Калифорния, через который проходили тайные коммуникации революционеров.

Стр. 498. *Пеоны* — сельскохозяйственные рабочие в Мексике, чаще всего индейцы.

Стр. 499. *«Индустриальные рабочие мира»* — могучая профсоюзная организация американского рабочего класса, созданная в 1905 г. Вскоре ее руководство возглавили анархо-синдикалисты. Раскол в рядах ИРМ помешал ее дальнейшему развитию. В 1919 г. наиболее сознательные

члены ИРМ вошли в Коммунистическую партию США. В 1910-х годах организация ИРМ играла большую роль в общественной жизни страны. Правительственные органы США преследовали деятелей ИРМ.

Стр. 504. *Букмекер* — лицо, спекулирующее на спортивных состязаниях, в данном случае на боксе; букмекер собирает и записывает ставки зрителей.

Стр. 507. *Патио* (и с п.) — внутренний дворик.

Мучачо (и с п.) — мальчик.

Стр. 509. *Клинч* — положение в боксе, когда один из противников зажимает одну или обе руки партнера. Возможен обоюдный клинч.

Стр. 512. *Апперкот* — удар снизу.

КРИС ФАРРИНГТОН — НАСТОЯЩИЙ МОРЯК

Впервые опубликован в периодическом издании «Спутник юношества» в мае 1901 года. Был включен в сборник «Голландская доблесть» (1923).

Стр. 519. *Топ* — верхушка, топ мачты — верхушка мачты.

Нактоуз — привинченная к палубе тумба с надетым сверху колпаком, под которым устанавливается компас. Снабжается приспособлением для освещения компаса.

Стр. 521. *Шкафут* — средняя часть верхней палубы.

Стр. 522. *Ликтрос* — мягкий трос, которым обшивают кромки парусов.

Стр. 523. *Полуют* — возвышенный уступ (надстройка) в кормовой части судна. Под полуютом обычно располагались каюты капитана и его помощников.

Бейдевинд — курс судна, при котором ветер дует ему несколько спереди. Различают полный бейдевинд, когда ветер почти боковой, и крутой бейдевинд, когда судно идет под более острым (порядка 45°) углом к линии ветра.

«ФОМА ГОРДЕЕВ»

Статья, впервые опубликована в журнале «Импрешенс» в ноябре 1901 года. Была включена в сборник «Революция» (1910).

Стр. 527. *Исайя* — древнееврейский пророк, живший в VIII в. до н. э.

О СЕБЕ

Статья впервые опубликована в лондонском издании «Храм гордыни».

СОДЕРЖАНИЕ

Р. Самарин. «Ваш во имя революции Джек Лондон» . . . 5

МАРТИН ИДЕН. *Перевод под редакцией Е. Калашниковой* 27

РАССКАЗЫ

Сын Волка. *Перевод Н. Галь* 351
Северная Одиссея. *Перевод Н. Георгиевской* 366
Сивашка. *Перевод И. Гуровой* 394
Закон жизни. *Перевод А. Елеонской* 405
Лига стариков. *Перевод Н. Банникова* 411
Любовь к жизни. *Перевод Н. Дарузес* 426
Отступник. *Перевод З. Александровой* 443
Страшные Соломоновы острова. *Перевод Е. Коржева* . . . 459
Кулау-прокаженный. *Перевод М. Лорие* 474
Под палубным тентом. *Перевод И. Гуровой* 487
Мексиканец. *Перевод Н. Ман* 494
Крис Фаррингтон — настоящий моряк. *Перевод М. Поповой* 517

«ФОМА ГОРДЕЕВ». *Перевод М. Урнова* 524
О СЕБЕ. *Перевод Н. Банникова* 529

Примечания 535

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 160

Джек Лондон
МАРТИН ИДЕН. РАССКАЗЫ

*

Редактор Е. Осенева
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Д. Эткина и Н. Шкарбанова

*

Сдано в набор 27/X 1971 г. Подписано к печати 23/II 1972 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 34 печ. л. 21,72 усл. печ. л. 33,07 уч.-изд. л. + +1 вкл. +6 накид. = 33,997 л. Тираж 300 000 экз. Заказ 2459. Цена 1 р. 64 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета
по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28